

Пиримкул
Кадыров



/ЗВЕЗДНЫЕ
НОЧИ/
Роман

**Алмазный
город**

*Ташкентский
городской
роман*

*Перевод с узбекского
Юрия Суровцева*



МОСКВА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА"
1988

ББК 84Уз7

К 13

Вступительная статья

Л. ТЕРАКОПЯНА

Художник

В. СЕРЕБРЯКОВ

Примечания и пояснительный словарь

Р. ФАТКУЛЛИНОЙ

К 4702570200—176
028(01)—88 105—88
ISBN 5-280-00256-9

© Вступительная статья, состав,
примечания, оформление.
Издательство «Художественная ли-
тература», 1988 г.



ДВА КРЫЛА ТВОРЧЕСТВА

Удивительное это чувство — возвращение к первой книге писателя, его литературному дебюту. Совершенно иное восприятие текста. Неожиданное, непривычное. Перечитывая написанное тогда, видишь то, что будет создано завтра.

Вот и в романе Пиримкула Кадырова «Три корня» (1958) на каждом шагу — завязи, истоки, заделы на будущее. Буквально в экспозиции, например, возникает имя средневекового поэта и полководца Захириддина Бабура. Возникает как фехтовальный выпад, как ударный обличительный аргумент против возмутителя академического спокойствия историка Акбарова: «Вам нравится то, что он идеализирует кровавого захватчика Бабура?.. Творчество человека нельзя отделить от его жизни. У вас не развит классовый подход...» Всего несколько строк, но с каким потенциальным зарядом.

Символично, что само действие «Трех корней» совершается не где-нибудь, а на историческом факультете университета. В обстановке брожения умов, борьбы за справедливость, под аккомпанемент дискуссий о культе личности, о классическом наследии, о догматизме и принципиальности в науке. Специфика произведения? Не только. Еще и специфика авторского темперамента. Это в самом характере, в самой природе таланта: полемический азарт, правдоискательство, ощущение болевых точек взаимодействия прошлого и современности.

Или другой вещий знак. Одна из героинь переходит с исторического факультета в архитектурный институт, чтобы посвятить себя «архитектуре монументальных зданий». Пока это лишь периферия сюжета, отлет от магистрали, боковой ход. Однако ход не тупиковый, не бросовый, а ведущий к будущим заботам. К повести «Вольность» (1969) и особенно к роману «Алмазный пояс» (1982). Роману, где призвание героев станет их судьбой, где в центре встанет вопрос градостроительства, национальной самобытности зодчества, памятников старины.

Словом, «Три корня» не только пролог, но и прорицание творческого пути, наметка последующих целей.

Тематический диапазон произведений узбекского прозаика достаточно широк. Это будни студентов и добытчиков газа, чабанов и хлопкоробов, это ритмы сегодняшнего Ташкента и грозные междуусобицы средневековья. В поле зрения писателя то город, то деревня и, конечно же, отношения между ними. Ревивые, изменчивые, подвижные.

Деревня в романе «Черные глаза» (1966) тянется к городу. Она мечтает о городской культуре, городском кругозоре, городском благоустройстве: асфальт, электричество, телевизоры. Вчерашии обитатели кишлака преодолеваю в «Моих сокровищах» (1960) страх перед диковинной техникой, учатся у рабочих коллективизма, чувству собственного достоинства. Однако ташкентский проектировщик Саттар («Вольность») уже утрачивает гонор перед своими якобы отсталыми сельскими родичами. Однако трудовая крестьянская мораль высвечивает убожество претензий дорвавшегося до столичных благ бухгалтера Азлара («Наследие», 1975).

Многие произведения Кадырова создавались, что называется, по горячим следам событий. Они поддерживали порыв к очищению, вызванный XX съездом партии, сражались с проектёром и показухой, вели на хлонковую целину, к добытчикам газа и строителям ташкентского метро. Вместе со своими героями писатель обличал подозрительность, атаковал демагогов и приспособленцев. Его проза порой шла рука об руку с публицистикой, настраивалась на ее волну, жаждала оперативной действенности.

Нет, не простым и не гладким был путь П. Кадырова. Оглядываясь на такие работы пятидесятых — шестидесятых годов, как «Три корня», «Мои сокровища», «Черные глаза», отчетливо видишь соседство психологизма и декларативности, лирической искренности и искусственной экзальтации, исследовательского напряжения и облегченности развязок.

Что ж, становление мастерства всегда процесс и всегда преодоление. И, помня о накладных расходах очерковости, не забудем, что тогда же формировались и перспективные, определяющие тенденции творчества.

Обратим внимание хотя бы на то, как спаяны в «Черных глазах» семейные и трудовые коллизии. Это черта всей кадыровской прозы. Устойчивая, существенная. Герои романа бросают вызов не только интриганам, доносчикам, хапугам, но и домашнему крепостничеству, раболепию перед авторитетом старших, перед закабаляющими нормами послушания и покорности.

И еще одна сквозная, пронизывающая все творчество линия: судьба унаследованных от минувшего этических норм и ценностей.

В ранних работах писателя противоречие между передовым и отсталым было, по сути, равнозначно противоречию между традиционным и новым.

В самом деле, основные конфликты романа «Черные глаза» прямо или косвенно обусловлены прошлым. Оттуда, из вековой толщи, прорастают и пренебрежение к женщине, и дичайший обычай «колыбельных помолвок», который самим своим существованием отвергал право любви, и пресмыкательство перед властью имущими, и доведенное до абсурда почтение к сединам, вынуждавшее «проглотить обиду из уважения к бороде старого болтуна». Причем обветшала, архаичная мораль все еще агрессивна, напориста. Она ревностно охраняет свои привилегии от любого посягательства.

Атакуя старые нравы, герои Кадырова защищают право человека на духовное раскрепощение, на самостоятельность.

Но вот что примечательно. С течением лет позиция писателя утрачивает былую категоричность. Его подход к традициям становится более осторожным, гибким, взвешенным.

Свидетельство такой корректировки — повесть «Наследие». П. Кадыров шел к переоценке традиционных начал, отталкиваясь от опасных явлений современности, размышляя над фактами вседозволенности и хищничества, технократической или чиновничей слепоты к сокровищам истории, опыту поколений, окружающей среде.

Обе эти линии — экологическая и этическая — прочно смыкаются в романе «Алмазный пояс» (1975—1982), обозначившем новое качество кадыровской прозы. Писатель недаром дал своей книге подзаголовок «ташкентский городской роман». Определение симптоматическое, хотя характеризует оно не столько жанр или стиль, сколько специфику жизненного материала. Что ж, городская проблематика и впрямь еще недостаточно освоена узбекской литературой. Во всяком случае, далеко не так полно, как сельская.

Между тем в Узбекистане, как и в других республиках нашей страны, происходит бурный процесс урбанизации. Возникают новые города, растут и преображаются древние. Все больше сельских жителей меняют прописку, становятся рабочими и служащими. Впрочем, герои «Алмазного пояса» не из тех, кто лишь недавно покинул свои кишлаки. Они — коренные ташкентцы. Роман П. Кадырова — городской по своим производственным коллизиям (архитектор Аброр Агзамов проектирует ташкентские парки, а его жена — Вазира — станции метро). Городской по своему фону, пейзажу: кварталы многоэтажных домов, интерьеры института, автомобильные заторы на улицах, магазинная толчая. Городской по своему ритму: эта вечная спешка, эти подпирающие друг друга заботы, этот страх не успеть, опоздать.

Как и многие современные писатели, П. Кадыров воссоздает атмосферу стресса, нервного перенапряжения. Пошаливает сердце у

Аброра, внезапно падает в гипертоническом кризе Вазира. Да и как не подскочить давлению: сложности на службе, раздоры с родственниками, морока с детьми. Однако многоплановая структура произведения органически соединяет в себе производственные и семейно-бытовые линии. Органически, потому что сами служебные, творческие, домашние заботы героя тесно переплетены.

В центре внимания автора — три поколения семьи Агзамовых. Точнее — три несхожих жизненных уклада. Сравнение опыта старших и младших дает различные точки отсчета, позволяет судить о беге времени, нравственных обретениях и утратах. И внешние обстоятельства — перестройка разрушенного подземной стихией Ташкента — становятся катализатором личностных конфликтов, полемики о счастье и долге. Ибо захватывающие планы реконструкции узбекской столицы, к которым причастны Аброр и Вазир, затрагивают судьбы тысяч людей. Кому-то они несут радость и надежду, а кому-то горечь прощания с устоявшимся.

Вот и для родителей архитектора Агзамова предстоящий переезд из их глинобитного домика оборачивается нешуточным потрясением.

Роман П. Кадырова является собой попытку осмыслить сложность, многозначность правды, непредвзято взглянуться в доводы отцов и детей, отфильтровать непреходящее от конъюнктурного, паносного. «Прощание с Матерью» на городской лад? Пусть так. Мотивы произведения В. Распутина действительно слышны в «Алмазном пояссе», хотя и в другой интерпретации. Да и чем не Матера — исконная ташкентская махалля? Свой быт, свои обычай, свои правила добрососедства. В конце концов не просто переселение занимает автора, а судьба традиционных ценностей, контекст их взаимодействия с настоящим.

Стихия полемичности, дискуссионности охватывает все повествование П. Кадырова.

Спорят между собой Вазира и ее свекровь Ханифа, Аброр и его антагонист Шерзод Бахрамов. Горячие перепалки возникают то на ученых советах, то на производственных совещаниях. Различные по своей подоплеке, эти конфликты устремлены тем не менее в некое общее русло — к размышлению о духовном богатстве личности, о гармоническом развитии общества.

Право, не так уж трудно понять раздражительность, взвинченность Вазиры. На службе лавина чертежей, хаос в доме, воцарившийся после переезда родителей мужа. И в этой-то неразберихе свекровь ухитрилась затеять подготовку к бешик-тою — празднику в честь малыша, появившегося на свет у ее дочери.

Пожалуй, в былые времена писатель безоговорочно принял бы сторону Вазиры. Темпераментными доводами в ее защиту буквально-таки полнится роман «Черные глаза».

Однако теперь П. Кадыров не спешит с выводами. Иными, более зрелыми стали сами критерии. И неспроста отец напоминает Аброру, что тот самый бешик-той «кует спаянность людскую, пока она не остыла, пока родня радуется прибытию на свет нового человека. В нашем народе всячески почитают родителей, почитают старших. А начинается все с почитания детей, новорожденных... Сначала родители и бабушки-дедушки показывают пример, как высоко надо уважать достоинство пусть крошечного, но человека...»

В давних, отшлифованных веками народных установлениях писатель видит не сковывающее, но обязывающее начало, те этические принципы, в которых воплощен опыт человеческой солидарности, принципы, которые как прежде, так и теперь, противостоят разобщивающей, эгоистической морали. Однако от хороших народных традиций открешиваются младший брат Вазиры Алибек и преуспевающий архитектор Шерзод Бахрамов. Под флагом индуистского стиля Шерзод готов засыпать землей древние арыки, спрямить русла рек, заковать берега в асфальт и бетон, застроить ташкентские кварталы стандартными многоэтажными коробками. Благо сегодняшняя техника позволяет сделать это быстро и без особых хлопот. Но кипучая деятельность Шерзода разрушительна по своим последствиям. Исчезает самобытная красота города, неповторимость его силуэта, воцаряется унылое однообразие.

Есть в романе П. Кадырова богатый по своему подтексту эпизод. Новоселы микрорайона словно бы возрождают дух привычной ташкентской махалли. То тут, то там появляются в тени деревьев любовно застеленные одеялами помосты для отдыха, для неторопливых бесед. И хотя по мере застройки дворы становились все более тесными, узкими, помосты эти не исчезали. Старики все-таки ухитрялись отвоевывать площадку, чтобы «можно было проводить по обычаям свадьбы и другие многолюдные торжества».

У Шерзода Бахрамова такая самодеятельность вызывает лишь раздражение и досаду.

Аброр Агзамов видит в ней знак естественной человеческой тяги к общению.

Первый идет наперекор чаяниям людей, наперекор укоренившимся нормам, наперекор особенностям природы.

Второй опирается на эти чаяния, нормы, особенности.

Отсюда разгорающийся конфликт убеждений, творческих принципов.

Однако именно Шерзод Бахрамов, хвастливо рекламирующий свою раскрепощенность, предстает в романе действительным пленником традиций. Только традиций иного рода; выпестованных той моралью, что поднимал на щит чины, привилегии, богатство. Выдавая свою племянницу замуж, он по-торгашески взыскивает

с будущих родственников и калым, и угощения. И столь же мастерски владеет он древним искусством интриги, наветов, коварных ударов из-за угла. Высмеивая предрассудки, «восточные каноны», герой ставит под сомнение не столько архаику, сколько святыни — такие понятия, как верность, чистота, порядочность.

Что же касается Аброра, то, советуясь с историей, внимая ее наставлениям, он думает о будущем, о сохранении и приумножении доброго, светлого на земле и прежде всего — в человеческих душах.

Книга П. Кадырова чутко аккумулирует в себе тревожные вопросы нашей повседневности. Она обращена к явлениям, может быть, и не новым, но по-новому значимым, по-новому обострившимся сейчас. Ведь небывалый рост технической мощи делает особенно хрупкой, беззащитной окружающую среду с ее лесами, парками, реками и ручейками. Ведь те же индустриальные методы строительства могут вызвать (и вызывают подчас) удручающее всевластие стандарта, уничтожение неповторимого, уникального. А заботы о комфорте, благополучии, материальном достатке? Они могут быть и правомерными, но могут спровоцировать и уродливую, агрессивную психологию потребительства, превращающую человеческие отношения в сузубо утилитарные, подчиненные интересам личной выгоды, личного преуспеяния.

Этическая позиция писателя последовательна и неуступчива. Но вдохновляется она отнюдь не патриархально-консервативными заповедями, не идеализацией старины. И не в прошлом ищут герои «Алмазного пояса» ключ к решению нынешних экологических, творческих, моральных проблем, а в настоящем, в тех перспективах и возможностях, которые открывает эпоха социализма.

Заклинаниям о неизбежности конфликта между природой и научно-технической революцией, между уникальностью и унификацией, и правами старших и молодых писатель противопоставляет идею гармонии, синтеза. Идею отнюдь не утопически мечтательную, а скорее рациональную, практическую, совпадающую с велениями эпохи. Механистические «или-или», которыми неустанно манипулирует Шерзод Бахрамов, сплошь и рядом поверхностны и обманчивы. Критерий истины — они в красоте, естественности, во всем том, что делает нашу жизнь ярче, содержательнее.

П. Кадыров пишет Аброра Агзамова как натуру беспокойную, увлеченную, искреннюю. Это творческое начало реализуется не только в архитектурных проектах героя, в его умении эстетически освоить каждую складку, каждую шероховатость ландшафта, соединить искусство со строгими, математически выверенными рекомендациями науки. Оно присутствует в самих размышлениях о жизни, о совести, о человеческих отношениях, о духовном мире современника.

Узбекская литература 20—30-х годов с энтузиазмом воспевала преобразования, реконструкцию, ломку. И столь же горячо обличала она отжившее, сметенное вихрем революции.

П. Кадыров не подвергает сомнению эти позиции, но уточняет их, вносит поправку на времена, на мироощущение 80-х годов.

Преобразования? Но не вопреки природе, а в союзе, в содружестве с ней.

Новаторство? Но не в ущерб гуманистическим ценностям прошлого.

А традиции, они ведь тоже требуют дифференцированного отношения. Иные из них, вскормленные веками эксплуатации, бесправия, гнета, подлежат безоговорочному отрицанию. Другие же, вобранные в себя лучшие свойства народной души, становятся органической частью социалистической морали. И хотя Аброр Агзамов не раз выслушивает нотации за этнографические увлечения, за оглядку на старину, именно он воплощает в «Алмазном пояссе» подлинно современное сознание. Осмотрительное, опирающееся на науку, ответственное за красоту земли и нравственное здоровье человека.

Как мы могли убедиться, «Алмазный пояс» органически вписывается в целостный контекст творчества П. Кадырова. Это очередной виток спирали, продолжение, развитие.

В отличие от «ташкентского городского романа», «Бабур» (1978) — выход в новые сферы, первое обращение художника к историческому жанру. Первое, но не случайное. Тут и давний, проявившийся еще в «Трех корнях» интерес к личности Бабура, и основательное (по университетскому образованию П. Кадыров — историк-востоковед) изучение его творчества, обстоятельств жизни, и поездки в Индию и Пакистан, и нарастающее год от года внимание к истокам, традициям культуры. Да и сами семидесятые годы отмечены повсеместным оживлением исторической прозы: книги Я. Кросса и Г. Абашидзе, П. Загребельного и В. Короткевича, И. Есенberлина и А. Алимжанова, Т. Касымбекова и Т. Каипбергенова. В каждой республике это оживление имело свои приметы. Свои — и в Узбекистане.

Еще в годы войны узбекская историческая романстика уверенно заявила о себе замечательным творением Айбека «Навои». Творением фундаментальным, проложившим дорогу к художественному исследованию эры так называемого восточного ренессанса. Эры противоречивой, трагической, озабоченной не только кровавыми распрями, войнами, насилием, но и взлетом человеческого гения.

А. Якубов и П. Кадыров — каждый по-своему продолжили этот поиск. Первый посвятил свой роман «Сокровища Улугбека» (1974) великому астроному, математику, мыслителю средневеково-

го Самарканда, второй — потомку Улугбека и младшему современному Навои — Захирiddину Бабуру.

Улугбек, Навои, Бабур. Блистательное созвездие талантов. Прихотливое сцепление судеб и помыслов, перекличка идей и надежд. От самарканского книгохранилища Улугбека прямая нить к гератской библиотеке Навои, шедевры самарканских зодчих отзывались в архитектуре Герата. А Навои? Его эпическая поэзия с детства вдохновляла Бабура, была эталоном совершенства. Узбекская историческая проза устремлена прежде всего к характерам творцов, кем бы они ни были: философами, исцелителями, математиками поэтами. Пожалуй, в этом одна из причин ее популярности, актуальности, ее естественного контакта с современностью.

П. Кадыров исследует не эпизод биографии, а биографию целиком. От истоков до устья. От андижанских смут, отравивших юные годы миры Бабура, до вожделенного прорыва в Северную Индию и провозглашения государства Великих моголов. Эта эпическая широта впечатляет, но она же порой становится и обузой для повествования, влечет появление художественно необязательных и художественно неисследованных фигур.

Внешний сюжет романа задан реальной исторической хроникой, канвой событий, внутренний — становлением таланта.

Да, Бабур был сыном своей эпохи, изведавшим суровую длань ее законов и во многом подчинявшимся ее установлениям и нормам. Слагаемые его жизни — походы и войны, громкие победы и сокрушительные поражения, жалкие рубища изгнанника, скитальца и пышные одеяния триумфатора — венценосца. Потеряв родной Андижан, он утверждался в Самарканде; потеряв Самарканд, воцарялся в Кабуле. Утратив надежды на объединение раздробленного, поделенного между ханами Мавераншара, он добивается успеха на чужбине, в захваченной им Северной Индии.

Судьба неукротимого шаха Бабура запечатлена на скрижалах истории, судьба поэта Бабура скрыта в его лирических стихах.

П. Кадыров не идеализирует своего героя. Он исследует характер в его психологической раздвоенности, в борении светлых и мрачных начал души. Весь роман пронизан спором о Бабуре и его действиях, контрастами мнений. От панегириков до хулы, от восхваления «справедливого шаха» до обличений и проклятий. А истина? Она в самой пестроте оценок, в чересполосице добра и зла. Даже многоопытный историк Хондамир и тот пребывал в растерянности перед феноменом Бабура. Его суждение столь же парадоксально, сколь и проницательно: «То, что происходило между Алишером Навои и Хусейном Байкаром, у Бабура бушевало в сердце — одном сердце одного и того же человека».

Действительно, гератский султан Хусейн Байкара то приближал к себе гениального поэта, то подвергал его опале, то жаждал его

наставлений, то гневался на них. Бабур же словно сконцентрировал в себе самом извечные антиномии власти и творчества, бездушия и человечности, став чем-то «вроде раздробленной страны, где идет жестокая междуусобица».

Перед нами встает образ искусного, расчетливого дипломата и воителя, умевшего использовать выгодный шанс, играть на разногласиях своих соперников, привыкшего повелевать, познавшего вкус господства над подданными. Не зря же он саркастически воскликнул в своих исповедальных стихах:

Мне надо, чтобы все, мой слушая приказ,
Лежали предо мной, поднять не смея глаз.
Чтоб дотянуться мог я до всего рукой,
Чтоб золото в мой чертог всегда текло рекой.

Движение сюжета передает эту страсть героя к самоутверждению, эту энергию его воли, эту череду испытаний, в которую был вовлечен он сам и бестрепетно вовлекал других. Удары по заговорщикам, изнурительные битвы с кочевниками Шейбани-хана, державные мечты об овладении Самаркандом, о завоевании Индии. Но если для свирепого, одержимого манией величия Шейбани военные победы были фетишем, венцом усилий, конечной целью, то Бабур чем дальше, тем болезненнее осознавал их призрачность. Ведь лихорадка сражений убивала иные замыслы. Она не оставляла ни времени, ни средства для созидания, для следования заповедям Улугбека и Навои. Как ни эфемерны такие понятия, как наука, поэзия, красота, как ни бесплотны они в сравнении с золотом, оружием и прочими богатствами, но и «без них чего стоит власть?».

И тут нерв романа, источник сомнений героя, средоточие размышлений о смысле жизни.

Как полководец герой П. Кадырова одержал не одну победу, как просвещенный правитель оказался несостоительным.

Он хотел если не устраниТЬ, то хотя бы приглушить фанатичные суннитско-шиитские распри, но своей дипломатией, своим посредничеством только подлил масла в огонь.

Он пытался упростить витиеватый арабский алфавит, сделать его графику более понятной, доступной, но в результате вызвал лишь гнев мракобесов и упреки в оскорблении священных букв Корана.

Он мечтал о «чудесах, сотворенных талантом зодчих», о возрождении самаркандской науки, но искусство и просвещение не могли расцвести на разоренной, переходящей из рук в руки земле.

Он проповедовал уважение к обычаям и традициям Индии, стремился сдружить индуистскую и мусульманскую культуры, но проповеди эти сопровождались и заглушались звоном оружия его жеrukеров.

И так во всем. Что ни шаг, то дисгармония намерений и результатов. Дисгармония, отравляющая сознание, рождающая горечь от недостижимости целей, усталое разочарование роковым круговоротом вражды и мести. Изображая это брожение и борение чувств, П. Кадыров опирается на стихи и мемуары самого Бабура.

П. Кадыров руководствуется в своем анализе принципами историзма. Принципами, побуждающими к объективности и предостерегающими от упрощений. Слава Бабура отдает горечью, за величественным ореолом — муки осажденного Самарканда, смертоносные клинки нукеров, слезы вдов и сирот покоренной Индии. То, что соперники превосходили его в жестокости, то, что они были одержимы ненавистью к просвещению и несли труженикам, может быть, еще более тяжкие страдания, — лишь слабое утешение. И гибель Бабура от яда, подсыпанного индийским поваром, — это возмездие завоевателю. Перед лицом вечности победил не шах, а поэт. Победила его проникновенная лирика, его мужественная мемуарная исповедь, его устремленная в будущее мечта о содружестве культур, о преодолении религиозных распрай.

Эпическое повествование Кадырова не дает однозначных ответов, оно приобщает нас к сложности и драматизму истины, к человеческой жизни, означенной и озаренной, и гибельными страстями, к противоречиям эпохи, сформировавшим характер.

Тема истории и тема современности — два крыла творчества писателя. Творчества, которое поддерживает нынешний авторитет узбекской прозы и еще многое обещает завтра.

Л. Теракопян





/ ЗВЕЗДНЫЕ
НОЧИ /

Roman





РОДНИК ПОД ОБВАЛОМ

КУВА

1

Шел 899 год хиджры...

По-летнему знойное небо Ферганы клубилось густыми тучами, весь день нагнетало духоту в долину, а к вечеру разродилось яростным ливнем. Кувасай, текущий меж красноземных холмов, быстро стал многоводен и багров. Словно кровью вспенился поток.

Под ветвями одной из плакучих ив, что росли на берегу, укрылись от сторонних взоров парень и девушка.

— Верь мне, Робия,— взволнованно шептал юноша,— верь, пока я жив, никакая беда тебе не страшна.

— Да сохранит тебя всевышний, Тахир... Только... Тысячи и тысячи врагов напали на нашу землю. Можно ли их остановить?.. Кто их остановит?.. Вон, посмотри, опять беженцы... Сколько их, несчастных!..

Тахир оторвал взгляд от девушки.

Вдоль противоположного берега Кувасая простирались болота, заросшие густыми камышами; через реку дугой возносился, едва белея сейчас сквозь сетку иссякающего дождя, длинный деревянный мост. Муравьиной цепочкой тянулись по мосту люди, лошади, овцы, маячили высоко груженные арбы.

Полчища врагов под водительством самарканского властелина напали на Маргилан, и эти измученные люди бежали от бедствий войны, бежали через Куву в Андижан, спасая свой скарб от грабежа, своих дочерей и жен от насилий.

— Нам тоже суждено бежать!..— Робия тяжело вздохнула. Добавила:— Сундук с моим приданым матушка спрятала в амбаре... А обо мне не беспокойся. Нынче вечером Махмуд увезет меня в андижанскую крепость.

Тахир представил себе андижанскую крепость. Ну, привезет туда свою сестру Махмуд, а что дальше? Тамошние своеольные и всесильные беки разве менее опасны для красивой дочери гончара?

— Нет! — Тахир повысил голос. — Если думаешь обо мне, не уезжай...

У Тахира на поясе, обхватившем мокрую домотканую полосатую рубаху, висел кинжал. Юноша все смотрел и смотрел на девушку, в ее глаза, обычно своиенравные, а нынче полные страха и тревоги.

— И мне не хочется уезжать. Но что же делать? Здесь ведь опасно!..

Выбежав из дома на встречу с Тахиром, девушка наскоро накинула поверх головы отцовский черный шерстяной чекмень. Пропитанный дождевой влагой, он стал теперь тяжелым и громоздким. Робия скинула его на плечи; верхняя петля воротника на платье расстегнулась — и Тахир невольно потянулся взглядом к белому треугольничку, глянувшему в прорезь. Зеленая безрукавка плотно облегала гибкую, тонкую талию семнадцатилетней Робии, ее тугие груди.

Тахир рос рядом с Робией, их семьи издавна соседствовали, но вот только сейчас юноша впервые понастоящему почувствовал, как нежна и красива Робия, его Робия, и как, должно быть, жадны до эдаких нежных красавиц чужеземные беки и наемники.

Весной родители устроили помолвку Тахира и Робии — даже тогда она не казалась ему столь красивой! Вот пройдет рамазан — и состоится их свадьба. Они верили, что скоро будут вместе, и жили в спокойном и безмятежном состоянии, которое дается предвкушением счастья. Обернулось иначе: тревожный ветер войны застучал в ворота Кувы.

Тахир внезапно привлек девушку к себе. Чекмень упал наземь, и юноша почувствовал, как дрожит Робия — всем телом, каждой клеточкой.

— Ты же не была такой боязливой, Робия, — стараясь унять собственное волнение, сказал Тахир. — Что случилось с тобой?

— Я видела плохой сон, Тахирджан! О всевышний, отведи от нас беду!

— Плохой сон?.. Обо мне? Ну-ка, расскажи.

— Даже язык не поворачивается.

— Чего только не снится человеку... Расскажи!.. Пусть будет, что будет!..

— Черный бык поднял тебя на острые, будто кинжал, рога... Нет! Нет! — девушка вся сжалась. — Мурашки бегут, как вспомню!

Тахир верил снам, и недоброе предчувствие передалось ему. Он отпустил Робию.

— Говори толком, прошу... Поднял, значит, на рога... и кровь тоже видела?

— Да, да... Кровь была струей!

Тахир вздохнул с облегчением.

— Коли так, то не страшно. Кровь снится к добру. Отец всегда так говорит.

— Дай бог, чтобы так и было! Тахир, я... Если ты не поедешь в Андижан... я тоже не поеду. Если что случится, пусть уж здесь... вместе...

Капли дождя просеивались ветками ивы. Дождинки порою падали на длинные ресницы девушки. Тахиру казалось, что это Робия плачет.

— Не беспокойся обо мне, Робия. Я простой дехканин. Взойдет солнце, очистится небо, и я выйду в поле с парой быков. Буду убирать хлеб. Кому я нужен? Кому я враг? Какое мне дело до врагов... Я... я вспомнил: у тебя же в андижанской крепости есть родная тетка. Уезжай к ней! Уезжай!

— Так в Андижане и у тебя есть родственник!.. Может, вместе поедем?

Тахир задумался.

В самом деле, в Андижане живет дядя, Фазлиддин. Зодчий во дворце. Его знают и в Куве: вот этот деревянный мост через реку построен по его плану. Ну, а когда изукрашенная узорами и голубыми изразцами андижанская диванхона¹, созданная муллой Фазлиддином, понравилась властителю, Умаршайху, тогда дядя стал ого каким знаменитым! Умаршайх пожаловал ему в дар скаковую лощадь и целый кошелек золота, о том Тахир доподлинно слышал, как и о том, что живет дядя не в крепости, а за городом,— в довольстве и в уединении.

Когда мулла Фазлиддин жил еще в Куве, он учил Тахира грамоте. Теперь же, если племянник придет к нему в поисках убежища... Ну, конечно, дядя сможет взять его под свою защиту. Только вот что скажут на это старики родители? Тахир — единственный сын, возьмут да и не отпустят. А сказать им подлинную причину, почему захотелось вдруг ему уехать в Андижан,—

¹ Диванхона — здесь: приемная правителя.

неловко... Может, Махмуда о том попросить, пусть намекнет отцу?

— Ладно, Робия, поедем в Андижан вместе. Но уговорить моего отца будет очень трудно... Махмуд дома?

— Ушел куда-то, до ифтара, сказал, вернется, а что?

— После ифтара пусть зайдет к нам,— потолковать надо.

— Ладно, скажу.

Робия спрятала лицо на широкой груди Тахира, прижалась к любимому и со словами: «Пусть всевышний не разлучит нас!» — тут же отпрянула и выскочила из-под ветвей.

Дождь отчетливо стучал по пустому медному кувшину, оставленному на берегу. Взглянув на кувшин, Робия вспомнила, что приходила она сюда за водой, оказывается.

Надо бы наполнить кувшин! И уходить домой.

По обычаю жених и невеста встречались тайно. Когда Робия уже далеко отошла от берега, покинул укрытие и Тахир.

Внезапно вспомнил он про страшный сон Робии, и сердце екнуло в предчувствии беды.

2

Пост в этом году совпал с самыми жаркими летними днями. Пить и есть можно было ночью, до рассвета, когда на небе еще блестят звезды, но нельзя даже прополоскать рот водой с утра до позднего вечера — до первой звезды. Выдерживать голод и особенно жажду весь долгий знойный день было мучительно: с нетерпением люди ожидали наступления сумерек, вечернего азана.

Наконец с минарета кувинской мечети послышался голос азанчи. Война войной, а есть-пить надо, и за вечерним дастарханом люди хоть ненадолго забывали обо всем остальном.

Тахир сидел за трапезой вместе с родителями. Пахло горячими лепешками, дыней. Вкусен был хлеб, вкусна была мастава, заправленная кислым молоком. Тахир все медлил с началом разговора о поездке в Андижан.

Кто-то ручкой камчи постучал в калитку. Старая

дворняжка, лежавшая у дувала, гавкнула хриплым басом. Тахир вскочил на ноги.

— Осторожней! — предупредил отец, понизив голос.— Спроси, кто там.

Дождь перестал. Но небо еще хмурилось тучами, усиливая темноту вечера. Тахир подошел вплотную к калитке.

— Кто? — окликнул он.

Дворняжка начала было лаять, но человек за дувалом громко прокричал:

— Тахир, ты?.. Открывай, это я, твой дядя!

— Сейчас, дядя Фазлиддин! — Тахир обернулся к дому.— Мама, это дядя Фазлиддин! и быстро распустил цепочку на запоре калитки.

Выйдя за ворота, старик и старуха чинно и долго здоровались со своим родственником. Неподалеку чернела двухколесная крытая арба. Какой-то человек, держась за оглоблю, ловко выпрыгнул из седла запряженной в арбу лошади.

— Это чья арба?

Человек не ответил. Ответил мулла Фазлиддин:

— Это моя, моя, племянник. Я приехал к вам со своим скарбом.

— К нам? — не сдержал Тахир удивления. Конечно, это радость, что дядя приехал, но как же так?.. Он, Тахир, надеялся жить в Андижане, а коли сам дядя приехал сюда, да еще со всем скарбом, то дорога в Андижан для Тахира теперь закрыта. А что же будет с Робией?

— Тахир, ты чего стоишь и зеваешь, давай-ка разгрузай арбу! — прикрикнула мать.— Дядя под дождем, видно, немало помучился.

— Э, сестра, мало сказать, помучился! Арба все время застревала в грязи, тащились, тащились — жизнь надоела! Да и давка на дороге: беженцев не счешь.

Тахир стал помогать арбакешу разгружать арбу. Хотел огладить лошадь — рука оказалась сразу же в теплой глине. Грязь покрывала лошадь чуть не до холки. Ох, и досталось же бедным путникам... Но почему, почему они приехали в Куву, когда весь народ, спасаясь от нашествия, бежит в Андижан?.. Тахир попытался спустить на землю большой мешок, который ему протянул арбакеш.

— Эй-эй, потише, штука очень тяжелая, беритесь вдвоем, — сказал дядя.

В мешке был небольшой, но и впрямь очень тяжелый,

железный ящик. Мулла Фазлиддин в свое время заказал его кувинским кузнецам. Ни вода не проникнет, ни в огне не сгорит. Тут мастер хранил свои чертежи. И еще — плоды иного своего искусства, рисунки! Мулла Фазлиддин учился три года в Самарканде и четыре года в Герате: вместе с ремеслом зодчего он усвоил там тайны изображения живого тела. В Герате вошло в обычай украшать рукописи сказаний о битвах не только орнаментами, но и рисунками, а изображения Алишера Навои и Хусейна Байкары, сделанные пером и красками Бехзада, принесли художнику славу. В Самарканде же, а тем более в Фергане, изображение человеческого лица строго преследуется: единый творец живого — аллах, и неповадно смертным соперничать со всеми вышними.

Вот почему мулла Фазлиддин хранил свои рисунки в железном сундуке.

Тахир все-таки в одиночку внес мешок в дом.

Тяжелый рыжий чекмень и вконец мокрые сапоги мулла Фазлиддин оставил у порога. Надел кауши; сполоснул лицо и руки у края крытой ямы для стока воды. Дождь промочил и рубаху под чекменем. Но летний вечер был очень теплый, хотя и сырой, и мулла Фазлиддин не стал ее менять.

Он так устал в дороге, что не тронул маставу, съел два кусочка хандаляка да выпил несколько пиал чаю. Зато парень-арбакеш, тоже приглашенный к трапезе, принял гостя с кислым молоком, опорожнив целых две миски. Потом он вышел во двор к лопади.

— Об-бо, мулла Фазлиддин! — начал тогда отец Тахира, поглаживая свою длинную седую бороду. — Хорошо, что вы приехали, очень хорошо. В такие беспокойные дни нам надо быть вместе!

— Я приехал, да, но не странно ли? Все бегут от нашествия, а я сам приблизился к пасти дракона, — мулла Фазлиддин грустно посмотрел на Тахира.

— Тому есть важная причина, да, дядя? — спросил Тахир.

— Причина? Одна причина, племянник; когда начинается война, в зодчих не нуждаются...

— Но вас ведь, кажется, взял к себе сам повелитель?

— Наш повелитель занят сейчас укреплением крепости Ахсы. Говорят, и ташкентский хан Махмуд стал нам врагом, поднял войска. А с востока прямо на Узгент идет кашгарский властитель Абубакир-дуглат.

Отец Тахира в страхе ухватил тремя пальцами ворот рубахи.

— О аллах! Там кашгарец, здесь самаркандец... Значит, враги наступают с трех сторон? Вот так напасть, а, мулла Фазлиддин? Неужто шахи и султаны никак не могут договориться меж собой, чтоб жить в мире? А эти к тому же еще и родственники.

— Да. Наш повелитель Умаршайх приходится зятем ташкентскому хану. А самаркандский правитель султан Ахмад-мирза, что идет на нас из ограбленного Коқанда, он родной брат нашему. Да вдобавок братья хотели стать и сватами: дочь самарканца и наш наследник Бабур-мирза помолвлены еще с пятилетнего возраста. И выходит, брат идет на брата, тесть против зятя обнажает меч!

— О всевышний! Это, видно, и есть светопреставление, а? Мулла Фазлиддин, не близок ли конец света?

— Не знаю!.. Знаю только, что дерутся они между собой, а все беды и злодеяния выпадают другим. Таким, как мы...

— Значит, это судьба наша...

— Да, трудно жить, когда не везет.— Мулла Фазлиддин словно не слышал собеседника, говорил про свое.— С какими надеждами я вернулся из Герата! Мечтал построить в родной Фергане такие медресе прекрасные, как в Самарканде и Герате стоят... Шахи, султаны... Они не вечны. В памяти людскойечно будут сиять медресе Улугбека. «Хамса» Навои. И подобное им!

Зодчий сказал и как будто сам испугался сказанного: быстро оглянулся на дверь. «Привык жить среди придворных, осторегается соглядатаев», — понял Тахир.

— Дядя, вы говорите, говорите, мы здесь одни... Почему же в Андижане не нашлось для вас места?

Мулла Фазлиддин ответил не сразу, задумался...

Вчера, в час вечерней молитвы, пока мулла Фазлиддин гостил у своего приятеля каллиграфа, который жил на соседней улице, в его собственный дом вломились неизвестные люди. Собаку, лаем встретившую их, зарубили; парня (того, что сегодня приехал в Куву дядиным арбакешем) связали, воткнули ему кляп в рот. Затем устроили в доме настоящий обыск. Отыскали и железный сундук, начали было ломать топором замок.

Близкие соседи, что жили справа и слева, услышали отчаянный вой подыхающей собаки. Почуяли недобroe. Один незаметно вышел со своего двора в проулок и в тени дерева разглядел человека, державшего за поводья четырех коней,— лица не разглядел: оно было закрыто черной маской, одни глаза сверкали. А из дома Фазлиддина доносились какие-то удары и скрежет. Сосед поспешил к каллиграфу.

Фазлиддин прибежал как раз, когда неизвестные разбили наконец замок тяжелого сундука. Завидев хозяина, двое прыгнули тут же в окно, высадив раму, третий кинулся к двери.

— Стой, негодяй! — крикнул ему Фазлиддин, но здоровый, что твой медведь, парень (тоже в маске) легко отбросил плечом хозяина дома и кинулся на улицу. Воры мигом вскочили на коней — и след их потерялся в тьме.

Мулла Фазлиддин наклонился над распахнутым сундуком. В слабом свете зажженной в нише свечки видно было, что воры успели запустить в сундук руку: чертежи кое-где были помяты, исчез, конечно, кошелек с золотом — подарок повелителя. Но Фазлиддину было не до золота. Как тайник, где хранились рисунки? Догадались о нем? Упаси господь, вскрыли? Он торопливо вытащил из сундука весь ворох бумаг, медленно сдвинул влево гладко отполированный железный квадрат на обнажившемся втором дне ящика — открылся еще один замок. Мулла Фазлиддин оглянулся: в доме никого не было, сосед во дворе развязывал слугу. Из-за пазухи халата мулла Фазлиддин достал маленький ключик, всунул его в тайный замок... Медленно приподнял крышку — вот они, его рисунки в тонкой папке. Он знал на память, в какой очередности они лежат... Старый садовод производит полив... Охота в горах Чилмахрама... Внизу — изображение прекрасной девушки, играющей на чанге... Это — дочь мирзы Умаршайха Ханзода-бегим.

Когда мулла Фазлиддин вернулся из Герата, его работа в Андижане началась с росписей загородной усадьбы Умаршайха. Ханзода-бегим признала, что мулла Фазлиддин владеет искусством живописания, и как-то однажды попросила нарисовать ее. Приходилось делать это втайне. Есть ведь люди, которые на все пойдут, лишь бы им прослыть защитниками шариата и священных хадисов. Да и отец был бы, конечно,

против затеи дочери, а уж ему-то, художнику, исполнителю пожелания прекрасной властительницы, совсем бы несдобровать!..

Слуга наконец пришел в себя и более или менее связно рассказал о подробностях налета на дом. Мулла Фазлиддин сравнил его рассказ и рассказ соседа со всем, что сам увидел, и пришел к выводу, что неизвестные вовсе не были простыми ворами. Что они искали в доме? Чертежи? Но их они не унесли, хотя чертежи лежали сверху. Значит, искали рисунки. Значит, их мог послать только тот, кто знает об умении муллы Фазлиддина писать картины и кто мстит ему за какую-то обиду.

И зодчий вспомнил, как весной один из самых видных и богатых андижанских беков Хасан Якуб пригласил его к себе и сказал чванливо:

— Хочу построить баню, лучше чем у всех! И чтобы в ней были мраморные бассейны для летних купаний...— Хасан Якуб понизил голос:— Накуплю рабынь-красоток: золота у меня хватит... И хочу, чтоб так было сделано: когда эти девушки будут купаться в бассейнах, я в маленькие окошечки незаметно разглядываю их, ловко скрытые должны быть окошечки, поняли?— бек расхохотался самодовольно и счастливо.— Пригласил вас, чтобы предложить взяться за строительство такой бани. Готов заплатить любую цену!

Мулла Фазлиддин верил в святость дела зодчих. Не сумев скрыть неприязни, отказался от «нечестивого строительства».

— А что в том нечестивого?.. Я ведь строю баню на собственные деньги!

— Есть мастера, господин, которые поднаторели в возведении таких «окошечек», вам лучше обратиться к ним. Мне же наш повелитель приказал построить медресе. И я занят подготовкой чертежей... Разрешите мне откланяться!..

Хасан Якуб покосился на муллу Фазлиддина:

— Ладно!.. Но то, что я сказал, пускай останется между нами, господин зодчий. В противном случае...

— О, конечно, наша беседа здесь началась, здесь и закончилась. Но и вы не будете на меня в обиде, правда, господин бек?

«Не будете на меня в обиде»... Как бы не так! Толстошней Хасан Якуб отплатил за унижение. Дней через пятнадцать после того, как зодчий отделался, как

ему казалось, от одного бека, к нему домой, вечером, в сумерках, явился еще один богатый бек — Ахмад Танбал. Наедине, без свидетелей Ахмад Танбал вынул из кармана мешочек с золотом...

— Господин зодчий, возьмите это золото и исполните для меня один рисунок...

— Какой рисунок?

Ахмад Танбал уже перешагнул за двадцать пять лет, но растительности на его лице все еще не было. Безбородый бек приблизил тонкие свои губы к уху муллы Фазлиддина и прошептал:

— Мне нужно изображение нашей бегим!

— Какой бегим? — настороженно спросил мулла Фазлиддин. — Ханзоды-бегим?

— Когда в загородной усадьбе вы расписывали покой повелителя, вы увидели ее впервые, да?.. Ханзоду-бегим, да? Она только и говорит о вашем искусстве...

Сердце муллы Фазлиддина так заколотилось, будто сейчас разорвется. Неужели этот безбородый пронюхал?

— Кто вам сказал это?.. Я зодчий... Я могу делать рисунки зданий, сооружений...

— Не скрывайте от меня, господин зодчий! Я не факих, наблюдающий за исполнением шариата. Я не из тех, кто преследует изображающих живое!.. Правду говорят, что стены дворца, построенного в Герате для Байсункура-мирзы великим шахом Шахрухом, украшены изображениями красивых девушек? Правда?

— Правда, но... У каждого города свои весы и свои гири. Если слова об изображении Ханзоды-бегим услышит наш повелитель, что будет? Вы об этом подумали?

— Никто ничего не услышит, — прошептал Ахмад Танбал. — Нет никаких свидетелей! Согласитесь, зодчий! Возьмите, возьмите золото!

— Не спешите, бек... Кто вам сказал, что я могу изображать людей?

— Слышали... люди знают...

— От кого слышали? От Хасана Якуб-бека?..

— Хасан Якуб-бек просlyшал о том от одного садовода...

«Значит, они в словоре, — подумал мулла Фазлидин. — Хотят меня прибрать к рукам... Чтоб для такой голой жабы я написал изображение нашей бегим? Нет, я еще не сошел с ума!»

— Господин Ахмад-бек, когда ваш покорный слуга

набрасывает на бумаге чертежи садов, он — в одном из уголков чертежа — может изобразить скромного садовода: искусство зодчего, да и святой Коран, такое не возбраняют. Но изобразить Ханзоду-бегим? О нет, на это у меня ни прав, ни умения, ни смелости!

— Короче говоря, вы хотите отказать мне? Мне?!

— Другой возможностью, увы, не располагаю. Извините меня... Думаю, что и приходить ко мне с таким предложением небезопасно! Даже вам!

— А я не из тех, у кого заячья душа! — Ахмад Танбал сердито вскочил с места. — А вот кое-кто из трусливых пожалеет о своей трусости!

Так угроза эта и осуществилась налетом четырех неизвестных... Устоять зодчему перед происками такого бека, как Ахмад Танбал, у которого, говорят, двести головорезов на службе? Невозможно! Но и смириться нельзя,— ничего не предпримешь в ответ, этот сумасброд может натворить еще больших пакостей!

Наутро, после бессонной ночи, мулла Фазлиддин оседлал коня, того самого, что подарил ему Умаршайх, и направился в приемную андижанского градоначальника. Худощавый, высокий градоначальник слушал зодчего, что называется, вполуха, голова Узуна Хасана была занята заботами о том, как загнать в войско побольше людей, как усилить оборону города. Безразлично глядя куда-то поверх склоненного муллы, Узун Хасан ронял небрежно:

— Мне, прошу простить, сейчас не до таких дел... досадно, конечно, терять золото... Но раз не тронули ваших чертежей, то это воры из пригородных тугаев. Там их укрытия. Благополучно избавимся, по воле все-вышнего, от забот войны и обязательно очистим тугай от воров и разбойников... А сейчас, сами видите, не до того... — и градоначальник развел руками.

Мулла Фазлиддин подошел поближе, вновь почтительно наклонил голову:

— У меня другое предположение, господин градоначальник, — тихо произнес он. И коротко рассказал, как Ахмад Танбал домогался получить изображение человека. Или заказать таковое.

— Изображение? Чье изображение? — поинтересовался градоначальник.

— М-м-м... Некой сказочной пери... Я хорошо не уразумел, чей...

— А может быть, у вас в сундуке были изображе-

ния? Пёри или земных девушек, а, господин зодчий?..
Разбойники не унесли их?

— Откуда там быть такому, господин градоначальник? Я занят чертежами медресе, которое приказал взвести наш повелитель. Для живописи у меня нет ни времени, ни таланта... И конечно, желания нет тоже, досточтимый. В сундуке были еще не завершенные чертежи, только они!

— Так они-то на месте?.. А раз так, зачем же вам подозревать почтенного Ахмад-бека?

Постояли друг против друга, помолчали.

— Я правдиво сказал о причине налета на мой дом, господин градоначальник! Прошу вас провести дознание!

— Ахмад-бек из рода султанов, я вам хочу о том напомнить. Старшая жена нашего повелителя Фатима-султан-бегим родственница Ахмада Танбала. Кстати, по зову Фатимы-бегим почтенный Ахмад-бек сегодня на рассвете отправился в столицу государства нашего, в Ахсы.

«Если б этот безбородый получил рисунки из сундука, то наверняка передал бы их и повелителю, и старшей бегим, своей сестре,— эта мысль словно морозом обожгла душу муллы Фазлиддина.— Да только ли для моего погубления нужно ему было изображение Ханзоды-бегим?.. А что же? Ведь он султанского рода. Неженатый еще, а жениться пора, по годам. Вот этот «почтенный бек» и задумал стать зятем повелителя и мужем прекрасной бегим».

Мулла Фазлиддин почувствовал себя будто в липкой паутине. Надо вырваться, вырваться!

— Господин градоначальник, здесь, в Андижане, милостивый наш повелитель отдал меня под вашу защиту! Если вы не накажете разбойников, я вынужден буду обратиться прямо к повелителю.

— Не забудьте, господин зодчий, что раньше вас самих к повелителю придут слова, которые вы любите высказывать.

— Какие слова, господин градоначальник?

— Некоторые... м-м-м... любят говорить так примерно: «Не венценосные владыки оставляют след в памяти людской, а поэты, зодчие и живописцы». Некоторые говорят, а кое-кто слушает... Друзья поэтов и зодчих бывают и нашими друзьями.

Вот как: значит, здесь кругом соглядатаи и наушни-

чающие. Но опаснее всего показать свой страх! И мулла Фазлидин резко проговорил:

— Это все клевета! Господин градоначальник, я знаю немало таких «друзей», что клевещут и на вас! Да и вы о том знаете... Какое бы здание ни построил я в Андижане, на всех письменами увековечиваю имя нашего повелителя мирзы Умаршайха! Посмотрите еще раз на ворота крепостного дворца! Посмотрите покой в загородной усадьбе! Где-нибудь написано там мое имя? Значит, в истории останется не мое имя, а имя повелителя нашего — вот о чем я забочусь! Так или не так? Скажите!

Узун Хасан растерянно молчал.

— И вот, вместо того чтобы защитить меня от воров и разбойников, вы поддерживаете клевету на меня! О небо! Я буду жаловаться на вас повелителю!..

Этих слов произносить не следовало. Узун Хасан сразу подобрался.

— На меня пойдете жаловаться? — откинул голову еще выше. — Ну что же, идите жалуйтесь! Вас не боюсь. В эти тревожные дни, когда с трех сторон нас обступили враги, повелителю, государству нашему нужны боевые беки, а не зодчие! Ради таких, как Ахмад-бек и я, наш повелитель прогонит десятки подобных вам.

— Увидим, кого прогонят, когда будем в Ахсы, — не помня себя, выкрикнул мулла Фазлидин.

Резко повернулся, вышел из приемной с таким видом, словно немедленно он отправляется в Ахсы. Но дома он, конечно, остыл: ведь в словах Узуна Хасана была горькая правда. Мирза Умаршайх, конечно, не будет защищать зодчего, не может (в тако-то время!) идти наперекор бекам с их нукерами. Это — настоящие воины, а не согнанные насильно в необученное ополчение дехкане. «И не бесполезные зодчие», — горько усмехнулся мулла. Значит, Ахмад Танбал уже сегодня будет в Ахсы, во дворце, и сразу же начнет болтать направо-налево, что мулла Фазлидин написал изображение дочери повелителя... Оскорблениe дому! Встречаться с бегим в беседке, тайно, отослав служанок?! Изображать живую прелесть человека, да еще какого?! Оскорблениe шариата, оскорблениe семейной чести повелителя!

Забить его палками, каменьями, предать мучениям и смерти того, кто принес позор дочери властелина!

Мулла Фазлидин сполна ощутил, сколь опасное

дело он затеял, поддавшись просьбе Ханзоды-бегим. Какое наслаждение испытывал он тогда, с кистями и пером в руке, живописуя такую красоту,— но ведь и посительнице этой красоты не поздоровится, если ее изображение попадет к чужим людям, на чужие глаза.

Дрожащими руками мулла Фазлиддин достал из тайника изображение Ханзоды. Не оставлять доказательств подлым бекам, уничтожить рисунок! В огонь его, в огонь!

Тончайшими движениями кисти и пера исполнен был рисунок. С него смотрела удивительная девушка, словно живая смотрела, и в свете огня из очага еле заметно трепетали ее длинные ресницы, ласково улыбались алые губы. Красота и обаяние Ханзоды вновь околдовали душу зодчего. «Неужели я люблю эту девушку?— радостно и удивленно подумал мулла Фазлиддин.— Ну, не смешно ли, когда бедняк влюбляется в дочь шаха? А если этот бедняк потом становится художником? Нет! Я люблю собственное произведение. Его надо сжечь. Буду жив — еще напишу такое же!»

Он нагнулся, чтобы бросить рисунок в огонь. И — не смог. Ему показалось вдруг, что лицо изображенной мучительно корчится, охваченное жестоким пламенем. Он отпрянул от очага. Как это можно — убить живого человека, бросить в пламя свою любимую? Внутренний голос угрожающе закричал ему: «Трус! Трус! Твои враги еще не стучатся к тебе в двери, а ты уже готов на преступление! И не смей лгать самому себе: такое ты больше никогда не сможешь написать! Ты передал не одну красоту — ты смог изобразить нежность бегим, ее удивительность, а такая вдохновенная удача не повторяется!.. Если ты мужчина, спаси ее!»

Мулла Фазлиддин вновь бережно упрятал рисунок под второе дно сундука. Позвал слугу:

— Немедленно собирай вещи и запрягай лошадь! Уедем отсюда! Сегодня же! Сейчас же!

Вот и теперь, в доме мужа своей сестры, рассказывая о случившемся, мулла Фазлиддин даже от родных утаил, что в железном сундуке хранит портрет Ханзоды-бегим. Эту тайну он не хотел раскрывать никому.

— Эх, судьба, судьба-мачеха! — тяжко вздохнул отец Тахира.— Вы были нашей опорой и надеждой, мулла Фазлиддин. А уж коли и вы подверглись немилости судьбы... Не поможет ли повелитель?

— Когда прекратится война, даруй аллах нам побе-

ду, я пойду к повелителю. Прислушается он к моим скорбным просьбам — хорошо, не прислушается — снова уеду в Герат! Я слышал, что Алишер Навои хотел строить лечебницу. Нам, зодчим, в мире ныне единственный огонек надежды горит там, где Навои.

— Что ж Герат... не один на свете Герат, мулла Фазлиддин, ценит вас. И в Фергане есть такие люди. Мы, кувинцы, до сих пор поминаем вас добрым словом — за мост ваш.

— Завтра или послезавтра по этому мосту пройдут враги! Как подумаю о несчастьях, павших на нашу голову, начинаю жалеть, что ливни не вызывают селя,— унес бы он этот мост! Хоть бы сгорел он, этот мост, чтоб враг не смог пройти по нему, я бы доволен был всей душой!

«В самом деле,— вдруг подумал молчавший до сей поры Тахир,— мост деревянный, полить маслом и — поджечь. А враги переправиться могут только по этому мосту. Бруда нет: кругом болота, камыши. Если деревянный мост сгорит...— Тахиру стало жарко, будто мост уже трещал, объятыый пламенем.— Вот щит, который укроет Робию!— Тахир посмотрел на отца и дядю.— Сказать им? Нет! Отец не согласится пойти на такой риск: я единственный сын... Дядя — ученый человек, лучше его не впутывать. Надо найти молодых парней, верных и бедовых».

Тахир медленно поднялся из-за дастархана и вышел во двор. Потом за ворота.

В разрывах все еще тяжелых туч можно было заметить редкие звезды. Дома без огней. Кругом тишина. Даже лая собак не слышно.

Махмуд тоже вышел в проулок — будто сговорились они с Тахиром о времени. Сразу начал разговор об отъезде сестры:

— В крепости будет жить. Крепость андижанская сильная...

— Э, не такая уж и сильная,— остановил его Тахир и быстро пересказал услышанное от муллы Фазлиддина.

— Где же теперь найдем спасенье, о господи!

— «Сам ради себя умри, сирота, никто другой тебе не поможет». Помнишь, Махмуд, такую поговорку? Давай зайдем к вам во двор. Тайну сохранить сумеешь?— И сразу выпалил:— Подожжем мост, задержим врагов, понял?

Махмуд сначала отнесся к затее Тахира с недоверием. Мост слишком велик. И гореть в дождь дерево не будет. И охрана есть на мосту.

— Охранники эти поставлены нашими беками. Вслед за беками они улепетнут в крепость, вот увидишь! Никто нам мешать не будет — ночью подожжем! Маслом польем, загорится.

— Не спеши! Говорят, из Ахсы идет наш повелитель с войском. Значит, мост понадобится своим!..

— Если б повелитель вышел навстречу самаркандцам, то уж давно был бы здесь! А он не собирается покидать крепость... Да и крепости сдаются. Вот Маргилан — сдался! Говорю тебе: сам умри ради себя.

— Не знаю: кадхуда убеждал, что повелитель идет. «Спешит выручить нас», так говорил.

— Я не верю!

— А я верю!

— А я нет!

АХСЫ

1

Остроконечным утесом чернеет в ночи крепость Ахсы, взнесенная на высокий холм. У подножья врываются в Сырдарью Касансай — издали слышно, как волны двух бурных рек борются друг с другом, гулко бьются о берег.

Повелитель Ферганы и властитель Ахсы мирза Умаршайх эту ночь провел в опочивальне гарема с восемнадцатилетней Каракуз-бегим.

За шелковой занавеской скрывалось ложе, а перед занавеской горел один-единственный светильник. Его слабый свет дрожал, словно в страхе перед окружающей темнотой.

Ближе к рассвету тишину в крепости нарушил нежно-заунывный звук сурная. Затем к нему присоединилась дробь двух барабанов. Любой мусульманин обязан соблюдать пост: и шах, и слуга одинаково внимают сурнаю и барабану, возвещающим о том, что наступает сахарлик.

Летние ночи коротки. Вставать до рассвета — неприятно. Но что ж делать: того требует сахарлик.

Каракуз-бегим тихо соскользнула с ложа. Умаршайх — две подушки подоткнуты под бока, могучие

руки высунуты из-под шелкового покрывала — не шевельнулся.

В красивом и просторном зале ждал Умаршайха пышно обставленный дастархан. Вчера еще, после ифтара, повелитель сказал, чтоб на сегодняшний сахарлик собирались все три жены и дети. Первая жена миры Фатима-султан, вторая жена Кутлуг Нигор-ханум, семнадцатилетняя дочь Ханзода-бегим и десятилетний сын миры Джахангир — уже сидят. Но пока повелитель сам не появится здесь, не отведает еды, никто, конечно, не коснется ее.

Отворились резные двери, что ведут из зала во внутренние покои,— вышла Каракуз-бегим, маленькая, изящная, красивая. Она застенчиво поздоровалась со старшими женами и добавила, что не осмелилась разбудить повелителя.

Молодость Каракуз-бегим, сияющая красота ее и застенчивость («застенчивость? Но кто же не знает, что эта девчонка сейчас любимая жена миры?») вмиг пробудили задремавшую было ревность у Фатимы-султан:

— Вы сумели так крепко усыпить нашего падишаха, почему бы вам не осмелиться разбудить его?

Кутлуг Нигор-ханум не понравился этот укол. Зачем она так? Да еще при детях?

— О Фатима-султан, не говорите так, за Каракуз-бегим нет никакой вины! — сказала она.

Ханзода бросила на мать вопрошающий взгляд: «Во всем виноват отец?» Он ведет себя странно, право: опасность войны повергла всех в тревогу, враги у ворот, а он спит себе спокойно и вообще... столько времени проводит в гареме. Каракуз — почти ровесница его дочери. Прямо стыдно за него!

Ханзода почувствовала, что, когда отец придет сюда, она уже не в силах будет взглянуть на него.

— Разрешите мне, матушка, я пойду... сахарлик... я со своими девушкиами...

— Если спросит ваш отец, где Ханзода-бегим, что мы ответим ему? Как бы его не обидеть! Подождите...

Вошла женщина-чошнагир, низко всем поклонилась, понизив голос, сообщила:

— Звезды в небе редеют. Скоро наступит рассвет. Или повелитель решил пропустить сахарлик?

На целый долгий знойный летний день оставить человека без пищи и питья? Но кто из жен нарушит покой повелителя?

Каракуз-бегим, только она. С ней в опочивальне провел ночь мирза, так и стоит она у дверей, ведущих к нему, спящему сладко. «Привалилась к косяку, блудливая девчонка», — подумала Фатима-султан. «Бедняжка боязлива», — подумала Кутлуг Нигор-ханум. А чошнагир просительно посмотрела на Каракуз-бегим и сказала:

— Да ниспошлет вам всевышний сына, могучего, как Рустам, бегим!.. Наша надежда на вас.

Растерянность Каракуз-бегим сменилась озабоченностью, она медленно пошла в опочивальню, закрыв за собою двери.

Мирза Умаршайх крепко спал, Каракуз-бегим взяла золотой подсвечник, юркнула за занавеску, поставила горящую свечу в настенную нишу. Теперь свет падал прямо на лицо мирзы. Но и свет не разбудил его — вчера вечером Умаршайх поел мажхун, туда добавляют чуть-чуть опиума.

Каракуз-бегим, боясь своей дерзости, заговорила мягким голосом, но настойчиво:

— Мой повелитель... Мой повелитель!.. Проснитесь!

Женщина встала у ложа на колени, дрожащие нежные ладони положила на широкие мужские руки, вздохнула встревоженно. Постель пахла розами — вчера вечером на простины был пролит настой из розовых лепестков. Каракуз-бегим долго вглядывалась в лицо мужа. Губы полураскрыты, бледное лицо дышит спокойствием. Грозный падишах? Да нет, красивый, сильный мужчина, сорока еще нет. Ее муж, ее повелитель, богатырь — и сон у него богатырский. Дорогой, близкий. Женщина вспомнила радости прошедшей ночи — закраснелась вся. И тут же ей подумалось, что любовь — это что-то такое... такое непрочное. Сейчас на Ахсы идут враги, и кто знает, что будет с ними завтра? Сердце Каракуз-бегим упало, будто предчувствие близкой смерти Умаршайха коснулось ее крылом. Она быстро нагнулась и начала целовать мирзу — глаза, губы, руки.

Умаршайх вздрогнул, пробудился, сел в постели: несколько мгновений он сонно смотрел на Каракуз-бегим, как бы сияясь узнать ее.

Большие глаза Каракуз-бегим еще больше округлились от страха: она целовала спящего мужа, чтоб его разбудить! Не сочтет ли он такое за неприличие?

— Ты? — мирза потянулся и, догадываясь о причине страха жены, засмеялся.

Каракуз-бегим облегченно вздохнула.

— Мой повелитель, время сахарлика проходит.

— Твои поцелуи слаше самых сладких кушаний.

Иди-ка сюда...

— Но там,— Каракуз махнула рукой на дверь,— там с нетерпением ждут вас...

Мирза Умаршайх окончательно пробудился, вспомнил сегодняшние заботы. Нахмурив брови, отстранил жену и молча встал с постели...

Он вошел в застланный златоткаными курпачами зал — хорошо одетый, важный, настроенный на серьезное. Дорогие жемчужины на чалме, золотое шитье на поясе поблескивали тоже важно и серьезно. Обычные поклоны, обычное молчание женщин, ожидающих его приглашений. Кого из своих жен и на какое место он пригласит? Очень важное дело, очень серьезное.

В Ферганскую долину с трех сторон вторгаются враги; есть опасность, что крепость Ахсы будет осаждена. Мирза Умаршайх решал задачу — помирить своих жен, он хотел оказать знаки должного внимания каждой. Самой старшей и самой тщеславной была Фатима-султан, ее мирза пригласил сесть рядом с собой. Глаза Фатимы заблестели от радости, она хотела сесть по правую руку Умаршайха, однако мирза показал ей место слева от себя. А направо, на самое почетное место, пригласил Кутлуг Нигор-ханум. Тоже неспроста: ханум ведь мать наследника престола Захириддина Мухаммада Бабура. Фатима-султан зло сощурила глаза.

Шашлык из сайгачьего мяса, жареные куропатки, иные яства — все это после Умаршайха ставилось перед Кутлуг Нигор-ханум, и лишь затем приходила очередь Фатимы; свежайшее, нежное, тающее во рту мясоказалось Фатиме-султан невкусным — словно подогретая пища.

Голодными не были (с вечерней трапезы прошло всего несколько часов), но все ели, насиلاя себя. Одна Каракуз-бегим, сидевшая рядом с Кутлуг Нигор-ханум, избегала мяса, ела огурцы, хандаляк да пила шербет — вчера измучилась жаждой, сегодня запасалась влагой впрок.

Чем ярче разгорался рассвет, тем быстрее тускнело

пламя свечей. Настало время утреннего азана. Имам мечети, забравшись на минарет, с нетерпением ждал знака бакавула: пока не закончится сахарлик повелителя, с азаном лучше подождать.

Когда приступили к чаепитию, мирза мог поведать женам, сколь сложно перепутались дела государственные.

Умаршайх еще не начал рассказывать, послышался азан. Ханзода-бегим быстро поставила на дастархан пияалу, так и не допив чая.

— «Все части тела должны жить в единстве» — таков завет мудрецов. Фатима-султан, Кутлуг Нигорханум, Каракуз-бегим, дети мои, Ханзода и Джахангир, — мирза поочередно осматривал называемых, — каждый из вас часть общей семьи. Хочу, чтоб в эти трудные дни вы оказывали друг другу уважение и помощь. Руки на своем месте ценные, глаза — на своем. Коль руки или глаза навредят друг другу, всему телу навредят — и будут наказаны!

Все поняли, в чью сторону пущены эти две стрелы. Щелки глаз Фатимы-султан еще больше сузились. Мысли Кутлуг Нигорханум тут же понеслись к единственному сыну Бабуру, который находился вдали от отца и матери — в Андижане. Повелитель не назвал его по имени — почему?

— Повелитель, ваши слова — драгоценные жемчужины, — сказала Нигорханум. И добавила: — Если позволительно мне будет попросить...

Умаршайх кивнул в знак согласия.

— Опасность войны, оказывается, велика. Я боюсь за наследника престола, за мирзу Бабура, и боялась бы меньше, находясь он рядом с нами...

— Андижанская крепость прочна. А с мирзой Бабуром неприступна. Возлагаю на него большие надежды.

Ханум получила отказ. Фатима-султан привлекла к себе полусонного Джахангира, погладила сына по голове. Пусть видит эта лиса, кто из них счастливей: по крайней мере ее сын при ней, при матери, а вот «наследник престола»...

— Мать мирзы Бабура благодарит повелителя за столь лестные слова о сыне-наследнике, — Нигорханум на миг запнулась, — только... как же так?.. подросток, которому еще не исполнилось двенадцати... на поле сражения...

— Нет оснований для тревог, ханум. К мирзе Бабуру приставлены лучшие наши беки. Он молод, но уже должен учиться воинскому умению. Если мне суждено умереть, пусть мое место займет полководец Бабур!

Тридцать девятый год идет повелителю, и вдруг он заговаривает о своей смерти. Ах эта война! Женщины опечалились. Ханзода-бегим, забыв свои недавние чувства, с жалостью посмотрела на отца. Умаршайх громко, намеренно отчетливо, чтобы все хорошо слышали и хорошо поняли, продолжал:

— Если я на поле брани или по какой-либо случайности покину бренный мир, все вы должны исполнять распоряжения мирзы Бабура как мои собственные. Мирза Джахангир! Ты спиши, что ли?

Мальчик встрепенулся, насторожился, мгновенно приложил к груди ладони:

— Слушаю, повелитель!..

— Эти мои слова запомни и ты! Хоть мирза Бабур старше тебя всего на два года, но если останется он вместо меня, ты должен стать ему преданным сыном.

— Исполню, повелитель!

Ребенок не понял затаенного-важного смысла слов отца, но послушание уже стало привычным ему. Старшие жены были напуганы — каждая по-своему. В глазах Каракуз-бегим (она не отводила их от лица мужа) заблестели слезы. Умаршайх увидел их, вспомнил поцелуй своей молодой жены сегодня на рассвете, но воспоминание почему-то не доставило удовольствия: «Целовала, будто прощалась с покойником», — подумалось ему. И сейчас сказанное им тоже схоже с завещанием. Сердце Умаршайха забилось гулко, предупреждающе. «Что это со мной? Неужто я почувствовал приближение ангела смерти? Нет, нет!»

Ханзода-бегим заметила смятенное состояние отца. Он нуждался в помощи, в ее помощи!

— Мой повелитель, ваша дочь желает, чтобы все-вышний дал вам долголетие шейха Саади! Живите до ста лет!

— Пусть сбудется твое желание, дочь! — Мирза Умаршайх будто очнулся от оцепенения, будто впервые понял, как умна его дочь, как созрела ее красота. — Прежде всего я хочу провести твою свадьбу сам!

Ханзода в свое время сватали за сына самаркандско-

го властителя, за мирзу Байсункура. Но окончательного согласия на этот брак Умаршайх еще не дал. А теперь вот с самаркандцем война. Правда, если уж придется совсем туго, он выдаст за сына своего старшего брата дочку и таким древним способом, пожалуй, превратит войну в мир. Но и Ханзода понимала это и страшилась этой возможности, как тьмы ночной. У нее были другие мечты. Поэтому она повернула разговор в прежнее русло.

— Если нет возможности пригласить моего брата Бабура, разрешите мне и моей матушке поехать в Андижан! — смело предложила она.

— Дочь моя, ты бесценная жемчужина в моей сокровищнице. В эти опасные дни я не могу выпустить тебя из-под своего крыла!

— В таком случае разрешите мне одной, повелитель! — снова оживилась Кутлуг Нигор-ханум.

— Э, ханум, зачем спешить? Из Маргилана мы ждем гонца. Коли будет можно, разрешение получите...

Умаршайх наскоро помолился, встал с места и пошел из гарема. Голова его была уже вся занята заботами войны.

Лишенные права входить в гарем, телохранители мирзы всю ночь ожидали его снаружи. Отступив на два шага, чтобы не мешать размышлениям повелителя, не привлекать к себе его внимания, они тихо и незаметно последовали за ним.

2

Утро наступило. Военачальники-беки и придворные собрались, когда солнце еще не успело взойти. В приемном зале они встретили мирзу низкими поклонами. Густобородый первый визирь, в роскошном золототканом чапане с подобающим возрасту и чину поясом, выпрямился раньше других. Его и спросил мирза, откуда прибыли гонцы.

— Из Исфары, повелитель.

И снова согнулся в низком поклоне, пряча лицо.

— Ну и какие вести?

— Повелитель, пощадите своего раба...

— Так... значит, Исфара тоже в руках врага!

Ощущая неприятную внутреннюю дрожь, Умаршайх спросил о гонце из Маргилана.

— Повелитель, ждем с нетерпением маргиланского гонца.

Неужели Маргилан тоже покорится? Но тогда под угрозой будет и Андижан! Почему нет гонцов? Попали в западню, перехвачены? А может быть, маргиланцы стали изменниками?

— Сделает ли повелитель распоряжение отправить наших новых гонцов?

— И будем потом смотреть на дорогу, ожидая ответных? Сколько дней прождем?

Визирь опять поклонился и, будто извиняясь, отступил назад.

Теперь мирзе стало ясно как день, что не избежать осады. Он распорядился заготовить продовольствия на шесть месяцев. Из-за того что крепость стояла на высоком холме, в ней не было воды. Мирза поручил тридцатилетнему Касымбеку, стройному, быстрому в любом деле, построить еще один каменный водоем, согнать водоносов и заполнить его доверху.

Беки видели, что повелитель не в духе, и сразу же приступили к выполнению его приказаний. Сам Умаршайх верхом выехал из арка в сопровождении конной свиты.

Всадники направились к голубятне, что стояла на высоком берегу реки, верхней террасой своей нависая над обрывом. Гонцы, посланные из Ахсы, исчезли без следа, и мирза решил пустить в дело почтовых голубей.

Все надежды теперь были связаны с птицами, наученными летать на Маргилан и Коканд. Принесли их, успокоили, свернутые трубочкой письма прикрепили к внутренней стороне крыльев. Мирза Умаршайх любил собственноручно запускать голубей в небо. Он осторожно взял в руки голубя небесного цвета и по деревянной лестнице поднялся на крышу.

Отсюда хорошо была видна вся округа. Из-за далеких гор медленно вырастало солнце, под его лучами искрилась внизу река. Легкий ветер дул в лицо нежно, будто поглаживал щеком. Мирза долго не отводил взгляда от укрепленной крепости, от ее подножья, пересеченного глубокими оборонительными рвами. «Эти рвы еще наполняются мертвыми телами моих врагов», — подумал Умаршайх.

И ни он сам, ни его люди не подозревали, что напористый речной поток незаметно подмывал и подмывал берег, вымывал и вымывал камни из-под основания

холма, разрыхляя основу, на которой держалась голубятня. Голуби чувствовали опасность. В своих красивых чистых клетках они по ночам беспокойно били крыльями. И сейчас они пренебрегли сытным кормом и обильной прозрачной водой, нервно клевали прутья клеток, стремились наружу. Голубятники не понимали причин такого поведения птиц и молча пожимали плечами, когда придворные о том осведомлялись. Лишь этот, небесного цвета, голубь в руках мирзы Умаршайха вел себя спокойно.

Умаршайх подошел к самому краю крыши. Прижал на мгновенье к губам нежное крыло, прошептал, будто голубь мог понять его: «Лети в Маргилан, мой крылатый. За доброй вестью — лети...», откинулся назад всем телом и бросил вверх, к синим небесам птицу своей надежды. И в эту самую минуту, от такого мизерного, казалось, толчка, деревянная верхотура голубятни накренилась и с треском поехала вниз, не поддерживаемая вконец размытым основанием. Пополз кусок берега, осыпаясь в поток; сверху же обрушились задняя стенка голубятни и настест, — сначала медленно, а потом все быстрее, на ходу разваливаясь, вздымая пыль, увлекая за собой в пропасть грузного Умаршайха. Его отчаянный крик смешался с грохотом падающих стропил, досок, обломков кирпичей, вспененной реки, — и последнее, что он увидел, был голубь, взмывающий в пыльного облака к небесам...

3

Тело занесли в цитадель и обмыли. Лицо, разбитое до неузнаваемости, прикрыли шелковым покрывалом.

В зале, где неполных два часа назад сахарлик собрал всю семью, горько рыдала Каракуз-бегим, обняв Кутлуг Нигор-ханум.

— Я, я причина смерти повелителя, о ханум-ая! Зачем, зачем я разбудила моего повелителя?! О, я, проклятая, виновата в его смерти! Я!

Кутлуг Нигор-ханум вспомнила, как сегодня мирана беседовал с ними странным образом, будто завещание составлял, — вспомнила и тоже заплакала.

— Э-э-эх, откуда знал он о своей смерти, а? Как говорил он сегодня с нами, как говорил!

Каракуз-бегим, освободившись из объятий ханум,

сидела, раскачиваясь, маленьким кулачком ударяя себя по голове.

— Я лишила отца еще не рожденного сына, о ханумая,— горько шептала она.— Он узнал лишь вчера вечером и пожелал: «Пусть будет сын!» Сын, сын... Где теперь его отец? Где?.. Зачем, зачем я разбудила моего повелителя? Лучше уж мне было умереть, мне упасть с того крутого обрыва!

— Не говори так, душа моя!.. Надо жить для сына. А обрыв?.. Все мы стоим на краю обрыва! Всех нас ждет опасный обрыв! О боже!

Ну, не странна ли, не загадочна ли эта неожиданная смерть мужа? Мирза Умаршайх, воинственный правитель, храбрый воин, сколько он носился по полям битв с обнаженным мечом, а погиб из-за обвала берега. Случайно ли это? Не знак ли это свыше? Государство, построенное его дедами, разве оно не похоже на сооружение, воздвигнутое на кромке обрывистого берега? Страна, раздираемая междуусобицами... В воображении Кутлуг Нигор-ханум будущее вдруг приняло зримый вид. Она вздрогнула, потому что привиделся ей тут же единственный сын, любимое дитя, Бабур. Жизнь отца низринулась с обрыва во всепоглощающий поток. Не унесут ли и Бабура беспощадные волны?

— Нет! Нет! Да хранит его всевышний!.. Я пойду, бегим, пойду,— извинилась она перед Каракуз,— пошлю гонца в Андижан! Я сама должна предупредить мальчика о гибели отца.

Доверенный бек второй жены покойного повелителя, Касымбек, сумеет передать письмо подавленной горем и предчувствиями Кутлуг Нигор-ханум к ее матери Эсан Давлат-бегим, которая жила в усадьбе под Андижаном вместе с Бабуром.

В то самое время, когда Касымбек получил в руки письмо ханум, султан Ахмад Танбал, тайно посланный в Андижан Фатимой-султан, пересек уже Сырдарьинский мост, на значительное расстояние опередив второго посланца. Чтобы не бросаться в глаза, он взял с собой одного нукера, а вчера прибыл из Андижана со свитой в шестьдесят всадников. Сегодня Фатима-султан многое, очень многое обещала ему. Если Ахмад Танбал сумеет объединить преданных ей беков, отстранить от престола мирузу Бабура и воздвигнуть на престол мирузу Джакангира, то... Ахмад Танбал уже немало лет провел в обидном ряду второстепенных беков при дворе Умар-

шейха. Теперь — хватит! Если Джахангир займет престол, султан Ахмад Танбал будет первым визирем. А быть первым визирем при повелителе-мальчике... не равносильно ли это тому, чтобы самому быть повелителем? Вот тогда он... не будет гнаться за рисунком, на котором изображена Ханзода-бегим. Он возьмет Ханзоду-бегим! Ведь правду сказать: ничего слаще этой мечты — стать повелителем такой красавицы — у Ахмада Танбала не было.

Он оглянулся назад, на свой след. Дорога пустынна.

Лишь через несколько часов из крепости выехал Касымбек. У мирзы Бабура тоже были сторонники. Их тоже надо было собрать и подготовить к борьбе за престол.

АНДИЖАН

1

Мирно еще в Андижане.

У ворот красивой загородной усадьбы, окруженной высокими стенами, поставлена обычная стража.

«Война» кипит внутри стен: двенадцатилетний Бабур-мирза азартно учится воинскому делу. Галопом мчится он по поляне, вот опустил поводья, быстро натянул тетиву лука и на всем скаку пустил стрелу. Раздался глухой, всасывающий звук: стрела впилась в доску, служащую мишенью.

Группа всадников в тени чинары наблюдает за упражнениями наследника престола. Мазидбек на вороном коне приблизился к мишени первым. Он был бекаткой мирзы Бабура. Когда Бабур вернулся назад, наставник повернулся к нему лицом, сказал нарочито равнодушно:

— Прицел был взят высоковато.— И тут же добавил, заметив, как расстроился мальчик:— Немного высоковато. А выстрел получился отменный!

Мазидбек вытащил стрелу из доски, отмерил пальцем глубину, на которую она вонзилась в дерево, показал Бабиру:

— Силы в ваших руках много, мой амирзода! Львиная длань! Недаром наш повелитель дал вам имя Бабур.

Нукеры мирзы Бабура, его оруженосцы и товарищи по играм — ровесники — также собирались вокруг мише-

ни. Знали, что лук Бабура был изготовлен с учетом его возраста, подобран по росту. Хвалили, конечно. Но Бабур тоже знал все это.

— Львиноруким пусть называют моего отца. Сам видел: его стрелы били в десять раз сильнее этой моей. А если он пустит в ход кулак, ни один могучий джигит не устоит.

— Вот и ваш покорный слуга хочет сказать, что ваша львинорукость оттого, что вы похожи на отца! — умело повернул разговор Мазидбек.

Бабур усмехнулся. Молча стер со своего широко-го, тронутого загаром лба и с верхней губы капельки пота.

— Да, становится жарко, мой амирзода. Летний пост изнуряет человека. Как бы до ужина вам не потерять силу. Надо отдохнуть в тени. Ваш покорный слуга оставит вас — его требует к себе подготовка обороны Андижана...

Но Бабур не любил отдыхать. Ему хотелось двигаться, куролесить. Глаза его засияли озорством, едва только Мазидбек уехал. Бабур остановил коня, оглянулся, подозвал к себе нукера. Нукер приблизился, Бабур протянул руку и попробовал седло на его гнедом, со звездочкой на лбу, коне: крепко ли сидит. Седло сидело крепко. Тогда Бабур приказал нукеру отъехать в сторону на пятьдесят шагов, спешиться и пройти мимо него, ведя коня в поводу.

В мальчишеской свите Бабура самым авторитетным был шестнадцатилетний Нуян Кукалдаш, вскормленный вместе с сестрой Бабура одной матерью. Догадавшись о намерении Бабура, Нуян забеспокоился:

— Мой амирзода, вы только сейчас закончили одно упражнение. Может быть, довольно? А другие сложные упражнения оставите на завтра?

— Пусть так и будет. А сегодня — легкие! — рассмеялся Бабур и резко взбодрил своего коня.

Тот быстро вошел в галоп, и тогда Бабур, уже дого-ния шедшего ровным шагом нукера, высвободил ноги из стремян, взял в зубы камчу и, как только его сивый поравнялся с гнедым, вытянулся, схватился за седло гнедого обеими руками и легко вымахнул из своего седла.

Конь нукера испугался прыжка и шарахнулся в сто-рону. Бабур на мгновение повис в воздухе, ноги со стуком ударились оземь. Но мальчик не разжал рук на

седле (руки у него и в самом деле были сильные!), удержался, повис; нукер мгновенно кинулся к лошади, резко остановил ее. Ноги Бабура пробороздили полукруг по земле; шелковый тюрбан слетел с головы мальчика, но сам он удержался на ногах, выпрямился,— а камча все еще зажата в зубах!— только лицо сильно побледнело. Нуян подскакал к нему, спрыгнул с коня, поднял тюрбан и хотел подать Бабуре. Но Бабур даже не взглянул на пыльный тюрбан. Взял в руки камчу, молча вскочил на сивого, которого нукер успел подвести к хозяину.

Бабур ударил коня камчой и поскакал меж деревьев, не разбирая дороги.

Дорога, по которой обычно ехали всадники, проходила по краю сада. Бабур же летел прямиком по узкой тропинке, вьющейся среди деревьев. Когда конь перескакивал через арыки, голова чуть не задевала за мощные ветви урючин. А он, крепко обняв шею коня, пригибался — и проскакивал. Урюк, сбитый его плечом, так и шлепался в воду.

— Ты почему не держал коня покрепче, дуралей! — закричал на нукера встревоженный Нуян. — Теперь на нас всех обиделся амирзода! Всем, глядишь, и попадет из-за тебя.

У богато убранного айвана в середине сада Бабур остановил коня.

Слуга подбежал к нему, чтобы принять повод, удивленно уставился на непокрытую голову всадника. Бабур невольно покраснел. Сейчас его увидит бабушка Эсан Давлат-бегим, увидит в таком виде, узнает, что случилось; слуги и нукеры, несомненно, будут наказаны, потому как повелитель Ферганы поручил именно ей, Эсан Давлат-бегим, беречь Бабура как зеницу ока и всю усадьбу со всеми слугами и предоставил поэтому в ее распоряжение.

Наперсники-мальчишки и нукеры со страхом приближались к айвану. И когда Бабур вошел внутрь помещения, спешились. Нуян Кукалдаш, очистив тюрбан Бабура от пыли, нес его в руках. Бабур появился в шапке — теперь бабушка ни о чем не спросит. Он оглядел группу прибывших. Нукер, что не удержал повод у шарахнувшейся лошади, кинулся было к ногам Бабура молить прощения, но Бабур тотчас поднял его с колен и повернулся лицом к Нуяну Кукалдашу. Как смешно тот держал его тюрбан, как бережно нес в обеих

руках, будто дорогой сосуд. Ожидали нукеры и наперсники гнева, а услышали смех. Бабур с наслаждением по-детски звонко, откинув голову назад, хохотал. Нуян Кукадаш посмотрел на тюрбан и тоже рассмеялся. Словно сбросив с плеч тяжесть, заулыбались и остальные. Бабур, перестав смеяться, повернул к себе лицом нукера, у которого шарахнулась лошадь:

— Ты ни в чем не виноват...

Нукер, получив такой подарок, медленно отошел, все время кланяясь Бабуре. А тот обратился к Нуяну:

— Пускай бабушка ничего не знает.

— Таково и наше желание, мой амирзода, — развеселился Нуян и хитро подмигнул товарищам.

Все они были мальчишки. И все понимали, что такое мальчишеские тайны.

И почти все не любили уроков.

Бабур всномнил, что сегодня у него урок с мударрисом, и настроение молодого миры опять испортилось.

2

Загородный дом напоминал дворец — пышностью обстановки, обилием украшений, резными орнаментами на дверях. Бабура в этом доме интересовала только одна комната. И хоть его ждал мударрис, Бабур повернулся к ней — к комнате, где хранились любимые книги. Позолоченные страницы, бархатные и кожаные переплеты, казалось ему, хранят дыхание великих поэтов. Бабур знает наизусть сотни и сотни байтов — из Фирдоуси, Саади, Навои. Вот он достает «Фархад и Ширин» и мысленным взором видит живущего в далеком Герате Мир Алишера. Андижанский зодчий мулла Фазлиддин, что учился в Герате, рассказывал Бабуре, когда строил этот загородный дом, расписанный золотом айван и мраморный хауз, много удивительного о Мир Алишере. Зодчий привез из Герата копию изображения Навои, знаменитого изображения, сделанного знаменитым Бехзадом. И, узнав, какой большой интерес питает Бабур к великому поэту, зодчий подарил эту копию мальчику.

Бабур достал рисунок из толстого тома «Фархад и Ширин» и заложил его в тетрадь записей своих уроков по шариату.

Пора было идти на этот урок.

Старец мударрис, бровастый, с белой, до живота, бородой, в большой белой чалме, сидел на банорасовой курпаче в середине учебной комнаты. Мударрис на фарси начал объяснять законы фикха. Бабур хорошо знал и арабский, и персидский, наизусть и с удовольствием читал многие суры Корана, интересовался юридическими правилами, но сейчас азарт еще бушевал в нем, озорство и бесшабашная сила жаждали проявиться в действии. А он был вынужден, не шевелясь, слушать скучный урок. Впрочем, зачем слушать на самом деле — можно сделать вид, будто слушаешь, а сам... Ну-ка, вспомним любимые бейты о подвигах Фархада...

Мужеству хочешь учиться? У мужественных — учись!

Бабур осторожно, чтобы не заметил мударрис, достал из тетради рисунок. Навои в длинном черном чекмене стоял, чуть опираясь на тонкий посох, и глаза его теплились добротой. Бабур мысленно спросил: «О великий амир, если будет мне суждено предстать перед вами и... и если, как Фархад, я одержу победу над всеми драконами и дэвами, что мне встретятся в жизни... дадите ли вы мне тогда ключ к волшебной двери поэзии?»

Мударрис медленно встал со своей курпачи и неожиданно быстро подошел к Бабуру. Тот не успел спрятать рисунок.

— Изображение человека?! — с угрозой спросил мударрис. — Вместо того чтобы слушать урок? Святой Коран и хадисы запрещают...

— Господин мударрис, этот рисунок... привезен из Герата. Видите, это великий Мир Алишер.

Мударрис слышал о поэзии Навои, но не читал ее.

— Распространять изображения живого, о мой амирзода, — дело, угодное шайтану! Дайте-ка мне рисунок, дайте-ка!

Мударрис так разгневался, что не ровен час возьмет да и разорвет рисунок. Бабур сказал: «Нет!» — твердо сказал, так, что учитель убрался гнева наследника. Но урок прервал и ушел жаловаться на Бабура к Эсан Давлат-бегим.

В учебный зал вплыла, шурша белым атласным платьем, дородная, лет пятидесяти пяти, женщина. Бабур быстро вскочил и поклонился бабушке. Эсан

Давлат-бегим взяла в руки злополучный рисунок. С интересом стала разглядывать изображение.

— В лице Мир Алишера есть, оказывается, что-то ангельское,— сказала она неожиданно для учителя. И добавила, чуть отвернувшись и прикрываясь от него краешком шелкового платка:— Почтенный мударрис, это изображение сделано в Герате с разрешения служителей религии.

— Простите, повелительница,— мударрис так и остался стоять у дверей, опустив очи долу.— Простите меня, но... в Иране и Хорасане истины шариата многажды нарушаются. Это все влияние злостных шиитов, враждебное нашему святому учению суннитскому. Хочу предупредить наследника престола: пророк Мухаммад, да святится его имя, завещал нам подлинное мусульманство, оно не в Хорасане, не в Иране — в Мавераннахре!

Эсан Давлат-бегим вовсе не хотела спорить с мударрисом, да еще о делах религиозных. Она повернулась к Бабуру:

— Господин мударрис, конечно, прав. На уроке фикха рассматривать какие бы то ни было рисунки неуместно, дорогой мирза. Придет время, когда с соизволенемья всевышнего вы начнете управлять страной. Фикх должно знать — от начала до конца. А рисунок... я возьму его с собой.

Бабур выпросил на одно мгновение рисунок у бабушки и опять заложил его в книгу.

— Вручаю вам свою мечту,— сказал он, протягивая Эсан Давлат-бегим книгу.

Слова внука понравились бабушке.

— А может быть, пригласить Мир Алишера сюда, в Андикjan?

— О, разве это возможно?— глаза Бабура вспыхнули.

— Так ведь почтил Мир Алишер своим приездом Самарканд. А достоинства Ферганы известны всему миру... До моего слуха дошло, что Мир Алишер порядочный, набожный, да что там — святой человек. Если он прибудет сюда, несомненно, и почтенный мударрис удостоверится в этом.

Лицо мударриса просветлело. Он выпрямился и с важностью произнес: «Да свершится воля аллаха!..»

Пополудни в доме все стихло.

Обессиленные жаждой, все с нетерпением ждали вечера. Знатные люди, владеющие большими домами, коротали часы в прохладных комнатах и спасались от жажды и голода сном.

Бабур никак не мог заснуть. Поэтические мечты слишком разволнивали его. Оставшись один в своей комнате, он взял перо и бумагу. Хотел попробовать написать стихотворение, но в голову, кроме запомнившихся чужих строк, ничего не приходило. Тогда он достал другую тетрадь и начал писать то, что знал о Ферганской долине: «Здесь высокие цепи гор и много дичи. Белого сайгака видели мы в пустынных местах неподалеку от Ахсы. Есть они и вблизи Маргилана». Как прекрасна Ферганская долина! Описать все ее прелести, все достопримечательности! Не с одними же стихами приезжают люди в Герат к Мир Алишеру...

Бабур так увлекся, что не слышал топота копыт. А услышал, когда всадник остановился у ворот дома. Через несколько минут из какой-то комнаты погруженного в тишину дома до него донеслись женские рыдания. Бабур вздрогнул и поднял голову от бумаги. Что такое? Что случилось? Плач доносился с половины Эсан Давлат-бегим. И становился все сильнее! Бабур опрометью, большими прыжками помчался к бабушке.

В ее покоях двери были раскрыты настежь. Платок сполз с головы почтенной женщины. Она комкала его непроизвольно, читая и перечитывая письмо дочери Кутлуг Нигор-ханум: глаза, полные слез, не видели букв.

Воин, что доставил весть о смерти миры Умаршайха, прислонился к стене, едва удерживаясь на ногах. Он проехал без отдыха верхом немалый, почти в восемьдесят верст, путь, пыль покрыла его до кончиков ресниц.

Весть о смерти отца — змея, выползшая из кустов роз. Бабур побледнел, он стоял и дрожал, глядя на Касымбека. Тот сделал порывистое движение в его сторону, стал перед Бабуром на колени. Голос его прерывался, глухой и просительный:

— Мой амирзода!.. Пусть всевышний даст вам силы! Теперь вы для нас единственная защита! С трех сторон

идут враги!.. Ваша матушка наказывала... Нужно немедленно отправиться вам в Андижан, вызвать в крепость преданных беков!..

Эсан Давлат-бегим поняла, что и в минуту горя нельзя отвлечься от мирских дел, нет времени для рыданий. Касымбеку она сказала:

— Встаньте... Мы благодарим вас за верность. Идите с мирзой Бабуром. Всем оставить дом, всем отправляться в крепость!

Бабур словно одеревенел. В молчании кое-как оделся, молча взобрался в седло. Огляделся. Эти цветущие деревья, этот полноводный мраморный бассейн, построенный отцом,— они тоже грустят по человеку, который уже никогда не придет к ним сюда. Саженцы вон тех груш сажал сам мирза Умаршайх; на них видны плоды, пройдет еще немного времени — и плоды созреют; человек, посадивший эти груши, уже никогда не попробует их плодов.

Они ехали по вымощенной дороге, и снова Бабур вспоминал отца: камни были уложены его старанием, его приказом. И видневшуюся вдали крепость построил он. Его же теперь нет. Нет, нет! Всем существом почувствовал Бабур, что никогда уже не увидит отца, что невозвратна потеря, и вдруг слезы переполнили его и пролились наконец, терзая и одновременно облегчая душу.

Когда они приблизились к крепости (и рвы глубоки, и стены высоки: одиннадцать слоев кладки машинально отсчитал Бабур), из ее главных ворот выехали им навстречу пять всадников. Впереди на саврасом ехал узкоглазый, монгольского облика бек (Бабур знал его как родственника матери). Шерим Тагой, поравнявшись с их группой и увидев Бабура, спрыгнул с коня. Не прослезился, но застонал:

— Не верил, не верил, о мой амирзода! Значит, правда, что мы лишились нашей опоры и защиты... Ох, безжалостный мир!

— От кого слышали? — спросил Касымбек. — Эта весть до поры до времени должна быть тайной.

Шеримбек схватился за воротник:

— Неисповедимы пути всевышнего... Один из почтовых моих голубей летал-летал и внезапно исчез. «Кто ж его сбил?» — подумал я и поднялся на крышу. Через длительное время голубь прилетел и сел передо мной. Под крылом клочок бумаги. Я взял, развернул

бумагу, и — вот эта печальная весть! Кто написал, не знаю, может быть, ангелы небесные.

Шеримбек положил руку на плечо Бабура и, приблизив к нему лицо, проговорил тихо, низким голосом:

— Мой мирза, не въезжайте в крепость, опасно.

Эти слова услышал и Касымбек. При жизни Умаршайха Шеримбек не сумел заслужить высокого положения и ходил с обидой, теперь он хотел раньше других оказать услугу мирзе Бабуру, сискать его доверие, чтобы возвыситься. Касымбек это понял и спокойно проговорил:

— Мой амирзода, не будем бояться раньше времени. Нам надо побыстрей войти в крепость и собрать там беков.

Шеримбек не счел возможным разговаривать с конным Касымбеком, стоя на земле. Он вспрыгнул в седло и ожесточенно заговорил:

— Вы еще не знаете, что происходит, уважаемый Касымбек! Ваши верные беки сдали врагу Ходжент! Сдали Исфару! Сдали Маргилан!

— Маргилан? — вздрогнув от крика, переспросил Бабур. — Когда?

— Сейчас пришла весть! Враг, словно осенний дым, стелется по земле. Приближаются к Куве! Теперь очередь за Андижаном!.. Вы хотите, чтобы верные ваши беки вместе с Андижаном отдали врагам и мирзу Бабура? Нет! Пока я жив...

Шеримбек подъехал к Бабуру, взял повод его коня:

— Я ваш дядя, мой мирза, я вам предан, разрешите мне увезти вас отсюда!

Бабур так и не вник в то, о чем толковал ему Шеримбек. Но придавленная горем душа его, измученное жаждой тело предпочитали сейчас открытые просторы закрытой душной крепости. Поэтому Бабур не сопротивлялся. Касымбек опять запротестовал:

— Мой мирза, матушка наказывала совсем другое...

— Кутлуг Нигор-ханум не полководец! — прервал его Шеримбек, продолжая упрямо поворачивать Бабурова коня.

Но и Касымбек отличался упорством: он подъехал к Бабуру и опустил руку на шею его лошади:

— Ваша матушка, наша госпожа после похоронной церемонии прибудет в Андижан. Уже завтра она будет здесь. И бабушка ваша желала переехать в крепость. Где же они найдут вас?

Бабур немного пришел в себя. Спросил Шеримбека:

— Так куда мы намереваемся ехать?

Шеримбек прошептал на ухо:

— К Алатау поедем. В Ош. Может быть, в Узген.

Бабур не желал утаивать этот путь от Касымбека.

Тихо сообщил ему:

— Будем где-нибудь по дороге на Ош. Скажите матушке.

— Я сначала поговорю с беками в крепости, мой амирзода! Я разузнаю их настроения.

— Лучше всего вам встретиться с моим учителем, с Ходжой Абдуллой.

— Будет исполнено!

И Касымбек повернул коня к крепостным воротам.

4

Плотный коренастый нукер наблюдал за этим спором сквозь зубцы крепостной стены. Когда Касымбек быстро двинулся к воротам, нукер не спеша спустился с надвратного навершия и отправился к своему хозяину Ахмаду Танбалу...

В середине большого урюкового сада стояла баня с куполом, выложенным плитками. Хозяин сада Якубек в знойные летние дни отдыхал в одной из ее комнат, изнутри украшенной, будто приемная во дворце. Сейчас на почетном месте здесь восседал Ахмад Танбал.

Он налил из большой тыквянки кумыс в пиалу с цветами шиповника, выпил, крякнул, ладонью вытер желтые усы.

— Пусть простит меня аллах, нынче я нарушил пост,— сказал он спокойно.— Пока сюда ехал, от жажды язык прилип к нёбу. Чуть в обморок не упал, с коня не свалился.

— Нынче вам грех дозволен,— усмехнулся Якубек.— Коль необходимо, так простительно... Вы решились,уважаемый, на трудное дело. Но если вам повезет и мирза Джакангир взойдет на престол, вы станете его самым доверенным лицом. Визирем первым, не правда ли?

Ахмад Танбал внутренне возликовал от такого своего будущего. Толстый Якуб-бек улыбался. Во рту не хватало двух передних зубов,— улыбка получилась еще веселей. А глаза смотрели испытующее: «Не забу-

дешь ли ты о том, что в этом опасном предприятии участвую и я?»

Ахмад Танбал насторожился:

— Господин бек, мы с вами оба из монголов. Настала пора покончить с господством барласов в Фергане. Пришел наш черед. Я признаю вас самым большим из наших монгольских беков. Если по воле аллаха я и стану визирем, вы будете и тогда моим единственным другом и наставником.

— Да свершится воля аллаха! — произнес довольный Якуб-бек и огладил свою коротко остриженную бороду.

Ахмад Танбал отодвинул в сторону пиалу и, обернувшись на дверь, прислушался.

Вошел нукер, низко поклонился.

— Суюнчи, хозяин, суюнчи! — сказал он, выпрямившись. — Мирза Бабур не зашел в крепость, повернулся от крепости.

— Вместе с Шеримбеком?

— Точно так!

Для Ахмада Танбала весть была и впрямь радостной. Из кожаного кошелька он вынул золотую монету, бросил ее на порог. Коренастый нукер торопливо поднял монету, мгновенно сунул за пазуху. Опять поклонился благодарно. А потом по знаку Ахмада Танбала вышел, плотно закрыв за собой двери.

Ахмад Танбал, прибыв в Андижан, остановился сразу у Якуб-бека. Но не ему первому сообщил он о гибели мирзы Умаршайха, а Шеримбеку — суетлив и легко возбудим Шеримбек. И простоват: поверил голубю, которого послал ему Ахмад Танбал, чтобы самому оставаться в тени.

— План, составленный по вашему совету, удался как нельзя лучше! — благосклонно сказал Ахмад Танбал хозяину дома.

— Да, Шеримбек теперь хорошенько «избавит от опасности» своего племянника. Из кожи вон будет лезть, чтоб превратиться в самого приближенного бека Бабура, за Алатау его увезет, слава аллаху...

— А мы... мы теперь... до слуха народа доведем известие о побеге Бабура... убежал, мол, от опасности. Пусть узнают, как оставил Бабур в такой миг родной Андижан. После этого... после этого мирза Джакхангир взойдет на престол.

Якуб-бек все гладил и гладил бороду.

— Самое удобное место, чтобы распространить слухи,— базар,— сказал он.— У меня есть подходящие торговцы, они поговорят.

— Да, но никто не должен знать, что слухи исходят от нас!

— Будьте спокойны, господин Ахмад-бек. Мы умеем хранить тайны...

Население Андижана и без того волновали слухи — один мрачней другого. Приближение вражьих войск держало людей в страхе, а там, где страх, там и слух. Шептали друг другу, что «повелитель кинулся с обрыва в реку и не сегодня, так завтра враги захватят город». Потом пошло повсюду: «Мирза Бабур струсил, сбежал, оставил нас на произвол судьбы». В самый разгар торго-вого дня одна за другой начали закрываться лавки в торговых рядах на крытых базарах. Откуда шли слухи, никто не знал толком, но люди слушали, пересказывали, прибавляли новые страшные подробности. Наконец стали говорить, что пала крепость Ахсы и что повелителя сбросили с обрыва. Тайные осведомители спешали к градоначальнику, доносили, что нового услышали сегодня.

Ударились в панику беки: известие Касымбека о смерти повелителя укрепило их страх перед врагами, а грядущие перемены на троне заставляли думать совсем не о военных делах. У градоначальника Узуна Хасана от сумятицы слухов голова закружилась. Вздорные слухи, но ведь кто там знает...

Беки собирались и — ничего не предпринимали.

— Счастье покинуло нас, господа,— плакался градоначальник.— За стенами враги, в крепости суматоха. Ничего не знаем, ни к чему не готовы. Не напрасно, значит, мирза Бабур ушел, так и не войдя в крепость.

— Может быть, и нам надо бежать? — спросил с иронией мавлян Абдулла.

Ходжа Абдулла славился чернотой волос и большой ученоностью. Он был влиятельным пиром андижанских беков. И мирза Бабур считал себя его мюридом, поэтому Узун Хасан не мог ответить чернобородому грубо. Смолчал.

— Надо возвратить мирзу Бабура, пока он не отъехал слишком далеко от Андижана,— сказал Касымбек.

— Я хорошо понимаю мирзу Бабура.— Ходжа Абдулла оглядел собравшихся.— О нет, он не бежал от

страха. Он уехал от нас, чтобы проверить нашу верность себе. А слухи на базаре — призыв к смути. Призывают же — смутьяны. Вот от них базар раньше нас узнал о гибели повелителя.

Верно, все верно! Узун Хасан почти даже искренне удивился тому, как Ходжа Абдулла, будучи здесь, среди них, угадывает мысли мирзы Бабура. Настоящий пророк этот Ходжа!

— Все, оказывается, ясно для нашего пира! — сказал Узун Хасан с неподдельным уважением.— Давайте и сделаем так, как скажет нам мавляна.

— Мне ясно,— сказал Ходжа Абдулла, понизив голос,— объединимся все и послужим мирзе Бабуру, тогда спасемся — и ни один волос не упадет ни у кого с головы.

Верно, опять верно. И с какой твердой убежденностью говорит Ходжа Абдулла. Однако же — страшновато... Если дело обернется так, что окажется прав Ходжа Абдулла и мирза Бабур станет повелителем Ферганы, то к каким итогам приведут градоначальника его сегодняшние колебания? Не к тому ли, что люди градоначальника донесут об этих колебаниях мирзе и — прощай пост градоначальника? Нет, нет, Узун Хасан, ты не должен сворачивать с выбранной дороги.

— Мой пир, благословите меня, я сам поеду к мирзе Бабуру,— сказал Узун Хасан.— Я выражу ему от имени всех беков нашу верность, я приглашу его в крепость!

— Ваше намерение было бы ‘достойно похвалы, господин градоначальник. Но пока вы градоначальник, хочу я сказать, то вам и следует рассеять смуту в городе, найти и разорить гнездо смутьянов, подготовить Андижан к обороне. Вот когда вы заслужите милость мирзы Бабура.

Пир поистине читал в душе Узуна Хасана.

5

Летнее солнце сжигало землю и небо. Пыль, поднимаемая копытами, языками пламени лизала лица всадников. Ни малейшего дуновения воздуха.

С Бабура семь потов сошло, от невыносимой жажды во рту было сухо, как в пустыне. А вчера в это же время дня он роскошествовал в прохладе на берегу Андижанская. Чистый воздух зеленой усадьбы, прозрачная вода,

обдуваемый ветерком айван, беззаботность, озорство — казалось прошлым, далеким-далеким, на выжженной, запорошенной пылью дороге. Будто нежданный-негаданный смерч, как в страшной сказке, оторвал его от счастливой жизни подростка, подхватил и уносит куда-то щепкой бессильной. И вздыхаемая пыль — это пыль того смерча. И сила, бросившая его отца с обрыва в реку,— сила того же смерча. И смутные, пыльно-серые тени его пятидесяти спутников — это тени того же, собравшего их всех в страшные объятия, смерча.

От голода кружилась голова. Казалось, что всех их крутит, сбивает с прямого направления какой-то недобрый демон.

Доехали по Узгенской дороге до Намазгоха. Показались горы со снежными вершинами. Бабур глазами почувствовал прохладу. Пришпорил коня. С трудом разлепив сухие губы, обратился к Шеримбеку:

— Быстрой! Давайте-ка все быстрой!

Шеримбек оглянулся назад:

— Гонец скакет! Подождем?

Гонец вручил Бабуре письмо, написанное рукой Ходжи Абдуллы. Бабур взял свернутое в трубочку письмо, оторвал шелковую тесемку, которой оно было перепоясано, протянул раскрытый свиток Нуяну Кукалдашу:

— Читай.

В письме говорилось про верность андижанских беков. И еще — осторожными намеками — о том, что в городе распространяются вздорные слухи, будто «мирза Бабур сбежал», что смутьяны хотят тем самым отвадить от него народ.

— Я хотел спасти вас как раз от этих смутьянов, мой амирзода! — запел Шеримбек Бабуре. — Там плохо, ой как плохо! Крепость — это их гнездо. Не возвращайтесь, мой мирза. Коли беки преданы вам, пусть они придут сюда!

«...От страха бежал, оставив отчий дом», — да, такой слух стоит того, чтобы кочевать из уст в уста, из города в город, из кишлака в кишлак.

— Нет! Я не собираюсь бежать! — Бабур повернулся коня назад.

— Мой амирзода, это ловушка, поверьте.

— Я сам разберусь во всем. Я докажу им, что я не трус. Возвращаемся все! Возвращаемся в Андижан!

Бабур ослабил поводья и ударил коня камчой. Тот поскакал скоро и яростно, и ветер ударили Бабура в грудь, отчего он почувствовал облегчение. Словно тот грозный смерч остался позади, растаял на дороге.

Они въехали в крепость, когда солнце склонилось к закату. Обычно шумные вечером улицы на сей раз были погружены в тишину. Лавки торговцев закрыты. Какое-то запустение вокруг. Город устрашен, он сжался, он забился в конуру.

Шеримбек, все заботясь о безопасности Бабура, ехавшего впереди, дал нукерам знак окружить его. И сам начал обгонять мирану. Опять Бабур почувствовал себя в пленах, в объятиях смерча. Перед глазами снова начали кружиться кони и люди — щепки в вертящемся воздушном столбе. И опять Бабур бросился вперед, пришпорил коня, вырвался из кольца. Шеримбек попытался повторить маневр, поехать хотя бы рядом с Бабуром, кто увидит — пусть увидит, а от злого взгляда он убережет племянника, но Нуян Кукалдаш схватил его коня за повод:

— Господин, оставьте, пусть амирзода едет впереди. Пускай народ видит наследника престола, пусть люди успокоятся, вон они — припали к окошкам, пусть узнают про клевету смутиянов!

— А если бунтовщики из какой-нибудь щели пустят стрелу?

— Не осмелятся!.. Так амирзода хочет — быть впереди. Его аллах бережет.

Всадники с Бабуром во главе подъехали к арку главные ворота цитадели распахнулись, Ходжа Абдулла, Касымбек, придворные военачальники вышли на встречу. Спешившись, Бабур поздоровался с учителем. Душа подростка расслабляла, и слезы покатились по щекам. Ходжа Абдулла прижал Бабура к груди — надо бы поддержать, обласкать мальчика. Ну да, мальчика. Но и наследника престола! Беки, слуги смотрят. Ходжа Абдулла прослезился, но быстро взял себя в руки.

— Нет предела нашему горю, мой амирзода, — сдержанно сказал он. — Теперь вся наша опора и защита — это вы!

Кто-то из беков выступил на два шага вперед, громко перебил Ходжу Абдуллу:

— Амирзода, мы все, беки, готовы служить вам!

Голос Бабура все еще дрожал, когда он ответил:

— Благодарю!

Как раз в это время — все въезжали толпой в арк — к группе беков присоединился и Якуб-бек. Просыпал о возвращении Бабура и примчался сюда, чтобы отвести от себя всякие подозрения.

Раньше, когда столица государства находилась в Андижане, трон стоял в зимнем дворце, который и был сердцем крепости. Когда столицу перенесли в Ахсы, этот дворец с мраморными лестницами, золочеными росписями постепенно терял великолепие. К приходу Бабура по распоряжению Ходжи Абдуллы на дворцовых лестницах расстелили богатые ковровые дорожки, возвышение, на котором раньше блистал трон, тоже было накрыто дорогими туркменскими коврами, в зале приготовлены мягкие курпачи.

Бабур, ступая по ковровой дорожке цвета фиалки, закашлялся: горло совсем пересохло. Так и не отдохнувшись, занял шахнишин — возвышение.

Все расселись. Ходжа Абдулла прочитал молитву по покойному повелителю мирзе Умаршайху.

— О аллах, прими его в рай! — хором воскликнули беки. На лицах, обращенных к Бабуру, читались соболезнование и печаль.

— Уважаемые господа, столпы государства, — начал Ходжа Абдулла. — Если б не заботы войны, неотложные заботы, мы провели бы обряды поминовения. В Ахсы повелителя похоронили достойно его славе и высокому положению, то есть с великими почестями. Но нам, в дни, когда враги у ворот Андижана, выпало иное дело как первейшее — вручить без промедления судьбу государства в руки наследника престола, нового нашего повелителя...

Якуб-бек раньше прочих подхватил эти слова:

— Вы предложили мудрую меру, мой пир. Тотчас же следует провозгласить благородного мирзу Захириддина Мухаммада Бабура законным властителем Ферганы.

Бабур бросил на Якуб-бека быстрый взгляд. Мягкость и покорность в голосе, волнение, так и написанное на лице, даже улыбка щербатого рта — все понравилось скованному жаждой и тревогой подростку. Все знали, что Якуб-бек из самых влиятельных могольских беков. Среди сокровенных мечтаний пылкого Бабура было и такое: унаследовать когда-нибудь отцовский трон, возглавить всех его беков и вести, как подобает истинному проворенному, воину и мужу, победоносные действия против врагов. И вот — нет отца, а хитрый Якуб-

бек смягчает горечь утраты. После монгола и другие беки различного корня друг за другом называли Бабура властителем Ферганы, и его мечта, словно полный месяц, выходила из-за туч, его сердце вдруг забилось радостно, а несчастье, обрушившееся на него смерчем, и физические страдания, которые он переносил, будто отдалились куда-то,— да, он, Бабур, станет могучим властелином, воле которого беспрекословно повинуются тысячи и тысячи.

Он любил представлять себя полководцем. Как пра-прадед, Амир Тимур. Бабур слышал о его жестокостях и вовсе не хотел повторять их: в памяти людской надо оставлять не раны, а удивление доблестью воинской! Не жестокости предка, а блестящие военные победы увлекали его. И еще — могучая воля, властное имя, которое приводило в трепет всех своим равных беков.

В двери шмыгнул, суетливо кланяясь, Узун Хасан.

— Мой амирзода! Пощадите своего раба, который не мог встретить вас лично. Я был занят неусыпной охотой за смутьянами, распространявшими в Андижане ложные, вздорные слухи. Сейчас вот притащил одного их главаря.

Бабур встрепенулся:

— Главарь? Кто он? Приведите!

Все глаза обратились к дверям. Якуб-бек побледнел. Неужели попался Ахмад Ташиб? Тогда их тайна будет раскрыта! Растерянно водил он глазами по стенам. Окошечко было мало и далековато от места, где сидел тучный бек. Нет, отсюда бегством нельзя спастись!

В этот миг из-за дверей донесся густой бас:

— Развяжите мне руки, я не виноват!

«Слава аллаху,— обрадовался Якуб-бек,— это не голос Ахмада Ташиба».

Два нукера ввели в зал толстого и рослого человека в белом яхтаке.

— Вах, дервиш Гов! — воскликнул Якуб-бек, и многие беки воскликнули за ним следом.

Этот человек верховодил андижанскими мирабами, широкую свою шею он, словно бык, держал вперед выгнутой, потому и прозвали его «гов» — «бык». А «дервишем» его прозвали за постоянную готовность поддержать бедняков: «они угодны аллаху», говорил Гов. Хотя андижанский арк снабжал водой целых девять арыков, воды из-за полива множества садов не хватало в летние месяцы. Беки пытались вытеснять «голодран-

цев» из очереди на воду. Но дервиш Гов смело становился на сторону бедняков. «Ты, бек, для себя самого бек,— говорил Гов,— а перед богом все равны!» И простолюдины, понятно, поддакивали ему. А беки не-навидели. Особенно же Узун Хасан, давно затаивший на мираба злобу.

Дервиш Гов со связанными за спиной руками поклонился сначала Бабиру, затем сидевшему чуть поодаль Ходже Абдулле.

— Будьте справедливы, амирзода! — сказал он с достоинством.— Я не смутьян,уважаемый пир!.. На базаре один нукер сказал мне: «Повелитель в Ахсы пьяный свалился с обрыва и убился насмерть, а мирза Бабур, боясь врагов, сбежал в Адатай».

— Это клевета! — Бабур вспыхнул как порох.

— Что это клевета, я узнал потом. Я никому не передавал услышанное от нукера. Амирзода, пощадите меня! — дервиш Гов шагнул на два-три шага вперед и стал на колени: — Я уверился в том, что это клевета, ваше лицо благородно, оно не похоже на лицо трусов. На базаре же, когда народ разбегался, запирал в страхе лавки, я, каюсь, растерялся. Я не передавал слухов, я просто остановил одного человека и спросил у него: слышал, мол, что говорят. И он сказал — слышал. И я спросил, неужели это правда, и тут-то соглядатаи градоначальника меня зацепали...

— Нет, ты лжешь, будто ты переспросил! Ты распространял ложные слухи и на этом деле попался! — воскликнул Узун Хасан.

— Дайте Коран, я принесу клятву на святой книге!

— Этот преступник еще хочет получить Коран?! — выкрикнул Якуб-бек, возмущенно оборотив лицо к Бабиру.— О мой амирзода, если бы сей нечестивец был вашим преданным рабом, он сразу поймал и сдал бы градоначальнику того нукера, что, по его словам, распространял вздорные слухи!

— О господи! — только и сказал на это дервиш Гов.

Якуб-бек снова мягко посмотрел на Бабура, скривил в улыбке беззубый рот:

— Мой амирзода! Ваш благословенный отец поставил Гова главой мирабов... По благосклонности вашего отца, я повторяю... И вот сейчас он распространяет слухи о том, чо наш повелитель, да будет его душа в раю, пьяным свалился с обрыва! Какая наглость!

«Кого же и обмануть, если не ребенка», — подумал Якуб-бек, с надеждой улавливая, как загорелись обидой и гневом глаза Бабура.

— Да он и сам, по сути, признал, что передал ложный слух! Переспросил, передал — какая разница, по сути? — бросил Мазидбек.

— Пойман за язык — подлежит наказанию! — принял сторону обвинителей и Али Дустбек.

Касымбек вспомнил почему-то рассказ бека о странной голубке, что принесла дяде Бабура весть о смерти повелителя.

— Быть может, следует провести дополнительное расследование? — спросил Касымбек.

Ему возразил Мазид:

— Где у нас время для долгих дознаний? Враги у ворот, — сказал же пир. А во время кровавой битвы тот, кто сеет панику, кто наносит ущерб сану правительства — тоже враг. И нельзя щадить его!

— Для острастки другим наказать при народе на площади! Чтоб другим неповадно было! — ввернул Узун Хасан.

«Наказать на площади» — означало: отсечь голову.

Тень смерти коснулась лица Гова. Он на коленях подполз поближе к Бабуру, рыдание вырвалось из груди:

— Мой амирзода, я не преступник! Я жертва преступников! Пощадите меня! У меня пятеро детей! Не оставьте их без опоры, о амирзода! — Руки Гова были связаны за спиной, и слезы свободно падали на его бороду с проседью.

Рыдания взрослого мужчины внезапно погасили гнев Бабура, и он вопрошающе посмотрел на учителя Ходжу Абдуллу. Ему вдруг очень сильно захотелось услышать: «Пощадите этого бедного человека».

Однако Ходжа Абдулла молчал. Беки же не унимались.

— Человек, у которого пятеро детей, мог бы держать язык за зубами! — зло рассмеялся Якуб-бек.

— Э, этот Гов вообще смутьян из смутьянов! — Узун Хасан развел руками. — Ну, стукнул бы разок по зубам того, кто ему сказал, будто повелитель был пьян и погиб по собственной дури... Или же отдал бы его в наши руки!

Мольбы дервиша Гова тонули в этих возгласах:

— Мой повелитель, будьте справедливы! Я верный

человек вашего отца!.. О, вы еще не знаете этих беков!
Они мне мстят! Не верьте бекам, мой повелитель!
Спросите других! Меня знают все честные люди!

Али Дустбек, привстав с места, тыкал рукой на мираба:

— А, беки — не честные? Вы слышали, повелитель?
Вы видите, как черна душа этого дервиша?

Якуб-бек поклонился Бабуру и проурчал:

— Этот Гов хочет поднять против беков всю чернь,
повелитель!

— Черны его намерения! Черны! — закричал Узун
Хасан и обратился к нукерам: — Хватит, выведите его
отсюда!

Стражники подскочили, подняли Гова с пола и силои,
с толчками и побоями, потащили мираба к дверям.
Гов все кричал:

— Я не виноват! Слезы моих детей падут на вас,
беки! Моя невинная кровь вас погубит!

Это проклятие вонзилось в сердце Бабура острым
шипом. Внезапно ему вспомнилось то беззаботное утро,
когда со своими ровесниками он скакал на коне. Было
весьма это, было — он рассматривал портрет Алишера
Навои и предавался сладким мечтам! Похоже, прошло
с тех пор уже несколько лет... Да сегодня утром, сегодня
до полудня его жизнь была чиста, как солнечное небо.
Откуда же явились эти черные тучи?.. Каждый крово-
жадный бек требовал казни дервиша Гова и был похож
на грозовую тучу, что закрывала ему, Бабуру, солнце.
Смерч беспощадный, злой ветер и смерч,— дыхание
останавливалось, и страшная догадка, что власть и трон
ожидают крови таких, как дервиш Гов, терзала душу.

До слуха доносились крики:

— Отсечь голову этому нечестивцу!

— Казнить!.. Политика требует, политика!

Сквозь туман Бабур все еще видел слезы Гова,
текущие по бороде с проседью. Вот этот человек, такой
живой, такой здоровый, должен превратиться в труп?
И он, Бабур, должен разрешить убить его? Почему?
Потому что все беки так считают?

А может быть, беки и на самом деле обманывают его,
Бабура? Может, вот такие беки столкнули отца с обрывом?
А завтра или послезавтра они покушатся и на
жизнь самого Бабура?

— Учитель! — Бабур глухо обратился к Ходже Абдулле.

Тот наклонился к плечу Бабура:

— Надо держаться, мой амирзода!

— Что делать, скажите! — прошептал Бабур.

— Выносить приговор. Беки требуют казни.

— А вы, учитель?

Что значит какой-то Гов, если на карту поставлена судьба Андикана, судьба всей Ферганы?

— Мой амирзода, — перешел на шепот и Ходжа Абдулла. — В такой опасный миг нельзя идти против беков. Прикажите... Надо казнить...

И на другой день на площади перед арком под грохот барабанов дервиша Гова казнили.

И в день этой казни с наступлением темноты Ахмад Танбал незаметно отправился в Ахсы.

куба

1

Мулла Фазлиддин съездил на денек в Андикан и вернулся в Куву в большой тревоге.

К новому повелителю, к Бабуру, он поехал с намерением просить защиты. Он верил, что такая защита будет дарована, важно было попасть к молодому мирзе. Зодчий знал Бабура, часто беседовал с ним во время постройки загородной усадьбы, знал, что венценосный подросток обладает прекрасной памятью на стихи и любит поэзию. И живопись любит, почему и подарил ему зодчий изображение великого Навои. Благодарный Бабур надел тогда на муллу Фазлиддина златотканый чапан. Теперь мулла Фазлиддин собирался рассказать Бабуру о несправедливостях, которые учинили над ним самоуправцы-беки, и Бабур, конечно, внемлет ему, защитит его...

Не пропустили зодчего к Бабуру!

Узун Хасан с Якуб-беком не пропустили.

Первый направил муллу Фазлиддина ко второму, к Якуб-беку. Богатейший и льстивейший, бек этот дал на оборону Андикана денежные суммы позначительнее, чем другие, и нукеров держал при себе — на всякий случай — больше, чем другие, и каждый раз подчеркивал свою преданность Бабуру сильней и хитрей других. Зачлось это все, и стал Якуб-бек первым визирем, довереннейшим лицом. И потому в ответ на просьбу

муллы Фазлиддина лицезреть молодого мирзу «по делам зодчества в государстве» позволил себе оборвать просителя:

— Сейчас нашему молодому повелителю нужны не зодчие, а воины, как можно больше умелых воинов! Приходите, когда кончится война!

И, проезжая на коне мимо зодчего, стоявшего в уважительном полупоклоне, добавил не без колкости:

— Вон там записывают в нукеры. Сходите туда, станьте нукером, а?

— Будем живы — дождемся тех дней, когда нужны будут и зодчие! — сказал вслед беку мулла Фазлиддин.

Оставаться в крепости, где верховодили Якуб-бек и Узун Хасан, было небезопасно: мулла Фазлиддин узнал, как и почему погиб Гов. Потому и вернулся зодчий в дом сестры, в Куву...

Племянник, сестра, муж сестры, как и все в Куве, с тревогой ожидали приближения вражеских полков, которые уже разжигали сигнальные огни в одном переходе от моста через Кувасай, в Каркиданах.

Сундук зодчий снова захотел спрятать.

— У вас есть свободная яма для хранения пшеницы? — спросил он сестру с мужем.

— Есть.

— А где Тахир?

— Ушел с Махмудом куда-то... Ну, да мы сами справимся, без него.

Железный сундук сунули опять в мешок, опустили на дно уже давно пустой ямы, сверху яму закрыли досками, а на доски навалили охапки клевера так, что получился довольно высокий стожок.

2

Небо вновь затянули черные тучи. Закрапал редкий, но крупный дождь — предвестник ливня.

Тихо, безлюдно в Куве. Сидят все по домам, и если б время от времени не тявкали собаки, можно подумать, будто вся Куга куда-то уехала.

На мосту через Кувасай тоже тихо и пусто. Тахир оказался прав: стражники разбежались.

В самую полночь, на дороге, ведущей к мосту, показались какие-то тени. Вот еще одна добавилась — вынырнула на дорогу, отделилась от дувала.

61

— Огниво с растопкой взял? — Тахир старался говорить приглушенно.

— Взял, — низкорослый человек с кувшином на плечах ответил тоже шепотом.

Одежда низкорослого пахла кунжутовым маслом, сам он был маслобойщик.

Тахир почувствовал на лбу и щеке капли дождя, посмотрел вверх. Тучи все сгущались, все громоздились: не было видно ни одной звезды.

«Ливень пойдет. Тогда не разгорится, — подумал Тахир. — Наверно, мост уже совсем сырой».

— Умурзак, я взял один топор. Нужны еще топор и большая двуручная пила. Ты же плотник, у тебя все это есть.

— А зачем понадобилась пила?

— Давай, не спрашивай, время теряем... Махмуд, ты тоже пойди с ним. Поживее, братцы.

Вскоре все было готово.

Вот и мост! О том, что стража у моста сбежала в Андижан, знал, конечно, не один Тахир. Враги тоже знали, потому-то и стоило поторопиться: глядишь, завтра утром они и пойдут через мост.

Тахир остановил своих напарников возле большого дерева, росшего перед мостом.

— Нам нечего терять, братцы. Беки и нукеры бросили нас под копыта вражеских коней. Опять повторяю: «Сам за себя умри, сирота», есть такая поговорка. А коль нам повезет, то избавимся от большой беды вместе со своими родными: новый мост построить не шутка через такую реку, как наш Кувасай... А коли случайно не повезет... молчать надо. Всем, несмотря ни на что.

— Дадим клятву! — решительно сказал Махмуд. — Если кто из нас раскроет врагам тайну, то пусть... пусть поимеет собственную мать!

Это было самое большое проклятье, самый страшный позор.

— Да будет так!

— Да будет так!

Все провели ладонями по лицам и друг за другом взошли на мост.

Тахир нацелился пройти сорок — пятьдесят шагов и зажечь костер близко к середине моста. Чем дальше они шли, тем беззащитнее чувствовали себя. Открытая с двух сторон вода делала мост светлее, чем берег. Их

могли увидеть! Для какого-нибудь лучника из передового вражеского отряда они могли стать отличными мишенями. А тут еще пила в руках плотника задела за топор Тахира. Резко и звонко задела! Парни вздрогнули, остановились, прислушались к ночным звукам, подождали немного. Хорошо хоть лягушки, тысячи лягушек не замолкали.

— Тахир, давай не пойдем дальше,— прошептал Махмуд.— Если подойдут оттуда, как тогда убежим, ты подумал?

— Надо одному пройти весь мост. Ну, пусть Умурзак перейдет на ту сторону, будет караульщиком... Да не бойтесь, они отсюда далеко.

Усилился дождь. В его пелене исчезли огни далеких костров. Теперь враги не смогут их заметить.

Мост был длинным, стоял на трех опорах. Тахир перегнулся через перила, посмотрел вниз: вот она, первая со стороны их берега, опора. Здесь он остановил всех, кроме Умурзака, который все-таки пошел дальше, к месту, где надо стоять на карауле. Тахир расставил людей, приказал топорами побыстрее стесать верхний мокрый слой настила и тут же на сухое дерево вылить из кувшина масло. Сам стал высекать огонь, стараясь прикрыть от дождя трут. После нескольких неудачных попыток трут занялся, и горький дымок ударили в нос. Маслобойщик, более споровистый, поджег лучину. Тахир сунул огонек в паклю, которую всю дорогу нес под мышкой. Слабый огонек медленно разливался по деревянному настилу, но дунул ветер, и дождевые капли с легким шипением прибили его.

— Масло какое-то дрянное, не горит! — Махмуд выругался.

— Дождь ведь идет,— кинул в оправдание маслобойщик.— Скажи спасибо, что хоть такое нашлось.

— Тихо! — прошептал Тахир.— Трут пусть тлеет.

Тахир быстро соединил два пояса, скрутил потуже, обвязал с одного конца жгута себя, другой конец крепким узлом прикрепил к перилам. Перегнулся через них, повис. Ногой нащупал опору моста и встал на поперечную балку. На нее, не тронутую дождем, положил растопку, налил масла, поджег. Быстро загорелась, но и быстро сгорела растопка, порыв ветра рассыпал искры по воде.

Тахир выскочил наверх, на мост, взял в руки топор и с осторожностью начал рубить перила.

— Вот тебе, коли не горишь! Вот тебе! Вот! Вот!
Маслобойщик взял второй топор, начал крашить
перила с другой стороны.

— Э, стойте, Тахир, какая от этого польза? — крикнул Махмуд. — Лучше дай-ка топор мне. Вот видишь: эти доски прибиты гвоздями — мы их отдерем и выброшим.

Может быть, это выход? В темноте и не увидишь, где тут гвозди, но Махмуд плотник, он их находил на ощупь. Вдвоем они вырвали наконец здоровенную доску, шедшую поперек моста. На вторую сил не хватило.

— Пилой давай, браток! — сказал Махмуд.

Начали распиливать поперечный настил.

— Не спеши! — сказал Тахир. — Все равно... От того, что мы здесь сделаем дыру на пять-шесть досок шириной, толку будет мало.

— Почему? Сделаем такую, чтоб не могли пройти кони и телеги!

— Да какой-нибудь плотник в два счета исправит мост, что у них, думаешь, плотников нет?

— Взялись мы, кажется, за безнадежное дело! — уныло признал парень-маслобойщик.

Махмуд разозлился:

— Ну, вот что... Давайте распилим балки!

— Это целые стволы — ты шутишь? — толстые, как быки. Их не распишишь!

— Распилим! — вдохновился и Тахир.

И вот две пары парней, по очереди орудуя пилой, взялись распиливать поперечные балки моста. Теплый дождь все накрапывал, не переходя в ливень; пот работающих смешивался с ним — вконец измокла одежда. Пильщики хотели в двух-трех местах распилить балки, оборвать их связь друг с другом, не понимая, что удастся их замысел — и все они, вместе с досками и бревнами, рухнули бы в бурный Кувасай. Но мост не рухнул, как они ожидали. Его удерживали еще какие-то гвозди, балки, опоясывающие тяжи. Тахир и Махмуд снова взялись за топоры. В одном месте мост вдруг затрещал, чуть прогнулся, но по-прежнему стоял.

— Хватит! — бросил Махмуд в изнеможении. — Не по зубам нам этот мостище!

— А будь он проклят! — воскликнул Тахир и опять стал крашить перила. Но тут прибежал с той стороны Умураак:

— Кончайте! Не грохочите так! Похоже, что враги двинулись с места.

— Ты видел?

— Слышал голоса: «По коням!», «Строиться!»...
Значит, скоро надвинутся сюда!

— Не торопись дать деру, возьми пилу. Здесь ничего не оставляйте! — тоном приказа сказал Тахир и выбросил в воду оставшуюся без применения растопку, обломки досок.

Пятеро парней, потерпев неудачу, угнетенные и усталые за ночь, разошлись по домам.

На востоке загоралась заря.

3

Неприятельское войско двинулось вперед после сарлика. Передовой отряд вступил на мост еще в утреннем сумеречном тумане. Ливень прошел, только не здесь, а в горах, и поэтому вода в Кувасае поднялась высоко, мчалась сильно и быстро. Всадники передового отряда легко перешли мост, их было немного, и шли они одной цепочкой.

Ряды следующих за ними колонн шли плотно друг к другу и во всю ширину моста. Нукеры везли награбленные грузы на арбах, запряженных верблюдами. Конные, пешие, телеги, верблюды — все это в дымящемся тумане, в отсветах жидкой зари, будто черный сель, заполняло мост.

И та опора, где ночью орудовали кувинские парни, треснула до конца. Тут еще конь одного из всадников провалился передней ногой в щель между досками. Лошадь пыталась выдернуть ногу, заржала, забилась. Нукер от неожиданности грохнулся из седла на мост, прямо под копыта шедших сзади коней. Треск ломающегося впереди настила, истошный вопль сброшенного всадника напугали коней. Они попятились, сбились с ноги, расстроили ряды.

А задние напирали и напирали. От затора приостановилось движение, от приостановленного движения усилилась тяжесть всходящих на мост. Со страшным грохотом рухнул пролет; лошади, люди, телеги, бревна и доски стали добычей реки, что поднялась уже почти до уровня поперечных балок.

Кто остался на мосту — пытались податься назад.

Но сзади все еще давили те, кого направлял со своего берега еще не осведомленный военачальник. Сталкивались и падали люди — отчаянные крики говорили о новых жертвах. Отсутствие на многих участках моста перил увеличивало число падающих в поток. Груженые арбы, налезая друг на друга, тормозили движение, их оттаскивали по краям,— и, ломая остатки перил, они с тяжким шумом летели вниз. Кто-то пытался проложить себе дорогу камчой, некоторые беки выхватили мечи, чтобы положить конец панике, но лавина падающих уносила и их вместе с собой в воду.

Затор становился все плотнее. Жертв — все больше.

Самарканцу доложили о том, что делается на мосту. Нукуров из личной своей охраны Султан Ахмад послал спасать тех, кого уносит река. Это была еще одна ошибка. Нукуры, пробивая стены камыша, подошли близко к берегу и начали проваливаться в болото. Спасать теперь надо было их самих — некоторых арканами; множество проглотила болотная топь.

Взяла она и тех, кто, упав с моста, но умев хорошо плавать, преодолевал поток и достигал трясинного неверного берега. Поток и трясина, словно сказочные дэвы, пожирали и людей, и лошадей, и верблюдов. Крики гибнущих в реке слились с криками исчезающих в болоте. Немало осталось убитых, растоптанных и на самом мосту.

За два-три часа войско самарканца Султана Ахмада потеряло больше, чем за все время, прошедшее с начала войны. К тому же никто не знал причины этой катастрофы; естественно, потом стали говорить о карающей деснице божьей, о том, что аллах взял сторону Ферганы...

4

Кувинцы, взобравшись на крыши и дувалы, видели, как гибли на мосту вражеские воины — с утра и до разгара дня гибли. Многие кувинцы молились в душе о том, чтоб аллах продлил еще свой гнев, иные горевали: какие молодые джигиты тонули в реке, проваливались в трясину!

Вчера вечером Тахир намекнул дяде о походе своем на мост, а на рассвете — и о том, что до конца довести свое предприятие они не сумели. Когда же мулла

Фазлидин увидел с крыши дома, что происходило на мосту, он первым делом, быстро спустившись по лестнице на землю, знаком отозвал Тахира в угол двора:

— Скажи своим друзьям — всем вам надо тотчас спрятаться.

— Почему, дядя?

— Мост рухнул в том самом месте, где вы перепилили поперечные балки. Если б даже вы подожгли мост, враги не понесли бы таких потерь! Починили бы его и пошли дальше. А теперь, после этой ловушки, нетрудно догадаться, что она подстроена, да и как подстроена. Починят мост, придут сюда и всех вас перережут! А заодно и нас!

— Но они еще на том берегу?

— Дозорные перешли на эту сторону, я видел... Не теряй времени на разговоры, действуй! Спрячьтесь в тугаях. Быстрее, быстрее...

Тахир передал друзьям совет дяди:

— Возьмите с собой аркан и серп. Если кто спросит по дороге, скажите: идем, мол, за дровами. Пишу взьмите на два-три дня.

Пятеро парней, стараясь никому не попадаться на глаза, поодиночке оставили кишлак. Встретились уже в тугаях, густых, почти непролазных.

Вражеские дозорные меж тем нашли старосту и при его помощи выгнали всех кувинских плотников на ремонт моста. Нукеры с того берега подтаскивали бревна и доски.

Среди тех, кто вышел на работу, был и отец Тахира. Он знал, что сын уходил куда-то ночью и вернулся домой вконец усталый под самое утро. Один плотник показал отцу след пилы, но тот приложил палец к губам и попросил помолчать:

— Об этом ни слова! Узнают — сегодня сожгут Куву. И не сносить нам голов!

— Вы правы.

Никто из плотников не раскрыл рта в течение всех двух дней, пока чинили мост.

Вражеские воины осторожно перешли через мост, последним прошел Султан Ахмад со своей охраной и, не останавливаясь в Куве, двинулся дальше.

Тяжелые грузы на телегах, верблюды и часть войска остались на том берегу: видно, в планах неприятеля за прошедшие две суток произошли какие-то изменения.

Тахир в тугаях не находил себе места: беспокоился

о Робии. Он знал, что родители, как только могли, надежно спрятали дочь, но шайтан его знает, как все обернется, когда на каждом шагу неприятельские караулы да ищечки. К тому же на третий день и продовольствие у парней иссякло. Надо было решиться навестить домашних. С вечера Тахир подготовил большую вязанку камышового хвороста, нагрузился им и отправился. Подошел к своему дому. Ворота были на цепочке, он просунул ладонь в известную только ему щель и высвободил цепочку. Во дворе в сумерках разглядел муллу Фазлиддина, который стоял перед навесом и осматривал колеса у телеги. Увидев Тахира, несущего на плечах камыш, зодчий бросился навстречу, подняв руки:

- Мир, племянник мой! Мир! Поздравляю!
- Война кончилась?
- Слава аллаху, кончилась!

Тахир бросил вязанку. Дядя прижал Тахира к груди, горячо зашептал:

— Ваша отвага не пропала даром, Тахирджан! Самарканец, говорят, сам предложил кончить дело миром. Потерял столько воинов в Кувасае — поумнел, стало быть. Убоялся гнева аллаха... — Поглаживая крепкое плечо племянника, продолжал: — Замечательно получилось, замечательно! Многомудрые беки не сумели ничего сделать с врагами, а вот такие, как ты, бедовые парни, дали им отпор... Дехкане, ремесленники, плотники... кто еще...

- Маслобойщик.

— Да, маслобойщик! — громко и радостно расхохотался мулла Фазлиддин, освобождая племянника из своих объятий и восхищенно глядя в его лицо. — Дехкан, ремесленников... ну, таких, как ты, высокомерные беки называют черной костью, чернью, а кто, если не эта «черная кость», избавила их от беды? Кто?

— Да мы и сами не думали, что получится так здорово, дядя... И очень хорошо, что вы приехали. Если бы вы, мне бы и в голову не пришло...

— Ишь ты, как повернулся, племянник! Заодно и меня до небес возвысил!

Мулла Фазлиддин все говорил, возбужденно, быстро, то повышая, то понижая голос, словно оставалась какая-то опасность.

— Дядя, а в Куве все еще есть они? — спросил Тахир.

— Есть. Войска еще идут, караулы не сняты. Их властелин заключил мир, верст шестнадцать не дойдя до Андижана, теперь возвратился назад. Часть его охраны уже перешла на ту сторону реки, это я видел сам. С ним ли, без него ли — не знаю, но остальные вот-вот должны быть здесь. Надо по-прежнему быть осторожным, Тахирджан. Враг особенно опасен, когда отступает. Зайди домой. А на люди не показывайся!

Тахир сняхнул с себя прилипшие соломинки, вошел в дом; в соседнем доме — было слышно отсюда — баюкали ребенка. Тахир тотчас вспомнил про Робию, и сердце его забилось. Ах, как сильно соскучился он по ней! Его бы воля, прямо сейчас перемахнул бы через дувал в соседний двор. Рассказал бы Робии, что завершилась война, — наверное, она еще не знает про мир, — увидел бы ее радость! Но нет, он не сделает так, он, как обычно, встретится с Робией тайно, наедине.

Только успел юноша войти в дом и поздравить родителей с миром, как раздался громкий собачий лай, стук конских копыт, удары в ворота. Спрятаться скорее!

Тахир, придерживая за рукоятку кинжал на поясе, молнией метнулся через айван и мигом очутился в потайном месте, скрытом вязанками высохшего камыша.

В ворота продолжали грубо колотить. Пришлоось открыть. Конные воины в шлемах, с луками, притороченными к седлам, в широких шароварах, ниспадающих на сапоги, въехали во двор. Двое сидели на одной вороной лошади. Огляделись по сторонам — молча, будто не замечая хозяев.

Сотник — с маленьким флагжком из зеленої материи на острие шлема — увидел неоседланную лошадь под навесом. Обернулся к тем двоим на вороном:

— Вон — для тебя.

Почерневший, как негр, парень с мохнатыми усами спрыгнул наземь и побежал к навесу. Остальные по знаку сотника вошли в дом. Начали вытаскивать во двор кошмы поновее, ковры, какие-то узлы.

Мулла Фазлиддин прислонился к колонне айвана, следил, закаменев, за происходящим. Сначала он подумал, что воины пришли искать Тахира. Сильно перепугался. Но это были обычные грабители. Ненавистные, низменные. Родители Тахира растерянно молчали. Потеряв выдержку, заговорил мулла Фазлиддин:

— Эй, господин сотник, — сотник продолжал торчать на коне посредине двора, — где совесть у вас?

После того как наши повелители заключили мир, такой грабеж не соответствует мусульманским законам!

Черный парень быстро оседлал лошадь муллы Фазлиддина. Засмеялся:

— Да, да, мир... — И добавил с издевкой: — Истинно — мир и благоденствие нам!

Другой развернулся узел с вещами, вытащил кусок атласа и протянул сотнику.

— Моли амон¹, — сказал он.

Сотник, неподвижно глядя на муллу Фазлиддина, ленивым движением засунул материю в перметную суму, лениво, медленно заговорил, выдавая произнечением, что он из Самарканда:

— Шестьдесят лошадей наших пали от мора. Вот беда так беда! Ты тут ездишь на коне, а мой воин что, по-твоему, должен идти пешком в Самарканд? Видел же, что два воина сидели па одном коне.

— Видел. Возьмите, если думаете, что эта кляча — она для арбы, а не для седла! — сможет довезти храброго воина в Самарканд. Но рыться в женских узлах? Разве достойно это такого высокородного сотника?

— Э, жены наши наказывали привезти им в подарок ферганского атласу. Мы из такой дали перли сюда в мученьях, а теперь что, возвратиться ни с чем? Это, по-твоему, достойно будет?

Сотник даже в стременах привстал, загневался, видно. Недоволен он был, что война окончилась без победы, стало быть, без большой добычи, во имя которой такие и кровь проливали, и переносили все тяготы похода. Андижан и Ахсы остались целехоньки, ну, а как после этой истории на кувинском мосту сразу был заключен мир, так что получилось? Самаркандинский правитель получил и золото, и серебро, и драгоценные ткани, и скаковых лошадей, и верблюдов. Все это досталось ему да приближенным — бекам, советникам, чиновникам двора, воинам личной охраны. А такие воины, как он, сотник, остались без настоящей добычи, если не считать добывшего в жалких кишлаках по дороге.

Пятеро таких же грабителей, из той же сотни, ворвались и во двор родителей Робии. Одна из стен сараев, где укрылся Тахир, была общей с сараем соседей. Было слышно, как у них поднялась суматоха.

Робия пряталась где-то в женской половине дома, но,

¹ Моли амон — контрибуция.

как назло, в тот миг она вышла подоить корову — о заключении мира узнала и она. Пустила к корове теленка, чтобы ее задобрить, и, занятая этими хлопотами, поздно заметила вбегающих во двор воинов.

Мать заторопилась к хлеву:

- Вай, умереть мне, ты еще здесь?
- Что случилось, матушка?
- Враги! Стой! Не выходи во двор!.. Вон подымись, через верхнее окошко пролезь-ка в амбар.

Два воина показались в дверях хлева: искали себе лошадей. Узкоглазый кипчак заметил, как метнулась женская фигура.

- Похоже, красивая!
- Лошадей нет,— сказал его товарищ с сожалением.
- Красивая девушка дороже коня... Ну-ка, стой! — крикнул он Робии.— Возьмем ее, отвезем в Самарканд, продадим Фазылбеку.

Мать подбежала, закрыла своим телом перелаз.

— Если вы мусульмане, не трогайте мою dochь! Убейте меня, если хотите! Не подходите к моей docheri! Она помолвлена! Она принадлежит одному добруму парню!

Эти слова распалили узкоглазого. «Девушка!», «помолвлена»,— значит, за такую дадут больше! Одним резким движением он отбросил мать от перелаза. Падая, она ударила головой о кормушку для скота и потеряла сознание.

Узкоглазый пробрался в сарай, но быстрая Робия уже выбежала с другой стороны сарая во двор. И попала — прямо в руки второго негодяя. Поспешил и первый. Оба стали скручивать Робии руки. Третий снял с седла какой-то длинный мешок, раскрыл его и начал приближаться к дергающейся девушке, словно прицеливаясь. Девушка поняла, что сейчас ей на голову накинут мешок, изо всех сил стала кричать, звать на помощь.

Тахир молчал, сжимая зубы, терпел грабеж у себя во дворе. Но крик Робии заставил его забыть об осторожности. Он выскоцил из сарая, быстро вскочил на дувал, отделявший их дом от соседнего. Он увидел сверху, как все это было: один воин обхватил мертвый хваткой Робию за ноги, другой крепко держал ее за руки, заломленные назад и притянутые к поясу, третий уже поднял над ее головой мешок. Тахир яростно закричал

и спрыгнул. Один против пятерых — четвертый держал коней за поводья, а пятый в седле с длинной пикой в руках,— но он не думал об этом. У него была лишь одна мысль — отбить Робию. Он на бегу выдернул из ножен свой кинжал.

— Эй, стой! Стой, говорю! — воин с пикой тронул коня.

Но Тахир в два прыжка пересек двор. Подскочил к борющимся у сарая, по самую рукоятку вонзил кинжал в бок узкоглазого, что держал ноги Робии, выдернул оружие и тут же почувствовал сильный удар в плечо, услышал, как пика рвет одежду. Тахир зашатался и рухнул на тело убитого им узкоглазого. Он еще успел услышать исступленный крик девушки:

— Тахир-ага! — но послышался крик будто издалека.

Он так и остался лежать на земле в луже крови, а Робию скрутили и увезли...

ОШ

1

В окрестностях Оша, в этом причудливом соединении высоких скал и плоских зеленых равнин, уже несколько дней не прекращается оживление. Пышные шатры, привезенные из Андижана на верблюдах, разбиты у подножья Баратага вдоль речки Джаннат-арык. По берегам Акбуврасая на лужайках тоже выросли сотни шатров. Забили пригнанных с гор отменных курдючных баранов, в жаровнях пышут угли фисташковых деревьев, необходимые для лучших шашлыков, в объемистых чугунных котлах варится мясо.

Ждут Бабура.

И среди ожидающих мирзу государственных музей — мулла Фазлиддин. Сегодняшний день должен определить его дальнейшую судьбу.

Якуб-бек, коварством своим став первым визирем, долго не пускал муллу Фазлиддина к Бабуру. Попался Якуб-бек на очередном заговоре в пользу Джахангира — его выдал Ахмад Тарабал. Боясь возмездия, бежал Якуб-бек из Андижана. Воины во главе с Касымбеком преследовали его и днем и ночью, наконец настигли и убили в перестрелке на берегу Сырдарьи. Визирем

стал Касымбек, и мулла Фазлиддин получил доступ к мирзе Бабуру.

Средств для большого строительства, в том числе для тех медресе, чертежи которых зодчий изготовил по заказу покойного Умаршайха, в Ферганском государстве пока еще не хватает. Неудачливая война все съела, сказал Бабур и поручил мулле Фазлиддину построить в Оше на самой высокой скале, что словно подпирала город с окраины, небольшую хужру с айваном. Оттуда открывался бы приятный взгляду вид на окрестности. Прошли месяцы, хужру, конечно, давно построили, но только сегодня мирза Бабур, дотоле занятый, собрался сюда в первый раз. Если ему понравится хужра, то откроется, несомненно, дорога для осуществления иных, куда больших по масштабам замыслов муллы Фазлиддина. А вот если не придется по душе... Мулла Фазлиддин сильно беспокоился. Хужру надлежало «преподнести» мирзе Бабуру в самом лучшем виде!

Вместе со слугами повелителя, заранее присланными, зодчий спустился вниз, сам выбрал подходящие ковры и курпачи. Слуги, не привыкшие подниматься по такой крутизне, измучились, пока донесли их до места. Толстый дворецкий (всего и груза-то у него было один узкогорлый серебряный кашгарский кувшин) через каждые десять шагов останавливался отдохнуть. Мулла Фазлиддин, пожалев его, взял из рук кувшин и самого дворецкого повел под руку наверх.

Дворецкий расстелил было по лестнице айvana пестрые ковровые дорожки, но мулла Фазлиддин попросил убрать их: мозаика из камней, изображающая цветы, выглядела гораздо лучше всяких ковров.

С гребня горы как на ладони смотрелся город Ош и его окрестности. Все еще тяжело дыша, дворецкий посмотрел вниз и тут же вскочил:

— Вон они, приехали!

Мулла Фазлиддин подошел к краю айvana и тоже посмотрел вниз.

Бабур в сопровождении беков, свиты и личной охраны приближался на белом коне к подножию горы. Вторую группу открывал запряженный тремя лошадьми возок. Кто же там находился? Вот вся кавалькада остановилась перед шатрами, разбитыми для молодого мирзы на берегу Джаннат-арыка. Полные дорогих шелков, сукон, ковров, прикрепленные к колышкам из чистого серебра, шатры эти предназначались для пир-

шества и отдыха, и мулла Фазлиддин подумал, что, может быть, молодой мирза сегодня насладится в этих шатрах, а хужру посетит завтра. Но не прошло и часу как бородатый курчибashi в сопровождении четырех воинов, запыхавшись, поднялся в гору.

— Сейчас сюда прибудет повелитель. Где паланкин?

Главный над слугами, словно спрашивая помощи, обернулся к мулле Фазлиддину. Запахнув синий бекасовский чапан, мулла Фазлиддин скрестил руки на груди перед курчибashi.

— Извините, господин бек, — сказал он.

— Ну?

— Мы провели опыт: на эту скалу поднять паланкин невозможно. Даже кирпичи таскали поштучно, цепью. А для паланкина нужно четыре носильщика.

Курчибashi внимательно осмотрел место: с трех сторон круто обрывалась гора, обнажая скалистую свою основу, и только с одной стороны вился по горе узкий проход — и для одного человека неудобный, не то что для четверых. Обернувшись к главному из слуг, сказал:

— Ладно. Но чтоб ни одного лишнего тут не осталось!

Узкий проход кончался перед самой обителью, где за огромными камнями открывалась небольшая ровная площадка. Туда следовало поставить офтобачи, когда поднимется мирза.

— Господин зодчий, вы хорошо знаете дорогу, идите же встречать повелителя, — приказал курчибashi.

Курчибashi, конечно, сам должен был спуститься вниз и вернуться вместе с мирзой Бабуром. Однако на такую крутую гору подниматься дважды — дело почти непосильное для человека столь грузного. И курчибashi послал муллу Фазлиддина в сопровождении двух воинов, а сам сел на гладко отделанный камень и стал вытираять толстую шею, мокрую от обильного пота.

Мулла Фазлиддин по нескольку раз в день спускался и поднимался на Баратаг. Легкие, облегающие сапожки помогают устойчивости, когда перепрыгиваешь с камня на камень, как по ступенькам. С привычной быстротой зодчий оказался внизу, и желая, и побаиваясь предстоящей встречи.

Мирза Бабур со свитой осмотрел гору с ее восточной стороны, подъехал к горе с юга, спешился. За первой группой следовала вторая — женщины, отдельно от бе-

ков. На смиренном вороном ехала в белых одеждах мать Бабура, Кутлуг Нигор-ханум. На резвом скакуне с гривой цвета миндаля красовалась в червонном кабо Ханзода-бегим. Мулла Фазлиддин сразу узнал ее по легкой, уверенно-грациозной посадке; сердце его вдруг быстро-быстро застучало, к прежней тревоге добавилась какая-то новая, совсем другая. Жгучее волнение завладело им, и зодчemu стоило немалого труда не выказать его явственно, когда он подошел к мирзе Бабуру и свите. За несколько шагов он стал в отдалении, кланялся, пряча глаза, прижав руки к груди.

Старшая сестра мирзы Бабура Ханзода-бегим уже не раз поражала муллу Фазлиддина своей необычностью. Четыре года назад, когда Фазлиддин вернулся из Герата и начал строить загородную усадьбу для Умаршайха в Андижане, Ханзоде-бегим исполнилось шестнадцать лет. Самая красивая среди знатных девушек, Ханзода-бегим однажды, к вящему изумлению зодчего, переоделась юношей, вскочила в седло и вместе с юношами из свиты брата играла в човган, да как еще играла! Через некоторое время мулла Фазлиддин был вызван в андижанский арк для обновления красок в некоторых местах на дворцовых стенах. Семнадцатилетнюю Ханзоду-бегим он увидел тогда среди девушек, играющих на чанге. Та самая озорница, мастерица човгана, теперь выводила на чанге нежную, тонкую, сложную мелодию, и сама она выглядела такой нежной и прекрасной, что мулла Фазлиддин забыл обо всем на свете, оказался полностью во власти ее очарования.

Немало изумления у Фазлиддина вызвал и еще один случай... Он чертил на стене дворца черновой узор, в это время подошла Ханзода-бегим и с интересом начала наблюдать за его работой. От волнения циркуль муллы Фазлиддина выпал из рук.

— Вы начертили удивительный узор, но я, видно, сглазила вас, мавляна, — сказала она, принимая на себя вину за эту неловкость.

Мулла Фазлиддин, поднимая с полу циркуль, нашелся:

— Нет, бегим, напротив: узор, на который падает ваш ваор, выходит красивее.

— Я слышала, мавляна, будто вы еще и художник?

— М-м, зодчие должны быть знакомы с живописью, бегим.

— В таком случае попробуйте написать мое изображение, мавляна!

Какое неожиданное предложение! Мулла Фазлиддин оглянулся. И хоть они были одни в этом дворцовом покое, он понизил голос:

— Я бы всей душой... Только...

— Не беспокойтесь, я умею хранить тайны!

— А если за написанное мною изображение... потребуют на том свете мою душу, то... где я ее возьму, потеряв на этом, бегим?.. А я теряю ее, о бегим...

Ханзода-бегим поняла двойной смысл сказанного, очаровательно улыбнулась:

— Если за мое изображение у вас потребуют душу, скажите мне, я взамен отдаю свою!

...Тот рисунок, что покоился на дне железного сундука, он осмелился сделать после этих лукаво-кокетливых и таких прелестных слов...

В суматохе военных месяцев и в первое время после войны он не имел возможности встретить Ханзоду-бегим.

Наконец осенью прошлого года к нему на Баратаг вдруг пожаловала сама Ханзода-бегим. Уходя в поход, Бабур наказывал старшей сестре и матери следить за строительством в Оше. Вот в месяце мезон Ханзода-бегим и прикатила в город Ош в гости. А Баратаг — на окраине города.

Мулла Фазлиддин работал тогда со своим единственным учеником. Каждый кирпич, каждую доску, каждый кувшин воды доставляли снизу с огромным трудом. Для подготовки мраморных плит не было каменотеса. Не на что оказалось покупать изразцы. Все эти нехватки терзали муллу Фазлиддина. Но как сказать об этом девушке? Говорить о кирпичах существу, которое все, начиная от шелкового головного убора — токи, украшенного жемчугом, и кончая красными сапожками с загнутыми кверху носами, было воплощенная нежность, воплощенная — хрупкая и совершенная, неземная — красота? Язык не поворачивался у ошеломленного зодчего.

Ханзода-бегим сама попросила у муллы Фазлиддина чертеж будущей обители.

— Купол вы хотите облицевать глазурованными

плитками, да? А у вас их достаточно? — спросила она, глядя на бумагу.

Мулла Фазлиддин был вынужден теперь заговорить о своих нуждах. Ого, эта девушка была знакома и с архитектурой! Сколько же книг она перечитала?

— Мирза Бабур возвратится с победой и осуществит мечты отца, — сказала Ханзода-бегим твердо. — Мы будем много строить, и вы сами это строительство возглавите, мавляна!

Еще ни один голос в мире не звучал для муллы Фазлиддина так ласково, как ее. Ханзода-бегим! Сулило счастье, что в семье властителей нашелся человек, столь хорошо осведомленный в искусстве зодчества, относящийся к нему с пониманием и уважением. Но разве одно это поднимало дух муллы Фазлиддина, рождало в нем сладостное чувство благодарного влечения к бегим?

Ханзода-бегим внезапно заторопилась.

Он хорошо знал, что подниматься на скальную гору легче, чем спускаться с нее. Поэтому он решил сопроводить Ханзоду-бегим при спуске. На «адском мостики», как прозвали в народе узкую и скользкую каменную тропинку, сапоги девушки с гладкими кожаными подошвами заскользили. Потеряв равновесие, Ханзода-бегим протянула руку к наперснице, что спускалась чуть впереди. Но и наперсница качнулась, закричала от страха. Обе рисковали упасть, сорваться. Мулла Фазлиддин барсом выпрыгнул перед ними, обхватил обеих девушек. Молодая наперсница в ужасе ухватилась за него. Быстрая и ловкая, как лань, Ханзода-бегим лишь на миг оперлась рукой на обнявшую ее талию руку мужчины, выровнялась, обрела устойчивость и тихо сказала: «Спасибо». Мулла Фазлиддин ощутил теплое дыхание Ханзоды-бегим, аромат ее духов. Или то были не духи? Он вдохнул этот аромат и забыл, кто она, из какой семьи. Ханзода-бегим... Он крепко взял прохладную руку девушки и не отпускал ее до тех пор, пока не вывел гостью на тропинку, которая змеилась уже по ровному месту.

Это был необычный, волшебный сон, и длился он меньше, чем... полтропинки.

На другой день присланные Ханзодой-бегим двое здоровенных парней начали таскать наверх, к мулле Фазлиддину, нужные строительные материалы. Прошла еще неделя, и прибыли верблюды, груженные глазуро-

ванной плиткой. В каждой плитке мулла Фазлиддин видел отражение самой бегим, а вечерами, когда он оставался один, из железного сундука извлекался рисунок.

Сейчас, увидев, как приближается к нему Ханзада-бегим, зодчий почувствовал прежний душевный жар и прилагал все силы, чтобы не выдать себя.

2

...Мирза Бабур спешился; он заметно повзросел, стал похож на юношу. Даже походка его приобрела, на взгляд муллы Фазлиддина, солидную размеренность. Ну, что ж, три года прошло, как он вступил на престол,— годы забот заставляют быстро взрослеть и музжать. Только тонкий стан да угловатость плеч выдавали, что Бабур еще подросток.

Чтобы взойти на гору, пятнадцать лет — большое преимущество. Обогнав всех, Бабур легко поднимался с камня на камень, подавал руку то матери, то сестре, помогая им преодолевать трудные участки подъема. Большинство сановников осталось внизу. Тропа была узка, обитель невместительна, поднимался вместе с мирзой и самый близкий ему человек — визирь Касымбек, «кавчинец», как его звали за глаза при дворе. Касымбек был дороден и потому начал задыхаться уже на полпути. Бабур приостановился. Касымбек обернулся к мулле Фазлиддину, поднимавшемуся последним в цепочке:

— Господин зодчий, как вам в голову не пришло выдолбить ступеньки?

Мулла Фазлиддин почтительно ответил:

— Если будет приказ повелителя...

Стоявший на ровном камне Бабур улыбнулся, юношески ломким баском перебил зодчего:

— Странно! Неужели и на вершину горы надо делать лестницы, как во дворце?

Касымбек, не считаясь с тонкостями этикета, просто-вато посетовал:

— Ох, повелитель, вашего покорного слугу от пота и лестница не спасет.

Засмеялась Кутлуг Нигор-ханум:

— Господин Касымбек, на такие утесы вынуждены подниматься пешком и шах, и слуга!

— И даже шахини! — пошутил Бабур, глядя на сестру.

Так, с шутками, и добрались они до площадки перед обителю. Небольшая постройка под голубым куполом сияла в лучах весеннего солнца так весело, что на душе Бабура сразу же стало светло и тепло. Душа полно вбирала красоту окрестностей, так хорошо видных отсюда (горы вдали, весенний ветер), и рядом радующие глаз узоры на колонках и перилах айвана, игру светотени на цветных глазурованных плитках купола...

Касымбек проводил Бабура, его мать и сестру внутрь обители, сам остался перед входом, у мраморных ступенек. Без разрешающего знака Бабура он не входил туда, где пребывали эти знатные женщины.

Мулла Фазлидин тоже остался внизу у айвана.

Двери обители были отделаны резьбой и злато-красочной росписью. Бабур осмотрел эти прекрасные украшения на стенах и карнизах, а затем открыл двери. Пропустив внутрь сначала мать и сестру, прошел в хуже-ру сам.

Внутри обители не было темно, но в соответствии с правилами в михрабе теплилась свеча. В дневном свете, льющемся из окон, ее огонек был едва заметен, но, падая на стенные золотистые узоры, он придавал им дополнительную прелесть своими колеблющимися отблесками.

Бабур был необычно возбужден, восхищен. На стене ниши вокруг огонька свечи он увидел красные узоры. Спросил сестру:

— Это и есть «ислами гулхан»? ¹

Ханзода-бегим озорно улынулась:

— Если будет дарована мне пощада за несогласие, скажу.

Бабур тоже улынулся:

— Даровал, уже даровал. Скажите.

Ханзода-бегим обернулась и показала узоры над входными дверями:

— «Костер защиты» — вон там. Вы приняли за костер узор тюльпана, мой амирзода.

¹ Ислами гулхан — «костер защиты», орнамент костра, изображение огня, спасающего человека от бед, которые, по поверьям, ходят за ним.

«Костер защиты»... Узоры, которые показала Ханзода-бегим, и вправду напоминали языки пламени. Ты подошел к входным дверям, и с тобой вместе подошли твои беды, они спешат проскочить и в помещение, но... останавливаются, их не пускает спасительный огонь... Бабуру почему-то вспомнилось, что по древнему обычаю и жениха с невестой обводят вокруг костра. Он посмотрел на сестру, признавая ее преимущество в знаниях такого рода:

— Вы правы, я совершил промах.

— Промах простительный, — вмешалась в разговор Кутлуг Нигор-ханум. — Потому что в этой обители узор нарисованного тюльпана горит столь же ярко, как костер!

Слова матери приумножили радость Бабура, и когда они вышли из комнат на айван, стоявший внизу мулла Фазлиддин заметил сразу, по лицу Бабура, как удовлетворен и обрадован мирза. И тут же услышал его восклицание:

— Хужра прекрасно подходит Баратагу, не так ли, господин бек?

Бабур с детства любил Баратаг. Эту высокую гору посередине ровной долины воздвигнул аллах воистину для того, чтобы удивлять людей. И впрямь какая-то сверхъестественная сила откуда-то подняла и принесла сюда эту часть некой необозримо огромной горы; принесла и поставила на равнине очень удобно для обозрения со всех сторон.

Да, первая постройка, связанная с именем Бабура, после того как он стал властителем, была маленькая, но для него очень дорогая, полная сокровенного смысла, предвещающего будущее. Он очень желал, чтобы эта обитель стояла на гребне горы долго — как напоминание о нем людям.

Бабур вопросительно посмотрел на зодчего:

— Здесь, в горах, выпадает много дождей и снега. Долго ли устоит хужра на таком месте?

Кутлуг Нигор-ханум и Ханзода-бегим также заинтересованно посмотрели на зодчего. Колени муллы Фазлиддина предательски дрогнули от волнения. В поклоне он приложил ладонь к груди.

— Если то будет угодно аллаху, хужра простоят долго.

Касымбек поддержал его:

— Да, лет сорок — пятьдесят.

И по взгляду муллы Фазлиддина понял тут же, что подобным сроком обидел зодчего. Мулла Фазлиддин хотел резко возразить, но почувствовал на своем лице, будто ласковое прикосновение, чей-то взгляд. Он поднял голову и увидел, что это Ханзода-бегим смотрит на него, как бы сквозь тонкое шелковое покрывало, что скрыло ее лицо, призывает кдержанности. Зодчий будто упал в огонь, всыхнул (сейчас раскроется его тайна!) и низко-низко поклонился в ту сторону, где стояла бегим.

Ханзода-бегим сказала Бабуре:

— О мой амирзода! Эта обительозведена истинно мастером, ее смогут увидеть многие поколения! Смотри-те, те места, куда может попасть снег и дождь, скрыты отполированным гранитом, а основание хужры установлено на скале так крепко иочно, что составляет с ней единое целое. Способности муллы Фазлиддина истинно велики. Как у лучших зодчих Герата и Самарканда.

Нельзя было допустить, чтобы мирза догадался о том, что на душе простого зодчего, воспылавшего любовью к дочери знатного властелина! Нельзя! Опасно и — безнадежно! Слава аллаху, поклоны обязательны... И мулла Фазлиддин в ответ на теплые слова Ханзыды вновь сделал низкий поклон. Но мало скрыть особый блеск своих глаз, еще и за словами последи, помня, что ходишь по острию ножа.

— Повелитель мой, доложу вам, что на строительство хужры шли такие же камни, такой же алебастр, такие же глазурованные плитки, что использованы были для строительства медресе Улугбека в Самарканде. Уповаю на всевышнего,— осторожно продолжал зодчий,— эта обитель, достойная великого мирзы Бабура, будеточно стоять в течение веков¹.

¹ И в самом деле, эта постройка в Оше просуществовала более четырехсот лет. С течением веков потускнел ее купол, стерлись узоры на стенах, цветной мрамор пошел на рукоятки ножей. А мракобесы шейхи саму обитель объявили местом, на которое будто бы ступила нога «пророка Сулеймана». Убедив темных людей в этой лжи, они получили немало подношений. Советские ученыес восстановили справедливость: на мемориальной доске указывалось, что хужра была построена по распоряжению молодого Бабура в 1494 году. Однако упрямые шейхи продолжали утверждать свое и использовать памятник в корыстных целях. К тому же не все понимали ценность старинного архитектурного памятника, и в 1963 году по недоразумению хужра Бабура была снесена. Сейчас остался лишь фундамент. Существует идея восстановления памятника. Надеемся, что эта идея будет осуществлена. (Примеч. автора.)

Эти слова еще сильнее взволновали Бабура:

— Дай бог, чтобы осуществилось это. Хужра куда прекрасней, чем ожидалось!

— Хвала вам, мулла Фазлиддин! — сказал смущенный Касымбек.

Бабур поправил:

— Мавляна Фазлиддин! — И, повернувшись к главному из слуг, который вместе с офтабачи стоял в стороне, громко сказал: — Чапан на плечи мавляны!

Главный из слуг в панике посмотрел на офтабачи. Что делать? Чапаны для наград остались в шатрах внизу. Касымбек почувствовал заминку и начал расстегивать пуговицы на златотканом вороте собственного парчового чапана:

— Разрешите, повелитель!

Бабур, признавая оправданной эту щедрость, улыбнулся и кивнул головой.

Касымбек накинул свой чапан на плечи муллы Фазлиддина.

— Мавляне подарить от нас коня со всем снаряжением! — добавил расщедрившийся Бабур.

И несколько голосов сразу сказали:

— Поздравляем с наградой! Поздравляем, мавляна!

Оглушенный, он слышал прежде всего голос Ханзоды-бегим. Не решаясь взглянуть на нее, он стоял, опустив голову в поклоне, и чувствовал себя самым счастливым человеком.

3

С вечера мирза Бабур остался в обители на Баратаге один. Касымбек сообщил сановникам, что «хужра стала местом уединения повелителя, возможно, он проведет там всю ночь». Телохранители, стараясь не попадаться Бабуру на глаза, стали на часы...

Бабур довольно долго любовался с высоты айвана окрестностями.

На Ош наступала весна. Воздух был здесь настолько чист, что даже дым костров, разожженных внизу, в долине, казался не темным, а пепельно-голубоватым. Долина, вплоть до дальних подножий снежных гор, представляла собою сплошной океан изумрудной зелени. Угадывая, где Узген, где Маргилан, где — далеко отсюда — Исфара, Ходжент, Кассан и Ахсы, Бабур во-

образил, как во всех этих городах утопают сейчас в белопенном цветении сады. Прекрасная Ферганская долина, сказочный рай в обрамлении высоких горных цепей, она цветет и благоухает. «В мире, в спокойствии», — подумал не без гордости молодой мирза. Прошло больше двух лет, как кончилась война, и это он сумел-таки склонить самаркандского властителя к миру.

В такие мгновенья Бабура притягивали бумага и перо. Слуги поставили внутри обители низенький стол о шести ножках. Бабур присел к нему на бекасовую курпачу и раскрыл тетрадь-дневник, озаглавленный «Былое». Последние записи — об увиденном им в Канибадаме и Исфаре. Он сделал новую — четким почерком — запись: «На kraю Оша... на вершине Баратага я построил маленькую хужру с айваном в девятьсот втором году. Хужра стоит на очень хорошем месте — весь город и пригороды прямо у ног...»

Бабур писал увлеченно. Он не забыл поразившие его крупные фиалки и тюльпаны, красноватые камни Оша.

В дверях появился Касымбек:

— Прошу прощения, повелитель, что перебиваю ваши благородные занятия. Но... из Бухары от Султана Али-хана срочная весть!

Бабур отложил не без досады перо, подал знак Касымбеку войти. Взял из его рук свернутое в трубку письмо с печатью, оттиснутой перстнем. Прочитав письмо, Бабур поднял голову.

— Султан Али-хан приглашает нас в поход на Самарканд, — сказал он полуувопросительно.

— С самаркандцем у нас мир, но с Султаном Али-ханом военный союз, мой повелитель. Похода, я думаю, не избежать.

— Не торопитесь воевать, господин визирь. Сначала надо получить благословение матери.

Касымбеку было не по душе, что Бабур всякий раз, когда следовало решиться на что-то важное, советовался с матерью. Зачем? Ясно, что женщины не любят войн. Походы, набеги, битвы — слава мужественных и важное средство держать в узде своим нравных и воинственных беков; их-то хлебом не корми, дай лишь обнажить мечи, которые могли ведь и заржаветь, находясь в ножнах слишком долго.

Касымбек вошел в шатер Кутлуг Нигор-ханум вслед за Бабуром недовольный, но сделав вид, что это из-за крутого спуска с Баратага.

У матери сидела и Ханзода-бегим. Слуги расстелили для Бабура дастархан, на золотом подносе принесли шашлык. Поели. Помолчали. После шашлыка пили кумыс. Опять помолчали. Касымбек смахнул ладонью белую каплю кумыса, попавшую на длинные усы, начал наконец разговор:

— Наш повелитель заключил союз с мирзой Султаном Али-ханом. Мы обещали поддержать его нашим войском летом. Лето у дверей.

— Всевышний дал нам счастье жить в мире и спокойствии,— сказала Кутлуг Нигор-ханум.— Мы должны ценить этот дар,уважаемый Касымбек... Султан Али-хан оспаривает у своего брата мирзы Байсункура самаркандский престол. Слава аллаху, у нашего повелителя есть собственный престол в Андижане.

Касымбек смолчал. Заговорила Ханзода-бегим:

— Мой амирзода, не лучше ли вместо самаркандского похода, а он потребует больших затрат, построить в Андижане новые дворцы и медресе? Если Андижан по своей красоте и блеску сравняется с Самаркандом, вы прославите свое имя подобно мирзе Улугбеку,— вот заветная мечта вашей сестры, и пусть всевышний позволит осуществить ее!

Бабур шутливо улыбнулся:

— Чтоб сравниться Андижану с Самаркандом, не начать ли с того, чтоб самолично увидеть блеск Самарканда? Познакомиться с ним, а потом уж можно и... украшать Андижан.

Слова Бабура воодушевили Касымбека:

— Вы мудро сказали, мой повелитель!

— Разве не видели вы Самарканդ еще в юности? —

Кутлуг Нигор-ханум решила поспорить с сыном.

— Да, видел... в пятилетнем возрасте, матушка, в памяти ничего не осталось.

Ханзода-бегим в полуслутку напомнила:

— А в прошлом году? Пошли в самаркандский поход и заставили нас тосковать семь месяцев в одиночестве.

Бабур наступил:

— Это правда, мы и в прошлом году ходили в поход... три месяца паслись в окрестностях Самарканда. Султану Ахмаду в свое время не удалось войти в Андижан. Для меня остались закрытыми городские ворота столицы нашего деда!

Бабур произнес эти слова с обидой и дрожью в голосе: всем сразу стало заметно, как он еще молод. Походы

привлекали его, и манил Самарканд, великий город Тимура и Улугбека. Менялись властители Самарканда: за Султаном Ахмадом — его брат Султан Махмуд, теперь там сидел сын Султана Махмуда мирза Байсункур, тоже из потомков Тимура, тоже честолюбивый, воинственный и молодой (старше Бабура на пять лет). Отец захватил престол, он наследовал, значит, сидел на престоле законно. Однако андижанские беки находили в мирзе Байсункуре сотни недостатков, говорили о нем всегда только плохое и без конца нашептывали Бабуру, что лишь он один достоин Самарканда. Байсункур знал о претензиях Бабура, боялся его и сделал все, чтоб не пустить Бабура в город. Приглашал, коварный, в гости, войти в Самарканд без войска, но Бабур не клюнул на эту удочку. Лишь еще сильнее вспыхнул огонь соперничества, умело раздуваемый воинственными беками с обеих сторон.

Кутлуг Нигор-ханум желала, чтобы ее пятнадцатилетний сын не вмешивался в междоусобицы, спокойно правил собственными владениями.

Мать посмотрела на Бабура, потемневшего от обиды, ласково, словно разглаживая его, заговорила:

— Ох, Бабурджан, поверьте матери, не стоит этот бренный мир вашего огорчения!.. — Мать назвала его как в детстве, на мгновенье словно вернув Бабура в те беззаботные времена, когда он не думал ни о славе походной, ни о престолах. Но давно уже не было Бабурджана, и мать продолжала иначе: — Придет час, осуществится и мечта о Самарканде. Сейчас всем хочется пожить в мире. У вас есть такой мудрый визирь, как почтенный Касымбек. На службе у вас такой талант, как зодчий, что построил ошскую обитель. Ваша мать просит вас: отложите самарканские заботы на несколько лет... Ханзода права: лучше возглавьте благоустройство долины, постройте в Андижане, Маргилане, Оше прекрасные дворцы и медресе!

Кутлуг Нигор-ханум уже давно не была столь твердой в речах своих. Касымбек опустил голову. Бабур уткнул взгляд в кумыс в чаше, золотящийся отражением ее ободка. «Все верно... Но что скажут беки?» — думал Касымбек. «...А как же Самарканд? И что сказать бекам?» — думал Бабур. Молчание нарушил чистозвонкий голос Ханзоды-бегим:

— Мой амирзода, вы знаете наизусть поэмы Навои. Вспомните, какие замечательные здания строил Фар-

хад. Ваша сестра всегда мечтает увидеть вас созида-гелем, подобным Фархаду. В мире нет дела святей и выше!

Бабур вспомнил часы наслаждения, которые он испытал в ошской обители. «Самарканд не убежит... а слава Фархада — великая слава. К тому же есть правда в словах матушки, есть... Только вот как поступить с беками?» — Бабур взглянул на Касымбека:

— Сможем ли мы сделать так?

Касымбек понял, что речь идет о том, чтобы отложить самарканский поход. Как храбрый воин, он негодовал; как человек государственного управления, знал, что Бабур захотел невозможного. Самарканский поход поддержан самыми знатными и могущественными беками; давно велась подготовка к этому походу. Коня, уже готового перепрыгнуть через препятствие и напрягшего для прыжка все свои мускулы, остановить уже нельзя, — даже если найдешь силу, чтоб его удержать, он или сломает себе хребет, или сбросит всадника. Касымбек не решился сказать это прямо и открыто. Он приложил к груди ладонь, поклонился:

— Повелитель, ваш слуга не способен найти выход из такого положения.

— Значит, откажем в просьбе повелительнице?

«Ну что он от меня хочет?» — мысленно рассердился визирь. Сегодня готов потрафлять матери и сестре, вчера пылко говорил о том, как сильно желает похода, боев, подвигов ратных. Переменчив — потому что молод. Словно дитя слабое, все еще прислушивается к советам женским... Однако не мог Касымбек не считаться и с Кутлуг Нигор-ханум, собственными глазами видел, как влияет мать на молодого сына.

— Просьба повелительницы-ханум для меня святой закон, — произнес Касымбек. — Ваш слуга хочет только сказать, что в важном деле надо заручиться согласием всех влиятельных беков.

В знак особой милости к Касымбеку, к его имени прибавляли обращение «амир амиров». Кутлуг Нигор-ханум не забыла об этом.

— Господин амир ал умаро, — благосклонно улыбнулась она ему, — вы поможете мирзе Бабуру получить согласие других беков, верно?

— Со всей душой, ханум! Но я... немножко знаю желания беков... Если не примете мои слова за неучтивость, я скажу, в чем они правы...

— Говорите!

Касымбек на мгновение закрыл глаза, напряг шею, так что конец не тронутой сединой, черной бороды ушел в воротник дорогого чекмения из верблюжьей шерсти. Потом выпрямился, поднял голову. Глядя на Бабура, он заговорил о том, что великий потрясатель вселенной эмир Тимур и достославный мудрец мирза Улугбек строили великолепные здания в Самарканде, потому что в их руках были богатство и мощь огромного государства, а вот сейчас это огромное государство раздроблено, и прекрасная Фергана есть хотя и большая, но все же лишь часть некогда единого и сильного Мавераннахра.

Ханзода-бегим, тотчас догадавшись, куда он клонит, спросила:

— Господин амир ал умаро, вы хотите сказать, что у нас не хватит сил для великих сооружений?

— Высокородная бегим, вы начали говорить о том, чтобы Андижан соперничал с великим Самарканом. Беки могут сказать, что для такого подвига необходимо восстановить прежнее государство. Силы всех его частей, ныне самостоятельных, надо объединить, сбрать в единый кулак. А как это сделать без походов, под чым знаменем провести объединение? Ныне же раздробленность не дает возможности для осуществления ваших великих созидательных замыслов.

Бабура Касымбек вполне убедил, он посмотрел на мать, с азартом ожидая, как она оспорит визира.

— Господин Касымбек, великие постройки предпринимали не только эмир Тимур и мирза Улугбек. В Герате Мир Алишер построил знаменитую троицу: Ихлосия, Халосия, Унсия. А власть мирзы Бабура вовсе не меньше власти Мир Алишера, лишь советника одного из венценосцев.

«Так, матушка, так!» Слова Кутлуг Нигор-ханум вновь разбудили желания, лежащие в самой глубине души Бабура. Пламенная страсть юности — стать знаменитым, прославить свое имя — заставляла его мечтать то о великих воинских победах, то о замечательных стихотворениях и дастанах, детищах его пера. Но победами ли может заслужить он признание у таких великих, как Навои? Да и переменчива, утомительно-капризна воинская слава! Вот он вернулся из-под Самарканда, промучившись там целых семь месяцев, — мечта о победах и великих сражениях осталась недости-

жимой мечтой. Стать великим поэтом? Ну, это похоже тоже на птицу, летающую на недостижимой высоте. Бабур чувствовал, что сил у него поймать ее маловато, пока маловато. Но матушка подсказывает еще один путь, полегче: ведь если слава о построенных Навои Ихлосии, Халосии, Унсии достигла Ферганской долины, то почему же слава о зданиях, выстроенных молодым Бабуром здесь, не сможет достичь Герата? Сможет. И ее услышит Навои. Порасспросит, кто такой Бабур, как бы заранее познакомится с ним. А потом, может быть, Бабур поедет в Герат или Навои приедет в их края. Бабуру не остались неизвестными слухи, будто Алишеру Навои не нравится нынешний двор гератского владельца Хусейна Байкары. Может быть, великий поэт еще станет учителем его, Бабура!

Тут глаза его вспыхнули, голос зазвучал повелительно-резко:

— Матушка права! Надо убедить беков, господин визирь!

Это уже «фирман» — приказ. Лица Кутлуг Нигорханум и Ханзоды-бегим просияли: Касымбек побежден и сейчас сдастся.

Но Касымбек крепко держался за свое — за ним стояли беки.

— Повелитель мой, прежде чем приступить к исполнению вашего фирмана, разрешите высказать еще одно пожелание наших беков.

Бабур нехотя кивнул головой в знак разрешения. Касымбек разгладил пышные черные усы. Смело посмотрел на Ханзоду-бегим (что редко позволял себе):

— Бегим, вы прекрасно сравнили нашего повелителя с Фархадом. Беки гордятся службой у современного Фархада. И наша мечта, — улыбнулся визирь, — свести Фархада с Ширин. — И тут же посеръезнел: — А как вам известно, наша Ширин сегодня в Самарканде, она мучается, бедная, словно пленная.

Щеки Бабура чуть порозовели от смущения.

Касымбек затронул вопрос очень деликатный.

Мирза Бабур еще в пятилетнем возрасте был помолвлен с Айшой, дочерью самарканского владельца Султана Ахмада, того самого Султана Ахмада, чьи полки понесли столь большой урон во время бесславной переправы через Кувасай. Сейчас Айше четырнадцать лет. Все последние годы Бабур ее не видел ни разу, но те, кто видел, говорили в один голос, что она прекраснее

свежего бутона розы. Вот эта юная красавица и ждала Бабура как избавителя, о чём сообщали Бабуру люди, в нем заинтересованные. И воспламененный Бабур хочет освободить свою Ширин, угнетаемую злым Байсункуром, освободить, показав всем свою воинскую отвагу. Он, конечно, не помнит Айшу-бегим, но он с давних пор, с тех своих пяти лет, помнит другую прекрасную девушку, невесту Султана Ахмада, и полагает почему-то, что и Айша теперь столь же красива.

По обычанию покрывало с лица невесты должен снять чистый маленький мальчик. Тогда Кутлуг Нигор-ханум гостила в Самарканде: ее пригласили на свадьбу Султана Ахмада, и пятилетний Бабур был с матерью. У Султана Ахмада сыновья умерли, и, хотя Кутлуг Нигор-ханум завидовали, а на мальчика посматривали косо, все же именно ему, Бабуру, под возгласы пожелания — «да родит молодая сына, как лев», — довелось снять покрывало. Многое из того события стерлось начисто в его памяти. Но свое непонятно-горячее чувство, которое он испытал, когда под его ручонкой открывалось нежное лицо девушки-невесты, —помнит. Он знает теперь, что это было чувство восхищения прекрасным. Он испытывал его с тех пор много-много раз — читая прекрасные стихи, слушая прекрасный напев, погружаясь душой в красоту пейзажа. И образы луноликих красавиц все чаще тревожили воображение Бабура — и наяву, и во сне. Пятилетний мальчик не понимал, конечно, особой прелести женской красоты, хотя и запомнил свое волнение перед нею; юноша Бабур, когда ему нахваливали красоту самаркандской невесты, живо представлял себе, какая она, Айша... Вспоминалась и невеста Султана Ахмада, и прекрасные героини книг. Бабур, и не видя Айши, уже любил ее — юношеским своим воображением, пылким и нежно-целомудренным вместе.

Так если прекрасная Айша томится в неволе у его врагов, может ли он, Бабур, спокойно сидеть в Андижане, зная об этом?..

— Господин Касымбек, — сказала Кутлуг Нигор-ханум. — Судьба невесты нашего мирзы беспокоит и нас. Мы писали ее матери, просили отправить Айшу-бегим в Ташкент к ее старшей сестре Розии. Возможно, эта наша просьба уже выполнена...

Касымбек отрицательно покачал головой.

— Увы, ханум, не выполнена, — сказал он. — Ваш слуга постеснялся сразу показать повелителю письмо,

которое мною получено недавно из Самарканда от... одного из верных моих людей...

— Что за письмо? Что-нибудь случилось? — забеспокоилась мать Бабура.

— Айша-бегим вместе с матерью и сестрой собралась уехать в Ташкент, была готова уехать, но мирза Байсункур задержал их и, мало того, велел возле их дома поставить стражу. Из дома, говорят, никого не выпускают. И вправду — плен. Теперь пленницы ждут избавления только из Андижана!

Бабура мгновенно охватил гнев. Байсункура, так подло поступающего с бедной девушкой, должно покарать! Желание тотчас же отправиться с войском в Самарканд стало подавлять все другие.

Ханзода-бегим почувствовала, как изменилось состояние души брата.

— О амирзода, пусть всевышний поможет вам побыстрее освободить пленниц! — сказала она. — Но разве избавление может принести только война, только раздор? Разве военный поход не усилит вражду? Мирза Байсункур, коли узнает о вашем походе, еще больше невзлюбит Айшу. Может быть, ее освобождение следует, мой повелитель, поискать на дорогах мира...

Бабура разозлили эти слова.

— Мира?! Искать путей к миру — с обидчиком? Мать обратилась к Бабуру:

— Отправьте к мирзе Байсункуру послы мира, сын мой... Раздор между вами можно уладить.

Как можно говорить о мире, когда война уже идет? Мир предлагает первой та сторона, которая считает себя слабее. Он не слабее Байсункура.

— Байсункур свершает насилие! А я должен смириться с этим и отправить послы просить замиренья? Стать на колени, чтоб жениться на Айше? Нет, на удар отвечают ударом!

— Высокородная ханум, в нынешнее время смиреннием насилия не одолеешь! — Касымбек взглянул на Бабура. — Средь сильных надо стать сильнейшим. И потом, мы говорим не о чем-нибудь — о Самарканде! Все стремятся к нему, все желают его! С севера зарится на Самарканд Шейбани-хан. Властитель Гиссара Хисров выжидает благоприятных обстоятельств, чтоб выступить на Самарканд. Мирза Байсункур властитель слабый, ему не удержать столицу Мавераннахра. Если ее не возьмет наш повелитель, возьмут другие — и гордость

его дедов перейдет в руки чужих родов. А если Шейбани или Хисров овладеют Самарканом, то они так усилятся, что и Андижану... и нам тогда будет еще труднее. Никак нельзя упустить время!

— А почему бы всем потомкам эмира Тимура не собраться и не заключить военный союз? — спросила Кутлуг Нигор-ханум, с явным огорчением ожидая ответа, известного и ей самой.

— Под чьей рукой, под чьим знаменем? Какая сила их соберет? У Байсункура нет ни силы, ни ума. Мавераннахр может спасти только наш повелитель — мирза Бабур. Вот почему мы посвятим всю свою жизнь этой цели — и нашему повелителю. Вот возьмем в этом году Самаркан, тогда, по воле аллаха, опасности будут позади, и тогда в самом деле наступят мир и спокойствие. И время, когда можно строить любые дворцы!

Ханзода-бегим громко спросила разошедшегося vizirya:

— Значит — коротко: просьба нашей матушки уговорить беков отвергается вами?

Касымбек почтительно приложил ладонь к груди:

— Простите своего недостойного слугу за откровенность, бегим, но по разрешению моего повелителя я высказал то, что у меня на душе.

Так Бабур попал меж двух огней. «Заключи мир, будь строителем!» — говорит ему мать. И это означало: «Живи без забот, как сайгак». Но Касымбек правильно говорит, что мир ныне не для спокойствия. Среди хищных волков недолго проживет сайгак, средь волчьих стай надо быть львом.

Касымбек решил прервать долгую и обессиливающую беседу.

— Повелитель, вы сегодня хотели выйти на прогулку верхом. Кони давно подготовлены... Нельзя ли предложения вашей матушки-ханум обсудить со всеми беками сегодня вечером? Соберем большой совет беков...

Ханзода-бегим бросила на мать быстрый взгляд: не убедили одного vizirya, как же убедить всех беков? Кутлуг Нигор-ханум задумалась, как продолжить беседу сейчас, однако Бабур уже резко, по-молодому поднялся с места:

— Совет созвать на завтра, надо все хорошенько обдумать. А сейчас — едем, едем...

К югу от Оша простиралась холмистая равнина, покрытая удивительно яркими полевыми цветами — иссиня-желтыми одуванчиками, сине-фиолетовыми колокольчиками, красными маками.

Конь Бабура шел спокойным шагом; всадник не отводил взгляда от далеких снежных вершин и одновременно чувствовал, как мягко ступают копыта коня по высокой траве. Красота весны ласкала взор и душу, но душа не успокаивалась, продолжала трудный спор между матерью и визиром, между собой... и собой же. Узел самому не развязать. Да и есть ли мудрый человек, который развязает этот узел так, как хочется Бабуру? А как ему хочется?.. Посоветоваться с пиром? Занемогший Ходжа Абдулла не сумел приехать в Ош, но Бабур знал, что учитель был сторонником похода на Самарканд. Слова о том, что, пока не восстановится единство Мавераннахра, всякая большая мечта останется только мечтой, он слышал от учителя не раз. Значит, опять война, а строительство следует отложить до... до неопределенных сроков...

Всадники поднялись на косогор. Отсюда хорошо просматривалась местность. Касымбек удивленно воскликнул, глядя в сторону гор:

— Как много отар!

В самом деле, на запад отсюда было видно, как с десятков холмов стекали вниз отары. Множество отар. А смуглый двадцатипятилетний бек по имени Ходжа Калан приложил ладонь к глазам, взгляделся в даль.

— У-х-у! — воскликнул он.— Там еще больше табунов!

— Табуны есть и на востоке, смотрите, смотрите!

Отары и табуны двигались быстро. Значит, они не паслись — их гнали. Вон две отары показались на склоне. Потом еще две отары. Из-за отдаленных холмов друг за другом вымчали четыре табуна коней и быстрым селем пошли по направлению к косогору, где стояли Бабур и его свита.

И еще слева показались табуны.

И табуны коней, и отары овец двигались к Ошу. Потом на фоне гор стали различимы какие-то конные отряды.

Вот оно что! Это возвращается Ахмад Танбал, ушед-

ший во главе трех сотен в набег. Касымбек обрадованно воскликнул:

— Какая добыча!

Заволновался и Ходжа Калан:

— Необыкновенная! Богатырская!

Все радовались. Еще бы! Одна пятая часть этих овец и лошадей поступала повелителю, остальное распределялось среди беков и придворных сановников. Богатство падало просто с неба! Беки не скрывали радости.

Бабур повернулся коня навстречу приближавшимся всадникам. Отпустил поводья, и скакун полетел как птица. Беки поскакали вслед, с холма на холм, с холма на холм. На одном из них Бабур остановился.

Ахмад Танбал ехал впереди отряда, закованный в доспехи. Блестел на солнце щит, прикрывая его грудь и левое плечо. В шею Ахмада попала стрела, раненое место он перевязал куском зелено-материи. Лицо его осунулось, скулы еще резче обозначились. За пятьдесят шагов до Бабура Ахмад Танбал спешился. Подошел к мирзе, пал на колени, поцеловал перед ним землю:

— Повелитель, наших врагов — чаграков — мы примерно наказали за неуплату налога. Мы отобрали шестнадцать тысяч голов овец и две с половиной тысячи лошадей!

— Поход прошел благополучно?

— Эти чертовы пастухи, повелитель, не захотели выполнить высокий указ, подняли бунт. Они убили троих, ранили десятерых наших воинов... Но мы отомстили врагам сторицей!

Ахмад Танбал подал знак дюжему воину в переднем ряду отряда. Тот взял в руки мешок, перекинутый через седло, спрыгнул на землю и подошел к мирзе. Щитый из грубого полотна мешок был весь в крови. Воин вытряхнул отрубленные человеческие головы из мешка. Ахмад Танбал стал считать: их было пятнадцать. А Бабур почему-то подумал: «Чаграки — наши же, тюрки... А мы их...» По спине побежали мурашки. Он хотел убедить себя в правоте наказания, учиненного по его приказу Ахмадом Танбалом: они тюрки, из одной и той же семьи, но налог должны платить и родственники, а эти чаграки не подчинились ему, его сборщиков налогов встретили мечом, вот и подверглись сами каре мечом... Он хотел убедить себя, но не мог. У одной из этих... у одного из убитых борода не выросла, желтоватое лицо гладкое, усы только начали пробиваться.

Юноше-чаграку было не больше семнадцати. Голову его отрезали у самого верха шеи.

Бабур побледнел. Повернулся к Касымбеку. Молчал.

Ахмад Танбал и его воины ждали от Бабура похвалы и награды. Шестнадцать тысяч голов овец и две с половиной тысячи лошадей — немалое богатство! И пусть три воина погибли, зато в отместку вон они, пятнадцать голов, валяются в траве. И это не все, кого они убили, проявив свою храбрость. А храбрость заслуживает поощрения.

Так считал и Касымбек, обеспокоенный бледностью Бабура. Отрезанные головы убитых — обычай. В прошлом году под Самаркандом молодой повелитель видел их немало. Когда кто-то хвастает: я, мол, убил множество врагов — и не представляет доказательств, то ему плохо верят. Есть люди — любители прихвастинуть. А тут воинское рвение видно воочию: повелось, что воин отчитывается количеством отрезанных голов.

— Повелитель, — прошептал Касымбек, — говорить мне?

Бабур кивнул. Касымбек, приблизившись, снова еле слышно спросил:

— Что, если в награду дадим меч... Вы согласны?

Среди клинов, которые хранились у оруженосца Бабура, был багдадский меч с золотой ручкой. Раз или два Бабур вешал его на ременной пояс и снимал — показался излишне тяжелым. На сей раз багдадское оружие он взял с собой, опоясал им оруженосца. Взгляд Бабура упал на этот меч, Касымбек понял.

— Уважаемый бек, — громко заговорил визирь, обращаясь к Ахмаду Танбалу, — ваше возвращение из богатырского похода весьма обрадовало нашего повелителя. Вы еще раз доказали, насколько простирается верность ваша мирзе Бабуру. Повелитель и все его приближенные говорят: «Хвала вам!» В Оше в честь победителей устроим большой пир, все наши воины-богатыри получат достойные награды. А сейчас наш повелитель мирза Бабур одаряет вас, Ахмад-бек, своим мечом с золотой рукоятью!

Касымбек взял из рук оруженосца багдадский меч и протянул его Ахмаду Танбалу, который на коленях, подняв подарок, вынул из ножен меч, обнажив булатный клинок на четыре пальца в длину, поцеловал сталь и дрожащим от волнения голосом произнес:

— До самой смерти не забуду щедрость вашу, повелитель! До конца жизни клянусь верно служить вам!

В тот день к вечеру перед сотнями шатров и юрт, разбитых в окрестностях города, заиграли карнаи, забили барабаны, зажглись факелы и костры — началось большое празднество. Беки, сановники, нукеры, служащие двора — все, кто поживился в той или иной мере овцами и лошадьми чаграков, — веселились. В великолепном шатре Бабура собирались на главный пир-церемонию знатнейшие. Музыканты услаждали их слух мелодиями, хафизы пели им свои лучшие песни.

Бабур сидел в глубине шатра на высокой шахсупе, к нему вели четыре позолоченные ступени. Ниже миры, по его правую сторону, среди самых почетных беков, сидел Ахмад Танбал. Вместо боевых одежд на нем были теперь златотканый чапан, серебристого цвета чалма, на таком же по цвету поясе висел подаренный Бабуром меч с золотой рукоятью. Его поздравляли с успешным окончанием похода и с наградой. Самым приятным Ахмаду Танбалу было поздравление Кутлуг Нигор-ханум и Ханзоды-бегим — среди первых, едва он вошел в шатер. Мать Бабура и его сестра сидели вполоборота к Ахмаду Танбалу на той же стороне, и время от времени Ахмад Танбал бросал на них взгляды исподтишка: тонкий стан бегим, семицветные шелка ее наряда, радужно сверкающего и манящего, опьяняли бека, потворствуя самым сладким его надеждам.

На пирах молодого повелителя вина не употребляли, и сам Бабур еще ни разу не попробовал спиртного. Ка-сымбек не любил вина и запретил им пить в таких случаях. Но остальные беки, помниая времена веселых возлияний совместно с миразой Умаршайхом, умудрялись, скрытно от Бабура, обходить запрет визиря.

Вот и здесь Али Дустбек, подняв голову, подмигнул шербетщику, стоявшему за его спиной, взглядом показал ему на Ахмада Танбала. Шербетщик понимающе улыбнулся и налил в фарфоровую пиалу напиток из отдельного серебряного кувшина. Когда Ахмад Танбал взял в руки пиалу, запах вина удариł ему в нос.

— Возьмите, бек, да будут еще более успешными ваши походы на Самарканд, — сказал негромко Али Дустбек.

Ахмад Танбал благодарно поклонился, опорожнил пиалу, потянулся к кускам мяса на дастархане.

— Вот теперь у нас есть запасы мяса, их хватит до

тех пор, пока не возьмем Самарканд и Бухару,— пьяный Али Дустбек проговорил громко, чтоб все слышали.— Надо скорей начинать поход!

Бабур ясно понимал, что на Самарканд беков толкает жажда обогащения, этой жажде противиться трудно было и раньше, сейчас же она стала похожа на стремительный поток горной реки; и не было сил ни у кого, чтобы повернуть ее вспять.

6

Мавляна Фазлиддин временно обитал на берегу быстрого Буврасая, в местности райски зеленои и приятной. Перед маленьким домом с айваном, на котором обычно зодчий и работал, росло несколько грушевых и айвовых деревьев. Под навесом в углу двора привязаны две лошади. Гнедого жеребца со звездочкой во лбу подарил мирза Бабур.

Что ж, мавляна Фазлиддин назначен личным зодчим повелителя, обласкан им, чему сначала можно было всей душой радоваться. Мирза Бабур вместе с зодчим наметил план возведения в Андижане на много лет вперед медресе и библиотек, он принял предложение мавляны по этому поводу да еще сказал, что Ханзода-бегим, пока мы будем в походах, будет приглядывать за строительством, и все планы, все их детали надо уточнять с ней. Когда мавляна думал о новых встречах с бегим, его сердцем овладевали и страх, и сладкое ощущение счастья.

Но вот вчера стало известно о том, что Бабур собирается в новый поход на Самарканд и что поход этот потребует всех сил, всей казны государства, строительные дела отложены на неопределенное время. Ну, а если Бабур не сможет взять Самарканд, если он, не дай того аллах, вообще будет побежден? Тогда все мечты мавляны сами по себе развеются. Но даже возьмет Бабур Самарканд,— ведь это значит, что он там и останется повелителем Мавераннахра. Так проявит ли он прежнюю заботу о Фергане? Более всего благоустраивают столицы, а разве будет тогда Андижан столицей?

Все дела мавляны, все его планы в этом бренном, непрочном мире построены на песке...

Мулла Фазлиддин перелистывал книгу по геометрии почти бесцельно, и настроение его портилось все больше и больше.

В ворота постучали. Старый слуга, чистивший деревянной лопатой навоз у коновязи под навесом, пошел к калитке. Потом возвратился к айвану, доложил:

— Мулла, кто-то хочет к вам войти.

— Кто же этот «кто-то»?

— Весь в лохмотьях, но, видно, здоровый джигит. Говорят: «Я его племянник»... Велел ему стоять у ворот, подождать.

— Племянник? Погоди-ка, погоди-ка,— мулла Фазлидин встал с места, сунул босые ноги в кожаные кавуши и направился к полуоткрытым воротам.

Высокий джигит, в растрепанном пропыленном чапане и вдрызг изношенных чарыках, стоял не двигаясь и сверкал глазами. Взгляд, улыбка его знакомые-знакомые.

— Дядя мулла! — не выдержал пришелец и кинулся навстречу.

— Тахир! Тахирджан! — Мавляна обнял его, крепко прижал к себе.— Жив, жив племянник мой назло всем смертям! Хо, я тебя узнал с трудом!.. Ты так изменился!.. А что с твоим лицом?

— Э, не спрашивайте, дядя...

— Ну, ладно, пойдем! Потом все расскажешь...

Все воскресло в памяти муллы Фазлиддина в первый же миг этой встречи.

Нет, три года назад Тахир не погиб, слава аллаху, остался жить лихой парень, сорвавший Султану Ахмаду его нашествие... А этот шайтан — нукир того, знатного шайтана, бывшего властителя Самарканда,— думал, что своей пикой убил Тахира, и покинул двор... «Бедная сестра моя,— думал Фазлидин,— так в себя и не пришла, как увидела сына ничком в луже крови». А Тахир при помощи табибов, приведенных дядей, через три дня пришел в сознание. Удар пики повредил легкое, но сердца и печени не задел, молодость Тахира и его сила помогли ему постепенно встать на ноги. Родные и соседи говорили, что смерть, пришедшую к Тахиру, взяла на себя его мать. Мулла Фазлидин справил сороковины в память покойной сестры, ушел из Кувы и — потерял следы племянника.

— Как отец, жив, здоров? — спросил мулла Фазлидин, приглашая Тахира подняться вверх.

Тахир постеснялся сесть на курпачу в запыленных чарыках, присел в сторонке.

— Отец передавал вам большой привет... Да я, дядя,

с год тоже не был в Куве... Родственники нашли вдовушку-старушку, чтобы ухаживала за отцом, а я... я все время вспоминал там маму, и не захотелось мне больше жить дома.

Причина, конечно, была не в тоске по матери. Из головы Тахира не шла несчастная Робия, ее крик о помощи не забывается. В позапрошлом году добрался он до самого Самарканда, по дороге работал жнецом, сопровождал караваны и везде и всюду искал Робию, расспрашивал про нее — «сестренка моя, увели ее нулеры Султана Ахмада». Никаких следов, ничего!

Время было смутное. Султан Ахмад умер в тот же год, когда наступал на Фергану, и войско его рассеялось, и трон захватил его брат Султан Махмуд, а потом его отприск Байсункур. Брат шел на брата, сын на отца. Один человек рассказал Тахиру, будто в Ташкенте многих наложниц продавали. Кинулся туда. В прошлом году осенью пешком добрался до самого Ташкента, кормился плохо, обносился весь. Не было и там Робии. Жизнь вот идет, как замутненная река. Тахир чувствовал тщету своих поисков — поди найди жемчужину в мутной реке, — но остановиться не мог.

— Племянник мой, то, что ты три года без устали ищешь бедную девушку, выказывает доброту твоего сердца. Я признаю, верность — достоинство настоящего мужчины. Но наудачу бродить — наносить себе вред. Да и пойми: у девушки своя судьба. Предназначенное — исполняется. Если она жива, то... кто-нибудь на ней женился. И теперь у нее есть и дети. Ведь не оставят же ее в девушках целых три года? Ты сам подумай.

— Я давно уже думал об этом, дядя... А хочу я смыть перед нею свою большую вину... Только...

— Какую вину?

— Робию родители хотели отправить в Андижан, это я уговорил ее остаться в Куве.

— А откуда ты мог знать тогда, что произойдет, племянник?

— Не мог, это верно... Но пока я не найду, не увижу ее, не смогу успокоиться. Если Робия, как вы говорите, замужем и живет по-семейному, тогда... тогда я примирюсь с судьбой. А если нет? Если она не по-семейному... и все еще ждет избавителя — меня?! Вот я же не могу ее до сих пор забыть? Если и она не забывает меня?

Мулла Фазлидин горестно покачал головой:

— Три года прошло, три года... Каждый из нас,

каждый из всех нас стал другим, а от прежней душевной болезни лекарства нет, оказывается.— И повернул разговор на другое: — Тахирджан, твой дядя стал богатым человеком.— Мулла Фазлиддин сунул руку за пазуху и вытащил черный кожаный кошелек с кисточкой. Сначала он хотел дать несколько золотых монет, но потом весь кошелек протянул племяннику: — Возьми, пойди в торговые ряды, сегодня пятница, большой базарный день, товаров много, купи себе что нужно.

— Нет, дядя, так не надо... вы дайте мне взаймы.

— Ну, ладно, ладно, пусть взаймы! Возьми сколько нужно, а когда будут у тебя деньги, вернешь.

— Вот это другое дело.

Тахир вернулся только к вечеру. Он купил себе добродетельные воинские сапоги, могольскую шапку на голову и грубошерстный чекмень. В руках Тахир держал меч с потертыми ножнами, тоже, видно, послуживший воину. Мулла Фазлиддин удивился:

— Зачем тебе меч?

— Вербовщик записывает добровольцев в войско Бабура...

Теперь зодчий понял, зачем его племянник приехал в Ош, и ужаснулся:

— Ты сошел с ума, Тахир! Все бегут от войны, а ты сам лезешь в пасть дракона. Мало тебе было самаркандской пики?!

— Э, дядя мулла, сколько раз мог я погибнуть после того случая. Один бек в Ташкенте хотел силой отнять у бедняка дочку, ну, прямо как с Робией было,— ну, я не выдержал, вмешался, и вот — шрамы на моем лице, они от кинжала того бека...

— До сих пор не понял, что в мире правит сила?

— Так я и хочу быть в сильном войске. Насильники только и боятся что силы... Я видел много страданий людских, дядя, делил тяготы с простыми людьми. И многие говорили мне, что сердце у мирзы Бабура чистое, замыслы благородные... Кто же нам поможет, если не справедливый шах?

Мулла Фазлиддин тяжко вздохнул:

— Но мирза Бабур еще очень молод. Я тоже на него надеялся, думал украсить Фергану... И снова война, снова кровь... Все мы живем во тьме, в объятиях ночи. Время коварное, неправедное. Смотри, как бы и тебе не стать оружием в руках насильников-беков.

— Верьте мне, дядя, этого не будет. Несправедливо-
сти я служить не буду...

— Сам Бабур потворствует бекам, потворствует не-
справедливости.

— А может, потому, что у мирзы Бабура мало своих
нукеров, ну, таких, как я? Войско-то составляют отряды
беков. Уже давно так повелось... Я другого пути не на-
шел для себя, дядя. В одиночку ничего не добьюсь.

Мулла Фазлиддин пристально посмотрел на пле-
мянника. Не отговорить его от задуманного, нет, не
отговорить.

— Ты встречался с вербовщиком?

— Да. Он говорит: «Коня у тебя нет, возьмем в пе-
шее войско». Да я ведь привык ходить пешком, дядя.

— Самые большие потери несет пешее войско, ты
подумал про это?

— Ну что ж... Будет ли мне одна битва или сорок...
умирает тот, кому суждено умереть.

— Хватит про смерть и войну, племянник!

Наутро после завтрака мулла Фазлиддин велел слуге
оседлать обоих коней — тех, что стояли под навесом.

— Бери вот этого,— сказал он Тахиру, показав на
длинноногого жеребца.— Считаю для себя недостой-
ным, чтоб ты шел пешим в поход!

Сам зодчий сел на подаренного Бабуром гнедого, со
звездочкой на лбу.

Дядя с племянником верхом отправились к дворцу
Бабура.

Мулла Фазлиддин обратился к Касымбеку:

— Я бы хотел попросить повелителя, чтоб он взял
моего племянника Тахира... в свою личную охрану.
Он до конца жизни будет мирзе Бабуру верным
воином.

Касымбек увидел, как крепок и силен Тахир.

— Ты уже бывал на военной службе, джигит? —
спросил он, указав на шрам, прорезавший лицо Тахира.

— Нет, еще не бывал,— ответ Тахира прозвучал
сухо и независимо.

Вмешался мулла Фазлиддин.

— Господин амир ал умаро, племянник потомствен-
ный дехканин, но в нем есть все, что нужно воину.
И сила, и отвага, и смекалка. Помните, на мосту через
Куву войско самаркандца понесло большие потери?
Одним из тех, кто принес нам тогда победу, был вот этот
самый Тахир!..

— Принес нам победу? — недоверчиво спросил Касымбек.— Как же это?

По краткому рассказу зодчего получалось, что простые кишлачные парни сделали такое, что не сумели сделать беки и нукеры. Касымбек не хотел этому верить.

— Успех в Куве нам подарили всевышний, мавляна!

— Конечно, в душу этих парней сам всевышний вложил мысль разрушить узкий мост... Тогда Тахира тяжело ранили, мой племянник едва избежал смерти, господин Касымбек!

— Вот как! — уже гораздо теплее смотрел визирь на Тахира.— У тебя, стало быть, свои счеты с самаркандцами, а, джигит?

— Да.

Касымбек обернулся к вербовщику, стоявшему тут же, сзади:

— Этого джигита зачислишь в отряд тех нукеров, что проходят обучение у подножия горы Чилмахрам! — Затем объяснил мулле Фазлиддину: — Там лучшие собраны. Кого готовим в личную охрану повелителя.

7

На совете беков решено было начать самаркандский поход в месяц рамазан. Почти всю главную подготовку завершить в самом Оше.

Бабур старался не показываться на глаза Кутлуг Нигор-ханум. Часы, свободные от забот предпоходных, проводил в своем шатре один. Читал книги.

Сегодня после вечерней молитвы Бабур в «Былом» писал о смерти отца. Дежурный ординарец известил, что Кутлуг Нигор-ханум и Али Дустбек просят их принять. Бабур закрыл тетрадь, пошел к дверям встретить мать, проводил ее на почетное место.

Кутлуг Нигор-ханум была бледна. Бросалась в глаза седая прядь — чуть повыше лба, у самого пробора. Сорокалетняя женщина, она одевалась по-старушечьи, ходила согнувшись. Бабуру стало жаль мать, низким и тихим голосом он заговорил сам о том, о чем несколько минут назад не хотел говорить совсем:

— Матушка, не думайте, что я забыл о ваших советах. Если позволит всевышний, то после возвра-

щения из Самарканда я сделаю все, о чем вы мне говорили.

— Аллах всемогущ и всеведущ, мы же — его рабы — не должны роптать. Да будет с вами, сын мой мирза, благословение божье, чтобы осуществились добрые ваши намерения!

Али Дустбек поднял могучие свои руки в молитвенном жесте.

— Илохи омин! — провел крупными толстыми пальцами по своему гладкому лицу, на котором не росла борода.

Этот безбородый человек приходился двоюродным братом бабушке Бабура Эсан Давлат-бегим. По этой причине он прибавляет — торжественно, как титул — к своему имени слово «тагойи» и по этой же причине относится к Кутлуг Нигор-ханум покровительно. И потому, как только все уселись на шелковых курпачах, Али Дустбек позволил себе взглянуть на Кутлуг Нигор-ханум полуошрительно-полувопросительно: начнем, мол, разговор? Ханум кивнула, разрешая начать Али Дустбеку. Тот прокашлялся и, нагнув голову, начал:

— Повелитель, матушка ваша и верный ваш дядя пришли просить совета по одному весьма деликатному делу. Уважаемая ваша сестра Ханзода-бегим достигла двадцати лет. Пора, пора выдавать ее замуж. Бегим прекрасна, как луна, ясна, как день, умна и скромна, как... не знаю, как что, да это и не важно. Важно, что до сих пор не находилось достойного жениха. И матушка ваша, и дядя объяты беспокойством: лучшее время уходит...

— Если она просидит дома еще год-другой, могут начать посмеиваться над ней: мол, старая дева — эта дочь мирзы Умаршайха, — вставила свое Кутлуг Нигор-ханум.

Бабур и раньше слышал подобное о судьбе сестры. Сегодня, судя по решительности Али Дустбека, кого-то нашли в достойные женихи. С юношеским любопытством и прямотой Бабур спросил:

— Кто хочет стать мужем нашей сестры?

Али Дустбек не пожелал столь же прямо ответить.

— Кто осмелится сказать: я достоин быть зятем повелителя Ферганы? — витиевато вопросил старый бек.

— А все же? — настаивал на своем Бабур.

Али Дустбек вынужден был открыть «тайну»:

— Среди ваших военачальников, повелитель, есть султан Ахмад Танбал. Знатного рода, храбрый воин, двадцать восемь лет от роду. Помните, как в прошлом году он помог вам раскрыть заговор Якуб-бека? А каков его поход против чаграков?..

Бабур согласно кивнул головой. Но когда он представил Ханзоду-бегим рядом с Ахмадом Танбалом, сердце его сжалось болезненно — никакого соответствия, никакой общности душевной.

— Вы согласны, матушка? — спросил он.

Кутлуг Нигор-ханум тяжело вздохнула.

— А где иной выход? — ответила она вопросом на вопрос.— Ханзода достойна венценосных женихов. Но надежных нету в наше смутное время. Мы с вашим дядей порасспросили, поразузнали: бек Ахмад Танбал из очень знатного рода, прадед его был султан, был родственником самому Чингисхану. Его старший брат бек Тилба ныне в Ташкенте — первый визирь у вашего дяди хана Махмуда. Если бек Ахмад станет нашим зятем, то через своего старшего брата он приблизит вас к вашему дяде хану Махмуду. Да и вообще: такой влиятельный бек со всем своим родом, нукерами под вашим крылом — большое подспорье.

— Истинно так! — воскликнул Дустбек с глубоким убеждением.

Бабур пожал плечами, не зная, что ему сказать: юноша даже застеснялся,— сестра старше его на пять лет, что это матушка и старый бек хотят втянуть его в эдакое трудное дело?

— Такой брак хороши для самой бегим,— продолжал Дустбек.— Выйдет замуж за какого-нибудь венценосца — окажется вдали от матери, от защиты и покровительства любимого брата, нашего повелителя...

— Гораздо лучше будет и мне, раз она будет рядом,— опять перебила Кутлуг Нигор-ханум.— Ханзода — моя первая дочь, советчица моя, будет рядом, и я не почувствую одиночества.

Бабур подумал, что, видно, многое из того, что не приходит в голову ему, знает мать. Решительно сказал:

— Коли матушка согласна, то и делу конец.

Дустбек обрадовался:

— Истинно так, повелитель мой, истинно так! Недаром говорят: мать согласна — и всевышний согласен!

А Кутлуг Нигор-ханум не радовалась. Почему? Бабур спросил:

— Как сама бегим?

Кутлуг Нигор-ханум после тяжелого молчания сказала, выдав причину своего дурного расположения духа:

— Бегим не согласна. Когда узнала, долго плакала.

— В таких случаях девушки всегда плачут,— усмехнулся Али Дустбек.

— Перестаньте, бек! — вдруг раздражившись, вскинула Кутлуг Нигор-ханум.— Перестаньте... Меня очень беспокоит настроение Ханзоды-бегим. Бабур-джан,— мать говорила теперь подавленно, тихо,— я случайно услышала страшные ее слова... Она хочет покончить с собой... Что делать, что делать, не знаю я...

— Как? — вскинулся Бабур.

Старый бек не стал, однако, отмалчиваться.

— Ваша сестра любит вас больше жизни, повелитель,— сказал он.— Вам она не сможет отказать. Вместе с вашей глубокочтимой матушкой мы пришли к вам с просьбой: пригласите к себе Ханзоду-бегим и поговорите с ней. Ради интересов государства сестра ваша должна дать согласие. Высокородный бек Ахмад прислал сватов. Вместе со всем своим родом он ожидает вашей милости. Отказ сделает их вашими врагами. К тому же наша повелительница права: будет еще три-четыре года сидеть дома бегим, ваши недруги распространят слухи: мол, жениха не найдут для этой старой девы. И слухи эти вашей семье нанесут вред! Если Ханзода-бегим желает вам добра, она должна согласиться. Должна...

Бабур, зажав голову в ладонях, потерянно молчал. С таким делом он сталкивался в своей жизни в первый раз. Если б чужая была, а то... родная, кровная сестра! Бабуре даже неловко заводить с ней эдакий разговор... Но, с другой стороны, мать ждет его помощи... Ждет помощи, а сестра вон покушается на собственную жизнь — какой грех великий может свершиться.

— Что ж,— сказал наконец Бабур, так ничего и не решив для себя,— пусть бегим придет ко мне, я поговорю с ней наедине.

Ханум быстро встала с места:

— Сейчас... сейчас же я пришлю ее к вам.

Дустбек улыбнулся, обнажив редкие зубы.

— Повелитель, ваше решение — закон для всех! —

и сделал каменное лицо, как бы призывая Бабура к твердости.

И вот они наедине, вдвоем.

Бабур медленно перелистывает книгу на маленьком шестиногом столике, инкрустированном перламутром, не замечая, что свет от двух светильников на подставках не доходит до ее страниц. Ханзода-бегим в однотонно желтом платье сидит на курпаче с видом больного человека.

— Что с вами, бегим? — спросил Бабур.

— Повелитель, я жду помощи и защиты!

По грустному лицу Ханзоды прокатилась слезинка, но голос звучал твердо. Опять Бабур почувствовал, как стиснулось его сердце: не мог видеть, как плачут женщины. Мало, что ли, было тех сложностей, которые взвалила на него судьба венценосца, борца за единый Мавераннахр? Бабур с искренним огорчением сказал:

— Я сам нуждаюсь в помощи, я сам ищу выхода из того положения, бегим, в котором сейчас нахожусь. Дела одно трудней другого сыплются на голову. Вы хотите загнать меня совсем в тупик своими слезами?

Быстро вытерев слезы, Ханзода постаралась взять себя в руки:

— Мой амирзода, я слышала... будто Ахмад Танбал в горах отрезал головы убитым пастухам и привез цепь хурджун отрезанных голов...

Бабур вспомнил окровавленную голову еще безусого человека и вздрогнул.

— Войны без убийств не бывает,— он старался успокоить больше себя, чем сестру.— И наших воинов убили.

— Я мечтала прожить свою скромную жизнь вместе с просвещенным человеком. Руки Ахмада Танбала в крови, он убийца. Повелитель мой, неужели вы считаете его достойным меня?

— Джигита, равного вам по достоинствам, может быть, нет во всем мире. Однако... мать, наверное, сказала вам о причинах... Я также... вынужден просить вас!

Ханзода-бегим, глядя на слабый свет горящих свечей, представила себе вдруг Ахмада Танбала, его нескладную фигуру, голое безбородое лицо, подумала о том, что придется спать с ним в одной постели,— брезгливая дрожь прошла по всему телу:

— Я боюсь этого бека!

— Не бойтесь ничего, бегим. Я никому не позволю причинить вам даже капельки зла.

— Но вашу сестру насилино выдают за такого... за такого отвратительного человека — какое же зло больше и непоправимей?

Твердость оставляла Бабура.

— Зло... Сама судьба злая! Я целые дни — с людьми, которых не люблю. Меня вовлекают в дела, которых я не хочу. Но думаю об интересах нашего государства, нашего Мавераннахра и — заставляю себя!

Оба, будто не слушая друг друга, говорили каждый о своем, хотя Ханзода-бегим лучше понимала брата и сильнее жалела его. Она вдруг вспомнила, с какой любовью нянчила брата, когда тот был совсем маленьким.

— Бабурджан, мой единственный брат, единственная моя защита, я ради вас не пожалею жизни! Я бы согласилась пойти за Ахмада Танбала ради вас. Нэ я хорошо знаю ваше чуткое сердце: коли я всю жизнь буду несчастной, то впоследствии оно будет страдать больше, чем мое собственное.

— Но я молю бога и верю, что вы не будете несчастной!

— Если я выйду замуж за этого человека? Вся жизнь моя пройдет в муках, Бабурджан, поверьте! Ну, а интересы Мавераннахра... И венценосец — человек, и он живет лишь один раз... Мы должны прислушиваться и к своему сердцу! Чистое сердце никогда не обманет!

Ханзода-бегим говорила так искренне, горячо, порывисто, что огонь ее сердца перекинулся и в душу Бабура. Безжалостные беки, обязанности перед государством, расчеты на укрепление власти — у, какая все это холдная зима! Ханзода-бегим плавила этот лед, и душа Бабура оттаивала, к ней опять возвращалась теплота весны, свобода юности, и от облегчения щемило в груди.

Ханзода-бегим говорила со слезами на глазах:

— Бабурджан, ваше сердце чистое, вы талантливый и самоотверженный юноша!.. Эти беки научились выдавать собственную корысть за интересы государства. Они пользуются вашей молодостью. Но когда они будут вынуждать делать не угодное душе дело, то прислушайтесь, умоляю, прислушайтесь к собственному сердцу. Самый лучший советчик — это ваше чистое сердце. Оно не обманет!

Ханзода-бегим протянула руки к брату:

— Я ищу справедливости у вашего чистого сердца, мой амирзода. Что прикажет вам ваше сердце, то прикажите и мне! Я все сделаю!

Бабур вскочил с курнаци, взял сестру за руку, поднял на ноги.

— Не плачьте, ну, хватит! — прошептал он. Он едва удерживал рыдания.— Моя единственная, моя кровная сестра мне ближе всех беков. Какая бы ни пришла беда из-за отказа, я беру ее на себя! Пока я жив, не допущу, чтобы сестра моя вышла за нелюбимого!

САМАРКАНД

1

Войско Бабура осаждало Самарканд все лето и всю осень. Целых семь месяцев Байсункур не открывал городских ворот. Наконец, не выдержав тяжких зреющих голоды и прочих бедствий, навлеченных им на самарканцев, Байсункур в одну из холодных, зимних ночей тайно покинул столицу и с кучкой приближенных бежал в Гиссар, к Хисрову.

Самаркандинские беки приказали открыть ворота тотчас, как узнали о бегстве своего хозяина.

Более трех тысяч хорошо вооруженных воинов Бабура под громозвучие барабанов и карнаев влилось в город — часть большого потока, приведенного им к Самарканду. Пяти лет от роду Бабур увидел это чудо земли впервые — и сейчас, во второй раз, хорошо не помнил, где что в Самарканде. Перед глазами, словно голубые ледники, парили в небе величественные купола, и Бабур спрашивал Касымбека, который же из них принадлежит медресе Улугбека, а который — медресе Биби-ханум. У стен арка отряды остановились: Бабур залюбовался сказочно красивым куполом-шлемом Гур-Эмира, усыпальницы великих предков, чьи дела разжигали в нем жажду славы. Этот купол он узнал сам, без подсказки. Торжественный вид сооружений, их четкие очертания рождали в душе Бабура восхищение.

Сверху, с холма, на котором была воздвигнута городская крепость, Бабур мог охватить одним взглядом сутолоку домов с айванами, ряды улиц и переулков — он глядел на это обиталище людской жизни и вдруг остро почувствовал, что его невеста, Айша, тоже вы-

сматривает сейчас его, победителя, где-нибудь сквозь щелочку одного из этих бесчисленных домов. Избавилась, бедная, от всех несчастий своего плена, ждет его, только узнает ли средь стольких воинов?

Бабур толкнул коня, подъехал к Касымбеку, тихо спросил:

— Послали кого-нибудь узнать о пленных?

Касымбек не сразу понял тайный смысл вопроса:

— Повелитель, о каких пленных вы говорите?

Бабур постеснялся напомнить Касымбеку (по возрасту ему в отцы годится!) о невесте. Странно застеснялся, опустил взор. Касымбек догадался.

— Ах, пленные... пленницы! Пленница! — он выговорил слово, которое застряло у Бабура на кончике языка. — Ваш Нуян Кукалдаш послан мной узнать о судьбе дочерей Султана Ахмада. К вечеру вы узнаете, повелитель.

Они въехали внутрь крепости. Самое крупное и массивное сооружение в арке — четырехъярусный Голубой дворец — Кок-сарай. В Кок-сарае немало венценосцев кончили свои дни насильственной смертью, дворец с давних уже пор внушал им страх, потому-то последние из правителей Самарканда в нем не жили: всходили на Коқташ¹ и покидали здание. Бабур тоже решил остановиться в правой части крепости, во дворце Бустан-сарай.

Когда вечером в Бустан-сарае зажгли свечи, в покой, отведенный Бабуру, вошел Нуян. Вся в позолоте, комната эта была тем не менее очень холодной. Курпачей натаскали много, но разговаривать пришлось все равно не снимая шуб и шапок.

Голос Нуяна Кукалдаша постепенно теплел, становился все непринужденнее. С тех пор как Бабур стал повелителем, сверстники его, вроде Нуяна, отодвинулись на задний план: шах окружен беками, а не друзьями — это закон. Но сегодня Бабур и Нуян снова близки, что и радовало обоих.

Нуян возбужденно рассказывал:

— От имени повелителя... ну, отнесли золотые браслеты, материи всякие дорогие, ну, еще урюк, сладости с миндалем. Старшая тетя ваша Мехр Нигор-ханум сама встречала...

Мехр Нигор-ханум — старшая сестра Кутлуг Нигор-

¹ Глыба голубого камня, место коронования. Ныне хранится во дворе мавзолея Гур-Эмир.

ханум и первая жена ныне покойного Султана Ахмада. Мать Айши-бегим умерла в молодости, девочку взяла на воспитание Мехр Нигор-ханум, у которой детей не было, да и сейчас она заботится об Айше, как родная мать. Бабур подумал весело: вот, она и тетка, и теща будет.

— Истощал-а-а-ла, — протянул Нуян. — Голодали они сильно, давно не видели хлеба. «Муки невозможны было найти и за золото», — так сказала ханум. И плакала, плакала. Ели, говорит, лепешки из отрубей. И дров у них нет, дрожат от холода.

— Неужто Байсункур был так жесток к женщинам?

— Ну, мирза Байсункур и сам досыта не ел в последние дни... Шутка ли, семь месяцев просидеть в осаде! На улицах трупы неубранные. Голод, голод был. Бедняки ослов и собак ели. Мы об этом толком не знали... Я, как вернулся от них, встретился с Касымбеком, рассказал коротко обо всем. Арбу муки и риса, арбу дров, десять голов овец, — все это я сам отвез и отдал ханум. А уж потом меня сюда пропустили.

Нуян Кукалдаш несколько мгновений помолчал, таинственно улыбнулся, сейчас об Айше-бегим начнет, — Бабур нетерпеливо взмахнул рукой:

— Говори, Нуян, говори же...

— В украшенной золотом комнате, ну, как в этой, примерно, — Нуян обвел взглядом стены, — встретила меня Айша-бегим в белом ажурном покрывале... — Нуян опять сделал передышку. Айша-бегим, вправду сказать, ему не понравилась: лица ее под покрывалом он не смог разглядеть, а фигура слишком маленькая, худенькая, тщедушная какая-то вся. — Показалась она мне... тоиенъкой-тоиенъкой. «Добро пожаловать!» — говорит. И голос такой нежный, ласковый такой, чистый.

«Как это несправедливо», — подумал Бабур. Тоскуя по Айше-бегим, он примчался сюда из Андижана, а не может ее увидеть сразу же. Им нельзя встретиться, нарушится обычай, пойдут порицания, своей нетерпеливостью можно обидеть родных девушек.

На лице Нуяна Кукалдаша так и было написано, что у него-то есть лекарство от этой несправедливости. Нуян сунул руку за пазуху и вытащил оттуда маленький кисет из белого шелка.

— От имени Айши-бегим вам вручила этот кисет Мехр Нигор-ханум!

Бабур помял кисет в руке. Вроде бы ничего нет, но когда он развязал тесемки и, расправив горловину, опорожнил кисет, на ладонь выпали два алмазика. Каждый чуть больше росинки, но — тяжелые. Мерцали алмазы и нежно, и горячо.

— Посмотрите на изнанку,— сказал Нуян.

Кисет украшали нежные бусинки, а изнутри было вышито красным шелком слово, которое Бабур поначалу и не заметил. Одно слово, а какое! «Избавителю», — и одно это слово показалось Бабиру сладостней, чем поэма о любви. Айша-бегим, видно, вышила это заранее, не могла же она завершить такую работу прямо при Нуяне. Значит, верила, что Бабур придет, освободит ее!

— Послушайте-ка, мирза, историю этих алмазов, что вы держите на ладони,— продолжал Нуян непринужденно.— Знаете, откуда они? С чалмы Султана Ахмада, когда он сидел на самаркандском троне!.. Его дочь пожелала, чтобы эти алмазы вместе с вами снова засияли на самаркандском престоле,— да будут они сиять на вашей голове, мой мирза, еще сто лет!

При упоминании о Султане Ахмаде Бабур помрачнел: не так давно еще самаркандец был жив, завоевал его, Бабура, земли, и пришлось искать с ним мира — мира без победы. Но алмазы сверкали таким чистым светом, что их лучи казались ему светом глаз невесты. Она ждет его!.. И потом — он все-таки победил!

— Пусть будет так, как того желает Айша-бегим! — сказал Бабур. Затем хлопнул в ладоши, вызывая дасторпеча.

Дасторпеч ловко пришил алмазы на чалму, которую Бабур надевал на торжественные церемонии...

В тот вечер Бабур, горя желанием встретиться с невестой — свою заочную любовью, — начал писать газель:

О неземной твоей красе твердили мне всегда.
Чтоб убедиться в ней, я сам сейчас пришел сюда...

2

Студеный зимний ветер пробирал до костей. Закованые в цепи, тщетно кутались в рваные лохмотья, дрожали узники, согнанные на главную самаркандскую площадь Регистан, чтобы узнать о себе приговор городского казия-судьи.

Надежные чиновники доказали: эти совершили тяжкое преступление, обман. Во время осады они подослали к Бабуру человека с предложением: подъезжайте, мол, ночью к воротам Феруза, мы их вам откроем. Десяток отважных нукеров пошли к Гори Ошикон, а как начали потом залезать на стену, эти их схватили и выдали байсункуровским военачальникам.

— Это не мы, не мы... Те, на ком измена, кто выдал ваших, сбежали! — превозмогая страх, выкрикнул один из согнанных.

На его слова никто не обратил внимания.

Действуя в соответствии с высочайшим фирманом и по обычаям отцов и дедов, касающихся форм наказания врагов, палач, связав за спиной запястья рук осужденных, подводил их, по одному, к особливо для этой цели вырытой яме, заставлял стать на колени и наклонять головы. Удар мечом по шее, и горячая кровь казненного обрызгивала камни площади, испуская на холоде тепловатый пар...

Яму засыпали, а шедший всю ночь снег упрятал следы казни ослепительно белым покровом.

На другой день к полудню потеплело, снег на голубых куполах начал стаивать.

После полуденного намаза Бабур сел на коня и выехал осмотреть торговые ряды Самарканда. Рядом с ним — Касымбек, чуть поодаль за ними — Ахмад Танбал, еще один бек по имени Ханкули, несколько нукеров. Сопровождал их старый самаркандский поэт Джавхари, хорошо знавший, что где есть в городе.

Миновали ханаку — обитель для путешествующих и странствующих, увенчанную некогда, еще при Улугбеке, огромным куполом. Джавхари указал на улицу, что вела к восточным воротам.

— Мир Алишер, когда бывал в Самарканде, много раз проходил по этой улице. В конце ее стоит до сих пор дом, где работал учитель. Мир Алишера Абдуллайс.

— Вы бывали на беседах Мир Алишера? — спросил Бабур.

— Да, мы с ним ровесники, но все равно я считал его своим учителем. Читал ему свои стихи, постоянно получал от него добрые советы. Оказывается, он не забыл меня: в своем знаменитом произведении «Мадолис уя нафоис» Мир Алишер помянул и вашего покорного слугу.

Белобородый Джавхари (у него даже брови успели

поседеть) вызвал добрую зависть у Бабура. Вот бы и ему, Бабуру, стать таким поэтом, которого заметил бы Навои! А то ведь до сих пор он не пошел дальше упражнений в стихосложении, что пишет — стесняется показывать другим... «Так-то оно так, но все же мечту стать большим поэтом я не брошу, потому и сегодня,— Бабур усмехнулся,— пригласил сопровождать себя не знатных самаркандских беков, а этого белобородого поэта, ровесника и собеседника Алишера Навои».

Джавхари повел их в махаллю хлебопеков. Улицы были пустынны. Снег на них, еще никем не тронутый, доходил в иных местах до самых кончиков сапог тех, кто сидел в седлах. В тени обжигал лицо ветер, но там, где было солнечно, под дувалами и у стен домов обозначались лужи ростепели.

Бабур оглядывал плоские крыши невысоких домов. И на них снег не счищен. Вокруг вообще ни одного человека не увидишь. Подъехали к хлебному ряду, и там то же самое: все лавки закрыты. Удивление Бабура росло:

— Мавляна, хлебопеки перекочевали в другой город, что ли?

Джавхари вздохнул:

— О повелитель, уже три месяца, как на базар не выносят лепешек. Нет муки. Во время осады многие хлебопеки умерли от голода. Люди совсем обессилены. Выйти на крышу и снести снег не в состоянии.

Бабур почувствовал себя так, будто его упрекал Джавхари в таких несчастьях. Привычно посмотрел на Касымбека, ища поддержки или ответа на невысказанный вопрос. Касымбек сказал поэту с укором:

— Наверное, есть все же хлебопеки, остались в живых, а, мавляна?

— Есть, есть... Наверное, остались. Но нуждаются в помощи. Вот если бы сейчас повелитель приказал дать им муку... Наверное, торговый ряд снова открылся бы и люди поели бы знаменитых самаркандских лепешек...

Касымбек заметил, что Бабур готов поступить так сразу же, немедля.

— Повелитель, у нас самих осталось совсем немного зерна. Для войска нужны припасы. Чтобы торговать — на это не сможем дать муку. Может быть, позже...

Старый поэт смотрел на Бабура с надеждой. То ли черный суконный чекмень на угловатых старческих плечах, то ли коротко остриженная борода Джавхари —

что-то в облике поэта напомнило Бабуру изображение Навои, сделанное Махмудом Музаххабом. Если он, Бабур, не оправдывает надежд мавляны Джавхари, значит, не оправдывает он надежд Навои. Бабур привстал в стременах, начальственно произнес, обращаясь к Касымбеку:

— Зерно и муку дать не торговцам, а хлебопекам. Надежный человек пусть надзирает над ними, а они пусть напекут лепешек — и от нашего имени раздать самим голодным! Пять-шесть мешков не лишат войско припасов. Караван из Джизака завтра или послезавтра прибудет с зерном.

— Пусть вас благословит всевышний, о великий мирза! — с радостью сказал Джавхари.

Радостным был он один. Ахмад Танбал, натянув повод своего сильного упитанного жеребца, довольно явственно пробормотал:

— Откуда взять столько хлеба, чтоб накормить всех голодных, что оставил здесь Байсункур? Мы пришли сюда не затем, чтобы их кормить.

С тех пор как в Оше сваты пришли от Бабура ни с чем и Ханзода-беким так и не стала его женой, бек начал действовать против Бабура тайно, но с той большей ненавистью, скрываемой многочисленными поклонами перед «моим несравненным повелителем».

— Досточтимый бек,— Бабур выпрямился в седле еще надменнее.— Мы пришли не для того, чтобы накормить Самарканд, это верно, однако и не для того, чтобы его ограбить!

Танбал испугался намека — вчера его люди взломали лавки ювелиров. Глаза бека округлились, но тут же он попытался напустить на лицо обычную невозмутимость.

— Истинно вы говорите, мой великий, несравненный повелитель,— сказал он.— Но я хотел бы спросить: имеем ли мы право получить какую-то военную добычу в городе, за который отдали столько воинов? Добыча победителей законна, это наш древний обычай!

Слова Танбала понравились Ханкули, стоявшему среди группы нукеров,— это чувствовалось по кивку головы, по улыбке. Большинство нукеров также считали Танбала правым: если уж не все беки сумели овладеть такой добычей, что их удовлетворила бы, то что уж там перепало простым воинам, «завоевавшим» Самарканд, не кишлак какой-нибудь.

Бабур знал, что в его войске есть недовольные. Но дай волю бекам, самаркандцы помрут от голода, а ведь это его подданные, теперь тоже его подданные. Но начни спасать подданных от голодной смерти, беки и нукеры будут в три горла кричать: «Почему им дают нашу долю?»

Бабур взглянул на Касымбека. Визирь будто невзначай смотрел в другую сторону.

— Причина голода — не один Байсункур, так ведь? — сказал Бабур мягко.— Если бы мы семь месяцев не осаждали Самарканд...

Касымбек не захотел, чтобы Бабур оправдывался перед ненавистным Танбалом. Визирь решил закончить разговор единственным способом:

— Слова повелителя для нас закон! Нечего спорить! Завтра же хлебопекам будет выдана мука и я сам пролежу за раздачей лепешек голодным!

Бабур бросил на визиря благодарный взгляд.

— Ну, с этим все,— сказал успокоенно. Затем повернулся к поэту:— Давайте-ка отправимся к книжным лавкам.

Мавляна Джавхари повел их кривыми переулками, и неожиданно открылась широкая площадь, закрытые наглухо лавки продавцов книг. Вдруг послышался какой-то шум, невнятные крики, из-за лавок выскоцила простоволосая и босая женщина с безумными глазами, а за ней худой средних лет мужчина.

— Вай, пусть сгинет аллах, что убил мое дитя! Пусть он тоже помрет от голода!

Увидев конных, и женщины, и мужчину остановились будто вкопанные. Мужчина так и не смог преодолеть растерянности, а женщина опять принялась выкрикивать проклятия:

— Пусть сам всевышний гибнет в осаде! Пусть помрет от голода, как мое дитя! Пускай сгинет!

— Мулла Кутбуддин, что случилось? — громко спросил Джавхари мужчину.

Тот наконец пришел в себя, резко подбежал к женщине вплотную, схватил ее за руку, легко поволок ее, худую, обессиленную, за лавку, во двор. Только после этого, запыхавшись, возвратился и подошел к всадникам со скрещенными на груди руками.

— Простите меня, простите. Жена моего брата сошла с ума от горя по своему сыну. Мы голодали. Племянник съел жмых, весь распух и помер.

Наступило тяжелое молчание.

— А еще хотят и дальше бездолить этих несчастных, говорят про военную добычу! — Бабур ни на кого не взглянул, но Ахмад Танбал и Ханкули быстро переглянулись, насупились.

Мулла Кутбуддин был известным в городе книготорговцем. Когда Джавхари тихо сказал ему, кто и зачем пришел сюда, мулла Кутбуддин торопливо открыл лавку. Бабур спешился, вместе с мавляной вошел внутрь; торговец неспешно доставал с полок редкие книги, стирал накопившуюся за долгое время пыль. Передавал книги Бабуру, коротко поясняя... Вот в драгоценных, в золото убранных переплетах Махмуд Кашгари, Абдурахман Джами... вот выполненный с различными рисунками Абдураззак Самарканди... Да, это «Мезонул авзан» Навои, книга об арузе. Как раз ее Бабур искал уже давно, расспрашивал, у кого бы можно было ее купить. И вообще здесь оказалось множество книг, которые украсили бы его библиотеку и ценность которых для него не измерялась никаким золотом. Бабур почувствовал себя в этой пыльной лавке, словно в сказочной пещере сокровищ.

— Что еще есть? Что еще? — спрашивал он в волнении.

И мулла Кутбуддин показывал все новые и новые книги, одна бесценней другой. Незаметно вошедший в лавку вслед за мавляной Касымбек хорошо знал, как дорого стоят эти книги, исполненные прекрасными переписчиками, украшенные тонкими узорами. Самаркандская казна оказалась, как он и предвидел, пустой, золота, привезенного из Андижана, не так много, и не для книг оно взято в поход. А Бабур продолжал увеличивать стопку отобранных книг — их уже было больше десятка. Касымбек шепнул:

— Повелитель, с нами сейчас нет казначея...

Бабур не понял смысла услышанных слов, он забыл про все, кроме книг.

— Казначея? Казначея пришлем, — и показал книготорговцу на стопку. — Подсчитайте, хранитель моей библиотеки и казначей придут, оплатят и унесут эти книги.

Мулла Кутбуддин поклонился, выразив удовольствие послужить повелителю Самарканда, чья щедрость всем давно известна, и так далее, и так далее, но Бабур почувствовал, что торговец хочет сказать что-то еще, но не осмеливается.

— Что вы желаете, мулла? Скажите, не стесняйтесь... Книги ваши выше всякой цены.

— Великий мирза,— книготорговец осмелел,— нынче за деньги нельзя купить пищу, а дети каждый день плачут и просят хлеба, сердце разрывается. Если возможно, хоть немного муки...

«Та женщина и вот этот почтенный человек... Они голодают, совсем истощенные осадой. А я толкую о деньгах и о книгах». Бабур попрекнул себя, но, вспомнив протесты Касымбека в хлебном ряду, ничего не сказал (лишь слегка кивнул), решил схитрить. Позднее, без всяких недовольных и насупленных беков, повар дворцовый обделает это дело втихомолку.»

— До свидания! Ни о чем не беспокойтесь! — словно безразлично-вежливо сказал Бабур и вышел из лавки на площадь, где все еще мрачный Ахмад Танбал сидел на коне в окружении нукеров.

Но как ни тайно в тот день вечером доставили книготорговцу мешок муки, курдючного барана, да и деньги в придачу, всем сразу стало известно об этом на следующее же утро. Как и о том, что нукеры Касымбека привезли в хлебный ряд целую арбу муки. И в тандырах, доселе покрытых снегом, хлебопеки разожгли огонь, и запах горячих, свежевыпеченных лепешек распространился по городу, и конные воины от имени Бабура действительно раздавали пищу.

И насколько довольны были Бабуром голодные самаркандцы, настолько же недовольны им были беки и нукеры, что жаждали военной добычи. Те беки, которым надоело видеть голодный и обездоленный Самарканд, решили без спроса у Бабура возвращаться в теплую и сытую Фергану.

3

Среди воинов, которые раздавали горячие лепешки изголодавшимся самаркандцам, был Тахир. Сначала и он сердился: «Что я, должен служить тем, кто увез Робию?» Но на горе людское отзывчива оказалась его душа — ничего не осталось у него от этого недовольства, когда увидел он пред собой людей в лохмотьях, юношей с тонкими, как волос, шеями, стариков и старух, обессиленных голодом. И мало того — вдруг пришло ему

на ум, что среди этих несчастных самарканцев, может быть, страдает и его Робия. А вдруг встретится тот, кто видел и знает ее?

На голове у Тахира лисья шапка, на плечах короткий дубленый полуушубок, все последние месяцы Тахир ездил верхом, отчего и походка его стала совсем иной, чем прежде. Привыкшие к стременам ноги ступали по земле по-медвежьи косолапо. Но руки быстро и ловко доставали из мешка лепешки.

Широко раскрытые глаза голодных людей не видели Тахира, они видели его руки и вожделенный хлеб. Люди придвигались к мешку осторожно, мелкими шажками, словно ощупывая дорожку. Тахир насмотрелся на то, как эти обессилевшие не могли перешагнуть через какой-нибудь пустяковый арычок, взять совсем маленький подъем; они останавливались и ждали, когда им помогут другие; более сильные.

Тахир внимательно вглядывался в каждого человека. Неужели среди них нет никого, кто видел Робию или что-нибудь знает о ней?

Вон женщина, закутанная в чапан, стоит, поддерживая старуху и ею поддерживаемая.

— Тетенька, нет среди вас женщин из Андижана или Кувы?

— Таких нет, родимый! — ответила женщина позджикски.

Тахир в сотый раз повторял одно и то же:

— Ищу сестренку. Уже четыре года, как увезли ее из Кувы воины Султана Ахмада.

— Ах, бедная! — сказала женщина. Старуха поклонилась Тахиру, принимая из его рук лепешку.

Чуть поодаль человек не отводил взгляда от мешка и хлеба, нетерпеливо проглатывал слону. Редкоусый, высокий, лет тридцати пяти.

— Раньше был нукером?

Человек с распухшим лицом помолчал мгновенье, потом ответил встревоженно:

— Был, а что?

— Когда был?

— Уже много лет прошло.

— В Андижан ходил?

— Не... Возврнулся, не дойдя.

Кипчакский говор и лицо этого человека напомнили тех разбойников. Тахир вздрогнул. Да неужто он из тех?

Тахир подозвал товарища, стоявшего у дверей пекарни, отдал ему мешок с лепешками на дне, а сам вновь подошел к редкоусому, опухшему от голода. Отвел его в сторону. Тот испугался, конечно.

— Ну, что, что тебе нужно от меня, браток? Я бедный человек! Отпусти меня! Я пришел за хлебом... за хлебом!

Может быть, и он узнал Тахира? Может, в его руках ниточка от клубка, который приведет Тахира к Робии? Надо поговорить с ним поласковой.

— Хлеб получишь. Я даже дам лепешек побольше. Только мне надо узнать правду. Был, значит, нукером у Султана Ахмада?

— Был, я же сказал...

— Вы проходили по мосту через Кувасай?

— Какой? Тот самый, что поломался и погубил нас?

— Тот, тот самый! — Тахир скрывал и радость, и гнев. Это он, тот самый насильник! Вдарить бы его кинжалом, отвести душу! Ну, а как найти тогда Робию?

Тахир схватил редкоусого за чапан, сильно тряхнул:

— Где Робия? Говори скорее!

Обессиленный голодом, человек едва не свалился под ноги Тахиру, казалось, он сейчас рассыплется на части.

— Как-к-кая Робия? — промолвил он, запинаясь.

— Робия, Робия! Куда вы увезли ту девушку из Кувы? Где она сейчас? Не скажешь правду, отсеку голову! Говори!

— Браток! Браток! Я никогда не видел девушку по имени Робия. Хочешь убить — убивай, но понапрасну не думай на меня. Мне тогда было не до девушек... родной брат упал с моста, и его унесло течением, три дня искал среди камышей, но не нашел... ничего не нашел... даже тела. Засосало болото...

Тахир оттолкнул незнакомца, но рукав его чапана ухватил. Один из тех парней, помнится, называл другого Джуманом.

— Как тебя зовут? — Тахир снова пристально посмотрел в глаза редкоусому.

— Зовут? Мамат.

— А может — Джуман?

— В этой махалле все знают, что меня зовут Мамат. Кожевенник я, кожи выделываю.

Тахир подумал: «Коли его брат в Кувасае погиб, он

тоже вправе схватить меня за грудки!» Гнев нукера поутих так же скоро, как и возник.

— А Джумана не знаешь... братец?

Мамат вдруг схватился за лоб:

— Эй, погоди-ка, погоди... А ведь был среди нас один Джуман Маймак-косолапый. Я слышал, что он увез двух девушек. Значит, из твоих краев взял.

— Привез в Самарканд?

— Девушек? Вот это — не знаю... Я-то дошел до реки под названием Оксув, знаешь ее, недалеко от Ура-Тюбе. А как мы дошли до Оксува, наш мирза умер. Тогда и началась суматоха. А мне надоело... ушел я из нукеров-то.

— А где сейчас Джуман Маймак?

— Вот это — не знаю. Я его не вижу уже три-четыре года. Сквернослов был, то ли тоже умер, то ли перешел на службу к другому мирзе. Их ведь тоже много кругом. В Ташкенте Махмуд-хан, в Туркестане Шейбани-хан. Еще один какой-то в Гиссаре.

— Будь прокляты эти войны и раздоры! — в сердцах сказал Тахир.— Ты ремесленник. Я был дехканником. Что за время такое, когда нам надо воевать друг с другом?

Мамат внимательно посмотрел на лицо Тахира, увидел шрам, покачал головой:

— Кем тебе девушка, браток? Сестренка?

Тахир тяжело вздохнул, неожиданно признался:

— Самой дорогой она была мне. Зеницей ока была.

Мамат захотел утешить Тахира:

— Надейся, найдешь. У меня тут много друзей и знакомых, браток. Жене своей скажу. Она пораспросит у женщин.

Тахир почувствовал, что желание Мамата помочь ему — искренно.

— Пойдем-ка, Мамат,— и когда они вошли в хлебопекарню, вытащил из нового мешка четыре лепешки.

— Возьми! Ты приходил сюда за хлебом.

Мамат дрожащими руками засунул лепешки за пазуху, перед тем, задыхаясь, несколько раз вдохнул горячий пшеничный запах. Каким голодным ни был, перед Тахиром сдержался, не набросился на хлеб. Только, будто опьянев от его запаха, невнятно заговорил:

— Нету, браток... дороже, чем хлеб. Пусть всевышний никогда не пошлет тебе... дни, какие мы пережили... Я поем и, сильный, смогу дойти до родного кишлака.

Вон за той горой у меня братья. Мы рода куянкулак. Доберусь до кишлака, оттуда привезу два мешка с зерном... Была у меня лошадь, осенью зарезал и съел. Идти пешком — побоялся упасть в горах и замерзнуть. Теперь чего ж бояться...

— Где я тебя найду? — прервал Тахир.

— А-а! У меня в квартале кожевенников... есть дом. Кто спросит Мамата, все покажут. Мамат-палван... Когда-то был богатырем, браток. А вот теперь еле хожу...

— Не забудь! Ее зовут Робия... А я — нукер Касымбека. Зовут меня Тахир.

— Ладно, Тахирбек, ладно, если узнаю что, найду вас. Наши люди причинили вам зло, вы оказали мне добро. В жизни не забуду, обязательно верну. До свидания!

Тахир глядел ему вслед. «Вот узнает, из-за кого погиб его брат...»

Мамат, отойдя подальше от хлебопекарни, быстро засунул руку за пазуху, оторвал там кусочек горячей лепешки и воровато-стремительно сунул его в рот.

4

«Возьмем Самарканд, все трудности останутся позади», — так думали андижанские беки и нукеры. И ошиблись. На трехтысячный гарнизон приходилось около шести тысяч лошадей. В студеную зиму, да еще в городе, что перенес изнурительную осаду, не было возможности одновременно накормить самарканцев, собрать достаточный запас пищи для войска, обеспечить корм лошадям. Ворота открыты, и в сторону Ура-Тюбе, и в сторону Карши отправлены отряды для неукоснительного взимания — зерном, только зерном! — старых и новых налогов, принимаются меры к тому, чтобы оживить базар. И все равно жизнь в столице Мавераннахра так и не входила в нормальную колею. Самарканд притаялся, Самарканд затих, Самарканд обеднел: слишком часто в последние годы переходил он из одних жадных рук в другие — все думали о себе, никто о городе.

— Наберемся терпения! — на советах убеждал беков учитель Бабура Ходжа Абдулла. — Весна близка, а доживем, с помощью и соизволения всевышнего, до созревания урожая, все беды останутся позади. Минут

плохие времена, и останется могучее государство, единое — от Карши и Шахрисябза до Узгена. Мы должны воздать хвалу господу,— нам достается большая страна, у нас в руках такая столица! Наш повелитель, мирза Бабур, мечтает, чтобы весь Мавераннахр, как при Улугбеке, снова объединился, чтобы вернулась прежняя слава, возродилось благоустройство жизни. Эти мечты повелителя — наша общая святая цель. Дай нам сил, всевышний, чтобы осуществить эту цель!

Ханкули-бек и Ахмад Танбал хмурились, но, скрывая раздражение, вздымали руки для молитвы, как и все другие беки, восклицали:

— Дай-то бог! Илохи омин!

А потом, разошедшись с совета по своим домам, снова встречались по двое — по трое. И начинались пересуды:

— Выходит, что наш мирза мечтает стать таким же великим повелителем, как Улугбек, а, Ахмад-бек? — Ханкули иронически ухмыляется.

Они сидят у теплого сандала, накрытого бархатным одеялом, и расправляются с вечерней трапезой. Ахмад Танбал, поддев ножом кусочек конской колбасы, тоже посмеивается с издевкой:

— Чтобы молодой мирза стал великим шахом, не хватает лишь одной малости.

— Ну? Какой же?

— Говорили же сегодня на совете. Самаркандинские дехкане съели все свое семенное зерно. Мы должны свое зерно... ну, которое привез караван из Карши... отдать им взаймы... вот, мол, соберут урожай, тогда отдадут с лихвой.

— Этого еще не хватало. Вдобавок к лихорадке — еще и чирей!

— Э, Ханкули-бек! Будем терпеть, ведь молокосос хочет стать великим шахом. Он отсюда не уйдет! Он же еще и жених самарканский, у него тут невеста... Вот и показывает себя перед этими голодранцами «столичными» добрым и хорошим. И муку раздает, и каждую неделю собирает поэтов на мушоиру.

— Верно говорят, что он хочет стать и поэтом?

— Ну да! По этой причине он собирает со всех концов поэтов, а их ведь и кормить надо — вот на что уходит добыча, которая по праву принадлежит нам! Он все золото казны готов истратить на приобретенье книг. Тоже за наш счет!

Ханкули погладил свою редкую бороду.

— Хочу уехать в Андижан. А мирза не дает разрешения,— сказал он.— Всевышний знает, как он надоел мне, наш мирза!

Ахмад Танбал встал с курпачи, подошел к двери, закрыл ее на засов. Потом снова сел на свое место:

— Почтенный Ханкули-бек! Если не будет беков, что может сделать падишах?.. Большинство нукеров пойдет за нами, я уверен, я знаю. Сражение выиграли мы. Страдали мы. А теперь... зачем нам спрашивать разрешения у этого юнца?

— Правильно говорите! — прошептал Ханкули-бек.— Каждый из нас, беков, сам себе падишах... Не дает разрешения, пусть не дает, а я все равно уеду!

— Я тоже не собираюсь унижаться перед мальчишкой! Буду жив, найду себе другого повелителя. Вон в Ахсы есть мирза Джахангир. В Бухаре Султан Али-мирза. Э, венценосцев везде немало. И всем им нужны такие боевые беки, как мы... Только вот мой совет — не надо оставаться долго в Андижане. Там можно попасть в беду.

— Поехать в Ахсы?

— Да, в Ахсы. И пострайтесь встретиться с Узуном Хасаном. Он вас возьмет на службу к Джахангиру.

— Возьмет ли? И посмеет ли Джахангир выступить против брата?

— Выступит... если умножатся у него такие беки, подтолкнем... Я знаю, Джахангир-мирза очень зарялся на андижанский престол... Уж поверьте мне!..

...На другой день, вечером, когда в карауле стояли надежные люди Ахмада Танбала, Ханкули-бек с полсотней своих нукеров тихо ушел через ворота Феруз. Спустя неделю и сам Танбал уехал — подвернулся предлог: сопровождать караван в Заамин. Уехал — и не вернулся в Самарканд. Прямо направился в Ахсы. После этого стало быстро расти число беков и нукеров, отправленных за город по нужным делам и пропавших куда-то. Закрывали крепче ворота — так по ночам начали бегать из крепости прямо через стены. К концу зимы из беков, пришедших в Самарканд вместе с Бабуром, осталась половина. Бабур послал одного из своих верных людей в Андижан, чтобы вернуть беглецов беков: спустя двадцать дней поступило известие о том, что Ахмад Танбал и его сторонники, открыто подняв мятеж,

задержали посланца где-то между Андижаном и Ахсы и умертили его.

Бабур по совету Касымбека отправил в Андижан Ходжу Абдуллу. Но Узун Хасан и другие заговорщики, прежде слушавшиеся Ходжу Абдуллу,— а кое-кто из них были у него мюридами,— на этот раз не обратили внимания на его советы и уговоры. Мало того, в открытую напали на Андижан, вынудив своего мюришида Ходжу Абдуллу и беков, оставшихся верными Бабуре, закрыть ворота и остаться сидеть в осаде.

В Ферганской долине забушевала смута.

5

Измене беков, начавших смуту, невольно помогала тяжкая болезнь молодого миры — нежданная немилость судьбы.

Бабур лежал в опочивальне верхнего яруса дворца Бустан-сарай. Болезненный жар изнурял его тело...

Гонец из Андижана показал начальнику охраны письмо, свернутое в трубочку и скрепленное сургучной печатью, но не отдал письма ему в руки.

— Высокородная госпожа, мать повелителя, приказала вручить письмо только самому повелителю!

Каждый день Бабур осведомлялся, есть ли гонец из Андижана. Начальник охраны поэтому повел гонца сразу наверх. Но в дверях опочивальни их остановил старичок лекарь:

— Это послание пусть прежде прочтет визирь; ежели добрая весть, тогда отдадим повелителю.

— Мать повелителя приказала, и учитель его, Ходжа Абдулла, наказывал, что, мол, только сам...

— Дурная весть может погубить повелителя,— прервал лекарь с огорчением в голосе, но твердо.— Недавно он был уже накануне выздоровления, но... заботы, заботы, молодые люди, прибавляют страданий, а страдания влекут за собой болезни. Повелитель, не дождавшись выздоровления, встал с постели — и вот сегодня опять лежит в тяжелой лихорадке.

— Андижан в опасности,— гонец прибегнул к последнему доводу,— если письмо не передадим тотчас, может быть поздно. Повелитель разгневается!

— Нет, не могу, простите.

— Но, господин лекарь...

— Нет! Нет!

Спор донесся до слуха Бабура. Привстал на локоть, он крикнул как мог громко:

— Если гонец, пусть войдет! Приказываю!

Пуховая постель расстелена была в глубине помещения. Гонец остановился, не дойдя до нее, потом на коленях подполз к Бабуру, двумя руками протянул письмо.

Весь красный от жара Бабур привстал в постели, откинулся на высокие подушки, не переставая дрожать в ознобе. Сорвав печать, развернул свиток. Внутри первого оказался второй, поменьше. Под первым письмом стояла подпись Ходжи Абдуллы. Другое написала Кутлуг Нигор-ханум. Смысл посланий был одинаков. Андижан в осаде, выдерживать ее трудно. Нет у них другого избавителя, кроме Бабура. И в конце обоих писем — просьба быстрее прийти на помощь.

Андижан в осаде! Изменники беки хотят посадить на андижанский престол Джахангира! Значит, так: они хотят поставить во главе войск Ахмада Танбала, отобрать у Бабура отчий дом! Он-то думал, они верны ему, — пусть жадные, своекорыстные, но чтоб дело дошло до такого?!

Бабур не совладал с ознобом, съехал с подушек вниз, голова бессильно запрокинулась. Все!

Коль победят Танбал с Джахангиром под Андижаном, переметнется к ним большинство! С кем здесь останется он, Бабур? А может быть, и сейчас, пока он лежит в постели, его люди бегут, бегут... туда... к Танбалу? А Касымбек?.. Ужас охватил Бабура. Собрав все силы, он вскочил, сел на постели.

— Где Касымбек?

— Сейчас придет, за господином визирем послали, — сказал лекарь мягко. — Повелитель мой, ложитесь, вам нужен покой!

В болезненном воображении Бабура вдруг возник Танбал с мечом в руке. С тем самым! В Оше Танбал целовал этот меч, клялся, что до самой смерти будет верно служить ему... Вот, вот, Танбал поднял меч, начал крутить им над головой Бабура... Под ногами Танбала — головы человеческие выкатываются из мешка. Одна из них... о аллах всемогущий!.. это голова матери...

Страшное видение сбросило Бабура с постели. Одним рывком он поднялся, ясно почувствовал босыми ногами мягкий ворс ковра. Заставил себя устоять, не упасть.

— Подайте мне меч! — крикнул Бабур.— Быстрее! Мой меч!

Лекарь крепко обнял дергающееся тело юноши.

— Повелитель, вы больны, вам надлежит лечь...

Ах, лекарь отдает Бабура под удар Танбалова меча, стреноживает, словно жеребенка. Бабур вырвался и, превозмогая шаткость, бросился к дверям:

— Коня мне! Я еду в Андижан! Где мой меч?! Сказать бекам! Пусть приготовятся, быстро!

Лекарь побежал вслед. Досторпech изловчился и накинул на плечи Бабуру шубу. Миг замешательства — он подал кавуши. Бабур обул одну ногу, на вторую — не хватило сил. Голова его закружилась, он чуть не задохнулся.

— Изменник! — успел сказать он Танбалу, что все еще маячил перед ним с окровавленным мечом наголо.— Кровавый убийца!

Бабур вдруг споткнулся, упал и потерял сознание.

Очнулся он глубоко за полночь. Открыв глаза, увидел лекаря, тот стоял в изголовье постели, капал водой на вату, через нее вода падала Бабуру на лицо, в рот. Язык во рту, казалось, распух до того, что нельзя шевельнуть им. Что-то тяжелое давило на все тело.

Касымбек увидел, что Бабур открыл глаза, подошел к изголовью:

— Слава всевышнему!.. Повелитель, вы так нас давеча напугали!

Бабур что-то хотел сказать, но не смог шевельнуть своим чрезмерно отяжелевшим языком; глаза его увлажнились.

— Как вы теперь себя чувствуете, повелитель мой?

Бабур опять смолчал. Смотрел ясно, но говорить не мог. Касымбек понял, что Бабур потерял речь.

Визирь отвернулся. Чтобы безмолвный шестнадцатилетний юноша не мог увидеть слезы на глазах своей опоры, воина и визиря своего.

Мало было ночной темноты, так еще небо заволокло тучами!

Крепость потонула во тьме кромешной. Улицы Андижана замолкли в тревоге. Тишина, безлюдье... Но вот с осторожным скрипом отворяются ворота арка. Клинок света из окна караульной комнаты на миг озарил группу конных воинов.

Впереди в мужском чапане и мужской шапке, подписанная широким поясом, при кинжале ехала Ханзода-бегим. Среди ее нукеров — мавляна Фазлиддин, сбоку на поясе у него — меч.

Стоило гонцу из Самарканда привезти весть о том, что Бабур тяжело болен, находится между жизнью и смертью, как тут же часть защитников крепости перебежала к заговорщикам. Недоставало воинов стоять у каждой бойницы. Усилилась опасность, что враг ночью приставит лестницы к стенам и проберется в крепость. Ханзода-бегим участвует в руководстве обороной — не для игры в човган вырядилась в мужской наряд.

Подковы коней в густой темноте высекают искры на каменной мостовой. Пахнет воздух дождем, веет теплый ветер. Мулла Фазлиддин подумал о том, что наступает весна, в садах внутри крепости зацветает урюк и миндаль. Весна — время солнца. Сейчас — он огляделся — ночь и тьма, ни огонька. Природа, крепость, город — все под черным покрывалом.

Фазлиддину вспомнились светлые дни, когда показал он Ханзоде-бегим рисунки будущих медресе и дворцов, услышал слова ее похвал. Как взял Бабур Самарканд, мавляна совсем было поверил, что его мечты зодчего осуществлятся. И Ханзода-бегим радовалась — несколько раз приглашала зодчего к себе, подолгу беседовала, выспрашивала, на каком месте лучше воздвигнуть дворцы и медресе, как лучше начинать подготовку к строительству...

Ханзода-бегим принимала его в первой из шести комнат единственного дома, в котором она жила вместе со своими служанками. Бегим обычно сидела за шелковой занавеской-ширмой. Иногда, любопытствуя, девушка откидывала занавеску.

— Ну-ка, ну-ка, покажите, чем будет занято пространство между купольным зданием и минаретами? — спрашивала она.

И с двух сторон склонялись они над бумагой, и дыхание их смешивалось. Глаза Ханзоды сверкали, а уста мавляны Фазлиддина, как когда-то впервые в Оше, на Баратаге, замыкались, не могли вымолвить ни слова — и сердце билось в груди молотом. Он страшился сказать что-то не относящееся к делу, страшился выдать — и слугам, и самой бегим — свое волнение. Более всего страшился проницательности Кутлуг Нигорханум, которая не раз присутствовала на их беседах, без конца кланялся в ее сторону, пряча взгляд.

В последнюю из бесед Ханзода-бегим внезапно спросила — совсем не по делу:

— Мавляна, почему вы до сих пор все еще не женились?

Девушка держала себя с независимостью, свойственной знатным особам, но мавляна Фазлиддин заметил, каким неподдельным волнением, интересом, ожиданием вспыхнули ее глаза. Раскрыть свой секрет? Нет, это было бы безумием, и Фазлиддин решил отшутиться:

— Бегим, я хочу умереть холостяком.

— О, я тоже хочу этого.

— Моему уму непостижимо, как это вы... как такая благородная бегим будет жить в одиночестве.

— Почему?

— Ведь вы... В этом мире... есть такие замечательные, такие знатные венценосцы, которые почтут за счастье...

— Возможно, есть и такие... Однако, мавляна, какому же венценосцу вы предназначили бы меня?..

— Если б спросить меня, то достоин вас лишь Фархад.

— Почему именно Фархад?

Фазлиддин совсем растерялся, и Ханзода-бегим задала новый коварный вопрос:

— Фархад — зодчий, строитель. Как вы. Может быть, поэтому?

— О бегим... сказать так не имею права, — грустно и серьезно ответил мавляна.

Оставила полуутягивый тон и Ханзода-бегим. Погрустнела, вздохнула.

— Почему всевышний создал меня дочерью венце-

посца? — сказала она искренно.— Будь я простой девушкой, мне было бы легче найти счастье...

Как ни было горько это признание, Фазлиддина оно — стыдно сказать — обрадовало. Значит, Ханзода-бегим догадывается о его любви? Не только знает о ней, но, может быть, сочувствует ему? А вдруг разница положений мучает и ее, бегим? Если, о невозможность, если Ханзода-бегим полюбит его, муллу Фазлиддина, как, как ему тогда победить эту преграду? За маленькую обитель, которую он построил в Оше, мирза Бабур оказал ему большие почести. А если он, зодчий Фазлиддин, построит великие сооружения, что прославят имя его на весь мир, что тогда? Будет ли он и тогда ниже знатных, высокородных? Бабур любит сестру. У него доброе сердце. Может быть, окажет он им свою милость?

Вон куда заносили Фазлиддина его мечты, но что там мечты? Уже благосклонность бегим к влюбленному в нее зодчему, ее добре желание время от времени встречаться с ним — это само уже было счастьем для него...

А теперь Андижан в осаде. Мятежные беки раздули смуту на весь Мавераннахр. И мечты, и радости зодчего поглотила тьма, похожая на сегодняшнюю темную ночь. Чертежи превратились в ненужные бумажки. Мавляна всем существом ненавидел войну и наемников. Но когда сегодня в арке услышал плохую весть из Самарканда и увидел вооруженную Ханзоду-бегим, он не мог остаться в стороне. Гораздо лучше, подумал он, самому стать ее нукером, с оружием в руках выйти сражаться, чем дрожа ожидать удара судьбы. Впервые в жизни он опоясался мечом.

В тревожной и грозной тьме затихшего города ехал он, воин, рядом с воинами, видел в нескольких шагах от себя Ханзоду-бегим, думал, что он сможет защитить ее, и мысль эта немного успокаивала.

У ворот Мирзы они услышали за крепостной стеной призывные звуки карнаев, гром боевых барабанов, крики многих сотен воинов.

— Враг пытается открыть ворота, ворваться в город! — крикнула Ханзода и освободила поводья.

Воины, перегоняя ее, поскакали ближе к воротам. Но шум у ворот Мирзы, лестницы, приготовленные для

штурма, горящие стрелы, перелетавшие здесь через стены,— все это был отвлекающий маневр: в это же время с другой стороны стенного кольца врагставил основную часть лестниц. А воинов там, у Ходжи Абдуллы, было мало.

Ханзода-бегим вместе со своими нукерами подъехала к караульной. Воин зажег факел, и все увидели лестницу, что вела наверх. Мавляна Фазлиддин побоялся, что Ханзода-бегим первой будет подниматься на стену, и, опередив других, он поставил ногу на ступеньку.

За парапетом стены стояли воины. Поднялась сюда и Ханзода с факелом в руке. Фазлиддин мягко отнял факел у девушки.

— Поостерегитесь, бегим, не показывайтесь врагу освещенной.

Вереницы широких лестниц, приставленных к стенам, встали перед глазами защитников. Часовой из караульной, осмелев от прибытия помощи, двумя руками начал отпихивать лестницу, но в тот же миг вражеская стрела пронзила его грудь. Бедный парень вместе с лестницей рухнул вниз.

На настиле у стены были сложены камни. Ханзода-бегим схватила один, с трудом подняв, кинула его вниз. Вслед за нею начали бросать камни нукеры: проклятия и стоны там, внизу, показали, что камни попадают в цель.

Но вот совсем с другой стороны, от ворот Хакана, донесся бой барабанов и рев карнаев, победные клики. Они росли, приближались — уже у самого города.

— Бегим, прислушайтесь! — испуганно вскрикнул Фазлиддин.— Враг в городе!

Отчаянно закричал Нуян Кукалдаш:

— Бегим, изменники открыли Хаканские ворота. Скорее вернитесь в арк... В арк, в арк!

Ханзода-бегим стремительно сбежала с лестницы, мавляна Фазлиддин и несколько нукеров, освещая дорогу факелами, кинулись вслед. Все быстро вскочили в седла.

— Бросьте факел! — крикнула Ханзода.

И впрямь факел мог сделать из мавляны отличную мишень. Во тьме поскакали к внутригородской цитадели. Быстрее! Быстрее!

Но когда арк был уже недалеко, дорогу им перекрыли всадники, множество всадников с копьями и факелами в руках. Потом в свете факелов они увидели Ахмада

Танбала, в златотканом поясе и в блестящем шлеме. Сердце Фазлиддина словно стиснул холодный железный обруч.

Вражеские всадники окружили Ханзоду-бегим и ее нукеров. Ахмад Танбал весело приказал своему воину:

— Подай-ка факел... О, Ханзода-бегим? Не верю глазам своим. Что это значит? Почему вы в такой одежде, будто отважный мужчина?

— Настоящие мужчины — верные и храбрые — перевелись!

— Если в Андижане не осталось настоящих мужчин, то вот мы пришли, бегим!

За спиной Танбала засмеялся Узун Хасан. Еще подъехали всадники. Свет факела упал на безбородого Али Дустбека, который жмурился и жалко улыбался. Бабур при своем отъезде доверил город этому человеку. Прослышав, что Бабур лежит на смертном одре, Али Дустбек, договорившись с Танбалом, открыл осаждающим Хаканские ворота.

Ханзода-бегим с презрением закричала:

— Это вы-то настоящие мужчины? Да у вас нет разницы между храбростью и предательством! Только вчера давали клятву верности Бабуру, а сегодня... Я знаю: завтра вы предадите и Джахангира-мирзу!

Танбал накрыл ладонью рукоять своего меча.

— Думайте, что вы говорите, бегим! — сказал он. — Мирза Бабур допустил несправедливость. После взятия Самарканда Андижан должен был перейти к Джахангиру-мирзу. А Бабур не согласился! Это мы сражались за справедливость и сегодня одержали победу!.. А вы, вы... — ярость вдруг ударила в голову беку, — почему вы, забыв стыд, оскорбляете нас? Кто вас научил поведению, которое не к лицу дочери венценосца? Не тот ли зодчий, что торчит рядом с вами?

Глаза, полные ярости, уставились на мавляну Фазлиддина. И тот не отвел своих.

— Бегим преподнесла нам с вами, мужчинам, урок порядочности... Слова бегим могут воспринимать иначе только мошенники!

— Кто мошенник?! — Танбал вырвал из ножен свой меч и подскакал к мавляне. И тут же Ханзода-бегим тронула коня, мешая Танбалу ударить.

— Стыдно поднимать меч на ученого человека!

Кони Танбала и Ханзоды столкнулись, откачнулись, вздыбились. Танбал играл мечом над головой Ханзоды:

— Защищать этого, этого чертежника? Этого... худородного развратника гератского? Не стыдно, не стыдно? О, я слышал от сведущих людей, что этот мулла облазняет бегим, да не верил только. А теперь — верю!

— Ты не сможешь опорочить меня, предатель! — воскликнула девушка и выхватила кинжал.

Удар отразила кольчуга Танбала, надетая под чапан, кинжал выскочил из девичьей руки, со звоном упал на камни. Танбал размахнулся — шапка бегим полетела туда же, разрубленная мечом, длинные волосы девушки упали на плечи.

Подъехал мирза Джахангир с группой своих телохранителей. Увидев его, Дустбек предупредил Танбала:

— Господин Ахмад-бек, хватит, остановитесь!

Ханзода-бегим была некровной, но все же сестрой мирзы Джахангира, он бы не позволил оскорблять и унижать дочь своего отца перед всеми. Ахмад Танбал повернул коня навстречу Джахангиру. Попытался оправдаться:

— Вы видели, видели, повелитель мой? Ваша сестра с оружием в руках выступает против вас. Рядом с ней этот худородный пройдоха, этот зодчий. Он-то и сбивает ее с пути!

— Мавляна Фазлиддин чище тебя, изменника-бека, в тысячу раз! — крикнула Ханзода-бегим. — Его искусство могло бы стать гордостью Андижана. А вы, вы... Убийцы, предатели... Пусть падет на вас кара всевышнего за растоптаные мечты!.. За наши мечты.

Последние слова Ханзода-бегим произнесла уже сквозь слезы. Ударила коня камчой и бросилась было к воротам арка. Но перед стеной нукеров должна была остановиться. Обернулась и посмотрела, что с мавляной Фазлиддином.

А тот ощупал пояс, нашел меч, неуклюже вынул его из ножен и хотел кинуться на нукеров, преграждавших дорогу Ханзоде-бегим. Но конные нукеры взяли в клещи его коня, вырвали повод из левой руки, тяжелой палицей ударили по правой, и меч выпал у мавляны.

Когда Ханзода-бегим через минуту-другую проехала сквозь крепостные ворота, пропущенная воинами по знаку Джахангира, и в воротах снова оглянулась назад, она увидела, что люди Танбала стащили Фазлиддина с седла, мигом связали ему руки за спиной и погнали куда-то, наставив копья в спину.

Острую боль в руке мулла Фазлиддин почувствовал уже в тюрьме, когда остался в темноте один. Его привезли в эту каменную тюрьму на окраине Андижана, кинули в камеру смертников, крепко заперли на замок, да еще, мало того, поставили снаружи двух стражей. Из короткого разговора мирзы Джахангира и Ахмада Танбала у крепостных ворот он понял, что обвинят его в покушении на честь венценосной ханум,— за это полагалось преступнику забросать камнями. Что и должно свершиться завтра. Еще мулла Фазлиддин понял, с каким удовольствием Ахмад Танбал чернит имя Ханзоды-бегим. Бек мстил, а Джахангир поддакивал, потому как он и его мать Фатима-султан-бегим хотели доказать, сколь скверны все, кто с Бабуром, и сколь чисты они сами, престол Андижана захватившие законно и во благо шариата.

В сырой затхлой темнице Фазлиддин многократно прикладывал к стенам связанные за спиной руки, чтобы холодом немного облегчить боль в запястьях. Боль не унималась, наоборот, усиливалась... Это лишь один удар палицы. А завтра... какой каменный ливень обрушится на него завтра!.. Он представил себе, как все это будет,— голова закружилась, ему показалось, будто сейчас он стоит не в тюремной клетке, а меж двумя качающимися горами и с их склонов валятся на него каменные глыбы, вот-вот раздавят. Устрашенный видением, Фазлиддин бросился к двери, отчаянно ударил ее плечом, крикнул изо всех сил:

— Открой! Открой, говорю! Открой!

От неожиданного крика часовой вздрогнул, потом опомнился, зло спросил:

— Ты что, спятил? В чем дело?

— Развяжите руки! Мою жизнь возьмете завтра, а рука изувечена! Развяжите!

Стражники были в раздраженном состоянии: еще бы, они торчат здесь и караулят узника, а другие грабят имущество сторонников Бабура. Хоть и ночь на дворе, а на улицах и во дворах Андижана шумно — топот конских копыт, лай собак, крики и плач женщин, мычание коров, блеянье овец. Немалой, ох, немалой добычи они лишаются, стоя тут. Да и узник какой-то непутевый, горлопан. Один из стражников, который постарше, с хрипотцой сказал:

— Рука изувечена, говорит, а!.. Эй ты, ублюдок, завтра отправишься в преисподнюю, так чего толковать о руке сегодня?

— Палачи!

Стражник с угрозой рявкнул:

— Помолчи ты, завтрашний труп! Вот войду к тебе и к одной ране десять добавлю!

«Вот что я слышу в предсмертный час,— подумал Фазлиддин.— Как становятся люди столь беспощадны? И плохо я умираю, плохо. Смерть неизбежна, так лучше было сразиться с Ахмадом Танбалом, умереть с мечом в руке... А теперь приходится слушать ругань этих зверей, завтра же — погинуть от каменного дождя... Ведь мог же, мог перед Ханзодой-бегим кинуться на Танбала. О судьба, почему ты не подтолкнула меня?»

С улицы донесся топот. По мостовой, потом — по казематному двору, выложеному камнем.

— Кто идет? Стой!

Во двор въехало трое всадников. Один обратился к страже:

— Мавляна Ходжа Абдулла, почтенный кази с фирмансом повелителя!

Спешились поочередно. Остановились прямо перед остриями копий, взятых стражниками наперевес.

— Фирман надо показать нашему десятнику! — сказал тот, что постарше, с хрипотцой.

Над дверью, ведущей в каземат, тускло светила лампа. Ходжа Абдулла в светло-желтом чапане пошел прямо на копье, говоря спокойно и уверенно:

— Мы не могли найти десятника. Кроме вас, тут и поблизости никого нет. Это почему?

Воин помоложе произнес, не скрывая досады:

— Все отправились за добычей!

Ходжа Абдулла показал бумагу, свернутую трубочкой.

— Тогда придется вам выполнять повеление, — сказал он так же спокойно. — Возьмите и прочитайте!

Двое нукеров, что оставались позади, привязав лошадей к шесту у стены, подошли поближе.

— Вы стойте там! — выкрикнул хрипавый.

Нукеры остановились, а стражник отвел копье, давая дорогу Ходже Абдулле. Взял у него бумагу, посмотрел. На дорожной бумаге что-то коротко написано, под записью внушительная печать. Стражник поднес бумагу к свету, рассмотрел печать (читать он толком не умел).

— Давай-ка ты прочитай!

Но другой и вовсе букв не знал. Зато Ходжу Абдуллу знал. Повертел-повертел бумагу в руках и посмотрел на Ходжу Абдуллу:

— Пир, это о чём фирман?

— О том, что сидящий здесь узник — очень опасный изменник. И что мы должны отвести его в крепостное узилище.

Один из нукеров, стоявших чуть поодаль, добавил громко:

— Почтенный кази должен в арке допросить как следует этого ублюдка!

Ходжа Абдулла, что и говорить, кази Андижана и духовный наставник многих уважаемых людей, кто ж этого не знает? И стражник постарше с первого взгляда узнал Ходжу Абдуллу. Но колебался, потому что знал и о том, что кази недавно был на стороне Бабура.

— Это фирман самого миры Джахангира? — хрипавший покрепче стиснул копье.

— Прочитай, если сомневаешься!

— Нам приказали крепко стеречь этого ублюдка, крепко-накрепко, пир!

— Это у вас называется крепко стеречь? Где сотник? Где десятник? Почему вас только двое? А если... если сторонники преступника нападут в большом числе? Нет, надо его побыстрей отвести в арк! Открывайте дверь!

Молодой стражник посмотрел на старшего: «Не видишь, что ли? Этот кази тоже перешел на сторону Джахангира-миры». Тот все еще колебался:

— Что мы скажем потом десятнику?

— Вы оба пойдете с нами! — сказал Ходжа Абдулла. — Все вместе будем стеречь, а то двоих мало!

Хрипавшего такое соображение, видно, убедило. Он прислонил копье к стене и отомкнул дверь. Но не успел сделать и шагу внутрь, как один из спутников Ходжи Абдуллы резко ударил его палицей по шлему, втолкнул в камеру и свалил себе под ноги. Оторопелого второго тоже сбили с ног и мгновенно натянули узкий мешок на голову.

Ходжа Абдулла внятно прошептал своим спутникам:

— Не убивайте! Кровь да не ляжет на нас.

— А они нас потом выдадут.

Парень тщетно пытался освободить голову из черномешка, умолял глухо и жалобно.

— Пир, пощадите! Мой пир! Я никогда не причиню вам зла! Не убивайте меня!

— Молчи, не то плохо будет, — крикнул воин, и Фазлиддин узнал голос своего племянника.

— Остановись! — приказал Тахиру Ходжа Абдулла. — Связывайте ему руки и ноги, с него хватит, а тот — без сознания.

— Я посмотрю!

Мулла Фазлиддин бросился к Тахиру и Ходже Абдулле:

— Учитель!.. Племянник! Тахирджан!.. Избавители мои!..

Так и не развязав рук, только крепко и нежно поддерживая зодчего, Ходжа Абдулла вывел узника во двор. При свете настенной лампы кинжалом разрезал веревки за спиной Фазлиддина.

Тахир и его товарищ затащили в камеру и второго стражника, замкнули дверь снаружи.

— Племянник мой, откуда бог ниспоспал тебя?

— Из Самарканда прибыл, гонцом.

— Мирза Бабур здоров?

— Да, поправился. Спешит сюда, на помощь!

— А он знает, что Андижан пал?

— Еще нет, вот в чем беда!..

Ходжа Абдулла прошептал:

— Тихо! Тише, прошу вас.

Тахир посадил дядю на своего коня, и все они медленно, с осторожностью двинулись по городу. К счастью, их никто не встретил. Победители были заняты грабежом во дворах.

Вчетвером на трех лошадях всадники подъехали к крепостной стене. И здесь было пустынно.

— Вот где удобнее всего перебраться. — Ходжа Абдулла так и не повысил голоса ни разу.

Все слезли с коней. Товарищ Тахира вытащил из переметной сумы большой круг — свернутую веревку. Тахир же кинул веревочную лестницу, и вчетвером они поднялись на стену. Ходжа Абдулла стал близко к мулле Фазлиддину («Через ворота опасно»). — «Понимаю, пир, и благодарю вас, учитель!»), достал что-то из-за пазухи и сунул ему в руку. Это был кожаный кошелек, полный золота.

— От высокородной ханум, матери повелителя.

— О, она тоже знает, как со мной обошлись?

— Ханум в слезах умоляла меня спасти вас. Танбал, вы знаете, хочет опозорить Ханзоду-бегим. Но пока мы живы, не дадим упасть на семью мирзы Бабура ни одному пятну. Так?

— Так, только так! — мулла Фазлиддин, засовывая кошелек во внутренний карман, сказал решительно: — Я еду прямо к мирзе Бабуру!

— Мавляна,— голос Ходжи Абдуллы ещетише.— Мы с высокородной бегим хотели бы дать вам другой совет,— и перешел на арабский, которому когда-то обучал и Фазлиддина, именно поэтому тот называл его учителем.— Мавляна! В Самарканд отправится Тахирбек. Он гонец. Может быть, мирза Бабур покинул Самарканд и вышел в путь. Гонец его встретит. А у вас, мавляна, редкий талант, вы должны беречь его. Ужас и смута в Мавераннахре еще не скоро кончатся... Вы когда-то высказали желание отправиться в Герат. Пришла пора осуществить это желание.

Фазлиддин уже был в Герате и живо представил себе длинную-длинную дорогу туда. Она пролегала через бесспокойные местности, и преодолеть ее — дело месяцев. Сердце зодчего наполнилось тоской: все бросить, во имя чего? Боль в раненой руке, вроде бы забытая, вернулась. Фазлиддин погладил правое запястье.

— Как же я... брошу родину, учитель?

— Сейчас Хорасан, где живет Алишер Навои,— вот ваша родина, мавляна.

— Конечно... Но родина... И может быть, я уже не смогу вернуться, а в доме остались мои книги, чертежи. Тахир!

— Я вернусь в дом и все надежно спрячу, будьте спокойны, дядя мулла!

Тоска терзала Фазлиддина — тоска по Ханзоде, которую, он чувствовал, никогда уже ему не увидеть. Да, он понимал, что одной из причин решения Ходжи Абдуллы и Кутлуг Нигор-ханум отправить его в Герат были, конечно, нежные и сложные, доставляющие радость и страдания отношения между зодчим и Ханзодой-бегим.

Фазлиддин долго молчал. Наконец обратился к Ходже Абдулле:

— Учитель мой, чтобы содействовать чистоте имени Бабура-мирзы, я готов на все. Но об одном прошу: скажите высокородной ханум, пусть она не верит ложным

слухам. Подозревать Ханзоду-бегим не в чем, в чистоте ей нет равных!

— И вы такой же, мавляна, я знаю это. Если б не верили мы в вашу честность, то разве стали бы, рискуя жизнью, обманывать стражников? Вот уж не думал, что придется делать такие дела, да Тахирбек меня подбодрил. Против козней врагов, говорит, надо самим применять воинскую хитрость.

— Вы мне заново подарили жизнь, учитель! Но вы сами — будьте осторожны, прошу вас. И ты, племянник!..

Часть горизонта на восточной стороне неба начала бледнеть. Мулла Фазлиддин стал обвязываться арканом.

— Встретимся еще, дядя мулла!

— Все в воле всевышнего... Тахир, мои чертежи... всякие другие бумаги, пусть не потеряются. Ты воин, хранить их тебе затруднительно. Поэтому найди возможность отдать Ханзоде-бегим... Все отдать, не одни чертежи, хорошо?

— Сделаю!

— Эту вашу просьбу я сам доведу до бегим! — сказал Ходжа Абдулла.

И они обнялись на прощанье перед тем, как мулле Фазлиддину спуститься со стены в одиннадцать слоев.

3

На рассвете мулла Фазлиддин вышел на дорогу, ведущую в Куву.

А уже на другой день после полудня люди Ахмада Танбала ворвались в дом одного из мюридов Ходжи Абдуллы, где скрывался он сам. Стражники, запертые в каземате, конечно, признались Танбалу, кто и как освободил муллу Фазлиддина.

Ахмад Танбал в приятном волнении поскакал к месту, где задержали Ходжу Абдуллу. Улица у Хаканских ворот была заполнена народом. Словно преступник, в окружении вооруженного конвоя, медленно шел Ходжа Абдулла, в рубашке до пят, руки связаны за спиной, лицо бледное. Белая чалма и белая рубашка подчеркивали черноту заросшего бородой лица.

Народ расступился, давая дорогу Танбалу. Остановились нукеры, влекшие Ходжу Абдуллу. Танбал натянул поводья, заставил стоять коня:

— А, лживый пир! Бабуровский прихвостень! Мало было козней, которые строил против нас, теперь удалился в обман, увел от заслуженного наказания ублюдка!

— Я лишь освободил от несправедливой смерти невинного!

— Невинные! Подложные фирмамы и печати невинные не делают!

Добрая сотня глаз уставилась на Ходжу Абдуллу. Если сейчас он побоится Танбала, растеряется, люди подумают, что он в самом деле виновен.

Ходжа Абдулла постарался вернуть себе уверенность и хладнокровие:

— Стражникам я показывал печать миры Бабура. Знаю его, мириз Бабура, как единственного повелителя Андикана!

— Ты, нечестивец, обманываешь и сейчас своих мюридов! Какие еще печати? Мирза Бабур в Самарканде, он мертв. Престол принадлежит миrze Джахангир!

— Мусульмане, не верьте лжи! Слава всевышнему, мириза Бабур жив! Он еще придет в Андикан!

— Это ты лжешь! Люди, он обманывает своих мюридов, он стремится скрыть свою вину! Он помог бежать одному преступнику, своему приятелю. Нечестивый пир должен быть умерщвлен! Бросайте в него камни! Если хотите свершить святое дело, бросайте в него камни!

И Танбал свесился с седла, ловко, будто на козлодранни, доспал до земли, поднял камень, размером с кулак, из-под конских копыт. Затем выпрямился и бросил его в Ходжу Абдуллу. Камень ударили в широкую грудь Ходжи, оставил на белой рубашке резкий пыльный след-прочерк и покатился по земле. От внезапной боли у Ходжи Абдуллы навернулись слезы на глаза.

Нукеры, нагибаясь, искали подходящие камни. Ходжа Абдулла в полный голос крикнул:

— Мусульмане! Что вы!.. Что делаете, опомнитесь!

Среди толпы он заметил парня лет двадцати. И вдруг отчетливо вспомнил, как когда-то казнили мираба Гова. Этот парень был его сын, вылитый дервиш Гов. Если бы тогда Ходжа Абдулла сказал Бабуру: «Не казни его!»... если бы он так сказал. Но он посоветовал другое — не идти против таких беков, как Ахмад Танбал, он не сумел защитить невинного. А сейчас сам оказался в положении невинного казнимого. И вот теперь сын дервиша, сын Гова, мстя за отца, швырнет сейчас в него

камень. Швырнет — и разве он не будет прав?.. Но пока в него никто не бросил камня. Он спас человека, за что же его казнить?

— Мусульмане! — воскликнул Ходжа Абдулла снова.— Я не боюсь умереть за справедливость! На чьей стороне справедливость — подумайте об этом. Кто делает младшего брата врагом старшему? Кто завидует добродетельным людям и старается вырубить их под корень мечом или наветом? Кто обрушил нам на голову черные дни?!

— Ты сам! Ты сам... — крикнул Танбал.

— Я с юности учил миразу Бабура знаниям, призывал его быть справедливым правителем, заботиться о том, чтобы Мавераннахр объединился, а междоусобицы исчезли. Мирза Бабур начал свершать великое, объединять Самарканд и Андижан. Я искренне радовался, а вы... что сотворили вы, мятежные беки? Опять раздробили государство... Люди, если с моей смертью исчезнут ваши несчастья, убейте меня, я согласен!

— Поднимайте камни, ну, живее! — приказал Танбал толпе.

Чей-то плаксивый голос несмело возразил:

— Без фетвы шейх-уль-ислама — как можно?

Какой-то стариk признался:

— Мы боимся проклятия пира!

И даже нукеры не осмелились начать казнь, с камнями в руках обернулись к Танбалу. Разъяренный, тот приказал:

— Эй, сотник! Возьми-ка свой меч, отруби ему голову!

Черный, словно африканец, сотник вынул из ножен клинок с серебряной рукояткой. Ходжа Абдулла посмотрел ему прямо в глаза, понизив голос, предупредил:

— Смотри, Мирбадал-бек, как бы моя невинная кровь не пала на семь поколений твоих.

В толпе послышалось боязливое перешептывание:

— Кровь пира падет на всех нас!

Клинок сотника так и не поднялся ввысь. Его хозяин взмолился:

— О досточтимый бек, прошу, освободи меня от этого злого дела!

Танбал ударил его по спине камчой.

— Я освобождаю тебя от должности сотника, трус!.. Ну, что ж, ладно! Эй, нукеры! Отведите этого нечестив-

ца в караульное помещение около ворот! А вам,— бек яростно посмотрел на толпу,— вам оставаться здесь! Кто пойдет за нами, падет от меча! Без пощады! Без пощады!

Примерно через час Ахмад Танбал со своими нукерами помчался от караульни в арк. Тогда подошли к караульне андижанцы, подошли и увидели Ходжу Абдуллу, повешенного на перекладине ворот. Чалма пира валялась на земле, под его ногами. Тело вытянулось и уже одеревенело. Люди осторожно сняли тело с виселицы, завернули вместо савана в полотно от раскинутой чалмы и похоронили как невинно погибшего героя...

4

Непрерывные весенние дожди превратили дороги в болото. Тахир скакал в брызгах воды и мокрой глины, не жалея коня. В Самарканд, быстрее в Самарканд, скорее рассказать о событиях в Андижане. Если мирза Бабур поправился и покинул Самарканд, надеясь на верность андижанцев, если его не предупредить,— будет плохо, очень плохо! И Тахир гнал и гнал коня. Крепок был конь, но глина, доходящая чуть ли не до брюха, отнимает силы. Конь упал, из ноздрей пошла кровавая pena. Это случилось около Кувы. Тахир забирает сбрую, идет пешком, находит коня в Куве. Сутки скачки — и этот не выдержал. А впереди еще Коканд, Ходжент, Джизак — еще на десяток дней дорога... Тахир с завистью смотрит на птиц, пролетающих над ним.

Между тем, если бы даже Тахир обернулся и полетел птицей, он бы уже не застал Бабура в Самарканде. Бабур спешил на выручку матери и учителя. Двигался медленнее, чем ему хотелось бы, но ведь и Андижан, как он мог надеяться, еще долго был в состоянии выдерживать осаду. В Андижане годичные запасы провианта, тысячи людей под руководством такого отважного человека, как Ходжа Абдулла. Самарканд вынес семимесячную осаду, не имея ни того, ни другого.

Вышедший из Самарканда Бабур миновал кишлак Булунгур и крепость Халилия, вплотную подошел к реке Санзор.

Бабура, только недавно вставшего после тяжелой болезни, уговорили сесть в повозку, запряженную тройкой лошадей, накидали на сиденье внутри мягких поду-

шек, повесили занавески сбоку и сзади повозки. На каждом ухабе красные занавески трепыхались, словно языки пламени. Бабур сползал с пуховика, откидывал занавеску на задней стенке повозки, жадно и долго смотрел на уплывающую назад дорогу.

В пяти-шести верстах позади войска еще одна такая же повозка, покрасивее убранная. В сопровождении десятков конных воинов ехали в ней тетка Бабура Мехр Нигор-ханум и его невеста Айша. Правитель Бухары Султан Али, прознав, что Бабур собирается покинуть Самарканд, поставил свое войско у Шахрисябза, ждал, готовый к броску на столицу. Бабур предвидел такое последствие ухода, потому и не захотел оставлять свою невесту в Самарканде — ничего доброго от Султана Али ждать не приходилось. К тому же Мехр Нигор-ханум и Айша-бегим хотели поскорее избавиться от всяких опасностей: хватит с них Байсункура. Сейчас для них самым безопасным местом был Ташкент. Там властьствовал Махмуд-хан — старший брат Мехр Нигор-ханум и дядя Бабура. Сестра Айши-бегим Розия Султан-бегим тоже в Ташкенте, за Махмуд-ханом. А ташкентская дорога до самого Джизака совпадает с андижанской. Так и получилось, что тетку свою и невесту со всеми их людьми и имуществом сопровождал Бабур, расчищал путь. Чтобы не нарушить обычаяев, между женихом и невестой сохранялось расстояние в пять-шесть верст, они ехали двумя раздельными отрядами. И когда вечером, перейдя Сангзор, войско остановилось на зеленых холмах, расстояние между ними сохранилось то же, и юрты были поставлены в разных местах...

На склонах холмов раскрылись тюльпаны. Воздух был чист, ветер ласков. Бабур, ступая по нежной траве, почувствовал себя легко и свободно.

Бесспокойство и подавленность, владевшие им при выезде из Самарканда, начали понемногу рассеиваться.

Но ведь было отчего пасть духом!

С таким трудом взять Самарканд и потом по своей воле покинуть его! Казалось, все действия, все усилия пошли прахом, от этого у Бабура последнее время было постоянно плохое настроение. А сейчас вот, на этих зеленых холмах, он с наслаждением вдыхал свежий воздух и думал не о Самарканде, не о своих честолюбивых замыслах, нет, он думал о том, что идет спасать мать и учителя, и в этом есть, если, по совету Ханзоды-бегим, слушаться призывов своего сердца, есть удовлет-

ворящая доброта, благородство. Под его защитой невеста, и это тоже хорошее дело, мужественно — поступать именно так!

Бабур постепенно приходил в себя. Когда миновали узкий проход в горах — «ворота Тимура», — Бабур откинул дверцу повозки и подозвал своего конюшенного. Приказал:

— При-ве-ди-т-т-е мое-е-е-го сиво-о-о-го!

Бабур казался уже вполне здоровым, но сильно заикался — последствие тяжкой болезни. Касымбек услышал сказанное, подъехал к повозке.

— Повелитель, зачем вам сейчас лошадь?

Бабур, чувствуя, что сейчас снова начнет заикаться, утвердительно кивнул головой, властно посмотрел на конюшенного: «Делай, что я сказал!»

Отговаривал Касымбек. Отговаривал лекарь, короткобородый, седой коротышка, шел рядом с открытой дверцей, просил не садиться на коня, ну, хоть еще тричетыре дня не садиться. Бабур, мучаясь, выговорил:

— Хо-ч-ч-у немно-г-го верхом!

Конюшеннный привел коня со сверкающими на солнце чепраком и сбруей.

— Вернись! — крикнул ему Касымбек, но Бабур не дал увести коня обратно. И приказал:

— Не-т, коня при-и-и-веди-и! — И, улыбаясь, добавил: — Не бе-е-с-с-покой-тесь, б-б-бек!

Повозка остановилась. Бабур по выдвинутым изнутри ступенькам спустился на землю, подошел к коню. Постоял, взялся за луку седла и одним махом взлетел в седло. Конюшеннный восхищенно заулыбался, протягивая Бабуру конец повода.

Касымбек сопровождал Бабура, отставая не больше чем на шаг: если что случится, был готов тут же прийти на помощь.

Но добрались до Джизака вполне спокойно.

Бабур с малых лет привык к верховой езде. Очень соскучился по ней. Мягкие пуховики в повозке напоминали ему о болезни. А бодрый, веселый, крепкий ход сивого будто будил в теле Бабура молодые силы, с поры недуга заглохшие в нем. Чем дольше ехал верхом Бабур, тем здоровее чувствовал себя.

За Джизаком сделали привал на ночлег опять на зеленых холмах-адырах. Юрты жениха и невесты опять стояли в двух разных местах, отдаленно друг от друга. Но весть о том, что сегодня Бабур ехал верхом и что он

чувствует себя здоровым, дошла и до тетки с невестой.

Мехр Нигор-ханум для жениха была теткой, а для девушки-невесты считалась матерью, по обычаям это обстоятельство считалось удобным для обмена подарками. После вечерней молитвы визирь принес подарок Мехр Нигор-ханум мирзе Бабуру: золотистого цвета чапан, шитый золотом пояс, дорогую камчу с серебряной рукояткой. Чапан — знак радости по поводу выздоровления Бабура. Пояс означает, что жених станет еще сильней и могущественней. А камчу... камчу послали, может быть, потому, что сегодня он целый день ехал верхом? Или в ней есть и другое значение: мол, пусть мирза Бабур гонит своего коня побыстрее в Андижан и разобьет врагов?

Бабур от подарков пришел в восторг. А завтра они должны были расстаться: их ожидало место, где ташкентская дорога поворачивает на север. Надо было отдать тетку. Но чем? Как в походе отыскать такие подарки, что пришлись бы по душе женщинам? И кругом здесь степь, пустынная степь... Касымбек, как всегда, нашелся, предложил послать серебряные блюда, полные золотых монет. Бабур развел эту мысль: предложил погрузить эти блюда и монеты в освободившуюся повозку.

— Чтобы и она стала подарком? А если завтра вам понадобится повозка, повелитель мой?

— Надеюсь, на в-се-е-вышнего — не-е пона-а-добится. Пусть в повозках е-з-дят женщины!

Касымбек не стал возражать, понял, что это — приказ.

На другой день утром две роскошные повозки, цепочка нагруженных телег и верблюдов повернули на север — через Мирзачуль в Ташкент. Помимо прежней охраны с ними отправилась еще сотня, выделенная самим Бабуром из своего войска.

Вскоре и повозки, и телеги, и воины скрылись из глаз. Войско двинулось своей дорогой, а Бабур долго стоял в одиночестве на одном из холмов, глядя на войско, а вслед повозкам, пропавшим в бескрайней степи. Стоял, словно прощался с невестой, желая ей счастливого пути и выражая преданное уважение.

Бабур прожил в Самарканде сто дней, но ни разу не встретился с Айшой-бегим лицом к лицу. Этому препятствовал обычай, этому мешала и застенчивость мо-

лодости. Стоя на холме, он вспомнил газель, которую начал сочинять во дворце Бустан-сарай:

Похвалы красоте твоей слышал не раз,
луноликая, там и сям.
О, когда же наступит тот радостный час,
чтобы в ней убедился сам.

Потом на коне целый день он пытался продолжить эту газель:

О неземной твоей красе твердили мне всегда.
Чтоб убедиться в ней, я сам сейчас пришел сюда...
Коль головы не положить мне на твои колени,
Прочь, голову сломя, уйду неведомо куда.

В Куштегирмоне, где они разбили лагерь для очередного ночлега, Бабур перенес на бумагу эти мучившие его строчки. Газель он решил завершить ими, а серединную часть газели — еще три-четыре байта — решил найти потом, в часы более спокойные...

Да, грозные андижанские события все ближе и ближе подвигались к Бабуру — весть о них нес Тахир.

Когда войско Бабура перешло через Нов, Тахир миновал Коқанд и вступил в пустыню Ходарвиш. Бабур сделал шесть почевок, на седьмой день, неподалеку от Ходжента, навстречу войску вымчал на вороном коне, весь в черной грязи, почти тенью своей ставший от усталости Тахир.

— Почему вы покинули Самарканд, мой повелитель?! — кричал и плакал гонец.

Бабура тяжко ударила весть о падении Андижана, об измене тех, кто руководил обороной города. Словно весь мир содрогнулся от корчей, земля и небо качнулись, задрожали, как при землетрясении, а видневшаяся слева Сырдарья, показалось, вышла из берегов и ринулась наводнением на округу.

За рекой виднеются Ходжентские горы. Далеко, ох как далеко отсюда до Андижана. Далеко и до Самарканда! Мачеха-судьба привела сюда Бабура, заманила, одним ударом лишив его и Андижана, и Самарканда! Его, висящего между небом и землей, видели и смеялись над ним в Андижане изменник Танбал, в Самарканде удачливый Султан Али, в Туркестане собиравшийся

с силами Шейбани-хан, смеялись над ним — эх, доверчивый ребенок! Это их смех отражался громким эхом в горах вокруг!

Тахир рассказал об измене Али Дустбека и о том, что Ходжа Абдулла из-за своей верности Бабуру был повешен на балке ворот Хакан. Бабур не выдержал, ударили коня плетью, поскакал. Он и сам не знал куда. Не поняная с утра лошадь примчала его к обрывистому берегу реки. Бабур вдруг вспомнил, что отец погиб от оползня. Берег, где он стоял сейчас, тоже будто стал вдруг сползать, обрушиваться в поток. В ужасе Бабур отвернулся от мчащейся воды, но тогда холмы перед глазами задрожали, заходили ходуном и тоже стали, один за другим, обрушиваться в какую-то пропасть.

Бабур обнял коня за шею и заплакал, все сильнее и сильнее,— плечи его тряслись от рыданий.

Некоторое время он оставался один. Потом подъехал к нему Касымбек вместе со стариком лекарем. Голосом, полным горя и невыплаканных слез, Касымбек сказал:

— Повелитель мой, мы все попали в беду... Все мое имущество разграбили. Сына тяжело ранили...

Бабур поднял голову. Лицо его еще было мокрым. Лекарь стал поглаживать юношу по спине.

— Мой мирза, не надо горевать так сильно: слава всевышнему — и мать, и сестра ваши здоровы, как сказал нам гонец... Если будете живы, все к вам вернутся. Берегите себя. Как бы не заболеть вам снова!

Бабур словно не слышал — он видел, воочию видел повешенного любимого учителя и снова не удержал слез:

— О мой пир, на кого вы оставили меня в этом мире?.. Такого человека повесили! Я должен отомстить им за учителя! Отомстить!

Только сейчас лекарь заметил, как ясно говорил Бабур — без всякого заикания.

— Буду сражаться до последнего вздоха, клянусь!

Бабур то бледнел, то краснел, но слова произносил ясно и четко.

— Наступит расплата! Будем сражаться! Соберите отряды, оповестить всех! Мы идем... Вперед, на Андижан.

И Бабур резко повернул своего коня и поехал к войску.

Бабур взял Маргилан и Ош, войско Ахмада Танбала было разбито близ Андижана, остатки закрылись в городской крепости.

Но беки Бабура, упоенные этими победами, впали в беспечность. Однажды часть бабуровских отрядов разбила лагерь на ночлег у арыка Хакан, не обеспечив себя караулом. В рассветную пору на лагерь напали враги. Полусонные люди в панике побежали кто куда, и среди них бек, отвечающий за дозорную службу. Бабура оставили без охраны. Рядом с ним оказалось с десяток нукеров. Он вскочил на коня, когда неподалеку вражеские лучники из авангарда выступившего Танбала войска стреляли по бегущим. Бабуру показалось, что врагов мало. Пришпорив коня, он повел свой десяток на лучников. Те повернули вспять, побежали. Бабур увлекся преследованием и с большим опозданием заметил большую группу неприятельских всадников, что вымчалась из рощи наперехват. Впереди — его отчетливо было видно в лучах утреннего солнца — в боевых доспехах, со щитом в руке скакал Ахмад Танбал. Бабур натянул поводья коня, задержал его бег. Кто с ним рядом? Трое; в том числе Тахир. Остальные летели назад, стремясь вырваться из готовой захлопнуться ловушки. Поторопись Бабур, может быть, и он успел бы.

Но он не мог удариться в бегство, он хотел сойтись лицом к лицу с Ахмадом Танбалом, коварным изменником, принесшим ему столько бед! Бабур опустил поводья, быстро и ловко приготовил к бою свой лук, положил стрелу на тетиву. Ахмад Танбал на ходу выхватил меч из ножен; Бабур пустил стрелу прямо в красное от напряжение лицо Танбала, в переносицу, меж косых глаз. Стрела чиркнула по козырьку шлема: выстрел был точен, но металл шлема оказался крепче, нежели острие стрелы. Вторую стрелу Бабур успел нацелить в шею Танбала — у воина, одетого в шлем и кольчугу, оставались чуть открытыми только лицо и шея,— Танбал успел защититься щитом: стрела ударила в щит и отскочила.

Всадники Танбала на ходу стали пускать стрелы в Бабура. Одна попала в икру чуть ниже колена, пробила сапог. Танбал был уже рядом, меч сверкал в правой его руке — тот самый меч, подумал Бабур, одновре-

менно чувствуя, как острая боль расползается по ноге, тот самый, им же подаренный Танбалу в Оше багдадский меч с золотой рукояткой. Значит, Танбал убьет его тем самым мечом, который когда-то целовал в знак верности Бабур? Руки Бабура еще сжимали не нужный теперь лук; в странной апатии Бабур не сообразил выхватить свой меч, не сообразил, скованный болью, или не успел, — багдадский меч опустился на его шлем. Из глаз Бабура будто искры посыпались, в голове гулко загудело, и, хотя шлем выдержал этот удар, на шею из-под него полилась кровь. «И сапог, видно, тоже полон крови», — как-то отчужденно, будто не про себя, подумал Бабур, наклоняясь, готовый упасть. Танбал издал торжествующий крик и снова поднял меч. Но сзади к ним ринулся Тахир, в один миг резко дернув сивого за повод, толкнул Бабура в спину. Конь Бабура дернулся с места, меч Танбала с силой опустился на Бабуров колчан, поломав стрелы, и срезал — под самое основание ремни.

— Мирза! Держите повод! Держитесь! — кричал Тахир, нахлестывая камчой коня Бабура.

Редко с ним так обращались, с этим благородным сивым красавцем: конь просто полетел вперед, яростно-стремительным бегом своим спасая хозяина от беды.

Бабур вернулся в Ош, прихрамывая, и не скоро исчезло гуденье в его голове.

Но больше, чем раны, его мучило сознание несправедливости судьбы. Подаренный Ахмаду Танбалу меч ударили его самого, подарившего, — какая злая насмешка! А еще утверждают, что в мире все предопределено и чистого награждает справедливость, нечистого же карает возмездие. Так почему судьба не карает Ахмада Танбала, виновника стольких бедствий, испытанных не только им, Бабуром? Почему, когда такой негодяй столкнулся с Бабуром на поле брани, рука именно этого нечестивца оказалась сильней и удачливей?

Кутлуг Нигор-ханум утешала сына:

— Слава всевышнему, что мой сын остался жив!.. Вам, мой мирза, всего шестнадцать лет. К той поре, когда вы достигнете возраста Танбала, у вас за плечами будет много побед... Сейчас от этих междоусобных войн родная страна пришла в полное разоренье. И правильно делает ваш дядя Махмуд-хан, когда хочет быть посредником, помирить вас с мирзой Джакангиром. Пускай Ахсы будет за Джакангиром, Андижан останется вам.

— Неужели и маленькое Ферганское государство должно расчлениться на две части? Это вместо того чтобы объединить весь Мавераннахр, матушка...

— Сейчас нет другого выхода, Бабурджан!.. И потом, не об одном же государственном только думать. В Ташкенте тоскует ваша невеста... Я получила письмо от сестры, пишет: приезжайте, мол, и побыстрее забирайте невесту.

Бабур хотел возразить матери: им некуда торопиться, «луноликая» только-только вступила в свою пятнадцатую весну, да и он еще очень молод. Но сказать так не осмелился. Он ведь сам желал поскорее встретиться с невестой, о которой мечтал так много...

6

В один из теплых вечеров месяца джауза в помещении гарема, расположенного в андижанском арке, невольницы готовили богатейший ужин. Еще бы — повелитель решил проведать наконец Айшу-бегим, свою жену, молодую свою жену, ждавшую этого вечера целую неделю. В первом из покоев Айши-бегим, обставленном золотой и серебряной утварью, сплошь завешанном шелковыми коврами, расстелили цветастую ковровую дорожку. Еще не успела высохнуть усыма, которой были покрашены брови Айши-бегим, как кто-то в волнении зашептал:

— Приехал! Приехал! Повелитель...

На айване показался Бабур в златотканых одеждах. Беспрестанные испытания последних двух лет изменили его, плечи раздались, как и подобает быть у крепкого восемнадцатилетнего парня.

Встретившая Бабура низким поклоном, Айша-бегим казалась по сравнению с ним очень маленькой, слишком хрупкой. Высокая токи на голове и жемчужные серьги в ушах казались несоразмерно большими при взгляде на ее тонкую шейку.

Невольницы, сгибаясь в поклонах, засеменили к дверям. Бабур заметил, как озорно вспыхивали глаза у некоторых из них, почувствовал неловкость: правда, так заведено, что в ночь, когда муж должен ночевать в гареме, невольницы и слуги оповещаются о том заранее, чтобы подготовить к встрече все, что надо,— но ему показалось, что ни к чему в такой час находиться здесь столь большому числу людей.

Вдобавок Айша-бегим оказалась еще более стыдливой.

— О, прошу вас, повелитель! — сказала она с дрожью в голосе и еле слышно, приглашая Бабура сесть на почетное место.

В глубине второй комнаты за тонкой завесой — двухспальная постель. Бабур не мог не смотреть туда и стеснялся этого желания. Пройдя к дастархану, он сел на курпачу, так, чтобы не видеть постели. Все равно она была видна. Он уткнулся глазами в дастархан, тихо спросил:

— Здоровы ли вы, бегим?

— Слава всевышнему... Благодарю вас.

Айша-бегим застенчиво села подальше от Бабура, у самого краешка дастархана.

Установилось неловкое молчание.

У молодой жены было все как у молодой жены, только душа оставалась девчоночьей. А внешность... девушка часто болела, успела пережить многие невзгоды — потому похудела, была малосильной. Сказочная луноликая пери, которая грезилась Бабуру, так и осталась в воображении. А действительность и в этом отношении обманула юношу. В сущности, он и не знал молодую свою жену — не больше знал, чем сразу после свадьбы, когда они впервые увидели друг друга (таков обычай!). Близость физическая без душевной обременительна и, так казалось Бабуру, кощунственна. Айша-бегим не осветила души его, не зажгла в нем и мужской страсти. Поэтому, « занятый государственными делами », он часто проводил ночи в собственной опочивальне. Да и по обычаям, теперь уж придворному, правительнику лишь в некие особые дни получал возможность ночевать вместе с женой, — так поступал и отец Бабура, мирза Умаршайх. К чести Айши надо сказать, что она сама чувствовала неловкость и тягость их отношений, сама страдала от сознания, что она не та жена, которая нужна и которую полюбил бы горячо Бабур.

Айша-бегим налила чай из пунцового чайника в золотую пиалу и протянула ее Бабуру. « Совсем еще детские руки и дрожат от страха — передо мной, что ли? » — подумал Бабур.

— Спасибо, — виновато произнес он единственное слово. Он и в самом деле чувствовал себя виноватым: девушка, когда-то взлелеянная им в мечтах, на колени к которой он желал преклонить голову, сидела сейчас

перед ним стыдливо-угнетенно, будто с чужим. Ну, не та девушка, но все же...

Женщина-чошнагир внесла на золотом блюде кебаб,пряно пахнущий тмином. Было ей, по-видимому, лет пятьдесят, но косынку она накрутила на себя игриво — набекрень. Увидев постные лица застенчивых молодых, пошутила:

— О повелитель, разве молодой муж не должен развлекать молодую жену? Ай, сколько интересного вы знаете... Говорят, прибыли послы из Самарканда. Какие это добрые вести принесли они с собой?

Запах шашлыка, отлично приготовленного из нежного джейраньего мяса, смешался с запахом тмина, когда чошнагир сняла крышку.

— Э, бегим, будьте и вы повеселее. Такая счастливая молодость дается раз в жизни. Надо пользоваться ею, бегимджан, вот когда состаритесь, как я, сладко вспомните об этих днях!

И, посмеиваясь, играя бедрами, вышла из комнаты. Айша совсем потерялась.

— Отведайте, бегим, ну-ка! — Бабур протянул руку к блюду, но не взял мяса, ждал, пока возьмет жена.

— Нет, что вы... начинайте вы,— прошептала она.

— Ладно, вот беру. Давайте теперь вы... — И шашлык не развеселил их. Снова перешли к чаю.

— Бегим, вы еще не соскучились по родному городу?

Айша-бегим чуть смелее посмотрела в лицо Бабура:

— По Самарканду, да?.. Соскучилась.

— Если будет на то воля всевышнего, летом поедете в Самарканд.

— Хорошо бы... Но как же... я поеду одна?

— Нет, с помощью аллаха возьмем Самарканд и все переедем туда.

— Переедем? А кому останется Андижан?

— Пока мирзе Джакхангир, — ответил Бабур. И сразу помрачнел.

Айша-бегим ничего не понимала, удивленно вздымала брови. Разве мало несчастий пережил мирза Бабур, пока отвоевывал Андижан? И вот те на: теперь добровольно хочет оставить Андижан.

— Хотя я соскучилась по Самарканду, — сказала Айша-бегим, — но предпочту мирную жизнь здесь, в вашем отчесном доме!

Когда она вот так открыто заговорила с ним, ее лицо показалось Бабуру привлекательным.

— Да, да, я и вас убедительно прошу, повелитель мой, — продолжала Айша-бегим, постепенно разгораясь, — вы много помучились, а Самарканд без боя не откроет ворота. Пожалейте себя. Не ходите в поход, прошу вас!

— Разве нынешнее наше положение достойно меня и вас?

— Почему вы так говорите? Ведь вы в своей стране, и здесь вы — повелитель.

Бабур иронически улыбнулся.

— Повелитель я только на словах, — сказал он и, вынув из-за пазухи сложенную вчетверо бумагу, протянул Айше-бегим.

Все последние месяцы Бабур ощущал острую необходимость доверить бумаге свои душевные переживания и почти каждый вечер писал стихи. На этом листке он записал одно четверостишие.

Айша-бегим расправила лист, пробежала глазами по строчкам:

Надежды на людей, прильнувших к трону, — нет!
Исчезли верности законы. Бедный свет!
Бабур, стань лучше захудальным беком.
Двух шахов под одной короной хуже нет!

— О повелитель, поздравляю вас с хорошим стихотворением!

— Благодарю... Но вы поняли меня?

— Поняла. Вас тяготит, что мирза Джахангир создал в Ахсы второе государство, да? Единое раньше — раздвоилось.

— Бегим, не Джахангир тому виной. Джахангир еще ребенок. Ахмад Танбал, Али Дустбек, мятежные, сильные беки против меня.

Бабур начал рассказывать о своих сложных отношениях с Али Дустбеком. В прошлом году он, Бабур, лишился всего, она знает. Жил на юге, в Ура-Тюбе, у подножия Туркестанского хребта. И вдруг от Али Дустбека прискакал гонец (в то время Али Дустбек был правителем Маргилана и с Танбалом поссорился). «Если мирза Бабур простит мне вину, простит, что я открыл андижанские ворота этому псу Ахмаду Танбалу, то пускай он прибудет в Маргилан, я открою ворота ему», — так передал слова Дустбека гонец. Через два дня Бабур ночью прибыл в Маргилан. Али Дустбек сдержал

слово. Бабур воспрянул. И вскоре с помощью же Дустбека овладел и Андижаном.

Великодущие за великодущие! Нет, Бабур решил проявить еще большее великодущие: назначил Али Дустбека на место Касымбека! Одного вознес, другого незаслуженно унизил.

И что же? Али Дустбек переманил на свою сторону большинство беков и вскоре оставил Бабуру лишь видимость власти. Касымбек же все это время оставался неразлучно при Бабуре. Однажды Касымбек привел доказательства нового сговора Али Дустбека с Ахмадом Танбалом. Сторонники Дустбека обвинили Касымбека в клевете, пригрозили, что Бабуру будет плохо, если будет плохо Дустбеку... А где-то рядом точит на него мечи Ахмад Танбал, ищет повода, чтоб вторгнуться в Андижан. Найдется такой повод, и все враги, извне и изнутри, объединятся, что будет тогда? Бабур, стиснув зубы, вынужден терпеть козни Али Дустбека. Сил нет у него, мало сил, чтобы победить врагов.

— Али Дустбек и Ахмад Танбал, словно пауки, опутывают меня,— сказал Бабур Айше-бегим.— Хочу разорвать паутину, вырваться отсюда, иначе... станем пищей для пауков.

— Повелитель мой, и в Самарканде у вас не счастье врагов. Если вновь начнется война...

— В Самарканде и друзей наших немало.

— Посланник оттуда звал вас в столицу?

Этот разговор с посланцем из Самарканда должен был храниться в глубокой тайне.

Междусамарканскими беками и Султаном Али усилились разногласия. Беки во главе с Мазидом Тарханом со своими нукерами покинули город. Тысяча воинов с нетерпением ждет Бабура в Ургуте, тысяча воинов и готовые на все беки — сила нешуточная! Овладевший недавно Бухарой Шейбани-хан целился теперь на Самаркандин. Если Бабур быстро не прибудет туда, Султан Али может сдать столицу Шейбани-хану. Наслышанные про кровожадность Шейбани люди готовы открыть городские ворота Бабуру.'

Воспользоваться этим благоприятным для него поворотом в игре, устроенной судьбой?

— Посланец и вправду приглашал нас в Самаркандин,— ответил Бабур Айше-бегим мало что говорящей фразой.— Но ведь Султан Али так просто престол не отдаст.

- Значит, снова война! Снова опасность!..
- Бегим, вершины высоких гор не бывают без снега, а жизнь настоящего джигита без опасностей.
- Повелитель рассказывал о паутине... Он уйдет на Самарканд, а мы? Мы останемся... в паутине?
- Если захотите, увезу вас с собой!
- На поле битвы?

Бабур покраснел: стрела легкой иронии попала в цель.

— Пока не кончится поход, вы с матушкой и Ханзодой-бегим втроем можете жить в Ура-Тюбе. Хорошее место. Жена правителя города родная сестра моей матушки. Оттуда легко попасть и в Самарканд.

— Ура-Тюбе? В этой горной местности, наверное, дороги совсем плохи. Я не умею ездить верхом.

— Можете ехать в повозке.

Айша-бегим любила жить спокойно и оседло, на одном месте, поездки воспринимала как мученье.

— Ох, я боюсь... и повозки, и дороги.

«Судьба-мачеха и в этом меня обидела,— подумал Бабур.— Такому непоседливому человеку дала такую хрупкую жену, любящую сидеть на месте!» Но в конце концов зачем сейчас вести эти разговоры? Слабая женщина, нуждается в защите. Он ее защитит!

Бабур заговорил наигранно-весело:

— Если вы боитесь повозок и не умеете ездить верхом, то я вас, бегим... буду носить на ладони!

— Не смейтесь! Я не достойна этого...

Слова Айши-бегим показались Бабуру исполненными иного, милого и зовущего, смысла. Молодая кровь заиграла в нем. Он встал из-за дастархана.

— Нет, достойны!

— Не смейтесь, прошу вас...

— Доказать, да, доказать? — по-мальчишески озорно стал пугать ее Бабур.

Айша-бегим, словно газель, вскочила на ноги и приготовилась бежать. Бабур быстро настиг Айшу; на короткий миг ему вспомнилось, какой легкой она была, когда в свадебную ночь он вынес ее на руках из празднично украшенной повозки; с такой же легкостью поднял он ее и сейчас. Понес к постели, ногой отодвинув завесу и дунув на свечи у изголовья.

Никогда Айша-бегим не была с ним так нежна, как в эту ночь. Странно, почему же раньше все у них в этой же опочивальне было по-иному. «Теперь я каждую ночь

буду проводить здесь! — мысленно пообещал он сам себе, засыпая после ласк любви... И тут же пожалел: — Вот уеду в Самарканд, и придется... не знаю, сколько там недель или месяцев жить в разлуке, без этой радости. Так не лучше ли остаться в Андижане?»

И снова он вспомнил почему-то их первый вечер и первую брачную ночь. Обнимая и целуя Айшу, он жаждал в ответ какой-то особой ее преданности, особых ее слов и поступков. Он хотел покорить себе ее душу и ей же самому покориться душой. Но Айша-бегим и в постели была скованной, на горячие ласки отвечала осторожно-учтиво, видно было — по заученному от мамок и наставниц. И еще вспомнилось: когда она раздевалась, с тонкого ее запястья сполз тяжелый золотой браслет с рубиновыми камнями и закатился куда-то. Она обнаружила, что на руке нет браслета, чуть позже, в самое неподходящее мгновенье, и вдруг забеспокоилась:

— Ой, где же мой браслет? Там такие рубины! Повелитель, прошу вас, подождите, я поищу...

И выскользнула из его объятий.

Бабур и сейчас стало вдруг не по себе. Он не сразу уснул в эту ночь, долго смотрел на утомленно-счастливое лицо спящей Айши...

Наступило солнечное утро. Вместе с ночными звездами погасли и чувства Бабура, которые вчера вечером казались способными изменить его планы. Муж с женой сели за завтрак. Мысли Бабура снова были о той паутине, которую плели вокруг него Ахмад Танбал и Али Дустбек. Вчера днем Бабур объявил посланцу, что в Самарканд поедет обязательно. Сказал о том преданным людям во главе с Касымбеком, они уже, наверное, начали скрытную подготовку к походу. Сегодняшним утром ему еще яснее стало, что нельзя изменять этому слову.

Айша-бегим почувствовала, как изменилось настроение мужа, хранила молчание. Бабур ни разу не посмотрел на нее после того, как случайно бросил взгляд на золотой браслет с рубинами, который тяжело свисал с ее худого запястья.

— Бегим, так вы решились ехать в Ура-Тюбе?

Айша поняла, что желание Бабура отправиться в Самарканд не только не исчезло, но укрепилось. Разлука на несколько месяцев ждет ее впереди — это ли не при-

знак того, что Бабур ее не любит по-настоящему? С обидой в голосе Айша сказала:

— Повелитель мой, пусть сначала Самарканд станет вашим, и я тогда поеду в свой родной город. А в Ура-Тюбе не хочу...

Сказала она это так, что Бабуру показалось: не верит, что он, Бабур, снова завладеет Самарканом. Но ничего не стал объяснять ей больше. Покидая гарем, холодно бросил:

— Ладно, бегим, если всевышнему будет угодно, продолжим наш разговор в Самарканде...

САМАРКАНД

1

Султана Али, того самого, кто сидел на самарканском престоле и кого хотел прогнать оттуда Бабур, опередив в этом намерении чужеродного Шейбани-хана, не уважал никто.

Никчемный — так шептались о нем по углам дворца Бустан-сарай. На молодого правителя махнул рукой доверенный, близкий ему человек — бек Абу Юсуф Аргун, поставлявший в гарем Султану Али все новых красоток наложниц. О делах государства, о судьбах семьи он теперь предпочитал разговаривать в укромной комнате неподалеку от бани с открытой мраморной купальней — через особое окошко в стене, не видное снаружи (его пробили еще при Султане Махмуде), восемнадцатилетний сладострастник любовался голыми девушками, которые плескались в воде, любовался, попивая винzo, предвкушая и прочие, не для одного только зрения, радости...

И на этот раз тщетно пыталась Зухра-бегим возвратить к разуму своего сына: вино и вожделение отняли у него разум. Султан Али бормотал:

— Что?.. Мы опять в осаде? Ах, еще нет... Заговорщики хотят открыть Бабуру ворота Самарканда? И мой пир Ходжа Яхъя возглавляет их?.. Ну, ну, и пусть... взгляв-влять... Впустим Бабура в город и в крепость, потом поймаем и выжжем его глаза раскла... раскаленным железным... вертелом. Ха-ха-ха...

Зухра-бегим в бешенстве покинула сына.

Она была душой сопротивления Самарканда Бабуру. Это по ее наущению были обезврежены заговорщики, друзья Бабура. Это ее приказа слушаясь, защитники обманом завлекли передовой отряд Бабура под истребление. Но основное войско Бабура, но имя Бабура ей не победить: Самарканд обречен и ее никчемный отпрыск, Султан Али, тоже.

Где же найти ей опору, о аллах??!

Придя к себе, Зухра-бегим металась по комнатам, в которых ярко горели свечи. Она не заснула до самого рассвета.

Пока удалось предупредить опасный ход событий, думала она: те заговорщики, которые еще с прошлогодней осады склонялись к Бабуру, схвачены — на эту меру она у полупьяного Султана Али разрешение все-таки вырвала. Но все равно: в городе все меньше становится людей, преданных ей, Зухре-бегим. Имущество беков-заговорщиков будет отдано на разграбление, самих жестоко накажут, но тем самым... станет еще больше недовольных ими, Султаном Али и ею! А Ходжа Яхъя столь влиятелен, что круто поступить с ним и во-все нельзя: все духовные лица на стороне Яхъи, еще бы, ведь он сын знаменитого Ходжи Ахара. По знаку такого человека вся темная толпа поднимется во главе с муллами, шейхами, и такое может начаться, что будет похлеще времен, когда обезглавили самого Улугбека!

Мысли Зухры-бегим вновь и вновь обращались к Шейбани-хану. Вот удачник, счастливчик! Выждал, создал крепкое войско, недавно шутя захватил Бухару, теперь мог в любое время подступить к Самарканду. И вождем веры себя явил, и воином настоящим, и мужчиной, не равнодушным к женским чарам. Три дня назад один дервиш, накшбендий, тайно доставил ей, Зухре-бегим, письмо от Шейбани-шаха.

Бегим отперла ключиком маленький золотой ковчежек, который хранила в особой стенной нише за занавеской, достала из него то самое письмо и при свете свечи стала перечитывать.

На тонкой хрустящей бумаге медового цвета красивым почерком в изысканно-тонких выражениях восхвалял хан-кочевник ее ум и красоту, с особым почтением упоминал о том, что она, еще молодая женщина, пренебрегла вполне возможным новым замужеством и самоотверженно посвятила жизнь сыну. Но самое заворажива-

живающее в письме — это заочное изъяснение хана в любви к Зухре-бегим, намек, что желал бы жениться на ней; как иначе понять такой бейт:

Мое — дыханье ваших уст, владычица.
Ваш сын — мой будет сын, клянусь, владычица.

Зухра-бегим точно ощущила на лице опаляющее дыхание сильного мужчины. Шесть лет одна живет, шесть долгих лет! Красивый цветок, а увядает. Конечно, захоти она выйти замуж, немало охотников нашлось бы — знатных, богатых, крепких и телом, и духом, и славой: еще бы, любимая жена Султана Махмуда, о которой шла молва как о бесподобной красавице. Но оттого и сидит она во вдовах, что венценосная, и муж, и сын у которой на троне,— за венценосца, только за венценосца ей и подобало вторично выйти замуж, таков обычай.

А Шейбани-хан, тайно сватающий ее, разве не венценосец? «Мое — дыханье ваших уст, владычица», — повторила Зухра-бегим и вдруг почувствовала такой жар, будто и впрямь обнял ее кто-то, зашептал страстно: «Прелестная, владычица!»

Бегим поднялась, подошла к зеркалу. От бессонной ночи под глазами синеватые тени. Но брови — ласточкины крылья. Черные глаза искрятся. Шея — гладкая, мраморной белизны, губы трепещут желанием.

Шейбани-хану уже под пятьдесят, это правда, у него есть жены и дети, Зухра-бегим знает. «Но куда этим женам-степнячкам до меня? Так приворожу хана, что они покорятся мне, покорятся!»

Завтра должен опять явиться тот дервиш-накшбен-дий. За ответом.

Она взяла бумагу и перо.

Свечи уже давно оплыли в своих поставцах, комнату залили — только теперь она заметила это — сумерки. Зухра-бегим отдернула голубые бархатные занавеси, подставила лицо струящейся с айвана предрассветной прохладе.

Внезапно она услышала пронзительный мужской вопль откуда-то из улиц, прилежавших к городской крепости, и тут же заголосила какая-то женщина.

Абу Юсуф и другие люди сына охотились за беками-заговорщиками, грабили их дома. Зухра-бегим представила себе, как умирают сейчас по городу самарканцы

под саблями и пиками. Коварные, непокорные самарканцы, им был нужен Бабур. А ей — Шейбани. Но что, если Шейбани-хан, объясняясь ей в любви, тоже вынашивает коварные замыслы? Вот захватит Самарканд, Зухру-бегим постигнет участь женщины, которая где-то там истошно плачет в голос среди ночи?

Ей стало зябко, страшно. Опять взяла в руки письмо Шейбани-хана, который, словно нарочно отвечая на ее опасения, приписал в конце своего послания еще одно двустишие:

Без тебя для чего Самарканд мне? Скажи, о прелестная,
Для чего телу бренному быть без души, о прелестная?

А ей, для чего ей Самарканд без мужа, который был бы настоящим повелителем? «Тело бренное», труп — вот чем станет Самарканд, если не придет сюда могучий, полный жизненных сил Шейбани-хан, придет и вдохнет также и в ее вдовью душу жар любви.

Зухра-бегим встрепенулась, она опять почувствовала прилив желания, столь необходимого в жизни каждого человека, тем паче — венценосца. Взяла перо и принялась за письмо хану. Начать надо просто — превознести до небес:

«Имам святейший, халиф пресветлый, могучий воитель истинной веры, всевышнего волю воплощающий...»

2

За первым обводом самарканских стен, в садах просторных, на холмах у обсерватории Улугбека, на берегах речки Обирахмат — везде и всюду отряды огромного, без числа, войска. У подножий горы Чабан-ата и далее по берегам Зерафшана — оно же, еще сотни юрт и шатров.

Шейбани-хан, воитель истинной веры, предводитель этого войска, занял знаменитый дворец Чилсутун, построенный Улугбеком в прекрасном и тоже знаменитом саду Боги-майдан. Верхний ярус дворца представлял собой просторное помещение с выходящими на все четыре стороны верандами. Там на пышно убранном возвышении — шахнишине — восседает после полдневной молитвы могучий и грозный Шейбани-хан.

Должили, что из города вместе с приближенными явился к могучему и грозному Султан Али.

Маленькие глазки совсем не могучего на вид хана сверкнули радостью.

— Призовите сюда наших султанов. Потом приведите самаркандского миразу.

— Повелитель, но ваш трон внизу...

— Мой джайнамаз выше всякого трона!

— О, как верно, великий хан!

Шейбани-хан сел нарочито на самый краешек нежно-коричневого коврика, сотканного из мягкой шерсти верблюжонка.

Когда позволили Султану Али войти, первое, что бросилось ему в глаза,— это смиренная поза грозного хана. Он возвышался над шахнишином, внизу, удобно подогнув ноги под себя, сидели султаны, человек десять,— их одеяния были совсем не столь непрятательными, как у их повелителя. Одежда Шейбани-хана была вовсе лишена украшений, а на Султане Али сверкали драгоценности, украшавшие чалму, золотые и жемчужные нити на чапане.

Глаза восемнадцатилетнего мирызы беспокойно перескакивали с предмета на предмет, во всей фигуре, не по годам толстой, окруженной, чувствовалось изнеженное бессилие. По советам матери и Абу Юсуфа Аргуна он явился сюда, оставив войско в крепости. Убедился, с какой огромной силой подступил хан к Самарканду, и сейчас трусил отчаянно.

Откуда ему было знать, что Абу Юсуф уже давно вошел в сговор с Шейбани-ханом и по его прямому указанию дал Султану Али совет идти к хану? Сегодня во время полдневной трапезы он изрядно напоил никчемного крепким майнобом, и теперь стоило Султану Али слегка согнуться в поклоне, ковер поплыл перед его глазами. Миранда качнулся всем своим дородным, округлым телом и, если бы Абу Юсуф не поддержал его, свалился бы прямо на ковер.

Шейбани-хан поднялся, здороваясь с миразой. Запах майноба ударил в лицо: молокосос был пьян, посмел явиться сюда пьяным! Шейбани-хан знаком велел посадить миразу ниже ханского сына Тимура Султана и зятя хана Джанибека.

Султан Али был преисполнен почтения к хану.

Поверх красной меховой шапки Шейбани надел белую чалму; одежда под легким, с короткими рукавами чекменем из голубого сукна, застегнутым золотыми пуговицами, была зеленого цвета — цвета мусуль-

манского знамени. И коврик... «Набожный человек этот степняк», — подумал Султан Али. Но то, что Султану Али, повелителю Самарканда, указали место ниже других, не столь знатных... Вон оно как! И Султан Али намеренно небрежно, на виду у султанов, сел, кое-как скрестив ноги. Сын Шейбани-хана, Тимур Султан, взглянул на соседа с раздражением.

— Мирза, вы хотите стать для нас близким как сын? — ласково спросил самарканца Шейбани-хан.

— Мы приглашены вами, воитель-халиф, чтоб заключить мир...

— А ваша высокородная мать разве не прибыла с вами?

— Мать послала меня, — откровенно ответил Султан Али, невольно выдавая истинную меру своей власти.

— Но высокородная намерена была прибыть...

— Э, женщины... что они понимают в делах войны и мира, — Султан Али неуклюже исправил свой промах.

— Нет, вы уж пошлите за ней человека, мирза, — ласково, но так, что не ослушаешься, сказал хан.

Султан Али взглянул на Абу Юсуфа, что примостился на коленях рядом с ним. Тот быстро поднялся и поклонился Шейбани-хану:

— Великий воитель истинной веры, позвольте мне немедля отправиться за Зухрай-бегим.

Шейбани-хан ласково улыбнулся и Абу Юсуфу:

— Из моих лучших скакунов — один ваш, бек.

— Благодарен, о повелитель!

— Бек, возвращайтесь в город, — вскинулся вдруг мирза, — сообщите нашу волю Ходже Яхъе. Если он не прибудет туда, где нахожусь я, Султан Али-мирза, между нами не будет мира.

— Истину произнесли ваши уста, мой амирзода, — несколько снисходительно произнес Абу Юсуф и, спеша выполнить приказы венценосцев, удалился. Шейбани-хан многозначительно оглядел своих султанов.

— Вы пока побеседуйте с мирзой, — повернулся и, выйдя в заднюю дверь, спустился вниз.

Султан Али обвел взглядом лица султанов — они выражали только вражду. Не желая оставаться среди них, мирза поднялся и направился к боковой двери. Тут же вскочил с места один султан из Туркестана, встал на дороге:

— Мирза, вы теперь никуда не уйдете от нас, таков приказ!

Внушительного роста нукер, положив кулачище на рукоять кинжала, вырос у двери. Теперь Султан Али понял, что попал в ловушку. И вмиг отрезвел. Бледный, самаркандец вернулся на место.

Прошло несколько часов, и вместе с четырьмя рабынями явилась в Баги-майдан Зухра-бегим. Белый шелковый платок, по-особому повязанный на голове, и полукруглое золотое украшение на лбу делали ее похожей на невесту. Цветастый камзол с длинными рукавами, надеваемый женщинами-венценосцами, плотно охватывал полный, но еще гибкий стан. Длинный-длинный подол белого атласного платья стелился из-под камзола по полу, его поддерживали с обеих сторон рабыни.

Зухру-бегим провели в зал, обставленный и украшенный намеренно по этому поводу. Гостью заметила старшая жена Шейбани-хана, которой было под пятьдесят.

— Ну и бесстыдница! — зашептала она молодухе, что находилась рядом.— Каково?. Стосковалась по мужику, забыла про всякое приличие, вырядилась невестой!.. Подождала бы, пока прибудут свахи, выполнят все честь по чести... Да минует нас такой позор!

Когда Зухра-бегим вошла в тронный зал, Шейбани уже был там, с немногими приближенными. Бегим низко поклонилась хану, ожидая, что он сойдет с трона, чтобы встретить ее у подножия, на ковровой дорожке. Но хан будто прирос к своему золотому трону, сдержанно бросил оттуда, сверху:

— Добро пожаловать к нам, бегим.

Зухра ожидала иного. Как-то вдруг она поникла, на глаза ее навернулись слезы.

— Повелитель-халиф, я принесла себя в жертву вам! Сына родного, честь и достоинство свое — все, все отдаю вам... уверовала в ваше благородство... в ваше письмо...

Лицо Зухры-бегим было скрыто густой белой шелковой вуалью. Его трудно было разглядеть. Хан взглянул на руки женщины, на пальцы, унизанные золотыми кольцами и драгоценными каменьями,— дрожащие пальцы, руки с явно видимыми прожилками кровеносных сосудов, бегим в возрасте — что ж тут поделаешь. Не то что девятнадцатилетняя младшая жена, недавно взятая ханом в Бухаре.

Шейбани вспомнил, что Султану Али, великовоз-

растному сыну Зухры-бегим, которого сейчас запугивают его султаны в другом дворцовом помещении, уже восемнадцать.

— Не волнуйтесь, бегим,— спокойно произнес хан,— мы знаем о вашей заветной мечте. Если богу будет угодно, ваши намерения не останутся невыполненными!

И это было все, что услышала женщина. Зухру-бегим вместе с рабынями впустили в небольшую комнату и заперли с наружной стороны.

3

Никто не знал, что намерен предпринять над самаркандцами Шейбани-хан, но все военачальники и приближенные чувствовали, что назревают какие-то немалой важности события. Они похаживали небольшими группами вокруг дворца Чилсутун.

Среди них и поэт Мухаммад Салих. На голове его — шелковая чалма в изящных складках; очень шел ему и шелковый, короткий в рукавах камзол. Степнякам-султанам, не расстающимся с тельниками ни зимой ни летом, огрубелым в беспрерывных войнах, поэт, человек книжный и к тому же одетый со вкусом, конечно, не нравится. Поэтому при каждом удобном случае они колко поминают, как сей щеголь поэт прислуживал самарканским правителям, незадачливым потомкам некогда грозного хромоногого Тимура.

Вот Камбарбий, глава найманов, насмешливо обращается к Мухаммаду Салиху:

— Господин поэт, наш верный союзник! Из града Самарканда прибыла к нам, видно, любезная вашему сердцу франтиха матушка вместе с сыночком. Рады ли вы своей самарканской родственнице?

— Досточтимый Камбарбий, Зухра-бегим, да будет вам известно, происходит из племени найман, так что она скорее родственница ваша!

Султаны мангитов, кунгратов, кушчи, услышав ответ, захохотали. Этот наймано-кипчакский предводитель сильно уж заносится перед другими. Только своих кочевников называет узбеками.

Камбарбий разгневался:

— А вы бы уж помолчали о родственниках... Разве не происходите вы из барласских тюрков?!

Племя барласов, из которого вышел Тимур, было самым ненавистным для Шейбани-хана. Мухаммад Салих служил во дворце Хусейна Байкары, был приближенным Султана Али-мирзы, потом перебежал к Шейбани. Выдал ему некие секреты, помог овладеть крепостями Бухары и Дабусия, стал люб для хана. Но Камбарбий не без оснований считал Мухаммада Салиха ненадежным, способным на предательство и презирал его.

Поэт попытался было отшутиться:

— Любезный Камбарбий, сейчас я — из узбекских тюрок!

— Не хитрите, поэт! Узбек — это одно, а тюрк — совсем другое!

— Почему? Все узбекские племена среди тюрок Мавераннахра.

— Но мы происходим от великого Узбек-хана. А вы, поэт, — сарт, отпрыск этих... городских перерожденцев. Не забывайте этого!

— Господин Камбарбий, мои предки жили в городе Туркестане, а у узбеков есть пословица: «Наш отчий край — Туркестан». Есть такая пословица или нет?

— Ну, есть. И что с того?

— Раз ваш отчий край — Туркестан, значит, ваши праотцы и мои предки происходят от одного корня. Вы, господин Камбарбий, ведите счет не с отдельной ветки, а с корня, с общего корня дерева. Тогда вы увидите, что Узбек-хан жил лет двести назад, а наш Туркестан существовал за тыщу лет и до Узбек-хана. И имя «узбек» существовало в нашем народе задолго до Узбек-хана.

— Ну да! — не поверил Камбарбий.

— Уверяю вас, почтенный! Я вот вырос в Хорезме, читал там древние книги... которые вы так не любите... А знаете, что хорезмшах Мухаммад, ну, тот самый, что воевал против Чингисхана, назвал одного из своих сыновей Узбеком? Раз он дал своему сыну такое имя, значит, имя это было в почете еще вон когда! А что оно значит, знаете? Узбек — значит «сам себе хозяин», «независимый». Племена, возглавляемые нашим повелителем, воителем-халифом Шейбани-ханом, стали называть себя узбеками не потому, что так именовали себя Узбек-хан или еще раньше — сын хорезмшаха. Наоборот: те взяли это красивое имя у тюрок...

— Ну, хватит! Опять этот поэт гнет в сторону тюрков! — с раздражением сказал Камбарбий, обращаясь к султанам, внимательно слушавшим их спор.

— А как же иначе? Ведь сами вы сейчас признали, что ваш отчий край Туркестан. А Туркестан означает «страна тюрков».

— Не дай бог, этот поэт сделает нас еще и потомками турков Рума!

— Я этого не собираюсь делать, господин Камбарбий, господа султаны. Турки Рума... у них своя история. Тюрки же Мавераннахра задолго до появления анатолийского Рума жили в этих долинах. Если вы читали «Шахнаме»... Поэт Фирдоуси свидетельствует: тысячи лет назад земли к югу от... Хорасана уже называли Ираном, а по эту сторону от Хорасана, к северу — Турани... Наш повелитель Шейбани-хан хорошо знает историю. Наш святейший имам еще в пору обучения в медресе Бухары знал наизусть стихи Навои и Лутфи, писал газели на тюркском языке. Хотите послушать?

И простодушным султанам пришлось услышать от хитреца:

С коня разлуки я упал, а милая пришла, сочувствуя,
И Шейбани здоровым стал, ведь милая пришла, сочувствуя.

— Эти стихи нашего хана не тюркские, а узбекские! — Камбарбий никак не хотел сдаться.

— Все поэты-türки писали стихи именно на этом языке! Тюркский язык Навои и узбекский язык Шейбани-хана — один язык. Теперь и душа у нас должна стать единой, господа султаны. Вырожденцы Тимурова корня говорили: «Вон те — тюрки, а эти — узбеки» — и отделяли племя от племени, разъединяли народ. Теперь наш святейший имам, воитель-халиф, второй Искандер, снова объединит нас всех. Да осуществит свою угодную Богу цель великий хан!

Тем и кончился словесный поединок. Поэт отдалился, гордо вознеся голову.

Купайбий, глава племени кушчи, посмотрел на Камбарбия и сказал:

— Видал, каковы они, отродья сартские? Их словами не одолеешь!

— Не словами, так саблей одолеем, — тоже нарочито громко сказал Камбарбий.

Султаны дружно рассмеялись.

К вечеру, сопровождаемый пятью-шестью мюридами, прибыл из Самарканда и Ходжа Яхъя, последний, кого ждал Шейбани для задуманного.

Слезая с коня, Ходжа Яхъя излишне торопился, ноги его запутались в кожаных приводах стремян. Мюриды помогли пиру сойти на землю...

Ходжа Яхъя — белая пышная чалма, легкий, изящный сакарлот, сам весь воплощенное достоинство — приблизился к трону, на котором восседал Шейбанихан, с чуть склоненной головой. Голосом, привыкшим звонко и нараспев читать Коран, произнес веско:

— Ассалом алайкум, доблестный хан! Ворота Самарканда открыты перед вами...

Шейбани прервал, заметил иронически:

— Это вы открыли нам ворота Самарканда?

— Всякое дело свершается по воле божьей и не иначе.

— Мы осуществляем волю божью, иные по своей воле готовились отдать Самарканд Бабуру!

Все достоинство тут же слетело с пира. Он понял, что дальше обмениваться словесными колкостями опасно.

— Человек слаб, повелитель... Если мы в чем-то провинились, простите. Я пришел к вам с повинной головой...

— Пришел? Или привели?

Ходжа Яхъя прослезился.

— Отведите ходжу наверх,— приказал хан,— да усадите рядышком с его любимым мирзой.

И когда Ходжу Яхъю увели, Шейбани тут же призвал к себе муллу Абдурахима — старца лет шестидесяти, своего ближайшего советчика.

О чем говорили они наедине, никто из собранных на совет вельмож не знал. Многих султанов удивляло, что Шейбанихан не спешил войти в открытые ворота Самарканда. Почему бы не ворваться туда вихрем и не захватить вожделенный центр Мавераннахра, куда так долго и упорно стремились узбеки Шейбани?

Наверное, высокое собрание затем и созывается, чтобы принять наконец такое решение? Во всяком случае, когда через главный вход в зал вошел Шейбанихан, любопытство собравшихся достигло предела. Все вельможи повскакали со своих мест и низко поклони-

лись хану. А тот медленно поднялся на шахнишин и, скрестив ноги, спокойно замер на парчовой курпаче. Мулла Абдурахим сел справа от хана. После короткого молчания мулла Абдурахим прочел суру из Корана — во имя благоприятного хода дел, пожелал хану — воителю истинной веры — осуществления всех его ценнейших устремлений. Опять помолчали. И снова мулла нарушил молчание, перейдя наконец к сути дела:

— Великий наш имам, нынешний воитель-халиф, благословенный Шейбани-хан, помышляет не только о захвате погрязшего в нечестии города. Наш повелитель намерен покарать врагов религии, ведя нас по священным дорогам, проложенным самим пророком Мухаммадом. Если б наш повелитель был из тех, кто помышляет лишь о богатстве... Самарканду пришлось бы раскошелиться. Но великий Шейбани-хан, в мудрости второй Искандер, прежде всего думает о торжестве веры и справедливости.

— Воистину так! — негромко, но внятно подтвердил Мухаммад Салих, сидевший несколько ниже муллы Абдурахима.

— По отприскам Тимурова корня мы видим,— продолжал, не обратив внимания на поэта, мулла Абдурахим,— сколь гнусные дела могут твориться, сколь жалкая участь может постичь страну, коль скоро венценосцы предают забвению веру и справедливость. По приказу Абдул-Латифа убили Улугбека, а ведь он был родной отец Абдул-Латифа. В Герате Хусейн Байкара погубил собственного внука Мумина-мирзу. Султан Али — вот он тут сидит, рядом с нами,— хотел схватить и убить своего старшего брата, Байсункура, которому, правда, удалось спастись бегством, ну, а потом уж Байсункур поймал своего младшего... — мулла саркастически усмехнулся,— братика и хотел было выколоть ему глаза, так, знаете ли, по-родственному, да наш гость мирза улизнул, подкупив палача. Двор самарканских венценосцев стал обителью предательства, лицемерия и разврата! Коран строго запрещает мусульманам употреблять вино. А вот этот юный мирза... — вон, видите его? — посмотрите-ка хорошенъко — считает, что вправе прибыть к святому имаму, к воителю веры истинной, в состоянии, одурманенном запретным питием! Наш святой имам и раньше знал, что сей... никчемный мирза с юных лет вступил на тропу порока, теперь и вы убедились, султаны...

Кипчак Купакбий крикнул с места:

— Повесить разврата и пьяницу!

— Молодой мирана виновен, конечно, — осуждающее покачал головой Мухаммад Салих. — Но еще больше виновен его отец, Султан Махмуд. Вот уж был человек распущенный! Попирал веру. Предавался похоти с женщинами и с мальчиками. Несчастные самаркандцы боялись выпускать своих юных сыновей на улицы, прятали их, как девушек, на женской половине в домах своих...

— А я говорю: сын превзошел отца-разврата! — сказал, словно рубанул саблей, Камбарбий.

— Да что там отец, а мать, какова мать мираны?

Купакбий рисковал. Все затаили дыхание. До многих дошел слух, что Шейбани-хан намерен-де сочетаться браком с Зухрай-бегим. Хан знал, что женитьба на этой женщине нанесет ущерб его имени в глазах султанов, и не мог забыть рук бегим со вздутыми жилами. Мулла Абдурахим, посвященный в намерения хана, поспешил покончить со слухами и подхватил гневную реплику-вопрос кипчакского султана:

— Нечестием венценосцев заражаются и жены их. Мать этого мираны, кажется, на все готова ради удовлетворения своей похоти. И сына отдала в наши руки не для этого ли?

Один из султанов, облегченно вздохнув, тут же предложил:

— Такую мерзкую женщину привязать к хвосту кобылы и гнать до смерти нечестивицы!

Другой посоветовал иной вид казни:

— Запихнуть в мешок и сбросить мешок с самого высокого минарета!

Шейбани-хан молча выслушал предложения этого рода, одно страшнее другого. Наконец взглянул на муллу Абдурахима, по знаку которого среди султанов установилась тишина.

Заговорил хан — степенно, веско, убедительно. Все, слушая, замерли, точно зачарованные, особенно когда Шейбани все новыми и новыми примерами доказывал грехопадение, развращенность, вероотступничество Тимуровых потомков, разоривших некогда славное государство. Внезапно хан обернулся к Ходже Яхъе:

— Эй, пир, а духовным наставником этих развратников был ваш отец Ходжа Ахтар, «святой», как он сам о себе говорил. Венценосцы зависели от его духовной

власти. А какие богатства накопил ваш отец — все ли честным путем, а, пир? Нам известно, что вам досталось в наследство много-много золота. Оно помогает вам вот уже одиннадцать лет держать в руках Самарканд. Рыба гниет с головы. Каков пир, таков и мюрид. Вот этот юный развратник мирза, Султан Али,— ведь он ваш мюрид, вы поручились за него перед богом, взяли его руку в свою!

Поочередно показав пальцем на Султана Али и на Ходжу Яхъю, Шейбани затем ткнул пальцем в пол:

— А там, внизу, сидит еще одна развратница, женщина... Стыд и совесть забыла, явилась сюда за мужем себе... Вот какой вы пир! Предали своего мюрида-мирзу, хотели отдать Самарканд Бабуре. А этот мюрид, изменив своему пиру, пришел ко мне. Ну и город: предатели да обманщики! Один тянет туда, другой сюда. Венценосец в одну сторону, духовный глава — в другую. Готовы съесть друг друга! Наш пророк Мухаммад был и духовным вождем, и государем, и полководцем. Кто не идет по пути пророка, тот, подобно этому пиру и этому мирзе, будет низвергнут в бездну!

Говоря так, Шейбани-хан имел в виду и своих строптивых приближенных, иные из них тайно роптали: «Наш хан, не довольствуясь троном, провозгласил себя имамом — верховным духовным лицом и халифом — божьим наместником». Шейбани, давно и пристально следя за делами в Мавераннахре, хорошо понял, как ослабляется государство из-за власти таких, как Ходжа Ахрап. У себя такого он не допустит, нет! Еще в пору обучения в бухарском медресе он хорошо усвоил и шариат, и тарикат, ныне же в ближайшем окружении Шейбани тем более не было человека, который лучше хана знал бы хадисы и выразительнее читал бы Коран. Что он, хан, предводитель воинства, без веры, которая сплачивает вокруг него и султанов, и простой люд разных племен? Но что он за имам, за халиф — без крепкого, послушного его воле войска? Воитель-халиф — вот какое единство нужно!

— Наши враги в Самарканде сильны, словно семиглавый дракон. Каких богатырей победил этот дракон! Но наши помыслы были чисты, намерения благочестивы. И всевышний, сам всевышний выманил дракона из логова, привел его к нам, отдал в руки, сказав: «Делай, что хочешь!» По воле аллаха ворота великого Самарканда открылись пред нами без битвы!

Приближенные хана будто только теперь уразумели, сколь большая победа одержана ими; в самом деле, Самарканд, великий Самарканд сдается без сражения, правитель и духовный вождь города сами пришли к Шейбани-хану с повинной. Всемогущ аллах, всемогущ, Шейбани-хан истинно воитель веры, излюбленный богом, потому и смог так мудро и так искусно осуществить такое трудное дело.

Мулла Абдурахим провозгласил:

— Пусть здравствует тысячу лет наш святейший имам!

Вскочили с мест и другие:

— Второму Искандеру хвала!

— Избранику божьему тысячу благодарений!

— Да живет воитель-халиф, пока стоит мир!

Поднялись и Султан Али с Ходжой Яхъей, бледные от страха, едва держались на ногах. И было им чего бояться. Стоило сейчас Шейбани-хану произнести слово, и его сподвижники растерзали бы самарканцев в клочья.

По знаку хана славословия прекратились, снова все расселись по местам. Шейбани-хан указал на ходжу и мирзу:

— Не было бы греха убить их, перед тем причинив тысячу мук. Но мы еще раз покажем миру, какой должна быть сила у тех, кто идет за веру и справедливость,— эта сила милостивая. Кровь пришельцев не прольется, им даруется жизнь!

И мирза, и ходжа, уже потерявшие надежду на жизнь, согнулись в раболепных поклонах. Ни надменности Султана Али, ни достоинства Ходжи Яхъи! Последний даже прослезился:

— О повелитель, да умножит бог лета вашей жизни!..

— Обожди! — возвысил голос хан.— Ходжа Яхъя, корыстолюбец, что забыл о благочестии! Дабы очистить свою душу, тебе надлежит совершить хадж... Пусть возьмет нужные вещи и отправляется с двумя своими сыновьями. Купакбий, проследи, чтоб не позже завтрашнего утра!

— Да будет исполнено, повелитель!

— Ну, а этот юный мирза,— продолжал Шейбани-хан, глядя на Султана Али,— пожелал назваться нашим сыном. Ладно, вернуть на путь истины забывшего заповеди истинной веры — благое дело. Тимур-хан, допусти его в круг своих людей.

Ладно скроенный сын хана бросил на Султана Али взгляд, выражавший отвращение, но слово отца — закон. Султан Тимур поклонился отцу.

— Будет хорош — наград у достоится,— прибавил Шейбани,— будет плох — головы лишится.

Кому надлежало догадаться, догадался, что Султан Али недолго задержится в числе живых.

Теперь надо было решать судьбу Зухры-бегим, защерпой внизу.

До Шейбани-хана давно доходили слухи о красоте Зухры-бегим, одно время он думал взять ее за себя как гунчачи — жену на время, это допускалось обычаем. Конечно, в письме, которое он сдобрил несколькими зарифмованными строчками, про гунчачи не было ни слова: пусть тщеславная самаркандка вдова думает, что она и впрямь будет владычицей его сердца и его действий. Правда, разочарование, им испытанное сегодня, было не единственным чувством в душе: некое подобие угрызения совести царапало ханскую душу, ведь своими стихами, своим письмом он ввел бегим в заблуждение, проще сказать, обманул, надул. Ему важно было, что султаны с отвращением говорили о Зухре-бегим на совете, словно убеждая своего хана в развращенности, бесчестности бегим. Совесть успокаивалась. «Сама Зухра-бегим оказалась скверной женщиной,— значит, достойна обмана,— думал хан.— Конечно, я не дам султанам казнить ее, нет. Но единенье с султанами мне дороже любой, даже настоящей красавицы. Ее намерением было выйти замуж. Так я сдержу свое слово, найду ей мужа».

Взгляд Шейбани остановился на толстом ряболицем человеке, что сидел далеко от почетных, близких к хану, мест. Мансур-бахши — вот султан для Зухры-бегим. Султан захудалый, но кроме воинских дел занимался он и лечебным шаманством. Умел, значит, громоподобно стучать в бубен, изгонять из тела больного злых духов, пугать их всяческим сквернословием, за что и прозвали его «пугателем». Еще был прославлен сей султан необычным неистовством своей мужской плоти, чего не могла вытерпеть ни одна его жена,— через год-два жены его или сбегали, или помирали.

— Мансур-бахши, вам опять не везет с женой, правда? — спросил Шейбани султана-пугателя.— Бегим, что сидит внизу, прибыла, вы видели, в наряде невесты. Не выдать ли нам ее за вас?

Пугатель вскочил с коврика и, расплывшись в улыбке до ушей, низко поклонился хану:

— О повелитель, радетель мой, жизнь готов отдать за вас: готов, готов жениться!

Раздался дружный хохот. Все султаны были довольны тем, что Шейбани-хан и этот узелок развязал искусно.

— Святой наш имам поступил мудро, ах, как мудро... Ох, и сожмет же Мансур-пугатель в своих объятьях Зухру-бесстыдницу...

— Подходят друг другу, подходят...

Шейбани заговорил, и тут же смех и возгласы прекратились:

— Свадьбу справим в Самарканде. Войдем туда, соблюдая порядок...

Хан не раз бывал в Самарканде, хорошо знал город, заблаговременно подумал, как войдут его отряды в столицу и как разместятся там. Военачальники получили точные указания, подняли войско, и пять тысяч нукеров Шейбани-шаха быстро начали проходить через ворота Чорраха. В это же самое время через другие ворота, Сухангарон, с противоположной Чорраху стороны, бежали сотни людей. Бабур находился в Шахрисябзе. Его сторонники спешили в Шахрисябз.

Ушли не все. Воины Шейбани-хана на конях, быстрых как вихрь, настигли многих, пограбили всласть, а кто сопротивлялся — того тут же на месте убивали.

Особенно усилился грабеж ночью. Пожалуй, один только богатый дом Ходжи Яхъи был в безопасности: всю ночь его охраняли воины Купакбия. Охрана во главе с самим кипчакским султаном следила за тем, как Ходжа Яхъя при помощи двух сыновей и доверенных слуг извлекает из разных мест во дворе и в доме сундуки с золотом, собирает и укладывает вещи. Утром слуги нагрузили целых пять крытых арб да с десяток верблюдов. Три жены ходжи взгромоздились на груженые арбы; слуги повели верблюдов в поводу; телохранители вместе с Ходжой Яхъей и его сыновьями составили конную группу,— и вот, после печального прощания с Самарканом, некогда могущественный пир направился на юг. Путь Ходжи Яхъи лежал через горы. Дальше узкого горного ущелья караван не ушел. В вечерних сумерках, перед временем почлега на берегу реки, Купакбий перебил всех «паломников» до единого.

го — и пира, и сыновей его, и телохранителей. Лишь женщин и слуг, вместе с другой добычей, распределил между своими десятниками и нукерами. Половину на-грабленных богатств Купақбий в ту же ночь отвез в казну хану, который и приказал убить Ходжу Яхъю вдали от людских глаз. Узнав об убийстве, Султан Али понял, что его ждет та же самая участь. Он решил во что бы то ни стало бежать. Однажды под покровом густого осеннего тумана ему с двумя телохранителями удалось выскользнуть незамеченным из восточных ворот самарканской крепости. На быстром коне поскакал он в сторону Пянджикента. Но и он не успел уйти далеко: на берегу речки Сияб, что протекала в десяти верстах к востоку от Самарканда, беглеца настиг Тимур. Голову «никчемного» показали воителю-халифу.

Зухра-бегим уже вкусила первых побоев в замужестве за Мансуром-бахши, когда привезли к ней труп сына без головы. Она закричала истошно, порвала платья, била себя кулаками по голове, исцарапала в кровь лицо.

Победители смотрели и веселились, ведь ничто так не веселит их, как зрелище мук поверженного врага.

5

Под осенним ветром воды текут, увлекая за собой покрывало из палых листьев.

Несколько сот вооруженных всадников переправились через усыпанный листвой, словно пожелтевший Зерафшан в тридцати верстах к юго-востоку от Самарканда. Спешили они к Сиябу; ехали быстро, но осторожно и по возможности бесшумно. Кишлаков стремились избежать или проскочить через них понезаметней. Дехкане, на которых они все же натыкались, норовили и сами скорее скрыться: всадников принимали за воинов Шейбани-хана, а они уже успели нагнать страха на всю округу.

Но, судя по всему, сами эти всадники сильно опасались войска Шейбани. Когда в темноте переправлялись через Сияб, несколько лошадей увязло в болотистой почве. Нукеры негромко понукали их, пытались вытащить на место потверже, и — увязали сами. Камышовые тростники царапали руки и лица. Один из нукеров,

не выдержав, громко выругался. Тут же властный голос одернул его:

— Что раскричался? Иль беду на нас хочешь накликать?

Голос принадлежал Бабуре. Нукер взмолился:

— Помилуйте, повелитель, — никак не сдвину поганца!

Над Сиябом, собирающим воды из теплых родников, в холодную ночь стоял пар. Из-за сумерек, из-за испарений не различить было трясины от тверди, Бабур не мог медлить, произнес решительно:

— Хватит, придется коней оставить здесь!

Касымбек поддержал:

— Тем, кто остался без коней, уступлю из своих, запасных.

— Сколько коней и верблюдов пали на перевалах, мой же их всех одолел. Теперь ему погибнуть тут? — горестно сказал Тахир (он был одним из нукеров в этом небольшом отряде).

— Сейчас жизни наши висят на волоске! — ответил Бабур.

Тахир сел на коня, из тех, что шли в поводу у оружносца Касымбека. Двум другим нукерам посчастливилось сесть на Бабуровых сменных иноходцев.

Жалеть коней больше не приходилось! Самаркандинцы рядом. Надо приблизиться к нему как можно быстрее и незаметней. Выдать себя людям Шейбани-хана — поднимется тревога, встанет все вражеское войско, против которого им пока не устоять.

Все лето ездил Бабур по горам, прошел походом от Шахрисябза до Гиссара, оттуда до зерафшанских истоков — берегов Фандары. Самаркандинские беки со своими нукерами ушли к Хисров-шаху — правителю Гиссара. Множество тех, кто пришел с Бабуром из Андижана, вернулись в Ферганскую долину, не выдержав быстрых и, казалось, не сулящих успеха переходов с места на место. Тайные осведомители, надо думать, сообщили Шейбани-хану о том, что войско Бабура тает. Хан уверился, что Бабур (сколько там у него осталось нукеров, с тысячу?) не выдержит мытарств в горах и вернется в Андижан. Или станет искать покровительства у своего дяди Олача-хана, который был правителем где-то далеко, за Иссык-Кулем. Уж во всяком случае, не нападет же Бабур на него, чье войско сейчас в пять раз больше и может быстро вырасти и намного по сравнению с име-

ющимся? Шейбани оставил кормиться в разоренном Самарканде человек пятьсот, сам же с основной частью войска разбил лагерь чуть западнее города в местечке Ходжа Дийдар.

Бабур решился на опасный, рискованный шаг: напасть на Самарканд, захватить его под носом у Шейбани-хана, пока тот ничего не подозревает. Сделать это нужно стремительно. Если соглядатаи Шейбани-хана оповестят своего хозяина, и хан подпустит Бабура, с нескользкими его слабыми сотнями, к самому городу, а потом ударит всей силой. Да и в самом городе воинов больше, чем у Бабура. И уж конечно, попади Бабур в руки Шейбани-хана, ему не жить! Воитель-халиф, жаждавший стать родоначальником новой династии в Мавераннахре, поклялся уничтожить потомков Тимура беспощадно. Бабур знал это. Решил биться насмерть, ни в коем случае живым в руки хана не попасть...

В темноте его отряд преодолел множество арыков, ручьев, залитых водой оврагов. Через безлюдные в эту осеннюю пору сады вышел к мосту Пули Магах. Это уже совсем рядом с городом. Сюда два дня назад были отправлены верные нукеры, которые загодя смастерили высокие лестницы для преодоления самарканских стен. Теперь человек восемьдесят нукеров сошли с коней и, прихватив с собой лестницы, тихо пошли пешком к высокому крутыму обрыву. Остальные нукеры и сам Бабур крадучись приблизились к Ферузским городским воротам, затаились в тени деревьев и холма напротив их.

Вокруг — ни звука. Вот только вдруг издали голос подали первые петухи. Небо прижало темные ночные облака прямо к городским стенам, что смутно угадывались, уходили куда-то вверх.

Касымбек — он стоял, как всегда, рядом с Бабуром — дышал учащенно. Ощутил дрожь в теле и сам Бабур.

Стены Самарканда! Четыре месяца назад под покровом такой же ночи Бабур подступил к ним, ожидая, когда Ходжа Яхъя откроет ворота. Их обнаружили, обстреляли; под стоны своих раненых, под издевательские выкрики врагов пришлось тогда уйти. Обман, коварство, засады, нападения из-за угла... Смерть, смерть своих и чужих... И в этом вся его жизнь воина, политика, решившего объединить Мавераннахр.

Чтобы снова не попасть в ловушку и не подвести

своих сторонников в городе, Бабур никому не дал знать о своем приходе под стены Самарканда. Решил надеяться только на себя, на своих отчаянных нукеров. Их было у него сейчас — Бабур знал точно — двести сорок. А там, за стенами,— пятьсот. И неподалеку — пять тысяч.

Кто кому поставил здесь капкан? Он Шейбани или Шейбани ему?

Сколько раз Бабуровы беки отговаривали его от этой невиданной дерзости, доказывали, что разумней всего повернуть назад.

Но отказаться от своего замысла — значит явиться в Андижан совсем прибитым; жить, покорясь воле Ахмада Танбала. Не лучше было в осеннюю сырость и зимнюю стужу кочевать по углам своего государства — нет, он не кочевник! Он предпочитает битву, в которой либо умрет, либо, сражаясь как лев, победит Шейбани-хана.

Как лев и как хитрая лисица. Она сумеет миновать капканы, застигнуть врага врасплох. На это теперь вся надежда.

Всем существом своим Бабур обратился в слух.

Ночь. Тишина. Собственное сердце бьется сильно — это перестук копыт коня его судьбы...

6

Тахир сначала не чувствовал тяжести лестницы, пока нукеры обходили древнее кладбище Чакардиза по сравнительно ровной местности. Но тяжесть стала быстро расти, заставляя спотыкаться и глухо чертыхаться, когда они, стараясь не шуметь, стали спускаться на дно глубокого оврага. С суеверной опаской миновали отверстие пещеры: сюда никто не заглядывал даже днем, а вот им пришлось... ночью... мимо пещеры... и опять вверх, цепляясь за жухлые колючки. Часть городской стены виднелась из оврага и казалась отсюда еще выше, чем была на самом деле.

Обливаясь потом, воины все же доставили лестницу под самые стены.

Нуян Кукалдаш, их предводитель, замер, давая передохнуть товарищам... Высота кирпичной стены с добрый тополь, верх стены такой широкий, что по нему — Нуян это знал — свободно ходили парами.

Что там сейчас? Кто? Вроде тихо. И ни факелов, ни фонарей. Видно, замерзшие за ночь стражники спустились вниз, в караульню.

Раз так — пора!

Джигиты осторожно подняли лестницы на дыбы, плавно приставили к краю стены.

— Ну, поднимайтесь, — шепнул Нуян Кукалаш нукерам.

Стоявшие поблизости потупились. Не шутка: стена в тридцать аршин, сорвешься — и костей твоих потом не соберут. А если стражники спохватятся? В кого полетят их камни и стрелы? Да и лестницу недолго оттолкнуть.

Нуян Кукалаш первым поставил ногу на перекладину.

— Помирать когда-нибудь все равно придется! Так будьте же джигитами!

Тахир начал подниматься по второй лестнице, она тоже была прочной, способной выдержать многих.

За первыми полезли все. Нуян Кукалаш оказался быстро наверху. Огляделся. Никого. И впрямь по широкому настилу вдоль стены мог проехать даже конный.

Тахир притаился в тени выступа-зубца. Помог влезть еще одному нукеру, шепотом спросил:

— Где топор? У тебя?

Нукер вытащил из-за пояса топор, протянул Тахиру.

— Ближе к выступам прячьтесь! — приказал Нуян.

Если бы не зубцы на стенах, людей легко можно было бы разглядеть снизу, со двора. В темноте, усиливаемой тенями больших зубцов-выступов, можно было собрать весь их маленький отряд, а потом — быстрыми перебежками — двинуться по настилам постепенно вниз, к воротам. Правда, через определенные расстояния на спуске находились караульные помещения. Когда приблизились к первому из них, кто-то изнутри, «джокая» по-кипчакски, спросил лениво:

— Э-эй, Иристай, это ты? Что задержался? Заждалась тебя...

Все замерли. Тахир, крепко сжав топорище обеими руками, ответил:

— Да, это я... Сейчас я...

Стражник, видно, не опознал голоса и тревожно переспросил:

— Ты кто?!

Нуян Кукалаш кинулся к двери, и когда она открылась и на пороге возникла фигура стражника, пустил

в дело кинжал. Предсмертный крик сраженного мог пробудить стражников внизу.

— Тахир, к воротам! К воротам — быстрее! — Нуян Кукалащ вместе с десятком воинов ринулся к следующей караульне, а Тахир, прыжками перебегая с настила на настил, миновал еще две караульни (их двери были прикрыты) и в считанные мгновенья оказался на земле, у массивных Ферузских ворот.

Охрана этих ворот была поручена Фазылу Тархану. Большинство из его ста пятидесяти нукеров разбрелось по домам. В караульнях сверху и у ворот оставалось всего около двадцати, да и те дремали. Опомниться и схватиться за оружие успели немногие: Нуян действовал стремительно. Тахир, подбежав с топором к воротам, принялся за огромный, как голова лошади, замок. Первые удары ничего не дали. А уже показались Фазыл Тархан, живший неподалеку, и его нукеры с горящими факелами в руках. Двое нукеров заметили человека, возившегося с замком, — две стрелы вонзились в доски ворот чуть выше и чуть правей головы Тахира. У ворот началась схватка. Дрались кинжалами, саблями, копьями, просто кулаками. Нуян Кукалащ превосходил проворством и уменьем, Фазыл Тархан был повержен ударом его сабли.

А Тахир между тем с остервенением бил и бил топором то по замку, то по цепям, то по кольцам, что держали цепи от моста через ров. Кольца и цепи, громыхая, сорвались на землю. А потом — наконец и замок.

За крепостной стеной был широкий ров, наполненный водой. Пока Тахир открывал ворота пошире, джигиты размотали цепи, перекинули мост.

Бабур и Касымбек с нукерами уже стояли наготове у противоположной стороны рва. Как только открылись ворота и мост лег над рвом, они с саблями наголо ворвались на конях. Оставшиеся в живых слуги и нукеры Фазыла Тархана бросились бежать. Касымбек во главе небольшого отряда погнался за ними..

Дальше события развернулись еще быстрей. Нуян Кукалащ атаковал — сзади, из города! — ворота Чорраха. Другой отряд — самого Бабура — вихрем налетел на стражу у ворот Сузангарон. Надо было овладеть всеми четырьмя воротами: не ровен час, мог нагрянуть со своим войском Шейбани-хан.

Шум битвы скоро охватил весь город. Джанвафо, градоначальник, мирно спал в роскошных покоях, отня-

тых у Ходжи Яхъи, неподалеку от ворот Шейхзаде. Разбуженный шумом и криками, он не сразу опомнился от испуга; высокив на улицу, столкнулся с остатками караула, охраняющих ворота, а теперь разбитых и преследуемых — по всему видать! — многочисленными врагами, уже занявшими город. Где враги, где свои — понять было трудно: все кричали, ругались, ругали и... бежали, спасая себя.

Градоначальник Джанвафо принял решение, не мешкая: повернул коня к воротам Шейхзаде, единственным, куда еще не успели люди Бабура. Ворота быстро открыли по его приказу, градоначальник выскочил наружу и, вместе с сотней обалделых, ничего не соображающих нукеров, помчался в лагерь хана с сообщением о многотысячном войске Бабура, взявшем Самарканд.

Самарканцы, проведшие всю ночь в страхе, не зажигая огня и тем паче не высывая носа на улицы, так и не разобрались, что же происходит в их городе. Лишь на рассвете от глашатаев и по мигом разнесшимся слухам узнали, что Бабур освободил их от чужеродного хана. Людей, недовольных Шейбани-ханом, было много. Дома ремесленников пришельцы сплошь и рядом подвергали разграблению, посевы дехкан вытаптывались табунами войска кочевников. Муллы, сторонники Ходжи Яхъи, зверски убитого вместе с двумя сыновьями в горах, подняли ремесленников и дехкан под черное знамя отмщения. И чиновники прежних правителей, те, что победой Шейбани лишились власти и привилегий, тоже возгорелись желанием отомстить. К двумстам сорока нукерам Бабура присоединились десятки тысяч. И началась расправа. Толпы людей носились по всему городу. Зрелище было страшное. Прятавшихся людей хана-халифа вытаскивали на улицы, некоторых настигали во время бегства и, пуская в ход ножи, топоры, палки и камни, убивали, убивали, убивали. Гнев праведный, народный (мстили простые люди за свои обиды и страдания десятилетней давности) смешался с буйством, с жестокостью тех, кто на время потерял возможность чинить обиды и страдания.

Уже всходило солнце, когда за крепостными стенами показалось в полном боевом порядке все войско Шейбани-хана. Мосты были подняты. Все городские ворота были заперты, надежно охранялись.

Расправа же в городе еще продолжалась...

Тахир носился по городу всю ночь. Радость одержанной победы снимала чувство усталости. Лишь иногда его остро мучил голод. Наконец он не выдержал, с разрешения Касымбека поехал в лепешечные ряды — уже сияло утро, но надежды поесть не было: на улицах и площадях еще буйствовали.

На пустынной базарной площади большая толпа, окружив нескольких нукеров хана, добивала их камнями. Четверо уже лежали бездыханные в лужах крови, другие, закрыв руками лицо, стонали. Среди них был парень лет двадцати, рубашка его висела клочьями, сам он, сплошь в кровоточащих ссадинах и ранах, стоял, раскачиваясь, на коленях, умоляя о пощаде. Врезавшись в толпу, на коне, Тахир закричал:

— Эй, народ, слушай меня! Бабур-мирза издал приказ! Тех, кто сдается, берите в плен! Не лейте лишней крови! Этот паренек тоже мусульманин!.. Люди, прекратите! И мы тоже нукеры! Разве нукеры виноваты? Виноваты их ханы!.. Прекратите, говорю! Выполните приказ Бабура-мирзы!

Тут сквозь толпу подоспели два других конных. Тахир с их помощью постепенно утихомирил толпу.

Разгоряченный, он уж и забыл, зачем прибыл сюда, хотел было увести, как пленных, трех оставшихся в живых, еле дышавших, нукеров Шейбани. Тут какой-то высокий человек закричал из толпы:

— Стой, джигит... Ты не Тахир ли?

Тахир посмотрел на этого человека. С пожелтелыми усами, высокий, жилистый, тот держал в руках увесистую дубинку. И Тахир вспомнил события трехлетней давности, когда на этой же улице он оделял лепешками голодных самарканцев.

— Мамат! Ты-то почему с дубинкой? Ты сам разве не из кипчаков?

— Э, браток, прихвостни Шейбани много худого причинили всем племенам. Жену мою, бедняжку, вот погубили!

Тахир вспомнил свой разговор с этим человеком о Робии и вновь защемило сердце. Отослав пленных со своими всадниками из бабуровской охраны, Тахир выпрыгнул из седла, отвел Мамата в сторону.

— Мамат-ага, помнишь мой наказ?

— Знал, что спросишь, браток... Окликнул-то поэто-

му... Знаешь, моя бедная жена, оказывается, слышала кое-чего... ну, о той самой девушке, о которой ты говорил. Она была из Андижана, да?

— Из Кувы.

— Ну, словом, из Андижана, из тех мест. Ее украли и привезли сюда. Потом ее купил и увез купец из Туркестана.

— А потом, а потом что?

Потом этот купец вместе с Шейбани-ханом перебрался в Самарканد.

— Вместе с той девушкой? Она жива?

— Жива!

Тахир сжал руку Мамата, спросил, задыхаясь:

— Ее зовут Робия, да, Робия?

— Моя покойная жена не знала ее имени.

— А ее саму видела? — И когда Мамат кивнул, затряс его: — Где? Где? Ну, говори же скорей!

— В доме Фазыла Тархана... Ваши его сегодня ночью... — Мамат провел дубинкой по горлу.

— Где его дом, где?

— Идем, я покажу!

Тахир вскочил на коня, посадил Мамата сзади. Мамат бросил дубинку и, держась за чекмень Тахира, стал направлять всадника по кривым улочкам и закоулкам.

«Всевышний, помоги мне, не опустоши душу! Лишь бы она оказалась жива! Умоляю тебя о том, всевышний!» Шесть лет он бесплодно искал Робию, уже уверил себя, что не суждено найти ее, начал свыкаться с этой мыслью, но вот сверкнула внезапной молнией надежда, и что ему те долгие шесть лет. Надежда радowała, но и мучила, потому что могла погаснуть столь же быстро, как молния. И мысль о такой возможности острой болью отдавалась в сердце.

— Вот этот дом! — Мамат показал на двухэтажное кирпичное здание, за которым просматривался просторный сад.

Ворота и во двор, и в сад распахнуты; вооруженные воины Бабура выносили кованые сундуки с витиеватыми украшениями, ковры ало-узорчатые, свертки, узлы, посуду. Фазыл был богатым купцом, близким Шейбани-хану человеком; его имущество велено было изъять в пользу Бабура.

Тахир у ворот соскочил с коня, забыв даже поблагодарить Мамата, не слыша обращенных к нему слов

знакомых нукеров, кинулся прямо в ичкари — во вторую, женскую, половину двора. На айване лежал окровавленный труп Фазыла Тархана, прикрытый белым саваном; с верхнего яруса дома доносились рыдания женщин: то жены Фазыла Тархана исполняли печальный обряд — плачали по убитому, а кое-кто по богатствам убитого, унесенным чужими людьми, иные же — просто от страха перед тем, что будет теперь с ними...;

Тахир заглядывал в открытые двери комнат внизу. Нигде никого. Кое-где валяются женские украшения и одежды. Сколько же было жен у этого Тархана? Если Робия попала к нему, то он, видно, и ее взял в жены? Или она была просто служанкой у него?

Тахир спрыгнул с айвана, вышел на середину двора и, глядя на верхний ярус, откуда доносился плач, закричал:

— Эй, Робия там есть?! Роби-я-а! Есть там Робия из Кувы?

Плач вдруг прекратился. Какая-то женщина в зеленом платке подбежала к перильцам верхнего айвана. Тахиру показалось, что ее глаза и брови знакомы до боли...

— Робия! Робия!

Женщина в зеленом платке, увидев Тахира, отскочила от перил, но тут же снова возникла перед его глазами. Тахир разглядел теперь и ее бархатную жилетку, и нитку жемчугов на шее. Робия, право, она! Но женщина опять отпрянула: внушительного роста нукер, усатый, обросший бородой, со шрамом на лице внушал ей страх, а голос... голос был его, Тахира. И этот голос звал и убеждал ее:

— Робия! Робия! Я же Тахир!

Женщина пронзительно закричала сверху:

— Тахир-ага!

И бросилась наконец к лестнице. Он видел, как она быстро сбегала по ступенькам, слышал, как тонко позвякивали украшения-цепочки на косах. Лицо и глаза были как у прежней Робии, но в ней, наряженной по-иному, чудилось и что-то чужое.

Робия, сбежав вниз, остановилась. Не в силах отвести глаз от Тахира, тоже замершего словно изваяние, пугливо прошептала:

— Вы привидение, да, Тахир-ага?

Робия ведь давно сочла, что Тахир, пронзенный копьем Тахир умер, в своих молитвах она просила все-

вышнего пощадить его душу. Были мгновенья, когда она в молитвах обращалась к богу: «Не увижу больше его живым, так ниспошли мне увидеть его во сне, как привидение!» Может быть, бог внял ее мольбам?

— Я жив, Робия! Шесть лет ищу тебя!

— Вы живы? — Робия подошла к Тахиру. Пощупала сукно его чекмения, саблю, дотронулась до руки. И только когда Тахир, обняв ее за плечи, прижал к себе, Робия поверила, что перед ней не привидение... — Жив! Жив! Боже мой, жив!

Тахир гладил ее плечи в атласе и говорил — нескладно и так внятно сердцу:

— Робия, жизнь моя! И ты, ты тоже жива! Я шесть лет искал тебя! Где же ты была? Шесть лет... я без тебя...

Робия вдруг вспомнила — кто она теперь. Боже! Седьмая «жена» богача купца. Резко высвободилась из рук Тахира:

— Не обнимайте меня, Тахир-ага! Я недостойна вас!

Фазыл Тархан купил ее у тех самых разбойников-воинов — кинул кошелек золота. Робия питала отвращение к этому старику. Он женился на ней где-то далеко, в туркестанском городе Ясси, и дней через десять забыл о ней, отправился по торговым делам в Бухару. А вернулся оттуда с молодой красивой женой. Бухарка и была его женой, а остальные... так... жили в гареме вдовами. И старые, и она, молодая. Приходил иногда (очень редко) к ней ночью — как к рабыне, к наложнице. Она сопротивлялась — старики уходили... но позор, позор-то как смыть ей, некогда обрученной с Тахиром, а потом — и замужней, и незамужней, не поймешь...

Робия, закрыв лицо руками, горько заплакала. Нитка жемчугов на шее, красивые серебряные украшения на ее косах, атласное платье — все это куплено на деньги купца, что правда — то правда: в рубище она не ходила.

— Робия, скажи правду, ты любила мужа? Ты поэтому плачешь?

— Меня продали ему! Насильно, насильно!.. Я ненавижу... Ненавидела его и ненавижу!

— Так почему же ты плачешь?

— Мне горько, что я не смогла остаться чистой перед вами. А я ведь не забыла... тебя, Тахирджан! Вот, бог над нами — свидетель... А этот купец... рабыней меня хотел видеть.

Тахир произнес наконец то, что мучительно ныло в душе:

— У тебя есть... ребенок от него?

Робия, продолжая плакать, покачала головой:

— Я только... считалась женой... Вдова была... и рабыня...

Боль и жалость переполнили все существо Тахира. Конечно, и раньше ему приходило в голову, что, видно, не один насильник надругался над беззащитной Робией. И все же, когда искал ее, думал: «Лишь бы найти живой!» И вот она перед ним — живая. Не прежняя девушка-цветок — человек с искалеченной судьбой, несчастная женщина без детей, без семьи, игрушка, сломанная чужой злой волей, гаремная вдова в дорогом атласе... Тяжкие раны, даже если излечены они, оставляют шрамы до конца жизни. Тахир подумал: нелегко будет изжить из ее души следы всего пережитого, да и ему — тоже будет нелегко забыть и свои поиски, и услышанное сейчас.

И все же их встреча — не только слезы, но и радость!

— Робия, хватит плакать! Возблагодарим судьбу, что остались живы. Что встретились наконец!.. Ну, пойдем!

— Куда?

— Разве ты не моя невеста?

— Но я... я... заберу свои вещи!

— Ничего не бери отсюда. Забудь о них. И обо всем, что здесь было. Второй раз не напоминай мне!

Когда Робия увидела нукеров, все еще таскавших скарб убитого купца, она сказала стеснительно:

— По улице идти... мне стыдно... без покрываала.

Тахир снял с себя чекмень. Робия накинула его на голову. Серебристый чекмень закрыл ее чуть ли не до пят. Тахир подсадил Робию на коня...

И свадьбу сыграли вскорости — время войны торопило их.

СНОВА В САМАРКАНДЕ

1

Под нежно-белым пушистым покровом — крыши, дувалы, деревья и купола Самарканда.

Бабур стоял на верхнем ярусе Бустан-сарай и смот-

рел на город. Сплетения темных ветвей деревьев на фоне чистого снега напоминали ему написанные на белой бумаге узоры насталика. Как письмо, полученное им сегодня из Герата от Алишера Навои. И опять он почувствовал, что в груди расцветают гордость и радость.

После того как Бабур лихо отнял Самарканد у Шейбани, поэты успели прославить его дерзкую отвагу, написав по сему поводу изощренные стихи-тариҳ, в которых числовые значения букв первых восьми слов в сумме своей составили точную дату одержанной победы. Поздравление от Алишера Навои лъстило Бабуру куда больше, хотя написано было прозой. Как далек Герат от Самарканда, как много знаменитых людей и важных дел, взыскивающих внимания Навои! А вот, оказывается, великий поэт знает его, Бабура, из такой дали пристально следит за ним. «На сей раз вы отвоевали Самарканд с отвагой, достойной своего имени», — писал Навои, ясно давая понять, что ему известно и про первое взятие города, и намекая на то, что Бабур недаром носит свое «левиное» имя. А может быть, в словах Навои содержался и еще один намек: ведь человеколюбие Мир Алишера известно, и вряд ли одобрял он первое взятие Самарканда Бабуром, достигнутое тяжкой семимесячной осадой, что принесла людям Самарканда столько мучений. Вот уж тогда не «левиный» это был прыжок, о нет!

Бабур прошел в глубь зала, туда, где в шкафах с резными дверцами работы искусных мастеров хранились книги. Рядом со шкафом стоял низкий столик о шести ножках, сделанный из ароматно пахнущего сандала, а на столике лежал перевязанный золотистой тесемкой свиток — это и было письмо от Навои. Бабур сел за столик на парчовую курпу и вновь принялся читать письмо. И теперь по-особенному воспринял несколько фраз, которым в первое чтение не придал большого значения. А в них Навои, узнав от одного андижанца-зодчего о поэтическом даре Бабура, тонким намеком призывал смелее пробовать силы в стихосложении — не только на ратном поле. Этот зодчий — догадался Бабур, — наверное, мавляна Фазлиддин. Видно, это он прибыл в Герат, стал входить к Навои, рассказал ему и о стихотворных забавах Бабура, и о многом другом... Бабуру захотелось теперь к уже готовому ответному своему посланию в Герат приписать стихотворение. Но, конечно, надо выбрать лучшее. А какое?

Долго перелистывал он толстую тетрадь, куда записывал свои поэтические опыты.

Может быть, подойдет газель, которую он когда-то начал — о горестях одиночества, пришедшего к нему в душу из-за того, что в ту пору предательство следовало за предательством? Заброшенной, затерянной в мире была тогда его душа. Бабур слышал, что и великому Мир Алишеру пришлось не раз и не два узнатъ, что такое измена близких,— даже ближайший друг султан Хусейн Байкара не сумел стать опорой поэта, не утолил его жажды больших и добрых деяний для людей. О, если бы Бабур смог своим стихом выразить и заветное души Навои!

Попробовать завершить газель, с той поры так и не завершенную? Но мало того что настроение у Бабура было далеким от вызываемого одиночеством (пусть Шейбани и готовился вновь отобрать город, пусть опять приходит и торчит перед Самаркандом — радость победы и признания людского еще жива в сердце Бабура), поэта отвлек от поэтического дела слуга.

- Повелитель, простите своего раба, но...
- Что? — недовольный, нахмурился Бабур.
- Ваша матушка, высокородная ханум, ждет встречи с вами.
- Да? — Бабур вскочил с места.— Прибыли?
- Прибыли. И бегим тоже.
- Удивительно и прекрасно! — воскликнул Бабур и отложил перо и бумагу.

2

Они не виделись без малого полгода. Кутлуг Нигорханум вместе с Айшой-бегим и Ханзодой ждали в Уратюбе, пока доверенные люди, посланные Бабуром, перевезли их в Самарканд.

Бабур встретил женщин в большом зале на первом ярусе. Мать обняла Бабура, и он почувствовал худобу ее тела и почти невесомость рук. У сестры же,— должно быть, оттого, что пришла с мороза,— щеки пламенели румянцем, глаза задорно сверкали: долгий путь будто и не утомил ее, она выглядела радостной и красивей прежнего. Бабиру было очень приятно, когда ладонь Ханзоды прикоснулась к его правому плечу,— так при-

нято женщие-родственнице здороваться с мужчи-
ной-родственником. Айша-бегим, не сняв с себя
теплого шерстяного платка, стояла чуть поодаль,
молча.

— Почему вы так запоздали? Несколько недель уже
vas ждем!

— Э, мой амирзода, у нас есть весьма извинительная
причина, мы не могли торопиться,— улыбаясь, загадала
загадку Ханзода и бросила многозначительный взгляд
на Айшу.

Правду сказать, не по жене больше всего соскучился
Бабур, хотя когда-то и писал, что хочет припасть к ее
коленям. Мечтательные сны юности улетучились. И все
же он не мог да и не хотел показаться невнимательным
к Айше. И приблизился к своей семнадцатилетней жене-
тростинке, подставил правое плечо под ее ладошку,
сказал:

— Добро пожаловать, бегим!

Айша подняла к мужчину плечу худенькую руку,
согнутую в остром, некрасиво-костлявом локте:

— Мой шах, поздравляю вас с победой!

Вон как возвеличила, обратилась к нему «мой
шах».

— А вас поздравляю с возвращением в родной город,
бегим.

— Благодарна... — Айша-бегим потупилась.

— Ох, и намучилась Айша-бегим в пути, бедная,—
сказала Ханзода.— Ей-то особенно тяжело теперь путе-
шествовать.

Вон что! Жена и похудела, и как-то разом потолсте-
ла. Живот распирал платье. На исхудавшем лице появи-
лись желтоватые пятна. Значит, Бабур будет отцом?
Плоду — примерно месяцев шесть.

Жена и раньше не выносила езды ни на лошади,
ни в крытой повозке: кружилась голова. Бабур пред-
ставил себе тяготы предпринятого путешествия,
особенно для нее, беременной. И впрямь — бедная
Айша!

— Теперь вы избавились от всех тягот,— сказал
он.— Для вас приготовлены удобные комнаты. Что вам
нужно будет еще, приказывайте, все мы, в Бустан-сарае,
к вашим услугам!

Ханзода-бегим улыбнулась открыто, счастливо:

— Благодарны... благодарны... Свиделись с вами, и
радость наша вознеслась до небес.

— Ваш преданный брат тоже весьма сильно стосковался по беседам с вами, бегим... А пока вы все устраиваетесь, мы велим расстелить дастархан... там, на небесах, на самом верху.— Бабур показал пальцем на потолок и засмеялся заливисто, как в детстве. И все засмеялись вслед за ним. Даже Айша.

Боже, какой радостный — этот день! Вслушиваясь в себя, в полногласный стук сердца, Бабур подумал, что это играет в нем, тонко и приятно, точно свирель, новое для него, отцовское, чувство. И Айша-бегим с желто-коричневыми пятнами на лице показалась Бабуру дорогой и родной.

Ночью, когда они, погасив лампу, легли в постель, Айша закуталась в пуховое одеяло, вытянулась и долго смотрела вверх — неподвижная и, видно, совсем уставшая. Вдруг она сказала:

— Я горжусь вами, мой повелитель.

Бабур даже вздрогнул от неожиданного совпадения того, о чем думала жена, с тем, что вспомнилось ему. Некогда он сказал ей: «Встретимся в Самарканде» — и сдержал свое слово. Жена гордилась им.

И еще ей хотелось сказать, что приятно и гордо стать вскоре матерью его ребенка. Бабур понял это, потому и спросил:

— Когда ждать... когда будем ликовать, бегим?

— Остается меньше трех месяцев... Чем ближе, тем страшнее становится.

— Ну, какие страхи, милая... Только что говорила «горжусь».

— Говорила... Если бог даст нам сына, назовем его Фахриддин¹, ладно?

Имя отца — Захириддин, и Айша-бегим, умница, предлагает имя сыну, созвучное с отцовским.

— Хорошее имя — Фахриддин. Правда. А если дочь, то Фахринисо, ладно, бегим?

Айша-бегим хотела родить сына, стать матерью наследника трона. Бабуру ответила так:

— Согласна... но я прошу у бога сына.

— Да сбудется!

Фахриддин... Фахринисо... Красивые имена. Да ниспошлет всевышний счастливую судьбу тому, кто будет носить или одно, или другое имя.

¹ Фахриддин — мужское имя, от слова «фахр» — гордость.

Беда не приходит одна, но и радость — тоже.

Удачи следовали одна за другой. После того как был отвоеван Самарканд, Ургут на востоке, Согд и Дабусия на западе вышли из подчинения Шейбани-хана, признали власть Бабура. Шейбани все готовился к будущим битвам, а осаду Самарканда снял. Отступил с главным войском. Тревожил быстрыми набегами небольших отрядов.

Сегодня поступили добрые вести из Карши и Гузара — воины Бабура прогнали правителей, поставленных Шейбани-ханом в этих городах, новые власти прислали подарки Бабуру, а еще в его распоряжение были отправлены сотни новых воинов. Беков, которые привели с собой этих новых нукеров, Бабур, в свою очередь, щедро одарил одеждой, жалованьем, богатым жильем...

Не успел продолжить Бабур вчерашнее письмо Мир Алишеру и сегодня: на широкой мраморной лестнице, ведущей в зал с книгами, его перехватила сестра.

— Мой амирзода, правда ли, что вы получили послание из Герата?

Бабур остановился:

— Правда, от великого Мир Алишера.

Ханзода-бегим выразила свою радость по этому поводу, но точно бы ждала от братишки какой-то важной для себя вести, сама была нерадостной, и взгляд ее чего-то требовал от брата. Бабур не знал еще, какая, но чувствовал, что у сестры — боль на душе. Миг он колебался, потом решительно предложил:

— Пойдемте наверх... я покажу вам гератское письмо.

Когда Ханзода-бегим, читая письмо Алишера Навои, дошла до места, где упоминалось имя зодчего из Андижана, глаза ее вдруг увлажнились.

— Почему вы прослезились, бегим? А я так хотел обрадовать мою сестренку...

— Эти слезы... от радости... Я радуюсь, что слава о моем брате распространяется все шире.

— Я тоже хотел бы порадоваться за свою дорогую сестру!

— Что ж поделать,— сестра невезучая...

— Но брат сестры — всемогущий и удачливый,—

Бабур все поворачивал и поворачивал разговор на шутливый лад, — неужто он не может помочь?

— Вы и так натерпелись из-за меня, амирзода. Если бы в тот год... если бы я тогда, в Оше, согласилась выйти замуж за Танбала, он, наверное, не превратился бы в вашего жестокого врага.

Этим душевным признанием Ханзода-бегим совсем обезоружила Бабура, он почувствовал прилив еще большей любви к сестре. Хотелось быть щедрым, дать ей счастье: в самом деле, кто, как не он, переполненный высокими чувствами и помыслами, способен осчастливить родную сестру, — более того, человека, ближе которого нет у него никого.

Вот теперь все его милые женщины: сестра, мать, жена, ждущая сына, переехали в великолепный дворец самаркандский. Сколько здесь жило венценосцев и венценосных отпрысков! И сколь редкие из них оставили после себя благодарный след в людской памяти. А чудеса, сотворенные талантом зодчих, все еще ослепительно сверкают, радуют глаза и сердца. Так, выходит, добрый зодчий нужней сотни праздных, пустых венценосцев!

— Бегим! Танбал стал моим врагом не только из-за вас... Пусть ваша совесть, дорогая сестра, будет спокойной. Змея — это змея, она остается верной своему змеиному нраву, несмотря ни на что.

— Я благодарю... тебя, Бабурджан, — голосом, ставшим похожим на голос их матери, сказала Ханзода.

— Великий Мир Алишер, ожидая от нас достойных дел, прислал нам послание, — Бабур снова впал в полу-шутливый торжественный тон. — Что ж, и мы воздвигнем дворцы, которые не померкнут в веках... чтоб Хорасан не обогнал Мавераннахр, — добавил он, улыбаясь. — Хочу пригласить сюда лучших зодчих, бегим. Ответ Мир Алишеру отправлю с умным посланником... Если тот зодчий, о котором упомянул Мир Алишер, наш андижанец мавляна Фазлиддин, посланик пригласит его в Самарканд.

Глаза Ханзоды-бегим, еще не успев высохнуть, заскрились радостью. Потом вдруг она потупилась, прошептала стеснительно:

— Вы единственная звезда моей надежды... на небе Мавераннахра, брат.

— О сестра, просите теперь всевышнего, чтоб он скорей убрал этого бешеного Шейбани-хана с нашего

пути. Да наступит быстрее и да будет крепким и долгим мир! Вот тогда мы все, передохнув, примемся за недоконченные газели и заветные медресе и дворцы. Помнишь, как мы это начали в Оше?

Еще бы! Ханзода-бегим бережно хранила чертежи мавляны, некогда полученные ею от Тахира. Неловко было признаться в этом брату. Она сказала только:

— Мой амирзода, да поможет нам бог осуществить мечты! Все наши мечты! Я буду молиться за это день и ночь!

Долго намеревался после этой беседы с сестрой просидеть Бабур за тетрадкой с набросками, записями пришедших в голову мыслей, начатыми и неоконченными стихами. Одно двустишие показалось подходящим для того, чтобы выразить нынешнее его душевное состояние:

Преданный преданность просит — и преданность обретет.
Каждый, кто муки приносит, — мучения обретет.

Не это ли стихотворение послать Алишеру Навои? Он написал еще одну строку:

Добрый — да будет счастлив, верными окружен.

Нет, это как-то слишком просто и прямо сказано (он зачеркнул написанное). Задумался. Ему хотелось выражить мысль о том, что такие редчайшие в грехном мире люди, как Навои, люди, которые для других людей делают много хорошего, заслуживают быть вознагражденными не после смерти, в памяти людской, а здесь, на земле, при жизни, больше других они должны быть счастливы, и это счастье обязаны им дать доброта и преданность окружающих. Стихи не поддавались почему-то этой мысли. «А разве в жизни так?» — спросил себя Бабур и еще раз зачеркнул свою строчку. Написал сверху нее:

Доброго пусть минуют зло, коварство, измена.

Перо вновь остановилось. Нет, не то!
Бабур закрыл тетрадку и встал из-за стола.
Долго ходил по залу.
Радостно-приподнятое настроение куда-то улетучилось.

Он даже обрадовался, когда, отвлекая от мрачных мыслей, ему доложили, что из Шахрисябза приехал Касымбек вместе с муллой Бинойи, поэтом Камалиддином Бинойи, и просит назначить время для беседы с ними обоими.

— Чего ждать? Сейчас и побеседуем,— решил Бабур и, спускаясь в приемную, стал вспоминать подробности прежней своей встречи с Бинойи.

4

Со знаменитым гератским поэтом Камалиддином Бинойи Бабур познакомился три года назад, когда занял Самарканд в первый раз. У Бинойи был экземпляр редкостной книги, переписанной лучшими каллиграфами. Прослышиав, что Бабур страстный книголюб, Бинойи вознамерился подарить ему это рукописное сокровище. Бабур же, зная, что Бинойи не имел в Самарканде ни кола ни двора, жил где попало и бедно, решил купить книгу. Он призвал книготорговцев и спросил, какова может быть ей цена. Ответ был: «Самая высокая цена — пять тысяч дирхемов».

Увы, Бабур не успел послать эти деньги Бинойи, потому что, как мы знаем, заболел, слег и чуть было не расстался с этим бренным миром.

Когда же выздоровел и собрался в Андижан, увидел у себя ту самую книгу (она называлась «Маджмуати Рашиди»¹) и вспомнил, что еще не рассчитался за нее с Бинойи. Тут же Бабур призвал казначея, тот отсчитал пять тысяч золотых дирхемов, доверенный человек понес их поэту. Однако не сразу эти деньги нашли владельца книги. Доверенный человек не сумел найти Бинойи: бездомный поэт запропастился куда-то. А Бабиру между тем надо было уже отправляться в Андижан на выручку матери и учителя. Казалось, не до поисков Бинойи было, но Бабур настоял на своем:

— Не уеду из Самарканда, пока не расквитаюсь с этим долгом!

После этого гонцы и нукеры поскакали в разные концы города, отыскали Бинойи, рассказали ему, в чем дело и почему нельзя отказываться от этих денег (поход срывался!), и вручили наконец злополучные пять тысяч дирхемов.

¹ «Маджмуати Рашиди» — «Сборник Рашида» — историческая книга.

Биной видел немало венценосцев, жадных до чужого добра. Честность шестнадцатилетнего Бабура-мирзы растрогала поэта, и он в честь такого случая написал стихотворение. Один свиток со стихотворением, переписанным умелым каллиграфом, успел вручить на память Бабуру перед его отъездом из Самарканда.

Стихотворение состояло из сорока четырех строк. Биной писал с обычными для поэзии преувеличениями:

Ты славой мира стал в своих делах,
Захириддин Бабур, о справедливый шах!

Бабур добродушно рассмеялся: подумать только — «славой мира стал»! Но и то сказать: из-за маленького добра, сделанного вовремя, может быть, весь мир, пусть на миг, предстал перед глазами бездомного поэта воплощением справедливости!..

А потом Самарканд был захвачен Шейбани-ханом.

Хан устраивает мушоир, куда приглашает и Биной. На этом состязании поэтов Биной прочитал стихотворение, которое пришлось Шейбани по душе. Он делает его придворным поэтом — и богатым! — поручает, как водится, написать историю своих побед. Мулла Биной начал писать «Шейбанинаме», да тут Самарканд снова переходит в руки Бабура. В те самые дни, когда Шейбани-хан постепенно убирает все отряды из всех туменов¹ вокруг Самарканда и отступает к Бухаре, чтоб набрать силы для новой борьбы, мулла Биной, сбежав из ханского стана, прибывает в Самарканд. Он ищет встречи с Бабуром, но Касымбек, считая поэта сторонником Шейбани-хана, не допускает его к Бабуру, отправляет в Шахрисябз. Между прочим, Бабур, не сразу услышав об этом, упрекнул недавно даже Касымбека:

— Напрасно вы так поступили. Мулла Биной — большой поэт. Раз сам пришел, надо было его допустить встретиться со мной.

Честный Касымбек объяснил:

— Ваш большой поэт, повелитель, писал хвалебные стихи о захватчике Шейбани-хане.

Бабур улыбнулся:

— А вы не знаете, оказывается, что он посвятил

¹ Тумен — здесь: район.

хвалебное стихотворение и мне... Что делать поэту, коли правители так любят хвалу?

Касымбек остался серьезным:

— Повелитель, этот человек может быть тайным соглядатаем Шейбани-хана.

Бабур, подумав, произнес:

— Нет. Он не стал в Герате соглядатаем Хусейна Байкары. И Шейбани он служил стихами... да и то короткое время.

— Но Биной жил в доме Ходжи Яхъи, ел его хлеб, а потом стал открыто служить Шейбани-хану, который расправился с Ходжой Яхъей. Даже если он и не был соглядатаем, хорошо ли так поступать?

— Согласен, нехорошо. Но мы и должны показать ему, что должно считать хорошим... Пошлите человека, уважаемый бек, пусть муллу Биной здоровым и невредимым доставят в Самарканд.

Это уже был приказ, и Касымбек сегодня выполнил его.

...Бабур спустился вниз и через особый вход вошел в приемную. Через противоположную — общую — дверь вскоре вошли Касымбек и мулла Биной.

Три года назад мулла Биной выглядел крепким и представительным. Теперь же сильно похудел и словно съежился. И чапан и чалма на нем были ветхи. Но большие глаза — как прежде — излучали самообладание и горделивость характера.

Бабур встретил поэта в середине комнаты, пригласил пройти вглубь. Посадив справа от себя Касымбека, слева Бинойи, повернулся к поэту, спросил о самочувствии. Бинойи ответил двустишием на таджикском языке:

С нив своих не собрать мне съедобного.
Невесть что я надену удобного...

Бабур почувствовал звуковую игру в этих строчках, особенно в начальных слогах «нив» и «нев», улыбнулся, понимая прозрачный намек поэта о жалкой его участии из-за службы у хана. Бабур согласно кивнул головой, приложил пальцы ко лбу, замер в молчании. О, повелитель пожелал ответить на стихи стихами: Касымбек сделал знак Бинойи — «подождите!». Вскоре Бабур отвел руку и вместе с широким ее движением в сторону произнес:

Не мешкая, тотчас свою проявили власть:
Пускай оденут вас, пускай накормят велась.

Мулла Бинойи не ожидал такого быстрого ответа, переспросил «прозой» по-таджикски (стихи Бабура были на тюркском):

— Повторите еще раз, повелитель, я хочу лучше усвоить размер стиха.

Бабур несколько изменил свой бейт:

Проявим свою власть — объявили свой приказ:
Пусть вас накормят всласть, пусть приоденут вас.

— Восхищен вашим талантом, мой повелитель! — сказал мулла Бинойи, помолчал недолго, пощипывая кончик своей бороды с проседью, ища ответа. Наконец нашел что хотел — высоко поднял глаза, выпрямился, высказался уже на тюркском:

Дар велик,— не заслуженный мной, будто с неба свалился,
Хоть и вправду — к богатству душой я вовек не стремился!

Удивился и Бабур. Не думал он, что Бинойи мастер не только персидского, но и тюркского стиха. Правда, сам Бинойи оценил себя скромно, не заслуживающим «великого дара», но это был, видимо, обычный поэтический прием. Ох, стихи, стихи, как вы умеете одновременно и скрывать красивым словом истину, и обнажать ее!

Бабур вызвал писаря и велел ему занести на бумагу сочиненные Бинойи тюркские бейты.

Мушоира между Бабуром и Бинойи произвела впечатление и на Касымбека. В тот же день он предоставил поэту приличный дом с двориком, по наказу Бабура послал ему муки, риса, овцу и теплую шубу. Мулле Бинойи, как другим важным чиновникам, положили ежемесячное — немалое — жалованье.

Не раз и не два после этой встречи беседовал с гератским поэтом Бабур у себя наверху, в «приюте уединения», и всегда за дастарханом. Сначала Бинойи думал, что рассказывать ему придется о жизни у Шейбанихана, готовился к этому — в меру ироничному, в меру упрекающему собственную слабость — рассказу. Но Бабур спрашивал совсем о другом — о Герате, о Навои, о какой-то неясной размолвке, произшедшей между дружившими прежде поэтами.

— Однажды у Алишер-бека заболели уши, — рассказывал Бинойи, — чтобы согреть их, он обмотал зеленым платком голову. Торговец шелком, прослышиав об этом, стал продавать свои зеленые платки с надписью «Как у Алишера...». Я преклоняюсь перед Навои, он великий человек, великий поэт, но рвение корыстных людышек погреть руки на имени Навои, заработать денежки, называть разные пустячные вещички «Как у Алишера» — это вот задело ващего покорного слугу за живое. Я заказал для своего осла иамеренно нелепой формы седло и тоже назвал — «Как у Алишера». И это седло тоже стало модным!. А клеветники распустили слухи: «Бинойи насмехается над Навои», и это стало причиной недоразумений между нами, поверьте, весьма горестных для меня. Я почитаю Навои безгранично! Я испытывал тоску по нему!

В беседах выяснилось, что Бинойи посвятил Мир Алишеру касыду, и когда прочитал ее Бабуру наизусть, тот не мог сдержать восхищения.

Самое большое желание Бинойи — чтобы Мир Алишер узнал эту касыду, Бабур приветливо предложил передать ее через своего посланника, который готовился поехать в Герат.

Разговоры с Бинойи вновь и вновь возвращали Бабура к мысли о собственном поэтическом послании Навои. Но, сравнивая свои строки со стихами Бинойи, которого сам Навои когда-то называл «несравненным во всех познаниях», Бабур находил, что еще не достиг того порога, с которого можно было бы идти на духовную встречу с великим гератцем, браковал одно свое стихотворение за другим, один вариант за другим. Бабур чувствовал, как то, что казалось прежде простым и понятным, становилось сложным и даже превратно толковалось молвой людской. Стихи, к которым он привык, не передавали сложности мира, а многого в нем просто не касались. Например, того, как давит на человека, высоко взнесенного судьбой и высокого в помыслах, его окружение, корыстная и суетливая, то угодливая, то коварно-неверная дворцовая толпа, среди которой ты обречен пребывать. А разве его стихи говорили о том зле, что приносят властители-временщики? Они дорываются до кормила власти и видят только себя, думают только о себе, даже приближая к себе поэтов и зодчих, думают о себе, о славе своего имени... И у Алишера Навои, и у муллы Бинойи — рассказы его становились

все горше и горестней — воистину были веские основания быть недовольными и дворцовой толпой, и сильными мира сего — властителями на время.

Благое от временщиков — скажи, о душа, кто знает?

Строка — будто стон души, да и выразилась сильно и складно. Бабура охватило волнение проницательного всепонимания. Сейчас он видит очами быстрой мысли находящегося в Герате Алишера Навои, сейчас ему есть что сказать великому поэту... Кто ждет добра от людей, пусть самых высоких, но помышляющих только о собственной корысти,— тот обманется, непременно обманется.

Мир Алишер потому приносит людям добро, что стоит неизмеримо выше льстецов, окружающих и венценосцев (все они, в общем-то, временные в этом бренном мире!), и самого Навои. Бабур захотел выразить то, что хотел,— цель жизни должна быть возвышенной, только тогда оправдана твоя жизнь!

Благое от временщиков — скажи, о душа, кто знает?

А шаха, честней льстецов, придворных льстецов, кто знает?

Служи не себе,— добру, будь выше толпы корыстной,

Служить кто добру готов — в себе Человека узнает!

...Так он закончил в одну из ночей стихи и письмо к Навои. Через два дня особый посланец отправился с письмом и дорогими подарками из Самарканда в Герат. Бабур надеялся, что ответ от Навои получит до окончания зимы. Но когда появились первые подснежники, из Герата, вместо ожидаемого ответа, прибыло горестное известие: в лютую зимнюю пору Алишер Навои скончался. Посланец еще ехал к нему, а поэта уже не было на этом свете. Сколько лет Бабур жил надеждой, что великий Навои будет его наставником! Судьба лишила его этой надежды...

А на пороге уже встала новая война с Шейбани.

Копыто раздавило бутончик тюльпана, который собрался было поднять головку от земли и раскрыться.

Шейбани-хан взметнулся на вершину холма, застыл в седле, глядя, как разворачивались в долине внизу его конные лавы.

Было на что полюбоваться, хотя еще недавно...

Крепость Дабусия, знаменитейшая между Самаркандом и Бухарой, под голубым весенним небом кажется сейчас хану величественной рукотворной горой. А прошлогодней поздней осенью, когда эта крепость перешла к Бабуру, Шейбани-хану было не до красивых образных сравнений. Он очутился в тяжелом положении — в его руках оставалась одна Бухара. И степи, конечно. Бескрайние, но не бесконечные людьми, новыми воинами. Иные султаны уже говорили: «Пока, мол, не поздно, вернемся в туркестанские степи!» Шейбани не поддался: он верил в свою звезду и в свою степь. А еще он знал — из Самарканда тайные люди доносили ему: Бабур, увлеченный беседами с поэтами и учеными, не слишком усердно готовился к новым битвам. К тому же в городе, что столько раз в последние годы переходил из рук в руки, городе, разоренном и разграбленном, к весне начался мор и близок голод.

Шейбани настойчиво собирал и обучал войска. И когда внезапно выступил из Бухары под Дабусию, его воины были готовы штурмовать крепость. Они лезли наверх, осыпаемые стрелами и камнями, заливаемые горящим маслом, лезли, невзирая на потери. А когда натиск несколько ослабел и нукеры дрогнули, хан бросил новые отряды отборных нукеров, которых повели его родной брат Махмуд и любимый сын Тимур. Воины увидели, что хан не жалеет ни брата, ни сына, и возобновили штурм с еще большей яростью. Мертвые падали вниз, будто осыпался тутовник, освобождали ступеньки штурмовых лестниц для живых, — и вот пошла рукопашная на крепостных стенах, беспощадная рукопашная, в которой убитые помогали нападающим — их тела заваливали проемы между зубцами, и было все труднее защитникам стрелять вниз.

Войско Шейбани-хана намного превосходило числом и силой гарнизон крепости. Дабусия была взята, все оставшиеся в живых защитники крепости по приказу хана казнены.

Гонец, посланный из Дабусии к Бабуру за помощью, примчался, когда Шейбани-хан уже праздновал победу. Первую победу после длинного ряда осенних и зимних поражений, — такая победа всегда окрыляет. Теперь Шейбани-хан сделал Дабусию своей опорой и здесь готовил прыжок на Самарканд...

Конные скачки внизу — не для развлечения хана.

Это тяжкое ратное обучение. Скоро в решающей битве с Бабуром Шейбани-хану понадобятся самые быстрые и самые выносливые воины и кони.

Вчера из Самарканда в одежде дервиша явился лазутчик и сообщил, что жена Бабура родила дочь. Девочку назвали Фахринисо.

Шейбани-хан, и восторженно, и придиরчиво следя за своими беркутами-всадниками, думал про себя: «Загордился Бабур. Ну что ж, пусть упивается своей осенней победой, пусть пишет стихи, пусть Фахринисо будет Фахринисо! Меж тем мои беркуты учатся летать и когтить врага. Любой испустит дух в их когтях!»

Ни к одному сражению Шейбани-хан еще не готовился так одержимо. Одолеть Бабура не легко. Из молодых — да ранний. Удачлив, удал, смел. Умно повел свое дело: большинство городов и селений Мавераннахра склонны поддержать его. Беки... ну, беки есть беки. Продажны и боятся того, кто в сей миг сильней. Большинство беков Султана Али в прошлом году присоединились к нему, Шейбани-хану, а после того, как Бабур взял Самарканд (лихо, лихо, ничего не скажешь!), перебежали к Бабуру, чье войско сейчас тоже увеличивается с каждым днем. Даже Ахмад Танбал послал своего младшего брата Султана Халила с двумя сотнями нукеров в распоряжение Бабура: побаивается того, кому клялся в «вечной» верности. Если и дальше так пойдет, Бабура не победить... Ну, да весна — не лето. И осень прошлогодняя не повторится. Надо упредить усиление Бабура, опередить его!..

И вот Шейбани-хан, оставив в Бухаре и Дабусии гарнизоны и верных управляющих, быстро двинулся к Самарканду. Не таясь. Мало того, послав предварительно письмо Бабиру, в котором, играя на рыцарских струнах молодого полководца, вызывал на «честное» сражение в открытом поле. «Отважные,— писал хан,— испытывают друг друга там, в поле, отсиживаться взаперти в крепости может и мальчишка!»

Бабур вышел из Самарканда, пошел навстречу воинству Шейбани-хана, но на расстоянии одного таша остановился в Сарипуле, стал лагерем вблизи реки Зерафшан, окопался глубоким рвом, из балок и ветвей воздвиг стены, не пробиваемые стрелами.

Нет, он не собирался еще вступать в бой, намереваясь подождать подхода новых сил, в том числе и тех, что собрались выйти в тыл армии Шейбани-хана.

Из далекого Туркестана больше не ожидалось прибытия новых отрядов. И о том, что к Бабуру должны прибыть подкрепления, Шейбани знал. Тайное донесение из Шахрисябза, которое повергло хана в смятение, утверждало, например, что Баки Тархан собрал там две тысячи нукеров, добирает еще тысячу и намеревается вскорости идти на помощь Бабуру.

Ускорить сражение, во что бы то ни стало ускорить сражение, — Шейбани днем и ночью думал, как же этого добиться.

Под оглушительный шум барабанов и боевых труб посыпались стрелы, не причинявшие, правда, особого вреда бабуровским воинам. Конница хана не могла переправиться через ров, да и не в том была ее цель. Нукеры устроили страшный переполох, оскорбительные их выкрики слились в сплошной гул:

- Что попятались? Не хотите сразиться открыто?
- Трусы! Трусы!
- А Бабур дрожит, не хочет показываться нашему хану!
- Эй, кто не боится, пусть высунет нос!

Шейбани-хан знал, что в ночной тьме подобный кавардак сильно действует на сознание людей. Сотни, тысячи всадников носятся вокруг укреплений, топот копыт, дикие крики сотрясают землю, горящие стрелы впиваются в сооружения из ветвей и стволов — и маленько пламя в такой кутерьме покажется большим пожаром. А тут и в самом деле вспыхнуло сухое сено, заготовленное впрок для конной стражи Бабура, задымился войлок юрт, расположенных неподалеку от рвов.

Эта лихая ночная атака хоть и была отбита, подняла дух у нападающих, а не обороняющихся. Главное же — то был сигнал звездочету: действуй, потопливайся.

Касымбек уговаривал Бабура еще и еще раз подождать подкреплений из Шахрисябза. Но Бабур уже не захотел его слушать. Расположение звезд обещало ему, только ему быструю победу.

— Посмотрите на эти восемь звезд, повелитель! — таинственно понижая голос, внушал Бабуру Шахабиддин. — Редчайшее явление: все восемь в один ряд! Это божеский знак благоприятствования! Звезды обещают победу вам! Только вам!.. Нельзя медлить. Пройдет два-три дня, иные из этих восьми звезд уйдут на другую

сторону небосвода, туда, где находится ваш противник...

В ту же ночь Бабур собрал своих военачальников и приказал им готовиться к немедленной битве...

Помог звездочет, мавляна Шахабиддин. Раньше этот известный самаркандский предсказатель служил Шейбани. Потом хан, узнав, с каким доверием Бабур принял поэта-беглеца Бинойи, устроил « побег » из своего лагеря звездочету. Его поколотили кренко, до крови, разорвали на нем одеялды: Бабур отличался доверием и состраданием, об этом знали хорошо. Так и получилось, что лазутчик Шейбани-хана был принят Бабуром в число близких своих придворных. В звездные ночи они вместе взирают на свод небесный, и уж там-то мавляна Шахабиддин дает волю языку, предсказывая Бабуру блестящую победу.

Через связного дервиша хан передал звездочету повеление: склонить Бабура вступить в битву непременно на этой неделе. И получил ответ утром: да исполнится воля могущественного халифа, но при условии, что в одну из ближайших ночей произойдет нападение ханских отрядов — так, чтобы раздразнить самолюбие молодого полководца.

Ночи стояли темные, безлунные.

И вот однажды в такую ночь конные лавины на бешеном скаку ринулись к лагерю Бабура.

Шейбани-хан не спал всю ту шумливую ночь, лишь близко к рассвету на часок смежил глаза. А когда рассвело, он снова был на коне, снова все видели его белый шатер, возвышающийся над местностью. Оттуда хорошо просматривался лагерь Бабура и дороги к нему. Незадолго до противостояния по одной из них в лагерь Бабура пришел — слава аллаху, не войско из Шахрисябза! — отряд моголов, человек триста—четыреста, посланный из Ташкента Махмуд-ханом для поддержки илемянника. Этих Шейбани-хан не опасался; ему было известно, что моголы не очень ладят с самаркандцами, да и между собой эти сотни, набранные из разных мест, не были в согласии.

Шейбани-хан напрягал все свои способности, весь свой опыт, денно и нощно готовясь к битве. В дневное время тщательно присматривался к каждому холму, к каждой впадине на будущем поле брани, принимал в расчет то, с какой стороны будет светить солнце, в каких направлениях дуют ветры.

И когда Шейбани-хан увидел, что Бабур выстраивает войско, разворачивает знамена с изображением полумесяца, он был готов к битве полностью.

На любимом пегом мерине Шейбани-хан начал объезжать ряды своих воинов.

— Беркуты мои! — голос его звенел, словно клипок. — Для нас с вами нет иной опоры, кроме бога. Край отцов наших далек; если враг одолеет, нам не добраться туда. Мы должны одолеть врага! Велика моя надежда на всевышнего! Мы — его воинство... Сновидение сегодня предсказало мне — победа суждена нам!

— Иш-а-алла! Все во власти аллаха! — как одна, выдохнули сотни глоток.

Перед своими воинами Шейбани-хан, как мог торжественно и убежденно, прочитал наизусть небольшую суру Корана. Ясным и одновременно завораживающим голосом — голосом настоящего имама — произнес в заключение:

— Велик аллах! Омин!

— Аллах акар! — воскликнули, потрясая небеса, тысячи голосов.

И войско, взбудораженное проповедью воителя-халифа, его пророчеством, согласно и мощно двинулось на врага. Оно действовало как единое тело, оно напоминало лук, напряженный одной натянутой тетивой с иrogibom вперед.

Река была слева. Шейбани-хан, чуть склонивая общее движение, двинул правую сторону войска быстрее, чем левую. Тут поле шло под уклон, и ветер дул воинам в спину. Быстрее, быстрее, конница может пойти еще быстрее! Охватный прием — «тулгама», — который собирался применить Шейбани, требовал очень быстрых действий. На правом крыле были заблаговременно поставлены кони-молнии, самые лихие наездники.

Бабур видел, как выгнулась левая половина «лука» противника (правая для Шейбани), и, чтобы столкнуться с противником лицом к лицу, развернул свое правое крыло, выдвинув его вперед, — таким образом, его войско стало к реке спиной.

Отряды хана приближались. Их предводитель с отборными нукерами-телохранителями и знаменосцем оставался на холме. И на таком же холме верстах в трех стоял Бабур. За ним в лучах утреннего солнца сверкал Зерафшан.

У Шейбани-хана было больше конницы. В войске Бабура было много пехоты, вооруженной высокими щитами, длинными копьями и алебардами на длинных древках. Пробить стену из таких щитов, копий и алебард коннице на скаку не просто. Но у конных преимущества в скорости. Тулгама — значит охватить с флангов, успеть жарко дышащим смертоносным клином, острой стрелой, спущенной с тетивы распрымившегося лука, ударить по менее, чем центр, защищенным местам в строе противника.

Когда до пехоты Бабура осталось с версту, Махмуд Султан, Джанибек Султан и Тимур Султан, выполняя приказ хана, неожиданно повернули своих всадников вправо, еще вправо, обтекая центр и левое крыло Бабурова войска. Опытные Хамза Султан и Махди Султан — левая половина «лука» Шейбани — сделали, чуть замедленнее, то же самое со своей стороны: не тронули центра, обогнув конницей левый фланг противника, устремились в тыл.

Бабур поставил самую сильную часть своих отрядов в центр, но теперь он вынужден был часть из них лихорадочно-быстро перебрасывать на левый и правый фланги. В тулгаме есть и слабое место: половинки «лука» могли разойтись друг от друга слишком далеко, в центре «лука» мог переломиться; стремительный бросок вперед, сломать центр, и вот уже нет «лука», а есть две отдельные половинки. Вперед! Воины Бабура ударили по ослабленному центру Шейбани. Все теперь решала быстрота действий!

Хан опередил! Конница Бабура не смогла перерезать пути врагу ни справа, ни слева. Махмуду Султану удалось проскочить в тыл Бабуру. Всадники Хамзы Султана обошли его фланги и соединились с всадниками Махмуда Султана. Войско Бабура от неожиданных ударов сзади смешалось. Пехоту, поставленную в центре, стали с тылу давить свои же конные отряды, теснимые стремительной вражеской конницей.

Бабур собрал в кулак лучшие сотни из своей собственной конницы. Будто язык пламени вырвалась она из хаоса битвы и, пробив слабый центр степняков, устремилась прямо к той возвышенности, где стоял Шейбани-хан. Натиск этих сотен был всесокрушающим. Отряд нункеров Купакбия бросился вслед, но завяз в сече,— пока Купакбий подоспел бы, «кулак» Бабура мог разгромить окружение Шейбани-хана. На его холме взметну-

лась тревога. Мулла Абдурахим, будто в ознобе держась за гриву своей довольно смиренной кобылы, взмолился:

— Повелитель, святой наш имам, надо отступить в безопасное место! Как бы не было поздно...

Лицо Шейбани побледнело, будто у мертвеца. Он сам хотел бы уйти в безопасное место, но на этом холме — его знамена. Если он опустится за холм, войско не увидит ни халифа, ни его знамени. Поднимется паника — предвестница поражения.

Шейбани закричал:

— Умрем, но не отступим!

Своим отборным нукерам (сотня личной охраны халифа!) безжалостно приказал:

— Выходите все! Задержите вон тех, умрите, но задержите!

И последняя опора хана, сотня, которая в случае поражения должна была заслонить, спасти его во что бы то ни стало, ринулась в смертельную контратаку. Мало осталось из них в живых, но натиск бабуровского «кулака» был ослаблен, задержан, а тем временем подоспел Купакбий, его четыре сотни всадников окружили воинов Бабура. Но десяток-другой самых лихих джигитов Бабура сумели вырваться из кольца Купакбия и кинулись по прежнему направлению — к холму, где находился Шейбани. Часть свиты хана шарахнулась назад, под уклон. Сам хан остался на месте и выстрелил из лука, и, хотя стрела его никого не задела, нукеры Купакбия издали вопль восторга, догнали бабуровских всадников и перебили всех до одного человека.

А там, в хаосе основной сечи, тулгама приносила свои плоды. Пехота уже не могла выполнять приказов Бабура. Моголы, недавно пришедшие из Ташкента, видя, что Бабур проигрывает сражение, бежали, прихватывая, как добычу, лошадей без хозяев. Иные могольские всадники в суматохе боя опрокидывали с седел андижанских и самаркандских нукеров, сражавшихся с ними в одном ряду, чтоб захватить их коней.

Передовые отряды Махмуда Султана приближались к возвышенности, на которой стоял Бабур.

Наконец Бабур, окруженный телохранителями, спустился с холма к реке. Шейбани видел это отступление, но не отдал приказ пробиться к Бабиру — опасался ловушки. Но это была не ловушка. Бабур пустил коня в речной поток. Несколько сотен его джигитов стали стеной на берегу, преграждая путь наступающим.

Шейбани-хан простер руки к небу:

— Благодарен тебе, всевышний, благодарен!

И, стряхнув оцепенение, напавшее на него при виде отступающего к реке Бабура, погнал связного:

— Скачи, передай моим беркутам: тот, кто доставит мне голову Бабура, получит золота столько же, сколько весит голова!

Связной тронул коня, но Шейбани-хан остановил его:

— Нет, передай моим беркутам... Доставить Бабура!

Тот, кто сделает это, получит золота гору — в его рост! Скачи! Я хочу видеть его у своих ног — живым или мертвым.

Шейбани-хан снова простер руки к небу. Застыл так. Ощутил влагу на ресницах — слезы победы. Слегка улыбнувшись, опустил руки и заодно быстро стер слезы ладонью.

Прошел месяц саратан — самый жаркий из летних; начался месяц асад.

За городскими стенами ветви садовых деревьев отяжелены плодами, кланяются кормилице-земле. В самом городе сады и виноградники давно опустошены: среди зелени, что не успела пожелтеть, не увидишь ни спелого яблока, ни налитого сладким соком персика, ни грозди зрелого винограда. Самарканцев пять месяцев терзает голод: осада все крепче, все жестче, все беспощадней. Все городские ворота закрыты, впритык к городу — войско Шейбани-хана. Никто не может ни выйти из города, ни проникнуть в него.

На ровной площадке — плоской крыше медресе Улугбека — поставлен белый шатер Бабура. Отсюда одинаково хорошо видны и стены с воротами, и окрестности. Взгляды Бабура невольно прикованы к голодным людям, — аллах всемогущий, они пытаются ловить горлинок, вьющих гнезда под карнизами! Птицы стали настороженными: в городе, где на улицах нет хлебных крошек, остатков пищи, птицам прокормиться тоже непросто. Но птицы могут перелетать через стены. А люди? Если кому-то удается поймать собаку или кошку, то возникают драки: у счастливцев хотят отнять добычу.

Позади медресе находится большая конюшня. Раньше тут содержали сотни дворцовых коней. Сейчас — десять, не больше. Большой ущерб нанесла битва при Сарипуле, еще больший — голод: лошадей резали на пищу обитателям дворца. А теперь и для этих десяти коней в течение месяца не находят зерна. Траву скормили раньше. Лошадям и верблюдам давали в корм даже листья деревьев. И лыко моченое.

Бабур видит сверху, с крыши медресе Тахира, который во дворе конюшни с желтоусым Маматом занят подготовкой такого «корма». Храбрый джигит этот Тахир. В сарипульской сече он отличился и среди отборных нукеров, тех, что стали насмерть в конце битвы, дали Бабуру переправиться через Зерафшан. Бабур недавно услышал историю его женитьбы. Чтобы его жена, Робия, вновь обретенная им после стольких мятарств, не стала теперь жертвой голода, ее отдали в прислужницы к матери Бабура Кутлуг Нигор-ханум.

А Мамат тоже стал нукером Бабура. На прошлой неделе он отправился через водосток на промысел в загородные сады, чтобы за крепостными стенами поесть плодов, но попал в засаду воинов хана, выдал себя за голодного ремесленника,— пощадили, однако «в назидание» отрезали ухо. Вот уж и впрямь не знаешь, когда тебе повезет, когда нет. Другим смельчакам, участникам вылазки, нукеры Купакбия отрезали носы.

Теперь Мамат ходит, нахлобучив шапку до самых ушей. Иногда утешает себя:

— Уши хоть можно скрыть, а как скроешь, если носа нет!

Боже милостивый, какие напасти обрушил он сам, Бабур, на головы таких простых, как Мамат, самарканцев в свою семимесячную осаду! Он, Бабур, не забыл ту сумасшедшую, у которой сын опух от жмыха и умер. И теперь, как приговор судьбы-мстительницы, в душе Бабура звенят ее слова: «Да постигнет и вас такая же участь!»

Голод из хижин бедняков постепенно вполз в жилища нукеров, беков, а потом и во дворец владельца. Вот уж десять дней, как сам Бабур не видел хлеба. Мука кончилась. На золотых подносах ему приносят утром горсть сушеного винограда и чай, вечером — касу шурпы с жестким верблюжьим мясом. Роскошная золотая посуда — зачем она, если нет хлеба? Тяжело всплывают из глубины сознания обрывки горьких строк

об обманчивой необходимости золота,— но не до стихов Бабуру.

Надрываясь, заходится плачем шестимесячная Фахринисо: у Айши-бегим, вконец исхудавшей, нет молока. Нашли мать-роженицу, сделали ее кормилицей дочери — и навлекли тем самым беду. Женщина оказалась из семьи, зараженной холерой. За два дня истаяла дочка!

Бабур на руках принес трупик, запеленатый в саван, к могиле. Плакал: «Пусть холера пристанет и ко мне, чтобы избавиться сразу от всех мук!» — с этой горькой надеждой целовал холодные губы ребенка. Гордость его, дитя победы, Фахринисо погребли; всем существом своим ощутил Бабур, что это закапывают в землю кусочек его жизни и гордость прежними победами.

Чем крепче горе сжимало горло осажденного города, тем сильнее торжествовали его враги. Пять месяцев ждал Самарканд подмоги от гератского дяди Бабура — от сильного Хусейна Байкары, от ташкентского дяди — Махмуд-хана. Бабур писал им письма. Униженные письма. Все напрасно. Теперь Бабур должен надеяться только на себя. Помощи не было и не будет. Шейбанихан тоже понял это; каждой ночью грохотом барабанов, ревом карнаев он будит самаркандцев. Глашатаи хана, взобравшись на высокие насыпи перед стенами, призывают горожан переходить на сторону хана, соблазняют сытной едой. Бекам и нукерам сулят выгодные службы. И конечно, иные беки покидают Бабура, тайно перелезают через стены, проползают по трубам водостоков.

Тайно бежал однажды и глава личной охраны Бабура. Кому же теперь довериться?.. Однажды ночью Бабур призвал к себе Тахира.

— Тахирбек, на гробнице Гур-Эмир по-арабски начертано: «Пока мир не отвернулся совсем от тебя, покинь его сам». Пришла тому пора... Унесла бы меня холера, всем было бы лучше. Но меня не взяла холера...

— Храни вас бог, повелитель! Вы наша единственная надежда и опора! — Тахир похудел так сильно, что кости плеч, казалось, вот-вот порвут чекмень; шрам на лице вспух, глаза ввалились глубоко и все же сверкали!

— Опора обрушена, Тахирбек! Вчера я написал такое двустишие:

Эй, душа, коль Бабур возжелал того света,— его не суди,
Кроме мук, что осталось на свете на этом,— сама посуди?

Тахир сказал, покачав головой:

— Это — правда, мирза: в сегодняшних днях наших — одна горечь! Но в месяце ведь половина дней темные, а дни другой половины — светлые. Есть еще сила в руках, на поясах у нас мечи...

— Так что же делать?

Они посмотрели друг на друга — властелин и нукер, воин и воин. И Бабур сказал за двоих:

— Надо решаться на последнее средство... Соберем все, что можно собрать, в один кулак, выберем удобный миг, попытаемся вырваться! Если дни нашей жизни не иссякли, по воле аллаха — прорвемся, если иссякли, умрем с мечами в руках!..

— Даст бог, прорвемся, повелитель!

— Пока об этом тайном замысле знает только Касымбек. Храни тайну и ты... Готовьтесь, друзья, готовьтесь.

Ночью Тахир встретился с Касымбеком. Долго вглядывались они через бойницы в расположение огней лагеря Шейбани-хана: установили, что основные силы врага сосредоточены у ворот Феруза и Чорраха, а вот за воротами Шейхзаде огни разбросаны разреженно. Надо собирать и нукеров, и коней самых сильных, надо собирать, готовиться...

7

Не суждено Бабуру пасть с мечом в руке на груду поверженных им врагом. В разгар подготовки к прорыву к нему, в комнату уединения, вошли без предупреждения мать, бабушка, а за ними — сконфуженно, боком — Касымбек.

— Внук мой и повелитель, — Эсан Давлат-бегим в последние месяцы стала совсем согбенной, и слова ее Бабур слышал будто откуда-то снизу, — Шейбани-хан прислал человека с предложением мира!

Слово «мир» прозвучало спасением. Но Шейбани-хан — спаситель, Шейбани-хан — миротворец? Бабур с недоверием посмотрел на бабушку, затем на мать. Кутлуг Нигор-ханум выглядела заплаканной и подавленной. В руках Эсан Давлат-бегим свиток со свищающей позолоченной кистью.

— Вот послание хана, — сказала бабушка и как-то особенно взглянула на бумагу, которую держала в руке.

Почему послание хана попало к Эсан Давлат-бегим?
Бабур спросил:

— Кто доставил?
— Один почтенный дервиш. Из накшбендиев, старец, чьим духовным наставником был Ходжа Яхъя.

Бабур взглянул на мать:
— Вам доставил?
— Нет, — горестно покачала головой Кутлуг Нигорханум.

Эсан Давлат-бегим, протянув свиток Бабуру, смущенно призналась:

— Оно прислано Ханзоде-бегим.
— Совсем дивно! — Бабур взял письмо, с опаской и брезгливо осмотрел его, все еще не разворачивая свитка.

Затруднительно сказать то, что я должна сказать,— Эсан Давлат-бегим запнулась.— Но сказать надо... Шейбани-хан наслышан о красоте нашей Ханзоды. Оказывается, он страдает по ней. В его послании есть и стихотворенье об этом.

В этом году Шейбани-хану исполнилось пятьдесят лет, он давно женил сыновей, у него есть и внуки. С гневом на лице Бабур развернул свиток, и тут же взгляд его выхватил строчки:

Очарован тобой, от тоски по тебе умираю,
Страсть бушует во мне, я от страсти любовной сгораю.

Бабур швырнул послание на ковер:
— Вы забыли, как в прошлом году этот хан такими же плохими стишками прельщал Зухру-бегим, мать Султана Али-мирзы? Как можно верить посланию Шейбани?

Кутлуг Нигор-ханум тяжко вздохнула. А Эсан Давлат-бегим с видимым хладнокровием повела разговор о том, что будь другое время, так мы бы побрезговали даже и прочитать эдакое послание, но сейчас жизнь у всех висит на волоске, и что я-то, старуха, свое уже прожила, плова своего отведала вдоволь, и мне-то все равно, оставить сей бренный мир на пять дней позже или раньше, но вот вы, молодые, вы, мой повелитель, единственное дитя моего сына, свет наших очей...

Бабур возражал — то спокойно, то возбужденно-гневливо, а старуха вела свое, что негоже им, молодым, всем погибать здесь и что Ханзода-бегим умнее и добреc их всех, она все поняла, она согласилась.

Бабур закричал:

— Не верю! Моя сестра, цветок красоты и обаяния, в гареме грязного старого степняка!.. Нет, нет! Это бесчестно! Этого не будет!

Вмешался Касымбек:

— Мой повелитель, мы пойдем на прорыв и прорвемся... или погибнем. Но так или иначе Шейбани-хан возьмет Самарканд — и тогда насилию он добьется своего.

Кутлуг Нигор-ханум, до тех пор едва сдерживавшая себя, горько зарыдала в ответ на вопрошающий взгляд сына:

— Куда вы пойдете? На верную смерть?.. О аллах милосердный, чем обрекать меня на эти черные дни, отнял бы мою жизнь! Ханзода-бегим — моя первая, любимая моя, наперсница души, она утешает меня в моем вдовьем одиночестве! Как мне жить без нее, о всеышний?! Как отдаю свою дочь в когти врага?!

И долго еще говорила бабушка, и рыдала мать, и терзался сомнениями верный Касымбек.

— Ну, довольно,— сказал Бабур.— Я хочу поговорить с самой бегим!

Сгорая от нетерпения, ждал он сестру. А когда наконец она вошла, по выражению ее лица тотчас он понял: решилась на что-то серьезное...

Бабур, усадив сестру напротив себя, молча всматривался в лицо Ханзоды-бегим. Щеки ее запали. Губы завяли. Но большие глаза по-прежнему прекрасны, блестят, и видна в них отчаянная решимость.

— Сестра, вы согласились на предложение Шейбани-хана? Правду ли поведала мне наша бабушка?

— Что еще оставалось мне сделать?

— Знаю, знаю... мое поражение ввергло нас всех в безысходность. Но твой брат еще жив. Я не намерен сдаваться в плен, а смерть на роду одна у каждого, и ее не миновать... А если мы пробьемся, если останемся живы, вернемся за тобой. А коли дни мои уже сочтены, то хоть умру с мечом в руках... Тогда можете соглашаться... Тогда никто не скажет: «Вот какой оказался Бабур: чтобы сохранить свою жизнь, пожертвовал сестрой». Такому позору предпочитаю смерть!.. Не соглашайтесь, бегим!

Глаза Ханзоды-бегим потухли, заволоклись слезами. Как ни отважен Бабур, из окружения ему не вырваться — сил для этого нет, она знала. Да и сам он знал, и его

решимость — это решимость погибнуть. Вот почему он и не зовет ее присоединиться в боевых доспехах к их отряду прорыва... Она любила отважного, чистого душой брата больше жизни своей — потому и решила, отдав себя врагу, избавить его от гибели.

Но разве скажешь ему все это столь прямо, как думаешь? Узнай он, что она догадывается о его намерении погибнуть в схватке и тем снять с себя груз личной ответственности за решение, с которым не может примириться его чистая душа,— о, тогда он любыми путями помешал бы сестре отдать себя в жертву. И тогда все они обречены, а погибни он — ей останется кинжал или яд.

— Бабурджан, не обрекайте себя на безвременную гибель из-за меня. Хватит и того, что пришлось претерпеть от Ахмада Танбала! — Ханзода вытерла слезы ладонью, заговорила быстро и горячо: — Я верю в ваше великое будущее, мой амирзода. Другие не знают, я знаю, что такие редкостные таланты рождаются в мире не часто! Берегите себя! Для великих дел! Для великих стихов! Не равняйте свою судьбу с судьбой невезучей сестры!

— Зачем так говорить, сестра моя? Все мы гости... все,— Бабур запнулся,— временщики в этом неверном, изменчивом мире! А мы с вами — дети одной матери!

— Но я родилась девочкой!.. И потом — мне уже двадцать пять, а я все еще одна. С тем, кого я полюбила, жить мне не суждено. Все надежды мои раздавлены. И нет мне счастья ни в чем. До каких же пор я буду пребывать при вас старой девой, повелитель мой? Хватит, надо и мне испытать женскую долю.

— Неужто... вы считаете возможным стать женой этого деда с внуками?..

— Я отчаялась искать, Бабурджан! Стар ли, молод, какая теперь для меня разница?

— А что вы... сказали мне тогда в Оше, помните? «Верь своему сердцу!» Разве можно обмануть себя, свое сердце, Ханзода? Как оно сможет забыть все горе, что причинил нам этот жестокий и хитрый хан Шейбани? Забыть его подлость и коварство — хотя бы в истории с Зухрай-бегим?!

Ханзода-бегим заплакала навзрыд. Бабур продолжал:

— Мы рождены одной матерью. Пусть же нас постигнет одна участь! Вы знаете: мы решили ночью

пойти на прорыв. Готовьтесь пойти с нами. Может быть, мы разорвем кольцо!

Ах, как хотела бы Ханзода-бегим снова надеть мужской костюм, шлем и кольчугу полегче, и пойти вместе с братом. В самом деле, не лучше ли пашть в битве, чем тосковать в гареме старого сластолюбца? Ханзода-бегим, внезапно поддавшись этому порыву, спросила:

— Когда, когда идти?

— Сегодня ночью! — тихо и твердо ответил Бабур.

И вдруг мысль о том, что уже сегодня ночью ее брат погибнет, что прервется нить его стихов, его бесед, его любви к ней,— пронзила ее, и она закричала:

— Не сегодня! Нет, нет!

Бабур поднялся с места:

— Бегим, если вы не внимаете словам брата, подчиняйтесь приказу вашего повелителя! Пойдете с нами! А сейчас — времени достаточно — идите к себе, готовьтесь.

Ханзода-бегим поднялась с курпачи, молча приблизилась к Бабуру, приникла лицом к его груди. Так она простилась с братом.

В полночь Бабур, Касымбек, Кутлуг Нигор-ханум, Айша-бегим, Тахир с женой Робией собрались у ворот Шейхзаде. Кутлуг Нигор-ханум, Айша-бегим, еще несколько женщин сели в повозку, запряженную самыми сильными конями и поставленную в середину отряда. Ханзды-бегим не было ни на повозке, ни среди конных.

Из расспросов выяснилось, что за час до их сборов Ханзода-бегим вместе с бабушкой направились к противоположной городской стене, к воротам Чорраха. Кутлуг Нигор-ханум, без конца плача, сиплым уже голосом рассказывала, как она уговаривала дочь не делать этого, как, наоборот, бабка настаивала на том, чтобы внучка осуществила свое намерение...

Бабур обернулся к нукерам. Взглядом отыскал Тахира:

— Скачи к воротам Чорраха! Найди Ханзоду-бегим и передай ей мой приказ. Пусть немедленно прибудет сюда! Скажи, пока она не придет, мы никуда не пойдем!

— Мой повелитель... — начал было Касымбек, но Бабур, не слушая его, прикрикнул:

— Скачи скорей, Тахир!

Нукер помчался через весь город. Искры летели из-под копыт коня на каменных мостовых. Прискакав к воротам Чорраха, он увидел, что пышно убранная повозка, в которой ехала Ханзода-бегим, окруженная конными с факелами в руках, уже миновала мост, переброшенный через ров.

Многомесячная осада ввергла в усталость и войска хана. И там все с нетерпением ожидали мира, и многие знали, что мир заключен будет сразу, если сестра Бабура станет женой хана. И Шейбани знал, что на этот раз не поступит так, как поступил с Зухрай, совсем другая женщина ехала к нему в пышной повозке. Мавераннахр лучше привязать к своему коню честной женщиной и долгожданным миром, чем новыми потоками крови... К тому же, говорят, Ханзода-бегим и впрямь сказочно красива.

Шейбани распорядился, и в честь красавицы, несшей с собой мир, загрохотали барабаны и радостно заиграли трубы. Несметное воинство Шейбани торжественно встречало Ханзоду.

Тахир увидел все это сначала через открытые ворота, потом со стены. Спустился, сел на коня — и вновь через весь город, к воротам Шейхзаде.

Звуки радости из лагеря Шейбани доносились и сюда. Бабур был не то что огорчен — потрясен случившимся. На какое-то мгновенье он даже поверил в то, что, боясь остаться старой девой, истерзанная горькими неудачами брата, Ханзода-бегим направилась к Шейбани-хану добровольно. За жизнью сътой, а может быть, и радостной.

— Нет верности в этом мире! — горько и тихо сказал Бабур самому себе и, повернув коня, приказал: — Открывайте ворота!

Их открыли осторожно. В ночной темноте почти бесшумно опустили мост через ров. Конные, идущие воины и повозка посередине осторожно перешли на другую сторону рва. Кругом таилась опасность. Казалось, что за каждым деревом их стережет смерть. Но Касымбек недаром тщательно изучал расположение ханских дозоров, он вел отряд по бездорожью, часто преодолевая овраги и арыки, перенося повозку чуть ли не на руках.

Свершилось ли чудо, как говорили потом темные люди, или, вступив в тайные переговоры с Шейбани-

ханом, люди Эсан Давлат-бегим из духовной самаркандской среды заранее поставили условием, что за сестру Бабур получает возможность уйти из Самарканда, и хитрый хан отдал «тихий» приказ по дозорам препятствий Бабуру не чинить, но, так или иначе, они вышли из окружения благополучно.

Ханзода-бегим обрекла себя на горестную жизнь, чтобы спасти брата от гибели, а мать от позорного плена,— этого не знал Бабур, но Кутлуг Нигор-ханум знала. И чем пуще заливались карнаи и сурнаи, чем громче грохотали барабаны, предвещая великое пиршество, победное и свадебное одновременно, тем сильнее заливалась она горькими слезами.

ТАШКЕНТ. УРА-ТЮБЕ. ИСФАРА

1

Ташкент... Уже пятнадцать лет город этот не испытывал бедствий войны, ташкентские ворота — все двенадцать — открыты, люди могут спокойно въехать в город и выехать из него.

Осень, благодатная мирная осень... Сады по берегам арыков Бозсув и Салар омыты еще теплыми дождями. Листва на урюке и алыче перед тем, как проститься со своими ветвями, окрасилась в алое. Радуют глаз и снега на виднеющихся вдали горах Чаткала.

Изобильная плодами осень Ташкента, щедрость здешней земли, красота долин и мягкость ветров, струящихся с гор,— все это напоминало Бабуру пору юности. Шестнадцатилетним был он в этих местах впервые, испил воды из родника святого Укаша ниже Хадры, в махалле Укчи заказывал знаменитым мастерам луки, стрелы и тетивы. Тогда же совершил паломничество к гробнице своего деда, Юнус-хана, погребенного в Шайхантауре.

Далеким кажется то безоблачное время. Запыленный, до полусмерти усталый, с щемящей болью, постоянно теперь гнездившейся в душе, въехал он с сорока беками и нукерами (остальных решил оставить дожидаться его в Ура-Тюбе) в ворота Беш-Агач и через махаллю Караташ направился к дворцу дяди своего, Махмуд-хана. Не очень-то жаловал племянник дядю, а дядя племянника, но все же в прошлый приезд Бабу-

ра хан распорядился, чтобы градоначальник встретил его у самых ворот.

Сегодня Касымбек раздосадованно и встревоженно доложил, что даруги нет.

Бабур горько усмехнулся:

— На сей раз мы прибыли, лишившись всего, как нищие за милостыней, почтенный Касымбек! Не ожидайте ни особых почестей, ни просто гостеприимства.

В самом деле, и во дворце Махмуд-хана Бабура встретили весьма холодно. Его нукеров не допустили в арк. Касымбек помрачнел еще больше.

— В Самарканде мы с вами подготовились к неизбежной смерти, в ней искали избавления от тягот. Что перед теми ужасами эти мелкие уколы, обидные нашему самолюбию? Пустяки, друг мой, совершенные пустяки. Вчера по дороге я сложил бейт, послушайте-ка:

Ради призрачной власти себя не терзай,
Ради чести сомнительной — не унижай.

— Истинно так, повелитель. Сей бренный мир не стоит того, чтобы о нем горевать!

В приемной хана Бабуру пришлось обождать. Чиновник, ведавший церемониями, — толстый человек в парчовом чапане и с длинным жезлом, увенчанным золотым набалдашником, — надменно объяснил, что «державный повелитель сиятельный Махмуд-хан заняты беседой с послом воителя-халифа, сиятельного Шейбани-хана». На душе Бабура стало тревожно. Несужели оправдываются неприятные слухи, что стали ему известны, когда после потери Самарканда он месяца два прожил у своей тетки в Ура-Тюбе? Там он узнал, что Шейбани-хан отправил посла к дяде с богатыми дарами и предложением разделить Мавераннахр: Ферганскую долину он отдавал Махмуд-хану, а взамен получил бы право на Ура-Тюбе. Если такие слухи окажутся правдой, то Бабуру просто негде будет жить. Придется покинуть Мавераннахр навсегда.

А он-то лелеет надежду убедить Махмуд-хана в коварном властолюбии Шейбани, склонить его к совместной борьбе с чужеродным захватчиком!..

Наконец чиновник с набалдашником получил от хана (от дяди!) приказ пропустить Бабура в комнату, из которой, кстати, посол Шейбани так и не вышел. Бабур, войдя, сразу же и заметил его перед столиком

с шахматной доской, огромного, толстенного Джанибека Султана. Ладно скроенный мужчина с ухоженными усами и бородкой, Махмуд-хан удовлетворенно улыбался, а Джанибек сокрушенно качал головой: властитель Ташкента выиграл партию. Бабур покраснел еще сильнее. Он, племянник Махмуд-хана, проторчал в приемной. Четыре года они не виделись, он прибыл к родственнику в горе и обиде — а родственник в это время играл в шахматы с послом его врага!.. Бабур понял — да и как было не понять? — скрытый смысл происходящего. «Сиятельный» Махмуд-хан, конечно, показал послу, что «сиятельного» Шейбанихана, как победителя, он уважает больше, чем собственного племянника-неудачника.

Бабур понял все это, но взял себя в руки, сделал вид, что не заметил ничего унизительного для себя: на посла же взглянул, как на пустое место.

— Сиятельный хан и родственник мой! Я рад видеть вас во здравии — и да не поколеблет его коварство ваших врагов!

Ожидая, пока Джанибек Султан удалится, Бабур замолчал. Махмуд-хан выразил особое почтение к послу, сопроводив его до двери. Затем пригласил сесть Бабура на парчовую курпачу справа от себя.

— Добро пожаловать, мирза!.. Не горячитесь и не отдавайтесь во власть вашего угнетенного ныне состояния. Пройдут и эти печальные для вас дни. Вы еще молоды, племянник, из десяти цветов в цветнике вашей жизни не расцвел еще ни один.

— Многие цветы моего цветника, дядя, увяли, еще не успев распуститься. Одно крыло мое сгорело от пожара, учиненного Ахмадом Танбалом, второе спалил Шейбани. Да не допустит аллах, чтобы между этими двумя губительными пожарами оказались и вы!

Махмуд-хан понял эти слова по-своему:

— Верно, враждовать сразу с двумя властителями опасно. Поэтому не посла Танбала мы приняли, а посла Шейбани-хана.

— Но Шейбани опасней для вас во сто крат, чем Танбал! Танбал хищник мелкий, унес в зубах Ферганскую долину — и доволен. А добыча, которую хочет Шейбани, — это весь Мавераннахр. И не только! Он жаждет захватить Хорасан и целый Иран. Вы обратили внимание на его титул — «воитель-халиф»? «Наместник божий», а? И любит, когда его называют «вто-

рым Исакандером». Шейбани, подобно Исакандеру Зулькарнаю, замахнулся на весь мир! И на души всех мусульман — как же, халиф, духовный вождь!

На Махмуд-хана произвели впечатление и горячность племянника, и логичность его рассуждений. Но виду не подал ташкентский хан, только погрузился в раздумья будто бы... Вспомнил, что сказал ему посол Шейбани.

— Полагаем, Шейбани-хан не намерен идти походом на нас. Судя по многим данным, его взоры обращены на юг — на Гиссар, потом на Хорасан и Иран.

— Повелитель мой, дядя, ханский посол этими рассказами намерен усыпить вашу бдительность! Вспомните историю: какой завоеватель, до того как он возьмет Ташкент и Фергану, отправлялся в поход на Хорасан и Иран? Чингис? Нет! Амир Тимур? Нет! Занять Самарканд, Ташкент, Андижан, опереться на них — и только после этого прыгать на Хорасан, на Иран. Нежели Шейбани не понимает этого?

Возможность нападения Шейбани-хана на Ташкент пугала и Махмуд-хана. Поэтому он призвал к себе младшего брата, Олач-хана, который властвовал в краях за Иссык-Кулем. Пятнадцать тысяч воинов находятся сейчас в пути, через месяц, примерно, Олач-хан будет в Ташкенте. Люди Шейбани-хана, конечно, проведали об этом сговоре братьев. Потому и посол прибыл в Ташкент, хотя пойти на мировую, это ясно. А он, Махмуд-хан, тоже знает полководческие способности Шейбани и войны с ним не желает. Племянник же, Бабур, считает войну неизбежной. Почему? Не оттого ли, что Шейбани его побил и теперь Бабур хочет отомстить?

Чтобы лучше узнать намерения племянника, Махмуд-хан спросил:

— Ладно, мирза, предположим, что нападение на нас Шейбани-хана неотвратимо. Что должно делать нам?

— Все мы, кто противостоит вожделениям Шейбани, должны собраться и заключить союз! Чтоб одним кулаком его бить!

Махмуд-хан испытующе взирался на Бабура своими хитровато-カリми глазами:

— Мы и с вами должны заключить союз, да, мой мирза?

— Не только со мной. Есть у меня еще один дядя, ваш брат, Олач-хан!

— Так, я объединю с войском Олач-хана свое — будет у нас сейчас тридцать тысяч воинов. Потом объединимся с вашим войском — сколько воинов будет тогда?

С Бабуром осталось двести пятьдесят человек, и Махмуд-хан знал это. Он решил охладить воинственный пыл племянника, указать его место среди, гм, настоящих ханов.

Бабур вновь покраснел: удар дяди достиг цели. Но достоинства терять племянник не собирался.

— Повелитель! Судьба-мачеха ввергла меня в несчастье. Но вспомните: прежде чем испить яд поражения, мы испробовали и сладкий напиток победы. Поэтому я осмелился раскрыть вам душу, призвать к союзу.

— Хорошо, конечно, что вы так откровенны. А что, племянник, если представится возможность, вы схватились бы снова с Шейбани-ханом?

В вопросе Махмуд-хана была и проверка племянника, и насмешка над ним. По пословице: «Не насытится курашем только поверженный».

— У меня есть основания, чтобы снова схватиться с ним, есть,— твердо сказал Бабур.— Ну, а если иметь в виду... кураш, то, как говорится, «раз тебя повергли наземь, а в другой раз ты сам поверг!».

— Правда, правда! — с удовлетворением ответил Махмуд-хан.

И подумал: «А что, если во главе тридцатитысячного нашего войска поставить отважного Бабура, с его-то опытом войн против Шейбани вполне смогли бы мы победить». Правда, коли Бабур одолеет Шейбани, то возвеличивать будут не Махмуд-хана, а Бабура. Не будет ли тогда Бабур домогаться Ташкента? Кому же неизвестно: в чьих руках войско, у того слава, а у кого слава, тому принадлежит и власть.

Так осторожный и хитрый дядя отказался от мысли поставить племянника во главе своего войска.

— Ах, несчастная наша Ханзода-бегим... Сколь тяжки теперь ее дни! — Махмуд-хан перевел разговор на семейные дела.— А Шейбани-хан, вот ведь хитрая лиса, не правда ли, племянник? Ханзода-бегим со стороны матери — нашего рода, а по отцу — родня Тимуровым отприскам. Знал, коли честно женится на ней, много родни приобретает... Говорят, женился как положено, задал в Самарканде пышный той!

Бабур хотел объяснить, как все произошло, но Мах-

муд-хан, не расположенный всерьез принимать племянника, нанес ему второй жестокий удар.

— Постыдно получилось, позор навлечен на всех нас!

А потом, смягчая удар, стал заверять, что Бабур, и его мать, и его жена, слабая силами Айша-бегим (они приехали в Ташкент раньше), — «наши безмерно дорогие гости». Надо всем им, после пережитого, отдохнуть. И развлечься не мешает. Завтра вот в честь посла Шейбани-хана будет пиршество, поучаствуйте, дорогой племянник...

Все доводы, приведенные Бабуром, оказались тщетными. Ясно, что Махмуд-хан испытывает страх перед Шейбани, что заискивает перед ним, надеется купить себе спокойствие, соглашаясь с «воителем-халифом». Ох, ошибется дядя, жестоко ошибется!.. Спокойствие, царящее сейчас в Ташкенте, напоминает тишину перед опустошительным ураганом. Надо и отсюда увозить мать и жену. Куда вот только везти их?

2

Айша-бегим уже два месяца в Ташкенте.

Потеряв ребенка, пережив тяготы осады в Самарканде, молодая женщина совсем расхворалась. Сестра Айши, Розия Султан, любимая жена Махмуд-хана, взяла ее во дворец. Лучшие лекари ухаживали за ней, лучшими лекарствами пользовали. В конце концов поставили на ноги Айшу-бегим.

Бабур пришел поблагодарить жену хана за участие. Раньше, чем к жене, пришел со своей признательностью. В разговоре поделился намерением вскоре увезти жену в Ура-Тюбе. Розия, красиво поблескивая живыми темно-карими глазами, будто оправдывая свое прозвище «Каракуз-бегим», всплеснула руками:

— Ой, нет, мой мирза, Айша-бегим совсем измучилась. Мы не отпустим ее.

— Что же поделаешь, если и такое предписано нам судьбой, высокородная бегим?

— Извините меня, мирза, но судьба каждого начертана на его лбу.

— Однако у плывущих в одной лодке и судьба общая, разве не так?

— Хороша «одна судьба»... Моей бедной сестре

столько страданий выпало... А «одну судьбу» эту вы ей уготовили. Не хватит ли? Из голодающего Самарканда вернулась щенка щенкой. Выздоровела — и снова мытарства, за что?

Бабур пришел заранее готовый вытерпеть все уколы по самолюбию. Но этот быстрый переход свояченицы от медовой вежливости к нежданно резким попрекам, как и недавние иронические намеки хана, вывели из себя.

— Бегим, скажите прямо: вам желательно развести меня с сестрой?

— И не сказала об этом! Но... хватит, пожалуй, мучиться и вам, мирза. Живите у нас в Ташкенте! Постоянно. Спокойно.

«Живи нахлебником. Ну, и веди себя нахлебником. Знай свое место».

— Благодарю вас за предложение! Но позвольте мне самому распорядиться и собой, и женой.

Айше-бегим наедине он пожаловался:

— Говорят, хозяину лучше знать, где висеть чапа-ну. Розия Султан-бегим не больше нас самих осведомлена о нас, и было бы лучше, коли не вмешивалась бы она в нашу с вами жизнь.

— Это я поделилась с сестрой всеми горестями своими, мирза.

— Неужели у мужа и жены не бывает своих тайн?

Прежняя робость в жене исчезла. Ответила — как и Розия — неожиданно резко:

— Нечего мне скрывать от родной сестры! И не-зачем!

Бабуру припомнилось ласково-восхищенное: «О мой великий шах». Теперь жена, подобно дяде хану, вежливо-спесиво обращается к нему — «мирза». Быстро ле-тит время, быстро меняются люди.

— Значит, вам нужней сестра, а не муж? — Бабур хотел сказать что-то насмешливо-едкое. Не получилось.

— Я замужем за вами, мой мирза!

— В таком случае... я увожу вас отсюда. Готовьтесь в путь!

Айшу-бегим взорвало:

— Снова в Ура-Тюбе? Вспомню дорогу туда — меня выворачивает! Эти странствия измотали меня вконец! И вы это знаете, муж мой. Знаете, а продолжаете свое! О, если б здоровой я была в Самарканде, не истерзанной странствиями и погонями... Дочка моя, кровинка

моя не умерла бы. Сейчас ей исполнился бы годик, она бы уже топала ножками!

Горе матери неизбытно и свято. Но Айша говорила неправду. Бабур оживил воображением страшный час прощания с младенцем, холодное дыхание смерти, казалось, овеяло его лицо. Спорить? Опровергать?

— От смерти нет исцеления, бегим,— сурово сказал он.— Пока она человека настигнет, ему не раз улыбнется солнце и не раз на него обрушится горе. Мы молоды, но вдоволь испытали уже и того, и другого.— Голос его помягчел.— Мы доживем до светлых дней, бегим, вот увидите, доживем, и бог осчастливит нас и детьми... А в горькую пору тем более нельзя оставаться друг без друга. Поедем вместе, прошу...

— Я ездила с вами: отсюда — туда, оттуда — сюда, и что же? Помнили вы обо мне в это время, смотрели на меня, мой мирза? Нет! Заботы о государстве, походы, войны... Месяцами не видели меня и — не скучали. ...А я, ради вас сколько я претерпела... Может быть, я не достойна вас! Но к чему жена, которую не любят?!

Боже милостивый и всеведущий, истину сказавший, что женщины «вырастают в думах о нарядах и в бесстолковых спорах»!¹ «...Ну, да, я бывал равнодушным к своей жене. Но что ей было до моих забот? Знала ли о них она?.. Наверное, и сейчас стремлюсь увезти отсюда ее не потому, что люблю так, что не могу прожить без нее. Но приличествует ли жене жить вдали от мужа?»

Бабур привел самому себе еще один довод: нельзя, недостойно оставлять Айшу-бегим в городе, который, он уверен, в скором времени захватит его смертельный враг Шейбани.

— Судьба жестока к нам. Мы не смогли уберечь Ханзоду-бегим. Ее жертвы с избытком хватает для моей страдающей совести, жена... Я должен увезти вас подальше от приближающейся беды, от Шейбани-хана!

— Для меня самое спокойное место — Ташкент.

— Временное спокойствие, бегим! Поверьте, Шейбани готов нагрянуть и сюда!

— Под крылом сестры я никого не боюсь! Только здесь я снова ожила.

— Увы, это — правда. Но... ведь были у нас и хорошие дни! Помните?

¹ Стих из Корана.

Ничего хорошего не помнила она сейчас.

— Хорошие дни? У вас, мирза?.. Походы, опасности, лишения — вот что у вас. И еще — бессердечие ваше ко мне!

Такая несправедливость была уже оскорблением... Когда он взял Самарканд в первый раз, не она ли вышивала на мешочке с алмазами — «спасителю»? А кто после второй его победы шептал: «Я горжусь, великий шах...» Напомнить? Нет, это значит уронить свое достоинство.

— Вы все забыли, бегим?

— Нет, страдания и муки не забуду вовек!

— Только страдания и муки были у нас с вами?

— А что еще?.. Ах да, еще горькие рыдания мои, отвергнутые вами просьбы мои! Теперь я живая и благодарю в молитвах свою сестру! Хватит мне мук! Хватит унижений! Я тоже — дочь венценосца!

Дрожащими руками Бабур открыл кожаный кошельк, висевший на поясе, поискав в нем что-то, не нашел и молча вышел наружу. В помещении, отведенном для его слуг, увидел, как досторпеч вытаскивал из сундука пышные его одежды, перетряхивал, подутюживал их. Шелковые одежды, украшенные золотом, драгоценными камнями... Бабур догадался: для завтрашнего пиршства, вместе с этим жирным послом Шейбани ему предстоит завтра «пировать» и скрепя сердце выслушивать пренебрежительные намеки и обидно-несправедливые упреки, вроде тех, что позволили себе жена и свояченица.

— На завтрашнем тое,— услышал Бабур голос верного своего Касымбека,— этого степного посла, Джанибека Султана, намереваются посадить выше вас! Как они смеют, повелитель?

Э, досточтимый Касымбек! Он все еще чувствовал себя главным визирем в государстве Бабура-венценосца и как визирь считал себя вправе быть не только первым советчиком, но и первым защитником знатного имени Захириддина Мухаммада Бабура. Но... но ведь нет у Захириддина Мухаммада Бабура своего государства. И визиря нет!

И не будет Бабура-приживальщика и Бабура-венценосца!

— Хватит! В самом деле хватит! — яростно закричал вдруг Бабур.— Я от всего отказываюсь! Господин Касымбек, я больше не венценосец. Все это — вон, вон...

И Бабур вырвал из рук досторпеча чапан с золотыми украшениями, швырнул на пол; схватил со столика роскошную, в дорогих каменьях, чалму, содрал с нее два алмаза, подаренных некогда Айшой-бегим, и выбросил чалму за дверь. Чалма размоталась, один ее конец белой змеей свился на пороге.

Растерянный Касымбек положил руку на плечо Бабура.

— Мой повелитель, что с вами?.. Мой повелитель! Успокойтесь!

Без кровинки в лице, задыхаясь, Бабур продолжал кричать:

— Все кончено! Навсегда! Хочу жить дервишем!.. Господин Касымбек, скажите об этом моей матери! Я тотчас уезжаю в Ура-Тюбе! Отказываюсь притязать на трон! Кто согласен со мной — едем вместе, немедля! Остальные — свободны!

Зажав в руке два алмаза с чалмы, Бабур почти бегом пересек крепостной двор. В ушах у него стучали слова: «К чему жена, которую не любят?!» Правда, правда! Ни он не любит Айшу, ни она его, их звезды не сошлись. Надо теперь предоставить бегим ее собственной судьбе. Злая несправедливость этой женщины, ее мелкая забота о себе, только о себе, глубоко уязвили душу, причиняли нестерпимую боль. Бабур круто повернулся, так же бегом зашел в свою комнату, со дна сундука, в котором хранились его тетради, взял кисет, некогда вышитый шелком одной самаркандкой с плохой памятью. С годами белая материя кисета чуть пожелтела — словно стала грязнее, — но вышитое узорами слово («Избавителю»!) по-прежнему выделялось четко и ясно.

К Айше-бегим Бабур явился почти спокойным:

— Когда-то вы считали меня своим спасителем и дарили алмазы. Вы просили передать мне свое пожелание — взойти на трон и украсить ими корону. Сейчас у меня нет ни трона, ни короны... Я хочу уйти в горы, жить дервишем. Вы — дочь венценосца... Возьмите свои алмазы обратно... Их можно подарить... какому-нибудь новому спасителю!

Айша-бегим не растерялась, с готовностью взяла кисет, со спокойной злостью ударила в свою очередь:

— Если вы снова, как я вижу, намерены покинуть меня, предоставьте мне лучшую полную свободу!

— Вот как? Хотите развода? Тогда... как сказано

в Коране: «Да будет отныне твоя спина для меня как спина моей матери». Отрекаюсь от тебя! С сегодняшнего дня ты мне больше не жена! Даю тройной развод!

К подножиям хребтов на юге Ура-Тюбе весна приходит поздно. Только к концу месяца хамал здесь начинается пахота на волах. В кишлаке Даҳқат, со всех сторон окруженному горами, что берегут его от ветров, урюк зацветает к месяцу савр. Над горным кольцом поднялся величественный Пирях, чья вершина покрыта вечными снегами.

За окопицей кишлака, на западе начинается крутой подъем, взглянешь вниз с его верхней точки на кишлак — и кажется, будто раскинулся он по дну пропасти.

А за тем крутым подъемом на склонах тоже пашут. Вон погоняет пару волов Тахир, босой, как и все дехкане. Высоко засучив штанины, идет следом одноухий Мамат, разбрасывает широкими взмахами правой руки семена; став бабуровским нукером, он держится все время с Тахиром. Поодаль пашут и сеют таджики из Даҳқата. Земля мягкая, погода ясная, работает легко. У всех хорошее настроение. Тахир в последние годы только и знал, что бои да походы, стосковался по земле, пашет теперь с наслаждением, временами напевает что-то вполголоса.

По кругому склону поднялся и Бабур. Он глядит на молодых босоногих людей, пасущих стада, пашущих землю. Бедняк обувь побережет, на здешних каменистых тропах ее мигом износишь. И одеты бедно, а душой бодры. Ну, а когда уж удается поесть досыта, то и вовсе чувствуют себя прекрасно.

Бабур сравнивает с ними себя: он тоже ведь здоров, крепок телом, полон сил. В чем он, двадцатилетний джигит, уступит молодцам из кишлака? Душевного покоя нет у него, потому и не может он здесь, среди этих величественных гор, наслаждаться жизнью, как живая частица самой природы.

Эх, если б все заботы были только об обуви!

Бабур стянул с себя сапоги, оставил их на меже и босым зашагал по вспаханной земле.

Земля бархатно мягкая, от нее так и пышет запахами весны и молодости. Человека бог создал из праха земного,— видно, из такой вот весенней, ожидающей, податливой землицы.

И нукеры, и дехкане обрадованно следили за доброй шуткой венценосца — походить по мягкой земле босиком. Но Бабур, оставив сапоги на меже, начал спускаться по склону, по острым камням, от которых больно становилось ступням. А он еще подчас и прыгал вниз, сокращая путь — и кровавя себе подошвы. «Зачем это он?» — недоумевали пахари. Стиснув зубы, Бабур продолжал спуск. Тахир кинулся за ним, с сапогами в руках. Догнал уже на середине спуска.

— Повелитель, наденьте сапоги! — Тахир дышал тяжело и учащенно. — Стойте же. Эти камни поранят вам ноги!

Бабур остановился и, взглянув на крупные ступни Тахира, почерневшие от земли, сказал:

— А на ваших ногах нет ни ран, ни ссадин.

— Э, повелитель мой, мы привычные.

— Вот и я хочу привыкнуть.

— Зачем?

— Чтобы вам не завидовать, — ответил Бабур и пошел дальше. Тахир, легко двигаясь за ним следом, улыбнулся:

— Шах не завидует простому пахарю.

С легкой обидой Бабур возразил:

— Значит, и ты не поверил мне? Я сказал вам, что теперь я не шах, что отказываюсь от всего прежнего. — Он понимал, конечно, что и Касымбек, и оставшиеся с ним беки, и тем паче нукеры подумали, что сказанное тогда, в Ташкенте, было сказано сгоряча, и все двести пятьдесят человек, и матушка, Кутлуг Нигор-ханум, теперь здесь, в Даҳкате. Но он им всем докажет, всем докажет...

Тахир вздохнул и промолвил:

— Мой повелитель, я верю вам больше, чем себе. Но избавиться вам от забот венценосца нельзя.

— Почему? Разве не было тех, кто родились венценосцами, но прожили жизнь без трона? И разве не было шахов, отринувших престол?

— Не знаю, может, были... Но вы не из таких.

— Я из тех, кто познал обманчивую прельстительность власти, тщету и суetu жизни венценосца... Уж если такие властители, как Джамшид и Искандер Зулькарнай, оказались не более чем временщиками, если они, оставив свои несметные богатства, сошли в могилу, имея при себе саван, и только... — Бабур покачнулся

ся, оступившись на тропе, Тахир хотел поддержать его, но Бабур сам выпрямился, устоял.

Недавно Бабур перешел на ту сторону горы, что прикрыла Даҳқат, достиг кишлака Оббурдон. Тогда он тоже говорил о Джамшиде, велел высечь около ручья на камне, будто от имени шаха Джамшида, стихи по-таджикски, а сложил их сам. Тахир запомнил такие две строчки:

Пораженный отвагой моей и силой — мир склонился у ног.
Тщетно! Мир покоренный с собою в могилу унести я не смог¹.

Бабур приостановился передохнуть, продолжая говорить — не столько, может быть, Тахиру, сколько себе:

— Все тленно, великие государства рассыпаются, как только умрут те, кто основал их. А вот строки поэтов живут века.

— Я понимаю вас, мой повелитель, но ведь с нами беки...

— Отпустим беков, они уйдут драться за свои корысти...

Бабур, точно желая доказать, что в силах осуществить и такое намерение, снова попшел, не выбирая тропы, напрямик по острым камням. Ему было больно, это чувствовалось в походке, в нервно-напряженном лице. Тахир опять догнал его и опять стал настоятельно просить надеть сапоги.

— Эх, повелитель! Не завидуйте босым. Пусть все-могущий бог никогда не ввергнет вас в их положение.

— Разве оно не лучше моего?

— Не дай вам бог, скажу еще раз, испытать жизнь тех, кто бос и наг...

— Дивный совет! А разве босые не люди?

— Люди. Но вы-то родились венценосцем...

— Но снова спрошу: разве рожденный венценосцем — не человек?

Тахир не знал, как вести такой разговор. Он знал только, что пахаря или простого нукера — и шаха разделяет стена, может, еще выше, чем эти вот горы. Бабур захотел одним прыжком перескочить через гору. Не

¹ Эти строки Бабура через 452 года, в 1954 году, таджикский ученый А. Мухтаров нашел высеченными на камне около колодца кишлака Оббурдон. Камень этот ныне хранится в музее в Душанбе.

выйдет. И потом, отчего вдруг появилось у Бабура такое желание — ясно же, оттого, что потерял надежду стать повелителем Мавераннахра. Другого объяснения Тахир принять не мог.

Впрочем, Бабур во многом иной, чем обычные властители...

— Повелитель,— обратился к Бабуру Тахир,— если вы в самом деле... предпочтете трону поэзию, то я... зачем мне быть воином?.. Я бы с семьей занимался землепашеством, всю жизнь был бы предан вам, благословлял бы вас... Но, наверное, такого быть не может?

Бабур взял наконец сапоги у Тахира.

— Такое возможно... И ты вернешься к дехканству.— Помолчав, добавил: — Я потом скажу, когда и как мы осуществим свои замыслы. А сейчас — иди к волам, иди, оставь меня.

Тахир быстро зашагал по склону вверх в приподнятом настроении. Бабур почел его близким человеком, говорил с ним доверчиво, хоть и высказал столько странного. Нет, шах не станет пахарем, разве что поэтом, и то навряд ли. У каждого своя дорога. Бабур не из тех смиренных, что в состоянии прожить жизнь в угромном уголке... А ходить босиком ему, властелину,— это озорство. Поэты любят озоровать.

Тахир взглянул вниз.

Бабур, держа сапоги в руках, все еще шел босиком. Тахир подумал: «Вот упрямый! За что возьмется, уж не отступит!»

А Бабур, терпя нарастающую боль в ступнях, дошел необутым до родника. Дальше начиналась тропинка, по мягкой земле она вела прямо к кишлаку.

Бабур надел сапоги. Он вдруг понял, что эту странность люди могут истолковать не в его пользу. Ведь и староста кишлака, предоставивший ему свой дом, беки и слуги, что обращались к нему со словами «повелитель» или «сиятельный мирза» и низко кланялись, все видят в нем вовсе не равного себе, а вознесенного над собой и ценят вовсе не за его стремление опроститься.

Будь хорошим повелителем, это важней, чем стать еще одним пахарем,— на это намекал ему Тахир. Если же он, Бабур, подобно беднякам, будет ходить босым, всем бекам будет казаться, что они кланяются какому-то бедняку,— и тогда зачем кланяться? Его игра в простоту задевает их честь и самолюбие.

Мысли Бабура запутались, противореча одна другой. А острые боли в ногах затихла.

Проходили дни. Босым ходил Бабур по склонам, и постепенно его подошвы становились привычными и к острым каменьям, и к холоду каменных троп.

3

В двух-трех верстах от Дахката под высоким обрывом — люди зовут его Черным — течет река Аксув, Белая значит,— до того полноводная и быстрая, что свободно может закружить и унести человека, неосторожно вошедшего в ее течение. Сворачивая направо, Аксув растекается по сравнительно широкому руслу, и там, в более спокойном месте, ее можно перейти вброд.

Сквозь арочный лес, по тропинке, что вилась наискось по склону горы, Бабур близко к полудню вышел к этому месту реки — и тут увидал, как через брод едут человек двадцать всадников. В том, кто ехал впереди, увенчанном красной меховой шапкой, узнал верного своего Касымбека.

Бабур не захотел, чтобы Касымбек и нукеры видели его босым, он свернулся с тропы и сел неподалеку от спуска в тени высокой арчи.

Но Касымбек уже успел заметить своего мирузу. Остановил коня, намокшего до живота при переправе, ловко спрыгнул с седла. И нукеры один за другим проворно спешились. Касымбек передал поводья ближайшему нукеру, направился к арче. Низко поклонился Бабиру, печально взглянул на него, тихо сказал:

— Мой повелитель, простите вашего раба, но я везу горестные вести из Ташкента!

Бабиру живо припомнилось многое, что произошло за время, прошедшее после его отъезда из Ташкента. Дядя Бабура, Махмуд-хан, устраивая снова и снова пышные пиршества в честь посла Шейбани-хана, наконец добился своего: заключил договор с «воителем-халифом». Шейбани согласился с правом Махмуда на Ура-Тюбе, а сам направился с войском в Гиссар. Махмуд, однако, не стал вторгаться в Ура-Тюбе силой (всегда родственница правила там), сделал вид, что эта местность и так его или его рода, а вместе с братом Олач-ханом пошел войной на Ахмада Танбала. Они хотели отнять у Танбала «рай земной», Ферганскую до-

лину. Шейбани сперва одобрял подобное расширение Ташкентского ханства.

Около трех месяцев не было Касымбека рядом с Бабуром — поехал за новостями.

— Что случилось? Говорите, бек!

— Шейбани-хан вероломно изменил своему слову, повелитель! Почти полгода ваш дядя сражался в Фергане с Ахмадом Танбалом, одолеть его не смог, понес много потерь и ослаб. И внезапно Шейбани-хан ударил ему в спину. Оказывается, тайная договоренность была у степняка с Танбалом! С обеими напастями где было совладать вашему дяде? Его войско разбито! Шейбани-хан взял его в плен.

Бабур невольно вскочил с места:

— О боже! И Ташкент пал?

— Э, не спрашивайте, мой повелитель! В Ташкенте было две тысячи воинов, запас оружия и продовольствия на полгода, по крайней мере. Надо было стоять крепко и удержать город. Но пленный Махмуд-хан совершил позорную сделку. Спас жизнь тем, что выполнил все условия Шейбани-хана: послал письмо защитникам Ташкента, чтобы они покинули крепость без боя и чтобы казну и ханский гарем оставили в крепости — для победителей.

— И весь гарем попал к Шейбани?

— Да, мой повелитель! Войско степняка три дня грабило город. Красавица Давлат-бегим — младшая сестра вашего дяди — попала, кажется, третьей женой, в гарем сына Шейбани-хана, Тимура Султана. Сам Шейбани-хан взял Мугуль-ханум, шестнадцатилетнюю дочь Махмуд-хана. Это в свои-то пятьдесят три! А Розия Султан-бегим стала временной женой того самого посла, толстяка Джанибека Султана!

Боже милостивый! И этот человек, этот хитрец, обманувший самого себя, столь злорадно упрекавший меня в прошлом году за судьбу моей сестры, теперь отдал по первому требованию жену, дочь, сестру. И город свой отдал — великий Шаш! «За позор, который он навлек на себя, его проклинает весь Ташкент!» — услышал Бабур слова Касымбека.

Почему Касымбек ничего пока не сказал об Айшебегим? Да, он, Бабур, охладел к ней, развелся с ней, но все же она была его первым увлечением молодости, была женой, о которой он некогда тосковал. Ужасно,

если и она попала в гарем Шейбани. Вслед за Ханзой-бегим!

Впившись в Касымбека глазами, полными ужаса, Бабур спросил:

— Неужели и Айша-бегим... Моя жена рядом с моей сестрой?

— Нет, мой повелитель! — Касымбек понял, чем мучается Бабур.— Нет, но... не поворачивается язык сказать... Айшу-бегим выдали за дядю хана — за пятидесятипятилетнего Кучкинчи, она стала его младшей женой!

Бабур закрыл лицо руками:

— О, какая мерзость!

Он не чувствовал злорадства. Он страдал и из-за судьбы Айши, и даже из-за Розии, этой спесивицы «Каракуз», которую унижает толстяк Джанибек. Кто знает: может быть, этот жирный великан посол, что проигрывал Махмуд-хану в шахматы, уже тогда, заприметив любимую жену хозяина, поклялся отыграться иным образом.

А Касымбек сокрушенно продолжал:

— Решиться на столь постыдное, чтобы сохранить свою никчемную жизнь пленника... Да все равно не остался он в живых!

— Убили дядю?

— Нет, когда он попал в плен первый раз, Шейбани-хан не убил его. Подверг унижениям, более страшным, чем смерть, а потом прогнал его с глаз долой — на восток, за пределы Мавераннахра. Махмуд-хан нашел в себе силы собрать в той стороне своих сторонников, явился с небольшим войском на берега Сырдарьи. У Ходжента происходит второе сражение, разбитый Махмуд-хан снова попадает в плен, на сей раз вместе с двумя сыновьями. Шейбани-хан не пощадил ни их, ни незадачливого отца.

— О небеса!..

И опять — в душе Бабура ни тени злорадства, хотя мог бы он подумать, что, жестокая к нему, судьба жестока и к тем, кто был с ним бессердечен. Услышанное он воспринял как наваждение, злое и страшное. Нет, такой участи он не желал ни одному своему обидчику.

Касымбек видел, что Бабур то краснеет, то бледнеет, словно мертвец, как дрожат щеки, пальцы. Бабур встал, бесцельно осматриваясь. Касымбек предложил:

— Садитесь, повелитель, послушаем слово божье о снисхождении к погибшим.

Бабур почувствовал дрожь в коленях, опустился на прежнее место, откинулся к стволу арчи. Касымбек, подогнув ноги, сел напротив. Расселись в полукруг нукеры. Касымбек, подняв руки, сочным басом долго читал подходящие слушаю суры Корана. Грустная напевность чтения, стихи святой книги, мерно льющиеся, как воды реки, утишили боль, подкрепляя обычные для нынешнего Бабура мысли его о недолговечности и суетности бытия, каждый миг которого невозвратим. Несколько овладев собой, Бабур закрыл голые до колен ноги полой чапана. После того как чтение кончилось и каждый провел ладонями по лицу и произнес: «Омин!», нукеры отошли, чтобы Бабур и Касымбек продолжили беседу наедине. Касымбек приблизился вплотную к Бабуру, сказал почти шепотом:

— Шейбани-хан со своими сыновьями и военачальниками жаждет превратить победу в полное завоевание Мавераннахра. Они зарятся теперь на Андижан. Не сегодня, так завтра появятся и в Ура-Тюбе. Опасно оставаться в этих местах, повелитель. Надо через горы уйти в Гиссар.

Правитель Гиссара Хисров-шах когда-то отнял трон у двоюродного брата Бабура Байсункура-мирзы, а другого Тимурова отпрыска, дабы тот не зарился на трон, ослепил, прижав к глазам острие раскаленного копья. Бабур помнил об этом.

— А зачем мне, господин Касымбек, убегая от снега, попадать под град?

— Нет, повелитель, я не о том, чтобы у Хисрова просить убежища. Ваш покорный слуга с прошлого года ведет тайные переговоры с беками Гиссара. Большинство из них очень недовольны Хисров-шахом. Они говорят: он низкого рода, отпрыск какого-то ловкого нукера, у него нет права владеть Гиссаром. Появясь мы там, беки возьмут вашу сторону.

— Снова грызня за трон? Нет, Касымбек! Я сыт ею по горло. Мне нужен тихий уголок, где бы я мог жить отшельником и слагать стихи. Больше ничего не хочу!

С самого начала встречи Касымбек старался не глядеть на голые ноги Бабура. Властелин, которому он кланялся, ходил босой,— что за странность, что за не-приличие?

— Мой повелитель, а подумали вы и о нашей судьбе? Двести пятьдесят преданных вам нукеров, беков, ваших верных помощников, желая вам удачи и моля о том всевышнего, лелеют надежду, что вы вновь вознесетесь, и еще выше, чем в прежние времена, они бедствуют вместе с вами в горах и пустынях. Выходит, напрасно?

Честный Касымбек давал понять Бабуру: если он действительно решил стать дервишем, то к чему вокруг столько беков и нукеров? Почему не отпустить их?

Понутившись, Бабур молчал, долго молчал.

— Простите меня за бессердечие, но я вынужден был сказать вам о них, повелитель!

— Вы... правы. Я не должен забывать о преданных мне людях. Скажите, почтенный бек, Хисров-шах звал вас к себе на службу?

— Звал. Дважды.

Пристально и грустно взглянул Бабур в мужественное лицо Касымбека. Короткая борода главного его визиря, его опоры, начала седеть, а ведь Касымбеку еще не исполнилось и сорока.

— Вы знаете, Касымбек, как тяжело мне расстаться с вами! С тех пор как я лишился отца, вы по-отцовски заботились обо мне. Из всех близких мне вы самый верный и близкий!

— Благодарен, мой повелитель!

— И, уважая вас, отпускаю... Каждый из нас пусть пойдет по своему пути. Ваш ведет в Гиссар!

— Мне тяжело это слышать... Тяжело оставлять вас, мой амирзода. Отправимся вместе!

— Нет, Касымбек, нет,— или сейчас, или никогда, я хочу сбросить с себя цепи жизни венценосцев. Жизнь настоящего венценосца, такого, какого я нарисовал себе в мечтах — в едином большом государстве, едином, сильном, грозном и славном нашем Мавераннахре,— такую жизнь мне наладить не удалось, а другой — тех, что грызут друг друга, унижают и топчут друг друга,— не хочу. Мелкой жизни не хочу, о мой Касымбек! Знаю: один конец цепи прикован к зависимым от меня людям, второй — это я сам, мои привычки прежние, мое самолюбие. Не освободив от цепи тех, кто от меня зависим, сам останусь в цепях. Ну, а как освобожусь от себя, не знаю. Хочу, хочу теперь жить на лоне природы, без цепей, Касымбек.

У Бабура потемнело в глазах, он кашнулся. Касымбек удержал его, обнимая на прощанье, заплакал.

Впервые увидел Бабур, что и Касымбек может плакать...

4

Если бы он мог, бесконечно шествуя по этим высоким горам, швырнуть вниз или рассеять, развеять в необозримом небесном просторе все те чувства, что терзают его душу с утра до вечера... Но душевые муки неотделимы от него, и цепь, как сказал он однажды, он сам. Ни рассеять, ни сбросить мучений... только излить их в стихи. Они, увлекая, спасают, только они способны оторвать его от него самого, отодвинуть навязчивые вопли его души.

Не расспрашивай, друг, что со мной, ибо стал я слабей:
Плоть слабее души, а душа моя плоти болней.

Сам не свой — как главу за главой повесть мук изложу?
Этот груз мой живой ста железных цепей тяжелей!

За газелями шли рубай — одних любимиц сменяли другие.

Ах, где вино, чтоб стать мне пьяницей отпетым?
Михраб не для меня, не стать святым мне, где там!
Нет способа, чтоб мне на путь разврата встать.
Нет воли у меня — и мне не стать аскетом.

Как часто сомневался он, удастся ли ему на самом деле стать дервишем, отринуть не только внешне, в одежде, в еде и питье, но и внутренне соблазны бренного мира, обольщающие вкусом к жизни, чувством красоты, борьбой за честь и славолюбием!

Ницым дервишем стал, в уголке затаился я тихом.
Дверь мечети — не исход, дверь в соблазны мирские — не выход.
Что мне делать? Куда мне идти?

Потерял я пути.
Где приют моей вере?

Меж одной и другой потерялся я дверью.

Он чувствовал в бурно рождавшихся строчках тепло поэзии, и ему казалось, что, если даже закроются перед ним все другие двери мира, одна последняя останется — дверь в страну поэзии, а значит, в страну красоты, и чести, и славы. Стремясь подавить в себе мирское, он с опаской и одновременно с наслаждением ощущал в себе какие-то еще не растрочен-

ные силы, и тогда вспоминались ему слова Ханзоды-бегим, сказанные ею при прощании: «Я верю в ваше великое будущее. Другие не знают, я знаю, что такие большие таланты, как вы, рождаются редко!»

Вчера в одном из кишлаков на берегу Аксув спрашивали той. И, незаметным путником двигаясь по улице, Бабур вдруг услышал, что какой-то молодой певец ча-рующим голосом пел его газель: «Кроме души своей, друга преданного не обрел...» Сердце точно сдвинулось в груди, те самые силы, которых он боялся и которых радовался, чуть не разорвали сердце, ища себе выхода.

Ему нравилось смотреть на мощный родник, бьющий сильно и неостановимо на макушке горы Осмон Яйлау, неподалеку от кишлака Даҳкат. Много родников выбивается из-под земли у подножья гор. Но тут Бабур впервые увидел родник, с орлиным клекотом рвущийся прямо из вершины...

Вон на юге отсюда сверкает величественная гора Пирях — в вечных снегах. Между нею и Осмон Яйлау — глубокие ущелья, гряды высоких холмов. Бабур думал, что его родник питается ледником Пиряха. Значит, воде, чтобы стечь вниз с Пиряха и вновь подняться на Осмон Яйлау, надо проникнуть в глубины, еще более глубокие, чем пропасти между горами. Откуда берет для этого силу его родник? Вниз его влечет собственная тяжесть, горный склон, но что вынуждает его подняться столь высоко, пробиться сквозь утесы, сквозь каменные глыбы? Может, он пробивался раньше у подножья, но в какое-то из землетрясений на него обрушился обвал и закрыл прежний выход? И вот тогда, с новой силой...

Бабуру нравилось представлять и свою жизнь таким родником. Попал под обвал. Оползень, вроде того, что обрушился с крутого склона в Ахсы, закрыл выходы роднику. Победа кочевников-султанов — еще один обвал. И сколько их было еще! Но у родника не иссякла внутренняя сила, снова начал он пробиваться сквозь камни. Клокоча, он в родившей его стихии все ищет и ищет путей, чтобы снова пробиться в светлый мир.

И если родник на Осмон Яйлау пробился к вершине, то и он, Бабур, не должен пасть духом, потерять надежду. И его жизнь, его сила, как этот вот родник,

пробьется! Может быть, на вершине поэзии? Или не только поэзии?

...Однажды после полудня, когда погруженный в подобные размышления, Бабур сидел у родника на вершине Осмон Яйлау, перед ним появился джигит-чабан с двумя огромными собаками-волкодавами. Обут он был в чарыки, на голове белая войлочная шапка-треуголка, отбоченная красной каймой. За поясом у него висел большой нож, в руках чабанская палка из иргая. Он молча посмотрел на Бабура, присел к роднику, набрал в горсть воды, попил. Выпрямился, сунул руки под мышки, вытер их о домотканый грубый халат без подкладки.

— Что, джура, пожадничал твой шах, что ходишь по горам босый?

«Тыканье» чабана царапнуло Бабура, но сдержанно он спросил:

— Какой это мой шах?

— Да в Дахкатае, говорят, находится Бабур. Ты из его людей?

Бабур бродил по горам и долинам в старой одежде, почернел под солнцем, но черты лица и руки изображали в нем человека из знатного рода. Чабан и принял его поэтому за кого-то из приближенных венценосца. Бабур, избегая наговорить лишнего, ответил только:

— Вроде бы так...

Опершись о палку широкой грудью, чабан все глядел испытующе на Бабура, не отставал с расспросами:

— Видно, ты очень предан своему шаху, правда?

Бабур усмехнулся:

— Достаточно, если буду я предан самому себе.

— А шах твой, поди-ка, не благоволит тебе, коль вверг в такое нищенство.

Теперь и Бабур внимательней посмотрел на чабана. Парень как парень, лет двадцати, с щеками, еще не тронутыми, как следует, бритвой. Но глубоко запавшие глаза полны печали, такие Бабур видел у пятидесятилетних, переживших многое.

— Что это ты так много расспрашиваешь про шаха? У тебя дело к нему?

— Хотел бы с ним повстречаться один на один вот в этих горах...

— А если б встретил... Что спросил бы?

Чабан-джигит зло сощурил глаза:

— Спросил бы, что сделал он с головами моего старшего брата и отца.

— С головами? Бабур? Ты... чей ты?

— Из чаграков я!

Бабур вспомнил скотоводов-чаграков, тюркское племя в андижанских горах. Спросил удивленно:

— И тут есть чаграки?

— Мы бежали сюда из-под Оша. Тогда мне было меньше четырнадцати. Заявился туда Бабур отнимать овец и табуны лошадей. Чабаны сказали в ответ: «Не дадим!» И тогда... Бабур всех убил и увез их отрезанные головы. Пришли мы с матерью и видим: лежат двадцать мертвых. Без голов... По мертвому телу, оказывается, трудно человека узнать. Мать плакала, обнимала то одного мертвого, то другого... чужого...

Страшное видение, что когда-то преследовало его, мучило в снах, снова ожило перед Бабуром. Окровавленный мешок в руках Ахмада Танбала, выкатывающиеся на алые тюльпаны человеческие головы... вот голова с запекшейся кровью на шейном срезе молодого, совсем молодого парня. Бабур содрогнулся: лицо чабана, что стоял рядом,— то самое!

Бабур вскочил с камня, охваченный ужасом. Быстро сказал:

— Ахмад Танбал ваших убил! Ахмад Танбал!

Чабан, отняв от груди посох, подошел поближе:

— Ты... откуда знаешь... видел те головы?

— Да, на Яйлау... На гористом пастибище Ахмад Танбал показал. С тех пор прошло вправду шесть лет... Чаграки подняли бунт, убили трех-четырех нукеров. Танбал мстит за них.

— Не Танбал! Люди видели, мне сказали! Отцу моему отрезал голову и унес ее Бабур!

— Люди солгали тебе. Я... знаю точно. Я тоже был тогда подростком. В горы пошел Ахмад Танбал, а я тогда остался в Оше,— торопливо, точно оправдываясь, объяснил Бабур. И эта торопливость, конечно, была подозрительна.

Чабан спросил зло:

— А кто ты такой? Бабур, что ли?

Собаки по голосу хозяина почуяли, что этот чужой опасен. Зарычали, готовые кинуться на Бабура. Невольно Бабур кинул руку к поясу. Но там сейчас не было ни меча, ни кинжала. Он бродил безоружным.

Вот сейчас, казалось, собаки вцепятся в его голые

ноги. Страх прошиб его до пят, но в глаза чабана он взглянул прямо и гордо.

— Я Бабур!

Чабан, бросив взгляд на его голые ноги, не поверил.

— Ты... такой?.. Властителей таких не бывает...

— Верно, сейчас я не венценосец. С этим покончено. Сейчас я — поэт Бабур.

На вчерашнем празднике в кишлаке чабан с наслаждением слушал газель Бабура, в конце которой, как обычно, поэт-сочинитель называл себя.

В мире, Бабур, кроме себя, друга душе своей не нашел.

Свыкнись с собой, с жизнью такой — верной любви ты не нашел.

Этот чужак бродит один-одинешенек по горам — и впрямь никого себе не нашел. Чабан крикнул на собак:

— Лежать! Буйнак, Турткуз, лежать!

Успокоив собак, опять обратился к Бабуру:

— Если ты и вправду поэт Бабур, скажи хоть одну из своих песен... я многие знаю, проверю.

Бабур, глядя в землю, задумался на миг, затем поднял голову:

— Ну, эту знаешь? Послушай!

Родной меня не привечает и гонит человек чужой,
Любимая не замечает, преследует ревнивец злой.

Ты лишь добро творить старался, хорошим быть и чистым быть,
Молва Бабура огорчает — ты скверен в памяти людской.

Жар этих строк, боль, с которой Бабур прочитал их, передались чабану, отразились в его глазах.

— Да... вижу... и тебе не легко, поэт... Ну что ж...
коль ты говоришь правду, то отца моего убил не Бабур, а Таңбал.

— Таңбал... Но и я в ответе, джигит, за дела бывших моих беков. Вот... расплачиваюсь сейчас.

Чабан снова бросил взгляд на голые ноги.

— Верить хочу и в эти твои слова! Коль не поверили бы, то за кровь моего отца и брата велел бы вот этим собакам растерзать тебя! Прощай... поэт Бабур!..

Бабур не помнит, как он спустился в тот день с вершины Осмон Яйлау, как добрел до Дахката. Прошлое, злосчастное прошлое венценосца, с неизбежными несправедливостью, кровью и грязью, преследовало его. Жестокость творили беки, но люди припишут ее ему.

И совесть, как страшные чабанские собаки, рычала на Бабура и кусала его сердце.

Как успокоить совесть?

А в Дахката его ждало еще более страшное.

Отряды Шейбани уже находились в Ура-Тюбе. Воины-степняки схватили кишлачного старосту, поехавшего в город за покупками на базар, стали избивать его, требуя показать место, где прячется Бабур!

Староста-таджик, с кровавыми полосами на лице от плетки, говорил Бабуру:

— Я не подлец, чтобы выдавать своего гостя! Я повел ваших врагов в ущелье Октанги и сам скрылся в зарослях. Оттуда им трудно будет выбраться, я же через высокие горные тропы вернулся сюда!

Октанги — это в тридцати верстах к востоку от Дахката, ясно, что ищейки хана не сегодня завтра напрянут и в Дахкат. Ведь Шейбани-хан обещал немало золота за его голову... Надо уходить.

О том же горячо говорила ему и мать, Кутлуг Нигорханум.

— Бабурджан, все мы надеемся только на тебя! Не до дервишества теперь, милый... Все считают вас венценосцем в изгнании, ни во что другое никто не верит, важные беки ждут в Гиссаре и повсюду. И степняки ведь ищут вас как повелителя, обладающего правом на престол... Дахкат столько времени давал нам хлеб-соль, ваш долг избавить этот кишлак от грозящей ему беды!

Все верно, все верно, он снова должен стать во главе тех, кто верит в него, взяться за оружие.

Не убежать ему и босым от судьбы!..

— Почтенный Шеримбек! Назначаю вас главным визирём... (Это был старый дядя Бабура, тот самый, кто когда-то в Андижане хотел бежать с ним в горы Алатау; обрадованный визирством, которого удостоился после стольких лет верности, Шеримбек по-дворцовому учтиво склонился в поклоне благодарности.) Доведите нашу волю до сведения всех беков и нукеров. Немедля собираться в путь! Сегодня же ночью покинуть Дахкат!..

И снова Бабур в панцире, снова обвешан оружием. В ту же ночь его отряд двинулся туда, откуда восходит солнце. К Исфаре.

Внизу, ударяясь о камни, шумит, клокочет Исфара-сай.

Бабур сидит высоко на скале и смотрит вдаль,— белесые облака, которые плывут где-то за Ходжентом, отбрасывают тени по склонам и вершинам гор. От снежных пиков тянет холодом. Весенние долины укутаны теплым зеленым покрывалом.

За шелковой занавесью неба, простертого над горизонтом, где-то там, в необозримых далях, скрыты Чаткальские горы и некогда шумный, ныне разграбленный и притихший Ташкент. Перед мысленным взором Бабура предстают потом Дикизак и Самарканда, Маргилан и Андижан. Когда-то он ездил свободно по всем этим краям.

А сейчас на всех просторах Мавераннахра нет для него пристанища, нет угла, где бы мог он пожить спокойно. Все перешло в руки Таnbала и Шейбани. Недаром Шеримбек настаивает, чтобы уехал Бабур в Хорасан.

Бабур не соглашается; он наперед чувствует: оставив Мавераннахр, он навеки лишится родины, не вернется обратно уже никогда. Чувство родной земли, не столь заметное прежде, когда он волен был жить или не жить в какой-нибудь из ее частей, теперь властно заявляет о себе, диктует ему поступки и чувства.

«Мавераннахр! Я избороздил тебя из конца в конец, на каждую дорогу, вьющуюся по тебе, излил свет своей души, просыпал семена своих замыслов. Корни мои — в плоти твоей, родная земля. Где найти силы, чтобы вырвать их? И можно ли перенесть боль разлуки с тобой, Мавераннахр?»

Ахмад Таnbал и Шейбани-хан — «союзники» — стремятся нерегрызть теперь горло друг другу, опять война владык, которым тесно, которые не могут жить в мире, терзает Мавераннахр. Сгинь они оба, эти волкодавы, эти жадные иссы, пути Бабура открылись бы...

Пытая слабую надежду на возможность остаться в Мавераннахре, Бабур послал все же своих людей в Андижан — следить за ходом военных событий. И вот — ждет нетерпеливо возвращения их в Исфару.

Прошло полтора месяца, а посланных все еще нет. Дни ползут — ему кажется — неимоверно медленно. Бабур без конца бродит по горам... Что делать? Что

предпринять? Будь с ним находчивый Касымбек, он посоветовал бы что-нибудь стоящее. Но нет Касымбека. Нет и храброго соратника Нуяна Кукалдаша — погиб в прошлом году в Ахангаране от рук танбаловских воинов, сбросили они его в пропасть.

Сколькоих уже нет с ним рядом — погибли, ушли, поддались слабости и переметнулись к врагам. Сожаления об одних, злость на других.

Как бы и поэтическая сила не покинула его! Пытался сочинять стихи, ничего не получалось, не расположена душа рифмовать звонкие строки.

К вечеру горы заволокло туманом. Из арчового леса по туманным тропам Бабур спустился в долину к берегу реки. Там было тесно, холодно-мрачно, и такой плотной серой стеной стоял туман, что не различить уже было поток, лишь по грохоту можно догадаться, что Исфара-сай здесь, не пропала река, все несет и несет она воды, ворочает камни.

Стоянка Бабура на берегу, в широкой поляне с небольшим возвышением посередине, где и стоит его юрта из благородного красного сукна. Рядом восьмиугольная белая юрта Кутлуг Нигор-ханум. Остальные шатры — в некотором отдалении от этих, главных.

Бабиру показалось, что шатры будто разбежались в разные стороны друг от друга; туман, словно пlesenь, обволакивал их.

Навстречу попадались люди, приветствовали его, как приветствуют венценосцев. В ответ Бабур слегка наклонял голову — так положено, не больше, дворцовыми обычаями.

Свернул к юрте Мамадали, хранителя книг. Множество редкостных рукописных книг — поклажа для пяти-шести верблюдов — было уложено в особые сундуки, обтянутые кожей, не пропускающие влаги. Эти сундуки всегда с Бабуром; болезненного вида, желтолицый Мамадали во всех походах сопровождал Бабура. Старик берег книги, будто мать ребенка своего.

Что хотел бы сейчас почтать Бабур? Ах да, по истории.

У Мамадали была привычка: прежде чем брать книгу, мыть руки.

— Ваш раб незамедлительно принесет их вам в юрту, повелитель!

Бабур листал книги, повествующие о жизни знаменитых полководцев и венценосных властителей. Морщился, читая цветистые фразы, витиеватые сравнения, стремился отделить легенды от правды событий.

Везде воспевались, до головокружения пышно воспевались победы, одни только победы удачливых завоевателей.

Видно, и про Шейбани-хана пишутся сейчас пышным слогом такие хвалебные книги. Бабуру стало известно, что Биной снова перешел на сторону Шейбани-хана; и он, и Мухаммад Салих пишут каждый свою «Шейбанинаме». Как они скажут о сражении Бабура и Шейбани? До небес превознесут победителя, а Бабура будут всячески хулить, навесят на него и бывшие, и несуществующие грехи,— откуда же люди узнают правду?

Бабур отложил в сторону книги, сплошь содержащие описания пышных торжеств победителей. Шелковый платок, в который их бережно завернул хранитель книг, скомканым бросил рядом. Поднялся из-за столика, подошел к сундуку со своими бумагами. Постоял. Подумал. Вытащил тетрадь, называемую «Былое».

Смотри-ка: Бабур в этой тетради написал тоже только о том, как он отнял Самарканд у Шейбани-хана, а потом ни разу не притронулся к ней! Выходит, и сам он не захотел никому, даже себе, поведать о последующих своих поражениях и бедствиях. Но от них не уйти, не записанные на бумаге, они крутятся в его памяти, мучительно и тяжело, словно мельничные жернова. Говорят, «будешь скрывать болезнь, так она себя жаром выдаст». А не достойнее ли будет правдиво описать все события, все подробности в этой вот тетради? Тогда, может, и боль выйдет наружу, полегчает на душе?

Бабур начал быстро писать — о битве Сарипульской, об унижениях, которые пришлось претерпеть после поражения.

Он писал для себя, для отчета перед собственной совестью. Писал правдиво и просто, отчетливо осознавая, что пышный, витиеватый слог, вроде того, каким были исписаны книги, только что отложенные им в сторону, совершенно не годится для его целей. Он писал как человек, который делится истиной о себе с близким человеком, способным сопережить явному

и тайному в душе. Другом, которому он доверял свои тайны, была теперь его тетрадь. Значит, он сам. Недаром в своей газели, которая стала песней, говорил он, что, «кроме самого себя, друга преданного не обрел», недаром...

Откровенно и без самоунижения исповедовался перед собой Бабур.

И о мече, своем подарке Танбалу... И о несчастных чаграках... И о том, как босые ступни его ног стали нечувствительны к острым камням на горных тропах... Все было в этой тетради, и, продолжая ее теперь, он чувствовал, как огонь вдохновения охватывает душу, будто писал он стихи.

Раз не смог он скрыться от судьбы венценосца, предписанной ему рождением, он расскажет правдиво об ее неотвратимых тяготах и испытаниях! Ни один из венценосцев, которых знал он, Бабур, не рассказал обо всем пережитом искренно. Но люди всегда жаждут узнать правду. И если он, Бабур, сможет хоть в малой степени утолить эту жажду, тогда не пропадет пона-прасну данный ему всевышним дар и люди извлекут уроки из его неудачливой жизни.

Люди, другие люди... Но, значит, не для одного себя, не только для успокоения своей совести пишет он книгу «Былое»? Значит, так. Это — вправду как стихи. Их слагают, чтобы утолить жажду собственного сердца, а они завладевают сердцами других людей, становятся песнями для всех, разве это не счастье? Добытое мечом — отнимается другим мечом. Добытое пером поэта или правдивого историка — ничем не отнимешь...

Бабур не видел, как слуги зажгли свечи, как принесли еду. Почти всю ночь, не притрагиваясь к пище и воде, он писал...

Перед рассветом прискакал Тахир.

Тотчас, не отдохнув ни часа, принял его Бабур, чтобы узнать о событиях в Андижане. Шутка ли: почти полтора месяца в неведении!

Долго рассказывал Тахир при свете свечей в юрте Бабура. Главное — сразу! Андижан в руках Шейбани. Город ограблен. Множество андижанцев погибло уже

после взятия города. Среди них — и второй Бабуров разведчик, что был с Тахиром.

Тахир настолько устал, что, покачиваясь, едва стоял на ногах. Бабур опустился на курпачу, пригласил сесть и Тахира.

Как удалось ему узнать подробности событий? А он, Тахир, нанялся арбакешем к одному баю в кишлаке Ходжа Катта рядом с Андижаном. Разумеется, кто он на самом деле, бай не догадывался. Тахир вслушивался в разговоры, осторожно расспрашивал людей. А когда привез товар в городскую лавку бая, то многое увидел своими глазами.

Ахмад Танбал, потерпев поражение в открытом поле под Андижаном, запирается в крепости. Начинается осада. В крепости начинается голод, усиливаются болезни, распри. («Как в Самарканде», — думает при этом Бабур.) Беки, которые, некогда покинув Бабура, перебежали к Танбалу, теперь, бросив Танбала, бегут к Шейбани-хану. Воины хана в конце концов врываются в город. Ахмад Танбал вместе с братьями и приближенными прячется в арке, но андижанский арк в черте города, — с крыш ближних домов легче штурмовать саму крепость. Ахмад Танбал понимает это, как и Шейбани. Он решается просить пощады у Шейбани-хана. Подсыпает некоего старца, который должен был передать хану такие слова Танбала: «Отдам воителю-халифу, святому имаму все накопленное мое богатство, весь гарем, клянусь верно служить ему, — пусть сохранит мне жизнь!» Старец не вернулся. Начинается штурм... Танбал и братья в панике подходят к воротам крепости, открывают ворота, выходят наружу, повесив на шею свои мечи — знак добровольной сдачи в плен и упования на великодушные победители. Тимур Султан приказывает нукерам: «В плен не брать, не стоят они того, рубите!» Танбала и братьев искромсали на куски. Отрезанные головы запихивают в мешок.

— Наверное, перед Шейбани похвастались ими, — закончил рассказ Тахир.

— О боже праведный! — вырвалось у Бабура.

Бот оно, возмездие! Предатель поднял меч на него, на Бабура, — и сам зарублен мечом... За смерть Ходжи Абдуллы, повешенного жестокосердным Танбалом, у тех же ворот сам Танбал принял мучительную смерть... За головы бедных чаграков — покатились из мешка

головы Танбала и его братьев. И Шейбани — так представилось в этот миг Бабуре — брезгливо трогает их, переворачивает носком сапога... где тут эта образина, Ахмад Танбал, доставивший всем так много хлопот, покажите-ка, я ведь не знаю его в лицо, не довелось встретиться, по побрезгует Шейбани взять ее в руки, эту голову, с реденькой бородкой, с резко выпуклыми скулами.

Потрясенный этой картиной, Бабур воскликнул еще несколько раз:

— О боже праведный! О боже праведный! О боже...

Жестокая справедливость? Возмездие? Но Шейбани превзошел в жестокости самого Ахмада Танбала! И зачем небеса вручают меч возмездия столь кровожадному хану?

А с другой стороны — подумать только,— объединение разрозненного Мавераннахра, великая цель, к которой так стремился Бабур, единый сильный Мавераннахр, его, Бабура, Мавераннахр,— неужели этого достиг теперь Шейбани-хан? Но тогда почему же не он, не Бабур? Чем сильней оказался Шейбани-хан? Коварством, жестокостью, бесчеловечной прямотой помыслов. И еще одним: фанатизмом, суннитским одушевлением веры, что заставляло воинов Шейбани презирать и прелести жизни, и справедливость, и самую смерть.

Да, в мире бренном — чтобы оказаться победителем — надо быть таким, как Шейбани. А он, Бабур, хотел быть просвещенным правителем, отдавал много времени и сил поэзии, искусству, зодчеству, думал о человечности — вот из-за всего этого и проиграл. Но что же важнее — человечность или власть, даже в едином Мавераннахре? Разве не ясно?

— Мой повелитель,— голос Тахира отвлек Бабура от раздумий о власти и человечности,— я слышал, что люди хана усердно разыскивают вас. Может статься, его лазутчики уже в Исфаре!

Что ж, надо думать о спасении жизни. И о продолжении борьбы! Поражение Танбала — новый обвал, что обрушился на заветный родник. Закрылись все выходы, по которым родник мог пробиться наружу... здесь, в своем отечестве. Если не перевалить быстро, очень быстро через хребет, не уйти в Хорасан, Шейбани перекроет путь, последний из возможных.

Бабур забыл, что перед ним сидит простой нукер, сдавленно выкрикнул:

— Мало, что ли, выпало мне бед, мало? Теперь и родины лишиться?

Тахир увидел слезы Бабура, едва сдерживая свои, прыгающими губами поклялся:

— Повелитель, жить на чужбине — тяжко любому человеку, будь он шах, или нукер, или пахарь... Я не вернусь в Куву, не вернусь в родные места. Поэтому не вернусь, что мне отомстят за службу у вас. И потому еще не вернусь, что... не могу разлучиться с вами... Многое я передумал, пока ехал сюда из Андижана. Буду с вами. Всегда и везде.

Бабур давно считал Тахира честным, храбрым воином и простым, доверчивым пахарем, из тех дехкан, что верят: избавление от всего злого и неправедного — в руках справедливого венценосца.

— Но я же не смог стать желанным для всех вас венценосцем! — неожиданно сказал, отвечая своим мыслям, Бабур.— Стану ли я им в будущем или не стану — неизвестно...

Тахир молчал. Прервал свою речь и Бабур. Так они и сидели молча, друг против друга, правитель-изгнаник и его нукер; снаружи за плотным сукном юрты, приходя в неистовую ярость от безмолвия уходящей ночи, ревел Исфара-сай.

Несчастья, обрушившиеся на этих столь разных людей, сблизили их. Воины, столько лет сражавшиеся рядом, они впервые разговаривали друг с другом так откровенно. Слова, которые Тахир не решился бы сказать Бабуру в другое время, были сказаны им сейчас, в сумеречной тьме шахской юрты:

— Повелитель, я простой нукер, но привязан к вам, как родной. Поэзии, мужеством вашим, добротой... Я... верю, что ждет вас великое будущее! Многие из тех, кто причинил вам зло, уже сгинули... Сколько смертельных опасностей миновали вас — это знак необыкновенной судьбы!

Тахир был похож сейчас на заботливого старшего брата, который старается ободрить младшего в тяжелый час. Да он и в самом деле на семь лет старше Бабура. И Бабур смотрел на Тахира как на старшего друга.

— Судьба отнеслась к вам как мачеха к пасынку. Жестокие люди взяли верх. Да пройдет их время и наступят времена, когда оценят вас по достоинству, по-

велитель! А теперь,— Тахир выпрямился,— надо как можно быстрей нам покинуть Исфару. Герат — тоже ведь не чужой вам. Хусейн Байкара — родственник. Должен проживать в Герате и мой дядя — мулла Фазлидин.

Горы, через которые надо перевалить,— своими снежными вершинами они чаруют вас, сверкая на лазури небес, но как мрачны они и опасны не вам, взирающим на них с безопасно отдаленных равнин, а тем, кто должен, мучительно задыхаясь, ползти через крутое хребты и пропасти! Тогда белые снега вершин представляются человеку саваном, а в холодных нагромождениях ледников он будет видеть вечное жилище самой смерти.

— На опасных дорогах поручаю свою жизнь прежде всего богу, затем вам, Тахирбек...

Глядя на черные горы-великаны, тронутые острыми лезвиями снегов, опять вспомнил о роднике, задавленном обвалом. Пробиться ли ему на другой стороне горной цепи — да не одной? За этими громадами — величественный Памир. А за Памиром — Гималаи и Гиндукуш...



Частъ вторацъ

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

ГЕРАТ. МЕРВ.

1

Берега и водная гладь прозрачных речек Инджил и Хирийруд, питающих сады Герата, усыпаны желтой листвой; унылы знаменитые виноградники и гранатовые сады гератских пригородов, жалко и печально выглядят жухлые остатки летней зелени на голых лозах и ветках.

Но в этом городе не все подвластно законам осени. Тысячи голубовато-серебристых сосен, что высажены вдоль дорог и рощ при въезде в Герат со стороны Кандагара, по-весеннему свежи и ярки.

Вокруг огромного облицованного водоема — хаузом Хусейна Байкары называет его молва — растут лисониттайр, эти стройные деревья никогда не сбрасывают своих маленьких узеньких листьев.

Тахир услышал, что листья лисониттайр обладают свойством исцелять болячки и порезы. Неподалеку от хауза он остановил коня, слез с седла и передал поводья молодому нукеру. Сам же зашагал вдоль хауза, намереваясь нарвать целебной листвы. Тут кто-то впереди окликнул его:

— Эй, подождите, бек-джигит!

У толстого ствола дерева стоял человек. Тахир взгляделся — неужто дядя Фазлиддин? Но борода у этого человека куда длинней дядиной, да и лицо старческое.

— Слушаю вас,— почтительно сказал Тахир, остановясь.

Человек все всматривался в лицо Тахира, пересеченное шрамом, теперь же он, видно, опознал и голос.

— Тахир! Племянник мой!

Тахир кинулся к дяде, широко раскинув руки для объятия. В чистой воде хауза слились их отражения.

— О племянник, ты принес мне аромат родины! Слава аллаху — ты жив и здоров!

Мулла Фазлиддин оторвался от Тахира; не выпуская его ладонь из своей, а другой вытирая со своих щек слезы радости, оглядел ладную и крепкую фигуру племянника. Ого, серебряный пояс и дорогой кинжал, такие обычно носят беки, и чекмень роскошный! И железный воинский шлем, как это принято у беков, Тахир украсил сверху маленьким серебряным флагжком. Ай да Тахир!

— Э, племянник, да ты теперь, оказывается, настоящий бек, из сильных мира сего...

— Да, я курчибек — начальник личной охраны Бабура.

— Поздравляю, поздравляю... Да минуют тебя влияния дурных беков!

— Повелитель потому и взял меня к себе, что не доверяет многим прежним бекам... Ну, да ладно, не будем говорить об этом. Как вы-то живете, дядя мулла? Ищу вас, ищу... У людей бы разузнать, порасспросить,— да нет у меня тут знакомых.

Мулла Фазлиддин, которому только за сорок перевалило, но уже все лицо в морщинах, опечаленно ответствовал, слегка теребя поседелую бороду:

— Да живу еще... не берет пока могила. Бог меня лишил удачи, племянник. Прибыл я сюда, в Герат, надеясь на милость великого Навои, да сей благородный человек вскоре оставил бренный мир. Правда, кое-что воздвигалось здесь и без него. Да вот в этом году и сам Хусейн Байкара оставил нас. Всякие стройки прекратились. Зодчие снова без работы. Я вот сейчас переплетчиком...

— А может быть, вам следует встретиться с мирзой Бабуром?

— Мирза Бабур здесь в гостях... Да и примет ли он меня? Между нами... кое-что было.

До Тахира доходили какие-то слухи о дяде и Ханзоде-бегим.

— А если я, дядя мулла, как-нибудь наедине попытаюсь напомнить ему о вас? Он ведь благоволит зодчим.

— Ладно, об этом посоветуемся позже... Ох, племянник ты мой дорогой! С тех пор как услышал о приезде мирзы Бабура в Герат, все думал: нет ли среди его воинов и тебя? На улицах в каждого бабуровского нукера всматривался... Так пойдем же ко мне! Тебе нужны эти врачующие листья? Они найдутся у меня дома. В нашем саду лисониттайд растет.

— В саду?.. Вы один или женились, дядя мулла?

— Женился, племянник. По совету великого Навои. У него был садовник, достойный человек, а у садовника была дочь...

— Поздравляю!.. И дети есть?

— Да, сын и дочь.

— Э, совсем здорово! В таком случае я должен прийти в ваш дом с подарком!

— То, что я свиделся с тобой, лучше всякого подарка, Тахирджан! Ну, пойдем ко мне!

Тахир взглянул на небо. Солнце уже склонялось.

— Дядя мулла, вы близко живете?

— Нет, далековато. В махалле Назаргох, на окраине города. А что?

— Жалко... Я вскоре должен быть на службе. Мирза Бабур так приказал.

— И впрямь жаль... Тогда... Посидим тут немножко. Хоть нагляжусь я на тебя!.. Как ты сам, племянник?.. Женился?

Они сели на каменную скамейку близко от воды. Тахир рассказал, как нашел Робию, а закончил рассказ так:

— Уже в Кабуле посчастливились нам с Робией — сын родился. Назвали Сафарбек¹. Все время в дороге мы были, все время в дороге...

— Слава аллаху!.. Я, Тахирджан, совсем было отчаялся. Думал, и тебя мне больше не увидеть. А повернулось иначе. Была бы голова цела, оказывается. И невзгоды пройдут, и у тебя вот печали прошли... А какова судьба андижанцев?

— Об этом лучше не спрашивайте, дядя мулла! Сколько народу погубил Шейбани-хан... Коль приснится, так начинаю бредить по ночам, реки кровавые вижу, хоть закрыты глаза...

— Как вам-то удалось вырваться из этого ада?

Как? В самом деле — как они спаслись от Шейбанихана?

Шли днем и ночью. Люди умаялись. Голодно было. Коней, верблюдов резали и ели. Сам Бабур, отдав коня матери, шел пешком. Горы кругом, крутые тропы. Чарыки худые. Никакого пристанища, чтоб крыша была над головой.

¹ Сафар — путешествие.

Какие-то мелкие служилые людишки грубят Бабуру, говорят: «Нечего тут засиживаться, отправляйтесь дальше, переваливайте скорей через Гиссар». Бывало, Тахир обнажал против них меч, но Бабур каждый раз урезонивал. Говорил: «Надо быть подержанней. Они правы — кто мы им?.. И давайте поторопимся, нам следует как можно скорей переправиться через Амударью». Тахир потом понял, как был прав повелитель. Только успели они перейти Амударью, узнали, что Шейбанихан напал на Гиссар. Правитель Гиссара Хисров был трус, он не решился воевать с ханом, сбежал от собственного войска. Большинство его беков через тайного человека передали Бабуру: «Придите, мы отдаем вам Гиссар!» Но мирза Бабур отказался: чем они докажут ему свою верность? Он передал им: «Если вы истинно на моей стороне, если я вам нужен, приезжайте сюда».

Шейбани захватил Гиссар, тридцатысячное войско Хисрова распалось. Обычно при подобном разброде, вызванном военным поражением, беки, достаточно знатные и сильные, чтобы сохранить гордость и нукеров, но недостаточно знатные и сильные, чтобы основать собственную династию, принимаются за поиски сильного властелина со знатным именем. Взоры гиссарских беков отчасти по сей обычной причине, отчасти из-за усердия Касымбека, оставшегося преданным Бабуру, обратились в сторону этого отважного повелителя. Беки и нукеры стали стекаться к Амударье, присоединяться к Бабуру. Раньше всех с четырьмя сотнями воинов явился Боки-бек Чагонияни. Бабур принял его с почестями большими, чем тот ожидал, сделал первым визирем своим, не менее того.

С Бабуром переправилось через Амударью всего двести сорок воинов. Через месяц их у него стало около четырех тысяч...

Слушая Тахира, мулла Фазлидин думал о том, как изменился его племянник в последние годы. Тахир прежде не говорил так красноречиво. Среди знатных, не иначе, научился он употреблять сложные обороты речи.

— И вот мы прибыли в Кабул,— продолжал Тахир.— Правителем там был некий Муким-бек из племени тюркских аргинов. Он не имел, оказывается, претензий на престол, или проще говоря, не имел сил

сражаться с нами. Наш повелитель так повел с ним переговоры, что в конце концов Муким-бек отдал Кабул без боя. Через некоторое время пришло послание от Хусейна Байкары. Гератский повелитель признал мирзу Бабура правителем Кабула и просил его вместе с войском прибыть к берегам Мургаба, чтобы вместе выступить против Шейбани-хана. Мы давно хотели такого союза, потому и ехали верхом сорок дней и сорок ночей, мчались, подобно ветру, из эдакой дали, а Хусейна Байкары... увы, не застали в живых... Вот ведь как не повезло! — вдруг по-прежнему просто добавил Тахир и почему-то улыбнулся.

— Но то хорошо, что вы прибыли в Герат торжественно, как подобает сильным правителям. Иначе спесивые сыновья Хусейна Байкары — да возьмет всемилостивый аллах его душу к себе — отнеслись бы к мирзе Бабуру с пренебрежением.

— Да, дядя мулла, что и говорить, нынче мы тут в большом почете... Всюду нас сопровождает градоначальник: вдоволь, вдоволь полюбовались мы достопримечательностями Герата. А вечерами в домах высокой знати приемы да угощения. Сегодня мирзу Бабура принимает в Белом дворце сам мирза Музффар... Ой, дядя мулла,— Тахир взглянул на небо,— смотри-ка, где уже солнце. Мне нельзя опаздывать! Можно ли посетить вас завтра? Как вас найти?

Пока они дошли до нукера, который присматривал за конем Тахира, мулла Фазлидин подробно объяснил, как найти его дом. Тахир принял поводья у нукера. Неожиданно спросил:

— Дядя мулла, а где ваш конь?

— Я хожу пешком... Привык...

Тахиру стало стыдно: дядя обеднел, а он, племянник, только сейчас это почувствовал. Решительно протянул мулле Фазлидину серебряную уздечку:

— Тогда этот конь — ваш.

— А как же ты сам?

— У меня в конюшне еще два стоят. Садитесь!

Вынул из-за пояса плетку с посеребренной рукоятью, тоже вручил дяде:

— Это — жеребенок от того коня, дядя... помните? На которого вы посадили меня в Оше. И одели с головы до ног, помните?

— Э, была бы голова цела, а тюбетейка найдется, племянник. Стоит ли напоминать о том, что прошло?

«Завтра приду к нему и порадую подарками всю семью. Разодену с головы до пят и женушку его, и детей!» — подумал Тахир.

Молоденький нукер, сидевший на втором коне, так и не понял, что за встреча произошла, смотрел на дядю и племянника, удивленно раскрыв рот.

Мулла Фазлиддин, простившись («до завтра, до завтра, по воле аллаха»), тронул коня. Тахир, поглядев ему вслед, тихо сказал нукеру:

— Ты сообразительный или нет?.. Нукер в седле, а бек на земле?

Молодой нукер, поняв, что зазевался до неприличия, мигом соскочил с коня.

Фазлиддин обернулся и увидел Тахира на коне, полным гордости и степенности («беком стал, настоящим беком»). Нукер семенил пешком, понурив голову. «Лишь бы Тахир не стал похожим на них, на тщеславных беков», — беспокойно подумалось зодчemu-переплетчику.

2

...Вот уже семнадцатый день Бабур проводит в величавой Унсии — там, где жил Навои. Высокие ворота, голубые купола, сияющая на солнце многоцветная изразцовая мозаика напоминают самаркандское медресе Улугбека, но четыре минарета по четырем углам здесь повыше, да и само строение было завершено лет пятнадцать назад, а выглядит новым.

Немало внутренних помещений Унсии занимает личная библиотека Навои.

Долгие часы проводит там Бабур, рассматривая книги. На иных страницах видит пометки, сделанные рукой великого поэта; снова и снова вспоминает письмо Мир Алишера, полученное некогда в Самарканде: ах, сколько воды и... крови людской утекло с тех пор!

У двери в библиотеку на полу установлены большие часы — вроде узкого красивого шкафа. Через определенные промежутки времени маленький деревянный мальчик на верхней плоскости шкафа приходит в движение и золотым молоточком выбивает из тарелки мелодичный звон. Часы сделаны по заказу — и по идеи — Мир Алишера, их форма в Герате вошла в моду, часы, выбивающие звон, так и называли «часы Алишера».

...Бабур прикрыл дверь библиотеки, взглянул кото-
рый уже раз на часы со звоном. Опять ему подумалось:
«Вот что есть чудо — человек умер, а изобретение его,
мысль его живы. Вторая жизнь возможна — разве не
о ней говорит звон этих часов?»

Всюду — и во внутренних покоях, и во дворце —
витал дух создателя Унсии. Бабур осторожно открывал
двери, которых касались руки Навои, он старался
шагать как можно тише в коротких коридорах и по лест-
ницам, чувствуя, что ступает по невидимым следам
недавно жившего человека.

Во дворе слуга выметал опавшие листья из-под
чинар, росших вокруг водоема. «Неужели и наша
жизнь — это пальые листья, и кто-то потом придет,
и сметет их в кучу, и сожжет ее, и развеется ветром
прах?» Бабур свернулся на красивую дорожку меж двух
рядов стройных густо-зеленых кипарисов. В конце
дорожки его ожидали ученик Навои Хондамир, историк,
и один из самых близких соратников великого поэта,
уже давно опирающийся на посох старец Сахиб Даро,
задушевные беседы с которым особенно любил
Навои.

Сахиб Даро, здороваясь, сказал:

— Мой повелитель, с кончиною несравненного Мир
Алишера Унсия стала телом, лишенным души. Вы
вернули телу душу! — и низко склонился перед Ба-
буром.

А тридцатилетний Хондамир, человек с острыми,
проницательными глазами, слегка улыбаясь, испытую-
ще посмотрел на Бабура: как этот двадцатипятилетний
андижанец ответит на столь изысканное обращение-
похвалу? С достойной ли возраста скромностью или
с присущей властителю привычкой принимать лесть
как должное?

Сердце Бабура было переполнено щемящим чув-
ством грусти, утраты. Не желая искать выспренне-
поэтического ответа, Бабур сказал просто:

— Нет, мавляна, это жилище великого Мир Али-
шера подарило моему телу новую душу. О ней я раньше
мечтал... только мечтал.

Хондамир удовлетворенно кивнул головой. И Сахиб
Даро был доволен.

— Вы правы, мой повелитель.— Он еще раз покло-
нился Бабуру.— На всем, к чему прикоснулся великий
дух, на всем лежит его печать. Соблаговолите взгля-

нуть, например, на эти минареты! — и старец торжественно повел рукой сначала направо, потом налево. Бабур посмотрел вслед руке: высокие, сверкающие разноцветными изразцами минареты красовались вершинами в голубизне неба и белизне облаков.

Такие минареты обычно венчают крытой башенкой-беседкой, откуда можно не только призывать правоверных к молитвам, но и просто любоваться видами окрест. Минареты же Унсии кроме таких башенок были опоясаны посередине особыми кольцевыми террасами. Их и имел в виду Сахиб Даро.

— Душа Мир Алишера испытывала отдохновение, когда он с высоты взирал на красоту гератскую. Но в старости, повелитель, уже очень тяжело взбираться на высокую башню. Поэтому зодчие по указанию Мир Алишера сделали эти террасы-кольца посередине минаретов.

— Нельзя ли и нам взобраться туда?

— Проводим со всей радостью!.. К западному минарету, просим вас...

Правда, сам Сахиб Даро остался у подножия минарета, а молодые Бабур и Хондамир быстро поднялись по крутой винтообразной лестнице на террасу.

Какая красота открылась отсюда взгляду! Вдали — покрытые снегами горы Мухтар и Исканджа. Внизу речка Инджил — узкий серебристый клинок. На левом ее берегу возвышается знаменитое медресе Гавхаршод-бегим (воздвигнуто еще до Навои), на правом, прямо напротив, не менее знаменитое, уже при Навои построенное, медресе Ихлосия. Неподалеку от него — лечебница Шифоия, она же и медресе: тут лечат больных и одновременно мударрисы учат медицине. А еще поодаль — приют для приезжих и бездомных — Халосия, здание под огромным куполом.

Величественна красота Герата! Плодоносящей была мысль Навои!

И по другим сторонам, точно голубые горы, возносились над городом минареты и купола. Множество минаретов и куполов. Бабиру опять захотелось в Самарканд, сердце внезапно защемило от любви, тоски и боли.

— Мавляна,— обратился Бабур к Хондамиру,— среди зодчих, строивших все это великолепие, были люди из Мавераннахра?

— Повелитель, вы, кажется, чувствуете, что в красоте Герата есть нечто от красоты Самарканда?

— Да, потому и спросил.

— Многие зодчие Герата обучались в Самарканде. Они принесли в свое сердце образ Самарканда... Кроме того, многие одаренные люди... как вы знаете... оставили Мавераннахр и нашли убежище здесь, у Мир Алишера Навои... Ах, сколькими достоинствами обладал наш несравненный Мир Алишер! Но вашему покорному слуге самым удивительным из его достоинств представлялось одно — умение открывать, любить и пестовать таланты-самородки. Никто лучше Мир Алишера не понимал, что великие дела невозможно совершить без великих талантов. Близким своим людям и подобным мне ученикам Мир Алишер не раз говорил: помните — черная зависть и корысть обитают больше среди людей серых, бездарных, нищих духом. Особенно же в высоких сферах искусства никчемные преграждают путь одаренным. Не дают возможности проявиться их таланту, губят их. Самое отвратительное зло в сем мире — зависть бездарных. Самая же высокая щедрость — это щедрость людей, кто способен открыть и вырастить редкостное, талантливое.

— Истинная правда! — восхликал восторженно Бабур.

Хондамира этот возглас воодушевил еще сильнее:

— Если мы, ученики, возвращались из какого-нибудь путешествия или приходили к Мир Алишеру после нескольких дней отсутствия, то первым делом он спрашивал нас: «Так, добро, что вернулись, но какой же редкостный талант отыскали вы?» Некоторые, найденные нами, были подростками лет пятнадцати — шестнадцати, а то и моложе. Мы смущались говорить о таких «находках». Но Мир Алишер учил: «Талант и в пятнадцать лет проявится, а тупой и в сорок лет останется тупым... Давайте-ка его ко мне, зовите вашего несмышленого, но талантливого!» Сахиб Даро привел к Мир Алишеру таджика Зайниддина Васифи — как раз тогда было тому пятнадцать лет. И сей Зайниддин, питаясь из щедрого источника мудрости Навои, очень скоро стал знаменит на весь Герат, стал мастером муамми... И великий художник Камалиддин Бехзад достиг совершенства, будучи с детства воспитаником Мир Алишера... И таланты поэта Хилоли и каллиграфа Султана Али Машхади были открыты и выпестованы также Мир Алишером... Благодаря всему этому Герат, сверкающий сейчас перед нашими глазами, в последние тридцать лет стал

вдесятеро величественней и прекрасней прежнего.
Не так ли?

— Правду сказали, мавляна. Во всей виденной мной части мира правоверных не знаю города более великого, чем Герат!

— И разве сегодняшний Герат сделали столь прекрасным и великим не таланты, рожденные в народе?

— И это правда! Предстающие нашему взору редкостные здания — жемчужины, явленные миру из сокровищницы души людей талантливых.

— Мир Алишер владел самым великим талантом открывать такие сокровищницы, открывать и направлять на истинный путь одаренных. Это признавал и рожденный под счастливой звездой Хусейн Байкара. Слышали, наверное, мой повелитель, что было много корыстных злодеев, сеявших рознь между Мир Алишером и Султаном Сохибкироном... И то сказать,— голос Хондамира дрогнул,— чист и воздержан был великий Мир Алишер, развращен Султан Сохибкирон, пьяным творил премного отвратного... Но в дни воздержания, когда разум его был светел, Султан Сохибкирон оказывал Мир Алишеру такие почести, что все диву давались...

И, точно вспомнив какое-то особо забавное событие, Хондамир улыбнулся несколько загадочно. Бабур в ожидании разгадки изобразил на лице чрезвычайный интерес.

Хондамир был довольно молод, роста среднего, но портила его преждевременная тучность — следствие постоянной сидячей работы. Мясистыми пальцами он погладил надбровье и начал рассказывать — солидно и с удовольствием:

— Мир Алишер осчастливили нас — закончил «Хамсу» и дал книгу для прочтения султану Хусейну, который был, как вам о том ведомо, утонченным ценителем поэзии. Прочитав «Хамсу», наш повелитель призвал Мир Алишера во дворец и во всеуслышанье поздравил его. У Хусейна Байкары... был очень дорогой конь, он любил его больше остальных. Вот он и повелевает: «Главный конюший, приведите нам белого коня!» Мир Алишер с удивлением подумал: «Неужели хотят подарить мне такого коня?» Султан Хусейн, глянув на Мир Алишера, молвит: «Вы в поэзии с этой поры мой наставник, я же хочу быть вашим мюридом». Мир Алишер в смятении отвечает: «Повелитель, наставник наш —

вы, я ваш мюрид». Тут приводят белого коня в раззочленном убранстве. Хусейн Байкара, улыбаясь, спрашивает: «Должен мюрид выполнять волю своего мюршида?» Мир Алишер, конечно, отвечает утвердительно. Тогда первый приказывает: «Садитесь на этого коня!» Противиться воле падишаха — нельзя. Мир Алишер приблизился к коню. Но у этого белого злой норов, — никому, кроме султана, не давал садиться на себя, тотчас сбрасывал с седла. Только Мир Алишер подошел — конь начал храпеть, крутиться и подниматься на дыбы. Султан Хусейн намотал на руку поводья, окликнул коня: «Стой спокойно!» И вот когда конь успокоился, Мир Алишер сел в седло. Придворные замерли, — ну, начнет сейчас выплясывать. Что будет, что будет? А было вот что: султан Хусейн, не отпуская поводьев, зашагал по двору, ведя лошадь. Все впали в изумление, конечно, а Султан Сохибкирон обратился к Навои, сидевшему в седле: «За великую «Хамсу», написанную по-нашему, по-туркски, да буду я всегда поводырем вашего коня!» Все онемели, сам Мир Алишер был до того поражен, что чуть ли не лишился чувства: пришлось слугам снять его с коня... Вот ведь и так бывало, повелитель...

— Кажется, я понял вас, мавляна, — задумчиво произнес Бабур после некоторого молчания. — Там, где завистливая бездарь лишена возможности губить таланты, а щедрые душой открывают им пути, — там-то и можно достичь вершин совершенства, правда?

Бабур точно и ясно выразил сокровенные стремления души Хондамира; историк почувствовал, что в этом венценосце-андижанце обрел единомышленника, и обрадованно сказал:

— Я покорен вами, повелитель мой! Великие люди были Мир Алишер несравненный и Султан Сохибкирон, и при них солнце Герата стояло в самом зените! Но, увы, — достигнув своей высшей точки, солнце начинает скатываться долу. Сердце мое содрогается от страшного предчувствия: Герат низвергается в пропасть... Что нам делать? Как избежать надвигающейся тьмы?

Хондамир предвидел, что истребительные войны из Мавераннахра выплеснутся — вместе с войском Шейбани-хана — в Хорасан, они приближаются к Герату. Не лучше ли других ответит на мучительные вопросы Бабур?

— Ваши опасения не напрасны, мавляна. — Бабур

согласно покачал головой.— Покой Герата напоминает и мне временную тишину, она устанавливается перед страшным ураганом. Ташкент, когда я пришел туда в последний раз, был очень похож на сегодняшний Герат. Через тысячи напастей, вырвавшись, можно сказать из преисподней, достиг я Ташкента. Когда же сказал своему покойному дяде Махмуд-хану: «Чтобы эти напасти не обрушились и на вашу голову, нам надо действовать сообща»,— он посмеялся надо мной язвительно и опрометчиво, ведь был он из числа серых, бесталанных людей. И завистлив был предостаточно. Вам известно, как растоптал Махмуд-хана Шейбани.

— Неужели такое повторится и в Герате, мой повелитель?

Бабур не ответил — все смотрел и смотрел в даль, мутнью от висящей в воздухе пыли, туда, где к северо-западу от Герата простирались пески пустыни Соки Солман.

Хондамир знал, что задача Бабура в Герате — сплотить всех оставшихся от Тимурова корня, создать прочный их союз против Шейбани-хана. Об этом уже дней двадцать идут во дворце беседы. Втайне, конечно.

Хондамир хотел быть тактичным:

— Мой повелитель, я не смею посягать на тайны государств, на то, чтобы знать, о чем советуются друг с другом властители. Только ведь опасности общие...

— Мавляна, здесь мы одни,— перебил историка Бабур.— У меня нет тайн от вас.— Помолчал и резко сказал: — Вы знаете, на гератском троне сейчас сидят одновременно двое — два брата.

— Да, знаю. По закону трон принадлежит Бадиуззаману, но сторонники Хадичи-бегим провозгласили Музаффара-мирзу вторым властелином. Редко видим в истории подобное!

Чувствовалось, что Хондамир недоволен таким ходом событий. Бабур более сдержанно продолжил:

— Так вот... Каждый из двух ваших шахов бесподобен в гостеприимстве, в искусстве вести любезные беседы, устраивать роскошные пиры. Но к битвам, к сражениям, душа у них не лежит! Сужу о том по опыту. Когда мы встретились с ними у Мургаба, произошло нечто странное... Пришло известие, что отряд Шейбани вторгся в долину Чечекту, — это ведь уже ваш Хорасан. Сам хан с главным войском находился за Амударьей. Нам до Чечекту было ближе, чем хану. Я сказал,

что если в Чечекту пятьсот — шестьсот вражеских воинов, то нечего медлить, давайте быстро двинемся туда и накроем захватчиков — и тогда другим отрядам хана-разбойника неповадно будет забегать в Хорасан. Но... Бадиуззаман-мирза пожелал, чтобы в Чечекту отправился младший брат, Музаффар-мирза. Вам известно, что у каждого из них свои визири, свои слуги, свое войско, свои полководцы. А Музаффар-мирза никогда не воевал, оробел, не посмел двинуться в Чечекту, заявил: «Пусть отправляется наш старший брат, мы будем защищать другие границы». А Бадиуззаман-мирза? Как мне кажется, он рассудил так: «Если я пойду, то могу ведь и погибнуть в бою, тогда брат один займет престол!» — и тоже не захотел отправиться в Чечекту. Их долгих препирательств я не выдержал, сказал: «Если позволите, высокородные, я со своими джигитами пойду прогоню врагов». Братья переглянулись и, видимо, постыдились людского суда. «Вы гость,— сказали они.— Лучше поедем вместе в Герат». Гостеприимством меня одарили, а Чечекту остался в руках Шейбани. Не странно ли сие, мавляна?

Хондамир тяжело вздохнул:

— Судьба отворачивает свой лик от Герата, повелитель... Какие тучи сгущаются над нами, лучше всех знаете вы. Так полагает и мавляна Бехзад. Все достойные люди Герата, те, кто болеет душой за город, глядят с надеждой на вас. Может быть, вам удастся убедить наших правителей, насколько велика опасность, и тогда удастся объединенными силами предотвратить беду.

— Не знаю, мавляна, не знаю.— Теперь Бабур глядел в пол.— Вскоре я снова должен встретиться с обоими вашими венценосцами.

— Да сопутствует вам успех, мой повелитель!

— Благодарю... Но не знаю, не знаю...

Спускаясь с минарета, Бабур бросил неприязненный взгляд на вознесенную над холмом огромную внутреннюю цитадель гератских венценосцев.

3

Должно быть, оттого, что осень выдалась теплая, венценосцы и знать, близкая к ним, проводили время в загородных садах.

В Белом саду — так называли беломраморный дво-

рец в северо-западной части города, знаменитый со времен Сохибкиона Шахруха дворец Боги Софид,— Музаффар-мирза устроил роскошное пиршество в честь Бабура. Искуснейшие повара Герата колдовали над шашлыками из нежного сайгачьего мяса; вкуснейшие блюда с неотразимым ароматом тмина и других приправ одно за другим подавались на верхний ярус дворца, расписанный золотыми узорами особенно красочно. Близ входа сидящие музыканты тихо наигрывали мелодии, от коих сладко млеет душа; и знаменитые певцы Герата, не повышая голоса, тянули что-то проникновенное, приятно-грустное.

Пир был в разгаре. К Бабуру подошел кравчий и, опустившись перед ним на колено, налил из кувшина в золотой бокал вино майноб, сильное и пряное, набиравшее силу и пряность двадцать лет. Бабур еще никогда не пил вина. Но сейчас — от песен ли и мелодий, от общего ли настроения своего печально-подавленного — ему вдруг захотелось опорожнить протягиваемый кравчим бокал; Бабур привычно взглянул на Касымбека, сидевшего рядом.

Касымбек Кавчин, с разрешения Бабура ушедший в Гиссар, в прошлом году вместе со своими нукерами вернулся к нему на службу; в Кабуле он снова стал ближайшим бабуровским советником. Касымбек сам был человеком богобоязненным, ни разу не испил вина и старался не допускать к горячительным напиткам Бабура.

— Мой повелитель, — зашептал Касымбек, — на пиру у Бадиuzzамана-мирзы вам тоже предложили майноб, но вы не выпили, помните? Если выпьете сейчас, то старший брат, о том прознав, может обидеться.

Слова эти заставили Бабура снова погрузиться в сложные, запутанные дела, связанные с братьями-гератцами. Подавив желание попробовать майноб и взглянув на Музаффара, Бабур сказал:

— Высокородденный мой мирза, прошу извинить меня. Я в жизни не пил вина!

Бабур боится выпить майноб? Музаффар-мирза расхохотался неприлично громко и пьяно-развязно.

— Мой дорогой гость, неужто в Андижане и Самарканде не ведают восторгов, даруемых вином? Чему же вы там радуетесь?

— О мой мирза, эдакой радости более чем достаточно и в Самарканде, и в Андижане. Но вашему по-

корному слуге хватало других забот и... восторгов... Те же мои извинения принял и ваш брат Бадиuzzаман-мирза, его не удивило, что я чту шариат...

При упоминании имени Бадиuzzамана Музаффар стал серьезней... Он тоже в конце концов чтит шариат! Не хочет этот андижанец пить, ну, так глупец, а уговаривать его не будем,— и по знаку мирзы кравчий ловко передал бокал, предназначенный для Бабура, Зуннунбеку Аргуну, визирю Бадиuzzамана-мирзы, приглашенного сюда, чтобы люди не думали, будто младший брат что-то злоумышляет против старшего!

Беселье набирало силу. Все чаще выходили на середину зала и начинали танцевать опьяненные беки. От хохота, вызываемого знаменитыми асиябозами Мир Сарбараҳной и Бурхан Гунгом, казалось, богатая лепка вот-вот рухнет с потолка.

Не так много времени прошло после смерти Хусейна Байкары, а лучше сказать — совсем немного, и вот его сыновья предаются такому бездумному веселью. А Шейбани — уже на границах Хорасана.

Касымбек, стремясь подавить свою злость, чтобы она не выплеснулась, не была распознана глупцами в весельчаками, шепнул Бабуру:

— С этим подшившим молодым шахом вы уже не поговорите, повелитель. Да и не волен он, всем Хадича-бегим распоряжается. Пойдемте, встретимся с его матерью.

— Неуважительно уйти до окончания угощенья, разве нет?

— Ваш покорный слуга обо всем договорился, бегим с нетерпением ждет вас...

Когда состязание асиябозов кончилось и смех поутих, Бабур попросил разрешения у Музаффара-мирзы посетить бегим.

На всех трех ярусах огромного беломраморного дворца горели свечи. Бабур, Касымбек, Зуннунбек и сопровождающий их бек Бурундук (из близких Музаффара-мирзы) по мягким красивым коврам поднялись на самый верх. Обдумывая предстоящий непростой разговор, Бабур тем не менее шел и внимательно рассматривал изящные росписи на стенах — их сделали по приказу Шахруха для его сына, Байсункура, не равнодушного к искусству красок и линий.

Хадича-бегим встретила Бабура в самой богатой своей приемной. Не без умысла усадила его поодаль от себя, рядом со столиком, шесть ножек которого были вызолочены (настоящее золото!), а полированный верх разукрашен вставным перламутром. Бегим сидела прямо, выглядела для своих сорока пяти стройной и женственной; за ее спиной, на самом видном месте приемной, сверкал необычный розовый куст — с золотыми стеблями, изумрудными листьями и розами из рубинов. Золотой соловей сидел на веточке розы и держал в клювике ярко сверкавший бриллиант. В шелковых занавесях на дверях и окнах тоже посверкивали маленькие драгоценные камни.

Хадича была в серебристо-черном платье без украшений, лишь голубоватая конусообразная шапка на голове посыпала в глаза тому, кто смел бы посмотреть на бегим прямо, свет редких жемчужин. Величественна, богата, но — скромна! Женская свита ослепляет пестротой нарядов, сама же правительница показывает, что придерживается иных вкусов и выше роскоши ставит разум.

Бабур, несколько опешив, не мог начать разговор, да и как говорить о сложных и тайных заботах государственных в присутствии этих... разряженных. Хадича-бегим улыбнулась спокойно-снисходительно.

— Мой мирза, вы наш родственник. А это — снохи мои, собеседницы, глубоко почитающие нас.— И вдруг добавила быстро, играво: — Так что начинайте-ка беседу, не стесняйтесь.

— Благодарю вас,— только и выдавил из себя Бабур.

Свечи горели неярко: глаза и лица женщин, полу-скрытые тонкими белыми покрывалами, трудно было различить. Но покрашенные хной нежные руки, высокие груди и тонкие талии в плотно облегающих шелках говорили о том, что женщины молоды. Самая, по слухам, прелестная из жен Музффара-мирзы и неутомимая в любви — Каракуз-бегим, приблизив губы к ушам свекрови, сказала ей что-то и тихо рассмеялась. Хадича-бегим тоже засмеялась, только громко и озорно, вскинула голову и сказала Бабур:

— Мой мирза, красавицы Герата из знатных и даже венценосных семей, говорят, заглядываются на вас. Но, оказывается, такой отважный шах, такой красивый

удалец, такой даровитый поэт живет без гарема, холостяком. Правда ли это?

— Бабур покраснел, отвел взгляд: при чем тут его гарем, его холостяцкая жизнь, ведь все ей известно, а спрашивает.

— Высокородная бегим, это правда.— Добавил, превозмогая неловкость: — Так, очевидно, было предписано мне судьбой.

— Э, мирза, теперь судьба будет благосклонна к вам, я думаю. Останетесь в Герате, станете братом Музаффара-мирзе. И вы, и он — из тимуровского корня. В Герате найдем красавиц умниц, достойных вас. Женим... такой великолепный свадебный той зададим!

В этих игривых шуточках есть серьезное, Бабур, весьма серьезное! Бабур легко понял, в какую западню тащит его вроде бы невинными словами хитрая и осторожная Хадича. Стать братом Музаффара-мирзы — значит стать его, и только его, сторонником. Хадича некогда вдохновила убийца мирзы Мумина, внука султана Хусейна. Теперь она, видно, помышляет освободиться от Бадиuzzамана, чтобы ее сын был единственным обладателем гератского престола. Если Бабур станет братом Музаффара, то кто, как не он, Бабур, должен помочь бегим осуществить эту ее цель?

— Благодарю вас за вашу заботу, высокородная повелительница,— сказал Бабур притворно-смириенно.— Но есть у всех у нас одно препятствие...

— Какое же, мой мирза?

— Извините гостя, но разговор о нем не для нежных женских ушей... извините...

Бабур опустил голову. Хадича-бегим вытянулась в кресле еще прямее, повела глазами. Женщины, степенно кланяясь, удалились.

После этого Бабур, медленно загораясь, заговорил совсем об иных, не брачных делах — о том, что нападение Шейбани-хана на Герат неотвратимо, что сейчас надо думать не о тоях, не о празднествах и свадьбах, а готовиться к борьбе не на жизнь, а на смерть.

— Шейбани захватил огромные пространства от Андижана до Хорезма, от Мерва до Туркестана, он собрал неисчислимое войско. Я знаю, как упорно готовится он к каждой войне. И когда потом стремительно бросает свои полчища в битвы, даже наиболее храбрые и умелые не могут устоять... Я это видел сам, своими глазами!

Бабур приводил все новые доводы, доказывающие военную силу и жестокость Шейбани-хана. Хадича-бегим наконец потеряла терпение:

— Как отвратить от нас эту напасть, вот о чем скажите, мой мирза?

— Есть лишь одно средство — объединить тех, кто происходит из Тимурова корня, крепко объединить всех! Повсюду, где еще властвуем мы, надо собирать войска, обучать их, чтоб получить единое войско в пятьдесят — шестьдесят тысяч. Обучать их всю зиму и под единным началом вести на бой!

— А кто должен стать этим «единым началом»? — насторожилась Хадича.

Касымбек бросил быстрый взгляд на Бабура. Для него-то было ясно, что лучшим вождем этого войска мог быть только Бабур. И сам Бабур знал это и хотел этого. Но исстари известно: у кого войско, у того и власть. Объединенного войска ему не дадут, а к власти Хадича-бегим не допустит никого, кроме сына.

Бабур, чтобы смягчить ее, мог бы сказать: «Пусть главнокомандующим будет Музаффар-мирза!» (а он сам при нем главным советником), но здесь, в покоях Хадичи, находился Зуннунбек — визирь второго шаха, Бадиuzzамана. Распиря между братьями и так уж зашла очень далеко!

— Кто осуществит «единое начало», о котором я говорю, — должны решить венценосные братья. Надо кончать пировать, бегим, сосредоточить все внимание на обороне государства. Дорог каждый день, высокородная.

Хадича-бегим обратилась к гератским бекам — каким будет их мнение?

Зуннунбек нахмурил кустистые брови, отчего они стали торчком, пристально посмотрел на Бабура:

— То, что наш гость, высокородный мирза, предупредил нас о кознях Шейбани-хана и его силе, хорошо. Но я уверен: сабля Шейбани-хана, оказавшаяся победоносной в Мавераннахре, несомненно, будет сломана в Хорасане, коли он сунется сюда. Я, повторяю, в этом уверен, повелительница, а потому полагаю, нет повода для излишних тревог и опасений!

Было заметно, что эти слова Зуннунбека пришлись по душе Хадиче-бегим.

— Да сбудется ваше предсказание о сломанной сабле Шейбани, уважаемый бек! Но есть ли основания для

такого суждения? — спросил Бабур, все еще удивляясь беспредельной наивности и самомнению людскому.

— Это ведь сужу не я, мирза, так судят самые почитаемые провидцы Герата и святые шейхи.

И Зуннунбек перевел взгляд, просительно и робко, на Хадичу-бегим. Женщина, снисходительно улыбаясь, разъяснила:

— У Герата, мои дорогие гости, есть знаменитый провидец по имени Кутб. До сих пор все, что предсказывал Кутб, сбывалось. После того как уважаемый Зуннунбек стал визирем, Кутбу приснилось, что саблю Шейбани-хана сломает именно он, эмир Зуннунбек. Наши достопочтенные звездочеты по распоряжению светил подтвердили это предсказание... — Хадича совсем уже широко разулыбалась, Бабиру почудилось даже, что она подсмеивается в открытую над «мудрым» визирем. — После всего этого наши шейхи повесили на плечо Зуннунбека ленту, освященную молитвами, и все теперь стали прибавлять к его имени слово «хизабрулла».

«Хизабрулла» — по-арабски «тигр аллаха», «лев аллаха», стало быть, «непобедимый», «всегда побеждающий». Бабур хорошо знал игру многих смыслов в арабских словах. Ах, как обманчиво звучат арабские прозвища — добавления к титулам! Бабур не сдержал язвительной усмешки.

— О, кто посмеет усомниться в том, что высокочтимый Зуннунбек истинный хизабрулла! И высокородная бегим к месту помянула светлых мулл и мудрых предсказателей. Мне вспомнились те дни, когда в Сарипуле я пошел один и в открытую на Шейбани. Вот уважаемый Касымбек тоже был там, может подтвердить, — святые и звездочеты, знатоки небесных знамений, говорили нам тогда: «Над вашим плечом счастливое в сей миг сочетание восьми звезд, если завтра пойдете в бой, то победа будет несомненно ваша!» Увы, они не дали нам с Касымбеком прозвища хизабрулла, мы же без этого поверили им и, не дожидаясь подкреплений, вышли в поле... И проиграли битву, потому что были одни, — уже без иронии сказал Бабур. — И до сих пор пожинаем плоды этой нашей ошибки.

Лицо Хадичи-бегим омрачилось, губы она плотно сжала. Зуннунбек возразил заносчиво:

— Мирза, провидцы Герата не похожи на звездочетов Самарканда! В таком великом городе, как Герат,

никто не повторит ошибки, допущенной в Сарипуле!

«Однако он просто глуп», — подумал Бабур.

Бурундук попытался успокоить вышедшего из себя визира:

— Уважаемый Зуннунбек, наш высокий гость прибыл из этакой дали, как Кабул, желая нам добра. Положение наше и впрямь опасно, правда и то, что надо думать о противодействии Шейбани-хану и не откладывать с этим.

Хадича-бегим решила не становиться сейчас на сторону кого-либо из визирей, а ласково урезонить всех:

— Высокочтимый Зуннунбек, вам должно понять, что и в самом деле нельзя предаваться беспечности. Но нашему Бурундуку не должно забывать: человек, потерпев много поражений, склонен преувеличивать опасность. Так поступает, помимо своего желания, наш дорогой гость... Мой мирза, не тревожьтесь сверх меры: если Шейбани-хан посмеет посягнуть на Герат, это будет гибельно для него самого!

— Удивляюсь тому, что Хадича-бегим, так много повидав на своем веку, верит льстивым предсказаниям шейхов, — сказал на другой день Бабур Бадиуззаману.

Мирза Бадиуззаман, осанкой и прищуром глаз напоминавший своего отца, Хусейна Байкару, улынулся пренебрежительно:

— Не удивляйтесь. Что там ни говори, женщина всегда остается женщиной: волос долг, ум короток.

— Но эта близорукость может повлечь за собой тяжкую беду...

— Что поделаешь? Мой любимый сын мирза Мумин погиб из-за ее злоказненного нрава!

— О повелитель, забудьте же эту тягостную ошибку, — ведь, говорят, ваш отец был тогда не в себе от опьянения!

— Не могу забыть, не могу... Виноват не мой покойный отец! Султан Сохибкирон безмерно любил внука, знал наизусть его стихи... Сперва-то отец очень любил и меня. Ведь я, именно я, для него был наследник престола! Хадича-бегим изыскивала пути, чтобы сделать нас врагами. И когда мирза Мумин сражался с ее сыном, а моим, увы, братом кровным Музаффаром-мирзой и попал в плен... к дяде попал в плен, не к чужому!.. этот путь нашелся... она убила его приказом опьяненного

шаха и тем самым превратила меня и отца моего в не-примиримых врагов. После этого сын Хадичи-бегим, мой кровный братец Музаффар-мирза, стал наследником престола. Вместо меня!.. Сегодняшнее положение также изобретено этой коварной женщиной! Я знаю: бегим считается со мной временно, ждет удобного случая, чтобы погубить меня и сделать единственным шахом Герата Музаффара-мирзу!

Бабур решил напомнить Бадиuzzаману о Шейбани-хане, спросил, есть ли о нем новые вести?

— Хан взял Хорезм и вернулся в Самарканд...

— Значит, теперь очередь Хорасана. Хан пойдет сюда, — уверенно произнес Бабур.

— Так сразу и пойдет?.. Неужто не отдохнет год-другой после похода на Хорезм?

Да, гератский совластиelin толком ничего не знает, нет, видно, у него лазутчиков в стане врага. Совластиeli-братья следили только друг за другом. Что им Шейбани-хан, смертельный враг Тимуровых отпрысков? Бабур, не переставая удивляться этой слепоте, еще раз попробовал вразумить Бадиuzzамана:

— Повелитель, я на своем опыте знаю, сколь предусмотрителен и коварен Шейбани-хан. Не сомневаюсь, что тайные люди хана пребывают в Герате в облике дервишей или купцов и передают ему в Самарканд нужные сведения.

Бадиuzzаман почувствовал невысказанный упрек Бабура в беспечности. Отшумелся:

— Э, мой мирза, может быть, ваши тайные люди получили более свежие сведения из Самарканда?

— Я почитаю вас как отца, поверьте. Я, ваш гость, знаю по собственному опыту, как умеет Шейбани использовать... беспечность своих противников. Его не ждут, а он, оставив одно, уставшее после похода, войско в захваченной области, сразу же отправляется в новый поход с войском, которое до этого находилось на отдыхе. И неожидавший не успевает сбраться с силами. У Шейбани вся сила в том, что он сражается, сплотив вокруг себя всех братьев, всех родственников, способных чем-либо помочь ему... Перед таким опасным врагом мы, отпрыски Тимура, должны забыть свои распри. Если мы тоже не сплотимся, не подготовимся к борьбе под началом одного полководца, случится беда!

— Под началом одного полководца, говорите? А кто же им станет, а, амирзода?

Бабуру теперь стало ясно — каждый из братьев говорит в душе: «Если не мне, то и не ему!» И пусть государство, за которое они грызутся друг с другом, достается не им и не их двоюродному брату Бабуре, а какому-нибудь чужаку, если уж так повелит судьба.

— Неужели и в бой вы хотите идти по отдельности? — спросил Бабур.

— А как же иначе? У каждого свое войско, свой эмир. Я не верю Музффару-мирзе. Но с вами готов идти в любой бой. Мой высокий гость, оставайтесь в Герате! Будьте моим полководцем. Что надо, все сделаем.

Только в этом сходятся братья: каждый хотел бы, чтоб опытный в ратном деле Бабур со своими беками и нукерами остался в Герате и, когда настанет опасный час, вышел бы на поле битвы против Шейбани именно с ним, а не с братом.

Двоевластие сыновей Хусейна Байкары представилось вдруг Бабуру кораблем с дырявым дном. Зачем ему оставаться на таком обреченнем корабле?

4

Мулла Фазлиддин наконец собрался с духом и пришел к Бабуре в Унсию. Обычно после полуденного намаза градус житейской суеты падает, на сей раз чувствовалась суета в Унсии. Нукеры и слуги готовились в дальнюю дорогу.

Тахир повстречал дядю в крытом переходе, озабоченный и деловитый:

— Э, слава аллаху, вы сами пришли, дядя мулла!

— А в чем дело, что у вас тут происходит, племянник?

— Вам могу сказать: завтра поутру уходим из Герата.

— В Кабул?

— Да. Но братья-шахи не должны знать об этом. — Тахир перешел на шепот. — Для них мы собираемся... перезимовать за пределами города.

Фазлиддин как-то сразу сник, со вздохом пожаловался:

— Оставляете, значит, нас снова, сирот беззащитных...

— Как зима кончится, так и вы переезжайте в Ка-

бул. Ведь прошлый раз при встрече сам мирза Бабур пригласил вас к себе.

— Легко ли переехать, племянник? Месяц или даже сорок дней пути. А я человек семейный...

Грустным направился Фазлиддин к Бабуру. У резной позолоченной двери обширного зала, бывшего некогда приемной Навои, стоял страж. Видно, он был предупрежден о приходе мавляны. Перед Фазлиддином тотчас распахнулись двери.

Мавляна сразу же узнал людей, которые сидели в глубине зала, беседуя с Бабуром. Один из них — поэт Мухаммад Султан, человек лет сорока пяти, безбородый: он не раз беседовал с Навои. Чуть ближе сидел, скрестив ноги, Султан Али Машхади, отменный каллиграф. По правую руку от Бабура сидели Камалиддин Бехзад и Хондамир.

Бабур поднялся с курпачи, поздоровался с вошедшими. Поднялись с места и остальные. Зодчий хотел примоститься на самое скромное место полукруга, но Хондамир, самый молодой здесь, не считая Бабура, произнес:

— Вы соотечественник нашего высокого гостя-повелителя,— и усадил его между собой и Бехзадом, ближе к Бабуру.

И тот же Хондамир, продолжая, должно быть, речь, прерванную приходом зодчего, стал говорить:

— Что за превратности судьбы! Мой повелитель, вы восхищены процветанием искусства в Герате, его замечательными талантами. Мы же горюем оттого, что в сегодняшнем Герате нет такого, как вы, просвещенного и талантливого шаха!

Бабур не захотел, чтобы задето было достоинство братьев-совластителей,— как-никак, именно они принимали его с большими почестями:

— Мавляна, я полагаю, что и сегодня в Герате просвещенные правители.

На худощавом, тонко очерченном лице Бехзада с коротенькой курчавой бородкой, очень шедшей художнику, заиграла насмешливая улыбка:

— Да, мой повелитель, в Герате иначе много если не просвещения, то света.— Художник поднял взгляд на Бабура.— Знаете почему? Если один из наших повелителей — солнце, другой — луна. Среди гератцев сейчас распространилось одно стихотворение такого содержания: Хусейн Байкара был истинный шах, он одержи-

вал победы в настоящих боях. Его сыновья сидят на двух престолах. «Я луна», — говорит один из них, «я солнце», — заявляет другой, — день и ночь соперничают они друг с другом. Их взаимная борьба напоминает борьбу двух шахов на игральной доске, не в пример своему отцу, они не настоящие шахи, а всего лишь шахматные фигуры...

Бабур невольно рассмеялся:

— Воистину вражда братьев похожа на шахматы!
— Беда лишь в том, — Хондамир ни разу не улыбнулся, — что в этой игре они проигрывают Хорасан! И втолковать им это никакими словами невозможно.

Глаза поэта Мухаммада Султана мятежно сверкнули:

— Втолковать можно — только не словами, а саблей!

Хондамир бросил беспокойный взгляд на дверь. Наперсники гератских властителей умело следили некогда за Навои, они могли подслушать сейчас Бабура.

Чтоб увести беседу подальше с опасной стези, Султан Али Машхади вынул из кожаной сумки, при нем находившейся, стопку глянцевых бумажных листков.

— Ваш покорный слуга принес переписанными некоторые газели высокого гостя.

Шелковисто-гладкие листки переходили из рук в руки. Каллиграф был воистину искусен: тонкие начертания букв полны были трепета и изящества. Хондамир пробежал глазами строки первой газели.

— О! Поглядите-ка! — восхликал с изумлением. — Как просто и красиво! Многие поэты обожествляют возлюбленную, наделяют ее какими-то сверхъестественными качествами: она — и пери сказочная, и спасительница души, и избавительница от сердечных мук. Наш мирза отвергает эту надоевшую славость преувеличений!

В мире, Бабур, кроме себя, друга душе своей ты не нашел. Свякнувшись с собой, с жизнью такой — верной любви ты не нашел. Тайны свои только себе, только себе впредь поверяй... Мир обошел — возлюбленной нет. Чтоб по душе была — нет, не нашел!

— И смелые слова! — Бехзад восхищенно смотрел на Бабура. — Вы правы тысячу раз, повелитель! Человек только себе должен верить, только на себя надеяться!

Поэту Мухаммаду Султану понравился бейт из другого стихотворения. С горячим чувством он прочитал:

Второго, как я, любящего, верного любимой,— нет!

Страданьям моим сострадающей, второй такой любимой — нет!

Фазлиддин вздохнул, тихо произнес:

— И мою боль выразил этот бейт...

Бабура смущили похвалы.

— Друзья! Благодарю бога, что встретился и беседую с такими знатоками поэзии, как вы,— голос его неестественно напрягся.— Строчки, которые начертал я кое-как, черным по белому, пришлись вам по душе не из-за меня больше, а благодаря несравненному искусству мавляны Машхади, подлинного мастера каллиграфии. Если позволите, я дам на память каждому из вас по отдельной и особо переписанной странице со своими газелями.

— Воистину по-шахски вы одариваете нас! — не скрыл радости Хондамир.

И Хондамир, и Бехзад, и Мухаммад Султан — каждый, приняв подарок, в знак глубокого уважения к поэту и к каллиграфу прикладывал листок к глазам, как что-то дорогое и святое. Последний листок Бабур протянул Фазлиддину:

— Мавляна, мы с вами не просто соотечественники, мы болеем одинаковой болью.

Мавляна Фазлиддин принял газель, приложил листок к глазам, ответил искренне-взволнованно:

— Верю: газель эта, написанная в Герате, очень скоро достигнет и Самарканда, и Андижана. Да поможет бог моему повелителю и всем нам, живущим вдали от родины, достичь ее вслед за этими газелями!

— Да осуществляются ваши слова, мавляна!

Бабур призвал Касымбека, и тот надел на Султана Али Машхади парчовый чапан с золотыми пуговицами.

— Мой повелитель,— сказал Хондамир.— Да свершатся великие и благородные помыслы ваши, да будет всегда вдохновлять вас великий дух Мир Алишера!

Все присоединились к этому пожеланию, молитвенно провели ладонями по лицам.

Когда все они рас прощались, Бабур на миг задержал зодчего:

— Может быть, в будущем году я увижу вас в Кабуле, мавляна?.. Правда, у нас еще нет возможности строить большие здания — Кабул сейчас по сравнению

с Гератом окраина. Но уповаем на бога, судьба улыбнется и нам...

— Принимаю ваше приглашение с благодарностью! — мулла Фазлиддин поклонился.

Всходило солнце, когда Бабур со свитой проезжал по одной из загородных гератских улиц, обрамленных пышными садами. В их зелени за кирпичными стенами притаились — редко — дворцы с куполами в изразцах, чаще же — дома-усадьбы для летнего отдохновения гератской знати. Вдруг из-за одной высокой стены кто-то перебросил небольшой букет роз. Один алый цветок упал прямо на гриву буланого, на котором сидел Бабур, и зацепился своими шипами. Бабур поднял голову и увидел, как над стеной мелькнуло миловидное лицо молоденькой девушки, с бровями вразлет, в низко надвинутой цветастой конусообразной шапке. Бабур склонился к шее коня, осторожно извлек цветок из густой гривы и поднес его к губам...

Стояла поздняя осень; вдали, на вершинах хребта Занджиргох, уже прочно лежал снег. А роза так сильно пахла! И разве не чудо — самый ее расцвет в это время? Бабур движением поводьев остановил коня, уперся ногами в стремена, приподнялся в седле, вытянув шею, посмотрел на верх стены. Вот снова появилось лицо девушки, он различил, что у нее черные глаза — и какие живые, искристые!

Ему и прежде приходилось проезжать этой улицей. Девушка, должно быть, видела его раньше. Сейчас она замигала длинными ресницами, лицо всыхнуло, исчезло, миг спустя возникло снова — смущенное и еще более милое из-за этого смущенья. Здоровалась или прощалась она с ним? И сколько ей лет — восемнадцать, наверное, не больше? Какая же она очаровательная!

Бабур стоял у стены, не зная, что делать, — пока и другие всадники, заметив девушку, не остановили своих коней. Среди тех, кто сопровождал Бабура, был добродушный Юсуф Алибек — градоначальник Герата. Он-то и узнал девушку, сказал, улыбаясь удивленно:

— О-о, Мохим, сладенькая ты наша, вон уже какой большой стала!

Девушка точно опомнилась — покраснела еще пуще, кольнула Бабура взглядом, исчезла — теперь уже без возврата.

И Бабур раскраснелся от внутреннего жара, глаза сверкали, он поспешил накинулся на Юсуфа Алибека:

— Кто? Кто она? Скажите — кто? Чья?

— Мой мирза, эта усадьба принадлежит дальнему родственнику султана Хусейна. Отец этой девушки был одним из близких к Хусейну Байкаре, да и мы хаживали друг к другу.

— Сейчас они живы?

— Живы, но... отстранены от государственных дел.

— За что?

— Не знаю, но... братья-шахи не очень-то жалуют его... Так мне кажется. И насколько я слышал, он собирается уехать из Герата не то в Кандагар, не то в Газни...

Все дальше удалялся Бабур от девушки по имени Мохим. Он вдруг подумал об этом с острый, вихрем закрутившим его сожалением. Пробыть в Герате двадцать дней и почему-то лишь сегодня, перед тем как покинуть город, встретить Мохим?

Бабур взглянул на цветок, который все еще держал в руке. Кажется, рука сама поднесла его сначала к губам, потом к шелковой чалме, намотанной на голову; тонкий и крепкий стебелек будто сам нашел себе там место. Красное пятнышко на белом — и красиво, и не очень бросается в глаза.

5

Зима прошла спокойно. А в середине весны Шейбани-хан с пятидесятитысячным войском перешел Мургаб и вторгся в пределы Хорасана. К тому времени Бадиуззаман-мирза и Музаффар-мирза, каждый со своим войском и со своим полководцем, пребывали в вялом бездействии на севере от Герата в Кора-Рабате и Тарнобе.

Конница Шейбани во главе с Убайдуллой Султаном и Тимуром Султаном пикой вонзилась в середину расположения гератских войск. И Бадиуззаман, и его брат вместе с большинством своих беков бежали без оглядки. Только Зуннунбек Аргун, Хизабрулла, веря в то, что именно ему суждено сломить саблю Шейбани-хану, с тысячей нукеров вышел навстречу Убайдулле и сражался, надо признать, мужественно, до последнего дыхания. Но очень скоро Убайдулла Султан взял верх.

Зуннунбека в сече скинули с седла: отрезанную голову его доставили среди прочих трофеев в ставку Шейбани и швырнули под копыта ханского коня.

Бадиuzzаман первым прискакал к Герату с поля боя, но в город не въехал. Остановился на несколько часов в пригородном саду, дал коням отдохнуть, а затем до отказа нагрузил их золотом, серебром, драгоценностями. Жены и дети ждали его в городской крепости-арке. Но устрашенный врагами Бадиuzzаман-мирза не заехал даже за семьей. Сказал, чтоб Герат закрыл ворота, пусть будет осада, он, мол, скоро вернется с подкреплением. И бежал на юг в Кандагар.

Музаффар-мирза прибыл в Герат ночью и поступил точно так же, как брат. Вся разница была лишь в том, что остановился он в другом пригородном саду — не в Боги Джаканоро, а в Боги Сафид. Отышался. Подобно Бадиuzzаману, нагрузился богатствами. И не заехал в арк. В тех же почти словах распорядился закрыть внешние крепостные ворота Герата и держаться до его возвращения. А сам бежал на запад в Астрabad.

Шейбани-хан, получив в руки победу с легкостью большей, чем ожидал, быстро двинулся на Герат. В пятнадцати верстах к востоку от города на зеленой равнине Каҳдистан, знаменитой чудесным воздухом, разбил шатры. Шейх-уль-ислам Герата престарелый Тафтазани вместе с другими видными людьми решили не мучиться в безнадежной осаде и доставили хану-победителю ключи от города, конечно, вкупе с богатыми дарами.

Шейбани, упиваясь еще одной своей победой, блаженствовал на лоне весеннне-благостного Каҳдистана. И возжелал объятий новой красавицы. Громче всего гремела мольба о Каракуз-бегим,— это она самая прекрасная из гератских красавиц, она любимая жена Музаффара-мирзы. Хан хорошо знал, сколь прекрасны были в Ташкенте и в Андижане женщины, которых называли Каракуз-бегим. А какова гератская черноглазая?

О, воитель веры, халиф и имам Шейбани-хан, избави аллах, не хотел никакого насилия! Верный своей привычке, он написал коротенькую газель про свою заочную влюблённость в двадцатилетнюю бегим; посредник хана поэта Мухаммад Салих передал стихотворение красавице. Каракуз-бегим, донельзя разгневанная на Музаффара-мирзу за его малодушие, приняла хан-

скую газель вполне благосклонно. Остальные снохи Хадичи-бегим и она сама заперлись в Ихтияраддине — самой прочной цитадели Герата. А Каракуз отделилась от них и поехала в загородную усадьбу отца. Бегим выкупали в бане, нарядили невестой и в великолепной повозке, присланной ханом, повезли в Кахдистан.

К вечеру шейх-уль-ислам и верховный судья Герата были призваны в ставку Шейбани.

Хан, выглядевший сегодня моложе обычного, принял гератских знатоков шариата в помещении, устланном огромным шелковым ковром; узоры на нем силетались со строками благочестивых стихов. Мулла Абдурахим заявил гератцам, что на сегодня намечено бракосочетание Великого хана с Каракуз-бегим.

— На сегодня? — шейх-уль-ислам бросил растерянный взгляд на судью.

Каракуз-бегим все еще была законной женой Музаффара-мирзы. И пяти дней не прошло, как муж оставил ее. А ведь известно, хорошо известно по шариату, что женщина, являющаяся женой мусульманина, не имеет права вступать в брак с другим, пока не пройдет трех месяцев после развода. Сие предписание шариата строжайшее!

Шейх-уль-ислам пал ниц, поцеловал ковер, на котором стоял хан, но едва заговорил было об этом предписании, хан перебил его:

— Не учите нас шариату! Женоподобный муж бегим еще четыре месяца назад дал ей троекратный развод. А вы тут говорите о трех месяцах! Бегим четыре месяца как уже разведена! Неужто вы, все ведущие, не ведаете об этом?!

Ужас перед ханским гневом вновь поверг шейх-уль-ислама лицом на ковер; путаясь в своей белой бороде, снова поцеловал его:

— Ведаем, о великий хан!

— Ведаем! — сказал и судья-кази, целуя ковер.

Они и впрямь знали о том, что четыре месяца назад Музаффар-мирза, будучи во гневе на жену, выкрикнул опрометчиво троекратный развод. Но через три месяца снова помирился с Каракуз, и они, шейх-уль-ислам и кази, своими молитвами благословили примирение супругов. Но сказать об этом хану, пришедшему в ярость, охваченному, видно, еще и ревностью оттого, что при нем помянули имя молодого мужа бегим,— о, это было равносильно смерти!

Знатоки шариата стали спешно готовиться к тому, чтобы молитвами освятить законный брак хана и Каракуз-бегим.

Шейбани-хан украсил чалму рубинами и пушистым пером филина. Энергичной и горделивой походкой жениха прошел он в спальню бегим. В передней, что была удалена от спальни так, чтобы ничего не было слышно, кроме громкого призыва повелителя в случае нужды, остались бодрствовать старая госпожа смотрительница гарема, два старых, давно кастрированных раба и две рабыни, взятые с собой Каракуз-бегим.

В полночь вдруг с треском открылись двери спальни — и в распахнутом халате, в легкой белой тюбетейке появился в передней Шейбани-хан. Он был бледен, гневен, губы его дрожали.

— Она... оказывается, развратная! Наглая, бесстыжая!

Смотрительница гарема вместе с рабынями поспешила кинуться в спальню. Там на краю развороченной постели, закрыв лицо руками, сидела прекрасная Каракуз и, вздрагивая плечиками, сдавленно рыдала.

Что же случилось? Каракуз-бегим в любовном азарте позволила себе некую шалость — игру бедрами, похожую на египетский танец. Среди женщин высшей знати эту шалость называли «гальвира» — «ситечко». «Ах я, неразумная,— всхлипывала Каракуз,— я же хотела угодить хану». Пятьдесят шесть лет — не шутка, мужчину надо тогда вдохновлять на подвиг любви. А хан, оказывается, в этом не нуждался. Женившись много раз, потерявший счет женщинам и девушкам, с которыми разделял свое ложе, хан и не подозревал, однако, о подобном. Он сперва растерялся, потом вспомнил молодого мужа Каракуз-бегим, трусливого Музаффара, представил себе их вместе, предающимися гальвире, — и вдруг потерял мужскую силу. Яростно ругаясь, соскочил с постели.

Рабыни подтвердили госпоже смотрительнице гарема, что в этой шалости нет ничего зазорного, что она весьма в ходу среди знатных жен Герата и что бедная бегим желала сильнее понравиться хану. Смотрительница прониклась жалостью к молодой жене и все это изложила хану, пытаясь остыдить его гнев:

— О повелитель, виновата не столько неразумная

молодая бегим! Виноваты те, кто научил ее непристойностям! Герат — это логово разврата!

— Этот город — гнездо рафизитов, предателей веры! — хан решил выместить свой гнев на другом человеке. Хадича-бегим — вот самая главная развратница Герата! Прежде всего ее надо наказать прилюдно.

Шейбани больше не зашел в спальню. Поручив смотрительнице гарема и евнухам вернуть Каракуз-бегим на путь приличия, удалился в другую комнату дворца; впрочем, до рассвета он так и не сомкнул глаз.

Утром призвал к себе в шатер военачальника Убайдуллу Султана, Мансура-бахши, дворцовых поэтов Мухаммада Салиха и муллу Бинойи.

Прежде всего учил допрос племяннику, Убайдулле Султану. Спросил сурово:

— Взята ли крепость Ихтияраддин?

— Великий хан, возьмем вскорости!

— Я тебе дал такое большое войско, а ты не можешь взять крепость, в которой заперлась одна развратница? Или взять ее мне самому?

Все поняли, что ночью с ханом что-то стряслось. Двадцатилетний, огромного роста Убайдулла Султан согнулся пополам в неуклюжем поклоне:

— Великий хан, возьму крепость сегодня же! Прямо сейчас пойду на приступ!

— На приступ! — передразнил его Шейбани. — Твое войско и так уже вытолпало посевы. А мы прибыли в Герат не гостями! Урожай нам самим понадобится! Беречь от потравы и сады! Сам же будешь и есть их плоды! — И без всякой связи закричал еще громче: — Нам надо истребить в корне весь Тимуров приплод! И давите шиитов хорасанских, предателей веры истинной!

— Все, что сказано, исполним, повелитель!

Отпуская Убайдуллу Султана, Шейбани сказал:

— Если собираешься взять арк сегодня, возьми с собой и Мансура-бахши! Он, бедный, снова ходит в холостяках. Не могут женщины вынести его силу, а вот Хадича-бегим, говорят, жаждет такого великана. Захватишь крепость, отдай ее хозяйку Мансуру-бахши — в утешенье обоим.

Мансур-бахши (он растолстел еще больше, стал похожим на круглую юрту) с трудом согнулся в поклоне:

— Да быть мне вашей жертвой, великий хан. Истиг

но молвили: с тех пор, как умерла у меня Зухра-бегим, самаркандка, не живу — мучаюсь одиночеством!

— Ну, ты, бахши, не думай только о своей корысти! Самые большие в Герате богатства у Хадичи-бегим. Мне ведомо, например, что по приказу этой женщины изготовили золотой цветок, и стебли у него сплошь из кованого золота, а листья изумруды. На цветке сидит соловей, тоже из золота, и в клюве держит крупный бриллиант.

— Великий хан, эта штука, считай, ваша! — Мансур-бахши удариł себя кулаком в грудь.— И деньги бегим — ваши! Мне же хватит ее самой!

От шуток похотливца у Шейбани-хана просветлевшее лицо, уже в милостивом расположении духа разрешил он удалиться Убайдулле Султану и Мансуру-бахши.

А Мухаммад Салих и мулла Бинойи все еще стояли перед ханом, погруженные в почтительное молчание. Хан тоже молча сидел, скрестив ноги, на парчовой алой курпаче. Потом улыбнулся, зло бросил Мухаммаду Салиху:

— Ты, поэт, без конца хвалил Герат. А этот твой Герат оказался гнездом нечестивцев и развратниц, утративших стыд и совесть!

Мухаммад Салих уже давно догадался, какого рода испытание пришлось претерпеть хану ночью. Шейбани злился на свою мужскую немощь и пытался теперь отыграться на других. Кто захочет насыпать соли на раны повелителя? Избави аллах! И поэт заговорил о другом:

— Великий халиф! Это презренные Тимуровы отприски ввергли Герат в пучину безнравственности. Вы же... о, вы повергли их в бою, а низвергаете их дух — благочестием и чистотой своей, кои обязательно станут светлым факелом, освещающим для гератцев истинный путь жизни.

— Ловок ты в словах! Но почему не скажешь, что нравственность гератцев испортили еще и поэты! Разве не было среди вас таких, что воспевали Тимурово племя в постыдных стихах и получали за это в награду золото блудами?

— Были, повелитель всеведущий, были... Вот мавляну Бинойи такие поэты и изгнали из Герата!

Шейбани-хан взглянул на Бинойи:

— Так ли это?

— Так, повелитель! — Бинойи поклонился сдержанно, как показалось хану.

— А раз так,— возвысил он голос,— пусть мавляна Бинойи нацепит на пояс меч справедливости и праведного мщения! Из наших победоносных нукеров возьмите-ка в свое распоряжение, мавляна, одну сотню. Да свершится мусодара! Возьмем имущество поэтов, что хвалили зазнавшихся, взбесившихся от золота Тимурowych потомков! Отнять у них все золото и сдать в казну! Может, после этого они прозреют, легче им будет вернуться на путь нравственного очищения!

Мавляна Бинойи растерялся. Иные поэты Герата некогда причинили ему обиды и, что там говорить, не были ему любы, но он вовсе не желал в сопровождении нукеров обыскивать их дома. Этакое — не для него, не по его совести. Но как же сказать о своем нежелании хану?

Мулла Бинойи был хоть и робок, но не бесхарактерен.

— О великий хан, благодарю вас за столь большое доверие!.. Только, только боюсь...

— Чего?

— ...Не справлюсь, повелитель, я ведь в жизни ни разу не держал в руке саблю. И мне уже за пятьдесят... Этот ваш высочайший приказ во сто крат лучше, я думаю, чем ваш покорный слуга, сможет выполнить боевой и горячий господин Мухаммад Салих! Я же готов, насколько хватит сил, помочь ему!

Но Мухаммад Салих тоже не горел желанием быть втянутым в неблагодарное дело, и хитроумия ему было тоже не занимать:

— Мавляна, я бы с радостью перенял из ваших рук столь важное и справедливое поручение повелителя нашего, да вот беда — не знаю я поэтов Герата столь близко, как вы!

Шейбани-хан пресек окриком эти «поэтические» препирательства, сверкнул глазами:

— Эй, мавляна Бинойи, подумайте о своем поведении! Шесть лет кто вас кормит и поит? Мы подарили вам коня — сели! Подарили чапан — надели. Дали вам дом и деньги — не отказались. А когда дошло до богоугодного дела — отказываетесь?!

Хан ярился. Мавляна Бинойи почувствовал: скажи он поперек еще хоть слово — и Шейбани немедленно позовет палача, прикажет казнить неблагодарного.

«Богоугодное» поручение следовало принять с поклоном...

И вскоре гератцы стали рассказывать друг другу, что известный поэт Бинойи вместе с вооруженными нукерами ходит по домам поэтов, что нукеры переворачивают там все вверх дном в поисках золота, а найдя, подчистую грабят эти дома, обогащая казну Шейбани, ну и, понятно, себя не забывая.

Правая рука Шейбани-хана, его шестидесятипятилетний визирь мулла Абдурахим, нашел иное средство «отторжения» золота у гератской ученой братии. Среди добычи, попавшей в руки победителей в окрестностях Герата, были и отары овец. Мулла Абдурахим приказал пригнать на базар за кипчакскими воротами Герата по шестьдесят овец из каждой отары. Затем послал в город небольшой отряд нукеров, которые собрали там примерно десяток поэтов и ученых и заставили из прибыть на этот же базар, среди прочих: Хондамира, историка, прославившего время правления тимуридов, мавляну Фазлиддина, известного своей близостью к Бабуру, поэта Султана Мухаммада, что сложил стихи в честь Хусейна Байкары. На резвом аргамаке въехал на базар и сам мулла Абдурахим. Один из его приближенных обратился к Хондамиру и прочим так:

— Великий визирь, мулла Низамиддин Абдурахим желает продать этих своих овец только вам!

Хондамир переглянулся со спутниками («Эх, если бы только этим дело кончилось!»), затем поклонился визирю и от имени всех собранных ответил:

— Купим, купим со всей душой. Назовите цену. Приближенный сказал торжественно:

— Эти овцы освящены дыханием великого визиря, не раз приближавшегося к ним, значит, это — священные овцы. Вы же — люди, развращенные службой у тимуровского отродья, живете жизнью оскверненной, непотребной. Надо надеяться: питаясь мясом этих овец, вы очиститесь! Поэтому каждая из овец стоит шестьсот динаров!

За шестьсот динаров можно было купить не одну, а десять овец. Но не купить их за цену, назначенную великим визирю, значит подвергнуться жестокому наказанию.

Мулла Фазлиддин, пребывая в стесненных денеж-

ных обстоятельствах, попытался возвратить к совести насильников:

— Милостивые, мы ведь совсем недавно выплатили и всеобщий налог, и обложение на нужды победителей...

Поэт Султан Мухаммад иронически улыбнулся:

— Э, мавляна, сказано же вам, что это — редкостные овцы, они облаканы взглядами святых очей великого визиря! А что свято, стоит в десять раз дороже!

Мулла Абдурахим уловил тонкую иронию в этих словах, разъярился и приказал нукерам:

— Каждому дайте по десятку овец!.. Спесивцы! Заелись! Вознеслись в гордыне и богатстве... Надо спустить их с неба на землю... И пусть сами гонят овец домой, чтоб никто не помогал им! А вы — следуйте за ними до дома и взыщите с них деньги. Не выполнят — каждому мусодара, а самих — в зиндан!

Полторы тысячи нукеров Убайдуллы Султана уже в течение десяти дней торчали вокруг крепости Ихтияддин. Но взять эту цитадель — до верха ее стен не достигали стрелы, не то что лестницы — не удавалось. Пробовали стрелять по железным воротам из пушек, — но и из этого ничего не вышло. Тогда принялись делать подкопы...

Ну, а по всему Герату разлилось благотельное затишье (все, что можно было разграбить, разграбили быстро и умело).

Шейбани-хан, переехав из Кахдистана в Боги Джакханоро, призвал к себе всех знаменитых городских поэтов, художников и ученых. Мухаммад Салих, ведавший у него делами искусств, несколько раз вызывал к хану Бехзада. Мулла Абдурахим не любил рисования — занятия, присущего, по его мнению, нечестивым рафизитам и прочим шиитам. Шейбани же знал, сколь прославили Хусейна Байкару его живописные изображения, сделанные Бехзадом. Теперь он хотел использовать талант художника для прославления своей особы.

По просьбе художника хана посадили на парчовую курпачу яркого алого цвета, спиной хан прислонился к бархатной черной подушке. Опоясали изображаемого тоненьким золотым ремешком и положили перед ним маленькую тетрадь в золотой обложке, перо и чернильницу. А рядом — грозную хансскую плетку.

Бехзад за тридцать лет творчества повидал немало властителей и знал, что в обращении с ними приемлемы одни только похвальные слова. Поэтому он сказал:

— Ваш покорный слуга мог бы изобразить вас, повелитель, на боевом аргамаке с обнаженной саблей. Но то, что вы великий полководец, известно всем. Теперь мир должен увидеть вас изображенным именно великим халифом, который, много лет проведя в медресе, превзошел в учености всех имамов нашего времени. Вот причина, почему ваш покорный слуга хочет живописать вас со священной книгой и золотым калямом!

— Согласен,— ответил на это хан.

Когда Бехзад кончил работу, Шейбани-хан собрал приближенных оценить ее. Мулла Абдурахим взглянул на изображение, перевел глаза на хана, удивился безмерно:

— Ну, точно как вы сами, повелитель!

Да, было видно, что Шейбани-хан многое повидал в жизни и умудрен опытом. Несведущий человек подумал бы, что изображенный человек полон чувства собственного достоинства и что художник питает к нему уважение. Но у Мухаммада Салиха был острый и изощренный глаз знатока. Он обратил внимание на то, что курпача, на которой восседал хан, была подчеркнуто кровавого цвета, и казалось, хан сидит поверх ямы, доверху налитой кровью. А конец тонкого золотого ремня стекал струйкой, похожей на желтую змею с темно-буровой головой,— извиваясь, змея ползла вверх из-под скрещенных ног хана, готовая укусить. Большая же черная подушка казалась воплощением черных сил.

Да, краски были подобраны с великим мастерством. Они говорили о многом, а Мухаммад Салих понял их тайный символический язык. Понял и испугался. А что, если о смысле этих цветовых символов, этих красных, черных и желто-бурых намеков догадается хан? Не уцелеть тогда ни Бехзаду, ни ему, Мухаммаду Салиху, посреднику!

Мухаммад Салих поспешно заговорил:

— Пророк Мухаммад любил зеленый цвет. Художник, проявив проницательность, почувствовал, что наш великий халиф тоже любит зеленый цвет. Поглядите, одеяние великого хана зеленого цвета. Такого же цвета и стена, к которой прислонился наш халиф.

— Это... м-м-м... подходящее, — изрек наконец хан. — Но... мы видели и другие изображения, сделанные кистью мавляны Бехзада...

Шейбани-хан имел в виду изображение Хусейна Байкары — то, где гератец представлял подобным льву. На другом полотне Бехзада Хусейн Байкара отправлялся в поход, и казалось, что и облака, и небо, и даже горы устремились вслед за ним. Необычное говорило о необычайности изображаемого! А тут! Бехзад, столь возвеличив отпрыска Тимурова корня, сделал его, Шейбани, каким-то... каким-то обычным человеком.

Хан не находил слов для выражения сложных чувств, вдруг вскипевших в душе и требовавших выхода.

— Дайте мне кисть! — обратился он к художнику, и все почувствовали, что хан чем-то недоволен.

Бехзад передал специальный ящичек, где из чашечек с разными красками торчали кисти. Шейбани резко выхватил кисть из чашки с темно-бурой краской. В бытность свою в бухарском медресе он учился и рисованию, умел держать кисть в руке.

Хан всмотрелся в свое изображение, — что в нем исправить? А, вот — борода и усы очень уж жидковары, они его мельчат, они-то и делают его дюжинным человеком!

— Надо бороду изобразить получше! — сказал Шейбани-хан. И взялся за дело.

Но краски на кисти оказалось слишком много, и борода стала выглядеть скорее куском войлока. С языка Бехзада невольно сорвался болезненный вскрик, будто зуб у него вырвали. Но Мухаммад Салих, сжав художнику запястье, вымолвил тотчас:

— О! Прикосновение кисти великого хана придало еще больше красоты изображению! — И добавил, повернувшись к Бехзаду: — Мавляна, событие сие исключительно важно: сделанного вами коснулся сам великий халиф, Искандер-второй, и смотрите, как все засияло! Молва об этом будет греметь теперь в веках!

«Ничего не дошло! И все испортил... насильник», — подумал Бехзад, но после пышной тирады поэта в голову его пришла иная мысль: «В самом деле... молва не забудет хана, люди со смехом будут пересказывать друг другу, как хан приkleил к ушам своим войлок... Хватит, хватит играть с огнем! Добро, что лишь Мухаммад Салих понял символику цветов».

Бехзад поклонился хану и сказал со скрытым сарказмом:

— Радость моя вознеслась к небесам оттого, что к сделанному художником, вашим рабом, прикоснулась рука не художника, а халифа, замещающего ныне пророка нашего.

— Хвала вам! — милостиво изрек теперь хан.

«Так тебе и надо!» — решил Бехзад, еще раз взглянув на «войлок под ушами».

6

Судьбы людей, бывает, повторяются почти полностью — касается это частной жизни или государства.

Правда, Хадича-бегим всеми силами старалась не повторять печальную судьбу Зухры-бегим, матери бывшего самаркандского правителя Султана Али-мирзы. Хадича-бегим знала, сколь коварен и жесток в отношении к женщинам Шейбани-хан. И потому она так крепко заперлась в цитадели Ихтияраддин. Но силы были неравны. На семнадцатый день осады крепость пала.

Когда нукеры Убайдуллы Султана, взламывая двери, добрались до внутренних покоев, неожиданно явились оттуда сама Хадича-бегим, пышно разодетая, в высокой остроугольной шапке, с огромной жемчужиной на верхушке. Потные нукеры опустили сабли, замерли оцепенело перед царственно-статной женщиной. Хадича медленно приблизилась к ним, нукеры отстранились, давая ей дорогу, и она высказалась пожелание увидеть военачальника.

Нукеры вывели ее во двор, где на коне восседал Убайдулла Султан. Окруженная рабынями Хадича слегка поклонилась ему и начала неторопливо:

— Могучий, волей судьбы мы у вас в плена, и я прошу препроводить меня к повелителю Шейбани-хану!

Убайдулла многозначительно переглянулся с Мансуром-бахши, улыбнулся насмешливо:

— Повелитель наш, хан, поручил передать предназначенные для вас слова.

— Слушаю вас, могучий султан!

Среди беков Убайдуллы Султана находился ишан в белой чалме. По знаку Убайдуллы Султана Мансур-бахши и ишан слезли с коней. Мансур-бахши в чалме

со златотканым воротником и красных сапогах выглядел бравым женихом. Человек семь-восемь джигитов, изображая дружков жениха, окружили его.

И тогда Убайдулла Султан торжественно обратился к Хадиче-бегим:

— По велению великого имама мы выдаем вас замуж за Мансурбека!

— А бегим как будто знала, нарядилась! — громко засмеялись приближенные.

Хадича-бегим с ужасом взглянула на темное рябое лицо Мансура-бахши, толстую нескладную его фигуру.

— Я... я сама хочу поговорить с повелителем...

— Э, у хана нет для этого времени, уважаемая...

— Но ведь я тоже из царской семьи! Меня вы не смеете оскорблять!

— Наказывать тех, кто происходит из семей развратных шиитов и рафизитов,— дело благое, богоугодное!

— О султан, и у вас, наверное, есть мать. Отнеситесь с уважением хотя бы к моим материнским годам...

— Моя мать не совершила таких гнусных преступлений, как вы. Да и какая мать, став бабушкой, могла бы убить внука? А кровожадная Хадича-бегим пролила кровь Мумина-мирзы!

Хадича-бегим утратила горделивую осанку, поникла, руки ее в бессилии повисли, как плети.

И тогда Убайдулла Султан приказал нукерам:

— Ведите ее в ичкари. Пусть теперь ее заставят прозреть Мансур-бахши.

...Как только прочли свадебную молитву, Мансур-бахши выслал из гарема рабынь и остался наедине с Хадичой.

Долго потом, до глубокой ночи, слышны были ее пронзительные крики и вопли,— казалось, бегим подвергали нестерпимым мукам.

В полночь, подталкивая впереди себя Хадичу-бегим, вышел из гарема Мансур-бахши. Женщина едва стояла на ногах. Они направились в глубину освещенного лунной дворы крепости.

— Золотой цветок,— шептал на ходу Хадиче-бегим Мансур-бахши.— На нем золотой соловей есть. В клюве бриллиант. Если не найдешь их, то будет тебе еще хуже, чем было сейчас. Ищи! Быстро! Быстро!

Хадича-бегим помышляла сейчас только о спасении жизни. Поэтому, не раздумывая, повела она Мансура-

бахши к подземному кладу, спрятанному в укромном месте крепости. Туда вела потайная дверца, скрытая в стене,— стена эта огораживала водоем, предназначенный для хранения питьевой воды.

В подземелье бахши зажег факел, осветивший несколько поставленных в ряд сундуков. Обессиленная Хадича-бегим с трудом стала открывать их своими ключами. Два сундука были заполнены доверху серебряными монетами, один — золотыми. В третьем хранились серебряные рукоятки сабель и кинжалов. В остальных — драгоценные женские украшения. Глаза Мансура-бахши загорелись, руки алчно перебирали богатства сундуков. Потом он успокоился, задумался на миг.

— А где золотой цветок? Где роза с изумрудными листьями? — спросил грозно.

Переворошили все вверх дном, но цветка не нашли.

— Горе мне, горе! — завыла страдальчески Хадича-бегим.— Украли цветок. Последнюю надежду унесли. Пропала я теперь! Ах! Пропала!

— Молчи! Привыкла своими ахами и вздохами обманывать Хусейна Байкару. А меня не обманешь. Найди цветок! Ну, куда спрятала?

— В этом сундуке был...

— Врешь! Спрятала его, видно, еще куда-то. Показывай сейчас же!

Мансур-бахши грубо схватил Хадичу-бегим и потащил ее вон из подземелья к берегу водоема.

— А ну, показывай! Меня ты не сможешь обмануть!

— Я не обманываю вас, господин. Меня обманули! Ах, видно, наступил для меня час расплаты. На что только я не шла ради Музaffer-мирзы! И сын бежал, обманул меня. На все эти муки обрек меня собственный сын! Родной сын!

— Но золотой цветок не дала ты и сыну! Ты его спрятала! Сам повелитель сказал мне: «Есть соловей с бриллиантом в клюве». И я дал слово, что найду цветок с золотым соловьем и преподнесу в дар хану. Сейчас же найди его!

— Но ведь если украли, то как же найду?

— Не найдешь? Не хочешь! Так вот тебе!

Мансур-бахши толкнул Хадичу-бегим, и она упала прямо в водоем с ледяной водой. Злобно смотрел, как захлебывается, как тонет она. Потом протянул руку,

схватил за волосы и вытащил из воды. С трудом поволок ее в сторону гарема.

Три дня продолжались пытки, но золотой цветок так и не нашелся. На четвертую ночь Хадича-бегим скончалась в спальне Мансура-бахши.

Не научился на опыте предшественников-завоевателей и могущественный, умный, хитрый, Шейбани-хан. На берегу Мургаба он попал в окружение грозного тридцатитысячного войска иранского шаха Исмаила.

В холодный и пасмурный зимний день он повел на шаха Исмаила своих нукеров в полной уверенности, что вот-вот одержит еще одну победу. Час назад, всего лишь час назад он, Шейбани, превосходил своего врага и в численности, и в боеспособности войск. Ведь по сведениям — точным, как всегда было у Шейбани-хана, — шах Исмаил держал около Мерва двенадцать тысяч, и эти двенадцать тысяч в течение месяца дрогли от холода и сырости позднеосенней, а лучше сказать, уже зимней поры. А Шейбани-хан заперся в крепости Мерв с пятнадцатью тысячами сытых, обогретых, хорошо вооруженных нукеров и ждал своего часа, когда ударит он на изнуренную, ослабевшую армию Исмаила.

Но на всякого хитреца найдется хитрейший!

Если бы Шейбани-хан знал, с каким сильным и коварным врагом имеет дело на этот раз, он бы не выскоцил из-за крепостных стен столь опрометчиво. Но слава побед притупляет чувство осторожности. Уступчивым слабаком выглядел шах Исмаил год назад, когда Шейбани, после взятия Герата, повел свои пятьдесят тысяч во внутренний Иран и с ходу захватил города Астрабад, Гурган и Керман. Шах Исмаил воевал тогда на западе с турецким султаном Баязедом II и потому не смог помешать насильнику с севера. А насильник неистовствовал! В Гургане и особенно в Кермане жили ненавистные Шейбани-хану шииты; он разрешил своему войску ограбить дочиста эти города, призвал безжалостно убивать вероотступников-шиитов, а их мечети оскверненные разрушить и сжечь. Это была не просто грабительская война, унесшая тысячи жизней и оставившая после себя страшные разрушения, она была еще и религиозной, — поражение в ней привело шаха Исмаила, фанатичного шиита, в особенное неистовство. Но в ту пору шах вынужден был подавить в себе гнев и отпра-

вил к Шейбани-хану посла с миролюбивым письмом и дорогими подарками, в коем признавал его властелином Мавераннахра, а также уже и Хорасана, и призвал хана к добрососедским отношениям.

И племянник Шейбани-хана, начальник его отборной конницы Убайдулла Султан, и сын Тимур Султан, и дядя Кучкинчи-хан советовали принять шахского посла с почестями, по крайней мере, такими же, с которыми Шейбани некогда принимал послов Махмуд-хана ташкентского, андижанского правителя Ахмада Танбала и самарканского Султана Али-мирзы. Умелым дипломатическим обращением советчики хотели усыпить бдительность шаха Исмаила, а потом дождаться подходящего часа и решающим ударом покончить с ним, как в свое время было покончено с Махмуд-ханом, Ахмадом Танбалом и другими противниками.

Сейчас, на берегу Мургаба, Шейбани-хан жалел, что не послушался этого совета, недооценил своего врага. Почему он тогда отказался от предложения Исмаила? Ко всему прочему примешалась религиозная вражда, через которую можно было навести мосты кому угодно, только не ему, воителю за истинную веру, великому имаму суннитов. В Ташкенте и Андижане его противники оставались такими же суннитами, как сам Шейбани, поэтому и принимать их послов, вести с ними переговоры можно было. «Но как вилять хвостом перед шиитским шахом, коль я объявил священную войну против него, коли велел разрушить мечети шиитов!» — говорил Шейбани-хан своим султанам. Разве не он твердил каждый день: кто войдет в дружбу с шиитами, тот осквернит истинную веру, превратится в рафизита-вероотступника? Всемерно старался он сберечь своих людей от тлетворного, как ему искренне казалось, влияния шиизма, а оно было особенно сильно в Хорасане, увлекало чернь и простых нукеров. Шах Исмаил знал, что делал, со своей стороны объявляя джихад во имя великого дела двенадцати имамов, дабы увлечь за собой как можно больше людей, и ремесленников, и дехкан, всех тех, кто обижен судьбой. Исмаил объявил, что он послан в мир, чтобы восстановить справедливость, попранную властителями-суннитами, — перед Махди все равны.

Нет, нельзя было принимать послов такого шаха и обмениваться с ним дарами! Нельзя рубить сук, на котором сидишь! Он, Шейбани, не простой хан, он — халиф!

«Я говорю своим людям — будьте непримиры к шиитской ереси, значит, сам тоже должен быть непримирим!» — упорно твердил Шейбани-хан. Он принял шахского посла, но будто нищего, просящего подаяние, а самому шаху Исмаилу послал в подарок дервишеские причиндалы — кашкул и посох; означать мог этот подарок только одно: «Ты сын некоего бедного шейха? Так куда тебе претендовать на престол, лучше повесь на пояс кашкул и броди, опираясь на посох, проши подаяния!»

После этого шах Исмаил заключил перемирие с турецким султаном и стал собирать войско против Шейбани-хана. Грубый и высокомерный ответ степняка-хана, ненавистника шиизма, хитрый шах постарался сделать известным в Иране и Хорасане как можно шире, чем увеличил число своих сторонников.

К тому же Шейбани стал получать из Мавераннахра тревожные вести — произвол кочевых ханских наместников стал причиной волнений в Самарканде, Бухаре, Ферганской долине. Хан вынужден был отпустить из Хорасана тридцать тысяч нукеров во главе с Убайдулло Султаном и Тимуром Султаном: удержать Мавераннахр за собой надо было во что бы то ни стало.

Зрело недовольство Шейбани-ханом и среди султанской верхушки приближенных. Да и вообще — история повторяется! — после больших завоеваний наместники областей стремятся к самостоятельности по отношению к своему «хозяину», усиливаются центробежные силы.

Что же делает Шейбани-хан в таком положении? Отнимает у Убайдуллы Султана Бухару, у своего дяди Кучкинчи Туркестан, у Хамзы Султана Гиссар и ставит наместниками других, менее самостоятельно мыслящих, более покорных. Сына, Тимура Султана, Шейбани уже давно не подпускал к трону, боялся, как бы горячий, быстрый на решения и умный сын не стал главой заговора против отца.

Шаху Исмаилу стало известно о расприях в ханской ставке, о волнениях в Мавераннахре. Он решил, несмотря на приближение зимы, идти на Герат, где обосновался. Положение кочевников в Хорасане не отличалось устойчивостью. Поэтому они отступили в Мерв — мощная крепость эта как бы запирала путь в Мавераннахр; туда же хан отправил гонцов с приказом, чтобы

ушедшие ранее тридцать тысяч отборных нукеров немедленно шли к нему на помощь.

И опять среди военачальников возникло несогласие. Дабы они не подумали, будто Шейбани-хан убоился шаха, убегает от него, был выставлен следующий довод.

— Уйдем подальше от краев поганых шиитов. В Мерве население суннитское. Заманим туда шаха. Тем временем из Мавераннахра подоспевают наши полки. И попадет этот сын шейха в наш крепкий капкан!

План посчитали, как всегда, мудрым. Засели в крепости. Шах Исмаил, издеваясь над ханом, посыпал письма с призывом выйти наконец в поле, сразиться в открытую с сыном бедного шейха, пришедшего, мол, с дервишским кашкулом и посохом. Иначе, мол, усомнюсь в могуществе хана. Злорадство Исмаила самолюбивый Шейбани-хан переносил, стиснув зубы.

История повторялась: некогда Бабур, а теперь Шейбани, его враг, заперся в крепости и ожидал — страстно и яростно — прибытия подкрепления. Опытный военачальник, он знал, что как бы ни был пылок и храбр двадцатичетырехлетний шах Исмаил, нельзя вести осаду всю зиму — снега и морозные ветры заставят рано или поздно снять ее. И вот когда начнет уходить войско шиита, изнуренное, обессиленное, павшее духом из-за недостигнутой цели, — тогда и не раньше Шейбани-хан из теплой крепости кинется на шаха, разгромит его, наверняка разгромит! После победы Иран упадет в руки. А дальше откроется путь к Багдаду и к святой родине пророка — Мекке. Весь дар-уль-ислам, мир правоверных мусульман, должен будет признать, что Шейбани-хан — истинно халиф всех времен и даруль-харб тоже признает его вторым Искандером!

Отравляло эти сладостные грезы хану ожидание тридцатитысячного войска, которое что-то слишком долго шло из близкого к Мерве Мавераннахра. Всего-то одно препятствие в пути — Амударья, «бешеная» река, но мешкают, мешкают его полководцы, обычно столь быстрые Убайдулла Султан, Тимур Султан и Хамза Султан. Шейбани-хан догадывался о причинах их медлительности: обида на него, лишившего их прибыльных должностей наместников. Конечно, затаили в душе зло на повелителя своего, хана. Наверняка меж собой говорят так: «Во всех опасных предприятиях мы шли в первых рядах, во всех больших битвах победы хану

приносили наши сабли, а ныне хан блаженствует с молодыми женами и нас ни во что не ставит, не ценит, прогоняет с должностей, издевается. Ну что ж, пусть теперь хан обойдется без нас! Пусть повоюет один на один с этим шахом-шиитом!»

Мысленно Шейбани-хан в злости и ярости возражал: «Неблагодарные собаки! Да нет — щенки! Неужто не понятно, что без меня вы пропали бы все? И время ли для обид, когда решается что-то большее, куда большее, чем моя судьба! Быть верху моему или шаха Исмаила — значит жить иль не жить нашей династии! Или они — или мы!» Хан дал себе зарок: как только одолеет иранского шаха, сразу же сменит всех полководцев в мавераннахском войске и беспощадно накажет виновных в задержке!

Но войско не шло, некого было наказывать, а главное — не с кем было добиваться победы.

Начались лютые морозы, и шах Исмаил прислал хану еще одно письмо, где обозвал его трусом и сообщил, что снимает осаду. Вернется же для расправы весной.

С крепостных стен могучего Мерва заинтересованно следили за тем, как воины шаха разбирают юрты и палатки, нагружают арбы, строятся в ряды и уходят в юго-западном направлении.

Шейбани-хан дал приказ подготовить свою конницу к стремительному броску. Перед тем как распахнуть ворота он с минарета долго вглядывался в сторону Амударьи — все еще ждал подкрепления. Но зоркие глаза степняка подтвердили донесения лазутчиков: тридцать тысяч из Мавераннахра были все еще за рекой. И тогда хан решился. Для охраны казны и гарема было оставлено пятьсот воинов, всех остальных Шейбани повел за собой.

Шах Исмаил поспешно удалялся от стен Мерва. Неужели он, Шейбани-хан, упустит злейшего своего врага? Что потом скажут о нем, — у кого было пре-восходство и кто не решился дать битву без своих прославленных султанов? Подобно шаху Исмаилу, обвинят в трусости? Нет, он, Шейбани, хан и халиф, никогда не был трусом! Он докажет всему дар-уль-исlamу, что его победы одержаны им самим! Ах, если бы повезло и сегодня, если бы повезло...

Приказ выполнен: конница готова. К хану подъехал мулла Абдурахим. Еле ворочая посинелыми от мороза

розного ветра губами, стал умолять воздержаться от выхода из крепости:

— Великий хан, мы не имеем права подвергать вашу неизмеримо ценную жизнь такой опасности. Лучше подождем войско из Мавераннахра!

— Но где оно, где, и сколько еще их ждать, этих... собак?! — гневно выкрикнул хан.

— Зимой трудно переправиться через такую реку, как Аму. Но я верю: Убайдулла Султан и Тимур Султан скоро прибудут!

— Прибудут, когда зимний ветер сотрет следы шаха Исмаила? Если бы эти султаны-собаки хотели подоспеть — давно подоспели бы! Они нарочно оставляют меня одного! Они думают, что я побоюсь сражаться без них! Хвастают, что все победы были одержаны ими! А я докажу, что все победы одерживал сам! Я сам... вместе с этими вот беркутами!

Шейбани-хан подъехал к конным рядам и звучно и ясно заговорил:

— Вы видели, беркуты мои, в каком беспорядке отступают враги? Их меньше, чем нас! И они обессилены зимними холодами. Верю: бог даст нам сегодня победу, еще одну победу! Пророк на нашей стороне! Вероотступники должны быть повержены! Летите на врагов, беркуты! Настигайте, бейте с лету, пока он не успел выстроиться в боевой порядок!.. Дай же нам бог победу, еще одну победу! Омин! Аллах акбар!

— Омин! Аллах акбар! — грозно прокатился по рядам обычный молитвенный возглас.

И конница во главе с ханом лавиной устремилась на отступающих. Но то была ловушка. Кизылбashi отступали для вида. Соглядатаи и лазутчики, что доставляли обычно хану точные сведения о врагах, на сей раз его подвели. Им оказалось неизвестным, что под стены Мерва шах привел лишь небольшую часть войска. А двадцать тысяч отборных нукеров он расположил неподалеку от Мерва, искусно скрыв их в пустынных барханах на другом берегу Мургаба.

Такую военную хитрость применил сам Шейбани-хан двенадцать лет назад против мятежников бухарского города Каракуля, того самого Каракуля, войдя в который — после того как ложным отступлением своим выманил из крепости ее защитников и, окружив, разгромил их в пустыне, — истребил всех жителей по-

головно и на конном базаре воздвиг «минарет» из человеческих голов.

Да, Шейбани-хан сверх меры уверовал в свои силы, ему и в голову не пришло, что какой-то полководец может использовать против него подобную военную хитрость. Двенадцать тысяч воинов шаха Исмаила отступали, да что там, бежали от Мерва,— вперед, вперед за ними! Вот они по наведенному через Мургаб мосту у местечка Махмуди перешли на другой берег реки,— не отставать, ворваться следом! Исмаил как бы для охраны моста оставил там около трехсот воинов, и когда грозная конница Шейбани приблизилась к мосту, эти триста кизылбашей якобы обратились в паническое бегство. На мост, на мост! Перейти на другой берег можно было только здесь, через мост,— оба берега были круты и высоки, иной переправы нет, войти в ледяную воду зимней реки нельзя. Значит, вперед, на мост, через мост вперед!

Пока все войско Шейбани-хана не оказалось на другом берегу, затаившиеся в укрытиях отряды Исмаила ничем не выдали своего присутствия. Лишь на значительном удалении от моста они ринулись из-за барханов, предваряемые тучей стрел и градом каменных ядер из умело заранее расставленных пушек. Со всех четырех сторон наваливались на Шейбани кизылбashi.

Тут только хан понял, что попал в ловушку. Вспомнил, что некогда сам устроил такую же каракульцам. Воззвал к аллаху не о даровании победы, а о спасении своем. Скакат к мосту! Но деревянный мост уже разрушен. Кони и люди под напором задних рядов падали с высокого обрыва в реку, и вскоре русло ее было завалено трупами. Сам хан с отборными нукерами рванулся вдоль берега, налево, попал в загон для зимовки скота. Тут же кизылбashi окружили этот загон, пошли на штурм. Нукеры ханской охраны стояли насмерть и гибли один за другим. Исмаил, видя, как стойко обороняется хан, придинул к загону пушки.

Это решило дело. Раненые кони от грома пушек пришли в бешенство, заметались, топча людей и друг друга. С обнаженной саблей в руке Шейбани-хан зычным криком пытался навести хоть какой-нибудь порядок в этом хаосе, но каменное ядро, угодив прямо в голову ханского коня, пресекло эти намерения. Конь рухнул, пал на землю и всадник.

Шейбани-хан не успел высвободить ног из стремян — одну ногу придавило тушей коня. Прямо на хана тут же рухнул еще один конь. С переломанными ребрами, придавленный и чуть ли не втоптанный в землю, Шейбани потерял сознание.

После окончания сражения один из кизылбашских беков (он знал хана в лицо) отыскал его тело среди павших. Земля вокруг хана была завалена трупами врагов и собственных приближенных — в том числе муллы Абдурахима, Мансура-бахши и многих других.

Победители отрезали у мертвого Шейбани-хана голову, пронзив ее пикой, доставили шаху и швырнули к копытам его коня. Потом, мстя за кровь шиитов, пролитую Шейбани-ханом, содрали кожу с головы и сделали чучело, набитое соломой. На западе подвергал шиитов гонениям и причинял обиды шаху Исмаилу турецкий султан Баиязед II. Шах Исмаил с явным намеком послал ему в «подарок» набитое соломой чучело головы Шейбани-хана. Правую же руку, отделенную от туловища хана, получил его союзник Ага Султан.

А череп Шейбани-хана победители отделали золотом и пили из такого «кубка» вино¹.

КУНДУЗ... И ВНОВЬ САМАРКАНД

1

...Ханзода-бегим со своим десятилетним сыном Хуррамом уже вторую неделю находилась в пути из Мерва через Балх и Кундуз.

Трудны караванные дороги — даже если ехать на спине белого верблюда в изящном паланкине, покрытом шелковой накидкой с золотыми кисточками. В эти дни они перевалили множество барханов и возвышенностей, миновали леса и степи, переправлялись через реки. До Кундуза все еще было далеко. Устала Ханзода-бегим, устал мальчик. И четверо рабынь устали, и шесть слуг, и охранная сотня кизылбашей.

...Шах Исмаил не сразу проявил милость к одной

¹ Если бы описания этой мести были оставлены врагами шаха Исмаила, то можно было бы усомниться в их достоверности. Но приводимые подробности взяты из книги «Тарихи олам оройи Аббоси», созданной доброжелателями шаха Исмаила, а также из книги «Хабибус сияр» Хондамира.

из жен ненавистного Шейбани — к Ханзоде-бегим. Во время дележа ханских жен в Мерве Ханзоду-бегим собирался взять в свой гарем Наджми Сони¹, и впрямь ближайший соратник Исмаила. А ее единственного сына, Хуррама, заточили в темницу — до поры до времени, потому что никто не собирался щадить ханских отпрысков. Всех под корень — так оно было вернее!

Но тут из Кундуза явились гонцы Бабура с посланием к шаху Исмаилу.

Бабур поздравлял шаха с блестящей победой, одержанной над захватчиком Шейбани, и особо просил пощадить свою сестру Ханзоду-бегим, попавшую против воли в гарем этого насильника.

Шах Исмаил слышал о Бабуре как о просвещенном властелине. Знал он, что суннит Бабур веротерпим, и еще о том знал, что Бабур непримиримый враг самого Шейбани и продолжающих его политику. Иранский шах собирался продолжить войну против шейбанидов, отобрать у них весь Мавераннахр. Лучшего союзника в этой борьбе, чем Бабур, трудно было найти. Да к тому же недаром Бабур из Кабула передвинул свое войско поближе к Мавераннахру, в Кундуз, надеясь там пополнить его. Ясно, что и Бабур зарялся на Мавераннахр, тем более что и прав на эти земли у него больше, чем у кого-либо. Шах Исмаил решил воспользоваться случаем и сделать Бабура своим союзником и должником: при его помощи отвоевать Мавераннахр у шейбанидов, а там поглядим, чьи права окажутся сильнее.

Шах сменил беспощадность на милость. Ханзода-бегим и даже ее сын (ее, а не самозваного суннитского халифа!) получили свободу. Их отпустили к Бабуре, не только дав сотню воинов в сопровождение, но и послав с ними высокородного Мухаммаджана, одного из визирей шаха.

Ханзода-бегим, конечно, не знала об этих расчетах шаха и не догадывалась о тайных заданиях насчет военного союза, с которым ехал вместе с ней иранский посол. Было, однако, предчувствие каких-то новых бед, готовящихся втянуть ее и сынишку в свою пучину. Смутно и тревожно было на душе исстрадавшейся женщины.

Она не опасалась воинов шаха, которые охраняют

¹ Наджми Сони — «Вторая звезда» (перс.).

ее и сына, не трогают ее рабынь. Бегим не раз убеждалась в том, как вежливо держат себя эти суровые на вид кизылбashi с женщинами,— видно, недаром они боготворят Биби Фатиму, единственную дочь пророка Мухаммада, мать святых близнецов Хасана и Хусейна. Некоторые из кизылбашей считают даже, что сам шах Исмаил является далеким отпрыском не какого-то малоизвестного шейха-аскета, а того самого Хусейна, сына Али и Фатимы, среди потомства коих только и может явиться «скрытый имам».

К шиитскому шаху Ханзода-бегим испытывала благодарность, к его воинам тоже. Но ощущение тревоги и страха перед неведомой опасностью не покидало ее. Оно будто наплывало на душу из горных ущелей и лесных чащ. Зима только что кончилась, в горах еще лежало много снега. Когда спускались по крутым склонам или пробирались узкими ущельями, бегим казалось, вот-вот случится обвал и всех их погребет под собой. Натерпелась она страху и во время гроз с молниями — стремительно низвергавшиеся потоки и в самом деле становились очень опасны.

Как-то заночевали они у кромки леса на левом берегу Амударьи — в mestечке Сурбайтал. Ханзода слышала рыканье тигров, которые подстерегали оленей, и всю ночь не могла сомкнуть глаз.

Там, где реки Гури и Кундуз, сливаясь, текут к Амударье, начинаются болотистые места, сплошь поросшие камышом. Воздух тут настолько сырой и затхлый, что трудно дышать. Говорили, что младший брат Шейбанихана Махмуд Султан, уцелевший во многих кровопролитных сечах, в Кундузе заболел какой-то неведомой лихорадкой и сгорел за несколько дней. Ханзода-бегим, вспомнив про лихорадку, с беспокойством поглядывала на сына.

Когда-то услышала она афганскую пословицу: «Хочешь умереть — иди в Кундуз», и, приняв ее за шутку, посмеялась. А теперь ей было не до смеха. Больше, чем за себя, она тревожилась за сына — родное, милое существо, зачатое от нелюбимого старика Шейбани, но ее сына воистину, потому что за десять лет хан-отец очень редко видел Хуррама, мало интересовался им.

«А если миры Бабура нет в Кундузе, если он, перевалив через горы, ушел в Андижан или вернулся в Кабул, что нам тогда делать?» — тревожилась Ханзода-бегим.

И долина Кундуз, окруженная горами Памира и Гиндукушем, казалась ей страшной ловушкой.

Однажды в полдень, там, где дорога, удалившись от берега Аму, поднималась в гору, им преградил путь большой вооруженный отряд, раза в три больший, чем их, охранный. Вскоре выяснилось, что встречные — из числа дозоров, высланных Бабуром. Ханзода-бегим вздохнула с облегчением. Начальник дозорного отряда Мухаммад Кукалаш повел караван к крепости на холме. Долина казалась теперь Ханзоде-бегим прекрасной: ласков был ветер, струившийся с гор, привлекательны леса на склонах, приветлива дорога вдоль реки.

Прежние ханы Кундуза построили крепость и дворец внутри нее в благоприятном для здоровья месте. «И со вкусом», — отметила про себя Ханзода-бегим удовлетворенно-спокойно: при мысле же, что в этом дворце она встретится с любимым братом, радость овладела ее душой.

У ворот их встретил дворецкий. Он провел Ханзоду-бегим, ее сына и спутниц в особое, хорошо убранное помещение и тут же удалился, чтобы немедля известить мирзу Бабура о прибытии сестры.

Прошло всего несколько минут, и в помещение вбежал джигит лет тридцати с красивой бородкой и тщательно ухоженными усами. Бегим приняла его сначала за одного из Бабуровых беков, тем более что за ним появился второй.

Ханзода запомнила своего брата девятнадцатилетним молодцом, еще без бороды: в нынешнем мужчине мало что осталось от прежнего юнца. Да и одежда широкоплечего джигита с ровно подстриженными усами и бородой была не царской: серебристо-белого цвета чалма без украшений, обычный шелковый чапан. Услышав о приезде сестры, Бабур из «приюта уединения», где он обычно писал, прибежал прямо в домашней одежде.

Ханзода-бегим, все еще не веря, вглядывалась в лицо вбежавшего. Бабур в удивлении остановился. Комок в горле не помешал ему выкрикнуть:

— Не узнали меня?! Я ваш брат! Ваш, во всем виноватый, Бабур!

Да, да, эти родные — Бабурджана — глаза, родной — Бабурджана — голос: Ханзода бросилась к брату. Приложила к его груди свои ладони, потом приник-

ла лицом. Бабур обнял сестру, и первые услышанные им — сквозь рыданья, сквозь слезы радости и горя — слова были такие:

— Бабурджан... Я тогда ушла... к хану... вопреки вашему приказу... Я знаю... из-за этого на вашу голову посыпались камни злорадных упреков... Но поймите меня, я не могла тогда поступить иначе...

— Да, я знал... Я понял, что вы пожертвовали собой ради моего спасения... Я ваш должник на всю жизнь!

— А сегодня... разве не оплатили вы... если уж говорить про долг. Вы спасли меня, Бабурджан! От неволи, от гарема Наджми Сони... Тысячи благодарностей богу, что у меня есть такой брат!

— Я горжусь вами, сестра! Как жаль мне, что наша матушка не дожила до этого дня!

Ханзода-бегим еще в прошлом году узнала о смерти матери. Но и сейчас острая боль от того, что она уже никогда не увидит мать, пронзила ее существо.

— Зачем столь рано бог разлучил нас с матерью? — Ханзода отодвинулась от Бабура, заглянула в глаза ему. — Когда она умерла? Точно скажите — как?

— Пять лет назад... От тифа. Ее погребли в мавзолее Боги Новруз в Кабуле.

— Ушла, не дожив до пятидесяти!..

— Да. А сколько людей живет и до восьмидесяти, и до девяноста.

— Это страдания из-за нас свели нашу мать в могилу, Бабурджан!

Мухаммад Кукалдаш, до того, не проронив ни слова, замерший у порога, сказал:

— Что мы можем против судьбы, бегим?.. Счастье, что вы свиделись с повелителем, своим братом. Этому сейчас радуется на небесах душа вашей матери... Сядем же, помянем ее молитвой.

Все трое опустились на парчовые курпачи. Вошел Касымбек и молча сел рядом. Голосом скорбно-тихим и вместе с тем мелодичным прочитал он поминальную молитву об успокоении души Кутлуг Нигор-ханум. И, лишь кончив молиться, поздравил Ханзоду-бегим с прибытием.

Ханзода-бегим знаком подозвала к себе сынишку, Хуррама, который сидел в углу, среди служанок, и оттуда смотрел — не очень дружелюбно — на происходящее. Мальчик подошел и сел у ног матери.

Светлой кожей лица, голубизной глаз, короткой шеей и редкими бровями он был похож на отца, Шейбани-хана. Хотя Бабур не видел Шейбани вблизи, он почувствовал это сходство: «Не наши черты, не наши... А сам мальчик будет ли... нашим?»

Хурраму не исполнилось еще и семи лет, когда отец провозгласил его своим наместником в Балхе. Должность исполнял, конечно, попечитель, Махди Султан, но Хуррам быстро привык к тому, что большие в чинах и возрасте люди низко кланялись ему, мальчику.

Мать, указав сыну на Бабура, сказала, что это — дядя. Хуррам не сразу, однако, преодолел отчуждение к незнакомому человеку, в душе отнесся к нему пренебрежительно — и не только из-за простоты его одежды. Нехотя, одним кивком головы поздоровался с Бабуром. Не встал, не подошел к нему, ничего не сказал.

Ханзода-бегим, слегка подтолкнув сына в плечо, тихо и строго напомнила:

— Опомнись! Мы на приеме у мирзы Бабура! Шах Исмаил освободил нас всех лишь по его просьбе!

Мальчик будто прозрел. Широко раскрыл глаза. С удивлением и благодарностью взорился на дядю: Бабур увидел — глаза мальчика большие, живые — как у матери.

Хуррам не забыл преподанных ему уроков поведения при дворе властелинов. Выставив согнутую левую ногу вперед, он опустился на колено правой перед Бабуром, приложив ладони к груди, низко поклонился и произнес трогательно, по-мальчишески звонким голосом:

— Повелитель, я... я здесь, чтобы служить вам.

Бабур заметил, что нос Хуррама тоже совсем как у Ханзоды-бегим. И внезапно он ощутил в своем сердце теплую привязанность к племяннику, видимо, гордому мальчику, пусть теплая привязанность эта повита еще горьковатым дымком от недавно потухшего пожара.

— Если прибыл служить, то с приездом, племянник! — сказал Бабур и усадил Хуррама направо от себя...

Полная женщина лет пятидесяти — смотрительница гарема, — испросив разрешения, вошла и сказала, что Моким-бегим хотела бы свидеться с высокородной сестрой своего мужа и повелителя.

Бабур взглянул на сестру, улыбнулся как-то многозначительно и приказал смотрительнице:

— Скажите, пусть она приведет с собой миразу Хумаюна.

Мохим-бегим, молодая жена Бабура, стеснялась запросто зайти в комнату, где были чужие мужчины. Касымбек и Мухаммад Қукалдаш, с позволения Бабура, тихонько вышли.

У дверей покоев, отведенных для Ханзоды, собралось немало людей. Ходжа Калонбек из Маргилана, Тахир из Кувы, ташкентский Саид-хан, самарканский Маджид Барлас, нукер Юсуф Андижани — все хотели увидеть Ханзоду-бегим, услышать весточку с родины. Касымбек велел им всем разойтись.

— Пусть она наговорится сперва с родными, потом попросим разрешения и для вас.

2

Молодая женщина в персикового цвета платье, плотно облегавшем ее тонкую фигуру, вошла в комнату, ведя за руку трехлетнего сынишку, богато разряженного («наследник престола!»). Ханзода сразу заметила, как похож мальчик на Бабура. Быстро поднялась, устремилась навстречу. Мохим-бегим поклонилась скромно, достойно, изящно. Золовка подошла, положила руку на нежные, круглые плечи. Мохим на миг приподняла белую шелковую вуаль. Ханзода взглянула на лицо («прелестна, прелестна!»), обернулась к Бабуру и, сияя радостью, воскликнула:

— Поздравляю! Ах, как вы подходите друг другу! Будьте счастливы, милые вы мои!

Маленький Хумаюн, держась ручонкой за подол материнского платья, с интересом смотрел снизу вверх на чужую красивую тетю. Ханзода-бегим взяла его на руки, и мальчик — вот странность! — не стал чуждаться ее. А когда Ханзода ласково прильнула щекой к его щеке, мальчик заулыбался.

Ханзода-бегим с Хумаюном на руках подошла к своему сыну и, опустив Хумаюна на землю, сказала:

— А ну-ка, знакомьтесь, маленький брат с большим братом!

Трехлетний «наследник престола», отпрыск Бабура, и десятилетний отпрыск Шейбани сперва молча

уставились друг на друга. Потом Хумаюн заинтересовался нарядным кинжалчиком, что красовался на поясе Хуррама, протянул руку к ножкам. Хуррам перехватил ручонку, осторожно пожал ее, поздоровался, но отдавать кинжал явно не пожелал. Сделал шаг назад.

Взрослые невольно рассмеялись. Бабур подумал: «Свое отдавать никому не хочется». А Ханзода-бегим не думала — она радовалась. Страхи и предчувствия каких-то неизведанных опасностей, что повергали ее в дрожь на пути в Кундуз, сменились теперь радостью. Радостью видеть этих мальчишек, не юных венценосцев, а просто детей, желание улыбаться в ответ на смушенные улыбки очаровательной Мохим, радостью сопререживания брату, горячо любимому ею с тех дальних времен, когда они и сами были такими же, как вот эти ребятишки, с тех времен и по сию пору любимым... Прекрасная радостная весна наступила в ее душе после лютой темной зимы.

Ханзода-бегим еще раз взглянула на Мохим, затем бросила озорной взгляд на Бабура:

— Судьба улыбнулась вам, мой повелитель! Как вы сумели завоевать такую красавицу? Откуда вы, Мохим-бегим?

— Из Хорасана, высокородная бегим.

Мохим всем видом своим умоляла мужа: «Не смущайте меня, не рассказывайте, как я в Герате бросила вам цветок через стену...» В душе Бабура все пело от радости, но он нарочито скучным голосом, будто зачитывая деловую бумагу, сообщил, что упомянутая выше бегим, его супруга, доводится родственницей султану Хусейну Байкаре, но четыре года назад ее отец, не поладив с Бадиuzzаманом, вынужден был переехать в Газни. Он же, Бабур, пригласил отца и братьев Мохим из Газни в Кабул, после чего они снова увиделись с бегим здесь, в Кабуле.

И вдруг, сменив тон, спросил у сестры:

— Между Гератом и Мургабом есть город Хазрати Джам, вы видели?

— Видела. Я знаю, что он назван так в честь поэта Джами, не правда ли?

— Верно. Но я хочу сказать о другом: потомки моей бегим по матери, оказывается, родственники Джами.— И шутливо прибавил: — А эти сведения привожу, чтобы сказать: моя бегим такой знаток поэзии

и такая поклонница поэтов, что знает наизусть все газели великих мастеров — Абдурахмана Джами и Мир Алишера. Потому, когда я напишу какую-нибудь газель, о, только держись — она изыскивает в ней одни недостатки.

На шутку мужа Мохим ответила шуткой:

— Приходится стараться: мой повелитель чрезмерно преувеличивает мои способности быть критиком!

Ханзода-бегим поддержала их шутливый поединок.

— А я нахожу, что, сколько бы Бабурджан ни хвалил вас, все будет мало!

— Благодарю вас, милостивая! — И, помолчав, молодая женщина вдруг заговорила о самой Ханзоде: — Я много слышала о вашей отваге, вашей самоотверженности и всегда мечтала увидеть вас. Благодарю все-всего за то, что сегодня эта мечта исполнилась. Милостивая бегим, я представляла вас героиней из сказки, а увидела и подумала, что с такой, как вы, не стоит и сравнивать выдуманных героянъ... Самое почетное место нашего дома и нашей души принадлежит вам.

Ханзода-бегим почувствовала, с какой искренностью произнесены были эти слова, невольно вспомнила Айшу-бегим («Пожалуй, и лучше, что Бабурджан развелся с прежней женой») и пожалела себя — такого счастья, как брату, всевышний ей не дал, он обрек ее на страдания в гареме Шейбани-хана.

Бабур только сейчас заметил, что у тридцатичетырехлетней Ханзоды-бегим появились в волосах седые пряди. Сестра напомнила Бабуру облик матери, когда та осталась вдовой. Ныне вдовой была и Ханзода-бегим!

Бабур растроганно сказал сестре:

— Я ваш должник навеки, бегим!.. Не забуду я благородства шаха Исмаила, который доставил вас в нашу обитель живой и здоровой!

— Если позволите, я расскажу вам кое-что о шахе, — Ханзода-бегим еще больше посветлела лицом. — У шаха есть жена по имени Таджли-ханум, необычайно красивая, скажу я вам. Привела она меня к шаху. А до того я слышала много страшных слухов: мол, шах Исмаил убивает суннитов, сдирает с них кожу. До обморока боюсь его, но иду. Вошла, ищу глазами чудо-вище, дэва из сказки. И вдруг вижу, сидит на троне джигит лет двадцати пяти с приятными чертами лица. Без бороды, только с длинными, тонкими усами. Нос

тоже длинный. Глава же пребольши... Говорил он по-азербайджански, но я разобрала все слова. Он почитает дочь пророка Фатиму, мать святых... поэтому, оказывается, у них особое уважение к жёнщинам, я это почувствовала и в дороге.

— У нас прежде тоже было уважение к женщине, — прервал Бабур. — Медресе в Самарканде недаром называло именем Биби-ханум. Напротив него стояло медресе Сарай Мульк-ханум. В усыпальнице Шахи-Зинда есть гробница Шоди Мульк-ханум и Туман-Аки. В Геррате же знаменитое медресе Гавхаршод-бегим. Все это ведь имена женщин, связанных с Амиром Тимуром и его потомством.

— Не знаю, может быть, во времена Амира Тимура было больше уважения к достойным женщинам, — бросила Мохим-бегим, взглянув на мужа, — но ныне почему-то не так...

— Преднарчтание судьбы! — сказал Бабур. — В те времена — времена расцвета науки и искусства — возросло и уважение к женщинам, ведь науки и искусство всегда могли по-настоящему возвыситься только при участии женщин: они вдохновляют поэтов, ученых и сами стремятся к сим вдохновенным занятиям. А во времена упадка сколь тяжко ученым и художникам, столь же унижаемы и женщины.

— Очень справедливо. Больно видеть, что духовный упадок, о коем сказал наш повелитель, распространился сейчас на весь Мавераннахр! — помрачнела Ханзода-бегим. — Ханы и султаны разных кочевых племен одержимы стремлением захватить страну, вернее — гело страны. До ее души нет им дела... Не надо бы мне говорить плохого о моем муже, погибшем в бою, но куда же денешься... Шейбани-хан объединил разрозненные и враждующие меж собой племена, взял Мавераннахр, воздвиг в свою честь медресе в Самарканде. Построил мост через Зерафшан. Вот некоторые его благие дела. Но как грубо относился он к ученым и художникам и как же он презирал женщин! Он приходил в гнев, когда ему говорили, что Тимуровы отпрыски возводили в честь своих женщин медресе и мавзолеи. Он считал, что великий Улугбек, увлекшись науками и искусствами, предал забвению истинную веру, а воспев женщин, открыв им дорогу в медресе, испортил нравственность. Мне удалось посмотреть книги «Шейбанинаме» и «Нусратнаме», написанные по его воле, —

там нет ни одного женского имени, о материах и женах шахов и султанов безымянно говорят — «дочь такого-то», «жена такого-то». Оказывается, имя чужой женщины не имеет права произность чужой мужчина, даже летописец — и такое дикое объяснение давал хан, никак учиившийся в медресе и пусть кое-как, но слагавший любовные стишки.— Бабур при этих словах улыбнулся, но уже невесело. Ханзода продолжала: — А у нынешних шейбанидов нет и тех знаний, одна только грубая сила. Люди науки и искусства покидают владения деспотов султанов — кто бежит в Хорасан, кто в Стамбул, кто в Кабул... Теперь вся надежда на вас, Бабурджан! — сестра словно забыла о придворных обращениях.— Очень много просвещенных людей смотрят на вас, брат мой, думают, что вам суждено возродить великий дух созидания, издревле присущий Мавераннахру. Надо вернуться на родину, согнать с солнца и просвещения черные тучи!

«Наука... Просвещение... Красота... Поэзия... Все это хорошо, но не на них, увы, держится мир,— подумал Бабур и тут же возразил себе: — Но и без них чего стоит власть?»

А власть, е г о власть в Мавераннахре можно восстановить. После гибели Шейбани-хана Бабур заслал немало доверенных своих людей в Самарканд и Андижан. Он знал: тысячи людей, измученных притеснениями кочевых султанов, готовы, как только Бабур явится в Мавераннахр, поднять мятеж.

— На прошлой неделе пришли приятные вести из Андижана,— сказал Бабур, как бы отвечая своим мыслям.— Сайд Мухаммад, наш родственник по материнской линии, собрал вокруг себя сторонников и прогнал из Андижана султанов-степняков. Сайд Мухаммад пишет мне: «Скорее в Андижан через Карагин, край ваших отцов ждет вас с нетерпением!»

— Так теперь вы хотите идти в Андижан? — понизив голос, спросила Ханзода-бегим.

Бабур все с тем же отрешенным видом отрицательно покачал головой — он намеревался послать в Андижан отряд во главе с надежным беком, а сам хотел быстро отправиться прямо на Самарканд через Гиссар. Но знал, что сил у него для такого двойного удара недостаточно. И нельзя было не посчитаться с шахом Исмаилом, который хочет предложить ему военный союз против кочевых султанов (Бабуру были в общем

известны намерения посла, прибывшего с Ханзодой-бегим, да и без посла смысл того, что Исмаил так щедро одарил Бабура, отпустив сестру, был ясен).

Нет, нельзя единолично идти на Андижан или, тем более, на Самарканд. Бабур располагал сведениями о том, что Тимур Султан, отважный полководец, сын Шейбани, отправил к шаху послов с подарками. О, не дай аллах, если две могущественные державы стакнутся меж собой. «Свое никто не хочет отдавать». Стакнуться они могут только за его счет — за счет третьего, к тому же самого слабого, пока слабого. А вот если он будет до поры до времени вместе с Исмаилом...

А вслух перед женщинами Бабур заговорил о поэтическом даре шаха Исмаила.

— Наш посланник Мирза-хан, которого я снова пошлю к нему вскоре, показал мне как-то стихи шаха. У него тонкий дар, пишет на азербайджанском тюрк очень красивые газели. Да еще скромно назвал себя «Хатои».

— Правда, он способный поэт,— сказала Ханзода-бегим.— Я слышала его газели, когда их пели кизылбashi. И шах, когда принял меня, похвалил моего брата словами: «Мы питаем в душе почтение к Бабуру-шаху и Бабуру-поэту». А потом прочитал наизусть двустишие из газели — многие газели нашего повелителя исполняют под музыку в Герате,— прочитал и сказал: «Чох яхши! Очень хорошо!»

Что скрывать, Бабуру было приятно услышать об этой похвале. Спросил, смущенный:

— Интересно, какая же это газель?

Ханзода-бегим, приложив палец к губам, попыталась вспомнить слова. На помощь пришла Мохим:

— Не начинается ли газель так:

Душа моя — розы бутои, и кровь по лепесткам струится...

— Да, да, именно так! — И Ханзода сама докончила бейт:

Весны уходят, приходят вновь — но розе моей не раскрыться!

— По-моему, неспроста эти строки отзвались в душе шаха,— сказал Бабур.— Ведь и он рано лишился отца, подвергался гонениям, много страдал. Говорят, теперь шах Исмаил намерен руководствоваться справедливостью...

— Он говорил мне так.— Ханзода-бегим все время возвращалась к своей беседе с шахом: — Сунниты погубили двенадцать имамов и вместе с ними — справедливость в мире. Но двенадцатый имам — Хазрат Махди не умер, он скоро спустится с небес на землю и покарает суннитов... А себя шах Исаил называет не иначе как послаником имама Махди, оттого шииты и возвеличивают шаха, именуют «имамом мира».

Бабур недоверчиво покачал головой:

— Странное дело — эти самозваные титулы! Шейбани сам себя величал халифом, наместником пророка божьего, грозил извести всех шиитов. А чем это кончилось? Бороться за власть, за достижение своих целей — понятно, но к чему вмешивать сюда вопросы веры?

— Но ведь и вражда суннитов и шиитов возникла из-за борьбы за власть, повелитель,— заметила Мохим.

Бабур не мог не признать, что Мохим права.

— Печально это, но, видно, судьбе было угодно, чтобы из-за тяжбы, разыгравшейся в столь далекие времена, люди дар-уль-ислама страдали и мучили бы друг друга до сих пор...

— О аллах, каких только бед не претерпели нынешние гератцы из-за этой тяжбы! Даже вспоминать страшно! — воскликнула Ханзода-бегим.

От нее Бабур узнал, как кизылбashi мстили приверженцам Шейбани-хана в Герате. Восьмидесятилетнего старца Тафтазани, суннитского шейх-уль-ислама, толпа шиитов выволокла на улицу и при огромном стечении народа приказала немедля принять шиизм, а когда Тафтазани отверг этот приказ, шииты повесили его на дереве, а дерево сожгли вместе с трупом казненного.

Ученые люди Герата, да и не одни они, шепотом передавали из уст в уста строки Абдурахмана Джами, сочиненные будто для нынешних времен:

Суннит, шиит... От этих распрай меня тошнит.

Вина, огнепоклонник, дай мне — душа горит!

«А сам, Джами, ты кто?» — я слышу к себе вопрос.

Отвечу: «Ни осел суннитский, ни шиитский пес».

Доходит стихотворение и до кизылбашей. Взвешенные, они приводят к гробнице Абдурахмана Джами молодых фанатиков шиитов. Мраморное надгробие с могилы сбрасывают; кощунственная рука переносит наверх подстрочную точку в букве, открывающей великое имя поэта, что выбито на камне, и вместо «Джамий» получается «Хомий» — «Недозрелый». Ломают

чудесной работы резную золоченую дверь, ее установил на гробнице Джами его великий друг Мир Алишер. Наконец все предают огню!

Бабур слышал обо всем этом впервые. Он недоумевает:

— Неужели шах Исмаил мог допустить такую диковинную выходку?

— Говорят, шах остался о ней в неведении. Разгромами в Герате руководил наместник шаха в Хорасане Наджми Сони.

— Как бы там ни было, великий Джами тысячу раз прав: распра шиитов и суннитов вызывает тошноту у людей с душою... Увы, как бы вновь не постигло меня разочарование: думал, что судьба наконец-то ниспослала мне в лице шаха Исмаила мужественного, благородного и просвещенного друга-венценосца, а он, видно, тоже запутан в распри о том, какой сунны придерживаться.

Мохим-бегим попробовала умиротворяюще улыбнуться мужу:

— Как видно, нигде нет роз без шипов, мой повелитель!

Бабур посмотрел на жену, потом на сестру. Та вымолвила, не без усилий:

— Есть пословица: «Ради самой розы приходится ухаживать и за шипами». Шах Исмаил проявил к нам столько... снисхождения...

Бабур поднялся с места. Подошло время назначенной им встречи с шахским послом. Мохим-бегим проводила мужа до дверей.

Бабур коротко и громко бросил:

— Считайте, что моя сестра всем нам — как мать родная!

Мохим поняла потаенный смысл этих слов. Приложив руки к груди, ответила:

— Со всей душой... А к вам одна просьба, повелитель. Будьте осторожны! Иногда за шипы принимают ядовитые стрелы.

С ярко вспыхнувшим горячим чувством нежности, признательности к жене, с благодарностью за то, как она проникает в его заботы и опасения, Бабур пообещал:

— О, не волнуйтесь! Я знаю это.

И подумал про себя: «Не надо жалеть ни золота, ни иных средств, способных склонить Исмаила к союзу. И его самого и его посла надо брать щедростью!»

Дары были и впрямь великолепны: драгоценные жемчуга, бадахшанские рубины, богатейшие златоткачные одежды, клинки лучшего закала с золотыми рукоятями, прихотливые предметы роскоши. Повара и кухонная обслуга два дня и две ночи с ног сбились, готовя угощения для пира, доселе невиданного в Кундузе: одних гиссарских курдючных овец было прирезано свыше восьмидесяти голов, а уткам, куропаткам, оленям, доставленным охотниками горными, степными, лесными и из прибрежных тугаев, вовсе числа не было.

Советник Бабура, Мирза-хан, не раз бывший во время своих поездок к шаху на разных торжествах в числе его гостей, предупредил Бабура:

— Кизылбashi пир без вина не считают за пир.

Первый же визирь Касымбек, известно, вина терпеть не мог. И сам Бабур не пил, если не считать случая в Кабуле, когда после женитьбы на Мохим попробовал некоторые сухие вина.

Сейчас к царившей в его сердце радости примешивалась временами и какая-то смутная тревога — словно противилась душа той сложной игре, которую он затеял и без которой нельзя было обойтись. Источниками тревоги, как он думал, были шах Исмаил и распри суннитов и шиитов.

Ему захотелось забыться, рассеять эту тревогу — хоть на часы пира. Ну, и просто нельзя не выпить хозяину, немножко, коли гости пьют.

Во дворец доставили немало пахучего и крепкого майноба и других вин — сколько можно было достать в Кундузе.

Подростки-кравчие, наряженные в цветастые камзолы с светло-желтыми воротниками, разливали вино по золотым и серебряным кубкам. Преподнесли сперва Бабуру, потом, поочередно, сидевшему рядом с ним послу шаха визирю Мухаммаджану и Мирза-хану.

В этом пиршестве участвовало свыше сотни беков и других знатных людей. Многие из них, незаметно от Бабура и Касымбека, попивали на прежних Бабуровых тоях, а теперь тем паче, — держа в руках бокалы с вином, озорно переглядывались, только и ждали знака хозяина. И Тахир, сидевший среди меньших по значению беков, то и дело поглядывал на серебряный бокал

осторожно, точно на некое живое существо: непривычно, а притягивает.

Мирза-хан, поигрывая густыми сросшимися бровями, шептал послу:

— Высокий гость, вы являетесь свидетелем необычного события — во дворце миры Бабура сегодня на пиршестве впервые собираются пить вино!.. Обратите внимание: какое волнение среди собравшихся.

Орлиноносый краснобородый посол с нескрываемым интересом оглядел дастархан, качнув огромной чалмой, на которой красовался знак алой короны, потом повернулся, уставил крашенную хной бороду в сторону Бабура.

Бабур держал бокал, будто некую птицу, готовую вот-вот выпорхнуть из рук или внезапно больно клюнуть. Все ждали слов Бабура, и он молвил так:

— В дни радостей и в кругу высокочтимых гостей пить вино, приготовленное из чистого винограда,— обычай, оставшийся нам от дедов и прадедов. В нашей жизни до сей поры печалей было больше, чем радостей, и мы воздерживались устраивать празднества с винопитием. Уважаемым бекам известно, что в Герате венценосные родственники мириза Бадиuzzаман и мириза Музаффар на пышных пиршествах в нашу честь почевали нас майнобом, но мы, принеся извинения, воздержались, ибо заботы, тогда отягощавшие душу, не позволяли предаться веселью. Но теперь, по соизволению всевышнего, дожили мы до радостных дней, коих причиной — благосклонность великого шаха Ирана Исмаила. Радость же сегодняшнего дня нам подарил наш высокий гость, и да будет выпита наша первая чаша в знак доказательства нашего безмерного уважения к шаху Исмаилу и в знак приязни к мудрому послу его — визирю Мухаммаджану!

Тронутый этими словами посол поднялся и, блеснув глазами, низко поклонился Бабуру. Затем сел и выпил бокал до дна. Музыканты заиграли веселую мелодию «Сарви наво». Посол что-то тихо сказал помощнику, сидевшему за ним, тот, осторожно ступая, направился к боковой двери, исчез за ней. Уже кончили играть «Сарви наво», когда бек-кизылбаш явился снова, неся на золотом подносе какой-то предмет, прикрытый белой шелковой материей.

Мухаммаджан еще до начала пира преподнес Бабуру вместе с письмом шахские дары из золота и серебра.

«Что же там еще?» — подумал Бабур, да и все остальные воззрились на поднос с интересом.

Музыканты закончили; среди воцарившегося молчания бек-кызылбаш приблизился с подарком к Бабуру, поклонился, встал перед ним. Мухаммаджан поднялся:

— Друг Ирана, великий султан Захириддин Мухаммад Бабур словами, преисполненными глубокого уважения к имаму мира, повелителю-падишаху Исмаилу, удостоен с его стороны величайшего доверия. И символ его — щедрый дар падишаха — прошу разрешить вручить хозяину этого пира!

Посол скинул шелковое покрывало с подноса, и все увидели белую чалму, украшенную рубинами и жемчугами. И конечно, маленьkim изображением кроваво-алой короны. Чалма была свита — Бабур быстро прикинул по числу складок — в двенадцать слоев, что соответствовало двенадцати святым шиитским имамам-шахидам. По верованию шиитов каждая из этих складок была священным пристанищем духа одного из имамов.

Бабур покраснел от выпитого вина, в голове шумело, но глаза его, неестественно оживленные, сразу подметили, как насторожились беки, как взъяренно зашептались меж собой. Бабур увидел, как Касымбек и сидевший поодаль шейх-уль-ислам Ходжа Халифа отшатнулись от чалмы на подносе — с негодованием и даже испугом.

И Бабур, и Касымбек, и все их соратники были сунниты. Они признавали всех четырех первых халифов и посему наматывали на головы чалмы о четырех витках — в этих четырех складках обитают души четырех халифов. Шииты же всячески охаяивают трех из них; их чалмы в двенадцать витков возвеличивают двенадцать имамов, боровшихся против Абу-Бекра, Омара и Османа.

Старому Касымбеку, для которого все шииты — изменники истинной веры, нежный блеск чалмы на золотом подносе представился блеском змеиной шкуры, а сверканье рубинов — налитыми кровью пламенеющими очами ее.

Визирь Мухаммаджан еще раз поклонился Бабуру и попросил Бабура принять и надеть на голову чалму, этот святой подарок, посланный ему лично шахом Исмаилом.

«Как он поступит?» — впились десятки глаз в Бабу-

ра. Чуткий его слух уловил слова Касымбека, который смятенно шепнул Ходже Халифе:

— Уж не намерены ли они хитростью и коварством заставить нас перенять веру шиитов?

А потом — прошел миг — Касымбек тихо, но внятно (посол услышал!) сказал самому Бабуре:

— Не надевайте ее, повелитель, умоляю, не надевайте!

Посол передернулся.

Бабур понимал: нельзя возложить на себя эту чалму — его будут считать перешедшим в шиизм. Но вино придало ему храбрости. Вино и — здравый смысл. В конце концов и халифы, и двенадцать имамов были для Бабура реальными людьми, которые жили много веков назад. Разумно ли ныне продолжать кровавую вражду, что их некогда разделила?

Бек-кызылбаш опустился на одно колено и протянул Бабуре поднос с чалмой. Еще раз поклонился ему и посол шаха.

Это Исмаил протягивает руку солидарности, Исмаил. И коль Бабур не примет эту руку, то... Союз с шахом заключат шейбаниды; пути возвращения его, Бабура, на родину закроются. А всем существом своим он стремится на родину, на пути к ней, столь желанной, готов горы прогрызть, реки выпить.

Бабур повернулся к послу:

— Подарок великого шаха Ирана безмерно дорог для нас.— И, помолчав, неожиданно спросил: — Наш высокий гость визирь Мухаммаджан имамит, не правда ли?

— Благодарение аллаху — истинно так! Алхами-дуллило! — произнес посол клятвенное слово Корана.

Бабур обернулся к Касымбеку:

— А вы, досточтимый амир ал умаро?

Касымбек произнес то же клятвенное слово и добавил:

— Да будут несокрушимой вашей опорой, повелитель, четыре святых соратника пророка нашего Мухаммада...

Посол побледнел.

— Достопочтенный визирь Мухаммаджан! — поспешил Бабур.— В священной книге сказано: «Кулли муслимин ихватун» — все мусульмане должны считать друг друга близкими, как братья. Мы уважаем убеждения мусульман-имомия, вы, надеемся, будете

уважать наши убеждения! — и Бабур широко рас-
простер обе руки, будто охватывая ими всех своих беков
и приближенных.

Посол, несколько смягчившись, вступил в эту игру,
понимающе закивал головой.

— Этот подарок великого шаха есть символ его
уважения к вам ко всем!

Бабур снова обернулся к Касымбеку:

— Святого Али мы с вами носим в душе своей,
верно? Он один из чарьяров, верно?

Касымбек подумал-подумал и согласился — ведь од-
на из четырех складок суннитской чалмы есть обитель
духа Али.

— Истинно так, повелитель.

— Биби Фатима, единственная дочь пророка наше-
го Мухаммада, святая для нас, верно?

— Истинно так, повелитель!

— Значит, если мы будем чтить имамов, рожден-
ных от святого Али и Биби Фатимы, то дела, не соотве-
тствующего вере нашей, мусульманской сущности на-
шей, не совершим, верно?

Касымбек постиг наконец, к чему ведет Бабур;
постиг он и то, что не сможет заставить Бабура отка-
заться от намерения вступить в союз с Исмаилом. Да и
сам Касымбек знал, насколько необходим такой союз
всем, кто с Бабуром. А раз так — следовало принять
коварный подарок шаха, а Бабур хочет принять его, не
теряя достоинства, умно, по-воински хитро лавируя.
Касымбек почувствовал теперь стремление защитить
Бабура, оберечь его от непонятливых. Склонив голову,
сказал виновато:

— Повелитель, вы правы, простите невежество
вашему рабу!

Бабур одобрительно взглянул на Касымбека: «Про-
щаю» — и обратился к беку-кизылбашу, чьи вытянутые
руки, державшие тяжелый поднос с чалмой, уже
мелко дрожали от усталости. Бабур смело, с решитель-
ностью во взоре взял обеими руками с подноса чалму.
У беков невольно вырвался тяжкий вздох.

— Этот дар великого шаха Исмаила — да благосло-
вит аллах его десницу — мы чтим свято и прилагаем
к зеницам нашим! — Бабур приложил чалму к пад-
бровью, коснулся ее лбом.

Лицо Мухаммаджана засияло радостью:

— Благодарны вам, повелитель, благодарны!

А среди беков, особенно могольских, что кочевали по всему Мавераннахру и присоединились к Бабуру недавно, поднялся ропот, в котором можно было различить голоса и недоумения, и злости.

Касымбек побледнел. А Мухаммаджан, точно ему уже удалось сделать из Бабура шиита (какая победа! И как будет ценить своего посланника шах!), заговорил:

— О мирана, мы уверены в том, что при поддержке великого шаха Ирана вы снова взойдете на самаркандский трон, и тогда надеемся узреть на вашей благословенной голове эту святую чалму!

Бабур дождался слов, которых и ожидал за все время пиршества.

— Если волею бога придет к нам тот счастливый день, мы обязательно наденем эту чалму. Так и передайте шаху Исмаилу!

Могольские беки заворчали еще сильнее, но и это было теперь на руку Бабуру: посол кизылбашей поверили в его смелость — для заключения прочного союза с шахом он, Бабур, не посчитается с самыми ярыми «людьми сунны».

Доверительные отношения, возникшие после пира между Бабуром и Мухаммаджаном, значительно облегчили исход переговоров. А они были непростыми. Предложив союз против последней Шейбани, Исмаил пожелал, чтобы его войско двинулось к Мавераннахру вместе с войском Бабура. Это не устраивало Бабура. Истинную тому причину он, конечно, скрывал от шахского посла, но сам знал ее твердо: если основной победы он не добьется самостоятельно, возвращение на родину не будет ни почетным, ни прочным. Нельзя, чтобы о нем говорили: «Вернулся, прискакав верхом на древке копья Исмаила».

Бабур уверял посла, что победа шаха под Мервом уже сделала больше чем полдела, теперь кизылбашам можно и отдохнуть, напасть на последней, добить их — его очередь. Но посол отвел эту идею: кизылбashi сами рвались в Самарканд. Тогда Бабур повернул переговоры в другое русло. Почему бы не вести нападения самостоятельно с двух сторон? Войско Бабура стоит близко к Гиссару. А кизылбашам, чтоб до Гиссара добраться, придется сделать дополнительный крюк длиной в многие сотни верст, по горам и болотам к тому же. Зачем зря мучиться? Не лучше ли шаху Исмаилу двинуться по ровной караванной дороге из Мерва

на восток через Термез и Шахрисябз к Самарканду, а Бабур в это время быстро переправился бы через Пяндж и Вахш и обрушился на последней в Гиссаре, чтобы открыть путь в Самарканд с юга?

Удалось наконец уломать шахского посла. Был заключен военный договор, в основу которого лег план Бабура.

Основные силы Бабура были уже сосредоточены у северо-западного подножья Гиндукуша, готовые к броску в Гиссар, когда в один из последних дней весны Касымбек признал, что среди тех самых могольских беков, которые не столь давно перешли к ним из стана Шейбани, назревает заговор. За теми беками шло двадцать тысяч нукеров, способных воевать чуть ли не постоянно. Наемничество стало у них почти способом существования,— и если тот или иной властитель оплачивал их услуги с большей щедростью, и если та или иная война могла принести им больше добычи, к этому властителю и на эту войну тут же и устремлялось большинство могольских беков. Да, они перешли на сторону Бабура, предвидя его победу, но среди них были и скрытые сторонники прежних хозяев. А уж после того как Бабур на приеме шахского посла взял в руки и даже приложил к глазам шиитскую чалму, фанатически настроенные беки-сунниты решились на бунт. Они распускали слухи, что Бабур изменил трем соратникам пророка и уже стал шиитом сам, а теперь хочет всех своих воинов превратить в вероотступников.

Тайный заговор возглавил Камбаралы, который до поры до времени скрывал, что он кровный враг Бабура, потому что в прошлом году в Кабуле был казнен его младший брат, участник другого заговора. Камбаралы собрал вокруг себя немало людей, жаждущих свергнуть Бабура. Но им нужен был человек из венценосцев, которого можно было бы поставить вместо Бабура. Выбор пал на семнадцатилетнего воспитанника Бабура Сайд-хана, который был сыном Олачхана, Бабурова дяди. Камбаралы начал втягивать в свои сети этого юношу, но тот оказался честным. И хитрым — ничем не выдал своего отношения к злому умыслу, обещал могольским бекам подумать над их предложе-

нием, а сам передал весть о готовящемся заговоре Касымбеку.

Касымбек рассказал обо всем этом Бабуре, с глазу на глаз, когда они ехали вдвоем по предгорью, вдали от людей. Новость сначала очень разгневала Бабура:

— Подлые беки! До каких пор они будут наносить мне удар в спину? Помните — андижанский Ахмад Танбал тоже ведь из моголов! Хватит! Захватить их всех! Четвертовать и — пусть стервятники расклюют их останки!

Касымбек, натянув поводья коня, обвел взглядом склоны гор, у подножья которых разбросаны были тысячи юрт.

— Повелитель, их много. У них двадцать тысяч нукеров.

— Неужели все моголы в заговоре?

— Не все, конечно. Ведь Саид-хан тоже из племени моголов, а проявил истинную верность вам. И тысячи других моголов хорошо настроены.

— Вот на них опереться, на племя, а заговорщиков беков во главе с Камбаралы схватить...

— А Камбаралы самый влиятельный. У него множество родни среди беков. И все они очень мстительны. Начнем подавлять врагов, проведем ли тогда трудный поход против других? Как бы не сорвалось все задуманное.

Касымбек был прав. Если среди двадцати тысячного войска начать расследование и кары, то это дело не только трудное, но и нескорое, время для похода в Мавераннахр будет упущено, пути возвращения могут оказаться закрытыми. А Бабур шел на все, готов был на любой риск, лишь бы вернуться на родину.

Когда Бабур взвесил все «за» и «против», чувство гнева сменилось у него чувством горечи.

— Вероломные! Знали, когда ударить! Самые подлые изменения исходят от моголов, подобных Камбаралы. А еще будто защищают нравственность, чистоту веры!

— Мой повелитель, вы правы, но... с обманщиками нельзя поступать как в честном бою... Ваш покорный слуга подумывает об иных мерах.

— Каких?

— Саид-хан доказал свою преданность вам? Доказал. Заговорщики беки (их десяток во главе с Камбаралы) хотят провозгласить его ханом. Так пусть он и станет их правителем. «Вот Саид-хан — ваш повелитель, —

скажем мы им.— Возьмите своих нукеров, езжайте с ними в Андижан». Ведь Андижан уже перешел на нашу сторону. Пусть Саид-хан едет туда и от вашего имени правит Андижаном. Так мы избавимся и от Камбаралы!

— А если и остальные потом перейдут на путь изменения?

— Вряд ли... Но с остальными недовольными я сам поговорю. Скажу, от гнева миры Бабура мое заступничество вас спасло, но смотрите — второй раз не заступлюсь... Ну, а на всякий случай за наиболее подозрительными будут следить мои люди. Если опасность возрастет, я их успею схватить...

Бабур тяжело вздохнул: затея пожертвовать Саид-ханом ему не нравилась, но найти иные, более предпочтительные меры он не мог.

В начале лета войско Бабура (за исключением тех могольских отрядов, которые все же пошли в Андижан вместе с Саид-ханом) вброд перешло реку Пяндж и хлынуло в долину Вахш.

Шейбаниды знали, что, если оно соединится с кызылбашами, шедшими со стороны Термеза, их дело будет проиграно. Оставив часть своих сил под командованием Убайдуллы Султана в Карши и Самарканде, противники Бабура основные свои силы собрали в Гиссаре. Тридцатысячная конница, возглавляемая Тимуром Султаном, Джанибеком Султаном, Хамзой Султаном и Махди Султаном, быстро миновала степи и начала подниматься в горы, намереваясь помешать переправе Бабура через Вахш.

Но стремительно спускавшийся с гор Бабур достиг берегов Вахша раньше своих противников и успел перейти через мост Пули Сангин. Воины его заняли выгодные позиции на отвесных скалах, карауливших входы в ущелье. Войско же степняков-султанов, подойдя к ущелью и не решаясь в него втянуться, остановилось.

Бабур сверху видел, как султаны, не слезая с лошадей, долго совещались, спорили. Затем десятитысячная часть под знаками и знаменами Тимура Султана пошла направо от входа в ущелье. Судя по всему, затевался фланговый обход высот, занятых Бабуром, своеобразная тулгама. Но горы — не Сарипульская равнина. На

перехват десятитысячного отряда Тимура Султана было направлено десять тысяч во главе с Мирза-ханом. Двигаясь по прямой, опережаешь тех, кто движется по кольцевой: Мирза-хан достиг намеченного места быстрее шейбанидов и успел занять к их приходу все важные высоты. По узким тропам, что вели наверх, и прямо по горным склонам Тимур Султан упрямо лез на прорыв; он сражался до полудня, отважно и безрезультатно: камни и град стрел сверху перечеркнули замысел устроить тулгаму.

Привыкшие сражаться на открытых пространствах, воины Тимура Султана в узком ущелье, среди отвесных скал, не сумели действовать, как обычно, слаженно, быстро и смело. По крутым склонам срывались мертвые и раненые лошади, катились вниз мертвые и раненые воины. Падали и живые — здоровые, но ошеломленные неравными условиями боя. Одного из них схватили и привели к Бабуру. Допросив пленного, узнали, что среди шейбанидов нет самого талантливого, Убайдуллы Султана. Остальные — после того как сорвалась тулгама — не знали, как продолжать битву.

Бабур был осведомлен, что вода находилась довольно далеко от низины, где скучились сейчас враги. А между тем жара усиливалась. Ясно, что люди и кони скоро начнут искать воду, которая находилась в двух-трех верстах от входа в ущелье.

Завечерело. Солнце начало садиться. Бабур слез с коня. Около тысячи воинов, что стояли на видимой отсюда высотке вместе с Бабуром, тоже нарочито наглядно спешивались.

Итак, сражение откладывается до завтрашнего утра?

Султаны так и решили: снизу они видели, что сделал Бабур. Но они не могли видеть того, что в скрытых складках ущелья стояли готовые ринуться в сечу отряды Бабура.

Султаны дали роковой приказ войску готовиться к отдыху и ночлегу. Ряды расстроились. Многие воины пошли назад по дороге, к воде.

— Всем вперед! Быстрее, быстрее! — закричал Бабур. — Враг отступает! Настигайте его, бейте, пока он снова не выстроил рядов!

Из ущелья несколькими волнами вынеслись двенадцать тысяч конных. Трехтысячный отряд ринулся сверху — Бабур, оголив саблю, вместе со знаменосцами поскакал впереди него...

Бегство врагов было паническим. Их войско рассыпалось. Тимур Султан, боясь очутиться в окружении, кинулся к другому дальнему ущелью; уже чуть темнело, когда Мухаммед Дулдай, перебив множество воинов Хамзы Султана, добрался до него самого и взял в плен. Близко к полуночи нукеры во главе с Ходжой Калоном схватили живым Махди Султана.

Эти султаны Шейбани были виновны в массовых истреблениях населения Каракуля и Андижана. Бабур приказал обезглавить их.

5

В прозрачном небе парит серебристая паутина, нити ее нежней белого шелка. В садах созрели гранаты и самые сладкие яблоки «накш»; отмений виноград «сахиби» красуется, спелый, на лозах. Осень, чудесная самаркандская осень!

Все ворота великого города открыты, въезд и выезд свободный. Уже десять дней как нет в Самарканде ни войска, ниластей. Сторонники Шейбани, потерпев поражение на берегу Вахша, попытались снова собрать силы, чтобы еще раз сразиться с Бабуром в окрестностях Гузара или Карши. Но, как стало известно, под начало Бабура пришло еще тридцать тысяч нукеров, посланных шахом Исмаилом, и султаны отступили в степи, оставив Карши, Бухару и Самарканд, угнав с собой стада, разграбив повсюду столько зерна, сколько смогли. Земледельцы Мавераннахра, который уже раз обобранные за время этой долгой войны, ненавидящие кочевых султанов и беков, ждали Бабура как избавителя.

Бабур вместе с союзниками, которые поспешили соединиться с ним, шел теперь на Самарканд не с юга, а с северо-запада, заняв предварительно и Карши, и Бухару.

Двадцать самых влиятельных лиц Самарканда с ключами от крепости-арка и дорогими дарами встретили Бабура неподалеку от города. Обе стороны дороги, ведущей к воротам Чорраха, были полным-полны народа. А в самом городе повсюду вывешены красивые ковры, паласы и сюзане, повсюду — радостное оживление, на крышах и над воротами примостились карнайчи и сурнайчи: какой это праздник в Самарканде без музы-

ки! Самарканцы уже успели написать стихи, славящие победу Бабура в Гиссаре и его прибытие в Самарканд. Некоторые строчки, написанные на белых шелковых полотнищах, раззываются вдоль улиц, над лавками и перед арком. Бабур не ожидал, что с таким почетом будет встречен на родине, которую некогда покинул униженным и бездомным. Проезжая по центральной улице к дворцу Кок-сарай, в шуме и гаме ликующей площади Регистан, где красовалось любимое им медресе Улугбека, непроизвольная дрожь охватила его, а на глазах выступили слезы. По-старому, будто подетски взглянув на Касымбека, ехавшего, как всегда, рядом, сказал:

— Не верится. Во сне все это иль наяву?
— Наяву, повелитель! Наяву!

Позади Бабуровой охраны, в пышных чалмах с алыми знаками гарциут беки кизылбашей: Ахмадбек Суфи-оглы, Шахрухбек Афшар, визирь Мухаммаджан и другие. На лицах надменность, ясно читается: «Если б не мы, не видеть Бабуру Самарканда!»

Самарканцы радуются избавлению от шейбанидских султанов. Но когда мимо проезжают кизылбashi, враз умолкают карнаи, сурнаи и барабаны. Пусть знают: не шиитов встречают — Бабура!

О жестокости кизылбашей, о том, что они насилием обращают людей в шиитов, ходят по Самарканду — как и в Карши, и в Бухаре — жуткие слухи.

Суннитское население с беспокойством и неприязнью смотрело на чужеземное войско — сильное, многотысячное. Беки-кизылбashi чувствуют этот холод; оказываемые Бабуру почет и уважение раздражают их. Так было и в Карши, и в Бухаре, и вот теперь — в Самарканде.

Бабур постарался пробудить чувства гостеприимства у своих соотечественников, он велел на городских площадях и улицах глашатаям возвещать: «Доблестные воины шаха Исмаила — наши дорогие гости!» В Самарканде в честь победы над шейбанидами Бабур устроил пир для населения и гостей — три дня подряд веселились.

Десять лет назад, когда Шейбани держал город в осаде, Бабур, его семья, все его люди перенесли тут жестокий голод. Нынче во дворце Бустан-сарай, во всех махаллях, на людных перекрестках с чайханами и лавками, в садах и местах гуляний пеклись в обилии

вкуснейшие лепешки всевозможных сортов; на тысячах подносах разносили ароматный плов; тысячи овец пали под ножами поваров, которые готовили кавурдаки, кебабы, шурпы; были распечатаны огромные кувшины, полные отменных вин.

Все для самаркандцев, родных и верных самаркандинцев, все для кизылбашей — стойких в бою и, надо полагать, в дружбе! Пришло время радостных вестей (Ташкент, Сайрам, Ош, Узген принимают сторону Бабура), время вина и осенних плодов! И казалось Бабуру, что началась та самая счастливая пора его жизни, когда должны осуществиться в лучшем виде все его мечты и желания.

Обширный, вымощенный гладкими камнями двор беломраморной соборной мечети гудит от голосов и шагов тысяч и тысяч людей, собравшихся здесь. Многие самаркандцы собственными ушами хотели бы услышать, как будет прочитана хутба — проповедь. Сегодня пятница, самый важный день мусульманской недели, и пятничная хутба — самая важная.

Неясность — в умах горожан. Приумножаются слухи: «Мирза Бабур перешел на сторону шиитов, он отвернулся от святых халифов, признал двенадцать имамов!» Люди, которые с надеждой встретили Бабура, не верили этим слухам, но противники старались изо всех сил, будоражили народ. Сегодня все станет ясно — по канону хутба должна быть прочитана с присовокуплением имен либо четырех халифов, либо двенадцати имамов.

Внутреннее пространство огромной мечети и двор ее переполнены. Во избежание давки у входа во двор и у дверей мечети поставлены вооруженные стражники. Приказ: не пропускать больше никого!

Наконец через заднюю калитку в мечеть вошли шейх-уль-ислам Ходжа Халифа, Бабур, Касымбек, группа начальствующих кизылбашей. При виде несметной толпы прихожан у Бабура тревожно застучало сердце. Поймут ли все эти люди, что риск, на который он пошел, необходим, игра, которую затеял, — дело временное и вынужденное?

Кормить «дорогих гостей», тридцать тысяч кизылбашей, нелегко (надо еще каждый день находить корм и для шестидесяти тысяч коней). Благодатная осень

кончалась. Припасы разграблены степняками-султантами, как, впрочем, и денежная казна. На базарах цены все растут. Бережливость нужна уже сейчас, бережливость! А как возможна бережливость, когда надо всячески ублажать кизылбашей? Выход один: корми и расхваливай,— дескать, и вы хороши, и ваши родичи хороши — и постараитесь поскорее отправить их восвояси. Однако в соответствии с предварительной договоренностью надо было еще провозгласить шаха Исмаила верховным властелином, прочитать хутбу, соответствующую с именами шаха и двенадцати имамов. Потом еще начеканить монет с изображением Исмаила, и тогда кизылбашские беки должны увести из Мавераннахра свое войско.

Чем разоряться, содержа безвозмездно тридцать тысяч ртов кизылбашских, лучше выполнить для вида все эти условия и избавиться от нахлебников — это понимали Касымбек и другие ближайшие соратники Бабура. И Ходжа Халифа согласился прочитать сегодняшнюю хутбу так, как ждал того Бабур. Но чтобы не вызвать особо гневной вспышки самарканских прихожан, решено было, что и четыре халифа, правда, без произнесения их имен, будут помянуты, хотя бы в общей форме, а имена двенадцати имамов придется произнести выразительно-внятно.

Почтенный, борода до пупка, шейх-уль-ислам Ходжа Халифа, наперсник Бабура, сперва прочитал перед прихожанами обычный пятничный намаз, затем, взяв в руку посох, медленно поднялся по мраморным ступеням на возвышение в глубине мечети — подошел миг начала хутбы.

Двадцать тысяч людей в четырехслойных чалмах затаили дыхание. Посол кизылбашей, мудрый визирь Мухаммаджан раздраженно перевел взгляд с этого полводья суннитских чалм на чалму Ходжи Халифы. Хитрец! Слоев накрутил больше четырех,— видно; однако и не двенадцать — тоже видно. А сколько точно — не сосчитаешь. И чалмы Бабура и Касымбека — такие же. Мухаммаджан встревожился не на шутку: неужели Бабур уклонится от выполнения обещания, данного в Кундузе?

Мухаммаджан стал следить за действиями Ходжи Халифы.

Вот наконец послышался бас шейх-уль-ислама, слегка дрожащий, хрипловато-тревожный:

— Бисмилла-аху, рахмо-онур-рахим!

На протяжении всей хутбы Ходжа Халифа плотью своей ощущал внивающиеся в него взгляды тысяч людей.

Колени его подгибались, но он старался держаться стойко и прямо... Произнесены восхваление аллаха и восхваление пророка... Теперь — очередь за восхвалением чарьяров — четырех первых халифов. Неужто он, Ходжа Халифа, шейх-уль-ислам, воссиявший в духе великой преданности чарьярам, теперь обратит в прах надежды стольких прихожан? Перед ним, Ходжой Халифой, двадцать тысяч человек в суннитских чалмах. Ходжа Халифа с детства верит, что в каждой четырехслойной чалме живут духи чарьяров, и по шевелению чалм в сей миг кажется Ходже, что это они взывают к нему, требуют почтительности к себе и грозят наказать, лишить разума, коли он посмеет, коли он только посмеет... Нет, Ходжа Халифа боится этих духов!

— Чарьяры бессмертные — святой Абу-Бекр! Святой Омар! Святой Осман! — стал произносить Ходжа Халифа имена, которые не должен был произносить.

Бабур почувствовал — будто ветер скользнул по лицу! — как тысячи прихожан вздохнули радостно-облегченно. Визирь Мухаммаджан побледнел. Шахрухбек Афшар схватился за рукоять сабли, метнулся было к возвышению, где поминались ненавидимые кызылбашами имена давно ушедших из жизни халифов. Они ненавидели их, будто халифы эти были сегодняшними, живыми врагами, они готовы зарубить каждого, кто взвеличивает их имена в мечети. Бабур слышал, что в соборной мечети Герата на глазах прихожан кызылбashi разрубили мечом шейха Зайнуддина, который сделал то же, что и Ходжа Халифа сейчас.

Успев схватить Шахрухбека за кисть руки, Бабур просительно прошептал:

— Досточтимый! Наберитесь терпения, терпения!

Меж тем Ходжа Халифа начал поименно перечислять имамов:

— Святой имам Хасан! Святой имам Хусейн! Святой Зайналиддин Али!

Шахрухбек Афшар сделал шаг назад, снял руку с эфеса. Но среди двадцати тысяч верующих суннитов поднялся такой гомон, что Ходжа Халифа, чтоб быть

услышанным, стал выкрикивать имена. Тут из толпы раздалось громкое:

— Э, хватит! Хватит!

Громадного роста нукер, один из тех, кто находился «на всякий случай» в толпе, быстро зажал своей огромной ладонью рот горлопана и выволок его наружу.

Когда шейх-уль-ислам, закончив перечисление имамов, начал восхвалять имама мира, великого шаха Ирана Исмаила Сефеви, продолжателя священного дела двенадцати, на всем — и внутреннем, и дворовом — пространстве мечети словно шумные нервные волны заходили. Они чуть стихли при провозглашении Ходжой Халифой Бабура «повелителем Мавераннахра».

После хутбы можно было слышать, как иные прихожане с гордостью замечали:

— Мирза Бабур истинный повелитель Мавераннахра — не отдал свой трон пришельцу!

Но немало было и таких, кто сетовал:

— Нашу чистую веру Бабур смешал с рафизитами! Вера испоганили! Навлечем теперь на себя гнев чарь-яров! Снова будет дороговизна! Снова голод начнется.

Бабур хотел как можно скорее отправить «дорогих гостей» обратно в Иран. Один раз он таки появился на троне в той самой двенадцатислойной чалме, что прислал в дар шах Исмаил. И начеканил несколько тысяч таньга с изображением Исмаила. Эти деньги он выплатил кизылбашам.

В городах и кишлаках провокационные слухи все ширились и ширились. Мол, вот-вот наступит конец света и что отвратительные существа Гог и Магог, о которых говорится в старинных преданиях, уже здесь и приняли облик кизылбашей. Мол, когда Бабур в шиитской чалме поднялся на Кукташ, краешек этой священной скалы отколупнулся. Пугали, что, когда прибудет в Самарканд шах Исмаил и тоже поднимется на Кукташ, начнется светопреставление.

Бабур своим видимым безразличием к вопросам веры (и независимостью в делах государственных!) восстановил против себя мулл и шейхов, многие из которых тайно и явно работали в пользу «халифа» Шейбани и его продолжателей. Это их люди разносili по базарам нелепые слухи, пытаясь еще больше распалить вражду между суннитами и шиитами. И рост цен эти люди также сваливали на шиитов.

Самаркандский базарный день в разгаре. Многолюдие. Кипенье страстей.

Пятеро иранских нукеров захотели купить самаркандского атласа, переливающегося семью цветами. Они зашли в лавку и велели толстому, одетому в рубашку с открытым воротом торговцу отрезать шелка примерно на четыре пласти.

Торговец взял в руки деревянный аршин и, насмешливо глядя на нукеров-кизылбашей, спросил:

— А какие у вас денежки? Покажите-ка.

Воин в огромной мохнатой шапке вытащил из кожаного кошелька три-четыре золотые монеты, издали показал, повертел перед торговцем. Тот успел увидеть на передней стороне монеты изображение шаха Исмаила, а на задней вычеканенные имена шиитов-имамов. Испугался, замахал руками. Он слышал слова муллы в своей махалле: «Деньги шиитов поганы, взявший их будет проклят чарьярами». Ему говорили товарищи-торговцы: «В этих монетах золота настоящего всего ничего».

Кизылбаш посмотрел на новенькие монеты на своей ладони, потом, с удивлением,— на торговца шелками.

— Что такое? Что за изъян в этой акче?

— У нас эти таньга не в ходу. Никто их не берет.

— Почему? Почему не берут? — горячась, переспросил кизылбаш.

— Не берут, и все!

Некто с наглым выражением лица стоял у дверей в лавку, он бросил:

— Деньги пришельцев поганые!

— Поганые?! — нукер-кизылбаш резко повернулся и бросился к сказавшему, хватаясь за саблю, но того и след простыл в толпе. А из толпы кто-то кинул камень в нукера, а еще кто-то выкрикнул:

— Рафизиты — предатели веры, вон отсюда!

Нукеры обнажили оружие. Товарищ покупателя грозно спросил торговца:

— Не возьмешь нашу акчу?

Гнев нешуточный, и торговец сменил тои. Сказал поласковее:

— Если возьму, то прогорю, пойми меня, дорогой гость. Здесь привыкли торговать на старые акчи.

— На старые? Значит, тебе нужны акчи Шейбанихана?

Так оно и было. На тех таньга были имена чарьяров, это во-первых. Но что еще важнее — таньга Шейбанихана были тяжелее.

Шейбани-хан провел, мы бы сказали, денежную реформу на территории всех своих вилайетов, простиравшихся от Герата до Ташкента. И этот бедный торговец помнил, как вес золотых таньга при Шейбани увеличился сравнительно с весом таньга при Тимуровых потомках на целый данг. Поэтому на всех базарах Хорасана и Мавераннахра спрос на таньга Шейбанихана был значительно больший, чем на другую монету. Но торговец не мог откровенно сказать об этом разгневанному нукеру, он только заметил:

— Шейбани-хана уже нет, умер.

И вновь кто-то выкрикнул сзади, в проеме двери в лавку:

— Эй, пришелец, освободи Самарканд от своего присутствия,— и кинул комок сухой глины в кизылбаша.

Комок попал в его шапку, рассыпавшись, обдал пылью лицо. В толпе засмеялись. Нукер выхватил из ножен свою кривую саблю и начал искать глазами того, кто швырнул комок. Не найдя его, снова обернулся к толстому торговцу. Повышенная голос на конце фразы — нукер был, видно, из Тебриза,— громко спросил:

— Ты не возьме-о-ошь акчу, да? Акчу шаха Исмамила, да-а?

— Возьму — горе мне будет, доблестный...

— Не возьме-ошь, да-а? — И кизылбаш резко, с оттягом, ударил торговца саблей, разрубив его от плеча чуть ли не до самого пупка. Тут же другой кизылбаш одним махом отрубил голову уже трупу, странно присевшему за прилавком. Кровь хлынула на шелка. Свидетели из толпы, что стояли в ее первом ряду, сперва замерли, на миг оцепенели, затем с воплями ужаса на устах кинулись прочь, и толпа растаяла.

А «дорогие гости» после этого случая пустились в открытый грабеж...

Вражда суннитов и шиитов все чаще приводила к кровавым столкновениям. Тревога обуяла наконец и беков-кизылбашей, не вполне успокоенных заверениями Бабура в том, что он останется верным договору,

заключенному с шахом Исмаилом, но напуганных размахом ненависти населения к себе. Влиятельные беки были одарены дорогими одеждами, быстроногими конями, серебряной и золотой посудой, деньгами,— и в конце зимы тридцатитысячное войско кизылбашей двинулось из Мавераннахра в Иран.

После этого в Самарканде стала налаживаться более или менее спокойная жизнь. Новые налоги, главным образом из новых вилайетов, пополнили казну, разоренную шейбанидами и содержанием кизылбашей.

Бабур мог теперь передохнуть, отдаваясь празднествам и излюбленным планам.

Как-то весной, когда уже радовала глаз бело-розовая кипень миндалевых рощ, Бабур с группой приближенных отправился на прогулку к обсерватории Улугбека.

Телохранителей вел Тахир на гнедом коне с белой отметиной на лбу. Касымбек и Ходжа Калонбек ехали по обе стороны от Бабура, выбравшего себе и для прогулки любимого боевого белого жеребца. Несколько поотстав от них, на черном вассадал задумчивый мавляна Фазлиддин, он прибыл неделю назад из Герата. Среди знатных беков почти затерялась щуплая фигура писца-мударриса, ведавшего делами школ и медресе.

Всадники, не доехав до арыка Оби Рахмат, свернули в сторону Боги-майдан, во времена Улугбека самого благоустроенного и знаменитого сада в Мавераннахре; да и лет пятнадцать назад этот сад был еще привлекательным, а потом, при Шейбани, остался без присмотра, в арыки перестала поступать вода, и многие деревья засохли. Крыша расположенного в саду двухъярусного Фарфорового дворца — прославленного колоннами и росписями на фарфоре Чинни-хони — начала протекать, и многие замечательные изображения попортились.

Бабур с печалью в душе обратился к зодчему:

— Мавляна Фазлиддин, мы призвали вас из Герата в надежде первым делом поручить строительство новых дворцов в городе и в загородных садах. Но посмотрите, в каком жалком виде старые, знаменитые на весь мир строения.

— Повелитель, весь мир знает об обсерватории мирзы Улугбека, а она столь же заброшена, как и Чинни-хона.— Мавляна Фазлиддин развел руками.— Вчера

впервые увидел, а душа все болит. Но чего же было ожидать? Обсерватория уже шестьдесят лет без присмотра. Со стен содраны изразцовые плитки, из стенной кладки вытащили мраморные блоки. Коли дальше так пойдет, от огромного здания останутся руины.

— Этого нельзя допустить! Уважаемый Касымбек, предоставьте в распоряжение мавляны Фазлиддина все необходимые средства и достаточное число людей. Обсерваторию и Фарфоровый дворец — память о великом нашем предке мирзе Улугбеке, их надо привести в прежний вид.

— Повелитель, с великой охотой примусь за исполнение вашего приказа. Фарфоровый дворец будет в прежнем блеске. Это дело не очень трудное. Расчистим арыки в саду, пустим по ним воду, насажаем цветов и саженцев деревьев.

— Успеем до навруза? — усмехнулся Бабур.— Не отпраздновать ли навруз в этом году в Фарфоровом дворце, а, уважаемый Касымбек?

Ходжа Калонбек, всегда расположенный к разным празднествам, радостно заулыбался:

— Мудрую мысль высказали, повелитель! Чего-чего, а мастеров и садоводов в Самарканде хватает. Всем будет руководить мавляна Фазлиддин, и до навруза он благоустроит этот сад, тогда — повеселимся...

Фазлиддин приложил руку к груди:

— Чинни-хону можно восстановить, но как быть с обсерваторией, повелитель?

— Восстановить, восстановить... Господин Касымбек, как и когда можно приняться и за это? — спросил Бабур.

Касымбек боялся «приняться» за обсерваторию. Когда-то самаркандцы, по крайней мере, многие из них, гордились Расад-хоной (обсерваторией) Улугбека. Фанатики шейхи и тогда ее проклинали, а после Улугбека, постоянно говоря о ней как о пристанище богоотступников и всячески проклиная, смогли убедить в том большинство верующих. Бабур восстановлением обсерватории еще больше озлобит против себя шайхов и мулл, и темные силы, что погубили Улугбека, могли бы покуситься и на его жизнь.

Касымбек решился на возраженье:

— Повелитель мой, стоит ли торопиться наступать на хвост змеи, пока еще лежащей в спячке?.. Да если мы и восстановим Расад-хону, откуда взять боль-

ших ученых, которые предавались бы там своим мудрым занятиям? Прошло шестьдесят лет с поры мирзы Улугбека, из ученых тех лет никого нет в живых, а новые поразъехались в другие страны.

— Их можно призвать, господин визирь,— Бабур нахмурился. Волевой его натуре нужно было немедленно начать движение к цели, пусть первые шаги.— Эй, мунши! Напиши-ка письма ученым от нашего имени.

Писец тут же вытащил из-за пазухи тетрадь и перо. Бабур диктовал, тот стоя записывал.

— Ученых, занимающихся наукой звезд, кою создал великий наш предок мирза Улугбек, где бы они ни были, в Герате ли, в Турции, Тебризе, должно пригласить от нашего имени прибыть в Самарканд. Ибо... оповестите-ка об этом и через глашатаев... мы вновь намерены открыть Расад-хону, и если кто из ученых сможет продолжить великое дело мирзы Улугбека, ему будет обеспечено для этого все необходимое: дорожные расходы возьмем на себя, на жилье и жалованье они не посетуют. Вам и поручаем, господин мунши, отправить с нашими посланниками соответствующие письма-призывы...

Под руководством мавляны Фазлиддина в саду Боги-майдан расчистили и восстановили разрушенные арыки, выкорчевали засохшие деревья и посадили новые и развернули богатые цветники. Возрождая Фарфоровый дворец, Фазлиддин не испытывал затруднений,— расплачиваясь справедливо и щедро, можно было найти художников и каменщиков, садоводов и землекопов, что делали свое дело на совесть и без устали. Но вот вести работу в стенах обсерватории, образующих величественное трехъярусное кольцо, оказалось очень трудно. Из-под лестничных маршей-полуколец уходила вниз зияющая пропасть, на дне которой поблескивали остатки дуги секстанта — огромного инструмента, чье назначение неведомо было темным людям. И как только каменщики-мастеровые оказались на краю, они начали дрожать так, будто перед ними разверзлась преисподняя. Шейхи и муллы твердили, что это помещение — убежище нечистой силы и тот, кто войдет внутрь здания, станет жертвой дьявола. Особенно сильным и активным влиянием пользовались шейхи из ордена «Накшбендия», главные винов-

ники закрытия многих школ и медресе в послеулугбековом Самарканде.

Несмотря на это, Фазлиддину поначалу удалось нанять за хорошую плату человек шестьдесят мастеров и рабочих и приступить с ними к восстановлению обсерватории. Для ремонта стен и потолков второго и третьего ярусов возвели леса. Тут-то и начали рыскать вокруг Расад-хоны толпы странствующих дервишей, всецело подчиненных накшбендийским шейхам. На виду у работающих они выстраивались в круг и предавались радениям, выкрикивая хором: «Хак дуст ё олло!», «Хак дуст ё олло!»¹, распевали стихи и песни, нередко искусно сложенные, в которых предсказывали, что гнев божий неминуемо покарает тех, кто отказывается от чарьяров, кто подвергает сомнению их бытие как вершителей судеб всего сущего. Среди дервишей были, конечно, тайные люди шейбанидов.

Были они и среди строителей. Один из таких подосланных нанялся таскать кирпичи. И через некоторое время «нечаянно» столкнул с высоких лесов самого умелого, смелого и преданного Бабуру мастера — мастера по изразцам. Мастер упал с третьего яруса на груду камней внизу и разбился насмерть.

Возликовали дервиши! Забыв все на свете, кричали в экстазе, беспамятном и яром: «Гнев божий покарал его! Духи погубили его! Слава аллаху праведному! Хак дуст ё олло!»

Мастера и рабочие покинули обсерваторию, ничего не восстановив в ней. Мавляна Фазлиддин намеревался было нанять других, не такого высокого мастерства, как ему бы хотелось; он отправился на базары к безработным, но больше, чем безработных, там было слухов: «Деньги, заработанные в Расад-хоне, поганые! Человеку веры быть там опасно, его убьют духи святых халифов». И стоило Фазлиддину заикнуться о работе в обсерватории, люди бежали от него, как от чумного...

А в Бустан-сарае пировали!

Например, в честь беков и знатных лиц Ургенча и Каракуля, что явились к Бабуре с дорогими подарками. Месяц назад Бабур послал туда доверенных людей, и то, что теперь эти города, без боя перейдя на его

¹ Что означает: «Ты друг правды, о аллах!»

сторону, прислали в ответ своих беков, сильно радовало «объединителя Мавераннахра» (так он мысленно называл теперь себя сам и гордился, когда слышал это прозвище из уст других). Многолюдные пиршества, обильные возлияния, впервые начатые в Кундузе, все более учащались. В честь успехов, а потом и независимо от них. Пировали поочередно то у одного, то у другого бека, которые по части винопития стремились превзойти друг друга.

Касымбек вновь и вновь напоминал Бабуре, что не так уж спокойно внутри государства, немало врагов точат исподтишка кинжалы, а в северных степях последыши Шейбани, не теряя даром времени, усиленно готовятся отплатить за поражение. Борьба идет не на жизнь, а на смерть...

В ответ на это Бабур любил читать вслух четыре строки из своей газели, сочиненной в приподнятом состоянии духа:

Пора свиданий и друзей — это и есть весна.
Напев стихов, пора любви, в крови огонь вина.
И кто, хотя бы однажды, мог познать все это сразу,
Тот счастье пробовал на вкус, все получил сполна.

На слова газели, как водится, была сочинена и мелодия; газель часто играли и пели на пиршествах.

Иногда же Бабур, хоть и был навеселе, говорил о материях более серьезных, хотя равно удаленных от подготовки к будущим битвам:

— Господин главный визир! Слышали вы, что в школах Самарканда обучают по изобретенной мной азбуке и куда быстрей, чем раньше, становятся грамотными? Спросите-ка хоть бы вот у этого почтенного мударриса...

Мударрис — чалма на голове и полный вина бокал в руке — подтверждает незамедлительно:

— Досточтимый главный визир, в избавлении нашего народа от болезней косности, невежества замечательное Хатти Бабури станет средством поистине исцеляющим! Арабская азбука — азбука Корана — для нас, разумеется, священна, но, согласитесь, тьма этих знаков над строчкой, под строчкой весьма затрудняет овладение грамотой. А Хатти Бабури лишена этих мудреностей, овладеть ею просто.

Касымбек знал, что буквы азбуки, изобретенной Бабуром три года назад в Кабуле, по начертанию свое-

му напоминают буквы древней тюркской письменности, образцы которой были найдены в Сигнаке на берегу Сырдарьи. Шейхи не признавали ничего доисламского и, если обнаруживались где-либо образцы древнетюркской письменности, их тут же уничтожали. Бабур же такое отношение к древности полагал за дикость и открыто говорил, что графика букв не имеет отношения к вопросам веры и что Коран — священная книга пророка Мухаммада потому, что убеждает смыслом содержащихся в нем божественных откровений, а вовсе не святостью букв, коими они записаны. Поэтому он изобрел письменность, опираясь и на арабский и на древнетюркский алфавиты.

Касымбек не умел да и не любил говорить о таких сложных и щекотливых вещах. Человек дела, он через два дня после описанной беседы привел к Бабуру в «приют уединения» мавляну Фазлиддина и мударриса, распространявшего Хатти Бабури.

Хозяин тотчас почувствовал, что все трое чем-то обеспокоены, приказал говорить одну чистую правду.

— Повелитель, случилось ужасное,— с лица мударриса не сходила бледность.— Учителя, который открыл школу и учил в ней по Хатти Бабури, убили невежды. Его забросали камнями.

— Убили?! — Бабур мгновенно впал в ярость.— Что за дикость!.. Касымбек, это что, начало бунта?! Вы все — заснули, проспали?

— Повелитель, я много раз докладывал вам, что шейхи-накшбандии повсюду мутят народ, поднимают его против нас. Дервиши чуть не вызвали опасные беспорядки, когда в Расад-хоне упал и разбился насмерть мастер. В мечетях муллы возводят клевету на вас, говоря: «Хатти Бабури создал не кто иной, как вождь шиитов шах Исмаил, которому подчинился наш Бабур». Слухи расползаются по городу, за словами идут, как видим, дела.

— Почему вы немедленно не дали приказ схватить смутьянов, распространителей лживых слухов?.. И при чем тут шах Исмаил,— Бабур оглядел своих приближенных, будто жалуясь,— ведь Хатти Бабури он вряд ли даже знает.

Быстрые перемены настроения стали теперь у Бабура весьма частыми. Касымбек ответил на его вопрос косвенно:

— Ходжа Халифа с минбара в соборной мечети пы-

тался было сказать об этом, но толпа столкнула его оттуда с криками: «Ложь! Это поганая азбука вероотступников, да покарает тебя аллах!» Кое-кто уже кричал, что он сам продавшийся шинатам шейх-уль-ислам. Не вступись Тахирбек, кто знает, могли бы убить шейх-уль-ислама.— И наконец Касымбек дал прямой ответ на гневный вопрос Бабура: — Повелитель! Мы схватили человек двадцать зачинщиков, но потом узнали, что натравили их муллы, которых трогать слишком опасно, нельзя; они — потомки Ходжи Ахрара.

Да, этих трогать нельзя. Тронуть потомков Ходжи Ахрара — Бабур понимал это — все равно что поднести факел к сушняку, готовому воспламениться и от одной единственной искры.

— Плохо и в войске, повелитель мой,— безжалостно продолжал Касымбек.— Полуголодная весна. Цены очень подс чили. Старые монеты у нукеров кончились, наши, новые, на базарах берут с неохотой. Расплачиваешься ими — надбавляют цены... Требуют повышения платы и беки, и нукеры. Но коль мы повысим жалованье, то не останется денег в казне.

— Что же делать, Касымбек? — голос Бабура прозвучал подавленно.

— Я предлагаю, повелитель, подумать всем вместе, немедля собрать беков на большой совет, встряхнуть их... и встряхнуться.

— Знаю, знаю, что это значит — «встряхнуть» и «встряхнуться». Беки одержимы желанием мести султанам, рыскающим в степях. Наши беки опять рвутся в бой. Ха, почему же нет? Новые вилайеты — новая добыча и бекам, и нукерам. Они засиделись в Самарканде, их сабли жаждут новой крови!

— Но, повелитель, ремесло воина — война... Тем более что наши враги — султаны — снова усилились... Десятитысячное войско Убайдуллы Султана из северной степи идет на Бухару...— Касымбек подвинулся ближе к Бабуру.— И обо всем этом знают шейхи в Самарканде, повелитель. Опасность извне и опасность изнутри связаны одной веревкой... Не время думать ни о чем другом, кроме войны, победоносный поход нужен как никогда, повелитель.

Бабур отвел взгляд от визиря, повернулся к Фазлидину и мударрису:

— Уважаемые! Судьбе угодно вновь бросить нас

в сеть тяжелых обстоятельств и забот. Придется отложить дела просвещения и строительства, приостановить обучение в школах по Хатти Бабури... И Расадхону восстановим попозже... Не время думать теперь ни о чем другом, кроме войны, — с горечью повторил он слова Касымбека.

Убайдулла Султан, узнав, что Бабур идет из Самарканда с тридцатью тысячами нукеров, свернул в пустыню. Войско Бабура расположилось у Бухары, ожидая возвращения противника из голодной апрельской пустыни в места, где можно прокормить и воинов, и лошадей. Но сколько можно было его ждать, да к тому же имея троекратный численный перевес? И Бабур принял ошибочное решение направить свое войско в глубь барханов. Убайдулле Султану как раз это и было нужно!

Часть войска Бабура — преданные горцы — могли успешно воевать в горах, в пустыне же, среди сыпучих песков, их кони двигались медленно. Арбы с пушками увязали в песке; войско раскинулось длинным караваном. И тут случилась измена: десять тысяч моголов оторвались от всей цепи и быстро ушли в пески на встречу сигнальщикам-проводникам Убайдуллы Султана.

Шиито-суннитская распра усилила брожение и среди тех, кто шел с Бабуром из Самарканда и Бухары, и среди оставшихся моголов-кундузцев. Лазутчики, засланные шейхами-накшбендиями, сумели заранее обезоружить многих нукеров, убедив их в том, что Бабур стакнулся с вероотступниками и теперь пророк и чарьяры отдадут предпочтение тем, кто сохранил в чистоте суннитскую душу, Бабур же обязательно потерпит поражение.

Убайдулла Султан провел глубокий охватывающий маневр по пескам, до пяди известных ему, и в местности между Хайрабадом и Каракулем у озера Кули-Малик напал на Бабура, который уже потерял управление всеми своими отрядами. Вражеская тулгама, на сей раз отлично удавшаяся, изменила моголов, низкий боевой дух разношерстного войска сделали свое дело, Бабур потерпел тяжелое поражение.

С остатками своих отрядов он отступил в Самаркандин, оставив Бухару, но и в столице Мавераннахра

не задержался — быстро ушел оттуда в Гиссар. А там очутился перед шестидесятичным войском Наджми Сони, который был послан шахом Исмаилом вроде бы на помощь Бабуру, а на самом деле — чтобы заменить его более надежным для Ирана венценосцем. Шах был недоволен тем, что войско кизылбашей столь скоро, по его мнению, покинуло Самарканд. Тайные осведомители уже давно доносили Исмаилу, что Бабур намерен создать в Мавераннахре самостоятельное государство и свою зависимость от шиитов считает временной.

Замысел шаха и Наджи Сони — установить господство Ирана в Мавераннахре — хранился в глубокой тайне, союз с Бабуром вроде бы оставался в силе, но уже по первым впечатлениям от встречи с Наджми Сони, по его почти нескрываемому пренебрежению, коварные планы чужеземцев Бабуром чувствовались.

Два меча — кизылбашей и потомков Шейбани — скрестились друг с другом в Гиждуване. Бабур шел вместе с Наджми Сони, но, поняв, что ключи к победе держат в своих руках суннитские султаны, вывел свое войско из кровавой игры и снова ушел в Гиссар.

Наджми Сони и сам пал на поле гиждуванской битвы. Кизылбashi были частью уничтожены, частью попали в плен, а часть их утонула в Амударье при беспорядочном бегстве.

Вот оно и оправдалось, ожидание неведомой беды! И страх, что поселился полтора года назад в душе Ханзоды-бегим, а потом на время исчез, теперь ожидал снова в эти тяжелые дни поражений.

Бабур через Байсун прошел в гиссарский Карагатаг и остановился на ночь — семь тысяч нукеров, семья, обоз — в небольшой долине у подножья гор. Юрта, в которой спала Ханзода-бегим с сыном и служанкой, находилась рядом с Бабуровой.

Перевалило за полночь, когда Ханзода-бегим неожиданно проснулась от топота коней и истошного лая собак. Вздрогнув от испуга, услышала злобные крики снаружи:

— Бей! Бей! Убивай рафизитов проклятых!

В глубине юрты тускло теплилась лампада.

— Это враги напали! Враги!

Ханзода-бегим, Хуррам и служанка были вмиг на ногах.

Бегим, уже в сапогах, всовывала в рукава чапана руки сына, когда заостренный конец стрелы пробил плотный войлок, но ее раздвоенный хвост — опе-ренье — застрял в отверстии. Мать, охваченная ужасом, прижала сына к груди, а мальчик — уже выше материнского плеча — с интересом смотрел на острый кончик стрелы, что несла ему смерть.

— Эй, где стрельцы! Ходжа Калонбек! Касымбек! Тахир! Обороняйте гарем! Берегите детей!.. Стреляйте! Стреляйте!

У личной охраны Бабура были кремневые ружья, — пожалуй, самое устрашающее в те времена оружие и редкое, дорогостоящее, — их приобрел Бабур у ки-зылбашей.

Вот одно из них загрохотало неподалеку, потом начали палить сразу несколько. Ханзода-бегим осмеле-ла настолько, что уже почти спокойно закончила одевать сына, не забыв повесить поверх чапана нарядный кинжал.

На стене юрты висел колчан «Хуррам-шаха» с десятком стрел. Мальчик тут же повесил его на плечо и взял в руки свой лук.

Звуки битвы, конечно, испугали одиннадцатилет-него мальчика, но вместе с тем пробудили в нем боевой азарт. С детства впитал он в себя воинственный дух отца, хотел поскорее вырасти и проявить отвагу в бою. За ним числилась попытка побега в дядино войско, когда Бабур воевал в Бухаре. Бабур тогда вернулся домой вместе с наставником, впрочем похвалив за при-страстие к воинскому делу. Сын перенял от матери горячую любовь, которую она питала к Бабуру. От тех преданных повелителю душой и телом людей, кто обучал его, Хуррам постоянно слышал о доблестях Бабура. Так и получилось, что сын Шей-бани-хана с каждым днем проникался все большей любовью к дяде и ненавистью к его врагам, шейба-нидам.

Он ненавидел тех, кто сейчас с криком: «Ур!.. Кир!» («Бей, истребляй!») — налетел на их стоянку и хотел выпустить в них все стрелы своего «шахского» колчана. Мальчик кинулся наружу и откинул полог юрты, хотя старая нянька-рабыня с возгласом: «Ой-ей, повелитель мой, куда вы, стойте!» — успела схватить его за ремень, чтоб затянуть обратно. Но ей это не удалось: Хуррам был смелый мальчик.

— Пустите меня! Слышите, пустите меня! Я хочу помочь дяде, мирзе Бабуру! Пустите!

Личная охрана Бабура выстрелами из ружей и стрелами остановила врагов, не подпустив их к юртам, в которых находились женщины и дети. К юрте Ханзоды-бегим Тахир подвел двух коней, жестко сказал:

— Высокородная бегим! Юный шах! Садитесь! Скорее!

Ханзода взглянула на сундуки и узлы:

— Неужто все вещи оставить?

— Будем живы — добро наживем! Садитесь быстрее! Так приказал повелитель!

С неба светила полная луна. Вот при свете ее показались у выхода из белой юрты Мохим-бегим с пятилетним Хумаюном на руках. Касымбек, сидевший верхом, нагнулся, взял к себе мальчика, укутал его чапаном.

Убедившись, что Ханзода-бегим в седле (Хуррам вскочил на коня раньше всех), Тахир позаботился о том, чтобы усадить на коней и свою жену с десятилетним сыном Сафаром.

Женщины и дети, защищенные кольцом нукеров, возглавляемых Касымбеком, двинулись из лагеря в сторону, где еще не шел бой. Сквозь грохот выстрелов, лязг клинков, стоны раненых, фырканье и ржанье лошадей доносились яростные крики:

— Долой неудачника Бабура!

— Сам стал шиитом и нас хочет опоганить! Не выйдет!

— Долой его!.. Бей!

— Уничтожай их под корень!

Ничего не понимая, Ханзода-бегим спросила у Касымбека:

— Что за враги выкрикивают эти гадкие слова?

— Мятежники, — хмуро сказал визирь. — Опять монголы. В позапрошом году в Кундузе перебежали к нам, потом обратно... Эти вроде остались и вот теперь... хотели застать врасплох повелителя, убить во сне! Да, слава аллаху, стражники Тахирбека вовремя почувствовали опасность!

— Ох, беда за бедой!

— Плохо, что их вдвое больше нас. И нападение подготовлено заранее... Держитесь в середине, бегим! Первый ряд для воинов!

Мятежники были близки к тому, чтобы замкнуть окружение. Уже неподалеку раздался голос Бабура:

— Устод Али! Ведите вперед стрелков! Вперед! На прорыв!

Пули легко пробивали панцири и шлемы, мятежникам трудно было устоять перед стрелами. Собрав в один кулак самых надежных и умелых нукеров, Бабур намеревался прорвать кольцо и двинуться в крепость Гиссар, куда беки-заговорщики не хотели пускать его. Они стремились сами завладеть ею — ради этого и поднят был мятеж.

Кремневые ружья, стволы которых через три-четыре выстрела сильно раскалялись, уже не годились в дело. На прорыв — в сторону востока, а не юга, куда собирались идти женщины и дети, — ринулась тысяча нукеров во главе с Ходжой Калонбеком.

Рукопашный бой на конях — жесток и быстротечен.

Хурраму было страшно, но он старался преодолеть страх. Ах, как ему хотелось немедленно, тут же, поразить стрелой хотя бы одного врага.

Битва уже рассыпалась на схватки отдельных групп, и одна из них докатилась до нукеров, что оберегали детей и женщин. И тут Хуррам решительно взбодрил коня, вырвался в первый ряд, быстро натянул лук и одну за другой пустил три стрелы. Ханзада-бегим лишь на какой-то миг потеряла его из вида. Увидев же, что сын стреляет из лука, тотчас кинулась к нему. Она уже была рядом, когда вражеская стрела вонзилась в правый бок мальчика. Хуррам вскрикнул, выпустил из рук лук и начал сползать с седла.

— Сыночек! — возглас матери был сильнее шума боя.

Хуррам был без сознания, когда Тахир поднял его к себе в седло...

Стало светать. Битва иссякла. Бабур не смог прорваться к крепости и вернулся в долину Вахша. Заговорщики, в свою очередь, не в силах уже были преследовать его.

Личный лекарь Бабура долго колдовал над Хуррамом, распостертым на чистом чекмене, смазывал рану мазями, наконец после долгих усилий остановил кровь. Но Хуррам так и не пришел в себя, только изредка стонал.

Стрела, что вонзилась в него, прошла меж легкими и желудком, повредила внутренние органы. Лекарь

хотел напоить ребенка водой с кусочками наилучшего мумиё, но это оказалось невозможным: насилино влиятый раствор шел обратно. Ханзода-бегим в ужасе кинулась к сыну, обняла его бесчувственное тело, запричитала:

— Хуррамджан! Мой единственный! Мой Хуррам!

Глаза мальчика вдруг широко открылись, но взгляд не был осмысленным, зрачки заметались из стороны в сторону, а потом закатились. Ресницы замерли.

Бабур понял, что Хуррам умер. Он обнял сестру за плечи и попытался увести ее в сторону. Но Ханзода-бегим с силой вырвалась, она не могла оторваться от тела, теперь уже мертвого тела сына, ласкала, обнимала, приподнимала его, захлебываясь слезами, криком звала его:

— Хуррам! Хуррамджан, где ты?! Где ты, мальчик мой? Встань! Отзовись! Отзовись!

Наконец Бабуру — он и сам рыдал — удалось вы-свободить тело мальчика из рук его матери и снова уложить на расстеленный чекмень. Касымбек, чтобы закрыть ребенку глаза, осторожно погладил пальцами по его бровям, но детские глаза так и остались полу-открытыми. Только теперь поверила Ханзода-бегим в смерть сына: в исступлении стала бить себя кулаками по вискам, кричать громко и страшно:

— Боже! Это я не уберегла тебя, мой мальчик! Лучше бы умереть мне, мне!!! Будь я проклята! Зачем, зачем я привезла тебя сюда??!

Бабур взял судорожно сжатые в кулак руки сестры в свои и с силой повернул ее лицо к себе.

— Если кого и надо проклинать, так проклинайте меня! — с горечью воскликнул он. — Это я снова на-влек на вас беду! Лучше бы смерть взяла меня, я, я, виноватый во всем! Это из-за меня очутился невинный ребенок меж двух мечей! Это я вовлек вас всех в по-боище!

Касымбек с сочувствием обнял Бабура за плечи. Он казнил себя за то, что напрасно в прошлом году удержал Бабура от принятия решительных мер, когда в Кундузе узнал о назревавшем заговоре беков-мого-лов. Сегодняшний мятеж — это старый нарыв про-рвался.

— Все мы виноваты, повелитель, — сказал наконец Касымбек. — Мир такой: предатели губят честных и невинных.

Ханзода-бегим снова с криком бросилась на тело ребенка:

— Я по горло сыта этим вашим миром! Хватит! Похороните меня вместе с сыном!.. Уйду в другой мир! Вместе с Хуррамом уйду!

Положив тело Хуррама на носилки, сделанные из стволов арчи, несли его весь день на плечах, меняясь местами. А под вечер похоронили на одном из зеленых холмов на виду у гряды величественных гор Памирских; на маленькой могилке затрепетал белый флагок — знак того, что покоится здесь невинная душа.

Ханзоду-бегим, еле живую, едва довезли до Кундуза, там подлечили, потом перевезли в Кабул.

КАБУЛ

1

Под вечер с озера взлетела стая длинноклювых уток. Мирза Хумаюн, дожидаясь этого мига, немало времени просидел в густых зарослях на берегу. Вскинул лук, спустил с тетивы стрелу, за ней тотчас вторую. Из поднявшейся стаи одна утка замедлила лёт, начала резко снижаться, а потом, бессильно опустив крылья, упала в воду у противоположного берега.

Там качался на легкой волне восьмивесельный челн повелителя, покрытый пышным балдахином. Пока Хумаюн, обогнув озеро на коне, вместе с наставником и нукерами добрался до берега, приближенные шаха сели в лодку, подобрали утку из воды и вышли на сушу навстречу наследнику.

Хумаюн увидел, что сам отец держит убитую утку и осматривает ее. Сын быстро соскочил с седла и в требуемом обычаем отдалении склонился в поклоне.

Бабур реакции движением выдернул стрелу, застрявшую в груди птицы. Посмотрел на сына, спросил:

— Твоя стрела?

Хумаюн заметил, что отец опять в состоянии легкого опьянения. В последнее время Бабур пил много, вот и сегодня на челне под балдахином он и сотрапезники-беки распивали майноб. Хумаюн припомнил, что озеро и земли вокруг объявлены местом отдохновения шаха. Виновато мигая, ответил:

— Простите, повелитель, я тут стрелял... не ко времени.

— Но выстрелил метко.— Бабур улыбнулся.— Возьми птицу. Молодец!

Хумаюн, приложив левую руку к груди, подошел поближе к отцу, правой взял утку и тут же передал ее одному из слуг.

Большеглазый, смуглый и худощавый джигит из свиты Бабура — его звали Хиндубек — обнажил в улыбке плотный ряд белых зубов:

— Наследник в меткости глаза и твердости руки пошел в отца-падишаха!

Ходжа Калонбек тут же и поддержал, немного невнятно (майноб сказывался): мол, перед нами сын, достойный прославленного родителя своего.

Бабур удовлетворенно посмотрел на Касымбека, который в обычной позе внимания и, как обычно, молча стоял в сторонке. Касымбек, которому было уже за шестьдесят, сам отказался от должности первого визиря и теперь был наставником Хумаюна. «Как некогда моим, чего уж тут скрывать... трудно мне было бы без этого верного человека», — подумал Бабур.

— Досточтимый атка за обучение Хумаюна меткой стрельбе заслуживает особой похвалы,— сказал Бабур.— Но властителю подобает не только метко стрелять. Каков же мой наследник в искусстве верховой езды?

Касымбек поощрил Хумаюна взглядом, и мальчик тут же, засверкав глазами, попросил разрешения делом ответить на вопрос.

— Ну что ж, давай отвечай!

Тринадцатилетний Хумаюн ростом почти догнал отца. И лицом, и манерой держаться он напоминал Бабура-отрока.

По знаку Касымбека двое нукеров с двумя оседлаными лошадьми стали на одной прямой, на расстоянии шагов в пятьдесят друг от друга. Хумаюн ловко вскочил на своего густогривого, с белой отметиной во лбу, отъехал назад, потом пустил его во весь опор по воображаемой прямой линии; поравнялся с первым на этой линии конем, неуловимо быстро бросил свои поводья, высвободил ноги из стремян, на лету оперся о луку чужого седла — и одним махом перескочил на него. Тут же схватив поводья, крикнул: «Ни с места!» —

нукеру, что держал коня следующего; помчался вперед и столь же ловко перемахнул в третье седло!

Подвыпившие удалые беки чуть не хором закричали:

- Хвала! Хвала!
- Неслыханно! Невиданно!
- Совсем как отец!

Бабур вспомнились упражнения в пору лихого своего мальчишества, такие же перепрыгивания из седла в седло в загородном саду под Андижаном,— один раз он, помнится, промахнулся и сильно ушиб себе ногу.

— Да сохранит Хумаюна всевышний от дурного глаза. Он, кажется, превзошел меня в ловкости конной езды!

— Мирза Хумаюн в любом деле берет пример с вас, повелитель,— Касымбек говорил искренно.

Искренно заметил и Бабур:

— Вряд ли смогу я быть ему примером во всем!

Подошедший Хумаюн удивленно посмотрел на заметно потускневшее лицо отца:

— Почему же, повелитель! Мой атка рассказал мне про все ваши сражения — и победоносные, и те, в которых судьба не дала вам удачи. Наверное, ни Рустам, ни Сухраб, ни Алпамыш не бились так много с врагами, как вы!

— Важны не битвы, мой амирзода, а то, к чему они приводят,— сказал Бабур. Он имел в виду свои поражения и последствия их, и самое тяжелое последствие — окончательную потерю родного Мавераннахра.

Ну, а Хумаюну важней всего было другое: его отец столько раз в кровопролитных битвах сталкивался со смертью лицом к лицу и всякий раз выходил из этого поединка живым и невредимым,— разве это не богатырство, не геройство истинное? Хумаюн недавно услышал от Касымбека рассказ о том, как зимой, в жестокий мороз и опасную снежную бурю, когда никто не осмеливается взойти на высокий перевал между Гератом и Кабулом, перевал, на котором даже летом лежит глубокий снег,— Бабур со своими нукерами перешел через него, преодолел все, что немыслимо, казалось, преодолеть человеку, ежели он не поставил себе самоубийственной задачи быть погребенным под снежным обвалом. «Мы шли в снегу по грудь,— рассказывал наставник.— Кони не могли идти, валились на снег.

А люди по очереди выходили, раскидывали снег, пробивали тропинку. А когда и нукеры не могли двигаться от усталости и высокогорной болезни, вызываемой нехваткой воздуха, тогда выходил вперед наш повелитель. А морозы свирепели, и он не заметил, как отморозил лицо и уши. Но все-таки мы прошли, он провел нас всех через этот страшный зимний перевал».

Повествуя о бесконечных опасностях, пронесшихся над головой Бабура, Касымбек уверял Хумаюна, что его отец судьбою заговорен от смерти. Хумаюн рос под влиянием этого наивного убеждения. И сейчас с доверчивой детской простотой спросил у отца:

— Повелитель, это правда, что уже здесь, в Кабуле, когда была битва с заговорщиками, вас не узнал богатырь нукер по имени Дост и ударил вас саблей?

Бабур улыбнулся:

— Что было, то было... Явился я в Кабул после зимнего перехода с обмороженным лицом, видно, совсем не похож был на себя! А в Кабуле изменники встретили нас саблями. Обманули нукеров, среди них и Доста... Дост хорошо знал меня. Я ему успел крикнуть: «Дост, опомнись!» Да когда сабля взнесена, трудно удержаться, не ударить — сабля опустилась на мой шлем. Думаю, Дост узнал меня по голосу, и рука его дрогнула, и потому удар получился не такой сильный. От его удара никто не оставался в живых. А в тот раз поранил он мне голову.

— А сам?

— А сам, видно, испугался, бросил саблю, убежал, скрылся... Я его не преследовал.

И Хумаюн, и беки были в восторге от услышанного. Скромность украшает, но... нынешний первый визирь Бабура, сорокалетний, статный, красивый мужчина, бек Мухаммад Дулдай, чуть пошатываясь, решил восстановить истину:

— Все от бога, и случившееся — от бога! Всевышний сделал так, что нашего дорогого повелителя не берут ни сабля, ни мороз, ни стрела!

Хумаюн неприязненно отстранился от подобострастного, пьяно-красного лицом визиря. Он хотел сейчас разговаривать только с отцом. В последнее время мальчик вообще все сильнее тянулся к отцу. А Бабур постоянно был занят государственными делами, указами и приказами, в уединении — книгами и тетрадями, в свободное же время — пиршествами вместе с дове-

ренными беками. На Хумаюна смотрел как на мальчика, который еще не годится в собеседники. Ему же, наоборот, до смерти хотелось беседовать с отцом. Круг товарищей по детским шалостям, скучноватых учителей, даже Касымбека включающий, все меньше его устраивал.

— В прошлом году, на берегу реки Синд, вы, отец, говорят, сражались с тигром...

— Откуда узнал?

— В личных ваших покоях я видел шкуру тигра. Бабур кивнул на беков за спиной:

— Мы одолели тигра все вместе.

Хиндубек возразил улыбчиво — белые зубы сверкнули:

— Не будь среди нас повелителя, мы бы не посмели и приблизиться к тигру.

Хумаюн бросил на отца взгляд, полный восхищения...

А Бабур, разговаривая с сыном, мысленно был в Мавераннахре: поражение в борьбе с Шейбани и шейбанидами не забывалось, не уходило из памяти, жгло душу. «И Гиссар пришлось оставить!.. Вот что значит — сила. Нет ее — нет и удачи... Который уж раз отворачивается от меня судьба, слетает с плеча моего Хумо — птица счастья». Желая забыться, предать забвению печаль и горести, что приумножались в его судьбе, он пил вино все чаще и больше, пьянял — но боль не исчезала. И взор его — человека, который пал духом,— обращался к сыну, его Хумаюну: оказывается, тот начал проникаться чутким интересом к жизни отца.

На мгновенье он увидел себя глазами подростка-сына. В самом деле, то, чем гордится сын, было, происходило, заносилось в книгу его действительного бытия. Беки из-за лести толковали его отвагу как нечто сверхъестественное, знак особого расположения к нему аллаха. Но аллах его и наказывал... а точней, все: и хорошее и плохое, и победы и поражения — зависело от людей — земных и обыкновенных, и он сам — земной, пусть и не во всем обыкновенный, что чувствовал своей неиспорченной детской душой Хумаюн.

Пожалуй, впервые осознал Бабур, что не только он, отец — опора сыну, но и наоборот: сын, его триадцатилетний Хумаюн,— ему опора, ободрение. Жизнь казалась Бабуру кромешной черной ночью, а вот теперь,

будто увидев эту ночь глазами сына, он начал различать в ней светлые точки, похожие на звезды.

Хумаюн, как бы оставаясь с отцом один на один, понизил голос и сказал чуть не шепотом:

— Все стихи из сборника, что подарили мне, я выучил наизусть. Если желаете проверить, спросите...

За спиной Бабура стояли беки — его приближенные, его люди. Чего они сейчас больше всего хотели? Скорее вернуться на чели, продолжить пир.

Бабур обернулся к бекам, неожиданно строго сказал:

— Уважаемые, на сегодня, полагаю, мы достаточно и поплавали, и... повеселились. Теперь я намерен заниматься с мирзой Хумаюном! Коня!

И Бабур сел в седло, и радостно вскочил на коня и Хумаюн. Отец и сын поехали рядом, направляясь в город. За ними — Касымбек и свита в некотором отдалении.

Глаза Бабура блестели сильнее обычного. А то вдруг почти смежались. Ах, майноб — коварное вино!

Преодолевая его воздействие, хмельно улыбаясь, Бабур обратился к сыну:

— Так... ну, амирзода, слушаю... слушаю...

Хумаюн, весь лучась от сознания, что едет стремя в стремя с отцом, торопливо прочитал рубай:

Грешим мы бранью, за добро друг другу платим злом.
Себе и ближнему беду мы сами создаем.

Как много боли и обид в своих мы душах копим
И отываем их потом слезами и вином.

Нет, не прост Хумаюн! Ну и рубай выбрал! Хочет сказать, что понимает, почему увлекся отец вином, и что прощает ему сегодняшнее опьянение.

Бабур, смущенно посмеиваясь, сказал:

— Верно... только в первом бейте ты нарушил размер стиха, слог один потерял... Да и недопонял ты всего смысла, издевки в этом рубай.

— Как... недопонял?.. Издевки над кем? — удивился Хумаюн.

— Над тем... над теми, кто... ну, бывает, люди говорят друг другу много обидных слов, ищут-ищут слово, чтоб побольнее... обидеть близкого. А потом... надо же избавиться от страданий совести... ищут забвенья в вине. И опять, значит, обижают других, близких... Полезно, бывает, поиздеваться и над самим собой.

Хумаюн снова удивился.

— Полезно? Почему?

— В твои годы трудно это понять... Знаешь, меня до тридцати лет совсем не тянуло к вину... А как ты? Тебя не тянет?

Хумаюн совсем смущился. Затем как-то сурово и грустно взглянул на припухшие веки отца, сказал:

— Я не люблю вино.

Он, Бабур, в тридцать лет тоже чувствовал отвращение к вину. Одобрительно кивнул головой и спросил:

— Ну, а что ты любишь?

— Что люблю? — Хумаюн задумался на короткое время: — Люблю ездить, видеть и узнавать. Больше всего люблю хорошие книги, которые про героев, готов их читать с утра до вечера...

«Похож на меня,— подумал Бабур. Оглядел сына, задержав взгляд на сыновьей руке, державшей рукоять плетки.— Смуглый мальчик... Возможно, оттого, что родился и вырос на юге». Но кисть руки была очень схожа с его собственной. Бабур взял руку сына за запястье:

— А ну, раскрой ладонь.

Хумаюн засунул плетку за пояс и раскрыл ладонь. Бабур приблизил к ладони сына свою открытую, сравнил... Все короткие и длинные линии на обеих ладонях повторялись. Хумаюн счастливо рассмеялся, а Бабур глубоко вздохнул:

— Не дай тебе бог бед и горестей, испытанных мной!

— Я хочу перенять все, что сделали вы: я же — наследник.

Бабур обеспокоенно взглянул на сына:

— Но будь при этом поразборчивей. За мной числятся и такие дела, что ни перенимать, ни наследовать не стоит.

— А какие, повелитель?

— Горькие... жестокие... неправедные... Мало ли какие!..

Хумаюн задумался. Есть ли подтверждение этим отцовским словам в его стихах? Кажется, есть, нашел.

Куда ни пойду — рядом горе идет по дороге.

Направо, налево сверну — страданье навстречу опять.

Кто видел так мало покоя, так много тревоги?

Кто смог столько бед пережить, столько муки принять?

Душа Бабура всколыхнулась от обжигающей правды этих строк.

— Как хорошо ты читал, Хумаюн мой,— похвалил

он сына.— Ты понял, что я сказал тебе раньше... Не хочу, не хочу, чтоб и на тебя пали все те напасти, что падали на мою голову.

— Я понял, отец... Я теперь буду говорить лишь о радостном в вашей жизни, которая меня притягивает к себе, хорошо?

И в цитадели отец и сын продолжали разговор. Они долго сидели в просторном и светлом помещении, окнами на горы Шахи Кабул. Хумаюн взял перо и неожиданно буквами Хатти Бабури написал такой отцовский бейт:

Тюркам азбука не суждена своя, о Бабур.— Что же делать!
И Хатти Бабури сигнакийский дар, а не твой.— Что же делать?

Бабуру вспомнились самаркандские невежды, фанатики, что забили камнями учителя, который рискнул обучать детей по его, Бабура, азбуке... Темные и жестокие силы, некогда погубившие Улугбека, змеи шипящие, они пустили в ход ядовитые свои жала, когда он, Бабур, взялся за восстановление обсерватории великого ученого. Бабура тоже обвинили в измене мусульманству, убедили в этом даже немалую часть войска, что способствовало его поражению в Кызылкумах.

Вынудили, вынудили отказаться от распространения им изобретенной удобной азбуки...

— Кто из учителей научил тебя этому? — Бабур разглядывал написанное сыном с восхищением.

— От каллиграфа Мирбадала научился...

Хумаюн написал бейт без ошибок, но, конечно, к этому алфавиту еще не привык, оттого и буквы вышли неровными, неодинаковыми по величине.

— Тебе нравится, сын?

— Очень! Знаков надстрочных и подстрочных мало: писать и читать легче.

— Что ж, упражняйся побольше, поусерднее, сынок. Когда будешь писать мне, пиши этими буквами, хорошо? И я тоже ими буду отвечать тебе. Так нам проще будет соблюдать тайны.

Хумаюн живо представил себя, как станет тайно переписываться с отцом, и душу мальчика пронзило гордое чувство собственной значимости, нужности для такого человека, богатыря-героя, каков его отец. И вместе с тем чувство это было нежным, детски трогательным и наивным — Хумаюну захотелось сделать отцу что-то еще более приятное...

— Повелитель, а угодно ли вам будет, если я что-то сыграю на рубабе?

— О, с удовольствием послушаю.

Им принесли афганский рубаб, инкрустированный перламутром. Хумаюн настроил его, тронул струны. Чрево рубаба рождало звуки величественные, словно раскатистое эхо в горах.

Хумаюн играл мелодии в стиле «наво», потом — «савт».

Последняя из мелодий, сыгранная сыном, была до боли знакома Бабуру: еще бы, он сочинил ее сам в прошлом году, назвав «Чоргох савти». Музыканты исполняли этот савт редко: было в нем что-то такое, что не позволяло играть его на пирах. Как же Хумаюн сумел запомнить «Чоргох савти»? Воспитатели подсказали, чем можно отцу угодить? Вот так желают удостоиться шахской похвалы и, конечно, наград?.. Ну, а если даже и так? Важно, что Хумаюн играет с настоящим чувством! Вряд ли до конца постигая глубокую выстраданную правду мелодии — чтобы доказать искренность своих слов, что будет во всем хорошем следовать примеру отца — и воина, и художника... А это стремление — разве плохо для мальчика?

Бабур вслушивался в музыку и думал с горячим восторгом о сыне и одновременно о том, как испортился он сам, желающий видеть все в темном свете, всех подозревавший в какой-либо корысти. Но какая корысть у Хумаюна?.. Нет! И собственная жизнь представлялась теперь ему, Бабуру, не одними темными сторонами. Ведь и он, подобно Хумаюну, испытал некогда порывы благодатных и благородных стремлений, и жизнь его текла тогда прозрачным родником. Потом воды родника замутились обвалами. Но этот родник жив и поныне, он пробивается стихами и музыкой — пусть же его струи питают сердце Хумаюна!

Бабур сегодня впервые столь ясно ощутил удивительную связь между своей жизнью и жизнью сына. Конечно, сын никогда не сможет во всем повторить отца, но во всем — и не надо. Если сын глубоко привязан к отцу, если он, как говорят в народе, пошел в отца, тогда в беге времени сливаются их жизни, отца и сына, не сделает отец, сделает сын — вот во что хотел верить теперь Бабур.

Значит, это добро, коль наставники-атка, мать и учителя Хумаюна, стремясь привить мальчику любовь

и преданность к отцу, представляют ему Бабура только с хорошей стороны. Это не льстивое угодничество в нем воспитывают, а... предостерегают от плохого. Разве сам он, Бабур, не желает отдать сыну только достойное, надеясь, что сын не повторит его ошибок и не испытает его мук.

В тот же вечер Бабур вызвал к себе Касымбека и преподнес ему истинно шахский подарок — дорогую шубу с золочеными пуговицами и красавца коня со всей сбруей. Золотом и серебром одарены были и другие учителя и воспитатели наследника...

— Ну, а что подарить тебе, сын, скажи сам? — спросил однажды Бабур, зайдя в покой Хумаюна и снова оставшись с ним наедине.

Хумаюн, страстный книголюб, очень заботился о собственной библиотеке: она занимала целую особую комнату, а кроме того, в спальне мальчика стоял книжный шкаф из полированного орехового дерева. Хумаюн открыл шкаф и показал отцу выдвижную полку, богато отделанную резьбой, на которой одиноко стоял стихотворный сборник Бабура.

— Эту полку я выделил для ваших произведений, отец, — сказал Хумаюн. — И молю бога, чтобы он дал вам возможность написать еще много книг. Я мечтаю всю эту полку заполнить ими!

Бабур развеселился:

— Остроумно придумал! Но... чтобы выполнить твое желание, я должен писать и писать всю жизнь!..

Он увидел, как смущился Хумаюн, и добродушно добавил:

— Но пусть сие и произойдет! Говорят, хорошая мечта — половина дела! С сегодняшнего дня начну писать для тебя новую книгу. Ну-ка, дай мне твою тетрадку.

Хумаюн проворно достал из шкафа новую, еще не начатую тетрадь в позолоченной твердой обложке и двумя руками протянул ее отцу.

Взяв тетрадь, Бабур подошел к столику о восьми ножках. На нем лежало хорошо очищенное перо. С чувством особого, не испытанного до сих пор умиления Бабур сделал первую «запись»:

Сердца росток моего ты, о сын...

Бабур представил себе большое дерево, которое выбросило молодой побег. Или по-другому? Два дерева —

большое и тонкое, молоденькое — привиты друг к другу, стали одним целым, и плод их совместный вобрал в себя лучшие качества обоих. Как это редко бывает у людей! Вражда между венценосными отцами и сыновьями-наследниками почти постоянна в этом мире. Такая вражда унесла жизнь великого Улугбека, а затем и самого Абдул-Латифа, его сына-убийцы. Награда судьбы — когда сын всю жизнь искренне любит отца, предан ему, продолжает дело его. Но когда это бывает? Когда и отец так любит сына.

Бабур решительно написал в Хумаюновой тетради первый бейт:

В сердце моем привит черенок, и мне без него не жить...
Имя свое оправдай, сынок: счастье свое удержи.

Бабур писал двустишия-маснави — так пишут эпические поэмы, поучения, даже научные сочинения. Стихи текли свободно и легко.

Все, что задумал, свершить сумей. Целей своих — достигай!
Пусть тысячи любят тебя людей: любовь им в ответ отдай.

«А почему бы не написать целую книгу маснави?
Напишу и посвящу сыну!» — радостно-просветленно подумал Бабур.

— Продолжение напишу потом.— Он порывисто встал из-за столика.— Получишь в подарок от меня книжку, название которой будетозвучно с твоим именем!

Книга «Мубайюн» действительно была написана Бабуром в тот же год. Он включил в нее и те несколько строк горячих пожеланий сыну, что впервые возникли на страницах сыновней тетради. И книгу «Мубайюн» переписал лучший каллиграф Кабула, ее переплел должным образом мастер-переплетчик.

«Мубайюн» в звучных стихах излагал суть мусульманского законодательства. Уроки фикха мучили Хумаюна, как когда-то и юного Бабура, своей скучой, запутанностью и словно нарочито усложненным арабским языком. Понятно, что Хумаюн читал теперь отцовский учебник, написанный с поэтическим блеском, и звучные строки на родном тюркском языке будто сами собой без особых усилий западали в память. Понятно, что с «Мубайюном» выросла в Хумаюне любовь к отцу, преклонение перед его талантом, вера в его удивительную силу. И в его верность слову! Ведь Хумаюн знал,

как много сложных дел у отца и как он занят с утра до ночи. Тем не менее сдержал слово, выкроил время, чтобы написать для сына целую книгу! И каких стихов! — Хумаюн без конца восхищался ими, прикладывал подаренную книгу к глазам, целовал ее, как святыню.

Когда Хумаюну исполнилось пятнадцать, на средней полке его книжного шкафа появилась еще одна книга Бабура — «Мухтасар». По ней Хумаюн изучал законы аруза. Надо сказать, что и жажда писать стихи передалась от отца к сыну. Впрочем, стихи отца настолько затмевали поэтические опыты самого Хумаюна, что сын прятал их, стыдился показывать отцу и был уверен, что из него не выйдет большого поэта. «А быть маленьким светлячком в поэзии — зачем? Лучше уж быть ее бескорыстным знатоком и ценителем!» — так однажды сказал ему отец, и мысль эта крепко запала в сознание Хумаюна.

Теперь у Хумаюна оставалось одно неутоленное желание прочитать «Былое», книгу о жизни отца, которую, как слышал Хумаюн, отец пишет с юных лет. Некоторые части ее, касающиеся прожитых отрезков времени — «ферганского», «андижанского», «самарканского» — отец читал матери, Мохим-бегим. В их семье эту книгу уже называли «Бабурнаме». Хумаюн долго ждал удобного случая, чтобы попросить ее у отца.

Когда Хумаюну исполнилось шестнадцать лет, Бабур назначил его своим наместником в Бадахшане, горном kraе, отдаленном от Кабула. Бабур отправлял туда сына вместе с Касымбеком и другими, наиболее надежными, людьми, дав им всего две тысячи лучших нукеров. Конечно, он беспокоился за сына. Поехал провожать его до перевала, все время в пути затратил на наставления.

Хумаюн счел это совместное путешествие подходящим для разговора о заветной книге:

— Повелитель, в Бадахшане мне будет очень трудно без вас. Помощь, которую вы мне великолепно обещали, — моя опора. Но и без вас у меня будет постоянное общение с вами: я везу с собой ваши книги. Увы, среди них еще нет «Былого». Я прошу вас, повелитель, если вы соблаговолите, пусть каллиграфы перепишут для меня ту книгу.

Бабур, всегда охотно исполнявший просьбы сына,

на сей раз покачал головой отрицательно и даже нахмурился:

— Та книга еще не закончена. Она — в отрывках, и я не могу ее отдать каллиграфам.

— Когда же закончите, отец? Я буду ждать с нетерпением!

Бабур многозначительно взглянул на сына:

— Уж лучше не спеши, амирзода. Знай: конец той книги — это конец моей жизни.

Хумаюн вздрогнул:

— Зачем вы так говорите, отец!

«Бабурнаме» что-то впрямь застопорилась. Союз с кызылбашами и жестокое поражение, которое потерпел он, Бабур, после того, как привел на свою родину войско чужеземцев, — обо всем этом не то что писать, вспоминать было тяжко. Но... неужели это и должно стать последней главой книги жизни? Ведь сидеть здесь, в Кабуле, воевать или мириться с многоликими племенами его удела, описывать его достопримечательности (сделал он это, сделал, описал и горы, и реки, и растения, и животных!) — не маловато ли для него, Бабура? Здесь и кончить жизнь, постепенно угаснуть в малых заботах? Бабур чувствовал: чтобы продолжить и затем закончить книгу достойно, надо одержать еще большие победы, такие, чтобы смыли позор тяжелых поражений от Шейбани и его отпрывков. Вот теперь растет, становится добрым помощником сын Хумаюн. Может, заветную цель — создание большого, крепко спаянного в своих частях государства, которую Бабур не осуществил вместе с разными родичами и беками, — он сумеет осуществить вместе с сыном?

Мысли эти вихрем проносились в голове. Вслух же Бабур сказал, не желая расстраивать сына:

— Пусть не тревожат тебя мои слова о конце жизни. Я так сказал, потому что намерен писать «Вылое» до конца дней. Лелею мечту вписать в его будущие главы и твои хорошие дела.

— О, повелитель, коли так, то пишите «Бабурнаме» еще пятьдесят и даже сто лет!

— А хватит у тебя терпения ждать столько? — улыбнулся Бабур.

Хумаюн ответил серьезно:

— Перед всевышним клянусь, буду терпеть столько, сколько мне суждено жить!

Голубой мраморный дворец назван Боги Дилкушо — «сад, где рассеиваются печали». Бабур построил его для Ханзоды-бегим на самом берегу реки Кабул.

В одной из зал сидит мавляна Фазлиддин на пятках, будто приготовился класть земные поклоны, а рядом с ним, положив на колени руки и опустив глаза, прирос к ковру его отприск. Сын — молод, но уже заметна растительность на щеках и на подбородке.

Напротив, в длинном темно-синем платье с белым шелковым покрывалом на голове, закрывающим лицо, неподвижно застыла Ханзода-бегим.

Молчание тягостно всем. Наконец его прервала надломленным, прерывающимся от волнения голосом Ханзода-бегим — отвечая своим мыслям и словно продолжая прерванный разговор:

— Хуже всех в конце концов оказалось тому, кто ушел из этого мира, мавляна, — ведь умершему не вернуться... Живые стонут и плачут, страдают и горюют и все-таки... все-таки утешаются, примиряются с горем. Судите по мне... Я все еще живу...

— Бегим, в наши времена и живым нелегко. Двадцать три года прошло, как я покинул Андижан. Сколько бед с тех пор обрушилось на голову! Сколько несчастий мы все пережили!

На минуту забывшись, Ханзода-бегим перенеслась воображением в свою молодость, проведенную в Андижане, столь близком душе и далеком отныне. Трудно сейчас поверить, что Фазлиддин тогда был сильным и обаятельным, молодым... Мулла Фазлиддин, зодчий Фазлиддин, Фазлиддин... джигит. Как много мук принесли ему, промелькнув, десятилетия. Сеть морщин покрыла за это время не только его лицо, но и шею, руки стали сухими и жилистыми, стан согбенным, — он выглядел за шестьдесят с лишком, а меж тем Ханзода-бегим хорошо знала, что Фазлиддину пятьдесят три. «А сама-то я?» — подумала бегим, представив свое отражение в зеркале, в которое она глядится по нескольку раз в день: и зубов впереди поубавилось, и губы совсем поблекли, и волосы поредели, покрылись пепельным налетом.

Лучшие годы — молодость и расцвет женский — прошли в непрестанном увядании; цветок погибает, не успев раскрыться полностью, — мысль эта снова

вызывала слезы на глазах Ханзоды-бегим. Быстро утешив их, она спросила:

— Мавляна, а сколько лет вашему сыну?

— Двадцать один, бегим.

И подумала Ханзода в этот миг, что ее погившему сыну Хурраму было бы сейчас двадцать два. И снова полились слезы от нестерпимой сердечной боли, никогда не покидающей ее. Плача, заговорила она опять:

— Да будет долгим век вашего сына! И не дай бог вам испытать самое страшное горе, какое только может быть,— смерть детей... Как хотела я тогда уйти вслед за своим единственным, но не дали мне умереть...

Фазлиддин знал, что не в силах остановить слезы бегим. Бросил вопросительный взгляд на сына. Тот опустил глаза. Чтобы как-то отвлечь женщину от ее горестных воспоминаний, стал рассказывать о страданиях, что пришлось пережить и ему:

— Вы ведь знаете, бегим, как было беспокойно в Герате. Сначала шах Исмаил, захватив город, стал жестоко преследовать суннитов. Прошло совсем немногого времени, и власть сменилась. Потомки и полководцы Шейбани-хана начали беспощадно мстить шиитам. В Мерве были разрыты шиитские могилы, и костями духовников кизылбашей — тех, что убили в Мерве Шейбани-хана,— его сторонники заряжали пушки. Но вот кизылбashi снова заняли Герат. И снова месть — теперь месть сторонникам Шейбани... Кругом кровь, кругом бесчеловечие... Камалиддина Бехзада увезли из Герата в Тебриз, к шаху, для службы при его дворце. Мавляна Хондамир, спасаясь от бесконечных смут, скрылся из города, спрятался в каком-то далеком кишлаке, говорят, на родине отца. А мы из Самарканда вернулись было снова в Герат, да... пожалеть, горько пожалеть пришлось. Руки по делу истосковались. И у меня, и у сына... Сын Алавиддин — добрый мастер резьбы по камню. Но кому сейчас нужно искусство в Герате? И вот посоветовался я с поэтом Мухаммадом Султаном и уехал в Кабул, искать убежища у мирзы Бабура.

Мерно лился этот невеселый рассказ Фазлиддина, и Ханзода-бегим справилась со своими слезами, успокоилась немножко.

— И хорошо поступили, что приехали сюда, мавляна,— произнесла она, шумно вздохнув.— Мне ведь надо было вернуть вам то, что, помните, вы мне доверили.

Не знала уж, как быть с этими вашими ценностями.

Фазлидин замигал глазами:

— Какими, высокородная бегим?

Ханзода печально улыбнулась: забыл, все забыл... неужели все забыл?

— Сейчас, сейчас увидите, какие.— Она встала с ковра, вышла из зала, отворив маленькую резную дверь в глубине его, и вскоре вернулась вместе со служанкой, которая несла что-то завернутое в белый шелк. По знаку бегим служанка двумя руками вручила принесенное мавляне и, пятаясь в низком поклоне, ушла. Молчаливый Алавиддин по знаку отца тоже ушел, оставив Фазлиддина и Ханзоду наедине.

Фазлидин осторожно развернул бумаги, е г о старые, с пожелтевшими краями, бумаги! О аллах! Его расчеты, его рисунки величественных зданий, которые он, нет, они, они вместе с Ханзодой-бегим намеревались выстроить некогда в Андижане. Какой-то горячей волной окатило его душу, глаза Фазлиддина вспыхнули задором. И Ханзода-бегим,— о аллах, столько лет бережно хранит е г о бумаги, несмотря на все мытарства, что выпали на ее долю! — показалась ему сейчас столь же красивой и обаятельной, как и в ту пору, когда он был нежно влюблен в нее. Будто вернулось очарование далекого-далекого часа, там, на горе, под Ошем, где он поставил Бабуру первую свою хужру-беседку,— они спускаются с Ханзодой-бегим по каменной тропке, она поскользнулась, и он, оберегая девушку от падения, обхватил ее стан.

Просветленный, мавляна обратился к Ханзоде-бегим:

— О, вы вернули мне душу той поры! Вы совершили чудо! Столько лет прошло, столько дорог пройдено — и вот они снова здесь... мои... наши мечтания!

Нежно-грустная радость от прикосновения к поре своей молодости передалась и Ханзоде-бегим, зазвучала в ее голосе:

— Правда, правда, мавляна, этот сверток прошел сквозь многие беды — вместе со мной, со всеми драгоценностями моими, их у меня немного, но они дорогие. Лишь когда мы в последний раз отправились из Кундуза в Самарканд... там очень трудно было пройти через горы и реки... я оставила часть моих сундуков в Кундузе. В одном из тех сундуков и хранились ваши бумаги.

В Самарканде я все время беспокоилась за них, намеревалась летом послать за ними доверенного человека... потом... пришла беда... И хорошо, оказывается, что я оставила их в Кундузе: все другие мои сундуки попали в руки маголов-заговорщиков... Взгляните, все ли на месте рисунки?

Ханзода-бегим откинула с лица шелковое покрывало и сама потянулась к бумагам.

— Да, все! Все они тут.— Фазлидин жадно и благодарно смотрел на ее лицо. Добавил о другом: — В Самарканде я очень хотел вас видеть, бегим, но не смел прийти...

— Я сама хотела пригласить вас. Но... бумаги оставались в Кундузе... не решилась...

Фазлидину захотелось напомнить Ханзоде-бегим об андижанском ее изображении (о аллах, сколько претерпел из-за него он, создатель рисунка!). Среди бумаг изображения бегим не было.

Он еще раз перебрал — один за другим — все листочки.

Ханзода-бегим поняла, что ищет художник, чуть зарделась, спросила:

— Вы еще занимаетесь живописью, мавляна?

— Высокородная бегим, когда не рисуешь много лет, руки теряют навык... Ныне я занимаюсь только зодчеством, рисую здания.

— То, что вы изобразили в Андижане... не здания... я храню отдельно,— сказала Ханзода-бегим и смущенно отвела взгляд в сторону.

Фазлидин понял, что Ханзода не захотела вынести свое изображение: мавляна пришел со взрослым сыном. И потом — зачем напоминать теперь об их любви? Только боль причинять обоим излишнюю.

— Вы правы, бегим... Пусть то изображение на всегда будет у вас.— И, приложив руки к груди, мавляна Фазлидин учтиво поклонился.

Лучше говорить о зодческих замыслах, о рисунках и расчетах зданий.

— Я могу теперь поработать над ними,— Фазлидин легко тронул бумаги рукой,— с учетом того, чему научился в Герате. И можно было бы после этого смело претворить их в жизнь... Но скажите, высокородная, где же можно построить эти медресе и эти дворцы? Андижан далеко. В Кабуле?

Ханзода-бегим, помолчав минуту, покачала головой:

— Нет, в Кабуле тоже не удастся.

— А я мечтал... вот по этому замыслу... воздвигнуть медресе, что соперничать смогло бы с медресе Биби-ханум в Самарканде. И мечтал назвать вашим именем — медресе Ханзоды-бегим!

— Я буду до конца своих дней благодарна вам за такой замысел, мавляна. Но, увы, правы оказались те беки — помните? — кто говорил, что для сооружения великих зданий нужно великое государство. Мирза Бабур столько лет стремился к этой цели... А Кабул невелик, нет в Кабульском уделе сил и средств для больших строительств.

— Выходит, не суждено нам осуществить свои мечты.

Ханзода-бегим знала кое-что о том, что Бабур в последние годы вынашивает тайный план создать единое крупное государство в пределах Афганистана, Бадахшана и, главное, Северной Индии. Делийский султанат раздроблен; местные князья враждуют друг с другом; индуисты не принимают мусульманскую верхушку, а та не признает индуизм, восстановила против себя индусов. Бабур сейчас сам ушел в поход-разведку на берега Синда, а уж про лазутчиков, добывающих ему сведения о державе Лоди, и говорить нечего.

— Мавляна, я уже мечтать боюсь,— призналась Ханзода-бегим.— Я ведь знаю, какую дорогую цену приходится платить тому, кто стремится к большому государству, а значит, и к великому зодчеству. Теперь мне легче отказаться от своей давней мечты; не желаю ставить снова под угрозу будущее моего любимого брата, повелителя нашего.

Горестно вздохнув, мавляна Фазлиддин понимающе закивал головой:

— Истинно, истинно... Судьба против нашей мечты, бегим, сама судьба. Я уже состарился,— и голос его в самом деле по-старчески как-то задребезжал,— да и всю жизнь мне не веяло. Войны, перевороты, набеги, истребления... Но неужели так будет продолжаться вечно?! Ведь не я один, а десятки ученых, поэтов, зодчих, просвещенней, чем я, даровитей, чем я, изгнаны из Мавераннахра и Хорасана. Куда их гонят ураган ко-чевников, междуусобиц, распрай из-за веры? Раньше, бывало, черный ветер гонит тебя из Андижана — находишь приют в Самарканде. Вынудят покинуть Самарканда — спасаешься в Герате. А сейчас всюду свиреп-

ствует этот черный ураган! Нет спасения ни в Самарканде, ни в Герате! Мы все, изгнанные, будто река, потерявшая русло... Сколько талантов, о аллах, сколько живительных волн попусту исчезает, пропадает в пустынях нынешней жизни!.. Говорят, когда-то Джейхун вот так метался, пропадал — пока не проложил себе новый путь к новому морю. А мы, найдем ли мы его?.. Пусть жестокий небосвод сжалится над нашими сыновьями! Пусть хоть будущие поколения проложат себе новое русло, достигнут своего моря!

Ханзода-бегим всем сердцем сочувствовала зодчему. Это был крик его души — человека, чей творческий дар всю его жизнь никак не мог найти применения.

— Мавляна, не только вы, но и мирза Бабур жаждет нового моря, чтоб в это новое море искусства и науки собрались все реки талантов.

— О, бегим, знаю я, что и к мирзе Бабуру судьба безжалостна, знаю, что он — моя последняя надежда... Потому и приехал сюда, в Кабул.

— А где вы устроились, мавляна?

— Еще не устроились, временно остановились у моего племянника Тахирбека. А он уехал, оказывается, в поход вместе с мирзой Бабуром.

Ханзода-бегим поняла, что позаботиться о зодчем и его семье некому. Вот еще почему он был одет бедно, выглядел бледным и худым, будто голодал... А может, не приведи аллах, так оно и есть?

Ханзода-бегим порывисто встала, извинилась, что оставляет зодчего на миг одного, и ушла во внутренние покои. Там достала ключ и отперла заветный шкаф, что стоял в нише за шелковой занавесью.

Сестре шаха, наряду с самыми высшими придворными, полагались, по распоряжению Бабура, немалые денежные выплаты. Ежемесячно дворцовый казначай доставлял в кожаном кошельке тысячи дирхемов. Бегим была обладательницей большого земельного надела. Но на кого Ханзоде тратить все эти доходы? Вот и лежали кошельки с золотыми дирхемами в тайном шкафу, многие — еще неоткрытыми.

Ханзода-бегим прикинула, сколько примерно потребуется мавляне Фазлиддину, чтобы купить себе домик с землей, коня и прокормить семью в течение трех-четырех месяцев, пока ему, как ей подумалось, придется жить без постоянного жалованья. Она взяла два ко-

жаных кошелька, позвала слугу. Тот положил кошельки на серебряный поднос и вынес к гостю...

Мавляне Фазлиддину тяжело было брать деньги от Ханзоды-бегим. Но где другой выход? Нет его! К тому же бегим поспешила прийти ему на помощь.

— Мавляна, эти деньги, две тысячи дирхемов, из казны мирзы Бабура. Он отсутствует, и я от его имени выдаю положенное вам жалованье. Один кошелек вам, другой — для вашего сына. Пожалуйста, возьмите...

3

...Высоко летят журавли в осеннем небе над Ка-булом...

Бабур и Мохим-бегим на айване в загородной усадьбе слушают их гортанный клекот, всматриваются в небо: торопится-мчится с севера на юг легкокрылая стая — живая нить черного жемчуга на голубой лазури.

В прекрасном и чистом клике «кур-ей», «кур-ей!» — Бабиру чудится усталость: журавли летят из далеких далей. Они пролетели над Мавераннахром, — может быть, прямо над Андижаном? Может, они опускались передохнуть на берега прохладных вод в окрестностях Самарканда?

Он, Бабур, не увидит больше родных мест, тех, что видели пролетавшие журавли. Так подсказывает ему сердце.

Клекот журавлей, затихая постепенно, угас на конец... Безмолвный стон тоски по родине... Нет ничего красноречивей и сильнее, чем такой стон.

Бабур помрачнел. Хлопнул в ладоши, вызвал слугу, приказал принести вина.

Мохим-бегим приблизилась к мужу, произнесла с мягким укором:

— Повелитель мой, вино с утра? Зачем? Сейчас дети придут для утреннего приветствия... Вон уже идет вместе с атка наш мирза Хиндол.

Восьмилетний Хиндол — на голове маленькая шелковая чалма, на поясе, на красивом ремешке, висит маленький меч — поднялся по лестнице к высокому айвану и в дверях, на манер взрослых, почтительно сложил руки на груди и низко поклонился родителям. Отец грустно улыбнулся. Подошел к сыну; обняв его

за плечи, отвел к своему месту и усадил рядом на парчовую курпачу.

— На поясе меч, мирза,— значит, предвидится поход, а?

Большеглазый мальчик вопросительно взглянул на мать. Мохим-бегим, разрешая вступить ему в разговор, кивнула. Хиндол внятно сказал:

- Повелитель, прошу взять меня с собой в поход.
- Куда же?
- В Индию,— глаза мальчика загорелись.
- А что мы будем делать в Индии?
- Я тигров хочу посмотреть.
- Вот так раз! — рассмеялся Бабур.— Посмотреть? Только посмотреть?

Мальчик покраснел и сжал кулачком рукоятку своего «настоящего» меча.

— Нет! Тигр захочет меня съесть, а я вот этим мечом зарублю его!

Бабур ласково потрепал сына по плечу:

— О, молодчина! В таком случае, конечно, надо нам пойти в поход в Индию...

Появился в дверях слуга-кравчий с кувшином вина; Мохим незаметно махнула ему ладонью: иди-ка обратно, повелитель занят беседой, забыл про вино; слуга тихо повернулся назад.

А Бабур спрашивал у Хиндола, выучил ли он азбуку, знает ли наизусть какие-нибудь стихи.

— Суры Корана знаю,— гордо ответил мальчик.

— У Хиндола другие увлечения, чем были у Хумаюна,— пояснила Мохим.— Правда, и он любит играть в войну, стрелять из лука, но книги пока мало привлекают его.

— Ну он еще маленький, верно?

— Не знаю, Гульбадан моложе Хиндола... Но... вот сегодня увидите... она любит чтение даже больше, чем Хумаюн.

— Неужели Хиндол пошел в своих дядей? — Бабур задумался.

Мохим-бегим понимала, какой смысл в этих словах. Матерью Хиндола была не Мохим-бегим, а Дильдор-огача, дочь султана Махмуда, Бабурова дяди по отцу. В согласии с обычаем, у Бабура было три жены, которые жили в трех разных местах в Кабуле. Мохим-бегим молча покорилась обычаю, но душой не свыкалась с ним. Особенно тяжело переживала она вторую

женитьбу мужа на кабульской красавице Гульрух-бегим, от которой родились двое сыновей,— мирзе Камрону сейчас шестнадцать лет, а мирзе Аскару — четырнадцать. «Сами растим будущую вражду между братьями!» — думала мать Хумаюна. Однако молчала: ей не везло, двое дочерей ее и второй сын умерли в младенчестве. А потом совсем стала бесплодной. До ушай Мохим-бегим доходили злые шутки Гульрух-бегим.

Бабур чувствовал страдания своей первой, самой любимой жены Мохим-бегим. Обычай есть обычай, но и без вины он был виноват перед ней.

Однажды он ночевал у Мохим-бегим здесь, в этой усадьбе. Мохим сама вдруг предложила: «Я извелась от бесплодности! Я готова сейчас нянчить ваше дитя, пусть и рожденное другой женой! Я знаю, что Дильдорогача снова тяжелая. Если она родит благополучно — хоть сына, хоть дочь, — отдайте ребенка мне на воспитание!..» Бабур дал тогда зарок во что бы то ни стало сделать так, как просит Мохим. И когда Дильдорогача родила Хиндола, Бабур велел, чтоб трехдневного младенца забрали у матери и отнесли к Мохим-бегим. Дильдор, носившая этого мальчика девять месяцев под сердцем, конечно, горько плакала, сетовала, что лишилась единственного сынишки. «Обычай таков, обычай, — уговаривал ее Бабур. — Издавна в семьях венценосцев сыновей отдают на воспитание старшей жене. Мохим-бегим воспитала мирзу Хумаюна, наследника престола, — как хорошо он справляется с обязанностями моего наместника в Бадахшане. Бог даст, будет таким и Хиндол!»

Однако Бабур замечал, что наклонности у Хиндола иные. И невольно вспоминались отец и братья Дильдор — люди знатные, но грубоватые, далекие от наук и искусств.

Мохим-бегим уловила это опасение мужа, решилась возразить:

— Хиндол тоже плоть от плоти — ваш. Ему присущи и влюблчивость Хумаюна, и его мечтательность. Да ведь и вы в возрасте Хиндола любили играть в войну — мне рассказывала об этом Ханзода-бегим.

Бабур рассмеялся и снова обратился к мальчику:

— А если я подарю тебе книги, ты будешь их потом читать?

Хиндол ответил не очень уверенно:

— Буду.

Бабур вызвал мунши и велел передать хранителю Кабульской библиотеки список книг (его составит Мохим-бегим): пусть их постепенно перепишут для Хиндола. Затем по его знаку слуга вынес из внутренней комнаты красиво украшенный детский лук с десятком золоченых стрел (это была работа знаменитых ташкентских мастеров). Ах, как обрадовался мальчик!

— Вот возьми и стреляй, но не забывай и про книги! — сказал ему на прощание Бабур.

После Хиндола на айван поднялась миловидная женщина средних лет, которая вела за руку пятилетнюю девочку. Бабур ответил на поклон Робии. После смерти матери Бабура Кутлуг Нигор-ханум Робия перешла в услужение к Мохим-бегим, нянчила Гульбадан, которую старшая жена тоже взяла себе. Единственный сын Тахира и Робии Сафар стал уже взрослым парнем, сейчас учился в медресе, а Тахир продолжал быть начальником личной охраны Бабура.

Разряженная красивая девочка лицом очень напоминала Дильдор-огача, свою кровную мать. Дильдор на сей раз не только не противилась, но радовалась: убедилась, как умна и заботлива Мохим-бегим к ее Хиндолу, как благородна и самоотвержена ее душа. Не чета Гульрух-бегим, злой, своенравной. Вторая жена Бабура невзлюбила не только Мохим-бегим, но и Дильдор-огача. Ну и они, в свою очередь, объединились против Гульрух, и сплачивали их теперь «общие дети». А еще — охлаждение к Гульрух-бегим самого Бабура...

Да, немало сложных житейских отношений стояло за безоблачной милой Гульбадан, которая смешно и угловато поклонилась отцу. Бабур с умилением взял девочку на руки, потом посадил на колени. Перед ним расстелили скатерть-дастархан, а на нем — шашлык из мяса куропатки, различные виды халвы, на золотых тарелках — горами — кисти винограда, гранаты и даже апельсины и лимоны, что созрели в Боги Вафо (Бабур сам нарисовал план этого сада в Адинапуре), Бабур показал дочке пальцем на апельсины и миндальную халву: бери, вкусно. Девочка, улыбаясь, отказалась — не хочу. Она теребила позолоченные пуговицы на верхнем платье-або отца.

На каждой из пуговиц было выгравировано какое-нибудь живое существо. На одной — гибко переступал с лапы на лапу маленький тигр с глазами, горящими двумя маленькими красными зернышками рубина.

А на другой пуговице — диковинная птица держит в клюве белую жемчужинку.

— Нравятся тебе эти пуговицы?

Девочка согласно кивнула головой.

Бабур схватил крепкими своими пальцами верхнюю пуговицу, попробовал оторвать. Но она была пришита крепко и не поддавалась.

— Что вы делаете, повелитель? — удивилась Мохим-бегим, а догадавшись о намерении его, запротестовала: — Не надо отрывать! Вы портите свою шахскую одежду.

— Не велика беда, закажут ювелиру другую пуговицу и пришьют.

Бабур отстегнул с пояса небольшой ножик (им затачивал перья) и срезал с нитки верхнюю пуговицу — ту, на которой была изображена птица.

Отдал пуговицу Гульбадан, сказал:

— Только не потеряй. Тут изображена Хумо — птица счастья. Будь счастливой, дочка!

Девочка смущенно и старательно молвила:

— Спасибо, хазрат... повелитель...

— Говори просто — отец, папочка.

Девочка повернулась к Мохим-бегим: можно?

— Да, конечно! — подбодрила та.

Тогда Гульбадан обняла ручонками отца за шею и, сказав: «Папочка, спасибо!» — поцеловала его в щеку.

Бабур и Мохим-бегим растроганно переглянулись.

— Гулий, расскажи теперь своему папочке хикаят.

Гульбадан тихонько слезла с отцовских колен, встала напротив и важно, тоном учителя, начала рассказывать поучительную историю о пастухе, который зря пугал людей криком: «На помощь! На помощь! Волки напали на стадо!», а когда люди прибегали, пастух-обманщик смеялся над ними. Но вот однажды на стадо впрямь напали волки, пастух стал звать на помощь, но никто на этот раз не поверил ему, и «волки всех овец съели», — закончила девочка уже взволнованно.

— Как она складно и выразительно рассказывает! — Бабур любовался девочкой, глаз с нее не сводил.

— Удивительно способная — запоминает все, что ей прочитаешь или расскажешь, слово в слово. И любит прозу больше, чем стихи. И про то, что сама увидит, рассказывает мило и складно. Иногда я думаю: есть женщины, поэтессы, которые сочиняют стихи, а женщин, которые писали бы обо всем пережитом... ну,

как в вашей книге «Былое»... нет. Может быть, Гульбадан станет первой последовательницей своего отца?

— Ох, как много нужно пережить, чтобы... — Бабур вдруг увидел, как внимательно смотрит на родителей маленькая Гульбадан, сколько доверия и детского интереса в ее выразительных глазах. И ушки — на макушке! Поспешно Бабур прервался. — Раз вы, дорогая бегим, приметили этот дар девочки, вам надо подумать, как развить его. Вот подрастет она, к тому времени, может быть, я закончу первую половину «Былого», и какие-то подходящие отрывки можно будет дать переписать и для Гульбадан.

— Вот это я хотела просить у вас! — Мохим неожиданно разволновалась. — Моя заветная мечта, чтоб не только сыновья, но и дочери ваши прославили свои имена!

Ах, Мохим, самоотверженная благородная Мохим! Правду молвят: не та мать, что родила, а та, что вырастила, воспитать сумела. Бабур подумал и о том, как много значат дети в жизни человека, чей возраст, как сейчас у него, перевалил за сорок. Дети, преданные отцу, — нет блага выше!.. И опять — это заслуга Мохим, это доказательство неугасимой любви ее самой к нему, к Бабуру, несмотря на то что он виноват перед нею. Из-за Гульрух, из-за Дильдор виноват.

Бабур торопливо встал с курпачи, сделал шаг к Мохим-бегим, обнял ее крепко и нежно, так же нежно и крепко поцеловал в глаза:

— Мохим, какое это счастье — что вы есть у меня! Пусть я шах, но для вас я раб! Повелевайте мной — все, что хотите, я сделаю!

Мохим смущалась, прошептала: «Гульбадан! Гульбадан смотрит!»

Ах, Гульбадан! Бабур громко хлопнул в ладоши: эй, слуга, подарим-ка крошке Гульбадан-бегим двух индийских попугаев!

Радужные попугаи в изящных клетках приковали к себе внимание девочки. О, попугаи умели говорить! Один из них резко скороговоркой произнес: «Ассалом, бегим». Гульбадан пришла в восторг и закричала в ответ:

— Алейкум-вассалом!

И шах с шахиней, и слуги, и Робия — все засмеялись. А Гульбадан еще раз поцеловала отца в щеку.

Потом Бабур и Мохим-бегим остались одни. Когда

стихли шаги ушедших на лестице, они покинули айван и пошли во внутренние комнаты.

В одной из них — самой большой, пышно обстав-ленной — возвышалось «шахское место», застеленное дорогими иранскими коврами и златоткаными одея-лами. Обняв Мохим за талию, Бабур медленно пересе-кал комнату, тихо, возбужденно говоря жене:

— У вас талия все еще такая же, какой была в нача-ле нашей совместной жизни, Мохимджан!

— Если это так, то потому лишь, что вы у меня осталась подобным двадцатилетнему джигиту.

И оба бросили жаркий взгляд на дверь в соседнюю комнату. Там прошлой ночью... они обнимали друг друга... их сжигало пламя... их тела то сливались, то в трепетной истоме отделялись одно от другого, чтобы потом опять превратиться в одно горящее счастьем существо. Они забыли обо всем на свете, кроме любви. «Единственный мой, от кончиков волос до кончиков ногтей — мой, мой, только мой! Никому не отдашь!» — так шептала Мохим. И тогда, ночью, он в первый раз сказал то, что повторил снова, недавно: я — шах Ба-бур, но перед ней — раб! Ее раб...

Мохим — молодой, совсем не тридцатисемилетней женщины задор в глазах! — спросила:

— Значит, вы сделаете все, о чем я сейчас... попро-шу?

Что она может попросить? Новый загородный сад или дать деньги на какую-нибудь дорогую покупку???

Бабур ответил с готовностью:

— Да, все, что в моих силах!

Мохим чуть помедлила.

— Я очень прошу вас, повелитель мой,— голос ее потерял всякий задор,— верните нашего Хумаюна в Кабул.

Стал серьезным и Бабур:

— Как вернуть? Совсем?

— Ведь он уже два года охраняет северные грани-цы. Наверное, можно заменить его?

— Кем? — Бабур понял, что разговор предстоит серьезный, любовный пыл в нем погас.

— Хотя бы мирзу Камрона пошлите. Ему шестнад-цать лет, Гульрух-бегим гордится им, уверяет всех, что сын у нее стал настоящим джигитом.

Лицо Бабура помрачнело: он болезненно переносил нелады между женами. Гульрух доходила до прямой

враждебности к Мохим и Дильдор, натравливаала на них своих детей. Опасно это было для будущего, особенно если иметь в виду его, Бабура, планы, касающиеся этого будущего...

— Мохим, не обращайте внимания на слова Гульрух-бегим. Мирза Камрон не справится с этой важной задачей. Большое дело я могу доверить только Хумаюну, наследнику престола.

— Но Гульрух-бегим счастлива: оба ее сына живут при ней в Кабуле. А я целый год не видела Хумаюна. И так далеко он от меня — две недели пути на коне. Рядом же с ним — кровожадные шейбаниды. Могут напасть в любой час. Я все время в тревоге, поймите.

— Напрасно, бегим, напрасно тревожитесь. Я уже говорил вам — с Хумаюном три тысячи отборных воинов. Да и шейбаниды сейчас заняты внутренними своими распрями, с нами они установили мирные отношения... Но если вы очень соскучились по сыну... через две-три недели повидаетесь с ним.

— Где? — встрепенулась Мохим.— В Кабуле?

— Нет, в Адинапуре.

Адинапур — это на юге государства, близко к Индии. Мохим слышала, что Бабур стягивает туда все свое войско. Видно, и Хумаюну удобнее, минуя Кабул, привести своих три тысячи прямо в Адинапур.

— Вы и Хумаюна поведете в Индию?

Готовящийся поход Бабур хотел бы сохранить втайне. Невольно озираясь вокруг, прислушался... Никого... Но скольким людям уже известен его замысел, новая большая игра, которую он, неугомонный, затевает... Он отказался от надежд на Мавераннахр, ищет свое будущее на юге. Долгие десять лет засыпал одного за другим лазутчиков своих в пределы султаната, они установили связи с его доброжелателями. Их оказалось немало: в Кабул шесть раз приезжали из Индии посланцы правителей-мусульман и раджей-индустов. Большинство из них недовольны делийским султаном Ибрагимом. Он, говорят, разорил народ, раздробил страну, богатства Индии лежат в его личной казне втуне, благоустройство ее — в небрежении. Страшные междоусобицы истерзали великую страну. Нужна сила, нужно имя, вокруг которого объединилась бы страна. «Это имя — вы, Захириддин Бабур!» Так говорят посланцы...

— Мохим! Я пойду туда не за добычей, поверьте, я хочу создать могучее государство. Это мечта всей моей

жизни, вы знаете. Я хочу, чтоб наука и искусство, приведшие в упадок в Мавераннахре и Хорасане, снова воспряли... в моем государстве в Индии. Правитель Пенджаба Давлат-хан послал ко мне своего сына Дилавар-хана. Был посланец от индийского раджи Рано Санграма Сингха. Мы заключили соглашение о совместном походе против Ибрагима Лоди.

Бабур говорил уже не как муж и отец — как политик и властелин. Мохим-бегим невольно обратилась к нему с обычным титулом:

— Мой хаэррат, искусство и война — между ними пропасть.

— Мы перепрыгнем через эту пропасть!

— Но сколько вдовьих и сиротских слез прольются в эту пропасть? Как я поняла, поход этот станет завоевательным («Как у Шейбани», — чуть было не сорвалось с языка Мохим, но она вовремя удержалась). Тысячи матерей и жен той страны, разве они простят вам смерть своих сыновей и мужей?

— А разве сыновья и мужья этих матерей и жен не гибнут сейчас десятками тысяч в постоянных междоусобицах? Ибрагим Лоди каждый год воюет с правителем Пенджаба, а сей правитель разоряет своего родственника Аглам-хана. Султан Алавиддин ненавидит соседей-раджей, а те — его, к тому же и своих не щадят... Страна пришла в упадок, худший, чем в Мавераннахре.— Видя, что Мохим-бегим остается равнодушной к этому доводу, Бабур заговорил о другом: — Многие бегут оттуда, ищут спасения у нас, у нас, понимаете? Вы знаете, что среди моих эмиров уже пять лет служит беглец из Дели Хиндубек, знаете, не правда ли? Так послушайте его, бегим. Он постоянно говорит, что его народ жаждет избавиться от раздробленности и междоусобиц. Вместо Ибрагима Лоди они хотят иметь просвещенного шаха, способного объединить страну, поднять ее величие, оживить науку и искусство...

— Если бы такой правитель был из той страны, скорее бы затянулись раны, нанесенные его мечом, и ему простили бы кровопролития — согласна, — неизбежные. Но коли раны наносит меч завоевателя, пусть даже просвещенного, но из чужой страны... веками такие раны не заживают, веками их не прощают. Разве не так, мой хаэррат?

Эти слова ударили по больному месту. Об этом противоречии думал он ночами, споря с самим со-

бой, решаться или не решаться ему на поход в Индию.

Бабур резко поднялся с курпачи.

— Мало ли незаживающих ран нанес меч судьбы нам?! — раздраженно сказал он. Опять ему захотелось выпить вина: — Я еще на айване велел принести вина, почему не приносят?!

В раздражении он хлопнул в ладоши, вызывая слугу. Но слуг поблизости почему-то не оказалось, и тогда быстро встала Мохим-бегим. Из резной ниши, откинув занавес, вытащила золотой кувшин с вином, две небольшие фарфоровые китайские пиалы и тарелку апельсинов. Проворно расстелила скатерть на шахнишине. Пригласила Бабура снова сесть.

Наливая золотистое вино в пиалу, Мохим, улыбаясь, промолвила:

— Прошу разрешить мне заменить кравчего, повелитель! Желаю вам долгой счастливой жизни!

Ароматная влага в пиале, протягиваемой ему женой, трепетала. Бабур ощущал, что Мохим ждет от него каких-то сердечных слов, но сейчас их не было. В душе бушевала холодная выюга воинственных помыслов. То перед глазами мысленно возникали разбойники из племени хирильчи, — они грабили караваны, идущие в Кабул, и только встречным походом можно было бы положить конец этому злодеянию... то перечислял он в уме дела, которые нужно переделать, чтобы заготовить достаточно зерна для зимовки десятитысячного войска... то уносились его мысли в Пенджаб, в пожар внутренних расприй, что там бушевал день ото дня сильнее, и хотелось добраться туда побыстрей, навести порядок... а потом опять с тревогой вспоминал непрекращающиеся столкновения с многочисленными кочевыми племенами здесь, в его государстве, на западе от Кабула... Наконец представил он себе вчерашнюю картину испытаний новых, сверхтяжелых пушек: какая-то ошибка вкрадась в расчеты, стволы не выдержали и разорвались, убив пятерых пушкарей...

С трудом возвращая себя к беседе с женой, будто пробиваясь сквозь холодную колючую выюгу, Бабур сказал каким-то надтреснутым голосом:

— Долгая спокойная жизнь — это для меня несбыточная мечта, Мохим.

— Нет, нет! Пусть всевышний поможет нам: да осуществится эта мечта!

— Да осуществится... Конечно... пустъ...

Бабур осушил пиалу. Очистил апельсин, съел одну дольку, попросил:

— Мохим, налейте еще.

После второй пиалы он почувствовал, что выюга отдалилась куда-то и на душе стало теплей.

— Знаете ли, Мохим, как меня разрывают государственные заботы, все эти визири, военачальники, послы? Иногда я сам становлюсь вроде раздробленной страны, где идет жестокая междуусобица. На одном ее краю собирались беки, послы, эмиры, там вершатся казни, и набеги, и войны. Власть требует от человека холодного расчета, беспощадности, равнодушия к чужим бедам. Я привык к власти... все больше вхожу во вкус власти — и чувствую, что черствею, что не могу писать стихи, от этого холода согревает вино.

— А другой край?

— Он есть... вот сегодня я как будто понял, что есть. Это — вы с Хумаюном, Хиндолом и Гульбадан... Около вас жизнь кажется мне теплее и чище.

— Но тогда и оставайтесь в нашем kraю. Живите с нами. Мы от этого будем только счастливей.

— Уйти от государственных дел, отдать власть другому?

— Почему уйти? — не согласилась Мохим. — Вы построили здесь немалое государство, объединили вокруг Кабула враждовавшие между собой края от Кундуза до Кандагара, от Бадахшана до Синда. Сколько новых садов вы разбили в Кабуле, сколько построили караван-сараев, новые каналы провели, пустующие земли оросили... Разве Кабул не дорог вам после всего этого?

— Да, не нужно быть неблагодарным судьбе: здесь, в Афганистане, меня еще не постигло поражение. Я обрел вас, Мохим, в Кабуле родились наши дети. Хотелось бы мне довольствоваться тем, чего я достиг... Но достиг-то я очень немногого. Руки у меня все еще словно связаны. Кругом непокоренные кочевые племена. Доходов у нас мало, живем стесненно. На какие средства мне строить и благоустраивать эту каменистую страну?.. Вот в Газни остатки плотины Махмуда Газневи — если ее восстановить, то большая долина, ныне пустыня, зацвела бы снова. Я хотел восстановить эту плотину, но когда я подсчитал расходы... не хватит на это всей моей жалкой казны, Мохим... На что я буду содержать таланты? Не на что, не на что! Вот Камалид-

дина Бехзада увез к себе в Тебриз шах Исмаил. Многие ученые, зодчие, поэты приедут, если я позову. Но я не нашел пока что достойного дела даже для одного зодчего, мавляны Фазлиддина, который сам прибыл в Кабул. Мы бедны, мы все еще в углу дар-уль-ислама, понимаете, Мохим? А разве я не достоин большего, разве не по мне большой простор?

— Я понимаю: причин, увлекающих вас в Индию, много. Но вы идете в чужую сторону с мечом. Не так, как ехал в Индию ваш соотечественник хорезмиец Бируни: вы ведь читали на арабском его «Хиндустан». Не так, как ваш любимый поэт Хосров Дехлеви.

Бабур почувствовал, что вновь в его душе просыпается холодная выюга.

— Мохим, вы хотите отговорить меня от похода в Индию?

Конечно, Мохим именно этого хотела, но понимала, что ее желание неисполнимо. Тем не менее продолжала упрямо:

— Многие стихи Хосрова Дехлеви вы знаете наизусть. Вы приводите их как образцы аруза в своей книге «Мухтасар». Вы тоже большой и настоящий поэт. И ученый! И я всем сердцем желала бы, чтобы в памяти народов вы оставили только добрые следы. Как Бируни и Хосров Дехлеви!

Выюга забушевала!

— Вот как! Вы избегаете говорить, что я еще шах, — холодно произнес Бабур. — Будто бывает, чтоб народы поминали какого-нибудь шаха одними добрыми словами. Не бывает, бегим! И о себе я слышал хвалы и хулы — не счасть! И прошел через это. Теперь я одинаково равнодушен и к похвалам, и к хулам.

Мохим припомнила, что точно такую же мысль выражало одно из недавних двестишний Бабура. Она не согласна с этим. Она знает, что и Бабур не всегда думает подобным образом, но часть его души, его правды в этой мысли содергится, таково убеждение его нынешнее, и Мохим почувствовала себя бессильной. Совсем недавно она могла себе сказать: «Он мой, весь мой!» Недавно. Теперь же не раб сидел перед ней, а неуступчивый властитель.

— Мой хазрат, я прошу вас тогда об одном: оставьте Хумаюна в Кабуле. Ведь во время вашего похода кто-то же должен управлять Кабульским уделом?

— Будете управлять вы, Мохим-бегим!

— Я? Я ведь женщина! По шариату у сыновей больше прав, чем у жен. Хумаюн уедет вместе с вами, и останутся мирана Камрон с братом. Их права по закону будут выше, чем мои.

Бабур быстро и хладнокровно решил:

— Мирау Камрона я назначу наместником в Кандагар. Он увезет с собой мирану Аскара. А здесь будет помогать вам старый Касымбек.

Небывалое доверие! И тонкий расчет: на такой высоте Мохим-бегим станет недосягаемой для происков Гульрух-бегим. Да и с ним, с Бабуром, как спорить, при эдаком-то его доверии?

— Ваше высокое доверие поднимает меня до небес, мой хазрат. Но вы знаете, я не властолюбива.

— Власть и надо вручать невластолюбивым. Всеми отношениями Кабула с племенами, а также делами внутренними будет заниматься Касымбек. Но он исполнитель, а повелевать — вам. Хиндол будет с вами, вот вы будете приказывать и от его имени. Тогда все окажется соответственным шариату.

Оно не нужно Мохим-бегим, это ее заместительство шаха, и все же, не надо скрывать, оно приятно ей. Мохим подумала, что и миране Камрону будет приятно, что отец доверяет ему управлять Кандагаром. Да, ее муж умеет находить в людях их внутреннюю «пружину», заинтересованность в чем-то, и если эта их заинтересованность совпадает с его расчетами и планами, люди становятся искренними проводниками расчетов и планов, осуществляют замыслы Бабура от всей души.

Политика напоминает ей передвижение фигур на шахматной доске. В последние годы Бабур овладел искусством управлять своими беками и чиновниками — с пониманием их собственных «пружин» управлять было легче и вернее. Сейчас он отыскал подобную «пружину» даже в душе любимой жены,— разве не поднимало ее в собственных глазах большое доверие мужа и возвышение над соперницей?

Но вскоре у Мохим-бегим снова взяло верх беспокойство за сына.

— Повелитель мой, больше всего на свете, больше жизни своей я люблю вас и Хумаюна. Вы собираетесь в такой опасный поход, что я... я боюсь. Вы умелый полководец, но Индия — это несметное число людей!.. Полчища войск! Океан! Ради создания государства море крови было пролито в Мавераннахре, а в Индии...

Мохим умолкла, не смея произнести то, что хотела:
«Боюсь, как бы этот океан не проглотил вас!»

Бабур думал о том же, почами его страшил тот же океан.

— Битвы не бывают без крови,— решительно отрезал он.— Вы знаете это, Мохим. Что с вами сегодня?

— Я боюсь... Боюсь за Хумаюна... Пусть Хумаюн останется в Кабуле, еще раз умоляю вас!

Ах, женщина, женщина! Как ясна твоя невысказанные мысль: «Если муж погибнет в бою, пусть останется живым сын».

— Хумаюн — наследник престола! — с досадой вскрикнул Бабур.— Он должен быть при войске... Почему вы забыли, что так повелось издавна?

По старому обычанию властелинов, если в далеком походе гибнет шах, то наследник должен возглавлять войско. Иначе войско могло перейти на сторону других возможных «соискателей» престола. Бабур напомнил сейчас об этом обычай. Не сказав прямо, он сказал жене: «Если мне суждено пасть, Хумаюн должен заступить на мое место, потому и беру его с собой!»

Мохим-бегим поняла. Ей стало еще тяжелее. Индия вдруг представилась ей страной, откуда нет возврата. На глаза навернулись слезы.

— О боже! Почему столь жесток этот мир?

Бабур молчал.

НОВЫЕ БЕРЕГА: ЛАХОР, ПАНИПАТ, ДЕЛИ

1

Чем дальше двигалось войско, тем гуще становились джунгли.

Корни высоченных баньянов выпирали из земли и, сплетаясь с нижними ветвями, вновь уходили в землю, врастали в нее. Толстые стебли хаотично вьющихся лиан обнимали стволы деревьев, образуя непроходимые встопорщенные заросли-стены — от пят до неба. А под ногами какие-то ползучие травы и кустарники скрывают почву от взгляда.

Нечем дышать: воздух спертый, влажный, туманит голову.

Бабур одет в легкую шелковую рубаху,— доспехи гяжелы и всаднику и коню — и все же обливается потом. Смотрит на высокие вершины баньянов: их ка-

чает ветер, но сюда, в джунглевую чащобу, он не проходит. Голова кружится, и кажется, что коня поводит из стороны в сторону какая-то неведомая сила.

То и дело кричат и взвизгивают где-то в ветвях обезьяны. Иногда доносится неприятно-резкое квохтанье павлинов.

Вдруг закричал один из нукеров, из тех, кто сквозь заросли вел верблюдов.

— Что там случилось?

— Змея укусила!

— Тут кобры, кобры!..

Трудно людям, трудно лошадям. Мнится, что и деревянным арбам, на которых лежат пушки, тоже трудно.

На коне, обляпанном какой-то жижей, вроде болотной, перед глазами Бабура возникает уста Аликул: глаза полны тревоги.

— Повелитель, нет сил провезти тяжелые пушки через эти дебри! К тому же — болота вокруг. Все арбы застрияли...

Бабур обернулся к Тахиру, ехавшему несколько позади:

— Бек, давай-ка сюда проводника!

Проводник Лал Кумар ехал впереди на слоне. Так, на слоне, и явился, — Тахир решил, что это будет быстрее. Увидев слона, булавый Бабура заволновался, зафыркал, но Лал Кумар остановил громадину животное на расстоянии, что-то шепнул ему в огромное ухо — слон задрал хобот и помог хозяину спуститься. После этого Лал Кумар подошел, поднес ко лбу сложенные руки и поклонился Бабуру. Тот сказал на фарси:

— Дорога нам не подходит. Надо найти другую.

— О великий шах, мы в Пенджабе, — и все пять рек разлились. Все другие дороги — под водой.

— Нам известно, что в Пенджабе много дорог. И таких, что по ним могут проехать на арбах. А тут наши арбы застрияли. Мы что, проводник, заблудились?

— Нет, нет, великий шах! Где застрили ваши победоносные арбы?.. Разрешите, мой слон их вытащит. Надо идти... Не надо стоять. Если будете идти и сегодня, завтра выйдем на хорошие дороги. Уже близок Лахор.

— Берите слона, пусть вытащит арбы. — Уста Аликул поклонился Бабуру. Лал Кумар — легкий, кожа да кости! — с помощью черного слона-великанана быстро взобрался к нему на спину: понукая слона ударами пяток по бокам и редкими касаниями по загривку

железным прутом с загнутым концом, он направил животное вслед Аликулу к арбам.

Могучий слон быстро и без натуги выволок их из хляби.

На одной арбе, постанывая, весь посинелый, лежал нукер, укушеннный змеей. Вряд ли останется он в живых, но все же товарищи обложили место укуса целебными растениями и, чтобы яд не слишком скоро распространился по телу, туго стянули арканом ноги, сдерживая ток крови...

Снова, мучаясь, стали продираться сквозь заросли воины. И снова слон Лала Кумара был впереди.

Долго и медленно шло войско. Воздух становился все более затхлым. Дышалось все труднее.

За полдень на берегу реки Рави появился Хиндубек с сотней вооруженных своих людей.

Хиндубек происходил из делийской знати. Не поладив с Ибрагимом, лет семь назад он ушел в Кабул и поступил на службу к Бабуре. Ему уже перевалило за сорок, а в отваге не уступал и молодым, в чем убедился Бабур во время прошлого своего индийского похода, прик遁очного. Но не одной отвагой привлек к себе Хиндубек Бабура,— тем еще, что стремился покончить с раздробленностью своей страны и хотел достичь этой цели без лишнего кровопролития. Хиндубек хорошо владел тюрки и фарси, был достаточно образован — почему и стал одним из беков, душевые беседы с которыми любил вести Бабур. Кстати, в прошлый поход, благодаря умному посредничеству Хиндубека, город Бхира на берегу реки Джилам открыл свои ворота Баббуру без боя. После чего Хиндубек был поставлен наместником в сей богатый вилайет. Теперь Бабур надеялся столь же мирно овладеть Лахором. Хиндубек вел о том переговоры с лахорским эмиром, который, кажется, склонялся к тому, чтобы признать главенство над собой Бабура.

Бабур еще издали узнал Хиндубека и отвернул коня с дороги, пропуская воинов вперед: желательна была беседа в сторонке.

— Повелитель, намерения Давлат-хана худые, — сразу начал Хиндубек.— Он готовился расправиться со мной, я бежал.

— Почему же он так изменился? — Бабур постарался спросить спокойно.— Ведь ранее он прислал к нам в Кабул своего сына, Дилавар-хана, и тот догово-

рился с нами... Я уважал Давлат-хана за седины его!

— Давлат-хан забыл про все про это. Нацепил на пояс две сабли. Смысл сего растолковал мне как раз Дилавар-хан: одну саблю он, оказывается, точит против султана Ибрагима, другую — против вас.

— И сын его тоже враждебен нам?

— Нет, Дилавар-хан доброжелателен, помнит уговор, хочет сдать нам Лахор без боя, чтобы доказать свою преданность. Он-то меня и спас от смерти, предупредил, что отец замыслил расправиться со мной... Ну, а старший сын, Гази-хан,— на стороне отца.

— И Олам-хан?

— Тот боится Ибрагима... Он же потерпел поражение от делийского султана, теперь боится воевать. Но когда вы прибудете в Лахор, явится, я думаю, к вам с изъявлениями верности. Главное препятствие — это Гази-хан. Он влиятелен среди беков больше отца. Одолеем его — все беки будут на вашей стороне. Я верю, что Лахор вы получите без боя. Но... почему вы идете такой плохой дорогой?

— Нас ведет проводник, которого выслали к нам пенджабские союзники.

— Где он, этот проводник? Разрешите мне прощать его.

Снова послали за проводником.

Лал Кумар, восседая по разрешению собеседника на слоне, коснулся ладонями лба, поклонился Хиндубеку. Тот поздоровался тем же, индусским, манером, выпрямился в седле, спросил (на хинди):

— Откуда будешь?

— Из Агры, сахиб.

— А как очутился в Пенджабе?

— В поисках работы... кормиться же надо.

— С таким слоном, да не найти работы у султана Ибрагима Лоди?

— Ибрагим Лоди скрупой. Собрал все золото и запер у себя в сундуках — тратить не хочет. В отчаянии мы все...

— Верные слова, верные, — не сдержался Хиндубек. — И я сбежал от притеснений этих Лоди. Отец нынешнего, Ибрагима, Искандер, обвинил моего отца в неповиновении. И казнил, бросил под ноги разъяренному слону.

Лицо проводника выразило расположение к собеседнику. Он спросил:

— Вы кшатри?

— Да, мое настоящее имя Индри. Шах Бабур зовет меня Хиндубек. Имя это всем понравилось... И мне тоже... А как зовут тебя?

— Лал Кумар.

— Ну, Лал Кумар, кто же теперь, по-твоему, избавит нас от притеснений Лоди?

— Бог.

— А из смертных?

Лал Кумар задумался.

— Давлат-хан? — подсказал Хиндубек.

— Давлат-хан — щедрый человек... И Гази-хан лучше Ибрагима.

Хиндубек, понизив голос, спросил:

— Скажи правду, почему войско Бабура ведешь по этой дороге?

— Так велел Гази-хан.

— А почему Гази-хан направил их по пути, где пройти нельзя?

— Для них — это и есть хороший путь. Нужный путь!

— Что они сделали плохого?

— Мало было нам одного Ибрагима Лоди? Теперь еще один притеснитель едет? Чужак к тому же!

— Гази-хан обманул тебя!

Лал Кумар резко повернул слона к зарослям, закричал:

— Эти чужаки — захватчики и убийцы. В крепости Башур они зарубили три тысячи наших! Грабили наши города и деревни! — И с этими словами ринулся в глубь чащи...

— Повелитель, велите поймать этого проводника! Он подослан врагами! Повел вас по ложной, гибельной дороге...

— Схватить! — гневно выкрикнул Бабур. — Быстро! Поймать немедля!

Всадники бросились за слоном. Троє сумели-таки выйти наперевес. Но проводник частыми ударами железного прутика заставил слона повернуться к всадникам, приказал ему что-то, — и все с ужасом увидели, как двое из трех преследователей рухнули наземь от удара хоботом, а третий, вздыбив лошадь, отпрянул и исчез в чащобе.

Разъяренный дракой и понуканиями слон жутко протрубил и, разрывая толстые лианы, с треском ломая ветви, тоже исчез в густых зарослях.

— Стреляйте! — крикнул Бабур.

Но лучникам мешал развернуться лес; несколько удачных стрел, уже на излете, попали в слона, но не причинили его шкуре никакого заметного вреда, а стрелки из ружей пока высекали искры из кремния, поджигали фитили, наводили свои тяжелые орудия... Лал Кумар оказался недосыгаемым для них.

— Раненых нукеров на арбу, лошадей добить! — приказал Бабур.— Негодай должен, должен получить по заслугам! Взять его в кольцо! В обход леса, быстро!

Безнадежная затея! Кругом заросли и болота...

— Хиндубек, теперь вы будете нашим проводником!

— Служу вам верой и правдой, повелитель!

К вечеру Хиндубек вывел войско в просторную зеленую долину. Безмерно устав, Бабур велел поставить тут свой шатер, всем отдохнуть. Вскоре появились незадачливые преследователи Лала Кумара: одежда их была разодрана в клочья, кони обляпаны грязью, сами они сдва держались в седлах...

Утром к стоянке Бабура подошел небольшой — человек пятьдесят — отряд Давлат-хана и Дилавар-хана; они пришли из Лахора, чтобы выразить Бабуру преданность и повиновение. Был отдан приказ стражам пропустить лахорцев в лагерь, но к себе Бабур допустил только Дилавар-хана. Усадил его среди своих самых влиятельных беков, обменялся обычными вежливыми приветствиями. Наконец спросил прямо и резко:

— Уважаемый, почему ваш отец, которого я почитал чуть менее отца своего, нарушил договор иступил на стезю вражды? Зачем он точит меч против нас?

Дилавар-хан ответил столь же прямо:

— Повелитель, отца сбил с пути мой брат Гази-хан. Он запугал отца: если, мол, сюда придет чужое войско, мы лишимся Лахора. Шах Бабур, говорил он, такой же нам враг, как и Ибрагим Лоди!

— И седовласый Давлат-хан посыает нам обманщика проводника, чтобы мы задохнулись в дремучем лесу, так?

— Не так; повелитель. Об этом подлом умысле мой отец не ведает. Это дело рук Гази-хана. Иначе отец не явился бы сюда сам... Он там, у входа в ваш шатер, он

ждет... Отец не хочет кровопролития, поверьте, он на-деется на ваше милосердие к Лахору... и ко всем нам, повелитель.

— Его достойны вы, только вы, уважаемый Дилавар! Отец же ваш... понесет наказание, и сие будет лишь справедливо. Наказывать врагов и поддер-живать друзей завещал нам пророк, не так ли? — Бабур обернулся к начальнику стражи: — В последнее время Давлат-хан, говорят, ходит сразу с двумя саблями на боку. А ну, полюбумся на них и мы... Введите его сюда, с его саблями на... надлежащем месте.

Двое богатырей нукеров почти внесли белобородого Давлат-хана в шатер, стиснув запястья рук старика. Он тщился вырваться, дергался всем телом, и две длинные сабли, повешенные ему на шею, качались и стукались одна о другую. Беки приглушенно засмеялись. Давлат-хан, прямо глядя на Бабура, возмущенно за-кричал:

— Я не взят в плен, я пришел к вам сам! По своей воле! И вижу вероломство ваше! И жестокость!

— Кто говорит о вероломстве? — повысил голос Бабур. — Вы хотели вероломно расправиться с Хиндубеком, а он ведь прибыл к вам послом от меня!.. Кого толкал в пропасть лесных болот Гази-хан, и чей он сын, и с чьего ведома он действовал? Нас хотели погубить! И хотели этого вы! К беспощадным и мы беспощадны!.. — Бабур остановился на миг. — Эй, визирь, взять этого человека и вместе с семьей выслать в Бхири. Держать его там в крепости Милват! Лахор обойдет-ся без него!

Растерянно и ослабело Давлат-хан опустился на землю: ноги не держали его. Нукеры поволокли лахорского эмира к выходу. А два других охранника быстро, словно из-под земли выросли, встали за спиной поднявшегося было с места Дилавар-хана...

Давно прошла осень, на исход пошла зима, а деревья стояли в зеленом наряде. Необозримо просторны долины Индии и прекрасны в любое время года!

Бабур медленно, осторожно продвигался вдоль Джамны по направлению к Дели. Остановился для решительной битвы в Панипате, это примерно в пятидесяти

верстах к северу от столицы султаната. А со стороны Агры быстро вел сюда огромное своё войско (сто тысяч!) и боевых слонов Ибрагим Лоди. В прошлом году у порога Дели ему посчастливилось разбить сорокатысячное войско Олам-хана, Дилавар-хана и других своих «местных» врагов. У Бабура сейчас в наличии не более двенадцати тысяч воинов. Огромное численное превосходство делийского султана страшило не одного Бабура. Среди беков шептались: в случае поражения все погибнем в необозримых чужих просторах, никто не спрячет, нет надежд на спасение. Но были и другие голоса. Многие возлагали надежды на боевой опыт и полководческий талант Бабура и, конечно, на пушки и ружья усты Аликула: такого оружия нет у Ибрагима. Тахир — теперь он был постоянно близок к бекской верхушке — знал, что пушками и ружьями Бабур намеревался отбить атаку боевых слонов, которые обычно решали исход битв в Индии и которых не имелось в его войске.

Между городом Панипат и рекой Джамной нашли подходящее место — отсюда удобно было вести огненную стрельбу. Полукольцом поставили арбы — все, что имели, все семьсот, — накрепко соединив их прочными арканами, свитыми из бычьих кож. Впереди арб и в узких разрывах меж ними поставили непробиваемые для стрел щиты.

У Бабура было время подготовиться к битве — с тем, чтобы диктовать потом ее ход, а не подчиняться воле противника.

Пушкари и ружейные стрелки упражнялись в своем искусстве. Готовилась и хитрость, арбы стояли на склоне холма, и, чтобы они сами по себе не скатились, под колеса им вставили деревянные упоры, и вот Бабур, с холма руководя маневрами, отдает приказ убрать одновременно все упоры; он хотел добиться того, чтобы в нужный миг боя все арбы двинулись вперед и вниз одной тяжелой цепью.

Тахир поскакал в самый дальний конец цепочки повозок передать приказ полководца. Пешие воины, пушкари, ружейные высекатели огня — все приготовились. Аликул — тоже с высокого, всем видного места — махнул рукой:

— Клинья — долой! Арбы — вперед!

Но общего равномерного движения не получилось: одни арбы не сразу сдвинулись с места, другие поска-

кали вниз в одиночку (кое-где порвались кожаные арканы). Цепь кривилась, пошла зигзагами, опрокидывая толстые, железом схваченные щиты.

— Стой! — новый приказ Бабура. — Все повторить! И повторять, уста Аликулбек, пока не добьетесь, что ни один аркан не порвется и ни один щит не опрокинется!

Обливаясь потом, воины поволокли арбы по склону вверх, на прежнее место.

Иные нукеры пытались увильнуть от тяжелой работы, но десятники нещадно ругали и даже били ленивцев.

— Во время ученья нукеров не жалеть,— таков был строгий приказ Бабура,— иначе в бою погибнут по-напрасну!..

Бабур спустился с холма и направился к реке, к глубоким рвам — ловушкам для слонов. Их заранее вырыли и прикрыли ветвями: кое-где на этих ветвях даже насыпи сделали песчаные.

Тахир, который по долгу службы охранял Бабура, должен был сопровождать его всюду. Глядя на скрытые рвы, подумал про себя: «Хорошо, если враг пойдет на нас прямо здесь. А если вздумает обойти укрепленный лагерь...»

Но, оказывается, Бабур учел все. Лазутчики досконально выяснили: болота и заросли, подступающие к Панипату с флангов, таковы, что большому войску их не преодолеть. Справа — многоводная Джамна. Налево от возвышенности, где стоял Бабур, густо заселенный город Панипат, узкие улочки. Врагу остается одно — идти на них напрямик, напролом. Все будет зависеть от того, насколько все эти рвы и арбы смогут ослабить натиск войска, превосходящего их собственное почти десятикратно...

В первые годы жизни в Кабуле тосковал Тахир по Аниджану и Куве. Теперь вспоминает Кабул, тоскует по нему! В Кабуле у него дом, где прожили вот уже пятнадцать лет его Робия, его сын Сафар, дядя мавляна Фазлиддин. Когда-то Тахир перед боем думал о чем угодно, только не о смерти. Ныне Тахир молит: «О аллах, не дай мне умереть в этой битве. Останусь живым и на сей раз — покончу со службой. Возвысился я на ней, возвысился, что там говорить, но ведь и лета мои — под пятьдесят. До каких пор мне мытарствовать в чужих краях? Сафар уже джигитом стал, в этом году

медресе окончит, станет мухандисом. Можно бы и женить его, как говорится, прибавить к голове еще одну голову... О аллах, суждено ли мне спрятать свадьбу сына? Увижу ли свою Робию? Не дай мне погибнуть, всевышний!»

Тоску и страх, мучительные раздумья заглушало вино. В Индии, правда, редко где выращивали виноград, поэтому и вина тут было мало; беки обходились крепкой водкой из листьев махвы.

За день до намеченного сражения Тахир выпил этой водки многовато. На рассвете проснулся совсем разбитым. Ломило тело, во рту горчило, голова была тяжелой и гудящей. Пытался снова заснуть, только зря проворочался. Тогда поднялся и выпил остатки водки, три-четыре глотка с самого дна кувшина.

И в этот миг забили барабаны, затрубили в трубы. «Стройтесь, стройтесь в ряды!» — понеслись крики-приказы. Дозорные принесли известие о быстром приближении войска Ибрагима Лоди.

Тахир с похмелья довольно долго одевался и обувался. Одноухий Мамат, нынешний его стремянный, на правах старой дружбы и возрастного старшинства, иногда позволял себе поворчать, вот как сегодня:

— Э, бек, зачем надо пить ни свет ни заря?

— Закрой свой рот! Лучше приведи мне сивого... Да побыстрее ты, скелет скуластый!

Мамат и впрямь сильно похудел в походе. «Тем легче ему бегать с конями!» — подумал Тахир.

Обычно, коль оставляют лошадь на ночь оседланной, расслабляют подпругу. Мамат не сразу поймал лошадь, которая отвязалась ночью, а поймав, впопыхах забыл подтянуть подпругу. Тахир же спешил — он должен был быстро явиться к Бабуре — и, не глянув на стремена, одним прыжком вскочил в седло. Оно ерзнуло под ним, и будь треазым, Тахир почувствовал бы, что седло плохо закреплено, но тут подумал, что это ему померещилось с похмелья. Уперев подошвы в стремена, всадник резко развернул коня, сивый — за ночь с хороших кормов сил прибавилось! — поднялся на дыбы, седло вдруг поползло ему под живот, и Тахир свалился наземь.

Подбежал Мамат, одной рукой схватил коня за поводья, другой стал помогать подняться Тахиру. Сказал, смеясь:

— Э, Тахирджан, как вы стали беком, так и при-

выкли с утра прикладываться к зелью. Ох, прав был я, когда говорил: не пейте вы его много, проклятого!

Тахир упал на мягкую почву, не ушибся. Но упасть с коня перед большой битвой — это дурное предзнаменование. Злобно выругался. Показал Мамату на седло, на расслабленную подпругу.

Мамат, все еще посмеиваясь, стукнул себя кулаком по лбу:

— Э, забыл в спешке, пустоголовый!

Водка мутила разум Тахира. Его обидели смешки стремянного, стало казаться, что Мамат подстроил этот случай с падением, решил поиздеваться над «благородным» беком. Будь он нукером, как прежде, Тахир, скорее всего, тоже посмеялся бы над происшедшим. Но он бек теперь, бек!

— Значит, нарочно так сделал, да, скелетина?! Завидуешь, что я стал беком! Смерти моей пожелал, да?

Весь дрожа от гнева, не глядя, стал ощупывать пояс — где плетка? Она валялась на земле. Ругать и бить виноватого в чем-то нукера — обычное дело. Бек Тахир отчасти поддавался этому обычаю, но не было случая, чтобы он замахнулся на Мамата и на давнюю дружбу.

Мамат нагнулся за плеткой, поднял и подал ее Тахиру:

— Возьмите, побейте меня за мою провинность, но не говорите такого! Я не подлец, чтоб желать вам смерти!

И снова Тахиру показалось, что Мамат издевается над ним, выпячивает свое благородство, свою честность, ставит себя выше бека.

— Свалить меня с коня перед боем — это не желать смерти?! — крикнул, словно плунул, Тахир и ударил Мамата кулаком в голову.

Удар отбросил Мамата назад. Нукер не удержался на ногах, упал. У Тахира что-то хрустнуло в большом пальце, резкая боль пронзила правую руку — чуть ли не до глубины мозга, как ему показалось. «Сломал палец, сломал! Саблю как держать теперь? У-у, и все из-за него... из-за этого...» И Тахир ударил еще раз левой и снова повалил поднявшегося было Мамата наземь.

Какой-то рослый нукер вступился за Мамата:

— Не надо так, бек-ака, простите его на сей раз! Мамат-ака готов за вас жизнь отдать! А подпругу я тотчас затяну... Вот подождите чуток... вот, уже готово. Садитесь, бек!..

Тахир ехал и все глядел на палец, распухший, чуть шевельни — ноет невыносимо больно.

«Все, отвернулась от меня удача!» — думал Тахир, приближаясь к месту, где быстро собирались свита Бабура.

За Тахирбеком скакало двадцать нукеров, и среди них Мамат, бледный как полотно: как бы ни ругал, как бы ни бил тебя бек, ты, нукер, обязан не отставать от него.

Солнце выкатилось из-за левого берега Джамны и помчалось к зениту, освещая ряды несметного войска делийского султана. Казалось, весь горизонт захватили эти ряды — плотные, ровные; лишь в промежутках между ними возвышались боевые слоны — их огромность скрадывалась при взгляде с холма, где стоял со свитой Бабур, но число могло внушить трепет. Где-то там, на самом большом белом слоне, восседал Ибрагим Лоди: слон заменял ему холм наблюдения, со спины огромного животного он мог видеть все поле.

Грозный враг двинулся. Бабур оставался спокойным. Цепь арб и щитов — крепка. За правое крыло войска отвечает сын, Хумаун, умный и бесстрашный; с ним — Ходжа Калонбек, Хиндубек и другие надежные и испытанные военачальники. Центр — это пушки, ружейные стрелки, пешее воинство. По обеим краям конные отряды, готовые к вихревой атаке обхвата. У султана Ибрагима, находящегося на боевых слонах, очень много пехоты, слишком много. Она должна двигаться плотными рядами, потому — неповоротлива. Вто где пригодится тулгама — некогда сильное оружие Шейбани. А теперь — и его, Бабура. Там, на концах крыльев его войска, — самые быстрые кони.

Тахир вместе со свитой и охраной шаха стоит несколько позади Бабура. Неподалеку от шаха — беки, что отвечают за связь между ратями, гонцы. Голос Бабура, отдающего распоряжения, уверенный и четкий. «Мы шли за этим человеком и из скольких битв вышли живыми,— утешал себя Тахир.— Если будет жив мирза Бабур, и я на сей раз уцелею».

Ждать без движения, без попытки противодействия приближавшуюся черную тучу — тяжело. Многие беки волнуются; Бабур спокойно, внятно-властно изредка ронял:

— Терпеть... Ждать... Никому не выступать...

Ибрагим Лоди видел, что Бабур стоит за стеной повозок и защитных сооружений, вперед не идет. Остановил и он свое войско. Ударить в лоб? Нет, по совету своих полководцев он приказывает перестроить ряды, чтобы нанести основной удар не в центре, а по правому флангу, порвать его и обойти возвышенность со стороны города.

Но пока приказ был распространен по стотысячному войску, пока одни отряды собирались в кулак, нацеленный против правого фланга Бабура, а другие повернули в сторону города, — прошло довольно много времени.

Бабур сделал ответный ход. Две тысячи конных вихрем помчались мимо левого фланга Ибрагима Лоди, мимо нацеленного «кулака» противника, его слонов и пехоты, что двигались от центра влево — в тыл им, в тыл! А конница Хумаюна пошла навстречу — со своей, правой стороны, преграждая дорогу, мешая перестроению. Тут заревели пушки, установленные в центре между арбами — пока еще неподвижными.

Да, весь свой воинский опыт, приобретенный в победах и, увы, в горьких поражениях, Бабур применил здесь, на панипатском поле. До поры до времени Бабур преследовал цель смешать ряды противника четырехсторонним, пусть непрочным окружением, сломать четкость его флангов, завернуть их вовнутрь, создать сумятицу. Окруженное войско превосходило тех, кто его окружил, во много раз, кони быстрее, но слабее слонов, воины Ибрагима Лоди то справа, то слева прорывали кольцо. Конечно, Бабур посыпал помощь — отряды из центра — туда, где его всадникам приходилось слишком уж туго. Но главное — это была за влекающая помощь: он намеренно обнажал перед противником тот центральный участок, где стояли арбы. Наконец Ибрагим, отбиваясь от непрерывных ударов с боков и сзади, кинул основные силы, большую часть боевых слонов на этот участок, вверх по склону, чтобы прорваться здесь и решить битву в свою пользу. И тогда Бабур приказал убрать упоры из-под колес повозок.

Семьсот арб одновременно пришли в движение и покатились на вражеские ряды. Пушки и ружья стали бить по слонам и пехоте султана с близкого уже расстояния. Грохот пальбы оглушал, дым и копоть мешали видеть, ядра и раскаленные пули пробивали латы и щиты, а невероятно согласованное, все убыстряющееся движение бесчисленных арб, представших вдруг

неким чудовищным живым существом, что ломало, крушило, сбивало с ног, посеяло страх и панику у воинов Ибрагима. К такому они не были готовы. Заметались, яростно затрубили раненые и перепуганные, будто в западню попавшие, слоны; погонщики попытались повернуть их и внесли еще больший хаос, усугубили давку, в которой падали наземь, задыхались люди и лошади.

Пушки и ружья продолжали свою страшную, опустошительную работу. Уже много слонов, мертвых или смертельно раненных, лежало по склону — их гибель сопровождалась гибелью множества воинов, затоптанных и раздавленных. А снизу все шли, напирали ряды Ибрагимовой пехоты, и конные отряды шли, не в силах остановиться, катились волна за волной и громоздили новые завалы мертвых и покалеченных.

Наконец войско Ибрагима Лоди повернуло назад: быстро началось бегство — давили упавших, бросали оружие. На закраинах громадной битвы и в ее тылу конница Бабура значительно поредела, не в силах была сдержать этого напора. Слоны легко прорвались сквозь нее, за ними — густые толпы вражеской пехоты.

Бабур со своего холма увидел и это.

— Враг может уйти и запереться в Дели! — крикнул он и повернулся к бекам связи. Но все эти беки и все гонцы были там, в деле, посланные туда один за другим, они еще из схватки не вернулись. И кто знает, сколько их осталось в живых, — схватка шла не на жизнь, а на смерть. Бабур повертил коня к своей личной охране.

— Тахирбек, я должен знать, бежал ли сам Ибрагим Лоди или находится на поле битвы. Если бежал, пошли в погоню врагу резерв.

Тахир как-то сразу, одним взглядом охватил картину битвы — этот ад в дыму и пыли: ощущив на миг странный, непривычный для его крепкого тела озноб страха, попытался скрыть его, но голос дрогнул:

— Готов выполнить приказ, повелитель!

Какой-то гонец подскакал в этот миг. Из раненой ноги кровь стекала на стремя: юная слезая с коня, гонец закричал запаленно:

— Повелитель, победа наша! Враг бежит!

— Ибрагим тоже?

— Да, среди слонов, бегущих назад, я видел его белого слона! Ибрагим бежал!

— Тахирбек, останьтесь! Касымтай-мирза!

Вышел вперед бек лет сорока, крупный, крепкий. Бек этот родился и вырос в Туркестане, отдаленный какой-то родственник властителя Тимурова корня. Вот уже пятнадцать лет он служил Бабуре.

— Если Ибрагиму удастся достигнуть Дели или Агры и запереться там в одной из крепостей, война забушует снова,— сказал Бабур Касымтаю.— А мы хотим войти в Дели и Агру без боя... Касымтай-мирза, вам — тысячу из резерва... еще берите Бобо-чухру с его нукерами... отряд Тахирбека... Гонитесь за Ибрагимом! До Дели, а если побежит в Агру, то до Агры гонитесь за ним!

— Высочайший приказ выполню хотя бы ценой своей жизни!

— Вы — моя надежда! Да поможет вам всевышний! Сокрушайте и будете несокрушимы!

— Омин!

В победоносной битве почетно быть среди первых! Тахир перестал ощущать боль в пальце. Во главе своих нукеров он поскакал в переднем ряду отряда Касымтая.

Солнце стояло в зените. Неизмеримо жаркий день мучил и тех, кто отступал, и тех, кто преследовал. Враги отступали беспорядочно, но все еще были сильны.

Где белый слон, где белый слон? А может быть, султан Ибрагим пересел со слона на коня?

Касымтай и Тахир обошли с двух сторон разбитый, ставший нестройной толпой, вражеский отряд, добили его, взяв в плен нескольких погонщиков слонов. Через индийца, который сражался за Бабура, Касымтай обратился к пленным:

— Скажи им: если покажут, в какой стороне тот отряд, где находится сам Ибрагим Лоди, я их отпущу на волю.

Один из пленных ответил горячо и с усердием:

— Он говорит, белый слон Ибрагима свалился еще в разгаре боя, сам султан мертв,— объяснил переводчик.

Но Касымтай не поверил. Сказал сурохо:

— Наши люди видели, как бежал Ибрагим. Передай, пусть скажет правду, а не то голову потеряет!

Но пленник снова повторил: Ибрагим был убит на поле боя. Другой пленный предположил, что Ибрагим может находиться в большой толпе разбитых отрядов, что спасались бегством, уходя вдоль реки. Третий

показал рукой на тех, кто уходил в правую сторону.

Касымтай всех пленных вместе со слонами отправил под конвоем на холм Бабура. Сам же кинулся за отступавшими вдоль реки. Нагнав их, увидел, что здесь сохранен относительный боевой порядок: слоны и конные шли по бокам. Это были раджпуты, их по праву считали отважными и умелыми воинами. Касымтай обошел их со стороны реки, Бобо-чухра и Тахир справа. Раджпуты, увидев, что преследующих немного, схватились за луки и сабли, приняли бой.

Тахир на скаку поставил на стержень лука стрелу, поднял оружие, прицелился, но когда попытался натянуть тетиву, почувствовал, что большой палец бездействует. Пришлось придерживать тетиву и оперенье стрелы безымянным и мизинцем. Выстрел был все равно удачен: темнокожий воин, из тех, что скакали им на встречу с обнаженными саблями, упал лицом на гриву коня. Но выстрелить еще раз Тахир не успел: раджпуты скакали быстро. Среди них выделялся воин богатырского вида с поднятой чакрой. Тахир выхватил из ножен саблю, кинулся навстречу, намереваясь ударить по взнесенной вражеской руке. Противник увернулся, сабля со звоном стукнула по чакре — и острые боль пронзила палец Тахира, нет, все существо! Тахир даже не заметил, как вылетела из его рук сабля. Он намеревался проскочить мимо раджпута, хотел выхватить из-за пояса кинжал, но чакра опустилась! От плеча к шее, к подбородку хлынула волна дикой боли, погасив боль прежнюю, в глазах Тахира потемнело. Он тоже упал грудью на гриву коня... второй сильный удар... латы, латы спасли! Тахир подумал: «Пока не свалит меня, не оставит! — Почему-то взмолился: — Скорее бы потерять сознание!»

Спас Тахира от третьего, смертельного, удара Мамат. Секирой свалил он раджпута. Успел подхватить Тахира, который медленно сползл с коня, — так, вдвоем, они и выскочили из конной схватки.

Хумаюн вошел в Дели первым; без боя занял огромную внутригородскую крепость с красными стенами; опечатал казну Ибрагима Лоди. Сам с тремя сотнями нукеров отправился посмотреть, что в городе.

Огромная, необозримая страна, огромный, бесконечный город!

Были в Дели невысокие холмы, но в основном город располагался в равнинной зеленой местности. Домов без счета, но на улицах люди совсем редки: страшась чужеземцев-завоевателей, жители Дели сидят по домам, смотрят в щелки.

На берегу Джамны, святой реки индусов, группа людей отправляет обряд погребения. Мертвцевов кладут на дрова, облитые ароматными маслами, трупы сжигают, пепел же высыпают в реку. Она уносит пепел в вечность... Занятые обрядом, словно устремленные духом своим в мир потусторонний, люди эти старались не обращать внимания на дела бренного мира, даже на чужое войско, что заняло их город.

На базарах, между открытыми лавками Хумаюн видел снующих босых мальчиков и женщин, чьи руки и шеи украшали гирлянды цветов. Встречались ему и седобородые старцы, с их рук тоже свисали гирлянды желто-красных цветов. Босиком и с цветами. Это было необычно.

— Мы на базаре Чанни Чоук,— пояснил Хиндубек, шагавший рядом с Хумаюном.— Это значит «Лунный перекресток».

— Сегодня хайит? Почему у них так много цветов? — спросил Хумаюн.

— Да, сегодня праздник. Праздник весенних посевов. Люди просят богов о ниспослании доброго урожая. В Индии много хайитов. В каждом месяце празднества.

— Чудная страна! — Хумаюн пожал плечами.

По стенам и крыше какого-то старого дворца разгуливали длинноногие, гибкие и легкие обезьяны беловато-пепельного цвета, только лапы и морды у них были черные, а на брюхе шерсть желтоватая. Детеныши резвились, непостижимо быстро перескакивали с крыш на ветви баньянов и пальм. Гоняясь друг за дружкой, обезьяны спускались и на землю. Вокруг дворца и по внутреннему его двору ходили люди, но никто из них не обращал никакого внимания на обезьян.

Глаза бека, одного из свиты Хумаюна, загорелись охотничьею страстью. Бек взялся было за лук.

— Стрелять в обезьян считается за большой грех. Это принесет человеку несчастье,— голос Хиндубека был бесстрашен, по видимости бесстрашен.

Ходжа Калонбек, ехавший справа от Хумаюна, спросил с улыбкой:

— Мы и коров должны беречь, не правда ли, выскочитимый Хиндуbek?

— Что достается дорогой ценой, то и свято,— серьезно ответил Хиндуbek.— В индийской жаре не легко вскормить корову. А ее пять даров угодны богу Шиве.

Хумаюн умиротворенно сказал:

— Будем помнить, что наш повелитель издал указ, обязывающий уважать индийские обычаи и не допускать действий, которые могли бы задеть честь и достоинство населения.

Ходжа Калонбек приложил правую руку к груди:

— Мой амирзода, указ повелителя — закон для всех нас! Я лишь позволил себе чуть-чуть подшутить над нашим другом, многоуважаемым Хиндубеком.

Впереди, сквозь высокие деревья над ними, всадники увидели высокий гранитный минарет.

— Кутб Минор,— с почтением произнес Хиндуbek.

Подъехали к минарету. Хумаюн соскочил с коня, вместе с беками взобрался на самый верх сооружения. Сверху особенно явственно было видно, как в сотне шагов от минарета столпились вокруг черного столба, высотой примерно с тополь, люди.

— А это что такое?

— Этот столб сделан из цельного куска железа. Как говорят знатоки, столбу уже шестьсот лет. Тот, кто, обняв его, сведет обе свои руки, человек счастливый, у него, мол, исполнится заветное желание.

Хумаюн до сих пор держался степенно среди беков, но услышав такое, со свойственной молодости горячностью сказал:

— А ну-ка попробуем! — и устремился вниз по ступенькам минаретной внутренней лестницы.

Толпа вокруг столба расступилась перед Хумаюном.

— Уважаемый Хиндуbek, покажите, как надообхватить столб.

Низ и верх столба были черными, а середина от прикосновения бесчисленных рук и спин отливалась металлическим светлым блеском.

Хиндуbek прижался к столбу спиной, оттянув руки назад. Но как ни пытался сзади за столбом соприкоснуть пальцы обеих рук, это у него не получалось. Никак не получалось.

Беки расхохотались.

Засмеялся и Хумаюн. Попытался сам сделать то, что не удалось Хиндубеку. Но и у него не вышло. Пробовали стать удачливыми беки и нукеры. Тщетно! Наконец один джигит — длиннорукий и худющий самаркандец — обнял столб, за что и получил от Хумаюна горсть серебряных монет.

Среди победителей ходили по улицам Дели и такие, что не прочь были поживиться, да чтоб добыча была пожирнее. Яр Хусейн, некогда разбойник, грабил путников на дорогах к югу от Хайбарских ворот, а ныне прощенный бек спал и видел во сне такую добычу. Он не раз слышал о богатых индуистских храмах, и потому сразу же его нукеры забрались в храм на окраине Дели.

О, сколько там было всего! Одних камней драгоценных у подножья и на лицах изваяний богов индусских — не счесть!

На стенах храма, облицованных светло-желтым мрамором, играли тени. Старец жрец, приставив ко лбу сложенные воедино ладони, сосредоточенно, со слезами на глазах замер у огромного каменного изваяния четырехликого Шивы, танцующего на черепах людских. Женщины, старики и подростки, пришедшие сюда на моление, стояли перед своим богом тоже молча, спокойно склонив головы.

Разогнать неверных! И нукеры Яр Хусейн-бека ринулись к изваянию, расталкивая и швыряя на землю молящихся. Притащили лестницу и взобрались к лицам бога, — правоверных воинов привлекал крупный рубин во лбу Шивы, большая кроваво-красная родинка.

Хумаюн застал грабителей на месте преступления.

— Приказываю от имени шаха Бабура! — крикнул гневно. — Не трогать рубин! Немедленно вниз!

Яр Хусейн в полутьме храма не узнал Хумаюна.

— Кто это там раскричался? Эй, ты чего это защищаешь идола неверных?! — И приказал нукеру на лестнице: — Бери кинжал! Выковыривай!

Нукер принял было за дело, но в следующий миг стрела, пущенная Хумаюном, поразила кисть его руки. Со звоном упал кинжал. Нукер схватился за руку, закричал от боли, едва удержался на ступеньке.

Яр Хусейн выхватил из ножен саблю.

— Кто ты такой? — устремился он к Хумаюну.

Хиндубек — тоже с обнаженной саблей — вышел вперед.

— Эй, бек, поостерегись... Яр Хусейн-бек, перед тобой сын великого шаха Бабура Хумаюн!

Яр Хусейн-бек не сразу признал наследника. Убедился, когда всмотрелся в чапан, в котором был Хумаюн. Чапан этот, украшенный по воротнику жемчужинами, раньше принадлежал Бабуре. Еще перед панипатской битвой Хумаюн выступил против военачальника Ибрагима Хамид-хана и нанес ему жестокое поражение. Восхищенный отвагой и полководческой дерзостью сына, Бабур тогда же, до Панипата, надел на него роскошный чапан, приличествующий властителю. Это видели все беки, в том числе и Яр Хусейн-бек. Хумаюн был сейчас в том самом чапане, несколько великоватом и потому чуть обвислом на плечах.

— Мой амирзода, я не узнал вас! Простите,— сказал Яр Хусейн и с саблею в руке отступил назад.

— Отдайте саблю! — приказал Хумаюн.

— Мой амирзода, я из числа беков, которые преданно служат нашему отцу!

— Сабля, обнаженная в святом храме, запятнана. Я вручу ее нашему повелителю... Вам же скажу... Вы покаялись, отреклись от разбойного промысла, но, кажется, ненадолго. Вам не известен разве строгий наказ повелителя не допускать в Индии, особенно в святых для индусов местах, никаких неугодных богу дел? Почему же вы проявили такую жадность, бек? Все воины наши получат свою долю добычи из казны сultана Ибрагима — казны побежденного врага. Этого с лихвой хватило бы и вам!.. Ну, а эти люди,— Хумаюн повел рукой,— не враги нам. И они молились, бек, пусть своим богам, но молились. Мы несем им закон, а вы — грабеж. Даже люди Ибрагима Лоди не взяли рубин с лика индийского бога. На такую подлость решились только вы. Не позор ли это для всех нас?.. Взять у него саблю! В темницу его и его алчных нукеров! Чтоб это был урок для всех наших воинов!

После того как выполнили приказ, Хумаюн через Хиндубека обратился к брахману и его прихожанам:

— Великий шах Бабур хочет, чтобы вы знали: мы не враги вам... Да, у вас другая вера. Да, вы будете, по нашему закону, платить джиззя. Но не поднявший

мече пусть живет спокойно. Мы всех людей считаем созданиями единого бога. Мы прибыли в Индию с хорошими намерениями. Мы вместе с индусами хотим благоустроить эту огромную страну. Вместе, в сотрудничестве!.. И будем уважать ваши храмы!

Эти слова, переведенные Хиндубеком, были выслушаны со вниманием. Люди согласно кивали головами, сосредоточенные, молчаливые, кланяющиеся. После того как Хумаюн удалился, брахман снова встал с приставленными ко лбу ладонями перед изваянием бога; надо было выразить теперь благодарность за спасение; надо было убедить своих прихожан, что корыстного чужеземца, который покусился на священный рубин, наказали по воле Шивы-Руды, только по его божественной воле!

4

В долинах далекой от Индии Сырдарьи начало весеннего месяца савр — это время, когда только-только распускаются алые тюльпаны. А на берегах Джамны уже стояла невыносимая жара, как в самый разгар лета в Мавераннахре.

Бабур весь день ездил на коне по солнцепеку, и к вечеру тело его накалилось будто медный кувшин под лучами дневного светила. Изнывая от жары, Бабур решил податься на берег Джамны.

Кроме зноя обжигал его и пламень майноба, выпитого в обилии после полудня. Беки привыкли много пить в Кабуле, вот и здесь чуть ли не каждый день устраивали пиршества,— конечно, в честь «великой победы», одержанной в Панипате «великим шахом».

Майноб и другие вина — он пил их все подряд и внеремежку — оставляли после себя давящую боль в груди, лишали сна жаркими и душными ночами. После попоек он иногда по утрам харкал кровью. Лекарь Юсуфи, который пользовал его с Герата, умолял бросить пить. Да и сам Бабур не раз, изнывая от тяжкой бессонницы, давал себе зарок отказаться от вина. Но днем — испортилось ли настроение или, напротив, случилось событие, доставляющее радость,— его снова тянуло к бокалу. А стоило ему начать, стоило прийти в состояние приятного опьянения, как беки тут же под тем или иным благовидным предлогом приглашали продолжить — и Бабур в такие минуты легко откликал-

ся на приглашения. Случалось — вот как сегодня, — еще хмельной от вина, выпитого днем, превозмогая дрожь и слабость в теле, Бабур сказал бекам: «Попи-руем-ка ныиче ночью, на реке, в прохладце...»

Бабур впереди всей своей свиты направился на берег Джамны.

Там толпились люди, главным образом старики да женщины, среди которых видны были и одетые в бра-минские одежды.

Обряд погребального сожжения... Как он свер-шается?

Но при виде чужеземцев — видимо, напуганные слухами о страшной битве у Панипата и уничтожении плениных, — индусы стали расходиться. У трупа, который должно было предать огню, осталось трое: моло-дая вдова, ее мать и согбенный брамин. Бабур взглянул на мертвое тело, лежавшее на деревянном помосте. Ну, конечно, — из тех раджпутов, что плениены были Хумаюном в Панипате. Он привел что-то человек двести. Бабур знал, что раджпуты не были знакомы с пушка-ми и пищалями — огнестрельные туфанджи косили их ряды, а они стояли плечом к плечу, не веря, что из та-кой дали можно поразить человека чем-то невидимо смертельным.

И Бабур сказал пленникам:

— У вашего Шивы, говорят, есть третий глаз во лбу, открывающийся при божественном гневе. Ну так вот, огонь Шивы, огонь гнева, убивающий издали, — в наших руках! Вы в том убедитесь тотчас...

И махнул рукой стрелкам. Сто выстрелов грянуло — и сто раджпутов пало на глазах других ста раджпутов. Вторую сотню Бабур отпустил на все четыре стороны — идите, мол, и расскажите, что Бабур обладает могущест-вом гневного Шивы.

Вдова узнала, как погиб — уже после битвы — ее супруг. Горе и печаль сковали ее молодое лицо, она рас-пустила густые волосы, их волна еще сильней подчерк-нула красоту этой женщины. Бабур взглянул на ее лицо: в огромных, прекрасных глазах — отрешение от всего земного, печать близкой смерти.

Согласно обычаю, жена умершего должна была или остаться на всю жизнь вдовой, или сгореть заживо в том же огне, что превратит в пепел останки мужа. Эта женщина выбрала второе.

Старик брахман поднес факел — и дрова вмиг запо-

лыхали: они были облиты маслом особого состава. Вдова сделала первое порывистое движение к костру, но непроизвольно отступила.

Бабур обратился к Хиндубеку:

— Неужели она кинется в огонь? Что за дикость — губить живую красоту ради мертвого тела?.. Прикажите брахману от моего имени... Пусть прекратит... пусть уведут ее!

Хиндубек с сомнением покачал головой, но, понукая коня, все же подъехал к костру, передал брахману повеление.

Женщина внезапно повернулась к Бабуру.

— Он и есть шах завоевателей? — спросила она, и Бабур понял, хоть и не знал языка, о чем она спросила и о чем через мгновение закричала: — Зачем ты явился сюда?! Это по твоему приказу убили моего мужа! Если ты сам подобен Шиве — так верни же, верни ему жизнь! Он — моя жизнь, и я буду жить, если он будет жить...

Как ни не хотелось Хиндубеку переводить сказанное вдовой, он перевел ее слова.

— Можно ли смертному оживить мертвого? — Бабур в растерянности развел руками и тут же всплеснул ими: — Держите, держите ее! Она кинется в огонь! Не пускайте ее к огню!

Но женщина отпрянула от Хиндубека, кинулась к костру, обернулась к Бабуру.

— Ты не Шива! Ты не вернешь его к жизни! — выкрикивала она все сильней и яростей. — Ты солгал... Ты жестокий убийца, вот кто ты есть!.. Уходи, уходи отсюда, убирайся от нас, жестокосердный убийца! Не завоевать тебе нас! Убирайся в свою страну! — И вдруг подбежала к полыхающей огнем поленице, ничком упала на ее верх, простерлась, обняв мертвое тело мужа.

Огонь сразу же охватил ее шелковые одежды и волосы. Бабур услышал вой, полный нечеловеческой боли, увидел, что рук своих женщина все равно не разомкнула, почувствовал тяжелый запах паленого тела,— его затошило, он резко повернул коня, согрел его камчой и умчался прочь.

В тихом, по-вечернему прохладном затоне Джамны ждал Бабура пышно изукрашенный двухъярусный корабль. Внизу повара колдовали над яствами, наверху

слуги заканчивали последние приготовления к празднеству.

Мрачный и молчаливый взошел Бабур на верхнюю палубу, где для него обставили особое возвышение под навесом.

Пред глазами Бабура все еще стояла вдова-красавица с распущенными волосами и отрешенным взглядом, он все еще видел ее, распостертую, охваченную языками огня. Пряный запах шашлыка струился снизу. Но Бабура преследовал иной запах — сладковатый, тошнотворный. Он приказал немедленно прекратить приготовление яств.

— Мой хазрат, а как же быть с вечерней встречей? — недоумевал распорядитель, готовящий пиршество.

— Отмените все! Прекратите беготню внизу!

И вскоре все стихло на корабле.

Но в тишине еще явственнее слышались Бабуру предсмертные крики индийской женщины-вдовы: «Зачем ты явился сюда, завоеватель? Прочь! Возвращайся в свою страну!»

О, как он радовался победе, одержанной на панипатском поле! Да, там его ждала пропасть разверстая — и он перепрыгнул, удачно, смело и потом без боя, без кровопролития взял Дели. Как он верил, что теперь все пойдет хорошо! Но то, что таилось на дне его души — воспоминания о грабежах и убийствах, учиненных его воинами в первом походе, невольный подсчет жертв, не одних лишь тех, кто вышел против него с оружием в руках, нет, но и чужих детей, ставших сиротами из-за его победы, бедных молодых вдов (о аллах, неужели и они, подобно той, кончают жизнь самосожжением?!), — все это тайное мучение, скрытая язва души, теперь ожило, закричало в нем, укоряло, терзало совесть. И что значит в сравнении с этими угрызениями совести соображения об «истинной вере» и даже идея объединения и благоустройства великой страны множества народов и вер!

Чванливый ум утешает и оправдывает завоевателя, а вот совесть... совесть... Бабур вспомнил тревоги и страдания Мохим-бегим перед походом. Женским чутьем своим, материнским сердцем она предчувствовала нынешние страдания.

«Моего мужа убили твои воины. Если сможешь, верни ему жизнь, тогда и я останусь жить!» Разверзлась

земля под ногами Бабура. Самая страшная пропасть... Еще впереди она! Ведь и тот проводник в Пенджабе, которому удалось убежать на слоне... как его... Лал Кумар... он тоже кричал: «Завоеватель! Чужак! Ты убил тысячи наших братьев!»... А как же иначе могут думать люди, что пострадали от нашествия завоевателей и потеряли близких в битвах с ними? Это не твои города, не твои села, Бабур. «Возвращайся в свою страну!»... Какую? Куда? И кому он сумеет объяснить, кто поймет, что он шел сюда с благими намерениями? Перепрыгнуть через пропасть непонимания — сможет ли он, если не сегодня так завтра?

В душе проснулось старое гнетущее чувство беспысходности, бессилия, чувство неудачника, чьи дела всегда идут не так, как следует, чьи победы (даже победы) всегда обрачиваются ущербом. Почему судьба не дала ему победить в Мавераннахре? Панипатская победа будет прославлена в веках, он это знал, он чувствовал, что так будет, но... сегодня, сегодня ему не смыть с себя черного пятна завоевателя... сегодня он понял, почему не смог позавчера написать радостную газель в честь своей победы.

В тетради остались одни перечеркнутые строки. Радости не было истинной и позавчера, вернее сказать: в ней таилась горечь, которая и прорывалась наружу.

Эта горечь — вот правда!

Бабур взял перо. Словно ручей, зазвенела первая строчка:

Сколько лет, сколько лет мне ни в чем не везло. Вот беда!

Он посмотрел вдаль, на реку. Спокойно струилась вода. Красновато-багровые блики — следы закатного солнца — играли, слепили глаза. Кровь на волнах, всюду и везде кровь!

Исповедуясь перед собой, Бабур написал:

Сколько лет, сколько лет мне ни в чем не везло! О беда!
Жизнь моя — заблужденье одно. И — теперь, и — всегда...
Черным горем гоним, я ушел в Хиндустан, но за мною тотчас же
Черной тенью, пятном неотмываемым оно притащилось сюда!

В сумерках четырехвесельная лодка под пышным балдахином приблизилась к шахскому кораблю. Стражник крикнул:

— Кто там, на лодке?

Бабур прислушался к ответу.

— Мирза Хумаюн просит позволения увидеть великого шаха,— отозвались с лодки басом.

Бабуру захотелось поговорить с сыном по душам, наедине. Позвал слугу, приказал:

— Скажите там, пусть Хумаюн быстро поднимется ко мне!

Вскоре послышались легкие шаги. Вот и Хумаюн! Глаза сияют молодым задором, усы еще не загустели, не закустились, но от разворота плеч и груди веет мужской силой. Ни горестей духа, ни слабостей тела не существует пока для Хумаюна. «В восемнадцать лет и я был таким же. Что осталось теперь от того джигита?» — от этой мысли Бабур ощущил, как усиливается боль в груди и в голове.

После взаимных приветствий Хумаюн сел напротив отца, чуть ослабил пояс халата и, улыбаясь, вытащил спрятанную на груди маленькую шкатулку, отделанную перламутром.

— Откройте и взгляните, повелитель.

Бабур не спеша открыл коробочку. Внутри нее на бархате лежал какой-то камень, а лучше сказать — сверкающая звездочка. Неужели алмаз? Величиной с орех — и алмаз? Бабур видел на своем веку немало самых различных драгоценных камней, но такого большого алмаза не видел, даже представить себе не мог, что подобные бывают.

— Что это за камень?

— Алмаз.

Камень купался в собственных лучах.

— А вес какой?

— Семь-восемь мискалов.

— Такой большой алмаз?

— Я позвал к себе ценителя алмазов, повелитель, и дал ему осмотреть камень. Оказывается, это знаменитый Кохинур. Во всем мире, оказывается, нет алмаза крупнее. И стоит он больше, чем полные сундуки золота.

— Я слышал, что у повелителя Банолы султана Алавиддина есть один изумительный алмаз, несравненно прекраснее и дороже других алмазов.. Молва утверждает, будто стоимость его такова, что может окупить расходы большого государства за целый месяц.

— А по словам того самого ценителя стоимость Кохинура может сравняться с расходами всех государств дар-уль-ислама в течение двух с полови-

виной дней... Так он сказал! — Хумаюн весело рассмеялся.

— Откуда ты взял его?

Хумаюн смутился, отвечая:

— Мне его подарили... в семье магараджи Гвалиора.

— За что?

Хумаюн начал свой рассказ застенчиво, лишь постепенно воодушевляясь.

— Повелитель-шах, конечно, знает, что магараджа Бикрамадитья, чей род вот уже сто лет управляет Гвалиором, страной, сказочно богатой, не пошел с Ибрагимом Лоди, долгое время воевал против делийского султана, и все же вынужден был отдать город Гвалиор Ибрагиму, а сам ушел в Шамсабад, где затем и скончался.

После победы под Панипатом бабуровская конница, ведомая Хумаюном, выйдя из Дели, заняла Шамсабад, где в замке жили две дочери, сын и вдова покойного раджи. Двадцатилетний сын уверял Хумаюна: «Ибрагим Лоди был не только вашим, но и нашим врагом, мы тоже радуемся, что он сокрушен. Теперь разрешите нам вернуться из Шамсабада в наш родной край, в Гвалиор». Хумаюн отнесся к молодому магарадже с участием, но сказал ему, что до возвращения их семьи в Гвалиор он сам разрешения дать не может, это — дело отца, надо ждать прибытия в Шамсабад шаха Бабура. Замок же магараджи будут охранять пятьдесят лучших нукеров во главе с беком Вайсом... И вот ночью он, Хумаюн, спавший в шатре в саду этого замка, был разбужен шумом и криками, что доносились откуда-то изнутри здания. Хумаюн вбегает в замок вместе с телохранителями и видит, что один из нукеров Вайс-бека лежит мертвый в луже крови у порога двери, ведущей во внутренние покоя, а восемнадцатилетняя дочь раджи на ступеньках лестницы дрожащими руками пытается подобрать с полу часть полотнища своего сари, чтобы прикрыть оголенные плечи. Еще он видит, что пятеро нукеров окружили ее брата и выбивают из его рук саблю.

А произошло вот что. Вайс-беку приглянулась одна из двух дочерей покойного магараджи, и он вознамерился с помощью этих самых нукеров силой затащить ее в свою комнату. Брат встал на защиту сестры. Ударом сабли свалил нукера, который схватил девушку, чтобы унести ее на руках.

Хумаюн приказал тотчас отпустить раджу.

— Джигит, защищающий честь сестры, достоин уважения.— Хумаюн гневно оглядел насильников нукеров.— Вы слышали: шах Бабур повелел вести себя благородно с благородными людьми Индии? Развратного Вайс-бека за пренебрежение к высочайшему указу — в темницу! А вам, кто потворствовал насилию,— по десять ударов плетью каждому!

Потом он встретился с вдовой магараджи. Высокородная, она была образованной женщиной, знала несколько языков. Она обратилась к Хумаюну на фарси:

— Амирзода, вот в этой шкатулке — самое большое из всех наших богатств. Но мои дети для меня дороже всех богатств мира. Вы защитили честь дочери, отстояли жизнь сыну. Значит, и мне вернули жизнь. Позвольте подарить вам этот алмаз — знак моей благодарности...

К концу своего рассказа Хумаюн немного обеспокоенно смотрел на отца. «Я прав,— думал он,— но смерть нашего нукера не отмщена, а наказание Вайсбеку, может быть, слишком сильно? Все-таки это наш бек!»

— Увы, даже на этом прекрасном алмазе пятно, следы крови и насилия.

— Повелитель, если я неверно поступил, простите меня. Но я подумал, что люди, для которых честь и достоинство дороже самого драгоценного алмаза, хоть они и неверные, не мусульмане... но...

— Да ты не оправдывайся, сын мой! Ты поступил благородно. И в этой стране есть щедрые душой, самоотверженные люди. Не зря мы стремились сюда. Нам нужна слава воинская, но еще и другая, не воинская. А наши алчные беки и грубые нукеры не понимают моей главной цели. Им бы лишь набить брюхо, побаловаться с красотками, потешить спесь и нажиться, конечно. Они отпугивают индийцев жестокостью, алчностью, дикостью. А мы хотим создать здесь могучее государство, хорошо иочно устроить его. Это — наша главная цель. Когда она осуществится, то прекратятся внутренние войны, воцарится мир и тогда расцветут науки и искусства. Среди индийских властителей, и мусульман, и немусульман, есть такие, кто понимает эту цель и потому сотрудничает с нами. Мы должны стремиться обрести доверие и расположение как можно большей части живущих в Индии!

— Расположить к себе? Обрести доверие? — спросил Хумаюн.— Но покоренный не полюбит покорителя. Пусть платят жизнью и сотрудничают. Но как мы можем обрести доверие тех, кто смотрит на нас как на чужаков, кто бежит из своих городов и сел в джунгли, чтобы не подчиниться нам?

Бабуру опять вспомнилась молодая вдова, бросившаяся в огонь, проклиная их, захватчиков. Пропасть, опять пропасть!

— Да, между нами и...— Бабур смягчил ответ,— теми, кто пострадал от наших воинов, лежит пропасть... Одним махом ее не перепрыгнуть. Признаюсь тебе, сын, иногда мне трудно бывает поверить в то, что мы ее преодолеем. Но миг отчаяния проходит, и я думаю, да и рассказ твой подтверждает, что через эту пропасть мы можем терпеливо, постепенно навести мосты. Это трудно и сложно...— Бабур взял с низкого столика перламутровую шкатулку,— но я надеюсь, что цель эта достижима. Вот обрел же ты доверие семьи гвалиорского магараджи. А помнишь, в Дели, в храме, ты защитил от оскорбления религиозные чувства индийцев? За твою терпимость и ум — достойная награда этот алмаз. Возьми его...

— Нет, повелитель мой.— Хумаюн, не дотрагиваясь до шкатулки, приложил руку к груди.— Этот алмаз я принес в дар вам!

Бабур снова положил шкатулку на столик, заметно волнуясь, сказал:

— Благодарю всевышнего, он одарил тебя щедрым и добрым сердцем! И мужеством тоже: при Панипате ты первым своей конной атакой склонил весы судьбы в нашу сторону, благодаря тебе поднялся дух войска и мы победили. За все это я еще не воздал тебе должного.

— Прежних ваших даров мне хватит на всю жизнь,— сказал Хумаюн, желая напомнить отцу про книгу «Мубайон».— Вот и мне давно хотелось преподнести вам достойный подарок.

— Что ж, я приму от тебя этот дар. Теперь этот алмаз мой?

— Ваш!

— Судьба, скажу я тебе, одарила меня тобой. Это более ценимый мною дар, чем все алмазы мира... Ты ведь знаешь, как жестоко и коварно расправлялись друг с другом венценосные отцы с сыновьями в борьбе за

власть и богатство. Я хочу, чтобы ничего подобного никогда не происходило между мной и моими детьми. Ты — мой наследник. Пусть по воле всевышнего от меня к тебе, а от тебя к твоим потомкам перейдут в наследство только благородные помыслы и самоотверженность души... Вот тогда мы достигнем цели, ради которой пришли в Индию!

— Для ее осуществления ваш сын готов отдать все, и жизнь свою тоже.

— Я верю в это! И ты поверь, что этого редкостного алмаза достоин именно ты. Возьми — от меня!

Хумаюн понял особую значимость этого мига, вскочил, поклонился, взял из рук отца перламутровую шкатулку и поднес ее к глазам.

— Садись, — сказал Бабур сыну. Громко хлопнул в ладоши. Слуге, явившемуся на зов, сказал неожиданно энергично, по-молодому звонко: — Пусть придут Хиндубек и Ходжа Халифа. Они должны быть уже где-то тут, на корабле. — И доверительно наклонился к сыну: — В цитадели Агры заперлись мать султана Ибрагима, его сын и визирь Маликдод Карони, с ними — около тысячи воинов. Говорят, будто они поклялись сражаться до последнего.

Вошли с поклонами Ходжа Халифа и Хиндубек. Бабур посадил их напротив себя. Все так же молодозвонко заговорил:

— Вы будете моими посланцами. Вы должны поехать в Агру. Цель наша — взять крепость без боя. Всем, кто там есть, обещаю жизнь. Матери султана Ибрагима даю в управление вилайет на берегу Джамны. Сын Ибрагима, говорят, образованный юноша, владеет арабским и персидским, будет среди моих приближенных во дворце. Маликдод Карони, слышал я, способный визирь. Я возьму его к себе на службу — советчиком по самым сложным делам Индии. Убедительно поговорите с ними обо всем этом. Если они пожелают еще чего-нибудь, скажите, что мы пойдем навстречу. Объясните, что сил у нас более чем достаточно, чтобы взять крепость штурмом. Но кровопролитию, истреблению людей, увеличению числа вдов и сирот предпочитаем мир и согласие... Словом, ваша задача — завоевать не крепость, а расположение и доверие к нам тех, кто находится в ней!

Мать Ибрагима Лоди, венценосная Байда в печали по сыну, убитому при Панипате, ходила в белых с ног до головы одеждах. Впрочем, печальное настроение и траурная одежда не мешали ей умно и упорно отстаивать свои интересы на переговорах с Хиндубеком и Ходжой Халифой. С большим трудом они склонили Байду к сдаче Агры. Когда, царственno прямая и горделивая, Байда вручила Бабуру на берегу Джамны ключи от крепостных ворот, на глазах старой женщины простили слезы, но осанка не изменилась.

Где, у кого он видел этот выпуклый высокий лоб, эти сросшиеся брови? И вдруг Бабур вспомнил панипатское поле: средь тысяч убитых отыскали тело Ибрагима Лоди, отрезали, по обычаяу, голову и на пике доставили Бабуру. Вот он, будто ожили Ибрагим Лоди, предстал перед ним, победителем в облике своей матери, тоже побежденной. Странно растерянный, испытывая непонятную уважительную робость при взгляде на эту гордую женщину, Бабур спросил, нет ли у высокородной султанши какого-нибудь пожелания.

Байда быстро вытерла слезы, глухо сказала:

— Пусть не доставляют мне новых страданий!

Бабур обратился к приближенным:

— Пусть каждый из вас чтит в этой высокородной женщине нашу названую мать!

Приближенные приняли с поклоном к сведению это повеление шаха. Выражая благодарность, поклонившись Бабуру и венценосная Байда. И никто не заметил, как ее увлажненные слезами глаза на миг сверкнули кинжално — ненавистью, сверкнули и тотчас потухли. Венценосная Байда была не из тех матерей, которые могут простить убийцу своего сына. Ибрагим был ее любимцем. Когда пришло известие о страшном поражении под Панипатом, о гибели султана, она почувствовала себя так, будто обрушилось небо на землю. Самым сильным ее желанием стало тогда еще раз увидеть сына, пусть мертвого, самой похоронить его — и в плаче над могилой облегчить душу. Но от Агры до Панипата нужно три дня скакать на коне. Поэтому на поле брали ее доверенные люди появились спустя неделю после битвы: павших частью зарыли, а частью обгладали

прожорливые стервятники-грифы. Люди, посланные Байдой, не нашли тела Ибрагима. Они лишь узнали, что после окончания битвы голову Ибрагима отделили от туловища и показали Бабуре.

Страдание матери, прознавшей о надругательстве над бездыханным телом сына, удесятерилось. Страдание — и жажда мести! «О Ибрагимджан, нет в этом мире даже твоей могилы, отняли у меня даже мертвое тело твое!» — так стонала ее душа и во время свершенья намаза, любого из пяти ежедневных намазов-молитв. В молитве ни о чем не просят бога, но Байда просила: «Пусть Бабур тоже умрет, он, кто принес смерть моему сыну, пусть умрет смертью в тысячу раз мучительней, чем сына моего смерть!»

Рабыни, служанки, наперсницы Байды старались приносить ей с улицы утешительные слухи. Будто войско Бабура из-за недостатка кормов вынуждено было скормить коням зерно из селянских запасов, и селяне подняли бунт, поубивали вилами и топорами многих чужаков-нукеров. Говорили, будто завоевателей измучила индийская жара: люди и кони, привыкшие к прохладе гор, не в силах терпеть ее, падают десятками и помирают. Насылали — в слухах — чуму и лихорадку на победителей: косит, мол, их ряды, как серпом выкашивает — так желаемое выдавалось за действительное.

Байда у внука своего Баходира — он служил во дворце Бабура — решила проверить, насколько эти слухи истинны. Подумав, что просто свиделься с бабушкой его не пустят, она послала во дворец свою служанку отнести письмо, в котором сообщила, что занедужила и хотела бы увидеть у своего одра болезни внука.

Семнадцатилетний султан Баходир хорошо знал и фарси, и санскрит, он переводил некоторые документы, нужные Бабуру. Но у шаха-победителя, конечно, были и другие переводчики; Баходира работой не загружали, однако и распоряжаться сам своим временем и занятиями он не мог: его охраняли (мало ли кто может обидеть сына недавнего врага), за ним присматривали (бывший наследник бывшего султана — всегда приманка для заговорщиков). По той и другой причинам Баходира старались нечасто выпускать за стены дворца.

Но визирь Мухаммад Дулдай, прочитав письмо

Байды и помня наставление Бабура читать ее как «нашую названую мать», разрешил Баходиру навестить бабушку. Правда, увеличил вдвое против обычного число укеров, сопровождавших Баходира, и строго-настрого приказал возвратиться сегодня же.

Байда, мнимобольная, приняла внука в полутемной спальне отведенного ей дворца. Лежала в постели с прискорбным выражением на лице, взгляд неподвижный устремив в потолок. Кое-как приподнялась на подушках, Баходира посадила на возвышение напротив себя.

Долго глядела на потный лоб внука. Потом молвила: в этом году лето, мол, жаркое, как никогда, и, помолчав, спросила:

— Правда ли, что чужаки не в силах вытерпеть нашу жару? Умирают, говорят. Правда?

— Бывает, и умирают,— разморено ответил Баходир.

— А правда ли, что многие из них говорят: «Не останемся в Индии, вернемся в наши прохладные края?»

— Разве их шах допустит такое? Большинство чужаков слушается его. Да и говорить, убеждать он, оказывается, умеет. Красноречив. Тех, кто не скрывал желания уехать, вызвал во дворец, поговорил с ними, и все они теперь умолкли.

— Ты убийцу своего отца... расхваливаешь?

Баходир бросил настороженный взгляд на дверь. Байда тихо спросила:

— За тобой следят?

— Да,— шепнул внуk,— ни с кем не могу остаться наедине, поговорить. Окружают, подслушивают... Стану говорить плохое, тут же донесут шаху.

— Не бойся. Тут мы вдвоем... Есть ли кто у чужака во дворце из наших людей... тех, кто служил нам прежде?

— Есть... Почтенный Маликдод Карони... Потом... взяты на службу ученые, которые, помните, все сидели в нашей библиотеке... Шах Бабур хочет расположить к себе наших людей, хочет завоевать доверие индусов и мусульман индийских. Даже всех поваров отца собрал однажды и четверых выбрал для себя...

— Вот как?.. И сам ест еду, приготовленную этими поварами?

— Говорят, что ест. Даже хвалит индийские кушанья, чтоб выказать уважение...

— Это хорошо, что ест! — перебила Байда внука и неожиданно бодро сошла с постели.

Скорбь терзала ее сердце по-прежнему, но теперь вспоенное скорбью желанье мести перестало быть бес- предметным. Она увидела ясную цель — страшную, но ясную, и это придало ей новые силы. «Если Бабура... устраниТЬ, его люди здесь не останутся, уйдут восьвоя- си... уйдут!» Надо прибрать к рукам хотя бы одного из поваров, сделать его оружием мести.

Байда, приблизив губы к уху внука, шепнула:

— Ты сам тех поваров видел?

— Видел.

— Среди них нет Ахмеда?

Баходир пока не осознал, что произошло в помыс- лах «больной» абушки:

— Нет. Повар Ахмед уехал из Агры, а что?

И снова с тревогой поглядел на дверь. Байда улыбну- лась. «Этот внучок мой слабоват, да и слишком много глаз следят за ним. Выдаст нечаянно тайну и себя погубит, и я не свершу, что задумала». — Байда решила не посвящать Баходира в рискованный замысел. Заохала болезненно-притворно:

— О коварный мир! Люди, преданные некогда нам, служат нашим врагам! И Маликдод Карони, и повара, все, все, все продались! О, душа болит, тело мое ста- рое болит... Но ты внучек... ты для вида служи им, а в душе сохраняй верность отцу!

— Я так и поступаю, бабушка! — прошептал Бахо- дир.

А когда внук ушел, венценосная Байда окончатель- но покончила со своим «недугом». Она не предавалась больше безысходным стенаниям. Ей нужен был повар, преданный, смелый, чтоб согласился — за деньги ли, из чувства ли мести — убить Бабура, отправить его. Вокруг было немало людей, которые испытывали чув- ство ненависти к завоевателям. Воины Бабура у одного убили брата, у другого — отца; чиновники Бабура отняли у третьего доходное mestечко, а четвертого разорили вовсе... Байда узнала вскоре, что любимый младший брат одного из четырех поваров, взятых Бабу- ром, был убит при Панипате. Но Байда сочла риско- ванным самой вступать с ним в разговоры — ведь и за ней следили люди Бабура. Самым верным ей челове- ком, который прежде служил во дворце султана Ибра- гима вместе с этими поварами, был Ахмед, тот самый,

который уехал из Агры... Куда? Оказалось, что в Атов. Старая султанша послала в этот город человека с приглашением Ахмedu прибыть к ней.

И повар Ахмед, коего в Агре лишили дома и состояния, прибыл. Прибыл, кипя ненавистью к чужакам. Байда устроила его в своем вилайете, предоставила дом, назначила ежемесячное жалованье. Постепенно и осторожно настраивала его. Узнав о ее намерении, Ахмед сперва испугался, сказал, что ему не совладать с этим делом. Но Байда прибодрила его, уверила в безопасности той роли, которую должен был сыграть лично он. Ему надлежит уговорить повара, чей брат убит при Панипате, «а со всем остальным мы сладим сами». Повар Ахмед не знал, как войти ему во дворец шаха, но Байда и тут нашлась. Она выпросила право навещать своего внука. И однажды явилась с тяжелым узлом шелковых тканей — подарок этот нес Ахмед. Пока венценосная была на приеме у Бабура, Ахмед нашел того самого повара. Оказался — приятель его закадычный. Повара договорились друг с другом о встрече на следующий день, уже за стенами дворца. Прошла неделя, и Ахмед сказал Байде, что его приятель повар тоже ненавидит чужаков, убийц своего брата. И готов действовать...

2

Жара нарастала в течение трех летних месяцев, а на четвертом, называемом в Индии «ашора», достигла высшей, немыслимой точки. До начала дождей было еще без малого месяц.

В саду Зерафшан, что на левом берегу Джамны, зеленели молодые виноградники. Сад высадили на месте недавней пустоши с ползучими кустарниками. Болотистые берега реки были осушены, их разровняли и разбили красочные клумбы-чорчаман, что означает «четыре цветника». Как в Герате и Самарканде... Было начато строительство большого, мрамором выложенного хауза и замысловатых фонтанов. В саду журчала прозрачная арычная вода. Красноватый песок на дорожках приятно поскрипывал под ногами.

Бабур поехал в сад Зерафшан вместе с Ходжой Калонбеком, Хиндубеком, Маликдодом Карони и десятком конных охранников. Стояла такая жара, что Ба-

бур чувствовал, как накаленные солнцем железные стремена обжигают ноги даже через подошвы сапог. А сверкающая лука седла, отделанная легкими золотыми пластинками, была — чуть дотронься — горячей, словно уголья.

Тем не менее Бабур избегал разговоров о нестерпимой жаре: многие беки так и норовили при каждом удобном случае жаловаться на неподходящий для них климат Индии. Возведение новых зданий в Агре и окрестностях, закладка новых садов их мало интересовала. Конечно, они радовались, что Бабур, пусть осторожно, однако и последовательно отнимает земли у прежней знати — родственников или накрепко связавших себя с семьей Лоди — и передает эти земли им, пришлым, победителям. Но другие нововведения шаха радовать беков-победителей не могли. Бабур хоть и раздавал им земли за верную службу, однако союргала избегал — налоги новым владельцам приходилось платить в казну немалые. А вот купцам шах явно потакал: чем больше были доходы того или иного купчины, тем меньшим налогом его облагали. Хумаюн знал, что эту идею отец изложил еще в книге «Мубайон». А беки не знали... да и что изменилось, если б узнали? Самолюбие их страдало, жажда обогащения утолялась в меньших размерах, чем хотелось бы... Ох, какой тяжелый, какой непереносимый климат в этой чужой и чуждой Индии! И многие беки, в том числе и Ходжа Калонбек, всячески изыскивали пути, поводы для восхваления родных и прохладных городов Кабула и Газни, куда, о аллах, дай нам возможность вернуться поскорее...

Бабур показал на старца зодчего в маленькой чалме и в длинном белом яхтаке.

— Узнаете? — спросил он у Ходжи Калонбека.

— Андижанец Фазлиддин?

— Да, я пригласил его из Кабула. Приехал вместе с сыном — строителем и резчиком... Это мавляна Фазлиддин заложил сад, куда мы направляемся... Неужели мы, воины, не вынесем жары, которую переносит старый и не привычный к воинским лишениям человек?

— Но, повелитель, есть ведь люди, совсем не приспособленные к этакой жаре. Как начал вчера дуть «боди самум», этот обжигающий ветер из пустыни, так трое моих нукеров один за другим свалились с лошадей и померли.

— Коли дни их были сочтены по воле всевышнего, то самум явился лишь внешним толчком... Да осуществляется воля аллаха! — Бабур молитвенно поднял к небу глаза, тут же опустил их долу. Навстречу шаху вышел и поклонился Фазлиддин. Бабур обратился к нему: — Не уставать вам, мавляна... Ну, какие у вас есть просьбы, говорите, я прибыл выслушать их.

— А просьба такая, повелитель: нам нужны слоны и люди, умеющие обращаться с ними. Надо привезти из Дехалпуря очень тяжелые камни, их могут погрузить на большие арбы только слоны.

Бабур обернулся к советнику по делам Индии Маликдоду Карони:

— Уважаемый, можно ли приохотить боевых слонов к мирному труду?

— Можно, мой хазрат. Слон — очень умное животное. В Индии его приучают и к военным делам, и к трудовым. Можно пригнать слонов и погонщиков из дальних сел...

— Нет. По-другому сделаем... Мы не приучены в сражениях использовать слонов. Но среди военной нашей добычи, взятой при Панипате и в последующих битвах, есть немало слонов. Вот их следует переучить, приспособить к работе на стройках. Уважаемый Карони, сегодня же это наше повеление доведите до сведения тех, кто умеет обращаться со слонами.

— Исполню тотчас, мой хазрат!

И Карони хотел тут же ехать обратно, но Бабур остановил его:

— И еще вот что... Пошлите в города и селенья глашатаев, пусть они всех оповестят: сокровища, взятые нами у султана Ибрагима, мы нা�мерены тратить на строительство и благоустройство. Пусть о том объявит повсюду и во всеуслышанье!.. Мавляна, а вам хватает работы самих строителей?

— Пока хватает. Правда, есть затрудненье. Вы приказали завершить строительство мраморного дворца и соорудить большой каменный хауз, положив срок год. Самое кропотливое, долгое дело — это обтесывание камней и резьба по камню.

— Если мы добавим мастеров этого дела?..

— Я и хотел просить вас об этом, повелитель. Для Индии больше подходят камни и мрамор, чем кирпичи и изразцы, которые используют в Герате и Самарканде.

— Мавляна, сколько сейчас на всех наших стройках работает резчиков?

— В одной Агре шестьсот восемьдесят человек. А всего, считая Секри, Дехалпур и другие места, тысяча четыреста девяносто.

— Немало! — Бабур довольно улыбнулся. — Когда Амир Тимур воздвигал самые большие здания в Самарканде, у него работало всего двести мастеров из разных стран. Известный историк мулла Шарафиддин Али Язди цифру сию считает невиданно большой. Но Индия столь велика и богата мастерами, что мы будем приглашать — не пригонять как пленных, а приглашать! — каменотесов и резчиков не сотнями, а тысячами. Уважаемый Карони, пошлите глашатаев во все города, подвластные нам. Пусть все узнают, что строители, которые пожелают работать у нас, получат самую высокую плату, которая до сих пор существовала где-либо в Индии. Во имя дела, угодного всевышнему, во имя прославления веры истинной плата будет равной и положение будет равным у мастера-мусульманина и у мастера-индуиста. Всех мастеров, что работой нас порадуют, возьмем под нашу защиту! Ибо завещано пророком: все рабы божьи одинаковы перед богом единым!

Карони отправился в Агру. А остальные беки то и дело бросали вожделенные взгляды на корабль, что покачивался на волнах Джамны неподалеку отсюда, придерживаемый якорями. После осмотра строящихся зданий и сада Бабур должен был перебраться на корабль — на воде прохладней. Но шах, увы, видно, не торопился. Он начал расспрашивать зодчего о том, какими будут купола и внутренняя отделка бани, что решено воздвигнуть меж дворцом и рекой.

— Внутри, как в самаркандской бане великого Улугбека, знаменитой на весь Мавераннахр, будет у нас облицовка из тонких и разноцветных мраморных плит, — неторопливо рассказывал Фазлиддин. — Ну, а купол будет поболе, чем у той знаменитой бани. Стены же сложим из крепкого красного камня... Мрамор — вам сие ведомо, повелитель, — обладает свойством удивительным: он мало упускает тепла изнутри и мало пропускает извне, поэтому летом, когда столь необходима прохлада, эти мраморные плиты придутся кстати.

— Ой, мавляна, быстро заканчивайте баню из мра-

мора, а то на этом пекле мы скоро в пепел обратимся! — прервал Калонбек, весь багровый от жары.

— Если вы хотите, чтоб здания из мрамора мы воздвигли быстрей, уважаемый бек, слезайте с коня и пособите нам,— отшутился Фазлидин.

Бабур, довольный ответом, спросил зодчего:

— А вас самого, мавляна, разве не измучила жара?

— Допекает, но — терпим... Замечательные здания мечтал я выстроить в Андижане — не вышло. Надеялся строить в Самарканде, Герате... Рисунки этих зданий тридцать лет пылились и желтели в моих бумагах. И вот, оказывается, мечтам моей жизни суждено осуществиться в Агре, далекой от моей родины. Если уж такова воля создателя, то и жару перенесу... Кстати, почему индийцы ее переносят? Они летом почти не едят мяса, больше пьют соки, утоляющие жажду, потребляют много фруктов. И я приучился к легкой пище. Поднимаюсь очень рано, работаю в утренней прохладе часа четыре. А начинается жара — тоже часа четыре лежу в тени, отдыхаю. Жара спадает — снова работаю четыре часа.

— Вот-вот... А мы с утра до вечера едим мясо — то казы, то кебабы, то шашлыки.— Бабур взглянул на Калонбека.— И запиваем все это винами и огненной водкой: жары нам, выходит, недостаточно.

Ходжа Калонбек еле сидел в седле; пот ручьями стекал по его лицу, струился по бороде, капал на грудь. Да и самому Бабуру казалось, что при каждом вдохе в грудь проникает не воздух, а язык пламени. Надо было ехать, немедленно ехать! И, поблагодарив Фазлидина за приятную беседу, он повернул коня к реке, где, заякоренный, качался, будто мираж, корабль, пустился вскачь. Встречный ветер освежал лицо. И дышалось легче.

Когда уже близкой была река, вороной бадахшанский жеребец, на котором скакал нукер Ходжи Калонбека, споткнулся, замотал головой и вдруг рухнул на землю. Нукер успел соскочить с коня, задергал то уздечкой, то поводьями — пытался поднять жеребца, но у того изо рта пошла пена с кровью, в конвульсиях, лежа на боку, он засучил ногами. Нукер отскочил, боясь быть зашибленным ударом копыт.

— Э, и жеребца хватил солнечный удар! — расстроенно сказал Калонбек.— А таких коней нелегко достать!

— Уважаемый бек, из-за одной лошади не стоит падать духом человеку! Я прикажу дать вашему нукеру скакуна из моей конюшни.

— Безмерно благодарен, повелитель! — Ходжа Калонбек невесело усмехнулся.— Только дело-то не в коне. Вижу в случившемся и свое будущее!

Бабур сошел с коня (они прибыли на берег). Показав рукой на корабль, что назывался «Осойиш», сказал:

— Пока вот ваше ближайшее будущее, уважаемые мои беки! Отдадимся же радости покойного отдыха.

На лодках подошли к кораблю, поднялись на борт. Бабур с Ходжой Калонбеком уединился на носу под навесом. Быстро и плавно шел корабль по реке, и встречный ветер делал жизнь человеческую не только терпимой, но, пожалуй, и приятной.

Слуги принесли остуженный апельсиновый и лимонный шербет. Ходжа Калонбек залпом выпил целую касу холодного апельсинового сока. «Нет, нет, и в Индии жить можно не без приятности», — подумал он и уже осмысленно взглянул на Бабура.

— Повелитель, здесь, в Агре, вы очень похудели, потемнели и спали с лица. Хоть вы и скрываете от нас, насколько вам трудно приходится... ну, может, другие беки о том не догадываются, но я-то догадываюсь, все знаю и чувствую.

— Да, бек, мы с вами рядом... без малого тридцать лет. Многое пережито вместе, не правда ли? Если сравнить с пережитыми бедами эту жару, нынешние наши неудобства — что они значат? Не мелочь ли?

Ходжа Калонбек вытащил из-за пазухи шелковый платок и обтер обильный пот, что застилал глаза:

— Увы, мой хаэррат, прожил я, видно, отведенные мне лета. Когда джигитом был, не знал разницы между холодом и жарой. А вот нынче, когда за пятьдесят... Чувствую, в Индии старею на год за неделю. Из старых, верных вам беков старше меня был Касымбек Кавчин; недавно ушел он из этого мира, да примет его душу всевышний. Коли так все пойдет — очередь, повелитель, за мной. Не протяну я долго, ей-ей, не протяну...

— Не говорите так, Калонбек мой. Все в воле всевышнего — это верно, но предчувствую: будете жить еще долго.

— Ум мой не верит, что человек, пришедший из прохладных краев, из Мавераннахра, может дожить под испепеляющим этим солнцем хоть до шестидесяти.

— Почему же? Хосров Дехлеви — он же из Шахри-сиябза — в Индии дожил до семидесяти двух. Что вы на это скажете?

Хосров Дехлеви был любимым поэтом Ходжи Калонбека. Когда войско проходило через Дели, Бабур и Калонбек нашли время посетить гробницу Низамиддина Авлаи, где похоронен и Хосров Дехлеви. Смиренно постояли у его могилы. Калонбек напомнил знаменитую строку Дехлеви: «Человек даровитый спешит в Хиндустан — нет, недаром!» — напомнил и сам возгордился собою тогда, смешновато, но трогательно. Правда, жара была в то время не столь изнуряющей, как теперь.

Бабур «недаром» произнес имя Дехлеви — не придет ли на ум беку снова та строка и настроение, которое она выражает.

Калонбек все вспомнил, все понял, смущенно кашлянул. Строки не сказал. Сказал другое, вроде бы смиренное:

— О, повелитель, Дехлеви — великий человек. Я же не смею равняться с ним...

— Смысл нашей жизни, бек, не в том, чтобы дерзать сравниваться с великими людьми,— помните, вы говорили, что хотели бы стать продолжателем их дел. Сие — можно и должно...

— Повелитель, большие дела вы начали и в Афганистане. Да стану я там продолжателем! Прошу вас, отпустите меня в Газни.

— Снова Газни! Вы забыли, какой многотрудной была у нас жизнь в Газни. Хотели восстановить разрушенную плотину Махмуда Газневи и — и не смогли! Когда людей находили, не хватало средств. Отыскивали деньги — чего-то другого недоставало. А тут у нас есть все, Калонбек, Индия — океан сил и средств!

— Но как бы этот океан... не поглотил... меня, человека маленького, человека с чужбины. Не останется здесь от меня ни следа, ни имени!

Ходжа Калонбек говорил о себе, но Бабур понимал, что имел он в виду всех, кто пришел в Индию с Бабуром, да и самого падишаха. И другие беки нередко шептались: «В этой бескрайней стране нас не хватит даже на растопку. Каплей в океане пропадем среди бесчис-

ленных индусов — лучше уйдем к себе, взяв с собой столько богатств, сколько можем унести».

— У вас — цель жизни «оставить след и имя»? — спросил Бабур. — Вот мы вместе видели сегодня новый сад Зерафшан. Будем живы, наглядимся еще, как в местах сих сады зашумят, поднимутся дворцы, прекрасней, чем в Самарканде и Герате. Там упадок, там тьма, бек мой. Но сделанное в Самарканде и Герате можно и должно продолжить здесь, срастить с великим стволом дерева Индии! Разве это, бек, не останется в памяти грядущих поколений, не прославит наш след и наше имя?

— Амир Тимур поступал иначе. И Махмуд Газневи — тоже. Покорил Индию, увез отсюда в свою страну нужные средства, всех нужных людей пригнал.

— И где теперь его государство? С Махмуда ли брать мне пример?

— О повелитель, вы и впрямь совсем другой человек. Вас больше увлекает пример Бируни и Хосрова Дехлеви. Но... хазрат мой, разве мы не завоевываем Индию мечом?

Бабур помолчал. Сосредоточенно глядел на реку, откуда дул ветерок. Медленно заговорил снова:

— Бек мой, мы не грабители. Да и не хватит конвоев вывезти отсюда все богатства этой страны, всех ее мастеров!.. Напротив, я приглашаю сюда талантливых зодчих и ученых из Хорасана, Мавераннахра, даже из Ирана. Вы сегодня видели мавляну Фазлиддина, андижанца. Вскоре из Тебриза, дай того всевышний, прибудет знаменитый Мухандис Сулейман Руми, умеющий строить фонтаны. Из Герата я пригласил историка Хондамира... Нет, бек, мы теперь здесь не чужие. Перестанем быть чужими. Весь ум, все способности надо отдать этой стране. Тогда только сможем перекинуть мост через пропасть...

Калонбек не вполне понял, о какой пропасти сказал шах, но возражать не стал. Он знал, что Бабур силой своей логики и красноречием всегда брал верх в подобных спорах. Ходжа Калонбек прикинулся побежденным в словесном поединке, перешел на обычную лесть, для владык всегда, как считал он, приятную.

— Мой хазрат, у вас железная воля и могучий дух. Э, другой бы на вашем месте не вытерпел бы и десятой доли испытаний, которые выпали вам. А вы все вынесли и еще хотите свершить такое, что по плечу... уже не

знаю кому... Искандеру ли, Джамшиду? Рустаму? Годы проходят мои возле вас, и все более убеждают они меня в вашем величии. А я кажусь сам себе маленьким холмиком у подножья огромной горы. Каждому — свое. Не дано мне то, что дано вам, повелитель.

Голос Ходжи Калонбека почти неприворно дрогнул. Бек замолчал. Бабур же медленно прочел строку Дехлеви:

— «Каждый стоит другого, все — потомки Адама».

— Но пять пальцев не равны меж собой... и коли я попытаюсь поднять ношу, которую несете вы,— надорвусь... Повелитель, хазрат мой, желаете ль вы, чтоб я прожил еще хоть пяток годков? Отпустите меня. Уеду я в Газни. Восстановлю ту старую плотину. Буду обживать пустыню, славя имя ваше.

Бабур задумался. Калонбек почувствовал, что отыскал некую струнку души, воздействуя на которую можно добиться от шаха своего.

— Повелитель, хазрат мой, внимлите просьбе! Весь конец своей жизни, благоденствуя, буду с трепетом поминать вас в молитвах своих. Хочу, чтоб похоронили меня в Газни: ближе к родине.

Бабур заметил, как увлажнились глаза Калонбека. Наконец спросил:

— Если за вами последуют другие беки... с кем я останусь?

— Я сам поговорю с беками. Клянусь, скажу им: «Повелитель отправляет меня для восстановления плотины в Газни». Я уеду так, что никто не последует за мной, поверьте мне!

Бабур еще не знал, что Ходжа Калонбек как-то во время попойки побился с беками об заклад, что обязательно отпросится у шаха и уедет в Газни. Теперь не останавливался ни перед чем, даже унижал себя, чтобы выиграть спор, а ведь больно ему было, что Бабур не опровергал его самоунижений, не заверял в том, что он, Ходжа Калонбек, влиятельный и доблестный эмир.

— Ну, ладно, будь по-вашему,— согласился Бабур.— Только сперва поезжайте в Кабул. Передадите письма и подарки Мохим-бегим... Я выделил деньги на дорожные расходы тем ученым и мастерам, кто едет сюда по нашему зову из Герата, Самарканда, Тебриза и других городов. Часть денег вы тоже отвезете в Кабул, там следует оплатить проезд нужных нам людей... Не будем жалеть денег, бек мой,— добавил Бабур, уви-

дев тень неудовольствия на лице Калонбека.— Их у нас отныне много. Способны оплатить любой труд по самой высокой цене. И приглашайте от нашего имени всех, кто пострадал от невежества отпрысков Шейбани, своеволия кизылбашей, всех, кто ищет применения своим способностям. Пусть едут сюда. Всем найдем дело.

— Выполню ваши поручения от всей души, повелитель. Сделаю так: я один уехал, зато десятки и сотни нужных людей приедут.

Бабур казалось, что Калонбек говорил с ним искренно. Но сразу же после того как тот отправился в Газни, на стене особняка, где хитрый бек проживал в Агре, обнаружили двустишие на фарси, которое пролило свет истины на подлинные чувства Бабурова собеседника:

Коли жив-невредим через Синд я прорвусь,— клянусь,
Пусть я проклятым буду, но в Хинд не вернусь. Клянусь!

Эти стихи, написанные на стене крупными буквами, быстро распространились среди тех, кто окружал шаха и кто хотел последовать за Калонбеком. Однажды Бабур выведал у Хиндубека про спор своего недавнего собеседника с товарищами по пирам.

— Хитрец и прохвост! — зло воскликнул Бабур.— И заклад выиграл, и меня обвел вокруг пальца. Ну, еще посмотрим, кто в конце концов останется в выигрыше.— Шах долго и нервно ходил из угла в угол.

Что учинить над Калонбеком? Немедленно послать гонца с приказом,— мол, Ходжу Калонбека от должности правителя Газни освободить, пусть и в самом деле займется восстановлением плотины, без преимуществ, которые дает должность правителя? Но в таком случае Бабур лишился бы всякой поддержки от старого, пусть и хитрого, себе на уме, бека, которому доверил и впрямь важные поручения. Но что же делать? Смолчать? Ни гордость, ни здравый расчет этого не позволяли. Ведь незатейливое стихотвореньице Калонбека может еще сильней раззадорить беков и нукеров, помышляющих об отъезде из Индии. А вздумай он как бы то ни было наказать Ходжу Калонбека, известность бейта возрастет.

— Этот бейт все еще красуется на стене? — спросил Бабур у Хиндубека.

— Нет, стер я.

— Напрасно. Насильно стертное крепче держится в

людской памяти.— Бабура вдруг осенило: — Эй, слуга, позвать писца! Да поживее!

С бумагой, пером и чернильницей в руках вошел молодой писец и остановился перед шахом, так и не разогнувшись до конца из поклона.

— Пиши!.. да сядь поудобней!

Писец опустился на корточки, положил на колени дощечку, разгладил ладонью бумагу, навострил перо.

Бабур, благодари судьбу — щедра она была:
И Синд, и беспредельный Хинд она тебе дала.

Нет, надо ясно выразить, что Индия — это для нас не чужой край, а новая, вторая родина.

И Бабур быстро и твердо продиктовал:

Бабур, благодари судьбу — щедра она была:
Твой новый дом — великий Хинд — она тебе дала.
Пусть отправляется в Газни жары и солнца враг.
Туда холодных слабаков судьбина увела.

Хиндубек пришел в восторг. Ходжа Калонбек и впрямь любил напускать на себя холодный, надменный вид, скромностью не отличался, считая, что видит дальше других.

— Перепишите-ка на три свитка, — сказал Бабур.— Один послать вслед за Ходжой Калонбеком. Второй возьмите вы, Хиндубек,— дайте почитать бекам и нукерам, повторяющим бейт Калонбека. Посмотрим, кто одержит верх в этой мушоире.

Бабур почувствовал, что выстрел его получился метким, когда однажды сам услышал, как одному беку, что начал плакаться на жару, другие посоветовали «поехать в Газни» — «туда холодных слабаков судьбина увела»...

3

Тахир после битвы при Панипате месяца три пролежал в постели. Лекарь, посланный к нему из дворца, смог еле-еле победить своим искусством раны-порезы, но с трещинами в ребрах и раздробленных костяшках рук ничего не сумел сделать. Боль не отпускала Тахира ни днем ни ночью. Крепкий воин, Тахир изо всех сил сдерживался, чтобы не оглушать стонами маленький

дворик в Агре, где он жил со своим преданным Маматом. «Наверное, из хижины этой понесут меня на кладбище», — нередко подумывал Тахир.

Как раз тогда мавляна Фазлиддин привез из Кабула сына Тахира Сафара, который закончил медресе и стал мухандисом. Порасспросив мастеров-индийцев, работавших на строительстве, они разыскали одного знаменитого лекаря и привели его к Тахиру. Мавляна Фазлиддин слышал о том, что лекарь умело врачует переломы, что хорошо относится к беднякам. Значит, и ум, и сердце у человека хорошее.

— Сахиб Байджу, — сказал лекарю зодчий, — племянник мой Тахир не рожден беком, он из трудолюбивых дехкан, все усердие свое отдавал кормилице-земле. Я был против того, чтоб он становился нукером. Говорил я тебе в Оше, Тахирджан, верно?

— Ох, напрасно я не послушался тогда вас, дядя мулла, — вздохнул Тахир. — Стал беком, возомнил о себе невесть что...

Мавляна Фазлиддин, перемежая персидские слова и урду, изложил наконец главное:

— Племянник мой хочет уйти из круга жестоких беков и нукеров, только и думающих о войне и разбое. Он хочет заняться мирным трудом. Как Мамат, который работает по закладке садов. Как вы, достопочтимый табиб... Прошу вас помочь моему племяннику!

— Знаю, вы прибыли в нашу страну не с военными целями, мавляна сахиб, — ответил Фазлиддину Байджу. — Из уважения к вам, зодчий, я окажу вашему племяннику посильную помощь.

В течение месяца Байджу лечил Тахира. Своими чуткими пальцами определив места переломов, он действовал терпеливо и искусно — руками своими, перевязками, какими-то жидкостями. Ни капли крови не потерял за время лечения Тахир. Как к своим собственным привык к иссиня-светлым ладоням и худощавым смуглым пальцам лекаря.

От платы Байджу отказался. Выздоровевшему Тахиру сказал:

— Вы поднесли мои руки — руки табиба — к своим глазам... Это знак вашей благодарности.

— Нет, нет, я должник ваш до конца дней! — воскликнул Тахир.

— Как знать, может быть, я сейчас расквитался с одним своим долгом...

И после долгих уговариваний, после того, как Фазлиддин и Тахир обещали никому не пересказывать то, что они услышат от него, Байджу поведал о своем брате — погонщике слонов. При Ибрагиме Лоди брат не нашел себе работы в Агре и уехал в Пенджаб. Он про слышал, что шах Бабур убил многих наших людей, и тогда он поклялся самому себе: «Я не пущу этих чужаков в родные края!» Нанялся в проводники к вражескому войску и завел его в болота, в непроходимые джунгли.

— Подождите! — Тахир вспомнил Лала Кумара. — Его слон изувечил тогда двух наших нукеров. Проводник бежал. Но, признаюсь вам, он восхитил меня своей смелостью. Не побоялся целого войска! Мы думали, что и он сам не сумел выбраться из болот и лесных дебрей. Значит, выбрался? Жив?

— Жив, но боится явиться в Агру... Нехорошо, что мой брат нанесувечья вашим нукерам, но, может быть, то, что я вылечил сахиба Тахира, смягчает хоть отчасти прежний наш грех перед вами?

Фазлиддин и Тахир запротестовали:

— Сахиб Байджу! Защищать родину — и столь самоотверженно — не только не грех, а доблесть!

— Благодарю вас, друзья, за эти слова! Но доблесть не дает пропитания. Брат вынужден скрываться в собственной стране. Нет работы, и нечем кормить детей.

— Ваш брат работал на стройке?

— Да, он научил слона таскать камни и бревна.

— Тогда пусть приходит ко мне. Ведь мы сейчас переучиваем даже боевых слонов!

— Брат мой слышал об этом. Он, как и все мы, радуется, что ваш шах тратит деньги, богатства на благоустройство городов, те самые деньги, которые прятал Ибрагим Лоди. Но боюсь, все же очень боюсь, как бы не попасть брату в руки властей... Сахиб, — обратился лекарь к мавляне Фазлиддину, — наши люди слышали, что шах ваш уважает вас, что вы руководите всеми крупными стройками — и здесь в Агре, и в Дехалпуре, и в Сикри. Может, выпросите у шаха Бабура прощение моему брату?

Фазлиддин отрицательно покачал головой:

— Хотя мирза Бабур большой поэт и просвещенный человек, но знаете пословицу: «Всегда опасно подходить близко ко льву и падишаху?» ...Пусть-ка лучше ваш брат изменит свое имя и внешность.

— Он это сделал. Сейчас его зовут Кришан. Отпустил бороду во всю грудь.

— Очень хорошо. Тогда приводите его через неделю ко мне. Не сюда — в Дехалпур. Там сделаем так, что никто не узнает о его прошлом.

4

В месяц саратан, когда в Агре начинают лить дожди, сопровождаемые ветрами, Тахир пришел во дворец к Бабуру.

Шах едва узнал своего верного бека: борода и усы Тахира сильно поседели, плечи потеряли мужскую напряженность, будто изнутри стали полыми, обвисли. К старому шраму вдоль щеки прибавились новые — будто заплатки — на подбородке и на шее.

— Благодарение аллаху, вы уже выздоровели, бек, — намеренно бодро обратился Бабур к Тахиру. — Хорошо, что из Кабула приехал ваш дядя.

— Да, видно, бог послал мне его... спас он меня.

— Ну, а когда вернетесь на службу, бек?

Правая рука у Тахира не сгибалась, плохо повиновалась шея: если нужно ему было посмотреть налево или направо, приходилось поворачиваться всем туловищем.

— Увы, я уже не гожусь в телохранители, мой хазрат.

— Не о том веду речь... Хотел бы видеть... тебя... среди приближенных, среди самых близких мне беков.

— Нет, я не смогу стать беком... А теперь и не хочу им быть.

— Почему?

И Тахир, ничего не скрывая, подробно рассказал (Бабур внимательно слушал), как перед началом панипатской битвы, хмельной и чванливый, бесчеловечно избил нукера Мамата (друга своего, повелитель!) и все, что произошло вслед за этим.

— Лежал в постели, помирал от ран, но еще сильнее донимали меня муки совести, повелитель. Не подходит мне быть беком... Я пахарь. А еще — воин. Да только уже калека. Позвольте мне работать в саду, том самом, что закладывает мой дядя мулла. Поливальщиком буду, цветы стану разводить. Раньше я не одной

пахотой, по садоводством и охотой занимался у себя в Куве.

Бабур слушал, подняв глаза на дождевые облака,— они плыли по небу меж мраморными расписными колоннами айвана. Красиво... Исчезающей красотой красиво. С благими намерениями он сделал Тахира беком, но теперь увидел, что счастья тем самым ему не прибавил.

— Ладно, пусть будет по-вашему: мой боевой бек, мой товарищ перестанет быть беком, станет садовником. Он избавится от беков, а я... как избавлюсь я?

Тахир растерялся, но не настолько, чтоб уклониться от ответа:

— Вы... шах. Пахарь и шах — не одно и то же. Беки у вас в подчинении...

— Подчиняются, но и подчиняют. А чуть зазевавшись, могут по корысти своей завести в такую пучину, что и захочешь — не выберешься. Утопят... Помните, что я говорил в Исфаре?

— Те ваши слова, повелитель, я до могилы не забуду.

— А что говорили вы? Что обещали? «Навеки буду с вами», — помните?

— Повелитель, я был тогда крепким джигитом... Зачем я нужен вам немощный?

— Во дворце нужен человек, который с душою присматривал бы за моим «приютом уединения».

Так Бабур называл помещение, где он оставался один и писал. Тахир знал, что там для Бабура протекают самые дорогие и приятные часы жизни. Но Тахир представил себе интриги, пересуды, косые взгляды дворцовых слуг: никто не любит любимчиков властелина! — и решил все же добиться разрешения работать в саду, рядом с дядей.

— Хазрат мой, простите вашего раба. Душа склоняется к работе в саду...

— Ну, а мы и в саду сделаем «приют уединения», — сказал Бабур. — И за ним, когда строительство завершится, вы тоже будете присматривать. Идет?

Теперь уже не отказаться! Да и не привык Тахир перечить Бабуру. Знаком покорности и согласия приложил он правую, плохо слушающуюся руку к левой половине груди — к сердцу.

Уже второй месяц Агру затопляют дожди. Жара спала, но замучила всепроникающая влажность. Бумага, на которой писал Бабур, отсырела. Одежда не просяхала целыми днями. Воздух напоминал банный, от влажной духоты спирало дыхание.

Бабур безвыездно жил в Агре и каждый вечер уходил в «приют уединения», который находился в глубине большого сада. Это был небольшой дом из четырех комнат. Убирали их двое слуг. Тахир стал «офтобачи», но отвечал не столько за воду и вино, сколько за книги, рукописи, чистую бумагу, перья и чернила. В самой тихой и уютной комнате стоял восьмигранный столик, за которым Бабур любил писать. В соседней комнате на дастархане расставлялись кувшины с водой, куда для аромата добавляли розовый настой с лимонным и ананасовым соками, тарелки с лепестками танбула и орешками фуфала, что скрывали в себе бодрящие зернышки красного цвета.

Однажды Тахир поставил на дастархан кувшин ароматного газнийского вина. Но в тот же вечер Бабур предупредил:

— Уберите-ка его! Хватит вина, выпиваемого на пирах.

После этого Тахир никогда не приносил вино в «приют уединения».

Если Бабур работал во внутренней комнате всю ночь напролет, то и Тахир не спал до рассвета.

Бабур знал, что его бывший бек бодрствует в передней, иногда выходил к нему, задавал вопросы.

Однажды спросил:

— Тахирбек, помнишь, в арчовых лесах Бадахшана мы видели одну травку с очень нежным запахом? Как же она называлась? Растет в изобилии и в Дехкate, и в горах Осмон Яйлау... Светло-голубоватая такая. Я когда-то записал название в какую-то тетрадь... В Ка-буле, видно, тетрадь осталась, не могу здесь найти.

— А лошадь ее ест, эту траву?
— Да, охотно... Растет низко, пучками.
— Не бетака?
— Да, бетака, молодец! Бетака, бетака... Правильнее — бутака! Значит — пучком растет, как ветка от сучка. «Буток» — сучок, ветка, а «бутака» — в Бадахшане так эту травку называют.

Иногда Бабур расспрашивал Тахира о подробностях событий, вместе пережитых, или тех мест, которые они

когда-то исходили. Тахир знал, что Бабур постоянно пишет книгу о своей жизни. И ощущал себя невольным участником ее создания, радовался, что не без толку проходят дни, проводимые им у повелителя в «приюте единения».

Как-то в полночь Бабур вышел к нему и прочитал грустным голосом:

От родины вдали мне пребывать доколе?
Здесь нет покоя мне, зато довольно боли.
По воле собственной я в этот край пришел,
Покинуть не могу его по доброй воле.

Эти строки так разбередили Тахира, что он чуть не застонал.

Помолчали. Каждый подумал о своем. О женах своих: Бабур больше всего о Мухим-бегим, Тахир — о Робии.

— Когда же мы свидимся с ними, хазрат мой? Прошло уж девять месяцев, как мы одни здесь, в Агре.

— Дороги все еще опасны. Тем более для женщин. Да и не до семейных утех сейчас, Тахирбек. Рано Санграм Сингх собирается воевать...

— Но он же заключил с вами соглашение против Ибрагима, когда мы были в Кабуле.

— Этот раджпут хотел с нашей помощью взять себе Дели и Аgrpу. Он отважен, что и говорить. Но он еще и хитер, — думал, что мы повоюем с Ибрагимом и уйдем восвояси. А ныне увидел, что мы остаемся, новые строительства затеваем. Потому стал собирать силы против нас. Из своего Читура захватил многие области. «Мого-лами» нас обзывают, а ведь знает он, что мы — тюрки. Рано Санграм собирает вокруг себя всех недовольных нами.

— Да, мой хазрат, и здесь недовольных тоже много... Есть и поводы для недовольства.

Сказав так, Тахир хотел напомнить Бабиру о том, что произошло недавно здесь, в крепости Агре.

Сзади дворца расстился огромный, вплоть до крепостной стены, пустырь. Бабур приказал построить в центре его вайн — так индузы называют крытый бассейн с низвергающимися каскадами. Вайн надо было вырыть очень глубоким, на три яруса вглубь, с колодцами трех уровней, — таким его задумал тебризец Сулейман Руми, который приехал в Агре. Со дна этого огромного хауза должна была вести вверх ступенчатая

лестница. Словом, работы было очень много, а Бабур приказал завершить ее всю за полгода. Тут начался сезон дождей. Мастера-индийцы сказали, что в паштакал рыть землю нельзя. Их не послушали, заставили продолжать работу. И вот три дня назад одна сторона хауза обвалилась; задавило четырех землекопов, находившихся на самом дне. Когда их откопали, увидели,— трое уже были мертвы. Четвертый, с переломанным позвоночником, стал калекой на всю жизнь. Мастера-индийцы потребовали наказать саркора — того начальника, который заставил работать, виновника произшедшего несчастья. Но визирь Мухаммад-ага Дулдай прогнал их да еще и обвинил в том, что они сами якобы не соблюдали меры предосторожности. После этого трое мастеров-индийцев бежали из дворца Бабура,— видно, ушли к Рано Санграму.

Тахир видел трупы погибших под обвалом. Руки их цветом своим напоминали Тахиру руки лекаря Байджу.

Всем телом повернулся Тахир к Бабуру, спросил:

— Повелитель, знаете ли вы о том, как произошел обвал вайна?

— Да, мне рассказывал о том Мухаммад Дулдай.

— Все говорят, что несчастье произошло по вине саркора...

— Надо быть поосторожней самим землекопам. Я приказал, чтоб впредь обязательно укрепляли стены колодцев деревянными щитами и подпорками. Тогда работать будет совсем не опасно.

— А мастера, говорят, сбежали.

— Я назначил нового саркора, нанял других мастеров. Мало ли в Агре строителей?

Значит, работа будет продолжаться, не останавливаясь. И опять возможен обвал. И новые жертвы.

Недавно стихи Бабура вызвали в душе Тахира, помимо всего прочего, прилив любви к человеку, их написавшему. А сейчас — будто отлив произошел, холодным ветром отчуждения потянуло. Как это могут уживаться в сердце одного и того же человека горячее чувство тоски по близким, по родине и черствость к чужому горю? И этого человека давно любил и продолжал любить он, Тахир! Жара и холод... добро и зло... сила и красота — как тут разобраться в переплетении, в круговерти их.

Тахиру было больно.

Повар Бахлул — он готовил еду в дворцовой кухне для шахского стола — также видел землекопов, погребенных обвалом, и в сердце его еще ярче разгорелось пламя мести за двадцатилетнего брата, павшего от сабли врага в сражении при Панипате, за погибших землекопов, за обиду султанши Байды — за все, что принесли с собой завоеватели.

Ахмед через связную — рабыню венценосной Байды — доставил повару Бахлulu яд. Другая рабыня, которой тоже удалось посетить бабуровский дворец, передала приказ султанши поторопиться: пройдет сезон дождей — и Бабур уйдет в поход, на Рано Санграма.

Яда было мало, всего две щепотки, в белой, сложенной вчетверо бумажке — будто редкая пряность лежало там это грозное оружие, с помощью которого Бахлул желал не только отомстить за гибель брата, но и вообще прогнать чужаков-завоевателей из родной страны. Ахмед убедил Бахлула: коли Бабура умертвить, остальные завоеватели оставят Индию, а на трон воссядет сын Ибрагима Лоди.

У Бабура были свои бакавулы, которым вменялось в обязанность тщательно проверять пищу, что идет на стол шаху. В тот вечер долго шел сильный дождь, и под его шум бакавулы крепко выпили и опьянели... В казане булькала уже готовая кайла, приправленная кисло-сладкой подливкой из плодов индийского растения карунды. Бахлул знал, что Бабур любит это индийское кушанье. Он незаметно вытащил из-за пазухи бумажный кулечек, огляделся — в кухне никого не было, — подошел к двери в соседнее помещение, где пьяные бакавулы горланили песни.

Можно было действовать!

Бахлул высыпал ядовитый порошок не в котел — бакавулы имели привычку брать на закуску к водке еду из котла, — а на тонкую лепешку, которую положил на большое фарфоровое блюдо. Внезапно сильный ветер резко хлопнул наружной дверью, и остатки порошка Бахлул в испуге бросил второпях в огонь под казаном. Снова огляделся. Успокоился. Уверенными движениями положил поверх лепешки кайлу, полил ее растопленным маслом.

Вскоре в кухню пришел слуга, взял фарфоровое блюдо и унес в зал, где ужинал Бабур. Прихва-

тил он и тарелку тонко нарезанной жареной моркови.

Ахмед уверял, что яд этот нельзя определить на вкус и что действует он медленно, постепенно. Бахлул надеялся поэтому, что успеет скрыться прежде, чем во дворце поднимется шум. Но случилось непредвиденное: в дверях из столовой дорогу ему преградил один из пьяных поваров-пробовальщиков.

— Ну, а нам зайчатинки оставил? — пошатываясь, спросил он.

— Есть мясная лапша, сахиб.

— Нет, мы хотим зайчатины!

— Но жареной зайчатины было мало, всю кайлу отнесли великому шаху.

— Нет, я говорю: ее было много! Почему нам не оставил? А? — ревел пьяный здоровяк бакавул.

— Я же не всю зажарил...

— Вот и зажарь нам заячьего мяса! Быстро!

Бахлул вернулся к огню, в смятении начал хлопотать у котла: снова растопил масла, нарезал небольшими кусками зайчатину...

Ночь окутала дворец, темная, ветреная. По-прежнему хлестал дождь.

И вдруг забегали нукеры-охранники, громко выкрикивали кто-то: «Лекаря! Лекаря!» Бестолково засуетились, толкая друг друга, бакавулы. Шум нарастал, и у дверей в столовую собралась толпа. Тахир опрометью промчался из отдаленного «приюта уединения», вбежал в столовую.

Бабура рвало. Лицо его посинело. Он задыхался, метнулся было к дверям выйти наружу, но не сделал и двух шагов, зашатался. Подскочил Тахир, поддержал.

Появился лекарь Юсуфи.

— Расстелите курпачи на айване! — приказал он слугам.

— Нет... Во дворе! — прохрипел Бабур, и снова приступ рвоты согнул его пополам.

— Повелитель, на дворе дождь! Лучше на айване!

Поддерживаемого под мышки, Бабура вывели на веранду, уложили на курпачу. Лекарь дал ему понюхать лекарство, «укрепляющее сердце», когда «человек много вина выпьет».

— Я не пил вина... Причина в еде! — сказал Бабур, встал и снова нагнулся над фарфоровым тазом, успев выкрикнуть: — Повара! Схватить!

В меньшей мере, чем Бабура, но и двоих его сотрапезников, отведавших той же кайлы, стало рвать.

Бахлула схватили не нукеры, а сами повара — пробовальщики пищи. Палачи быстро принудили его признаться во всем. Немедленно были посланы нукеры схватить Ахмеда, венценосную Байду, ее рабыню и служанок.

Бабур всю ночь находился в таком состоянии, что окружающие при каждом приступе рвоты, во время лихорадочной ломоты ждали смертельного исхода. Только один Юсуфи, лекарь, делал ему промывания желудка, пичкал разными лекарствами и без конца уверял при этом: «Все пройдет! Вылечим вас, повелитель».

Мир, казалось, ломался на какие-то смутные части. И с ним — будто сердце, и легкие, и желудок рвались наружу. В глазах — какие-то разноцветные пятна. И сквозь них ему виделись то Хумаюн, то Байда, то кроткая Мохим-бегим.

Бабур стонал. Шептал про себя (а ему казалось — вслух, громко говорил): «Зачем я отправил Хумаюна в Кабул? А оттуда он поедет еще в Бадахшан... потому что... потому что на северных границах опять неспокойно... Пусть прошли бы дожди — тогда надо было поехать...» Сознание мутилось — и перед Бабуром вставал в черно-красной чалме с индийским алмазом Амир Тимур. Прояснилось сознание — Бабур здраво думал: «Если теперь беда не пройдет, нет рядом со мной ни сына, ни жены Мохим-бегим, пока гонцы до них доберутся, пока они приедут в Агру, — самое меньшее, три месяца пройдет, а я могу умереть через неделю... нет, завтра, нет, сегодня, сейчас!»

— Крепитесь, повелитель! Не теряйте надежду! — молил Тахир. — Ведь сколько смертей мы с вами победили!

— Но такого... у нас... еще не было... а, Тахирджан?.. Тахирбек, ко мне! — прерывисто выдавил Бабур.

Тахир поддерживал Бабура, когда он в очередной раз — «да сколько же можно?!» — нагибался над фарфоровым тазом, харкая чем-то черно-красным, вытирая потные лицо и шею. Видя, как временами у Бабура останавливается дыхание, как от нестерпимо острой внутренней боли катятся слезы из глаз, Тахир мучился невозможностью взять на себя хоть часть этих страданий, а порой казалось, будто он тоже съел отраву — так сильно было его сочувствие Бабуру.

В один из коротких перерывов между приступами рвоты к обессиленному Бабуру, лежавшему с закрытыми глазами, пропустили того, кто вел допрос схваченных.

— Доложите коротко суть дела, только суть,— шепотом предупредил его Юсуфи.

И главное, что должен был узнать Бабур, состояло в признании Байды. Венценосная подтвердила, что это она задумала чужака-шаха отравить и нашла нужных для этого людей, что это ее месть за сына. Допрашивающий пытался выяснить у нее, не связаны ли были заговорщики с Рано Санграмом. Но Байда отказалась ответить, а без повеления Бабура пытать венценосную не решились.

— Она... еще ответит! — с дрожью в голосе сказал Бабур: опять начиналась конвульсия.— А тот, подлый... повар!.. Я взял его... Доверял ему!.. Ел приготовленное им. А он предал! — Холодный пот прошиб говорящего. Лекарь Юсуфи сделал знак — пора уходить.

— Мой хазрат, этих злодеев надо отдать на тысячи мук. Чтобы другим неповадно было!

— Тех, троих... казните, как водится!..¹ Байду... по том.

— Слушаю и повинуюсь!

Лекарь Юсуфи боролся за жизнь Бабура два дня и две ночи. Наконец вздохнул с облегчением:

— Возблагодарим всевышнего! Наш повелитель словно родился вторично... Теперь надо пить молоко, мой хазрат. И постарайтесь побольше спать...

Бабур старался, но сон приходил редко. Чаще он просто лежал, закрыв глаза. И перед мысленным взором его все еще зияла черная бездна, на краю которой он пробыл двое суток. На самом краю, совсем близко от обрыва! Самое сильное чувство, которое он после этих страшных дней испытывал, можно было назвать чувством возвращенной жизни. Пусть искорка, пусть миг,— но они, эти искорка и миг жизни, казались теперь дороже всех владений и сокровищ, всей славы и всех тронов мира. В измученной душе, как и в ослабевшем теле, что-то выгорело, и мир виделся Бабуру в но-

¹ По обычаям тех времен покушение на государя считалось самой великой виной, и преступников надлежало казнить самой мучительной смертью. С повара Бахлула заживо содрали кожу. Ахмеда четвертовали. А ту рабыню, которая доставила яд во дворец, бросили под ноги слону, и он ее растоптал.

вом свете. Да, жизнь у каждого человека одна, но если так дорог каждый ее миг, то чем измерить глубину несчастья тех, кто лишился жизни, не достигнув возраста Бабура?.. Вот и его враг, Ибрагим Лоди, был моложе на четыре года. Разве венценосная Байда, гордячка и преступница, могла забыть об этом, могла простить Бабура только из-за того, что он при всех объявил ее своей названой матерью?.. Упоительна победа, но и опасна. Переоцениваешь себя. Свои силы. Свое воздействие на людей. Иначе не доверился бы он повару, столько лет верно служившему Байде. В этом его поступке был вызов, самомнение. Если бы не возомнил о себе, будто он знаток сердец людских и людей этой страны, разве не заметил бы он затаенную ненависть в глазах Байды? Вот сейчас, да, сейчас ему припоминался змеиный холод в блеске ее глаз. И слова Мохимбегим он припомнил — о том, что раны, нанесенные мечом чужестранца, не заживают веками. Какой самообман — не вдуматься в эти слова, отрицать их правоту! Вот и стал жертвой обмана Байды. И самообмана. Но если подобные раны не заживают веками, то хватит ли жизни Бабура, чтобы перекинуть тот мост между ним и этой страной? Или и это — самообман, мираж? Наказание за невинную кровь тех, кто, и не взял оружия в руки, пострадал от его походов?

От таких дум он снова чувствовал себя хуже. Будущее казалось мрачнее прежнего.

И все же силы жизни брали свое. Пучок света, что брезжил во мраке, постепенно ширился, обретал яркость.

Его теперь не тошило. Ночами он спал спокойно, правда, по утрам — он хотел встать с постели! — кружилась голова.

— Слабость пройдет! — уверял его лекарь. — Мой хазрат, вы должны еще лежать, набираться сил. Сколько? Неделю! Я пущу вам кровь. Надо, чтобы кровь совсем очистилась от остатков яда.

— Я и так ослабел, — возражал Бабур. — Не надо пускать кровь. Мне скорее надо выйти к людям, к бекам. А то уже, видно, сплетничают, будто я безнадежен, бессилен. Нас ждет война с сильным врагом. Он злорадствует, и смутияны поднимают головы.

...Вскоре после выздоровления Бабур послал в Кабул письмо, где описал случившееся так точно и спокойно, что потом счел возможным вставить это письмо

целиком в свою книгу «Былое». Но и там, в спокойного тона письме, прорывалась душа, потрясенная осознанием рядом пронесшейся смерти. «До сих пор не представлял себе столь хорошо, как сладко это — жить. Есть стихотворная строка:

Кто на пороге смерти был, тот цену жизни знает.

Вспоминаю страшный тот случай — и становится не по себе».

На третий день после перелома в ходе болезни по велению шаха собрались беки, важные чиновники, представители всех вилайетов. Бабур вошел в зал из задних дверей и не спеша поднялся на помост, спокойно уселся в тронное кресло. После того как знать разместилась в положенном порядке, по степени старшинства, дали знак и ввели в зал венценосную преступницу Байду. Два нукера встали по сторонам рядом с ней.

Старуха, одетая в белое, высоко держала голову, тоже всю белую, но пред троном все же склонилась. Она разом заметила блеск золотых ступеней и ножек у трона, сияние драгоценных камней пышной чалмы на троне сидящего и болезненную желтизну Бабурова лица, его запавшие глаза. Байда ободрилась, быстро выпрямилась. Начали допрос. Чиновник, который повел его, сразу спросил, кто, кроме нее и уже казненных заговорщиков, участвовал в подготовке злодейского покушения на великого шаха.

— Это не покушение, это — моя месть! — заявила Байда.— Мщение за кровь, пролитую вашим шахом! И Бахлул, и Ахмед, и рабыни, помогавшие мне, были героями-мстителями. И умерли отважно. Теперь мой черед. Не боюсь смерти! Я испепелена горем — гибелью сына. Убейте, разведите мой прах по ветру!

Байда говорила на фарси. Все понимали ее. И все молчали. Бабуру стало ясно: бесстрашная Байда явилась сюда готовой принять смерть, она хотела умереть — и вот почему каждое слово метала, точно стрелу, ждала, чтобы охваченный яростью Бабур тотчас позвал бы палачей, приказал бы использовать против нее, безоружной матери, самые жестокие орудия пытки. Тогда... о, тогда победа была бы на ее стороне, молва о ее храбрости понеслась бы из уст в уста, память о ней удержалась бы навсегда. Преклонения перед памятью о себе — вот чего она хотела!

И шах удержался от взрыва гнева. Он должен победить Байду так, как победил в себе ее яд,— терпением, стойкостью (по телу его пробежала судорога, напоминая о недавних муках, но никто ничего не заметил).

Бабур молчал. Заговорил Маликдод Карони:

— Не изображайте из себя героиню-мстительницу, вы, мать сultана Ибрагима! Вы поступили подло, обманув доверие шаха!..

— Молчи, предавший! Чтоб достигнуть своей цели, я должна была войти в доверие!

— Вы предали святое имя матери! Вы при всех нас плакали слезами умиления, когда наш повелитель возвеличил вас, объявив своей названой матерью.

— О нет! То были слезы отвращения. Я не могла считать себя матерью того, кто принес смерть моему Ибрагиму!

Бабур и здесь промолчал. Карони повысил голос:

— Но у вашего сына войско было в десять раз больше, чем у шаха Бабура. И если бы ваш сын одержал победу, он — я уж знаю! — не оставил бы в живых никого из противников своих. Война есть война! Живи у вас в сердце чувство справедливости, вы не стали бы так коварно прибегать к яду. Шах Бабурился честно — на поле брани, сабля против сабли!

— Я женщина, я не могу сражаться с саблей в руках! Яд был моей саблей. Чужаки-завоеватели убили тысячи и тысячи наших людей на панипатском поле. Они посеяли семена смерти по всей Индии. Сколько матерей, подобно мне, ходят сейчас в белой одежде, обливаясь слезами, сколько вдов сжигает себя на погребальных кострах? Яд, который я дала, он был из семян тех самых смертей, что посеяли чужаки-завоеватели! Этот яд пропитан горькими слезами вдов и сирот!

Беки зашумели. Один бородач поклонился Бабуру, предложил:

— Мой хаэррат, хватит нам слушать эту бешеную старуху! Пусть палачи вырвут ей язык!

— Да, да, пусть разрежут меня на куски, пусть четвертуют, как и Ахмеда,— в ярости крикнула Байда.— Я не боюсь вас, не боюсь!

Мученическая смерть этой безоружной матери? О, то великая угроза! Как на это посмотрят матери его детей? Что скажет Мохим-бегим? Недавно он, Бабур, дописал в своей книге главу о Герате — про смерть Ха-

дичи-бегим. Коварная, вероломная была женщина, не меньше, чем Байда. Но когда приняла мученическую смерть от этого прикурковатого бешеного быка, от Мансура-бахши, наученного Шейбани-ханом, стала светлой в людской памяти, и смерть ее вызывает до сих пор негодование многих, презрение к Шейбани вызывает. Он сам, Бабур, дав себе зарок писать полную правду, поддался этим чувствам, когда помянул о Хадиче — жертве насилия.

Как теперь поступить, чтобы и к себе не вызвать презренья?

Беки шумели, требовали казнить Байду.

— Бросить бешеную бешеному слону! Пусть растопчет!

— Запихнуть в мешок и сбросить с высокого минарета!

Бабур сделал знак.

Все смолкли.

— Для этой старой женщины,—тихо начал Бабур,— есть, кажется, одна казнь. Страшнее смерти... Вот вы слышали, она как будто болеет за всех матерей, за вдов и сирот и яд свой будто готовила из их слез. Ложь это. Сын ее Ибрагим постоянно вел войну с Пенджабом, Бенгалией, Гвалиором, со многими другими соседями. Сколько народу погибало каждый год в этих междоусобицах, скажите нам, уважаемый Малиқдод?

— За последние три года только с нашей стороны тысяч шестьдесят,—быстро ответил Карони.

— Ну вот, и это вы слышали... А сын этой старой женщины на этом троне,—Бабур пристукнул по подлокотнику тронного кресла,—сидел десять лет! В Индии народу много. Хватало... для войны, для войны, для взаимоистребления. Султан Ибрагим покупал наемников, благо денег у него было тоже много. Он копил и копил золото, не расходовал его на строительство, только воинов нанимал, чтоб они гибли за него сотнями тысяч. И они — гибли. Часто из-за полководческой бездарности султана Ибрагима. Мы сами видели это в Панипate. Ведь полководцев оценивают не только по победам, но и по потерям. При Панипate мы потеряли две тысячи человек. А султан Ибрагим так неумело повел битву, что погубил тридцать тысяч — к тому же больше не от наших сабель и пушек, а от собственных слонов... Может быть, и сам султан Ибрагим — жертва собственного белого слона, этого я не знаю. Эй, мать

Ибрагима! — Бабур привстал, голос его зазвенел.— Коли венценосная Байда столь совестлива и так болеет душой за сирот и вдов павших воинов, то почему допустила она гибель тех десятков тысяч в ненужной междоусобице? Почему не остановила сына? Не удержала от бессмысленного пролития крови?

— Я всего лишь мать, не в моих силах повелевать властителем! — ответила Байда, переходя, однако, к защите.

— А вот мы пришли сюда, чтобы положить конец братоубийственной войне! И мы объединяем эту великую страну в одном большом и крепком государстве! Будем строить ее, благоустраивать! Будем осуществлять то, что задумали! И для старой женщины, коварной и вероломной, самым страшным наказанием будет вот что: вопреки всем ее желаниям, ее яду, ее злобе мы будем, повторяю, жить здесь и делать то, на что не были способны ни она, ни ее сын Ибрагим!

— Мудрые слова! — со вздохом облегчения сказал Маликдод Карони.

Бабур выигрывал поединок — это видели все.

— Раз эта старая заговорщица так болеет душой за вдов и сирот, как она говорит, — мы повелеваем... Абдукарим-бек!

Из левого ряда быстро встал тучный бек:

— Я слушаю вас, мой хазрат!

— Вам поручаем... лишить Байду-ханум всех ее богатств и построить на них на берегу Джамны «Дом благотворительности». Пусть ее слуги трудятся в нем, пусть из ее казны каждый день раздают милостыню сиротам и вдовам. Раздавайте милостыню — до тех пор, пока не кончится казна султанши.

— Будет сделано, как повелели, мой хазрат!

— Ну, а ее... эту старую Байду-ханум, уважаемый Абдукарим-бек, охраняйте, оберегайте до конца ее дней!

— Как? — опешил Абдукарим-бек.— Разве она не будет казнена?

— Я все сказал.

Значит, казни не будет? И холод ожидаемой, вожделенной и все же страшной смерти ее не охватит? Байду вдруг коснулось теплое дыхание жизни, душа ее дрогнула, помягчела, будто пружинка какая-то внутри нее развернулась.

Венценосная Байда закрыла лицо руками и зарыдала.

Мавляна Хондамир, поэт Шихоб Муамми и мударрис Ибрагим Конуни отправились по приглашению Бабура из Герата в Агру и пробыли в пути почти три месяца.

Они преодолели хребет Хайбар, высота коего вызывала в душе ощущение страха и подавленности,— истинно: человек есть песчинка малая перед величием природы, сотворенной всевышним. Они переправились через многоводный Синд, миновали дремучие джунгли. Пожалуй, впервые Хондамир ощутил всю бескрайность, всю огромность мира. Да и эти края, которые конному ни за неделю, ни за месяц не проехать, необозримо обширны. Теперь это одно государство. Нельзя было не почувствовать, что едешь по землям единого государства: от Балха до Кабула, от Кабула до Лахора, от Лахора до Дели — всюду приказы, подписанные Бабуром. Исполняли их безотказно.

Приглашенные Бабуром испытали это на себе. Им и другим мастерам искусств и ремесел, что ехали в Дели из Мавераннахра и Хорасана, оказывали почтительное внимание правители вилайетов, начальники пограничных сторожевых отрядов, смотрители таможен, почт, гостиничных служб. «Будто мы какие-нибудь послы», — обмолвился однажды поэт Муамми, и так оно и было. Во всяком случае, когда они проезжали города и селения, где из-за разбойников было не совсем спокойно, рядом с Хондамиром и его спутниками шла тогда охрана — отряды до двухсот человек.

И в караван-сарайах «личных гостей шаха» размещали в самые лучшие комнаты, бесплатно (и сытно!) кормили, выдавая на дорогу рис, мясо, масло да еще и денег для мелких расходов. И если возникала нужда в смене лошадей, смотрители дорог и почтовой службы выделяли им запасных в первую очередь.

В пути Хондамир часто встречал настоящих послов, поспешивших в Индию, к Бабуре, а также купеческие караваны. После того как Бабур в прошлом году в сражении с войском Рано Санграма при Сикри, что в пятидесяти верстах западней Агры, одержал еще более впечатльную победу, чем при Панишате, быстро выросло число властителей, которые поспешили направить к нему своих послов — кто с поздравлениями, кто

с выражениями покорства и преданности, кто с предложенными жить в мире и согласии. Так, посол из Тебриза, которого Хондамир повстречал в Лахоре, вез от шаха Тахмаспа, сына Исмаила, унаследовавшего иранский трон после отца, прелюбопытнейшие подарки. Средь иных в позолоченной кибитке, установленной на белом верблюде, везли двух юных красавиц черкешенок: шах Тахмасп желал бы расширить гарем шаха Бабура.

А на одной из стоянок перед Лахором историк встретил послов Самарканда и Ташкента. Теперь даже самые ярые враги Бабура — шейбаниды — признали новое государство, созданное в Индии. Впрочем, Бабур и сам проявил желание перечеркнуть прошлое: его послы тоже побывали в Самарканде и Ташкенте с богатыми дарами из Индии. А ныне Кучкинчи-хан послал из Самарканда на семи верблюдах маизу, преотменного саяки, сладчайшего урюка канибадамского, крепкие, ароматные вина бухарские, иные редкостные яства, славные в Мавераннахре, а вдобавок еще двести добрых коней. Бабур принял самарканского посла во дворце, построенном в саду «Хашт Бихишт» на берегу Джамны, с почестями, коих «удостаивали разве что венценосцев», — так похвастался Хондамиру на обратном пути при встрече посланник хана.

— Э, мавляна, я видел в Индии столько золота, сколько, наверное, никто нигде и никогда не видел. Шах Бабур сидит на троне из золота. Перед троном огромный ковер. Золото, которое шаху выплачивают ежегодно правители его вилайетов, высыпается прямо на этот ковер. Мы сами видели, как ковер постепенно скрывался из глаз да еще сверху на ковре вырастала большая гора монет.

Хондамир догадался, что Бабур строил такое представление намеренно, зная алчность шейбанидов. Усмехнувшись, спросил:

— А высокородный посол получил ли особую «долю посла»?

— Шах Бабур велел одеть нас в изукрашенные драгоценностями одежды: мол, платья ваши, жемчуга и камни тоже ваши. Потом из золота на ковре отделил большую часть — дар моему повелителю Кучкинчи-хану. Золотые монеты даже и считать не стали...

— Заключили, наверное, и договор?

— Да, теперь можем свободно ездить друг к другу.

Торговать. Обменивать товары. Мы будем получать от них шелка, пряности, диковинные изделия разные. Им будем продавать сухие и свежие плоды, коней... Дорога хоть и дальняя, караванов, полагают, теперь станет больше: шах Бабур по всей своей земле освободил торговый люд от тяжелого налога. Доходы торговцев — и узбеков, и таджиков, и индийцев, и персов, и арабов — весьма возрастут, весьма. Купцы и ремесленники пре-много довольны шахом. Мы тоже. Весьма. Правда, одно нововведение шаха Бабура нам не понравилось.

— Какое же именно?

— Оказывается, во всем его государстве запрещено употреблять вино. И сам Бабур, говорят, покаялся в пьянстве, прилюдно дал слово никогда больше не пить. Уничтожили даже чаши. Из Газни в течение двух месяцев шел особый караван — четырнадцать верблюдов везли в Агру лучшие вина. А когда привезли, шах Бабур велел насыпать в них соль. Представляете: введен запрет продавать вино и ввозить его... Пиরуют теперь без вина... скучища!

Эту новость, что так сильно расстроила посланника Кучкинчи-хана, Хондамир уже знал. Уже по дороге к Бабуру прочитал он его указ, разосланный во все вилайеты и начинаящийся словами смирения: «Восхвалим всепрощающего, который любит тех, кто раскаивается, и внимает просьбам тех, кто ищет помощи». Хондамир помнил: в указе говорится о том, что борение за веру истинную, за ее торжество начинать надо борением с самим собою, с греховными привычками. Красочно рассказывалось, как «победоносные мои слуги, обуревающие рвением во славу веры истинной, бросили на землю позора и унижения золотые и серебряные чаши и кувшины, что украшали до того дастархан числом и блеском своим, подобно звездам в небесной вышине». А сбросив, «разбили их на отдельные куски, раздав обломки бедным и неимущим,— так и мы, коль захочет того аллах всемогущий, разобьем вскоре идолов...».

Сие и случилось: язычника Рано Санграма Бабур и впрямь сокрушил полностью. Ну, а что до запрещения вина, то Хондамира это обрадовало, а не опечалило. Историк понимал, что вино пить будут, но указ хоть сдерживал склонных к винопитию. Из памяти Хондамира не выветрилась печальная история Хусейна Байкары и его сыновей. А когда Бабур прибыл в Герат вторично — девять лет уже с тех пор кануло, — Хонда-

мир с тревогой видел, что и этот отпрыск Тимура стал пить очень много, Хондамир с тревогой подумал тогда: «Неужели и этот редкостного дара человек прошепт свой талант?»

Вот почему рассказ посланника обрадовал «гостя шаха».

Хондамиру было уже за пятьдесят, и здоровье оставляло желать лучшего.

Он долго колебался, прежде чем принять приглашение Бабура и пуститься в изнурительно-долгое путешествие. Пугала жара, отвращала и вечная изменчивость жизни государственных мужей, полная всяческих превратностей... Но Хондамиру так плохо жилось в Герате в последние годы и так его потянуло к Бабуру, что он решился. Он хотел, чтоб в неизведанных завтраших днях была у него опора, и видел ее в Бабуре. Он возлагал на него свои надежды. И когда встречал в пути то хорошее, что свидетельствовало о добрых делах и замыслах Бабура в этом новом государстве — настроение у Хондамира улучшалось, из сердца исчезал туман страха перед неизвестным завтра...

Въехав в Агру, Хондамир увидел новые красивые каменные здания с мраморной отделкой, новые же сады, а в них позолоченные беседки с нежным травяным покровом на крышах и многокрасочные цветники.

Теперь Бабур представлялся ученому более могучим, чем тот, каким он знал его прежде...

Бабур из-за болезней своих сильно похудел, никакой могучести в теле его теперь не было.

Как сдал Бабур, это Хондамир ясно увидел при солнечном свете, когда они вдвоем отправились прогуляться на гору Сикри.

Эта гора — чудо природы, каким-то вихрем выброшенное из-под земли в простор зеленой долины,— напомнила Бабуру гору Бувратаг в Ферганской долине у Оша. Только у подножья той, ферганской горы — река Буврасай, а здесь, у подножья Сикри, плещется прозрачное озеро.

Не без гордости показывал Бабур Хондамиру недавно отстроенные мраморные хужры-беседки, красивое сооружение для шахских пиров и приемов, запрятанное в густых деревьях на склоне. От горы к озеру шли вниз каменные лестницы. Бабур горячо говорил

о новом строительстве. Хондамир украдкой всматривался в лицо шаха,— выперли скулы, сеть морщин окружила глаза, исчертила лоб. Скоро, ох как скоро постарел Бабур!

Начали спускаться к озеру. Бабур будто угадал мысли Хондамири:

— Странная у меня судьба, мавляна. Чем больше благоустраиваю жизнь вокруг себя, тем быстрее увядаю сам.

— Да не столь уж быстро... но в самом деле не следует ли вам позаботиться и о себе, повелитель?

— Надо, видимо! Только... Чем крупней государство, тем трудней,— скажу больше,— мучительней управлять им. Всю меру этих мук я все-таки не представлял себе прежде, когда возникло стремление создать здесь большое государство. Днем и ночью — труд, тревоги, борьба, борьба... Точно живу средь действующих вулканов... Хватит ли сил моих на достиженье задуманного — вот чего не знаю.

— Хватит, повелитель. Я уверен в этом. Вам еще нет и пятидесяти — вы в возрасте сильного мужа.

— Но как прибыл я в Индию, так все кажется мне, что за каждый год я теряю пять, а то и десять лет жизни, отпущенной всевышним. Лихорадка, бессонница...

Хондамир сегодня утром прочитал новый диван Бабура — стихи, написанные только здесь, в Индии. Слушая сетования шаха, вспомнил рубай из этого дивана:

Что ни день, лихорадит меня, исцелиться едва ль!
Что ни ночь, мне не спится; зачем я пришел в эту даль?
Жар мой, сон мой с печалью и стойкостью схожи:
Убавляется стойкость моя, прибывает печаль.

Глаза Бабура покраснели от бессонниц, слезились при ветре, даже слабом.

«Может, он все еще борется с собой, чтобы не пить? — подумал Хондамир.— Ведь в том же диване и такие строки:

Я дал обет не пить, связал себя обетом.
Что делать мне, как жить, чьим следовать советам?
Раскаясь, пьющие дают зарок не пить,
Я дал зарок не пить и каюсь только в этом».

— Я слышал, повелитель, что есть врачеватели, кои знают средство от бессонницы.

— Мой лекарь Юсуфи из Герата пробовал лечить Но ничего не вышло! «Вам нужен покой», — говорит. «Забудьте о государственных заботах», — говорит. «Ночами не пишите стихи», — говорит. Невыполнимо все!.. Как это можно — быть во главе государства и не заботиться о нем? А забываю я об этих заботах, лишь когда пишу стихи. Или книгу свою. Но в Агре у меня не находится времени для писания. Невмоготу мне стало, уважаемый, вот я и решил прогуляться в Сикри. Тут спокойней. И лучше пишется... Много маснави написал... Привык — бессонными ночами и пишу.

«До сих пор еще болеет и к тому же утомляет себя непрерывной работой, — думал Хондамир. — Голова не отдыхает, оттого и бессонница». Но говорить это, взять открыто сторону лекаря Юсуфи — не следовало. Из чувства уважения не следовало. И потому также, что Бабур никогда и ни в чем не щадил себя, до предела проявляя свою душу, свои силы, и был доволен именно таким напряжением. Лишать его удовлетворенности собой — неуместно и жестоко.

— Да прибавит вам бог сил и бодрости! — горячо пожелал Хондамир Бабуру.

Больше говорить о себе Бабур не пожелал. Спросил о другом:

— Мавляна, сколько лет вы писали свою «Книгу жизни любимого друга»?

— Одиннадцать, повелитель. Не считаю, что завершил ее... Не писалось в Герате. Все последние годы сунниты и шииты, то и дело вырывая Герат друг у друга из рук, то в огне жгли его, то стужей вымораживали.

— Понимаю... Помните, когда мы беседовали на верху, на минарете Унсии, вы с тревогой спросили: «Не закатывается ли звезда счастья Герата?» Ваши опасения, увы, оправдались.

— Счастье отвернулось от Герата. И Самарканд закрыл объятия для нас! Шиитско-суннитская вражда перерезала живые жилы связей Мавераннахра с Ираном. А эти связи сколь благодатными были для многих поколений, как много талантов благодаря им достигало совершенства! Невежды султаны отдали Мавераннахр на съедение суеверным и темным шейхам. Один ученый из Самарканда чуть ли не плача рассказал, что обсерватория Улугбека превращается в груду развалин. А правителью города нет до сего никакого дела. Уже

разбирают стены здания, кирпичи уносят, чтоб залатать дырки в своих жилищах и сараях.

— Мы в чужой стране возводим дворцы и медресе, а они там разрушают свои... Горький поворот судьбы, не правда ли, мавляна? Я покинул старую родину и все свои силы теперь отдаю новой, Индии, но бывают часы, когда я кажусь сам себе неблагодарным сыном. И несчастным человеком!

— Все происходит по воле аллаха. Это так. Человек ничего не может изменить в предначертанной ему судьбе. Это тоже так. Но вот я, взяв пример с вас, приехал в Индию! Сам, по собственной воле. И бессильный изменить события, их сплетенный клубок, хочу мысленно распутать его, найти, понять главную нить истории — предмета моих занятий, моей науки.

Бабуру понравились слова Хондамира. Приблизив своего коня к коню Хондамира, поехал бок о бок.

— О, как верно вы рассуждаете, мавляна! В клубок событий вплетены и наши желания, наши стремления. Однако не только они. Есть многое в этом клубке. История безбрежна, постоянно изменчива. Это — кругление небосвода. Силы, им управляющие, и есть «главная нить». Разве не так?

Хондамир внимательно слушал, пока не вмешиваясь в рассуждения Бабура. Тот продолжал:

— А где наше место? Место той или иной звездочки?.. Нет, скажу иначе... Мы — на горе. Если гора под вашими ногами оползает, то, сколько бы вы ни старались подняться, все равно вместе с горой движетесь вниз. Такой оползень тащил меня вниз в Мавераннахре. Но если колесо вращенья... нет, если гора под ногами растет, ее сила изнутри поднимается, то ваше движение вверх происходит быстрее, чем если бы вы поднимались только сами. Нам надо проявить ум, дальновидность и смелость, выбрать для себя растущую гору, вступить на нее, Индия, мавляна, кажется мне сейчас такой горой... И потому — несовершенное в Самарканде и Герате я надеюсь свершить здесь.

— Да, клубок истории нередко меняет направление своего движения. Бывали времена, когда наука и искусство в Мавераннахре и Хорасане шли ввысь, были растущими горами. В Хорезме Бируни, в Бухаре Абу Али ибн Сина, в Тусе Фирдоуси, в Баласугуне Махмуд Кашгари и Юсуф Хас Хаджиб — все они были велики-

ми людьми, а мы согласны с вами в том, что в их деятельности и содержится смысл истории. Потом полчища Чингисхана прервали на десятки и десятки лет движенье «клубка» и рост «горы». С деятельности Улугбека в Самарканде, Джами, Навои в Герате начался новый поворот, пробудились и проявились новые великие дарования... Кружение небосвода — это вы хорошо сказали, повелитель.— Хондамир будто вспомнил, с кем ведет разговор.— Злые небеса сочли, что этих великих людей многовато, и наслали на нас кочевников Шейбани. Науки, искусства, зодчество — все пришло в упадок... Таланты потянулись за вами в Индию, повелитель. Новый поворот произойдет, мне кажется, здесь... Конечно, тяжело пребывание на чужбине, но знать, что в безграничном и запутанном мире сем есть страна Индия, где чтут разум, науки и искусства,— о, это радостно, это придает новые силы.— Хондамир вдруг улыбнулся: — Я теперь надеюсь закончить «Книгу жизни любимого друга» — под сенью вашего покровительства, повелитель.

— Я радуюсь вашему решению и готов оказать любую помощь, которая вам потребуется.

— Ваш покорный слуга много лет работал в Герате в библиотеке Мир Алишера. И много часов провел над редкостными рукописями в библиотеке султана Хусейна Байкары... Эти библиотеки — далеко... далеко...

Хондамир знал, что у Бабура тоже собрана большая библиотека, где работают пятьдесят человек и могут найтись такие редкие рукописи, которых нет даже в Герате. Что историк без рукописи, без источников? Но не каждого пустят в библиотеку шаха. Хондамир тактично умолк, но продолжил Бабур:

— Ради нас вы прибыли из такой дали — так неужели не откроем перед вами все двери, мавляна? Я уже распорядился, чтоб хранитель моих книг Абдулла помог вам. В моей библиотеке много книг индийских. Абдулле подчиняются и переводчики-ученые, хорошо знающие санскрит. Кого-то из них возьмите в свое распоряжение...

— Не могу словами выразить свою благодарность вам, повелитель! Но если вы позволите, у меня есть еще одна просьба, дерзкая просьба, хазрат мой.

— Пожалуйста, мавляна, скажите — какая?

— В Герате, помните, вы прочитали отрывок из книги о вашей жизни. Я знаю, вы пишете ее давно. Вы очень увлекли меня тогда. Если в этой книге есть готовые части, с которыми я мог бы познакомиться... о, они для меня были бы источником наслаждения и мудрости.

Бабур некоторое время ехал молча. Глядел на голову коня, чутко поводившего ушами. Эту просьбу Хондамира выполнять не хотелось. Он, Бабур, два последних года не только дописывал книгу «Былое»... ну, пусть будет «Бабурнаме»... но и переписывает. Почему? Тому две причины. Первая: однажды ее главы подверглись губительному воздействию ураганного ливня — они налетают тут внезапно,— шатер опрокинулся, какие-то страницы книги пропали безвозвратно, другие были испорчены, многое перепутано... А вторая, более веская причина переписывания «Бабурнаме»: хотелось придать книге более цельную форму... и сделать еще более правдивой.

— Я подумаю, мавляна,— суховато ответил Бабур.

В глубине сада, раскинувшегося у подножия горы Сикри, был родничок с ледяной водой. Бабур захотел утолить жажду этой водой — здесь хорошо было и просто посидеть, отдохнуть. Журчащая струя выносила откуда-то из-под земли чистые песчинки, едва заметные в отблесках солнца на воде.

Хондамир сказал, стряхивая с кончиков пальцев водяные капельки:

— Как тихо и спокойно вокруг... Трудно себе представить, что два года назад тут, в Сикри, произошла кровавая битва.

— Да, битва с Рано Санграмом была, пожалуй, самой жестокой и кровопролитной из всех моих сражений... Кстати, все, что предшествовало битве, и все ее подробности я описал... в «Бабурнаме». Вечером я дам вам переписанные страницы, и вы скажете мне свое искреннее мнение... Я ведь и звал вас, уважаемый мавляна, чтоб иметь вблизи мудрого советчика, понимающего толк в слове.

— Вы удостаиваете меня такой чести, повелитель мой, какой еще никогда в жизни я не удоставился!

— Мы ведь с вами оба скромные ученики великого Мир Алишера...

На северной стороне горы Сикри в глубине тенистого сада Хондамиру был выделен особняк с тремя комнатами и широким резным айваном, откуда открывался вид на зеркальную гладь озера.

Хондамир начал читать рукопись Бабура после вечерней трапезы. Он помнил свои впечатления от отрывков, прочитанных Бабуром в Герате. И тогда Хондамира удивила и даже немного обидела простота слога.

В рукописи эта простота ощущалась еще сильней:

«В Хиндустане много цветов,— писал Бабур.— Вот джасун — стебель его высокий, немного выше куста роз. Цветок джасуна ярче цветка граната, а по величине равен алой розе, только бутон алой розы выпускает один цветок, а джасун, когда расцветает, выпускает из чашечки как будто еще один, с пальцем толщиной, стебелек, и на этом стебельке тоже вырастают лепестки. Получается двойной цветок, своеобразный. Цветы джасуна очень красивы, но держатся недолго, вянут за день...»

«Чтобы успокоить своих и укрепить лагерь, я приказал соорудить — там, где нельзя было разместить арбы, особые деревянные треноги на расстоянии семи или восьми кари друг от друга, связать их крепко между собой сыромятными ремнями из бычьей кожи... Среди воинов моих из-за недавних происшествий, пустых слухов и сплетен распространились, как я упоминал раньше, смущение и страх. А звездочет Мухаммад Шариф, человек злой души, не говоря мне ничего толкового о предстоящей битве, пугал всех и каждого тем, что, мол, звезда войны стоит на западе и что всякий, мол, кто начнет битву с западной стороны, будет побежден. Мы же и были на западе. Кто спрашивал его, этого болтливого негодника? Он еще сильнее подорвал дух моих воинов. Но я не слушал его, продолжая делать то, что надо было делать для подготовки сражения...»

Вот так незатейливо и живописно рассказывал Бабур обо всем, что видел и пережил сам. Иные места увлекали, но были лишены той «высоты» слога, изящной иносказательности и изысканности, к чему с детства привык Хондамир-читатель. Хондамир все чаще улавливал в книге даже бабуровскую манеру говорить.

Но хорошо ли все это? Позволительно ли такое для книги жизни падишаха?

Хондамира учил и пестовал отец, знаменитый историк Мирхонд. Отец любил повторять, что исторические сочинения пишутся для самых знатных из знатных, самых высоких из высоких, а уж они-то узнали в жизни достаточно много горьких и грубых истин, поэтому в книгах ищут очищенное сладкоречие. Для улады души властелинов должно было излагать события возвышенным слогом с пышными поэтическими сравнениями и эпитетами.

А сейчас книга Бабура невольно притягивала и в то же время очень озадачила Хондамира.

Вот это место хотя бы... Бабур приводит свое ответное письмо на письмо Хумаюна, где учит сына: «Пиши проще. Ты очень уж стараешься писать изысканно, а из-за этого появляются вычурные, непонятные места. Пиши без нарочитой красивости, чисто и внятно, тогда меньше будет забот и тебе, и тому, кто будет читать твоё письмо».

Сознательно, намеренно ниспревергает сей странный шах возвышенное сладкоречие, горячим приверженцем которого был одно время он, Хондамир. Да и ныне это намерение задевало историка за живое.

Оставив чтение, Хондамир выходил на айван, взглядался в тихий ночной сад, отыскивал глазами лунную дорожку на озеро — и перед мысленным взором его неотступно стоял Бабур.

Хондамир уже свыше десяти лет пишет «Хабиб-ус-сияр», свою главную книгу — «Книгу жизни любимого друга». Пишет так, как до сих пор считал своей обязанностью писать: сладкоречиво и растворяя свое «ничтожное я» в принятом слоге. Он привык подчиняться, подлаживаться под него. Выставлять свое «я» — это же дурной тон.

Но вот Бабур не стесняется самого себя. Мало того, пишет и о неудачах своих, и о низменных человеческих отправлениях, прости его всевышний. Понятно, когда читаешь: «войны ислама — деревья из рощи доблести — выстроились как кедры»; «строй их прям и незыблем, подобно закону пророка»; «имена пеших воинов — средь львов из чащи мужества, средь храбрейших на поле доблести». Но это из победного оповещения, составленного не Бабуром, а шейхом Зайном, и вставлено в книгу просто для того, чтобы не пересказывать сведения о числе войск и расположении ратей... А в потрясающем рассказе о том, как хотели отравить шаха, Бабур при-

знается (и заносит в книгу своей жизни!), что его «обильно вырвало в нужнике».

«О всевышний, я ничего не понимаю,— думал историк.— Грубо, а привлекает... смелостью правды влечет к себе то, как пишет этот просвещенный, многознающий шах Захириддин Бабур. Я пишу — как все, у меня неизбежны повторы, однообразие, а здесь — неповторимость, здесь — особый слог. И особый человек!»

Хондамир вернулся в комнату. Снова читал и перечитывал рукопись. Нет, признал он, ни одна историческая книга не давала ему такой точной и правдивой картины событий — «клубка событий». А то, что Бабур так смело обсуждал себя, так откровенно писал о страданиях своих, об ошибках, — это особенно увлекало Хондамира, подчиняло обаянием доверия и искренности.

Хондамир опять отыскал поразившие его строки: «До сих пор не представлял себе столь хорошо, как сладко это — жить». Такая проза стоила поэтического изречения, приведенного тут же Бабуром: «Кто на пороге смерти был, тот цену жизни знает».

Читая «Бабурнаме», Хондамир видел подобного себе смертного человека, который постепенно становится ему все понятней, дороже и ближе сердцу.

А ведь как не любят венценосные властители быть похожими на обычных людей! Хондамир сначала так было и хотел объяснить себе странный слог Бабура. Зачем, в самом деле, шаху Бабуру изощряться, тратить силы на высокий слог? Он сам — властелин и поэтому позволяет себе быть простым, смело идти наперекор общепринятым нормам.

Эта мысль примирila его с шокирующей необычностью слога Бабура. Потом Хондамир вовсе перестал думать о слоге — его увлекли сами события, описанные Бабуром с удивительными подробностями и редкой прямотой.

Хондамир перечитывал рукопись — всю ночь и весь следующий день...

Бабуру пришлось срочно уехать по делам в Агру, а через два дня утром — из-за дневной жары он предположил скакать на коне ночью — вернуться в Сикри.

Шах выглядел еще изможденней, чем три дня назад. Но бодрым голосом он спросил Хондамира под журчанье струи родниковой:

— Не скучали вы тут без меня, мавляна?

— Все это время, повелитель, я беседовал с вами.

Непрерывно!

— Еще не закончили чтение?

— Прочитал залпом за ночь и многажды перечитывал потом. Ни о чем другом не могу думать.

— Мавляна, не жалейте меня, скажите правду.

— Правду? Скажу! Вы меня убили.

Хондамир сказал это серьезно, с грустью в глазах.

— Как это... я могу убить... вас?

— Простотой! Простотой и ясностью своего изложения вы показали никчемность нашего обычного изысканного, усложненного, «высокого» слога.

Бабур улыбнулся облегченно:

— А, вот вы о чём!.. Но войдите в мое положение. У меня не было времени для украшения слога, да я и не умею.

— И хорошо, что не было времени... для безделушек.— Хондамир не принял (или не понял) шутки Бабура.— От души поздравляю вас, мой хазрат,— такой удивительной книги еще не было на тюрки!

— Ну, я еще должен дописать ее. Есть и просто утерянные главы.

— Я уверен, вы их восстановите. И допишите новые. Но... Но... Я думал о ней, об этой удивительной книге,— такой не было ни на фарси, ни на тюрки... Я долго размышлял, повелитель. Если «Хамса» Мир Алишера самое великое поэтическое произведение, написанное доселе на тюркском языке, то «Бабурнаме» для меня, для человека, пишущего прозой, пишущего историю... В моей душе эти два произведения заняли места друг с другом рядом.

— О, вы преувеличиваете значение моего труда, но я благодарен вам, мавляна, за большую щедрость души...— Бабур усмехнулся.— Но ведь я еще буду дописывать эту книгу, эту «Бабурнаме», скажите же откровенно и о ее слабостях.

Хондамир задумался. Потом решил не утаивать ничего — ни малого, ни большого несогласия.

— Мой хазрат, я буду говорить лишь о некоторых страницах... Вы приводите очень много подробностей о Герате, о Хусейне Байкаре и его эмирах: тут есть неточности в датах и в именах.

— Нуждаюсь в вашей помощи, мавляна.

— Я выписывал замечания свои на особой бумаге;

лежит у меня в комнате садовой хужры. Я передам ее вам, когда верну рукопись.

— Буду благодарен.

— Но если позволите, мой хаэррат, есть у меня соображение другого рода.

— Пожалуйста, выскажите его, мавляна.

— Мы, историки, доподлинно знаем, — начал Хондамир, — что доселе ни одно государство, особенно большое, не рождалось без боли и без крови. Да и сам человек, сын и потомок Адама, рождается так же... Так вот, вы создали большое государство в Афганистане, завоевали Делийский султанат и другие земли в Индии. Конечно, были и кровопролитные битвы. Для острястки вы приказывали убивать людей из наиболее враждебных вам племен. Эти приказы приводите в «Бабурнаме». И то приводите, как были порублены вашими нукерами три тысячи человек в крепости Баур в Северной Индии. Как несколько сотен попавших в плен при Панипате были истреблены вашими стрелками... Правдивость — великая цель, повелитель. Я это понял. Но не оставят ли в душе потомков, которым предстоит читать вашу книгу, тяжелый осадок подобные подробности? Разве забота о славе — не ваша забота?.. Нельзя ли опустить эти места из книги?

Бабур почувствовал, как высыхает и горчит у него в рту. Не спеша с ответом, он присел у края родника, зачерпнул ладонью прозрачную воду. Чистая и прохладная, она принесла облегчение.

— Я понимаю, мавляна, что это говорит человек, болеющий за меня душой. Что ж, мне тоже тяжело было писать о таких подробностях... Когда-то мне приснился потрясатель вселенной Сохибирон Тимур. Он успокаивал меня во сне: нет войн без крови. Так оно и есть... А вот ныне мучит меня бессонница... Подробности эти я доверил бумаге, дабы облегчить душу. Пусть потомки знают все, как оно было. Пусть не принимают нас за ангелов. Они должны ведать и о наших страданиях, испытываемых и от зла, что нам причинили, и от содеянного нами же зла.

Хондамир знал некоторые стихи Бабура о таких, двоякого рода, страданиях: как бы воочию увидел он, что Бабура не только утомляли государственные заботы, но и угнетала постоянная внутренняя борьба в душе — борьба между властелином, шахом и поэтом, художником. Шах Бабур, всю жизнь стремившийся создать

и возглавить крепкое и единое государство, не мог не свершать и такое, о чем так мучительно было вспоминать, судить и писать поэту. То, что происходило между Алишером Навои и Хусейном Байкаром, у Бабура бушевало в сердце — одном сердце одного и того же человека.

— Повелитель, ваши слова убеждают сильней, чем мои недавние соображения. И впрямь, горькие плоды жизненного опыта могут послужить уроком для других. Однако не будем забывать о главном итоге... Вы помните, чему уподобили вы свою жизнь там, в Герате, в свой последний приезд? Этот родник вам ничего не напоминает?

— Да, я помню. Я говорил вам, что моя жизнь похожа на родник, погребенный горным обвалом.

— Именно так, повелитель. И не кажется ли вам ныне, что родник, погребенный обвалом в Мавераннахре, пробился здесь, в Индии?

— Вы красиво сказали, мавляна. Да, если уж во мне и есть родник, то это — мои стихи, творчество... Не возражайте мне, я уже давно чувствую, что трон не спасет ни от тлена, ни от забвения. Мне ведь не суждено самому вернуться на родину. Пусть вернутся туда мои стихи, мои тюркские книги... Ах, знали бы вы, мавляна, как я тоскую по Андижану, по Самарканду, по Ташкенту. Там я вырос и стал человеком.

Бабур неожиданно прослезился и быстро опустил глаза.

— Мой хазрат, вы сами говорили, что Индия стала для вас второй родиной. Ваши книги будут умножать и ее славу.

— Последние годы жизни я посвятил Индии, это верно. Вот только с каждым днем все трудней выполнять мне жестокие обязанности шаха.

— Сегодня в вашей душе, повелитель, берет верх поэт. Но... если бы вы не прожили жизнь властителя, наверное, вы не написали бы «Бабурнаме». И потом — разве не шахом, не полководцем пришли вы сюда?

Хондамир очень хотел примирить поэта и шаха в душе Бабура.

— Пойдемте-ка, мавляна, я возьму рукопись. — Бабур устало и понимающе улыбнулся. — Поэт Бабур и историк Бабур хотят дописать ее, пока воинственный шах Бабур не обрушит на родник какого-нибудь нового обвала.

Опять началась невыносимая летняя жара. Бабур все время сидел в «приюте уединения» над «Бабурнаме», и все время его жестоко мучила жажда. Он пил и горячий чай, и прохладительные соки, но жажды не утолял. Однажды Тахир принес на золотом подносе свежие гроздья белого самаркандского винограда. Бабур удивился:

— Откуда это?

— Из сада «Хашт Бихишт», повелитель! Помните, вы сами сажали виноградные черенки, привезенные из Самарканда?

На только что промытых золотистых гроздьях поблескивали капли воды. «Словно утренняя роса», — подумал Бабур, взял одну кисть, приподнял, стал откусывать виноградины прямо губами. Будто унесся в детство, к берегам Сырдарьи, к садам Самарканда и Андижана. «О всевышний, благодарю тебя — и мучительная жажда проходит, и по телу разливается бодрость».

— Подумать только! — радовался Бабур. — На берегах Джамны поспел виноград! Белый самаркандский кишмиш без косточки! Нет, его надо показать Мохим. Тахирбек, возьмите-ка поднос, пойдем к ней.

Осенью прошлого года из Кабула в Агру приехала Мохим-бегим. Жить стала во дворце, что расположился наконец в глубине того же сада Зерафшан, в котором любил уединенно проводить время сам шах.

Бабур в сопровождении Тахира бодрым шагом направился ко дворцу, запаленно вдыхая влажный воздух. Дождь только что прервался, но небо не очистилось от туч. Бабур оглядывался на поднос в руках Тахира: виноград переливался золотом и казался светлым лучом, пробившимся через нагромождения туч от самого Самарканда.

Мохим-бегим сидела за низким столиком на краю дворцового айвана и писала письмо. Увидев Бабура, быстро, как всегда, встала и поклонилась мужу.

— Мохим, попробуйте-ка и вы нашего винограда. Похож на самаркандский или нет?

Но ей сейчас ничего не хотелось есть. Она взяла из рук Тахира поднос и поставила его на столик.

Тахир вышел, оставив мужа и жену наедине.

Слезы покатились из глаз Мохим-бегим, она не могла говорить. Бабур забеспокоился:

— Что с вами, Мохим? Вы плакали?

— Дышится тяжело...

Мохим перевалило за сорок, лицо ее оплыло, погрубоело, фигура заметно отяжелела, стала грузноватой. Привыкла к сухому горному воздуху Кабула, с трудом переносила душную влагу на берегах Джамны. Слышала об изнуряющей индийской жаре раньше, боялась ее и отчасти поэтому три года воздерживалась от приезда в Агру. Но муж в последнее время звал настойчиво — приехала.

— Когда льют дожди, трудно приходится и мне, — стал утешать жену Бабур. — Не бойтесь, привыкнете... Попробуйте виноград!

Мохим-бегим было не до винограда, и все же она оторвала от грозди и положила в рот две виноградинки; чтобы доставить удовольствие Бабуру, сказала:

— Хорошо созрели. Очень вкусно.

— Вы письмо писали?

— Да, Хумаюну... Повелитель, мне спирает дыхание не от дождей — от тоски!

И будто поток прорвался — заговорила вдруг быстро, чуть всхлипывая:

— Я истосковалась по Хумаюну. Вы, будто нарочно, всегда посыаете сына подальше от меня! Я была в Кабуле — Хумаюн, как прикованный, на берегах Джамны и Ганга. Я теперь в Агре, а Хумаюн отправился в Бадахшан. Навел там порядок, вернулся на мгновение, и тут же вы его послали наместником в отдаленный Самбхал. Где опасность, там Хумаюн! Где-то что-то в далеком краю не ладится, — туда шлете Хумаюна! А я пребываю все время в мучительных тревогах за сына, сердце мое исходит кровью!

— Но зачем так беспокоиться, Мохим?.. Кстати, в Самбхал отважный Хумаюн попросился сам...

— Вы не беспокоитесь, потому что у вас много детей! У меня же остался он, единственный! Троих отдала земле, троих, каково это матери?! Один мой — Хумаюн!

И Мохим горько заплакала.

В этих слезах и упреках Бабуру почудилась не только материнская скорбь и обеспокоенность, но и не ушедшая с годами обида Мохим-бегим на него: она, только она преданно, самоотверженно любит мужа, а у него кроме нее еще две жены.

Тут вбежала восьмилетняя Гульбадан в легком цветастом платье, торопливо поклонилась отцу, завертелась-закружилаась, но вдруг, увидев, что Мохим-бегим плачет, тревожно застыла, закаменела.

Бабур мог бы напомнить, что Гульбадан и Хиндол тоже ее, Мохим, дети. Но сдержался. А Мохим-бегим продолжала счет своим обидам:

— Мирза Камрон такой же сын вам, как и Хумаюн. Но он спокойно живет себе в Лахоре возле матери! Почему же один мой Хумаюн должен служить щитом от всех напастей?

Бабур готов был рассердиться.

— Да потому, что он — наследник престола, он вскоре займет мое место, Мохим! Пусть приучается к трудностям. Мне в его годы было тяжелей!

— Но я-то — мать! Я умираю от тоски и тревоги... Да что вам до моей души! У вас есть другие жены — помоложе.

Гульбадан стояла на середине комнаты будто вкопанная. Впервые слышала она подобный разговор. Нахмуренный, отвернулся в сторону отец. Плачет мать. А раньше они были ласковы друг к другу! Маленькая Гульбадан на всем пути из Кабула в Агру чувствовала волнение матери, ее радостное предвкушение встречи с отцом. А как радовался отец приезду Мохим-бегим! На берегу озера Джалоли он их встретил, взял коня, на котором сидела жена, за уздечку, сам шел пешком рядом с нею целых три версты. Гульбадан, маленькая любознательная Гульбадан, не раз слышала потом, как люди говорили: еще никто никогда из мусульманских владык не выказывал подобного почтения своей жене.

Сейчас маленькая Гульбадан никак не могла уразуметь, что происходит у родителей. Что-то плохое — вот это было видно.

Бабур, заметив замешательство дочки, быстро подошел к столику, взял гроздь винограда с подноса, протянул Гульбадан:

— На-ка, милая, поешь. И поди погуляй в саду.

Гульбадан так и ушла, встревоженная. Бабур тяжело опустился рядом с женой.

— Да, Мохим, я виноват перед вами. Шариат дозволяет, но не обязательно каждому мусульманину иметь трех жен... А я непоседлив, я намного больше, чем половину жизни, провел в походах и боях. Мне обзаводиться тремя женами — непростительная ошибка! Ни одна из

моих жен не была счастливой, а я ведь желал вам счастья... Сегодня, глядя на вас, вижу — соперничество жен, вражду детей, рожденных соперницами... Я надеялся, что эти беды, они от дедов и отцов, не отравят нашу с вами жизнь, Мохим... Увы, даже Мохим, самая любимая, льет горькие слезы из-за этих бед!.. Моя больная душа, глядя на ваши страдания, разрывается на куски!

Мохим-бегим глянула на болезненно-желтое лицо Бабура и будто впервые увидела эту болезненную желтизну. Быстро вытерла слезы.

— Повелитель мой, не обижайтесь на меня. Я слабая женщина, вы шах. Кому же мне жаловаться, если не вам? Сочувствие ваше — для меня отрада...

— Да, я шах, и от этого, Мохим, все беды. Мои ошибки, грехи — все от этого. От желания получить трон, крепко держаться за него. В молодости немного походил босым в горах Дахката, попытался освободиться от цепей. Но не нашелся спаситель, который избавил бы меня от власти. Бремя ее уже непереносимо для меня. Одну питаю надежду: может, снимет его Хумаюн.

Мохим-бегим вдруг открылось, что задумал Бабур. Но поверить догадке она не решалась.

— Мохим, продолжайте ваше письмо. И от моего имени напишите: пусть Хумаюн поскорей возвращается в Агру. Он займет при мне, еще живом... Он займет трон. Пишите, пишите, я поставлю свою подпись.

— Повелитель, вы же знаете, что Хумаюн не жаждет трона!.. Я хотела только, чтоб наш сын был рядом с нами.

— Пишите, пусть возвращается... Чтобы занять трон! Именно для этого... Но пока пусть мое решение будет нашей тайной. Пока, кроме вас, Мохим, здесь никто не должен об этом знать.

Мохим-бегим, наконец поверившая в серьезность намерения Бабура, спросила:

— А вы?.. Хотите вернуться в Кабул?

— В скором времени мне суждено закрыть глаза, я чувствую. Тело мое отвезете тогда в Кабул, там похороните... А доживать свой век буду в Агре... Проживу — немного. Написать же хочется — много. Занятому делами государства не до этого, конечно. А теперь буду писать... Не нужны мне ни трон, ни дворцы. С меня хватит «приюта уединения», здесь, в этом саду. Обойдусь без слуг, без придворных, хватит одного Тахира-

офтобачи... Напишите-ка о моем решении Хумаюну, откровенно все изложите.

Мохим-бегим уже раскаивалась в том, что расстроила мужа.

— Простите меня, повелитель. Мне и в голову такое не приходило... Это невероятно, невозможно! Я не могу написать сыну, что отец, которого он так любит, так чтит, покидает трон.

Бабур поднялся, твердо обещал:

— Тогда я сам напишу.

Он спустился во двор и увидел Гульбадан. Девочка смотрела на него настороженно, словно догадываясь, что отец сейчас пережил тяжелые минуты. Бабур улыбнулся и помахал ей рукой.

2

Когда в Самбхал пришло письмо от отца, Хумаюн лежал тяжко больной. Но, прочитав письмо, узнав тайное решение Бабура, он сказал своим людям:

— Скорее доставьте меня в Агру!

В Дели у него жар усилился, началась опасная лихорадка. Хиндубек немедля отправил гонца в Агру, а сам призвал лучших делийских лекарей. Надо было вылечить Хумаюна здесь.

Но никакие лекарства не помогали. Да и болезнь определить лекари не смогли. Что-то вроде черной лихорадки, но что... и как лечить? Хумаюн день и ночь огнем горел, весь почернел, точно обуглился.

Из Агры прискакала Мохим-бегим. Верхом ехала сама: в повозке было бы медленней. Почти без остановок два дня и две ночи мчалась.

Она сочла, что плыть по реке будет спокойней и прохладней для больного. Так на корабле Хумаюн и явился в Агру. Восемь нукеров доставили Хумаюна на крытых носилках в сад Зерафшан. Когда Бабур увидел сына, лежавшего без сознания, в груди его что-то оборвалось, и паланкин, что покачивался на плечах нукеров, показался погребальными носилками.

Временами Хумаюн бредил. Однажды после тяжкой ночи, на раннем прохладном рассвете, он чуть-чуть приоткрыл глаза. Узнал отца, склонившегося над изголовьем. Захотел подняться, заметался на ложе, но тут же опять откинул голову назад.

— Мы... на службе... без вас... нет, нет... — и снова какие-то видения овладели больным. Хумаюн вскрикнул: — Вперед, по центру... Бейте их! Ушел... Стой!..

Хумаюн будто задохнулся, взметнулся в постели, перекинулся на бок и опять потерял сознание.

Дворцовые лекари тоже не сумели найти лекарства против непонятного недуга. Заливалась слезами Мохим-бегим. Невыразимо страдал Бабур. Ему казалось, что это он, все время рискуя сыном, заставляя его проходить сквозь огонь и воду, стал причиной смертельной болезни Хумаюна. Люди привыкли в трудных обстоятельствах опираться на Бабура и все ждали спасения от него. Но на сей раз он был бессилен. Он сам нуждался в ободрении, в поддержке. Ее оказал, неожиданным образом, старый шейх-уль-ислам.

— Мой хазрат, надейтесь, всевышний ниспошлет мирзэ Хумаюну исцеление. Но если лучшие табибы не смогли ничего сделать, — таинственным голосом вещал шейх-уль-ислам, — значит, это испытание божье требует жертвы от вас. Великую ценность надо отдать во славу аллаха.

«Великую ценность?» Мохим-бегим уже приносila священные жертвы — резала баранов и раздавала их мясо бедным людям. Вспомоществование всегда угодно всевышнему. Какую же еще «великую ценность» имеет в виду таксыр?

— Мой хазрат, надо пожертвовать тот большой алмаз.

— Какой?.. Кохинур?

Шейх-уль-ислам, соглашаясь, кивнул головой. Бабур недоумевал: как он покусился на алмаз, зная, что его ценность равна многим и многим пудам золота.

— Таксыр, а кому же отдать тот алмаз..., кому пожертвовать во славу аллаха?

Жертвования во славу всевышнего принимали духовные лица, а их главой был он, шейх-уль-ислам. Стало быть... Но было в голосе вопрошившего Бабура что-то такое, из-за чего шейх-уль-ислам не осмелился сказать «мне» и ответил с заминкой:

— Во имя аллаха можно отнести алмаз... в усыпальницу святого Муртиза-Али.

Усыпальница какого-то шейха и ценнейший алмаз мира — основа основ богатой казны будущего шаха Хумаюна? Из усыпальницы алмаз, конечно, попадет в

руки этого алчного старика. Белобородый хочет завладеть алмазом молодого Хумаюна, он понимает, что и Бабур, и Мохим-бегим готовы пойти на все ради спасения сына.

Бабур знал, что шейх-уль-ислам недолюбливает его — к индийцам-язычникам мягок! — и случись беда с Хумаюном, шейх-уль-ислам и другие муллы будут рады позлословить, что шах своей жадностью прогневал аллаха.

— Таксыр, скажите мне прямо: что дороже — моя жизнь или алмаз Кохинур?

— О повелитель! Тысячи таких алмазов не стоят одного мизинца вашего!

— Ну ладно. Раз так,— Бабур повысил голос, чтобы его услышали все окружающие,— раз так... я принесу в жертву нечто большее, чем алмаз Кохинур. И пусть эту жертву примут не кто-то из рабов божьих, а сам все-вышний!

Со страхом и недоумением смотрели все на Бабура, который медленно подошел к изголовью, где без сознания простерся Хумаюн.

— Мой любимый сын, Хумаюн! Я обращаюсь к все-вышнему,— начал Бабур, будто молитву читая.— Да отнимет он у тебя тяжелый недуг, тебя повергший, и да вселит его в меня, отца твоего!

Женщины, лекари, духовники, беки — все, кто находился в спальне больного, замерли. Трижды обошел Бабур ложе Хумаюна, возглашая:

— О всевышний! Я, шах Захириддин Мухаммад Бабур, отдаю свою жизнь сыну. Прими мою жертву, аллах! Пусть Азраил отнимет у меня жизнь, пусть бог дарует исцеление Хумаюну!

Мохим-бегим перестала плакать, воззрилась на мужа с испугом и ожиданием. И старый шейх-уль-ислам как вкопанный следил за Бабуром, словно и в самом деле Хумаюн сейчас должен был подняться с одра болезни, а Бабур, обессиленный, пасть на сей одр.

Но чуда не произошло. Хумаюн, лежавший без чувств, что-то пробормотал невнятно и снова умолк.

Бабур, опустив голову, вышел из спальни.

Крепкое сердце джигита в конце концов одолело недуг, и через неделю Хумаюн расстался с постелью. А еще через день вечером он пошел навестить отца в «приюте уединения».

Он увидел лицо отца — словно сморщенное худобой, глаза, которые будто увеличились в размерах, преждевременную согбенность.

— Совсем меня бессонница замучила, — сказал Бабур, перехватив взгляд сына. — Ну, а как ты себя чувствуешь?

— Меня спасли вы, повелитель. С тех пор как пришел в себя, я молю всевышнего, чтобы он не принял вашу жертву ради меня.

— Сын мой, не беспокойся, то была символическая жертва. Иначе я не мог бы успокоить себя, свою совесть... И еще хотелось мне искупить вину перед твоей матерью.

— А муллы говорят, что смерть, пред назначенная мне, теперь возьмет вас.

— Ужель ты им веришь? Все мы смертны, и в пред назначенный час каждый покинет мир сей. Но в ту, самую тяжелую, минуту я увидел, что болезнь твою хотят использовать во вред мне и тебе. Шейх-уль-ислам хотел возвыситься надо мною. Ты вот все равно выздоровел, а коли было бы по его, коли отдал бы я ему алмаз Кохинур, он и муллы торжествовали бы: вот, мол, это мы исцелили Хумаюна, мы, мол, сильнее самого шаха... Я превозмог их, рассеял козни своим словом, жертвой своей... Надо быть и сильным и гибким. Запомни, сын: муллы и шейхи всегда норовят встать выше нас. Но в делах людских с всевышним не надо множества посредников. Слушай мулл и шейхов, но поступай самостоятельно. Помни, что сотворил под их воздействием сын великого Улугбека Абдул Латиф.

— Я помню, повелитель... Но вы говорите со мной, будто уже передали мне трон, как о том писали в письме. Поверьте слову: мне совершенно достаточно того, что я ваш наместник в Самбхале, в аш, отец. Говорят,

там опять неспокойно. Если разрешите, я через два дня снова уеду туда.

Желая вызвать у сына особое внимание к следующим своим словам, Бабур помолчал.

— Пойми, Хумаюн, мое намерение не игра. Ты должен вскоре взять бразды правления в свои руки. Уже второй год, как я болен, с тех самых пор, как Байда пробовала отравить меня. Остаток сил своих хочу истратить иначе — не в заботах государственных... Ноезжай в Самбхал, теперь поезжай. Но уладишь там дела, назначай вместо себя Хиндубека и сразу возвращайся.

Хумаюн понял, что эту волю отца он должен выполнить беспрекословно.

Кончился сезон дождей. Небо очистилось от туч, и в бесконные ночи Бабур выходил в сад взглянуть на звезды. Бабура часто донимал жар, особенно по ночам, и если в таком состоянии он смотрел в небо, ему казалось, что все оно качается, а звезды кружатся в нестройном вихре.

В особые дневные часы во дворце он по-прежнему принимал беков, разных чиновников и чаще, чем раньше, шейх-уль-ислама. Все они были особенно учтивы с ним, предупредительны, и он понимал: так бывает в обращении с обреченным больным, ведь все они бездумно верили в бога, и вера их была, в сущности, верой в чудо. Они не сомневались, что всевышний принял жертву, принесенную им, Бабуром, ради спасения сына. Хумаюн выздоровел, теперь же незримый меч смерти висит над головой отца, готов был упасть в любой час...

Видеть любезные улыбки и почтительнейшие поклоны людей, ждущих твоей смерти, несладко. Бабур старался побольше бывать у Мохим-бегим и в «приюте единения».

Начался мезон, и Бабуру стало еще хуже. Не было у него на теле какого-либо нарыва, нигде не прощупывалась какая-либо опухоль. Горело в груди.

Лекари пожимали плечами, без конца советовались между собой. Пришли к выводу, что у повелителя — плохая кровь, ее, мол, испортил яд. Надо продолжать принимать лекарства, очищающие кровь, побольше пить гранатового сока.

Ничто не помогало. Совсем исхудавший, Бабур быстро терял силы.

Когда Хумаюн вернулся из Самбхала, отец лежал в застланной белым постели на возвышении в середине просторной комнаты. Лицо его, желтовато-синее, тепло — кожа да кости — поражали всякого, кто знал прежнего — крепкого, цветущего — Бабура.

Хумаюн опустился на колени сбоку от постели, приник губами к иссущенной руке отца.

У изголовья сидела Ханзода-бегим, осторожно обмахивала лицо Бабура веером из птичьих перьев. У ног больного замерла Мохим-бегим.

— Что с вами, отец?! — Хумаюн был потрясен. — Это... жертва... пожертвовал собой ради меня.

Мохим-бегим, не в силах произнести ни слова, начала тихо плакать.

Бабур с трудом заговорил — медленно, превозмогая одышку, но слова произносил внятно и осмысленно:

— Сын мой, ты тут ни при чем... Мой недуг... гнездится в крови.

— Отец, велите мне... Я готов сделать все, чтобы вы выздоровели!

— Совсем выздороветь... я вряд ли уже смогу... Но облегчить мне боль ты можешь...

— Как? Только скажите!.. — вскинулся Хумаюн.

— Позови главного визиря... и других, кого нужно... При них... я сделаю тебя главой... государства моего!

— Но поверьте, один миг вашей жизни мне дороже...

— Так надо,— хрипло перебил его Бабур.

Ханзода-бегим оправила постель брата. Он попросил подложить ему под голову еще одну подушку: полусидя ему удобнее было говорить.

Бабур теперь был готов к встрече.

Весь следующий день у постели больного опять провели шах Хумаюн, Мохим-бегим и Ханзода-бегим.

— Хумаюн в неоплатном долгу перед вами, повелитель,— сказала Мохим-бегим, когда почувствовала, что мужа на короткое время отпустила боль и он хочет поговорить с родными.

— Пусть этот долг он вернет... своим детям,— с рас-

становкой говорил Бабур.— Большинство из нас... потомков эмира Тимура... погибло из-за взаимной вражды... Сын убивал отца... Брат губил брата... Все стали жертвами предательства и низости... Были средь нас иные, лучшие, они становились жертвами своего благородства. Вот Ханзода-бегим... В Самарканде, чтоб спасти меня... обрекла себя на неволю. Она учила меня... быть самоотверженным. Ты, Хумаюн, должен учить... своих братьев и будущих детей самоотверженности и благородству.

Бабур, повернув голову, глянул за белую шелковую ширму, поставленную у ложа. Только теперь Хумаюн заметил, что там сидел еще один человек.

— Тахирбек,— сказал Бабур,— принеси мне сюда книгу.

Тахир вышел из-за ширмы, в стенной нише нашел кожаную папку; в ней находилась только что переплетенная рукопись.

— Помнишь, в горах под Кабулом, ты просил у меня, сын, книгу моей жизни... Вот, возьми... Считай, что я завершил ее... как сумел.

Хумаюн вспомнил слова отца, сказанные тогда: «Когда завершу книгу, кончится и моя жизнь». Он взял «Бабурнаме» обеими руками, приник к ней лбом, поцеловал обложку. Тут слезы брызнули из его глаз, и Бабур заметил, как крупная слеза упала на позолоченный переплет.

— Прошу тебя, запомни... Ее должны прочитать и твои потомки... Не повторяйте моих ошибок. Мои хорошие дела... приумножьте. Вели переписать и послать переписанные книги в Самарканд... Ташкент... Андижан... Не прерывайте связей с первой нашей родиной... Как знать, может быть, книга эта свяжет когда-нибудь Индию и Мавераннахр...

Бабур оставляет книгу как завещание! Ханзода-бегим не смогла больше сдержать себя:

— Бабурджан, я ваша старшая сестра... я старше вас на пять лет. Если и уходить из этого мира, сперва должна уйти я! Вы не должны, хаэрат мой, повелитель!.. Бабурджан, брат мой! Не должен! Не должен!

Ханзода-бегим назвала его Бабурджан, и Бабур вдруг перенесся душой в далекое детство, на миг, да перенесся. И дворцово-почтительное «хаэрат», «величество», с которым обращались к нему и беки, и слуги,

и любимый сын, и даже любимая жена, стало сейчас невыносимым.

— Хумаюн, я от тебя давным-давно не слышал слова «ата».

Хумаюн в самом деле отвык от этого простого слова.

— Родитель мой! — выговорил он. И почувствовал, что не этого ждет отец: — Ата! Атаджан!

— Прощай, сын...

Женщины зарыдали. Мавляна Юсуфи зашел как раз в тягостное мгновение прощания Бабура с родными.

Бабур обливался потом, дышал тяжело и хрипло.

— Мой хазрат, вы должны отдохнуть! — решительно сказал врач и, взяв белую марлю, начал вытираять пот с лица и шеи Бабура. Потом дал знак Ханзоде и Мохим: уходите, уходите.

Женщины тихонько вышли. Бабур шепнул Хумаюну, который наклонился к отцовским губам:

— Иди и ты... сын... У тебя теперь мно-о-го забот.

Хумаюн молча обнял отца, поцеловал его худые пальцы и тоже вышел. Часа через два Бабур велел Тахири позвать Фазлиддина.

Зодчий приблизился к ложу, стараясь не смотреть на лицо умирающего.

— Мой хазрат, я верю, содеянное вами продлит вашу жизнь в веках...

— Теперь называйте меня... тоже мавляной... Престол я передал Хумаюну...

— Но у вас остался престол поэзии, мой хазрат. В Герате Алишера Навои мы называли «Хазрат Алишер». А вы продолжатель его — и по части собирания талантов, и по части литературного творчества на тюрки. Наш язык вы сделали равноправным и с фарси, и с араби, о чем и мечтал Мир Алишер.

— Благодарен... за добрые слова, мавляна. Вы же... воздвигли в Агре и Сикри... дивные дворцы... вырастили райские сады... Если бы бог продлил мою жизнь... я бы хотел, чтобы вы создали медресе... Медресе Биби-ханум в Самарканде — какое величественное, великолепное здание. Моя сестра достойна тоже... мы, преклоняясь... превознесли бы ее имя...

Мавляна Фазлиддин видел, что Бабур говорит из последних сил. Заговорил сам: горячо, нарочито быстро и многословно:

— Воистину, сей обычай — превозносить имя женщин прекрасными зданиями — издревле присущ нам. В Самарканде — и медресе Биби-ханум, и мавзолей Туман-ака, славившейся чистотою сердца и ангельской добротой. Велико уважение к женщине и у индийцев, — среди божеств, которым они поклоняются, есть женские, и главные из них — это великая Махадеви в трех благостных ипостасях своих Парвати, Дурга и Кама и Лакшми-Шри, супруга Вишну, чье двойное имя означает «дарящая счастье».

— Мавляна... моя сестра Ханзода-бегим... вы знаете... жестокое время... не дало вам с ней счастья... — Бабур возвращался к прежней мысли, — женщина замечательная... Если медресе... вы мечтаете... суждено построить... назовите «медресе Ханзода-бегим»...

— Вы угадали самую великую и чистую мою мечту, — просто сказал Фазлидин. — Если для осуществления ее не хватит моей жизни, то я, покидая сей мир, передам ее моим детям. Пусть тогда они вместе с индийскими зодчими воздвигнут памятник — земную дань восхищения наших народов великим сердцем женщины!..

Бабур обливался потом. Его белая шелковая рубашка вся потемнела, прилипла к телу.

— Дядя мулла, — Тахир забеспокоился, — табиб наказывал не утомлять и не волновать повелителя...

Фазлидин закивал головой, приник к руке Бабура. Тот пошевелил пальцами, сделал знак приблизиться. Тихо-тихо сказал:

— У меня к вам... еще одна просьба, мавляна. В Кабуле есть сад... ваш... На вершине горы... Мой вечный приют... пусть будет там. Пусть без пышности, но там... красивая долина видна сверху.

Слезы чуть не задушили Фазлиддина. Он не проговорил ни слова. Согласно кивнул головой и почти выбежал из спальни.

Тахир сменил белье Бабура. Спокойно выполнял он обязанности сиделки. Надо ли было подать лекарство или воду, когда Бабиру хотелось пить, разогнать ли воздух веером, чтоб больному хоть чуть легче дышалось, — все делал Тахир, никого не допуская к ложу. Сегодня ночью Бабиру стало особенно душно, тягостно; Тахир позвал слуг; больного вынесли вместе с ложем во двор.

В воздухе ощущалась такая нежная прохлада, какая бывает только весной и только в Андижане. В темных просторах неба сверкали звезды. Они кружились не скончаемым вихрем, наталкиваясь друг на друга. Видеть такое было страшно. Закрыв глаза, Бабур позвал Тахира:

— Кровь стынет...

Тахир потихоньку помял мускулы плеч, рук, ног. Бабуру чуть полегчало, и он осмелился снова посмотреть вверх.

Да, звезды теперь стояли на местах, спокойно сияли в глубинах аспидно-черных небес. Бабур отыскал глазами Семь Братьев, неподвижную Золотую Ось и с восточной стороны — веселую гурьбу созвездия Хулькар.

— Смотрите-ка, в нашей Куве Хулькар поднималась точно как тут.

Мысли унесли Бабура в Андижан. В детство.

Мальчик Захириддин слышал некогда, будто Хулькар — это алмазная змейка, которая поднимается все выше на небесных ветрах, весело взмахивает алмазным хвостиком, но улететь далеко не может, потому что невидимой нитью привязана к Золотой Оси. Эта детская сказка снова зазвучала в душе. И то, что небо в Агре было таким же и звезды остались такими же, какими были давно-давно в начале жизни, в Андижане, — стало последним его утешением. Он хотел продлить эту сладкую минуту возвращения в детство, но внезапно жестокая судорога потрясла его немощное тело, звездное небо снова закружило вихрем — и вихрь этот обрушился на него и понес куда-то далеко, в черную бездну...

ЭПИЛОГ

К концу жизни мавляне Фазлиддину удалось завершить в Кабуле усыпальницу, о которой говорил ему перед смертью Бабур, но воздвигнуть медресе в честь Ханзоды-бегим он не успел... Его мечту увековечить в камне память о необыкновенной женщине, может быть, осуществили сто с лишним лет спустя великие индийские зодчие, построив в Агре знаменитый Тадж-Махал, посвященный другой женщине — Мумтаз-бегим...

Похоронив в Кабуле своего дядю, Тахир по поручению Хумаюна отвез переписанные экземпляры «Бабурнаме» в Самарканд, Ташкент и Андижан, где и преподнес их достойным людям. Последние свои годы Тахир и Робия прожили в Куве. Сын их Сафар вместе с сыновьями мавляны Фазлиддина остался в Агре, они женились на местных девушках, потомки их слились с индийцами.

Спустя десять лет после смерти Бабура Хумаюн взял за себя красавицу Хамиду Бану-бегим и, когда от нее родился сын, назвал его Джалалиддином Акбаром. Мухим в то время уже не было в живых — ее унесла холера. А Ханзода-бегим еще здравствовала, и двухлетний Акбар попал к ней на воспитание. Целуя мальчика, она повторяла нередко: «Ах, Акбар — просто вылитый дедушка! Мой брат Бабурджан в двухлетнем возрасте был точно такой! Не только лицо, но и ручки, и ножки — все похоже!»

Скончалась Ханзода-бегим шестидесятивосьмилетней вблизи Кабула, когда Акбару было три года. Ее похоронили в усыпальнице Бабура. Туда же перенесли и прах их матери Кутлуг Нигор-ханум...

Беспрокойной оказалась дальнейшая жизнь Хумаюна. Его младшие братья от другой матери, Камрон и Аскар, затеяли с ним долгую междоусобную войну.

Беспрерывные войны отняли у Хумаюна много сил и времени, — ему не удалось приумножить достижений отца. Страстный книголюб, он, однако, увеличил отцовскую библиотеку в Дели редкими рукописными книгами.

Воин, участник множества истребительных сражений, Хумаюн умер не на поле боя, а в той самой, отцовской, библиотеке — он споткнулся однажды о высокую мраморную ступеньку на лестнице, упал и сильно разбился. Как и отец, Хумаюн умер, не достигнув пятидесятилетнего возраста. Величественный мавзолей Хумаюна в Дели был воздвигнут из красного камня по воле вдовы Хамиды Бану-бегим, которая после безвременной смерти мужа начала править страной вместе с четырнадцатилетним сыном Акбаром.

Если вы приедете в Индию, вам обязательно покажут мавзолей мирзы Хумаюна в Дели и Тадж-Махал в Агре — памятники взаимной любви и преданности.

Сохранилось много свидетельств того, что и Акбар, и Шах-Джахан читали и перечитывали «Бабурнаме». Они знали все семейные предания, связанные с Бабуром. Разумеется, и у них, этих грозных властителей, были свои беды и сложности, своя трудная, полная противоречий жизнь. Но они обладали также чувством прекрасного, как и Бабур.

Наверное, воздвигая Тадж-Махал, Шах-Джахан старался оплатить не только свой долг перед безвременно ушедшей женой Мумтаз-бегим, но и долг Бабура перед Ханзодой-бегим и Мохим-бегим, и долг Хумаюна перед Хамидой Бану-бегим.

Среди потомков Бабура самым большим ценителем его творчества был Акбар. «Бабурнаме» он брал с собой в походы. Во времена Акбара были сделаны два перевода «Бабурнаме» с тюркского на персидский язык, лучшие художники Индии на сюжет этой книги написали блестящие миниатюры.

В разных странах мира Бабура знали долгое время только как основателя империи Великих Моголов в Северной Индии, творческое же его наследие оставалось неизвестным для большинства.

Но империя Великих Моголов, как бы ни гремела слава о ней в годы ее расцвета, просуществовав около двухсот лет, безвозвратно ушла в прошлое. Не дожили до наших дней и прямые потомки Бабура — последние из них погибли в борьбе против английских колонизаторов.

Не заросла лишь тропа, приводящая нас к стихам и прозе, написанным рукою Бабура. Еще в прошлом веке «Бабурнаме» перевели на русский, английский, французский и немецкий языки, книга нашла себе ценителей во многих странах мира¹.

Естественно, что особенно дорожат творчеством Бабура на земле, где он родился и вырос. Бабура изучают в вузах и школах Узбекистана как крупнейшего после Алишера Навои поэта-классика.

В Ташкенте в Алее Поэтов установлен бюст Бабура. До сих пор на свадьбах поют его газели.

¹ Правда, «Британская энциклопедия» (т. 3) на столбцах, отведенных Бабуру, ни единым словом не упоминает о его творчестве. Это издание обходит полнейшим молчанием его книги, которые, кстати, давно знают и высоко оценивают в Англии такие энтузиасты, как Э. Колдуэлл и А. Беверидж.

Своим культурным достоянием считают творческое наследие Бабура и в Индии. Великий сын индийского народа Джавахарлал Неру, прочитав мемуары Бабура, назвал его обаятельной личностью и типичным представителем эпохи Возрождения в Индии. А известный индийский писатель Мулк Радж Ананд сказал о «Бабурнаме» так: «Это — одна из самых прекрасных книг мира. Недаром ее украсили своими миниатюрами художники Индии, ибо она — общее наше достояние».

Это и есть вторая жизнь человека большого таланта и удивительной судьбы, покинувшего мир четыре с половиной века назад.

1969—1978





лмазный город

*Ташкентский
городской
роман*





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Солнечный круг медленно выкатывался из-за Чаткальских гор.

Аброр встречал восход на балконе. С третьего этажа казалось, будто огненный диск, вернее — верхний его край, сжался, приостановился в настороженном выжидании, а потом быстрыми-быстрыми лучами-выплесками пошел зажигать бесчисленные железные и шиферные крыши, бетонные и асфальтовые пространства громадного города, который давно уже проснулся, заполнив улицы разноцветными потоками автомашин.

На стали и стекле свет сверкает — нестерпимо глазу. И, падая на сочную зелень, растворяется в мощной кроне столетних чинар и дубов, нежно переливаясь золотисто-желтыми оттенками на цветущей джиде; медовый ее аромат утренний ветер разносит далеко окрест. Урюк, миндаль, персик и яблони отцевели еще в апреле; недавние майские дожди омыли их листья, уже по-летнему темные. Высокие кусты граната сверху трудно отличить от сплетений виноградных лоз, лишь ярко-красные колокольчики гранатовых соцветий выделяются, словно вспышки раскаленных угольков, среди буйной зелени. Их алые бархатистые цветочки боятся холода и темноты; ночью, сжавшись, смыкают лепестки, а утром от прикосновения солнечных лучей снова ожидают, широко раскрывая свое ярко-красное лоно навстречу свету и теплу.

Все выше над головой поднимается солнце, диск его становится все меньше и ярче. Глаза не выдерживают ослепляюще яростного полыханья огня, и приходится отойти в тень.

Всю ночь Аброр просидел над чертежом древнего канала Бозсу, что когда-то протекал в этих, ныне бетонно-асфальтовых просторах. А что было до канала? Две

тысячи лет назад вместо зеленого оазиса была выжженная солнцем нескончаемая степь, безводная и беспощадная.

Да, здешнее солнце щедрое, и зелень майская густа и живительна, но уже в середине мая кончаются дожди, потом неделями на небе не отыщешь ни облачка, до самой осени стоят ясные, безжалостно жаркие и сухие дни. Человек тогда ищет спасенья в тени деревьев. А деревья ждут спасенья от воды, проточной, поливной, которая ныне покорилась людям.

Эта тысячелетняя взаимозависимость человека и природы стала для Аброра теперь путеводной нитью в сложном лабиринте давнего замысла.

Зеленый оазис Ташкента... Зеленая капелька жизни, зажженная некогда в степи, постепенно расширялась и превратилась наконец в море зелени... Спасенная жизнь вдвойне дорога. Каждый куст, каждое дерево словно тянется к человеку, доверяя свою судьбу, полагаясь на его добрую волю и добрый ум, разумно направляющий поток воды для спасения всего живого...

— Папа, мы опаздываем! — послышался обеспокоенный голос дочери.

Аброр, прервав свои раздумья, увидел ее уже внизу, у подъезда.

Да, пора спускаться. Он должен был отвезти жену в аэропорт, на московский рейс.

Лишь до первого перекрестка хватило сил удержать в себе то особое чувство, которое пришло к нему там, на балконе. А дальше... его подхватил и понес поток машин... Внимание, внимание, он должен собраться с мыслями, а не то или светофор прозеваешь, или тебя зацепят, или ты кого-нибудь стукнешь... И надо поторопливаться, времени оставалось в обрез, а путь от Юнусабада через центр города немалый.

Наконец миновали железнодорожный вокзал, оттуда до цели не столь далеко, благо что аэропорт ташкентский в черте города. «А мы, ташкентцы, порой из-за этого ворчим, выражаем недовольство...»

Ага, вот и железнодорожный переезд, теперь-то уж совсем рядом.

Аброр прибавил газу, желая скорей пересечь тускло поблескивающие рельсы, но резко-тревожно замигал красным семафор, и полосатый шлагбаум неожиданно быстро — так показалось — опустился перед «жигулением». Аброр успел тормознуть — колеса взвизгнули,

машина вильнула, качнулась вперед, едва не налетев на шлагбаум.

Поезда не видно, а в железнодорожной будке пронзительно надрывался звонок. Продолжал раздражающе мигать красным семафор.

Вази́ра, сокрушенno вздохнув, взглянула на крохотные наручные часы.

— Ах, чтоб ему пропасть! Опоздаем теперь... Лучше бы через путепровод ехать!

Аброр с силой дернул за ручной тормоз. В душе кипело раздраженное нетерпение.

— Может, еще через Бешагач надо было ехать? — съязвил он, назвав дальний район города.

— Через Бешагач — нет, а если бы через улицу Руставели, наверняка бы успели. А сейчас регистрация заканчивается...

Пошел-поплыл мимо нескончаемо длинный, тяжелый поезд. Неторопливо двигались цистерны, платформы, груженные бревнами, штабелями досок, установленные ярко-красными тракторами.

— Смотри-ка, папа, и машины! — почти выкрикнул восторженный непоседа Зафár с заднего сиденья. — Такие же, как у нас, «Жигули»!

Аброр промолчал. Малика́ поправила братишку:

— Не такие. Это другая марка.

— Почему? Ты-то откуда знаешь?

— У нашей машины две фары. А у тех «Жигулей» по четыре.

Медленно проплыла еще одна открытая платформа.

— Бульдозеры! — уже забыв о «Жигулях», выкрикнул Зафар.

Вазира не отрывала глаз от платформ и красных вагонов.

— И чего это он длинный такой?.. Конца-краю не видно!

А Зафару, наверное, хотелось, чтобы поезд был еще длинней и ехал бы как можно медленней: столько интересных вещей он вез. Аброр сидел неподвижно; было видно, что он не торопится.

Но вот наконец полосатый шлагбаум дрогнул и стал подниматься. Вишневые «Жигули» тут же юркнули через железнодорожное полотно... И вскоре Аброр остановил машину у самого входа в здание аэропорта.

Застекленный зал регистрации пассажиров был переполнен.

— Вещи Малика принесет!

Вазира выскочила из машины и, на бегу стараясь вытащить из сумочки билет и паспорт, устремилась в зал.

Аброр нарочно спокойно высадил детей, замкнул на ключ дверцы, открыл багажник. Рядом с чемоданом лежал длинный черный футляр. Чертежи Вазиры. Аброр взял легкий футляр за ручку и передал его Малике. Сам понес темно-коричневый кожаный чемодан. Был он не так уж и велик, но очень тяжел. Аброр уловил аромат хандаляков. «Без подарков не может!» — разозлился он на жену.

Они уже входили в стеклянные двери, когда откуда-то сверху раздался голос диктора: «Заканчивается посадка в самолет, вылетающий рейсом шестьсот тринадцать до Москвы. Повторяю: заканчивается...»

Вазира была в толпе, что облепила окошко регистрации и проем с круглыми весами для взвешивания багажа. Нетерпеливо выхватила у Аброра чемодан, сама втолкнула его на весы.

— Повезло, мое место осталось за мной! А места опоздавших продают тут же... Желающих ой как много было, но добрые попутчики нашлись, не допустили...

Аброр огляделся. Сразу узнал высокого статного мужчину, стоявшего неподалеку у стойки спиной к ним.

— Мой билет регистрируют...

— Что, и Бахрамов летит? — голос Аброра на какой-то миг стал словно жестяным...

Было время, когда они вместе учились в институте и Аброр называл своего сверстника только по имени Шерзод. Потом произошло много такого, из-за чего он стал называть сокурсника только по фамилии. И вот сейчас Аброр увидел в руках Шерзода паспорт Вазиры. Аброр насупился, опустил взгляд.

Когда-то этот самый Шерзод чуть не женился на Вазире. Отец Шерзода, человек с положением, солидный, сумел через своих людей даже заручиться предварительным согласием родителей девушки. Но не ее согласием, нет! Аброр до сих пор не может спокойно вспоминать о тех днях: сколько пришлось им с Вазирой вынести, прежде чем удалось помешать намерениям родителей.

Вазира почувствовала настроение мужа. Отдышалась, мирно заговорила, указывая глазами на курившего в сторонке мужчину средних лет с портфелем в руках:

— Они с Шерзодом вдвоем летят...

«Говорит, будто только что узнала...» Аброр стал еще более хмурым, прервал жену:

— Ну уж коль Бахрамов так старался сохранить за тобой место, значит, он заранее знал, что вы втроем полетите!

«Может, он и знал, да я ничего не знала,— хотела было возразить Вазира, но сдержалась.— Оправдываться? Зачем?» Глядя прямо в глаза Аброру, спросила как отрезала:

— А это имеет значение?

Тут с паспортом и билетом Вазиры в руках подошел Шерзод.

— Посадка уже закончилась, трап могут ведь и убрать... О, Аброр...

На лацкане модного светлого пиджака Шерзода поблескивала медаль лауреата республиканской премии. Недобро сжатые губы Аброра приятного разговора не сулили, да и некогда было разводить церемонии. Однако Шерзод постарался придать голосу невозмутимую корректность:

— Аброр Агзамович, я приветствую вас.

Аброр сдержанно кивнул в ответ.

Вазира взяла у Шерзода свой паспорт с билетом и поспешило спрятала их в сумочку. Заторопились к выходу. До трапа московского самолета идти было довольно далеко — через центральный аэровокзал.

— Если бегом, то успеем! — энергично предложил Шерзод.

В свои сорок лет он был еще строен. Вазира невольно окинула взглядом грунное тело мужа.

— Ну, здесь попрощаемся, — сказала она и первой обняла сынишку.

Он ласково прижался к матери и успел прошептать ей на ухо:

— Привези мне самоходку, ну, танк такой...

— Хорошо. А Малике, конечно, туфли на платформе?..

Малика с готовностью кивнула и тут же бросилась матери на шею:

— Мамочка, возвращайся поскорей!

Вазира забрала у дочери футляр. Подошла к Аброру, положила мужу на плечо руку с сумочкой. Аброр догадался, что жена хочет поцеловать его, и слегка наклонил голову. Вазира приподнялась, коснулась губами щеки Аброра.

— Ну, счастливо оставаться! Вечером я позвоню из Москвы. Пока...

Шерзод отвернулся. Счастливая пара! Добрая семья! Ну да ладно, еще посмотрим...

Шерзод и Вазира бросились наконец догонять мужчину с портфелем.

Вазира поспешала уже не так легко, как в молодые годы, да и высокие каблуки заставляли ее семенить; Шерзод на бегу забрал у Вазиры сумочку и футляр.

Они добежали как раз, когда аэродромная служба собиралась откатывать от борта самолета трап. Получив свою порцию упреков, поднялись по ступенькам, проскочили в дверь.

Попутчик Шерзода сразу же сел на первое свободное место. А Шерзода с Вазирой бортпроводница, видно, приняла за мужа и жену и провела их в третий салон, усадив рядом в самом хвосте самолета.

Домой Аброр возвращался взбудораженный и разозленный донельзя. То прибавлял скорость, то резко тормозил, на поворотах машину заносило и раскачивало. Испуганные Малика и Зафар, прижавшись друг к другу на заднем сиденье, молча следили за отцом.

У Аброра все еще стояла в глазах недавняя картина: бегущие рядом к самолету Шерзод Бахрамов и Вазира.

Ну и ловкач этот Шерзод! Сначала оформлял билет, мусолил в руках паспорт Вазиры, а потом вообще забрал ее сумочку. Аброр и дергался, и цепенел, как человек, под чью рубашку заползла оса. Вот-вот укусит... Разумеется, в самолете незнакомые люди будут принимать Вазиру за жену элегантного Шерзода. Оса под рубашкой нещадно ужалила Аброра, и на миг он просто забыл, что сидит за рулем стремительно едущей машины. Перед ним у очередного перекрестка вспыхнул желтый свет. Аброр сильней нажал на газ. Новенькая «Волга» с белоснежными складчатыми шторками по заднему стеклу пронеслась перед самым носом «Жигулей». Она имела право пронзительно просигналить: дорога была ее, «Жигулям» следовало переждать. Сработал неведомо какой рефлекс,— Аброр успел сбавить скорость, иначе... Стало вдруг страшно. За детей...

Аброр попытался взять себя в руки, провел языком по пересохшему нёбу, ладонь положил на грудь, на сердце, готовое, кажется, вот-вот выскочить, рывком расстег-

нул ворот рубашки. «Хорошо еще, милиционера на перекрестке не оказалось», — постарался успокоить он себя. На минуту придержал машину у тротуара, после того как остался позади чертов перекресток.

Перед следующим перекрестком Аброр тихо остановил машину, обернулся к детям:

— Сейчас отвезу вас домой, а сам поеду на работу. — Порылся в кармане, достал зубчатый ключ и протянул его дочери: — Малика, за дверь отвечаешь ты.

— Но ведь и мне скоро в школу, папа.

— Когда будешь уходить, ключ оставишь Зафару. Мальчик обрадовался:

— Конечно, я ведь во вторую смену.

— А если я вернусь, ты еще не придешь домой, где я тогда ключ возьму? — спросила девочка.

Зафар недоуменно замолк.

Включился зеленый свет. Аброр быстро тронул машину с места и, не отрывая взгляда от дороги, бросил:

— Ключ, Зафар, не забудь соседям оставить.

— Вот правильно... Ладно, папа.

— Малика, в холодильнике вчерашний плов. Разогрей, и поешьте перед школой.

— Папа, а можно я себе потом яичницу сделаю? — Зафару хотелось быть взрослым, самостоятельным.

— Сам? Нет, к плите не подходи. Если Малика вернется пораньше, она тебе и пожарит.

Аброр старался отвлечь себя разговором о предстоящих детям заботах, сосредоточить внимание на дороге, но оса из-под рубашки все еще не вылетала. Понятно, он злится зря, из-за пустяка, ведет себя глупо, недостойно, — подумаешь, Шерзод побежал вместе с женой, помог ей оформить билет... А Вазира при прощании так доверчиво и нежно прикоснулась к щеке мужа, к его собственной щеке, черт возьми, а не щеке Шерзода, а если и посмотрела на него, на Аброра-муженька, строго, так иначе и не могло быть, коли муженек напыжился при виде старого соперника, словно индюк. Ему надо было вести себя спокойно, с достоинством, ведь не зеленый же он юнец, в конце концов, — сорокалетний, да и с Вазирой пятнадцать лет прожили, вон дети уже какие, даже стыдно перед ними за глупую, недостойную ревность!

Но что тут поделаешь, ежели проклятущая эта оса угнездилась в каких-то труднодоступных извилинах мозга, в темных уголках души? Он вроде матрешки —

сидят в нем, скрываются друг в друге несколько разных Аброров. И один из них, самый, может, изначальный (из первобытных генов!), укрылся и жалит другого Аброра. «Не муж, а тряпка... спешил, дуралей, гнал машину... для чего?! А чтобы вручить свою драгоценную на попечение соперника... дал ему отличный шанс для реванша». В прежней, довоенной ташкентской махалле такого мужа настоящие мужчины выгнали бы из своего круга как недостойного! В прежней... На старом Востоке мужчина, что и говорить, возомnil о себе невесту что — женщина соглашалась веками сидеть во внутренней, закрытой для чужих глаз части дома, а когда выходила на улицу, то с головы до пят закрывалась паанджой. Мало того, даже голоса ее не должен был слышать чужой мужчина. Считалось, что тот может насладиться если не ее красотой, то нежностью голоса, а отдать хотя бы капельку нежности другому — значит, нарушить обет верности.

Тьфу ты, наважденье! Уж к нему-то, Аброру, к его семье эдакое никак не относится... А вот поди-ка, внутри матрешки жил, оказывается, еще и старый, «восточный» Аброр. Вековой инстинкт... гены? Пусть так, но его жена должна быть безукоризненно честной, преданной. И чтобы никто не имел никакого, ни малейшего повода в том усомниться!

А Вазира летит сейчас в Москву вместе с Шерзодом, который (Аброр это знал наверняка) сделает все для того, чтобы поселиться с Вазирой в одной гостинице, повести ее в ресторан, в театр... Ну и что? Вазира может постоять за себя. Он верит ей! Но оса все жалила и жалила... Шерзод хитер, опытен, и сколько возможностей теперь у него будет, чтобы одержать победу над ним, над Аброром!

Растревоженный, въехал он во двор своего пятиэтажного кирпичного дома, «шедевра архитектурной мысли», как горько щутил подчас. А двор-то еще лучше! Обломанные деревца, перекопанный, развороченный траншеями и ямами центр двора, громоздящиеся кучи земли, клубы пыли вокруг гигантов самосвалов. «Вот оно, лицо Шерзода без маски...» — подумал Аброр.

Два года назад Вазира могла еще добиться, чтобы Аброр, забыв давнее, пошел к Шерзоду, однокашнику, решать деликатный вопрос, который касался благоустройства целого жилого квартала. Это сейчас она и на аркане не смогла бы затащить Аброра в роли просителя

в ответственный кабинет товарища Бахрамова. Но два года назад... Аброр подумал, что давнишнее соперничество безвозвратно ушло в прошлое, тем более что Шерзод женился на дочери ministra и теперь сам стал со-лидным начальником, имеющим веский голос в делах коммунального городского строительства.

Живо припомнилось, как важно Шерзод сидел тогда в глубине просторного кабинета за большим столом с четырьмя телефонами. Перед ним, явно робея, двое проектировщиков разворачивали только что вычерченные эскизы. Шерзод, недовольный тем, что кто-то без доклада открыл дверь, хмуро глянул на вошедшего. Но, увидев Аброра, заулыбался, повернулся в удобном кресле, поднялся и шагнул навстречу. Одновременно — удивительное дело! — на лице его сохранилось и пренебрежение к подчиненным.

— Как освобожусь, вызову, — буркнул им Шерзод, пожимая руку Аброру.

Проектировщики забрали со стола чертежи, вышли из кабинета. К креслу Шерзод не вернулся. Он усадил Аброра по одну сторону приставного столика, а сам сел по другую.

«Принимает по всем правилам. Начальник!» — мысленно усмехнулся Аброр. Вслух сказал:

— Вот пришел, по делам нашей махалли...

— Ты... по делам махалли? — недоверчиво переспросил Шерзод.

Аброр стал объяснять, что их микрорайон построен на месте старой махалли. Прежние жители из глиnobитных домиков переселились в современные дома. Но люди эти испокон веков привыкли к чистому воздуху, к жизни во дворе. Вот они и в новом микрорайоне стали устанавливать в общих, объединяющих по нескольку пятиэтажных дворах деревянные помосты, стелить на них одеяла и отдыхать в тени деревьев. Во дворах, бывает, и шумные свадьбы играют, празднестваправляют, как всегда многолюдные, с карнайми и сурнаями, с грохотом бубнов.

— ...А для новых микрорайонов, — вставил Шерзод, — все эти карнаи и сурнаи не совсем уместны, так?

— Ну, я бы так не сказал. Разве старые махалли не были, по сути, своеобразными микрорайонами своего времени?

— Были, разумеется... Но лучше старые обычай

похоронить под снесеными глинобитными стенами мазанок. Разве ты иначе думаешь?

— Плохие обычай... да, их надо бы похоронить. Но ведь есть и хорошие. Я лично люблю бас карна. Напевы сурная, ритмы дойры — все это, по-моему, очень подходит Ташкенту. Где еще такое услышишь? А неповторимость звуков и красок... разве ими не должны мы дорожить? — в тон Шерзоду спросил Аброр.

— Да какая там неповторимость? Каждый летний день десятки свадеб во всех концах города. В ход идут микрофоны. Карнаи ревут — стекла дрожат. В Ташкенте и без них шуму хватает. Будь в моей власти, я бы эти карнаи просто запретил в больших городах!

— Ну да, я и забыл, ты ведь еще в студенческие годы увлекался джазом.

— Увлекался, а что? Сейчас вот весь мир увлекается поп-музыкой...

— Но зачем весь мир-то унифицировать под джаз или поп-музыку? Пусть там — джаз, здесь — карнай и сурнай, пусть — каждому свое.

— Да ладно, хватит об этом. Я тебя слушаю... давай по делу.

Аброр снова стал говорить, что его дело-то и состоит в том, чтобы их микрорайон приобрел своеобразие. Архитектурные шедевры — коробки — уже возведены, тут ничего, как говорится, не попишешь. Но общий двор можно еще решить более интересно. Сухие бетонные лотки, по которым не текла вода, со двора уже убрали. Сделали небольшие арыки с живыми зелеными берегами. Рассадили по двору цветы и деревья, этакий традиционный для восточного землеустройства чорбог — «четыре сада». В определенной его точке — клумбы с четырьмя разновидностями цветов. На краях взметнулись тенистые деревья — пирамидальные тополя и чинары: двор-то немалый по площади. Нашлось в нем место, как велит обычай, и для фруктовых — черешни, персика, айвы. И в середине спортиплощадка — там дети резвятся целый день. И все это было сделано методом хашара — своего рода субботник древности, когда бескорыстно, безвозмездно вся маҳалля благоустраивает общий, или, как шутя сказал Аброр, — «хашарили».

— Все? — на лице Шерзода изобразилось вежливое удивление.

«Не все, увы, не все». Были, конечно, и такие, кто не признает никакого хашара, закроется в своей квартире и

живет так, что даже соседей по лестничной клетке знать не хочет... Но большинство жителей привыкли в сухом и жарком климате проводить свободные часы во дворе, под открытым небом, они-то работали сообща.

— Да,— еще добавил Аброр,— в прежней махалле был свой знаменитый хлебопек — отличные умел делать лепешки, и тандыр его славился. Землетрясением его хозяйство было разрушено, хлебопек сменил профессию, сел за баранку поливомоечной машины. А как только в новом-то дворе соорудили тандыр, нынешний водитель «поливалки» тут как тут, занимается теперь хлебопечением по совместительству...

— Чего ты мне без конца ваш двор расписывешь? — перебил его Шерзод.

— Потому что сейчас весь этот двор — и чорбог, и площадка, и помосты, и тандыр — под угрозой.

— Это еще почему? Кто тебе сказал?

— Кооперативщики... Они хотят в нашем дворе построить еще один свой шедевр. И это не проекты. Уже бурили шурфы во дворе, образцы грунта брали. Я стал выяснять, вот ниточка и привела меня к тебе.

Шерзод сосредоточенно потер лоб.

— Точно?.. Ну что ж, давай проверим.

Он встал из-за маленького столика, зашел за свой рабочий стол, выдвинул один из ящиков. Порылся в нем, извлек план микрорайона, где жил Аброр. Развернул. Быстро прочитал большой розоватый план-скатерть, обвел пальцем кружок на нем.

— Ага... понятно... вот здесь, между этими тремя пятиэтажными домами, в самом деле много свободной земли.

Зазвонил телефон. Аброр глянул на красного, черного, голубого и стального цвета аппараты, но который из них звонит — не разобрал. Шерзод различал их по «голосам», сразу поднял голубую трубку.

— Перезвоните минут через десять, — приглушенно сказал он, положил трубку на место. Обернулся к Аброру. — Понимаешь, прежние проектировщики в суматохе после землетрясения не особенно задумывались об экономии земли под застройку... — Вряд ли это было справедливо, но Аброр промолчал. — Город, таким образом, растянули на огромную площадь. Теперь мы по возможности сокращаем интервалы между зданиями. Сейчас каждая пядь городской территории, как говорится, на вес золота. На этот счет, сам знаешь, вышло спе-

циальное постановление. Так что приходится... уплотнять.

— Уплотнять надо, но с умом,— не вытерпел Аброр.— Учитывая и другие постановления. Надо строить так, чтобы в каждом общественном дворе были площадки для зелени, для детей, для спорта... Теперь куда нам их девать?

— Они... останутся. Двор-то у вас во-о-он какой! Кооперативный домик займет только часть двора.

— Да какую там часть? Вот посмотри расчеты — я прикинул.

На листочке, извлеченном Аброром из внутреннего кармана пиджака, было точно указано, сколько места займет сам новый дом, сколько площади двора окажется под колесами машин и строительных механизмов, уйдет на коммуникации подземные и наземные.

— Да, невеселая картина,— вынужден был признать Шерзод и не удержался — в сердцах ругнул своего предшественника, главу учреждения, в котором было столько разноцветных телефонов.— Чем они только в свое время думали, недотепы?! А теперь вот мучайся, ломай голову. Нет ничего хуже, чем чужие ошибки исправлять!

— Исправить их можно, Шерзод. Я готов тебе показать, где в микрорайоне можно кооперативный дом поставить.

Шерзод склонился над планом-скатертью:

— А ну, покажи.

Аброр взял со стола карандаш, показал.

— Вдоль магистра-али,— протянул Шерзод разочарованно.— Кооператив не согласится.

— Почему?

— Шумно очень. А кооператив государству наличными платит. Сейчас кооперативам во всем идут навстречу.

— Создавать удобства одним ценой неудобств другим?

— Вообще-то говоря... ты прав... Примерно... Я-то был бы не против... Но...

Еще в студенческие годы Шерзод очень часто вставлял в свою речь «вообще-то говоря» и «примерно». Аброр вспомнил об этом, по-товарищески усмехнулся:

— Давай, Шерзод, побоку стародавнее «вообще-то говоря», а? Мы же с тобой сами с усами, как-никак специалисты. Оба понимаем: будет вопиюще неверно, и по-человечески, и по-архитектурному говоря,— Аброр

чуть не засмеялся,— если дом этот окажется посреди нашего общего двора. Так ведь?

— Примерно...

— А раз так, тебе по плечу предотвратить ошибку. Доводов достаточно. А дом кооперативный найдем где поставить — не обидим их, не бойся.

— А проект готовый пересматривать, привязку менять — разве это легко?

— Понимаю, и без того у тебя забот полон рот. Поэтому я пришел специально. Прошу от имени всей ма-халли. Вазира меня уверяла, что только ты спасешь наши деревья, наш чорбог, наш уют. (Сколько раз потом Аброр казнил себя за это упоминание имени Вазиры!)

— Ну, уж я от роли спасителя не в силах отказаться. Постараемся убрать от вас кооперативный дом...

— Не «примерно», не «вообще говоря»? — шутливо спросил Аброр.

Шерзод тоже заулыбался:

— Нет, точно.

— Значит, по другим инстанциям могу не ходить?

— Зачем? Если не осилю этого вопроса, тогда дам знать, вместе пойдем.

Обменялись сокурсники крепким мужским рукопожатием, и Аброру подумалось, что отношения их теперь будут безоблачными, что когда-нибудь позовет он Шерзода с женой, министерской дочкой, к себе в гости.

Прошло с того дня лето, минула осень, пролетела зима. Выкопанные во дворе траншеи завалили, разговоры о строительстве дома вроде бы сошли на нет. «Молодец, Шерзод, сдержал-таки свое слово!» — думал Аброр.

Но прошлой весной, когда листва на деревьях только начала распускаться, Аброр увидел однажды, как в их дворе, оглушительно гудя мотором, деловито трудится экскаватор. От игровой площадки — он и сам иногда в редкие часы отдыха становился рядом с молодыми под волейбольную сетку — следа не осталось, там котлован глубиной уже в человеческий рост. Одна из траншей почти добралась до тандыра, земля из-под его основания осыпалась, и закопченная печь беспомощно накренилась, готовая рухнуть. Неподалеку, в саду-чорбоге строители подготовливали место для установки подъемного крана,— бедная трава, бедные деревья! Рельсы под кран хотели проложить там, где в этом году впервые должны были дать плоды черешня и айва.

Рабочий в брезентовой спецовке уже взял в руки топор, направился к деревцам, но его остановил подбежавший жилем.

— Эй, погоди, погоди!.. Я член домкома, слышишь? Мы столько труда положили, чтобы деревца прижились, зазеленели, а ты их рубить собрался...

— Интересные люди! Кто же это разбивает сады на строительной площадке?

— Закончилось строительство, понимаешь? Откуда вы тут взялись? — Член домкома оглянулся, заметил Аброра, махнул рукой в его сторону.— Вот он пускай подтвердит... Аброр-ака, вы же связывались с тем учреждением. Говорили: «Убедил я их». Мы вам поверили и успокоились. А что же получается?!

— Уринбай-ака, меня твердо заверяли...

— Так бегите поскорей к тому, кто заверял, пусть он остановит несправедливость, пусть топор отведет.

Аброр видел, насколько далеко зашла подготовительная работа и каким быстрым темпом она вдруг пошла — ее теперь не остановишь. Тем не менее поднялся к себе на третий этаж и сразу позвонил Шерзоду в управление. Никто не ответил. Аброр разыскал по справочнику номер домашнего телефона Шерзода. Звонок оторвал Бахрамова от хорошо приготовленного плова, и плов этот, как тут же заявил Шерзод «уважаемому Аброру Агзамовичу», хозяину приятно было бы с ним, уважаемым, разделить.

Аброр рассказал о случившемся. Шерзод сначала помолчал, пытаясь удалить языком застрявшие меж зубов кусочки мяса.

— Вот тебе и раз, неужели?.. — произнес он наконец. — Ну и ну!.. А я-то всю зиму, вообще говоря, тормозил это дело! И надо же, уехал в отпуск, а заместитель мой дал делу ход... Ну да ты знаешь этих пайщиков, люди наличными платят...

— Но почему ты раньше мне ничего не сказал? Я бы мог пойти в другие инстанции! Ты ведь тоже хотел действовать...

— Толку не было бы. Проект прошел утверждение в веरхах.

— Но ведь и «верхам» можно было разъяснить положение, они же тебе поручили строительные дела.

— Не получилось, не получилось... Теперь ничего уже изменить нельзя. Вмешались люди, с которыми шутки шутить не стоит.

- И среди этих людей твой свояк?
- Какой свояк?
- Тот, кому нужна в этом доме трехкомнатная квартира!

— Я бы не советовал вам, товарищ Агзамов... ставить вопрос таким образом. Если мой свояк и получит квартиру, то на вполне законных основаниях.

— Законы ты хорошо знаешь. Но вот порядочности у тебя нет. И чувство товарищества тоже. Оказывается, верить тебе — все равно что болото за твердый асфальт принять!

Несколько дней подряд Аброр и Уринбай-ака тревожили различные организации, имеющие отношение к новой стройке. Их выслушивали, но... время оказалось безнадежно упущенными, а произведенные затраты слишком велики.

Железная машина крана продолжала деловито урчать, в определенные промежутки времени оглашая двор напряженно пронзительным звоном. Невредимыми остались деревья, высаженные людьми под самыми балконами, все остальное пространство двора, обнесенное высоким деревянным забором, теперь превратилось в пыльную строительную площадку, где грохотали бульдозеры и самосвалы...

И до этого случая жизнь гталкивала Аброра с Шерзодом. Группа архитекторов, спроектировавших новые ташкентские кварталы, была выдвинута на соискание республиканской премии. В первоначальном списке кандидатов Аброр был. В печати лестно упоминалось и его имя, что, конечно, поднимало настроение. Был в списке и молодой архитектор Хатам Юлдашев. Потом предварительный список начал расти, однажды Аброр обнаружил в нем фамилию Бахрамова. А когда решили список соискателей выстроить в алфавитном порядке, Бахрамов вошел в первую тройку, а Юлдашев стал замыкающим.

Аброр, как член институтского совета, готовил документы и характеристики кандидатов. Характер «уточнений» ему не нравился, но окончательно все стало ясно, когда директор института (он же и руководитель совета) однажды сообщил, что по положению на одну премию можно выдвинуть группу только из шести человек. А седьмым по списку числится Юлдашев, он, мол, еще молод, всего тридцать четыре, оставим на следующий раз, у него все впереди, ну и так далее. Эти слова директор произносил, как показалось Аброру, при

гробовом молчании членов совета. Но стоило директору кончить, и молчание поспешил нарушить сторонник Шерзода Бахрамова. Он, конечно, поддержал предложение, а потом снова наступило тягостное безмолвие. Директор жестко спросил:

— Кто еще хочет высказаться?

Аброр поерзал на стуле, уперся взглядом в пол. Он молчал и чувствовал себя при этом последним человеком, малодушным, алчным, бессовестным. Как много сил, энергии, таланта отдал Хатам Юлдашев этому проекту, выдвинутому на премию! По сути, это ведь он, Юлдашев, был мотором всей их рабочей группы, его обойдут, а Шерзод Бахрамов, не сделавший и десятой доли...

Словно издалека Аброр услышал голос директора.

— Ну, если нет других предложений...

Презрение к себе стало непереносимым, удушающим. Аброр поднял руку и глухо произнес:

— Юлдашева предлагаю оставить... Мне неловко это говорить. Но другие почему-то молчат, тогда я должен сказать...

И Аброр стал говорить об огромном вкладе Юлдашева в их общую работу, о его идеях, истинно творческих, а вот товарищ Бахрамов... многие ведь знают, что Шерзод почти отвык работать как зодчий... долгими часами склоняться над чертежной доской, днем и ночью искать новые решения — на это ему не хватает ни времени, ни выдержки, ни, прямо сказать, способностей. Он больше любит сидеть за столом с разноцветными телефонными аппаратами, посредством которых поддерживает «нужные контакты». И за это — в первую авторскую тройку?

— Мне стыдно... Предлагаю вместо Шерзода Бахрамова поставить Хатама Юлдашева.

Самого Шерзода на заседании совета не было — он уже тогда работал в другом учреждении, рангом повыше. Но на защиту Шерзода поднялся сам директор. Иронически взглянув на Аброра, директор заметил:

— Быть самоотверженным по отношению к нашему коллеге Юлдашеву похвально. Но товарищ Аброр Агзамов хочет доставать каштаны из огня чужими руками: он проявляет самоотверженность за счет Шерзода Исламовича Бахрамова...

Аброр понял, что, сказав о творческой немоющей Бахрамова, он нечаянно задел и своего директора, который

тоже давно не держал в руке чертежных инструментов. Выдвигал идеи, а потом становился во главе «коллектива авторов».

— Сайфулла Рахманович, я говорю не только о технических решениях — не помню случая, чтобы Бахрамов подавал нашему авторскому коллективу и оригинальные идеи, хотя бы в общей форме...

— Нет, нет, товарищ Аззамов, вы все-таки припомните пословицу: «Ножом ударь сперва себя и, если не будет больно, ударь другого».

Ах, так!.. А молчаливые коллеги, видимо, и в этом согласны с директором? Аброр вспыхнул:

— Хорошо. Если товарищи считают необходимым выдвинуть Юлдашева вместо меня, то я буду только рад за него...

До сих пор он помнит, что от этих слов не испытал тогда никакой радости. Через минуту-другую почувствовал обжигающую боль. Не из-за премии, нет. (И Юлдашев, и Бахрамов получили-таки премию, а Аброр по своей воле ее лишился.) Не столько из-за потери премии было ему больно и досадно. Больше оттого, что необдуманным своим выступлением проиграл еще одно сражение с Шерзодом Бахрамовым.

Шерзод и его сторонники до сих пор при всяком удобном случае напоминают Аброру — то косвенно, а то и прямо, — мол, помни пословицу: кто роет яму другому, сам туда попадает...

Сегодня в аэропорту Аброр не мог не увидеть лауреатской медали на пиджаке Шерзода. Предполагал, видно, Бахрамов, что встретится с ним, с Аброром. Не без умысла нацепил медаль, не без умысла. Вызвать растерянность и зависть у Аброра — это у Шерзода со студенческих лет заветное желание. Со студенческих лет, когда Аброр и Шерзод частенько сражались за шахматной доской и когда каждый неудачный ход Аброра вызывал радость соперника, почти неприличную.

Ну, а он сам, Аброр, совсем чист в отношении своем к Шерзоду? Не завидует ли однокашнику? Иногда Аброра даже удивляло постоянство того душевного напряжения, с которым он следит за Шерзодом. Чуть только зарубцевалась ранка, нанесенная бахрамовскими притязаниями на Вазиру, — так эта история с премией! Притупилась и эта боль — так на тебе, будто назло, около дома, можно сказать — под носом, развернулась эта стройка кооперативного дома!

Чисто и просторно было во дворе раньше. А сейчас «Жигули» у подъезда не поставишь. Домой приходится добираться через горы земли, груды булыжника, с осторожностью шествуя вдоль деревянного забора.

— Зафар, не вздумай на самокате по улице разъезжать!

— А где же мне кататься? — спрашивает Зафар, вылезая из машины и недовольным взглядом окидывая деревянный забор. — Здесь стройка...

— А тротуар?

Дети привыкли к простору двора, им, конечно, тесно на этой полоске грязного асфальта между стеной дома и высоченным деревянным забором. Но Зафар покорно соглашается:

— Хорошо, папа... До свидания!

Аброр взглянул на часы — он уже опаздывает на работу — и поспешил отъехали. Асфальтовая дорожка, огибая дом, выводила к магистрали. Но за углом, понерек дорожки, стал землеройный трактор — готовили траншею под водопровод. Аброр дал задний ход, собираясь объехать дом с другой стороны, но тут из-за деревянного забора, натужно урча, вылез тяжелогруженый самосвал. В его кузове горой-конусом возвышался свежевынутый грунт, из-под колес летели комки глины. Увесистый ком ударили в кабину «Жигулей», брызгами защапкал лобовое стекло. Аброр затормозил, стал осторожно вылезать из кабины — не ругаться с водителем самосвала (тот уже удалялся, устилая за собой путь песком и глиной), а просто очистить стекло от этого «бахрамовского ошметка», как выругался он в сердцах. И снова ожило перед глазами недавнее: бегущие к самолету, совсем рядом — Вазира и Бахрамов... Снова в душе колыхнулась давняя гнетущая злость...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Самолет летел над плотными слоями облаков, в совершенно чистом, залитом ослепительным солнечным сиянием небе.

Было покойно и приятно.

Откинули укрепленные на спинках кресел столики, приступили к завтраку, поданному на легких голубоватых подносах.

Шерзод, стараясь не задеть соседку, протянул руку за пластмассовым стаканчиком с чаем. Вазира заметила, как на безымянном пальце его руки блеснуло обручальное кольцо.

Курица была мягкой, рис хорошо проваренный. Вазира сказала:

— Неплохо, правда? Во всяком случае, Аэрофлот кормит вкусней, чем иные рестораны. Или это мне только кажется?..

— Да нет, вы правы. Мне тоже нравится.— Шерзод готов был поддержать разговор о еде.

— А вот чай похуже, верно?

— Вообще-то говоря... да,— согласился Шерзод и тут же рассмеялся. «Вообще-то говоря». Вообще-то говоря, он бы хотел перевести беседу в другое русло.

Белозубая улыбка очень шла Шерзоду, молодила его. Правда, над висками волосы немного поредели, да и под глазами появилось немало морщин. Брови тоже утратили былую мягкость, заметно отросли и погрубели.

Вазира не успела отвести взгляд — Шерзод перехватил его. Чувство приятной успокоенности, естественности оставило их. Вазира ела курицу совсем бесшумно. Шерзод сначала допил чай, потом тоже взялся за курицу.

— А в самом деле — ничего!..

— Вы помните, Шерзод, как на Чимгане мы делали шашлык из куропаток?

— Где? — Шерзод повернулся в кресле, насколько позволял это сделать столик, прямо взглянув в сверкающие черные глаза Вазиры.

— А у Двенадцати ключей! Я-то вот помню.

«Не меня, Аброра помнит», — подумал Шерзод. Ведь это Аброр тогда настрелял горных куропаток-кеекликов, а шашлык ели все, и все от души нахваливали охотника и повара.

— Знаем, знаем, — усмехнулся Шерзод, — ваш супруг из удачливых охотников.

Прозрачный намек на былое соперничество за нее, Вазиру? Аброр оказался победителем. Но почему же Шерзод улыбнулся так снисходительно? Дело далекого прошлого, не таких, мол, красавиц потом видели?

Вазира почувствовала, что вот-вот начнется тот серьезный разговор, которого опасалась и от которого, как она понимала женским чутьем, уйти было нельзя.

Самолет мягко и незаметно сделал вираж; яркий луч

солнечного света из иллюминатора сдвинулся к креслам и упал на лацкан пиджака Шерзода. Лауреатская медаль отразила его, и луч жарко стрельнул в глаза Вазиры... Снисходительный тон — скажи пожалуйста... Да ее Аброр тоже мог бы стать лауреатом, не выступи в защиту Юлдашева так благородно и так... неуместно.

Вазира тщательно вытерла руки салфеткой. Повернулась снова к собеседнику.

— Но зато вы оказались в числе удачливых лауреатов!

— Ваш муж хотел лишить меня и этого.

— Потому и был наказан судьбой. Нет, кроме шуток, я считаю, что в той деликатной ситуации Аброр повел себя не вполне тактично. Я ему говорила об этом.

Будто в доказательство искренности своих слов, Вазира протянула руку к Шерзоду и тронула его лауреатский значок. Приятны, что тут скрывать, приятны были ему и слова ее, и нежное прикосновение.

— Я восхищен вашей независимостью, Вазира! Право же, Аброр еще должен до вас дорasti.

Вазира чувствовала, как настойчиво Шерзод отделяет ее в разговорах от мужа. И тем настойчивее, чем дальше уносил ее от Аброра самолет. Ей почему-то стало боязно.

— Кое в чем и я должна дорasti до него.

— Я так не думаю... ~~и~~ все-таки, примерно, в чем?

Вазира ответила не сразу.

— В совестливости. В умении болеть душой за других... Ведь Юлдашев получил тогда премию только благодаря Аброру...

— Да, как в газетах пишут, самоотверженный герой нашего времени. В самоотверженности, вообще говоря, ему не откажешь.

Шерзод произнес свою колкость так высокопарно-иронично, что видно было, сколь высоко онставил себя по сравнению с Аброром.

— Вам бы, Шерзод, не мешало заметить хотя бы частичку его самоотверженности.

— Не очень-то помогает она в деле. Даже в борьбе за добрую, гуманную цель.

— Вы не правы, и жизнь это уже доказала.

— В чем конкретно?

— Тот кооперативный дом... помните... Несправедливо, да и плохо, безграмотно поставили его. Аброр очень надеялся на вас.

— Надеяться легко, — пожал плечами Шерзод.

Во что бы ему эта безоглядная решительность и настойчивость обошлась? Со столькими людьми пришлось бы в жаркие споры вступать, кое с кем схватиться не на шутку. Да и в чью-то немилость попасть. Из-за чего, вообще-то говоря? «И что мне такое хорошее сделал Аброр, чтобы я, оправдывая его надежду, опрометчиво ринулся в огонь?»

Шерзод не сказал всего этого, но по лицу его Вазира уловила мысленно произнесенное. «В самом деле, в каком долгу он перед Аброром?» — подумалось и ей.

Стюардесса собрала подносы.

Откидной столик — теперь на место, в прорезь мешка на спинке переднего кресла; свое кресло откинуть назад, самому расслабиться, чуть вытянуть ноги.

Покойно и приятно.

— Поверьте, Вазира, — голос Шерзода звучал мягко, убеждающе, — я всеми этими обидами по поводу жилищного строительства сыт по горло. Им конца-краю не будет. Никогда. Для кого-то делаешь добро, но тем самым кому-то другому причиняешь зло... Потому-то я сейчас на другую работу и перешел.

— Да, я слышала, вы получили повышение. Поздравляю!

— Спасибо, Вазира!.. Тол^жко я ведь не из-за должности... Вы знаете, конечно, что землетрясение вывело из строя всю прежнюю систему водоснабжения Ташкента.

— Так уж всю? Земля разверзлась и все арыки поглотила?

Арыки не арыки, но, по мнению Шерзода, лучше осваивать безводную степь, нежели благоустраивать большой город. Что степь! Чистый лист бумаги, на котором пиши или рисуй что хочешь. А чтобы перестроить коммуникации большого города, надо сначала — да, не иначе! — разрушить старое до основания. Тут под землей целый мир: реки холодной и горячей воды, газ, канализация, электрокабели. Чтобы заново все переоборудовать, весь город на поверхности вдоль и поперек перероешь... А эти старые арыки! Пусти в них воду, так она сразу и в свежеоткрытые траншеи норовит. Вода проникает под новые дома, фундаменты начинают давать осадку сверх нормы. Аварии, скандалы... Представьте себе: каналы Бозсу, Салар, Бурджар, Кукчинский канал, Карасу, Жанггох, Чорсу, Ботирма, Кайирма, Ялангач. А еще Тал-арык, Румол-арык, Гурунч-арык.

— Диковинные названия, я их все и не знала,— удивилась Вазира.

О, есть арыки с еще более потешными названиями... В той стороне, где лежит канал Карасу, есть арык, который называется Пулемас,— значит, не требующий денег. Шерзод подсчитал, во сколько примерно обойдется бетонирование его русла, и оказалось — около миллиона рублей! Вот тебе и Пулемас — эдакую прорву денег слопать готов! А тех средств, которые выделяет горсовет, и на закваску для теста не хватит, не то что на пироги. Поэтому он, Шерзод, и обратился за помощью к богатым родственникам — в Министерство водного хозяйства («Вон впереди сидит наш попутчик с портфелем... он и есть один из богатых родственников»).

Рассказывал Шерзод занимательно, и слушать его было интересно. Временами Шерзод заглядывал в глаза Вазиры, не переставая дивиться, какие они у нее угольно-черные. А ресницы? Как и раньше, в годы студенческие, — густые и нежные, и брови щелковистые. Смотреть на Вазиру, будто исподтишка изучать ее лицо было для Шерзода томительным, но и непреодолимо влекущим удовольствием. Завоевать душевное ее расположение, а не просто приударить за миловидной женщиной — вот чего ему хотелось.

— Вообще говоря, ~~хафум~~, тяжкий это труд — поддерживать систему ороения. Ведь есть же края, где когда нужно идут дожди, где сам бог круглое лето дает влагу всему зеленеющему, всему растущему. А тут без рукотворных каналов ничего не вырастет! Да к тому же — выкопал канал, выкопал арык, и мучайся потом с ними, ухаживай как за капризицей какой-нибудь.

— Зато у нас и накопился тысячелетний опыт в этом.— Вазира улыбнулась.— Как мой муж любит говорить, опираться, опираться нужно на живые традиции народа... Сейчас много говорят о ландшафтной архитектуре. Она ведь тоже — народное творчество, вы не находите?

Шерзоду показалось, что Вазира опять нарочно помянула Аброра. Говорить с этой женщиной было приятно, однако неспокойно.

— Ваш муж тем самым доказывает... можно сказать откровенно? Не обидитесь?

— Нет, нет, пожалуйста, скажите!

— Доказывает тем самым... свою ограниченность,

свой консерватизм! Он застрял в узких рамках национальных традиций...

— Как вы умеете перегибать палку, Шерзод! И какой вы, оказывается, злой!

— Вазира, вы же дали слово не обижаться.

— Да, но Аброр совсем не заслужил таких обвинений.

— Заслужил, заслужил... Я знаю, ваш муж защищал диссертацию по ландшафтной архитектуре, он добивался, чтоб ему дали кафедру ландшафтной архитектуры. Ходил даже в министерство с таким предложением... И опять почему-то меня приплетал к фактам — не буду скрывать, и такое случается! — неразумного, торопливого «покорения природы».

Вазира вновь ощутила, какой опасный поворот приобретает их разговор.

— Кто вам такое сказал, Шерзод? Неужели вы думаете, что Аброр за вашей спиной...

— Ханум, я ничего плохого не думаю, я говорю только о фактах.

«В конце концов эти постоянные стычки Аброра с Шерзодом мне надоели», — подумала Вазира. И мужу и ей они приносят только неприятности. Может быть, удастся за время поездки в Москву пусть немножко, но смягчить конфликт, хотя бы рассеять осложняющие его недоразумения, а женское чутье ей подсказывало, что недоразумения эти проис текают из-за былого соперничества двух мужчин.

«Как она простодушно верит, что сумеет одним махом помирить нас», — подумал Шерзод и припомнил недавний свой разговор об Аброре в министерстве, в кабинете одного начальника...

Бахрамову, как авторитетному эксперту, была дана целая кипа предложений и объяснительных к ним записок, поступивших из института, который занимался проблемами градостроительства. Бумаги подписал директор института, но составлены они были, судя по характеру идей, в них излагаемых, Аброром Агзамовым. Во всяком случае, при его активном участии. В бумагах, например, настойчиво проводилась мысль о необходимости для Ташкента открыть кафедру ландшафтной архитектуры. Аргументы напоминали статьи и выступления Аброра, знакомые Шерзоду. Поначалу он даже спросил себя, а не лучше ли будет поддержать Агзамова, поскорей ушел бы на эту кафедру, занялся бы

теорией — все подальше от той области, в которой они уже сталкивались и столкнутся, как чувствовал Шерзод, еще не раз, и по-крупному. Но Шерзод Бахрамов рассудил, что данное решение было бы опрометчивым: Аброр Агзамов при его энергичности мог укрепиться и предстать не только основателем новой кафедры, но чуть ли не зачинателем нового направления градостроительства, городского благоустройства. У Агзамова могут появиться последователи, и с удесятеренной силой он будет, конечно, нападать на то, что делает Бахрамов, в том числе на дорогую сердцу Шерзода идею бетонирования всех водных артерий Ташкента. Нет, надо опередить Аброра!

...Шерзод не без удовольствия припомнил и сейчас, сидя в мягким, удобном кресле самолета, как сумел тогда тонко и сдержанно, бесстрастным, ровным голосом доложить министерскому начальнику, что идея, конечно, неплохая, помечтать о подобной кафедре можно, но открывать ее еще преждевременно.

— Во-первых, сейчас всюду идет борьба за экономию, в частности за сокращение штатов, а тут сколько потребуется... гм..: смотрителей и просто сторожей за ландшафтами. Во-вторых, сама ландшафтная архитектура как научная дисциплина только начала у нас формироваться. Даже в Московском архитектурном институте эту кафедру, вообще говоря, открыли совсем недавно.

— Но именно там Агзамов кончал аспирантуру и защищал кандидатскую,— возразил начальник.

— Да, отдельные специалисты в Москве есть, они-то и помогли ему.

— Но тут вот написано, что в Киеве работает такая кафедра. А в Болгарии и Чехословакии существуют даже факультеты ландшафтной архитектуры.

— Что с того? В буржуазных странах есть специальные институты подобного профиля. Богатые миллионы строят себе замысловатые виллы, разбивают сады на берегах океанов и морей или возле разных ниагар. Им как раз нужно побольше ландшафтных архитекторов. А нам увлекаться этой роскошью... — Шерзод поклонился плечами.

— Шерзод Исламович, когда-то, в двадцатые годы, галстук считался буржуазным пережитком. Вы-то не помните, но был и такой «классовый подход»... Мы

сейчас с вами ездим на собственных машинах, а в давнее время это тоже многие считали непозволительной роскошью... Жизнь учит отличать ненужное от несуществимого в данный момент, а преждевременное — от становящегося необходимостью.

Шерзод почти весело хохотнул тогда, как бы признавая свое поражение в споре, касающемся столь высоких материй.

— Вы правы, вы правы... Ландшафтная архитектура должна служить нашему трудовому народу. Это искусство мы не должны отдать на откуп капиталистам. Это и наше перспективное искусство! Вот почему я от души поздравил Агзамова, когда он защитил диссертацию.

— А вы его хорошо знаете?
— Как же, пять лет учились вместе.
— Он перспективный работник?
— Мы однокашники, я должен защищать его и поддерживать.

Если ты хочешь напасть на кого-то, сделай вид, что вроде защищаешь и поддерживаешь его,— маневр старый, проверенный, дающий потом преимущество в нападении. Шерзод так убедительно произнес последнюю фразу, что начальник попался на крючок.

— Я не имею в виду ваши приятельские отношения, но... Агзамов... человек... нуждающийся в защите? От кого, от чего его защищать?

— Он очень способный, но, вообще говоря, с загибами...

— В какую сторону?
— В сторону национальной ограниченности... абсолютизации национальных традиций... Скользкие интерпретации, понимаете?
— Значит, вы и в этом защищаете его...
— От него самого... Приходится критиковать. Потоварищески, но... В идеиных вопросах на компромисс я не иду.

Такой ответ явно тогда понравился собеседнику Шерзода. Начальник задумался, начал листать-перелистывать присланные бумаги.

— Так. Значит, по ландшафтной архитектуре у нас один специалист... этот самый Агзамов... И такой специалист, что... Один в поле не воин, а?

— Потому я решился сказать, что пока мы только можем мечтать и о настоящей нашей ландшафтной.

архитектуре, и о соответствующей кафедре. Сейчас открыть такую кафедру мы не готовы.

— Ну вот что: набросайте-ка мне вкратце ваши аргументы, чтобы я мог доложить дело министру.

Шерзод заколебался: доверительный разговор с глазу на глаз и письменное заключение эксперта, которое будут читать многие, в том числе, возможно, и сторонники идеи Аброра... Разница, черт возьми, существенная.

Теперь-то, в аэрофлотском кресле, он улынулся умиротворенно, припомнив свой встревоженный вопрос тому начальнику:

— За своей подписью?

Начальник понимающе усмехнулся:

— Да нет, без подписи. Для моего... для внутреннего пользования.

И Шерзод изложил свои аргументы в «служебной шпаргалке», без подписи; да он при этом чувствовал неприятную тяжесть на душе, но постарался успокоить себя: пройдет, пройдет, как проходит тяжесть похмелья. И тяжесть легко и быстро оставила его; мало того, душа настроилась на мажорный лад, будто он выиграл еще одну шахматную партию у Агзамова. Да, да, Шерзод сумел лишить подвижности фигуры Аброра. Ищи не ищи выход, бейся даже головой об стенку, а кафедре ландшафтной архитектуры мат, неизбежный и неотвратимый...

Ах, Вазира, милая Вазира,— Шерзод повернулся в кресле, поймал вопрошающий взгляд Вазиры,— наивная, милая женщина, которая рассчитывает на свою былою власть над ним, Шерзодом, на власть своей поблекшей, хотя, не будем скрывать, еще вовсе не увядшей красоты... Вазира все еще верит, что одними разговорами сможет помирить его с Аброром. Ну пусть, пусть верит, ему нравится наивность таких симпатичных женщин...

После долгой паузы Шерзод ответил Вазире, что разговоры о кафедре, которую пробивал Аброр, шли повсюду — на факультете и в министерстве; вполне допустимо, конечно, предположить, что об интригах Аброра ему, Шерзоду, умышленно налгали.

— Вы ведь читали его книгу? — спросила Вазира с надеждой перетянуть Шерзода на свою сторону.

— Да, читал! — как бы поддаваясь ей, ответил Шерзод.

— Ну, припомните, Шерзод, о каких краях там идет речь?

О каких? Да о многих. Об орошаемых землях Казахстана и Украины, Туркменистана и Ставропольщины.

Шерзод перечислил.

А Вазира добавила, что Аброр не раз ездил по этим землям, изучал постановку проблем ирригации, Вазира была на защите в Московском архитектурном институте, ученые говорили тогда о всесоюзном значении работы Агзамова.

— Разве национальная ограниченность в этом, Шерзод? — спросила вдруг неожиданно резко Вазира.

— Я с вами не спорю, ханум, относительно успеха вашего супруга в Москве, но в Ташкенте, вообще говоря, он уж очень цепляется за старые традиции.

Аброр требует сохранить зеленые берега старых арыков, он был бы прав лет эдак пятьдесят назад. Тогда почти не было водопроводов, да и многоэтажных домов... сколько их было? Люди пили из арыков воду и потому содержали их в чистоте. «Осквернить арык — все равно что осквернить отчий дом или скатерть-дастархан», — такое убеждение не случайно, конечно, возникло. Арыки аккуратно чистили вручную. Сколько труда на это уходило! А сейчас всюду канализация, вода в трубах, и о чистоте арыков мало кто думает. Бросают туда всякий мусор, отбросы. Чистить их некогда и некому. Экономия общественного труда предполагает сокращение профессий, основанных на ручном труде, разве не так? Арыки стали... рассадниками антисанитарии, и только! Зачем же теперь цепляться за них? Потому он, Шерзод, и ратует за то, чтобы прежние арыки повсюду заменить бетонными водопроводами.

Вазира видела такие лотки в Голодной степи. Они там действительно экономят воду, облегчают труд. Их там не хватает, за ними охотятся. Но в Ташкенте в каждом новом дворе сколько лишних бетонных лотков установлено! Бетон, бетон... Экономика, урбанизация... Но бетон ведь — он тоже дорогой! Его не хватает. Особенно велика нужда в бетоне у строителей Ташкента. А тут масса бетонных лотков без воды, потому что старая, еще махаллинская, арычная сеть разрушена, а новая не наложена. Вокруг бетона ничего не растет. А по обеим сторонам арыка всегда трава, цветы, туловщик. А потому и воздух возле арыка чище... Аброр говорит, что

арыки — это своего рода корни, пущенные человеком в землю, великий дар матушки-природы.

— Как вы, оказывается, красноречивы, милая собеседница ханум! Ваш муж мне тоже говорил об арыках с таким жаром, будто Леонид Леонов — о русском лесе, — полуутлово уколол Шерзод.

— Конечно, аналогия немного смешна, масштабы несоизмеримы. Но есть же и точка соприкосновения, Шерзод. Ведь и в романе Леонова бездушные люди почем зря губят живой лес и оправдываются нуждами технического прогресса. А мы губим живые берега тысяч арыков и тоже объясняем: это, мол, необходимо для НТР, для современной урбанизации!

— Помилуйте, Вазира, да разве я против сохранения живой природы? Но будем же реалистами. Какое там сохранение природы в современном городе с двухмиллионным населением? Кругом столько машин, столько асфальта, стали, стекла!

— Сказать вам начистоту? Я тоже спорю с Аброром, мне тоже кажется, что природа в таком городе, как Ташкент, должна потесниться. Не исчезнуть, я против этого, но — неизбежно потесниться. Но Аброр не согласен и со мной. У него много аргументов.

— Да какие там аргументы?! — воскликнул Шерзод с азартом, показывающим, что он готов их тут же опровергнуть.

— Главный — вода. Ее-то оказалось вдоволь не только в каналах и арыках самого Ташкента, но и за пределами города.

— Ну и что?

— Как что? Значит, наш зной можно победить. Жарким летом в прошлом году из Прибалтики приехали гости: уж не помню, какой семинар проходил. Я их сопровождала. В сорок — сорок пять жары наш фонтан-водопад на площади Ленина просто спасал балтийцев. Объявится свободный час, они сразу мне говорят: «Пойдемте в тень Ниагары», — так они окрестили наш фонтан.

— Вон как, Ниагара в центре Ташкента!.. А тень откуда?

Как всякий нынешний ташкентец, он знал мраморную дорожку, проложенную мостиком через бассейн, в который падают с восьмиметровой высоты каскады воды.

И Вазира и Шерзод невольно поежились, будто

сейчас их лиц коснулась прохладная водяная пыль фонтана с искринками всех цветов радуги.

— Вы проходили по этой дорожке, Шерзод, и не заметили тени? Не поверю. Припомните-ка: люди с наслаждением идут в ласковых водяных брызгах, стараются не наступить ногой на трепещущие тени струй. Веселые брызги так ласятся к тебе, что не хочешь, а засмеешься. Даже усталый, хмурый человек невольно улыбнется на этой тенистой дорожке у фонтана. Вот это и есть живая природа в центре большого города.

Даже в манере Вазиры говорить Шерзоду почудился Аброр.

— Ну, ханум совсем подпала под влияние своего отставшего от жизни мужа. Я удивлен, Вазира, куда девалась ваша недавняя независимость?

— А если муж прав? Вы-то наверняка знаете историю этого фонтана...

Шерзод поморщился — ему было неприятно вспоминать, как тогда, семь лет назад, азартно возражал он против идеи воздвигнуть в центре города фонтан-водопад. То было в год землетрясения. Неотложные дела обступали со всех сторон. Но люди хотели видеть центр своего города величественным и красочным.

Шерзод ломал голову над тем, как разместить под площадью Ленина мощные кондиционеры, которые были бы способны поддерживать в пределах нормы температуру и влажность в двух громадных административных зданиях. Эти здания и должны были, по мысли проектировщиков, задать будущей площади величественную масштабность.

Кондиционеры нуждались в большом количестве воды; ее сперва думали гнать по трубопроводу из канала Бозсу, но потом прозрачно-голубую воду обнаружили тут же, неподалеку, на глубине, и решили использовать подземный поток.

А другую задачу — придать площади красочность, колоритность — надеялись решить соответствующей увязкой бассейна, в который будет поступать вода, и сети кондиционеров с рельефом местности. Шерзод предложил легкое и, как он подчеркивал, экономичное решение: укрепить откос дерном, засадить елями, установить красивые современные плафонные осветители. В первые проекты реконструкции площади этот вариант и заложили.

Однако идея эта не удовлетворила других архитекто-

ров. Особенно Аброра. Неужели нельзя, спрашивал он, использовать воду и перепад уровней более оригинально и более эффектно, чем построение простой зеленой горки? Аброру первому и пришла в голову мысль заставить поднятую из-под земли воду ниспадать в соответствии с уступами рельефа.

Однажды поутру, после очередной бессонной ночи Аброра за чертежным столом, Вазира увидела на ватмане черновые эскизы будущего фонтана-водопада. Он еще не виделся Аброру столь внушительным и красочным, как вышло на деле,— фантазии недоставало размаха и дерзости. Казалось, вполне можно довольствоваться ниспадающей по центральной части откоса лентой воды в пятьнадцать — двадцать метров шириной. Но идею смело развили коллеги...

Шерзод подыскивал наиболее удобное для себя продолжение диспута с Вазирой (опасный, обоюдоострый он получался, вообще-то говоря, и совсем не наивной оппоненткой оказывалась привлекательная Вазира...).

— Ваш муж оказался тогда правым потому, что природу не противопоставил технике, а, наоборот, нашел путь к разумному единству.

Вазира облегченно вздохнула: если ей не под силу примирить Шерзода с Аброром, то положить конец ненужному, по ее мнению, ожесточению в их борьбе она, может быть, и сумеет.

Самолет вздрогнул. Солнце скрылось, за окном бело-серыми горизонталями проносились разрезаемые крылом облака. Снова тряхнуло. Из сетки над головой показался край готового вот-вот свалиться черного футляра. Шерзод приподнялся, понадежней уложил футляр на полке, сел поудобней в кресло.

— Если не секрет... что это за проект в футляре?

— От вас секретов нет. Только сначала хотелось бы услышать ответ на мой вопрос, хорошо?

— Пожалуйста!

— От кого вы узнали, что я лечу этим рейсом?

— Вчера я по делам заходил в ваше управление...

Кстати, вас там не нашел.

— Я уже ушла домой собираться в дорогу.

— Мне это и сказали. Так я узнал ваш рейс.

— А вам не сказали, по какому именно делу я лечу в Москву?

— Нет. Управление хранит «военную тайну». Но я сам догадываюсь: интерьеры метро?

— Вы и вправду догадливы... Метро для нас дело новое. Оыта нет. Вот и приходится частенько ездить в Москву за советами и консультациями.

— Я думаю, придется метростроевцам и с нами дела иметь.

— Что вы имеете в виду?

— А разве не предстоит проводить метротоннель под каналом Бозсу?

— Да, это очень сложная проблема.

— В Москве у меня есть знакомый, он тоже проектировал метро. Павел Даниилович Катинов, знаете, наверное?

— Слышала про одного Катинова, который прокладывал тоннель под Москвой-рекой.

— Он и есть... Павел Даниилович о проблемах тоннелестроения рассказывал. Мы с ним вместе в Японию ездили. В одном номере там жили и подружились. Он и телефон свой домашний дал. Если вам нужны советы такого специалиста — я к вашим услугам.

— Спасибо... возможно, я ими воспользуюсь... А в Японии вы давно были? — оживилась Вазира.

— В семидесятом.

— В Осаке? На Всемирной выставке был показан макет нашего нового Ташкента.

— Ну, как же! В Осаке под макет Ташкента целый зал отвели.

— Неплохо выглядел? Мне тогда самой в Осаку поехать не удалось. Но материалы макета я собирала. А изготовили макет ленинградцы. Из полистирола. Очень красивый... В тот год я не раз в Ленинград в командировки летала. Как сейчас в Москву.

— Не зря летали. Макет Ташкента в советском павильоне пользовался большим, очень большим успехом, весь день посетителей полон зал. Гостиница «Ташкент», театр Навои, площадь Ленина, двадцатистенные здания — все как на ладони. И все это на фоне оригинальной подсветки снаружи и внутри. И конечно, в зале звучала наша певучая восточная мелодия. Когда вдали от родины видишь и слышишь подобное, охватывает такое чувство гордости, что... словами трудно выразить. Верите мне, Вазира?

— Да, я верю. Шутка ли сказать — макет нашей столицы на Всемирной выставке. На Всемирной...

— Уж кто-то, а японцы знают, что такое замлётрясение. Учитывая это, примерно, и делали макет. Мину-

ту-другую посетители осматривают нынешний центр Ташкента. Потом вдруг макет переворачивается, и перед глазами то же место города, но до землетрясения. Помните? Неказистые приземистые домишкы на берегу Анхора. Старая улица Лахути и так называемая Кашгарка. Сырцовый кирпич кругом. Тесные улочки. А вот и разрушенные землетрясением старые дома. И стены в трещинах... Так минуту-другую держат панораму прежнего Ташкента, а потом макет снова медленно переворачивается — опять предстает обновленный город. Вообще говоря, Ташкент давно нуждался в перестройке — землетрясение ее ускорило.

Вазира усмехнулась:

— Поняла. Ответ полный и правильный.

Шерзод сам ощутил излишне поучительный тон своего рассказа. Усмехнувшись, спросил:

— Может быть, будет еще и дополнительный вопрос, учительница-ханум?

— Значит, твердую пятерку захотелось? Ну что ж, тогда вот... Говорят, женщины в Японии очень красивые. Кто там побывал, любовались. Ваша точка зрения?

— Японки, вообще говоря, очень красивые, это верно, и слава о них, примерно, не зря идет. Но на вкус... ташкентки красивее!

Вазира невольно зарделась. Подосадовала на себя, но ответила по-былому, по-студенчески, задорно и шаловливо:

— Садись, Ахметка, — пять отметка!

Оба засмеялись.

И время полетело легко и незаметно, в шутливой непринужденности, в спокойствии аэрофлотовского уюта, а для Шерзода еще и в ожидании чего-то приятного впереди, в Москве.

Поднимая все выше правое крыло, самолет стал делать левый разворот. Солнечный луч скользнул по груди Вазиры, задержался на лице.

— О, да здесь, смотрите-ка, Шерзод, совсем ясное небо! — воскликнула женщина, радуясь тому спокойному и добром, чем была полна ее душа.

— Да, а вон и леса чернеют!

Над дверью в салон вспыхнула надпись по-русски и по-английски: «Не курить! Пристегнуть ремни!»

Шерзод взглянул на часы:

— А быстро мы долетели!

«Все-таки очаровательная женщина, эта Вазира. И

была, и осталась о-ча-ро-ва-тель-ной!» — произнес он про себя, медленно, раздельно, по слогам, словно продлевая удовольствие, получаемое от такой оценки.

Концы серых брезентовых ремней свешивались по обе стороны кресел. Нагнувшись вправо, чтобы достать свой ремень, Вазира непроизвольно оперлась на руку Шерзода, согнутую в локте.

— Я вам помогу...

— Спасибо, я сама.

Уши у Вазиры заложило, в глазах чуть потемнело. Она плохо переносила посадку. Поудобнее устроилась в кресле, запрокинула голову, закрыла глаза. Постаралась сидеть не шевелясь.

Шерзод, чуть наклонившись над соседним креслом, любовался красивой шеей Вазиры, ее высокой грудью. Через иллюминатор было видно Подмосковье.

— Здесь все еще весна. И зелень такая свежая... Все-таки хорошо жить в прохладном климате... Вазира, вы в какой гостинице собираетесь остановиться?

— В «России».

Шерзод обрадовался:

— И нам в «России» места заказаны! Значит, втроем в одном такси поедем.

Вазира открыла глаза, увидела близко от себя улыбающегося Шерзода, постаралась выпрямиться... Откинулась смущенно.

— Приземлимся сначала.

И смущение ее показалось Шерзоду очаровательным. Москва, гостиница «Россия», предстоящие «командировочные» дни — все обещало быть мажорно приподнятым и увлекательно приятным.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бозсу — недаром так называли эту речку. Она издавна орошала целинные земли, потому и назвали «целинная вода». А еще слово «боз» означает — белая чистая ткань. Вода в речке и впрямь такая. Только когда весной дожди зарядят, мутнеет ее вода, а в иные месяцы чистая, прозрачная течет речка, словно гладкое белесое полотно стелется.

Аброр вырос на берегу Бозсу, съязмальства плескался в ее легких нестрашных волнах: на его памяти, у речки появилось другое имя — Анхор, канал Анхор. Во

многих документах и по сей день река Бозсу, протекающая через центр Ташкента, именуется Анхором. Однако это все же речка!..

Стол окружён сотрудниками архитектурной мастерской, которой руководит Аброр. На чертежном столе Аброра лежит план, выполненный в цвете.

Бозсу голубой ленточкой змеится, петляет, огибает ташкентские холмы свободно и красиво.

Аброр неотрывно смотрит на план, над которым проклинал дни и ночи, и с тревогой думает: поймут ли его коллеги?

— Аброр Агзамович, Бозсу считается стариным каналом. А у вас тут настоящая своюерная река.

Первая реплика обнадеживает. Аброр отвечает:

— Так строили в старину, тысячу лет назад. У ташкентцев не было тогда техники, вроде современной, они слушали подсказки ландшафта.

— Неужели у Бозсу тысячелетний возраст? — Недоверчивая Лена пожимает плечами, лицо в милых веснушках недоумевает.

— Если не больше, Леночка. Ташкенту две тысячи лет. А ведь никакое поселение в наших природных условиях не может существовать без орошения, стало быть, без арыков, без каналов.

Другой сотрудник, Карим Махкамов, лысеющий полный человек лет сорока (в мастерской его звали в глаза и за глаза Эрудитом), добавил:

— Я где-то читал, что самыми древними каналами Ташкента были Салар и Джун. Не Бозсу.

Аброр поддержал Эрудита. Да, древний Ташкент, знаменитый Шаш, зародился на берегу канала Джун. Сейчас это место находится в южной части города, неподалеку от аэропорта, называется Шаш, а в народе говорят Таштепе. Когда Шаш разрушили кочевники, город передвинулся на пять-шесть километров от старого места к северо-востоку, на берег канала Салар. И стал называться Мингурюк — то есть «тысяча урюка». Сейчас это место — вблизи Музея искусства Ташкента, где швейная фабрика «Заря Востока». Однако этому Мингурюку не суждена была долгая жизнь — в седьмом веке он оказал отчаянное сопротивление арабам, но военачальник халифата Кутейба все-таки сжег его дотла, после чего центр древнего Ташкента ушел еще на несколько километров к северу и возродился под наз-

ванием Бинакет,— это там, где ныне находятся медресе Кукельдаш, цирк и театр «Ёш гвардия»¹.

Рассказывая, Аброр всл незачиненным карандашом по голубой ленте реки на плане. Приглашал сотрудников обратить особое внимание на умело проложенное русло Бозсу древними мастерами. О да, они знали особенности своей земли, знали свои холмы и взгорья, они как бы и не препятствовали естественному, природному течению реки, лишь поправляли его, совершенствуя нерукотворные рукотворным — чуть расширив, или чуть углубив, или несколько спрямив речное русло. С ювелирной точностью учитывали они и угол наклона, и скорость течения, и характер дна под водным потоком, находя соответствие меж подводными пластами земли, каменистыми, твердыми, и неровностями рельефа, создавая умеренное течение, которое сохранялось веками. Если бы канал был прорыт с большим, чем надо, наклоном, течение за сотни лет превратило бы русло в глубокий овраг, в каньон. Бозсу берет начало от порывистых горных речек Угам и Коксув, а по центру Ташкента и поныне течет так выверенно спокойно, что можно с берега зачерпнуть воду в пригоршню. Чудесна эта близость Бозсу к человеку, древний канал-река — будто прирученный олень.

— Но за парком Победы или пониже, в Бурджаре, оврагов хватает,— вновь возразил Аброру Карим Махкамов. Он не только эрудит, но к тому же и дальний родственник директора проектного института, в подчинении которого находилась их мастерская.

— Карим-ака,— мягко заметил Аброр,— мы сейчас говорим о той части Бозсу, которая протекает по центру города. Красиво, не так ли?

— Тут в двух местах Алихор слишком уж петляет, не так ли?

— Но в этом естественном изгибе и есть своя красота. Это как раз и делает канал рекой... Мы же ландшафтной архитектурой с вами занимаемся... Такой рисунок ` богаче, интересней, чем прямая линия.

— А сколько лишней площади съедят у нас эти петли? В центре города каждый квадратный метр на особом учете.

— По-вашему, русло надо спрямить?

¹ «Молодая гвардия».

— Ну, не мне такие вопросы решать, есть более компетентные люди.

— Но мы ведь с вами творческие люди, наше мнение — мнение специалистов, с нас и спрос особый.

— Не знаю, не знаю... Общую идею этого вашего плана, Аброр Агзамович, не улавливаю.

— Общая идея? Бозсу — это памятник древней культуры, искусства, если хотите. Он создан умом и руками народа, и его нужно беречь, как берегут памятники архитектуры в Самарканде и Бухаре. Когда в Ташкент приезжают туристы и просят показать его исторические места, их везут в старый город, показывают древние усыпальницы, медресе Кукельдаш. Кто спорит, все это — произведения, достойные памяти потомков. Но почему не вспомнить, что есть еще один, тысячелетний памятник — канал Бозсу? Может, потому и не вспоминаем, что Бозсу до сих пор живет и работает? Но вдвойне славно создание народное, раз оно живет тысячу лет и все еще трудится в полную силу... Верно, берега канала во многих местах надо ремонтировать. И русло кое-где подновить, укрепить. Но не спрямлять! Не вольничать по-своему!

Карим Махкамов иронически засмеялся.

— А вы знаете, я где-то читал, что в прошлом веке Бозсу обрамляли такие густые заросли, такое дикое буйство царило здесь, что тигры прижились. Да, да, тигры в Ташкенте, ну, около Ташкента. Об этом писали очевидцы. Вы как, Аброр-ака, не хотели бы восстановить те непроходимые заросли вместе с тиграми?

— Было бы неплохо, Карим-ака! Вы никогда не читали о том, что тигры — гордость леса — благодаря заботе человека вновь стали обживать уссурийскую тайгу? Неподалеку от больших городов, представьте себе!.. Жаль, что в прошлом веке ташкентцы не завели Красную книгу.

Коллеги посмеялись. Правда, Карим Махкамов тут же и нахмурился, отошел к чертежному «комбайну», развернутому вдоль одной из стен мастерской.

Скептицизм Эрудита настораживал Аброра. Чувствовалось, что какая-то невидимая, но крепкая нить связывала лысеющего толстяка с Шерзодом Бахрамовым. Да и почему невидимая? Аброр знал, что Махкамовы и Бахрамовы дружат семьями. Карим Махкамов женат на старшей сестре директора института Сайфуллы Рахманова и, таким образом, превратился в связую-

щее звено между Рахмановым и Бахрамовым. Когда Шерзод добивался выдвижения своей кандидатуры за премию, Карим, разумеется, способствовал этому. И все они торжествовали, когда добились успеха.

Изо дня в день работать в одной комнате с человеком, который каждое твое слово мог преподнести директору в превратном свете и каждый творческий замысел, тот, что пока еще держится тобой в секрете, выдать сопернику, Бахрамову, — это ли не наказанье аллаха? Вот и сейчас Махкамов недовольным своим видом показывал, что Аброр проводит время за пустыми разговорчиками, а между тем дирекция нас всех обязала... дала срочное задание...

И впрямь — в ближайшее время мастерская должна была представить рабочие чертежи нового скверика в центре города.

Осторожно свернув план-проект Бозсу, Аброр подал всем знак — разговор, мол, закончен...

Так... Вот они, чертежи скверика... Просто, ясно. И скучно. Что бы тут придумать все-таки?

Аброр взял лист белой бумаги, обозначил легкими параллельными штрихами шумную городскую магистраль — она шла вдоль предполагаемого сквера. «Ну хорошо, расположим по периметру скверика дубы, чинары, клены...» Символические знаки Аброр набрасывал быстрыми, четкими, натренированными движениями, будто обычные буквы при письме. Причем в контурах каждого знака сразу угадывалось, чинара это, или плакучая ива, или клен. Пусть будет больше деревьев, пусть они скроют серую скуку асфальта! Но сопоставим высоту чинар и ширину площади в центре сквера... Аброр рассмеялся: мда, увлекся любитель живой природы, при этаком замысле площадь могла оказаться со временем полностью затененной пышными кронами.

Аброр решительно перечеркнул набросок, взял еще один чистый лист. Но на столе зазвенел-загремел телефон. Внутренний, с трехзначным номером. Аброр снял трубку, готовый сердито выговорить тому, кто мешал ему сосредоточиться.

— Алло!.. Аброр Агзамович! — раздался в трубке знакомый басовитый голос.

Говорил директор института. Аброр непроизвольно прижал трубку плотней к уху.

— Я слушаю вас, Сайфулла Рахманович.

— Не могли бы вы на минутку зайти ко мне?

— Сейчас?

— Да... Если вы не очень заняты.

Обычно, когда дело не было очень важным и потому срочным, директор вызывал нужного сотрудника через своего секретаря, из приемной. Сам звонил редко.

— Я и сам думал зайти к вам, Сайфулла Рахманович. Иду.

Сотрудники услышали имя-отчество директора, произнесенное Аброром. Каждый подумал о проекте реставрации Бозсу, тем более что Аброр взял с собой именно этот свернутый в трубку план. У Лены все мильные веснушки вспыхнули, когда она вдогонку Аброру пожела-ла совсем по-студенчески:

— Ни пуха ни пера, Аброр Агзамович!..

Кабинет директора находился на пятом этаже. Аброр неторопливо поднимался вверх по мраморной лестнице со своего третьего. В приемной дожидались очереди четверо.

— Проходите! Вас ждут.— Тамара, девушка-секре-тарь, кивнула Аброру на дверь.

Сайфулла Рахманович легким наклоном головы ответил Аброру на приветствие, жестом указал ему на свободное кресло. В другом уже сидела миловидная женщина средних лет — заведующая одним из инсти-тутских отделов.

— Продолжайте, продолжайте, товарищ Ильхамо-ва...

— Я с нетерпением ждала вашего возвращения из командировки, Сайфулла Рахманович. Путевка в Кисло-водск... Я уже и билеты купила. И вот пришла к вам с просьбой об отпуске... Графика он не нарушает, всего на три дня раньше. Заявление я принесла.

— Оставьте. Подумаем.

Ильхамова явно стеснялась в присутствии Аброра говорить о личном деле, но все-таки решилась:

— Сайфулла Рахманович, времени-то у меня в обрез осталось... Через три дня улетать нужно... Пожалуйста... Если вы сейчас подпишете....

— Зайдите потом,— сдержанно, не повысив голоса, прервал ее директор.

— Завтра?

— После выходного.

Женщина покраснела от волнения.

— В понедельник?.. Но мне в воскресенье уже улечь надо, Сайфулла Рахманович! У меня билеты на руках...

Но чем больше беспокойства проявляла Ильхамова, тем сдержанней, невозмутимей становился Сайфулла Рахманович.

— Билеты сдадите. Мы с вами прежде всего обязаны государственное задание выполнить,— проговорил он глухо.— Зайдите в понедельник...

Видно, Сайфулла Рахманович для того и пригласил к себе в кабинет Аброра, чтобы поскорей закончить неприятный разговор с Ильхамовой, которая, поняв, что дальнейшее препирательство бесполезно, упавшим головом попрощалась с директором и вышла из кабинета.

После ее ухода Сайфулла Рахманович какое-то время молчал. Наклонил голову, будто рассматривая что-то перед собой на столе. Копна его волос густо выбелена сединой, хотя директору нет еще и сорока пяти. Из-под упавшей на лоб седой пряди особенно заметно выделялась чернота бровей. Карие глаза чуть притухшие, лицо гладкое, но сероватое. Какое-то незддоровое. «Наверное, болеет, но скрывает»,— подумал Аброр.

— Как с проектом сквера?— спросил вдруг директор.

— Дня через три-четыре сдадим.

— И то ладно... Развелось, знаете ли, слишком много работничков, которые все больше о себе думают, о том, как бы отдохнуть получше.— Неожиданно директор дал вырваться своему раздражению.— У вас в мастерской не так, слава аллаху.

Покосился на свернутый в трубку лист ватмана, который Аброр держал обеими руками, будто новорожденного.

— Что-нибудь новое?

Аброр заколебался — показывать или нет? Вон ведь как жестко обошелся директор с Ильхамовой. Коли он не в духе, то...

Увидев опасливую нерешительность Аброра, директор улыбнулся:

— Ну, не томите. Говорите да показывайте.

И без того узкие глаза Сайфуллы Рахмановича превращались в едва различимые щелочки, когда он улыбался. Будто человек зажмурился от удовольствия, и лицо его становилось воплощением умиротворенности и благодушия.

Но Аброр только успел развернуть план-проект обновления Бозсу и начал было рассказывать о своей идее, а лицо директора снова приобрело прежнее жесткое выражение.

— Можете не продолжать, — перебил он Аброра. — Я вас понял... Местность вокруг Бозсу — действительно для архитекторов ташкентских главный магнит. Недаром и самое важное учреждение здесь находится — ЦК партии. Со временем Союз писателей к берегам Анхора переедет, и парадный фасад его будет смотреть на канал. А на левом берегу мы воздвигнем здание драматического театра имени Горького... Вот поднимутся эти здания, тогда, соответственно, и будем благоустраивать, как вы предлагаете...

— Сайфулла Рахманович, вы сами часто выступаете против архитектурного разнобоя. В самом деле, отдельные здания, площади, улицы получаются у нас сравнительно хорошо. Но что касается целых ансамблей, то порой они складываются стихийно.

— А мы с вами зачем здесь сидим? Мы что, потеряли способность координировать, да, да, координировать?

— Я так понимаю свою задачу, Сайфулла Рахманович: чем многократно переделывать проекты с учетом объективных требований ландшафта, лучше один раз, но комплексно и самостоятельно разработать план благоустройства этой прекрасной местности. Кстати, лучшей зоны отдыха в Ташкенте, чем берега Бозсу, нет,— почему-то именно этим закончил свою мысль Аброр.

— Кто этого не знает?.. Я тоже люблю Анхор. Такого канала нет ни в Самарканде, ни в Бухаре. Бозсу питают горные воды, а с ними и горный воздух, и прохлада в Ташкент текут. Повторяю: я люблю и ценю этот дар природы... Да и сейчас по мере возможности мы благоустраиваем берега Бозсу, создаем там места для отдыха. Вот — парк Гагарина. Не хуже и парк Победы. Но — по мере возможности. Мы не легокрылые птицы, а строители-реалисты, и вон сколько выстроили уже прекрасных зданий и тенистых, прохладных парков...

Аброру будто уже заранее послышалось продолжение: «Так что для вашего беспокойства поводов нет. Надо подождать, и все».

— Сколько можно ждать? И до каких пор мы будем мыслить — и хвастаться! — отдельными достижениями? — Аброр уже не старался смягчить свою речь.— Парк Гагарина хорош. Но берега канала от ВДНХ до

Урды запущены, захламлены. И от Укчи до Бурджара дел невпроворот. Одно из красивейших мест канала оккупировал почему-то пивзавод...

— Это все уйдет оттуда. Подождите!

— Само не уйдет, Сайфулла Рахманович! Мы обязаны мыслить комплексно... Я много лет изучал ландшафтную архитектуру... И прошу выслушать меня.

Придав своему лицу выражение внимательной благожелательности, директор сказал:

— Хорошо, давайте просвещайте... по возможности сжато.

— Речь идет, — с жаром заговорил Аброр, — о народных традициях во взаимоотношении человека и природы... Система орошения на Востоке издавна учила, наставляла человека — сотрудничай с природой, особенно с водой, не насильничай над ними, не упрямствуй! Жаркий климат и скученная жизнь вынуждала древних горожан Ташкента, Самарканда, Бухары ценить, если можно так выразиться, естественную логику воды. Все знаменитые садово-парковые ансамбли во времена Улугбека, Навои, Бабура, все эти Боги Баланд, Боги Шимол, Боги Дилкушо создавались комплексно, это была та самая ландшафтная архитектура, основа которой — не отдельная грядка или клумба, а река, сеть каналов и арыков. В последующие столетия архитектура во многом утеряла эти традиции. Но в народе всегда жили изначальные элементы садового зодчества. Даже в небольшом дворике — городском, заметьте, пожалуйста, — деревья и цветы располагались в определенном порядке, организуемом течением воды. Арык всюду служил естественной осью планировки. «Слушай, зодчий, что говорит, что подсказывает тебе свободно текущая вода!» — вот я думаю, какой традицией мы, ташкентцы, должны особенно дорожить. Посмотрите, вот Ганчтепе — естественная возвышенность. Прекрасная по своим формам! — Аброр воодушевленно нарисовал в воздухе плавную, закругленную линию холма. — Здесь Бозсу петляет как настоящая река. Для городской ландшафтной архитектуры это редчайшая находка... Посмотрите — вот тут можно перекинуть широкий мост, над всей петлей, прямо на возвышенность. Ганчтепе сейчас — пыльный пустырь. Там нет воды. Но что нам стоит установить насос, оросить, озеленить окаймленный водой холм, посадить шаровидные карагачи, сосны, плакучие ивы, чинары, разбить клумбы цветов. А на вершине холма можно

построить красивое здание с мозаикой, с изразцами — в стиле самаркандской классики.

— А что будет в том здании?

— Например, музей истории Ташкента. С древнейших времен до наших дней. Вполне уместно, ведь вся история Ташкента связана с орошением.

— Насчет этой петли Бозсу существуют и другие предложения.

— Одно из них я знаю, Сайфулла Рахманович. Предлагают разрубить эту петлю и проложить прямое бетонное русло.

Сайфулла Рахманович нахмурился еще сильнее — уже не сосредоточенно, а мрачновато.

— Нетерпимы вы, однако... Неужели все должны думать по-вашему?

Аброр вспомнил Карима Махкамова, родственника директора.

— Я имею в виду предложение Бахрамова. Этот товарищ носится с идеей сплошной бетонизации всех арыков и каналов Ташкента. И во имя торжества бетонной красоты хочет выпрямить Бозсу.

— Оставим Бахрамова в покое... вы с ним привыкли вести рыцарские турниры.— Сайфулла Рахманович обладал редкой способностью мгновенно становиться суровым и тут же смягчаться; сейчас он вновь смягчился.— У меня тоже была идея насчет Ганчтепе. Петлю канала здесь, конечно, надо оставить — тут вы правы. Ну, а с западной стороны холма пустим Бозсу так, чтобы превратить Ганчтепе в красивый островок в центре водяного кольца..

— Интересная мысль...

— Здесь был, как вы знаете, самый эпицентр землетрясения. Потому предполагается — монумент «Мужество». Он будет говорить о подвиге ташкентцев.

— Это просто здорово! Музей истории города и монумент в честь подвига ташкентцев отлично подойдут друг другу... А еще что?

— Город восстанавливала вся страна. Вот почему тут, около холма, встанут гранитные стелы — на языке зодчества и скульптуры воздадут должное всем народам, пришедшим на помощь Ташкенту в его трудный час... Музей на Ганчтепе мы должны сделать идейно насыщенным. Вполне вероятно, что здесь поднимется музей дружбы советских народов.

Лицо директора вдруг сделалось строго-сумрачным.

— Вам, Аброр Агзамович, я вообще советую побольше обращать внимания на идейное содержание проектов. Традиции традициями, но наше новое, социалистическое не менее важно.

— А разве новое, если иметь в виду именно социалистическое, рождается без воздействия добрых традиций?

— Я призываю вас не отказываться от традиций, а не увлекаться ими односторонне.

— Все мы, Сайфулла Рахманович, против односторонности...

— Вот и давайте-ка прервем дискуссию... Вы — творческий человек. У вас свои идеи. Разрабатывайте их у себя дома. Придет время, вопрос созреет, и мы подробно, основательно рассмотрим ваши предложения. А сейчас... сейчас нас с вами ждут неотложные задания. По поводу этого я и пригласил вас.— Сайфулла Рахманович открыл несгораемый шкаф, вытащил оттуда многократно свернутый большой лист бумаги, осторожно развернул его перед Аброром.— Узнаете?

Еще бы ему не узнать план перестройки городского центра!.. Вот площадь Ленина. Среди авторов проекта ее перестройки значились и их имена, Сайфуллы Рахманова и Аброра Агзамова. Шли жаркие споры о принципах перестройки. Предлагалось расширить площадь на северо-восток до проспекта Навои. Но для этого нужно снести очень много домов, целые кварталы. Снести старенькое здание Дома кино. Убрать скверик, площадь Коммунаров и всю Инженерную улицу со зданиями каких-то трестов и даже одного министерства. Аброр сомневался: пойдут ли на все это? Но вот на новом плане-проекте — на этом месте фонтаны, клумбы цветов, аллеи, предложенные Аброром.

— Видите, тут взяла верх наша общая идея,— с довольным видом Сайфулла Рахманович потер ладонь о ладонь.— Ради того чтобы площадь выглядела величественно, горсовету придется в текущем году переселить в новые дома тридцать семей. Плюс семнадцать различных учреждений, здания которых пошли под снос.

— Да, такая площадь уникальна. И величественна, и красочна.

Но что же нового хочет сообщить Аброру директор?

— Значит, так, Аброр Агзамович! Есть решение правительства — памятник Владимиру Ильичу Ленину станет в новом центре площади. Тот, довоенных времен,

теперь рядом с двадцатиэтажной громадиной, конечно, не будет смотреться. Создается новый памятник — гораздо больше и выше прежнего, пропорционально размаху площади. Понятно, что этот новый центр должен быть оформлен самым лучшим образом: гранит и мрамор, редкие цветы, уникальные деревья, вплоть до серебристых елей... И пусть бьют здесь многочисленные фонтаны! — Приподнятую речь свою Сайфулла Рахманович закончил высокой призывной фразой: — В вашей мастерской собраны большие специалисты, Аброр Агзамович. Сами вы — единственный наш ландшафтный архитектор. Доверяем вам ответственное дело, готовьте рабочие чертежи!

Аброр представил себе объем предстоящей работы. А сроки, какие директор даст ему сроки?

— За доверие... спасибо, Сайфулла Рахманович. Мы сделаем все для того, чтобы площадь эта была по-настоящему достойна имени Ленина... Торопливости тут не место, не загубить бы большое дело штурмовщиной.

— Будь это в моей власти, я бы дал вам, Аброр Агзамович, год, но юбилей республики близок, знаете ли. И строителям нужно время, чтобы успеть превратить проект в готовый объект. Словом, нам отпущено шесть месяцев.

— Такую работу за полгода?! Это же невозможно, Сайфулла Рахманович!

— Архитекторы будут не одни. Есть еще группа экономистов-сметчиков. Есть гидротехники. Инженеры по подземным коммуникациям. Познакомьтесь с ними своих сотрудников.

Директор протянул Аброру толстую папку. Она оказалась тяжелой, и свернутый в трубку проект по Бозсу, с которым он пришел сюда, вроде бы совсем потерял в весе. Сайфулла Рахманович тоже взглянул на свернутый ватман почти откровенно скептически.

— Аброр Агзамович, я поручаю вам самую тонкую художественную часть проекта. Прошу вас не отвлекаться теперь ни на что другое. К проблеме благоустройства Бозсу вернемся потом, после завершения правительственного объекта. Если по этому заданию у вас возникнут вопросы, обращайтесь ко мне в любое время. И даже звоните домой. А уж сюда входите смело, несмотря ни на какие очереди в приемной, я так и Тамаре скажу.

С работы Аброр заехал на базар, потолкался по магазинам и вернулся домой, нагруженный кульками и пакетами со сиедью.

Двери открыла Малика. Приняла из рук отца покупки, заахала радостно, затараторила:

— Ой! Горячие лепешки! Ой, огурцы! Черешня!

Из столовой выбежал Зафар:

— Где черешня?

— Да вот, смотри! — подняла кулек Малика. — Папа, а почему вы так поздно?

— Народу в магазинах много...

Втроем они перенесли в холодильник и на кухонный столик кефир, сметану, молоко в треугольных пакетах, сосиски, сыр, еще что-то... Зафар не утерпел, схватил горсть черешни.

— Сначала надо помыть! — строго прикрикнула Малика.

— Помыть, помыть... Подумаешь, ну и помою...

Зафар ел ягоды и выплевывал косточки — проверка меткости! — стараясь попасть в открытое мусорное ведро под раковиной.

Аброр уселся на табуретку; усталый, он умиротворенно и даже с интересом следил и за метким Зафаром, и за хлопотуньей дочкой.

— Все в порядке, Малика? Есть новости?

Не отрываясь от дела — она переставляла в холодильнике молочные пакеты в «мамин порядок», — Малика сообщила:

— Дедушка приходил. Он долго вас ждал...

— И ушел? Давно?

— С полчаса назад. Я его чаём угостила. Но он только одну пиалу выпил. Хмурый какой-то был.

— Что-нибудь случилось? Он ничего тебе не сказал?

— Нет. Все вздыхал да вздыхал. Попросил, чтобы вы навестили его.

Аброр встал с табуретки.

— Что же все-таки у них стряслось?.. Пожалуй, я сейчас съезжу, а?

У Зафара сразу возникла захватывающая идея:

— Папа, надо ехать на машине! Возьмите меня с собой, ладно?!

Аброр глянул в окно. На улице темновато, вон уже и свет включили в доме напротив.

— А Малика одна дома останется? — надулась девочка.

— Ты тоже с нами поезжай! — великодушно разрешил Зафар.

Малика почему-то вспомнила, как в прошлый раз бабушка Ханифá ворчливо ее упрекнула: «Ты уже большая, надо теперь подлинней платья носить... А то коленки торчат!» Малика терпеть не могла длинных платьев. И сейчас на ней юбка на палец-другой выше колен. Мама ей разрешила. А бабушка снова ворчать станет... Малика отказалась:

— Останусь, телевизор посмотрю.

Аброр вдруг почувствовал, как сильно он устал за сегодняшний день. Язык будто прилип к нёбу. Руки тяжестью налились. От руля, что ли? И очень хочется пить! Он открыл холодильник; не заглянув внутрь, с нужной полки («мамин порядок») вытянул бутылку простокваша. А стал пить, сморщился: в нос ударили запах бензина. Вот те раз, заправлял машину и даже руки забыл помыть... В самом деле, значит, устал.

Аброр пошел в ванную.

— Так что, папа, ужинать будем? — спросила Малика.

— А что? Это мысль! — отозвался Аброр, смывая мыльную пену с рук струей горячей воды. — Только побыстрей собери что-нибудь. Может, сыру поедим? Или сосиски отварим?

— Сосиски! Конечно, сосиски, — решительно заявил Зафар.

И Малика выбрала сосиски.

Аброр подумал, что если уж сегодня ехать к отцу, то поскорее, но не поужинать сейчас с детьми, хоть и есть не хочется, тоже нельзя. Ну, и усталость надо с себя снять. Решил, пока сосиски сварятся, немного передохнуть, прилечь на диван; отправился в комнату, которая именовалась у них гостиной. На обеденном столе увидел раскрытый портфель Зафара, а рядом книги, тетради, чернильница — все в беспорядке разбросано. Небрежно скомканная белая рубашка, которую только сегодня утром старательно гладила брату Малика, свисает обеими рукавами до полу со спинки стула. На другом стуле — шорты. По ковру раскиданы тапочки.

— Зафар! А ну-ка поди сюда!.. Это что за безобразие? Сейчас же все прибери! Положи по местам!.. Да пошевеливайся, а то никуда не поедем.

Обычно юркий, расторопный, живой, как ртуть, Зафар, с недовольным лицом, будто больной, стал, еле-еле

передвигаясь по комнате, медленно собирать свои пожитки.

— Каждый день тебе твердят: надо прибирать за собой, нужен порядок в доме,— строго выговаривал так и не прилегший на диван Аброр.— Где рубашке место? Ступай повесь аккуратно в шкаф... И тапочки надень!.. Почему книги и тетради разбросал?..

— Малика пристает, заставляет уроки учить...— Зафар возмущенно засопел.

— И правильно делает, что пристает. Ты сегодня по математике что получил? Отвечай!

— Ну, тройку...

— «Ну, тройку»,— передразнил сына Аброр.— Что ты за недотепа, из троек не вылезаешь. Мы с мамой в твоем возрасте одни пятерки получали.

— Да... знаешь, какая задачка попалась... Я думал-думал... не понимаю, и все!

— Какая задача? Ну покажи!..

Аброр с сожалением глянул на маняще мягкий диван: отдохнуть теперь не придется, но сын есть сын, и, в конце концов, нельзя запускать его воспитание. А математика — это самое важное...

— Папа, Зафар! Идите, ужин готов!— позвала из кухни Малика.

Задачка задачкой, но есть-пить тоже надо. И чтоб вовремя. Аброр с Зафаром пошли на кухню. Малика держала в обеих руках литровую банку зеленого горошка.

— Папа, откроем?

— Отличная идея — горошек к сосискам! Дай-ка мне открывалку... А чай поставила?

— Ой, забыла! Сейчас-сейчас!

Голова у Аброра гудела, да и эти домашние заботы... ну, куда делся это проклятый консервный нож? Он дергал один за другим ящики кухонного стола, ворошил в них какие-то пробки, защепки, крышки для банок — консервного ножа не было.

— Да вот же он!— Малика достала открывалку из того самого ящика, который Аброр собирался уже задвинуть.

Несколько ложек зеленого горошка, а сверху кусочек сливочного масла... две-три сосиски — обедение, да и только! Аброр поспешно вскочил с табуретки.

— Машина-то на улице осталась!

«Жигули» были тоже вроде члена семьи. Да еще та-

кого, что доставляет больше, чем другие, забот и тревог. В прошлом году он вот так же вечером оставил машину на улице и на минуту поднялся к приятелю. Пока ужинали, говорили о делах, красивые подфарники и маленькие лампочки-указатели поворота исчезли с его «Жигулей». А без них не поедешь, на первом перекрестке автоинспектор тебя остановит. Где пешком, где на такси Аброр тогда весь город из конца в конец прочесал: одно пришлось покупать в магазине, другое в тридорога с рук у слесарей из ремонтных мастерских. С тех пор, раз и навсегда проученный, Аброр стал осторожным и осмотрительным. Сегодня, например, он ведь недаром поставил машину у большого уличного фонаря так, чтобы ее можно было видеть с балкона. А вот посмотреть на машину забыл... Держа вилку в руке, Аброр выскочил из кухни.

Сверху машина напоминала распластанную на асфальте черепаху... Вроде все в порядке... Еще нужно поставить ее в гараж, откуда километра полтора пешком домой топать... Да, но сначала-то — съездить отца повидать. Что же там стряслось? Почему он вздыхал, как сказала Малика?

Аброр торопливо доел сосиски, взял пустой бумажный пакет и положил в него четыре сдобных лепешки. Он никогда не появлялся у родителей с пустыми руками. Открыл холодильник, достал припасенную Вазирой баранину, отелил от нее добрый, килограмма в два, кусок, завернул в целлофан. Хотел было черешни немного отсыпать, но раздумал. Всего-то килограмм купил. Вон и дети с нее глаз не сводят, тоже торопясь расправиться с сосисками.

— Ладно, пусть черешня останется вам. Возьми, Малика, вымой половину.

Между тем закипела вода, зафырчал зеленый эмалированный чайник, задребезжала подбрасываемая паром крышка. Малика насыпала в глубокую миску — каcú — черешню, промыла ягоды струей воды из-под крана. Аброр взял несколько темно-красных, влажно-упругих ягод, съел их одну за другой.

— Чай, доченька, сама попьешь. А мне что-то расхотелось. Съезжу я к дедушке и бабушке, ладно? А ну, Зафар, пошли!

Зафар на ходу запустил руку в касу — захватить с собой побольше черешни. Свободную руку протянул к бумажному пакету:

— Давай, папа, я понесу.

— Только держи крепче.

Аброр заглянул в гостиную, потом двинулся в прихожую. Квартира ему показалась странно опустелой. Свет из прихожей падал в спальню, высвечивая через проем полуоткрытой двери кровать с белеющей из-под откинутого одеяла простыней и с брошенным поперек постели халатиком. Утром в предотъездной спешке Вазира не успела прибраться... Без нее, без Вазиры, квартира стала сразу пустой и сиротливой.

Аброр остановился, обернулся в коридорчик, что вел на кухню.

— Малика, мама не звонила?

— Нет,— донесся голос дочери.

Аброр поднял к глазам левую руку. Посмотрел на часы — десять минут десятого. В Москве еще, значит, только шесть часов.

— Если позвонит, запиши номер ее гостиничного телефона. Может быть, я потом сам позвоню... Поняла?

— Поняла... Передайте бабушке привет.

Вдвоем спустились во двор. Свет, падавший из окон, изжелтил деревянный забор. Снова вспомнился Шерзод Бахрамов.

Аброр поспешил побыстрей пересечь развороченный двор. Постарался выбросить Шерзода из головы: и без Шерзода хватает забот и волнений.

Вот когда городские улицы становятся посвободней: между предвечерними часами возвращения людей с работы домой и вечером поздним, послетеатральным.

Аброр включил подфарники, настроил радиоприемник на нужную волну — приятной вечерней музыки — и спокойно поехал по яркой магистрали. Промелькнули улица Усмана Юсупова, Рабочий городок, потом осталась позади последняя асфальтированная улица. Машина задрожала, затрепыхалась на ухабах и выбоинах. И ночь стала вроде темнее. Старые улочки, будто нарочно, прятали свои колдобины, и Аброр никак не успевал вовремя разглядеть их: то одно, то другое колесо машины проваливалось невесть куда, весь корпус «Жигулей» немилосердно раскачивало и трясло.

Одноэтажные, крытые шифером домишкы, глипобитные заборы, могучие старые тополя, что спустились чуть ли не к самой воде арыков, — все здесь напоминало киш-

лак. Впрочем, нет, в кишлаке просторней, а тут дворы лепятся друг к другу, тут теснота, говорящая, что въехали вы в один из кварталов Старого города.

Вскоре он остановил машину у знакомого ряда пирамидальных тополей, перед выкрашенными в голубой цвет двустворчатыми воротами. Он с Зафаром вышли из машины, открыли калитку, ступили во двор, и тут же на дорожке у дома показалась Ханифа-хола, высокая, в белом кисейном платке и черной бархатной безрукавке поверх простенького ситцевого платья.

— Это ты, Аброр? Что ж стариков навестить времени не выберешь? Пока отец к тебе сам не заявится, ты и ухом не ведешь...

Зафар вежливо поздоровался с бабушкой, протянул ей бумажный пакет:

— Это вам!

— Ах ты, радость моя, радость бабушкина! — расстрогалась Ханифа-хола, прижала Зафара к себе, поцеловала в лоб.

Агзам-ата в задумчивости сидел на чорпое, положив на хантахту сомкнутые в замок руки. Увидев сына и внука, старик выпрямился, привстал на курпаче. Аброр поспешил к отцу, за руку поздоровался с ним, придержкал, показывая, что не надо сходить с помоста. Пусть отдыхает Агзам-ата, за семьдесят ему.

Двор у родителей просторный. По двум его сторонам тянутся крытые навесы, а в глубине дом с верандой и пристройками. С веранды в сад льется свет, зажигая на яблонях и урюке желтые плоды среди темной листвы. Виноградные лозы, поднятые на жердях, образуют крытую аллею. Красиво, уютно. И от жизни тут не отстают. Вон под карнизом протянулась газовая коммуникация — труба для плиты. А во дворе — водопроводная колонка.

Аброр взобрался на помост, сел на расстеленные курпачи; ветер донес до него приятный запах; так пахнет добрый табак, но это не табак, это знакомый с детства запах поздней весны, когда цветет виноград. В темноте виноградные лозы напоминали темно-зеленый водопад. С противоположной от ворот стороны не было забора, лишь проволочная сетка, за которой протекала река. Дом стоял на самом берегу Бозсу, но шума воды во дворе не слышно. В широком русле вода бежала быстро, но бесшумно, только тихо плескалась у берега; и веяло от воды влагой, освежающей прохладой.

И когда Аброр вдохнул этого воздуха, этого ветра, настоящего на свежей чистой воде и цветущей лозе, бодрость и вместе с ней умиротворенность овладели душой, волнами разлились по телу.

После обычных расспросов о житье-бытье, о здоровье Агзам-ата глянул на жену и сказал негромко:

— Позови Шакира.

Ханифа-хола пошла за младшим братом Аброра — Шакиром, который сидел в комнате у телевизора. Агзам-ата примолк, видно обдумывая что-то, пощипывая кончик короткой седой бородки.

Каждый раз, когда они приезжали сюда, Зафар играл то с кошкой, то с курами, то с овцами: мальчик очень любил животных. Бросился он и сейчас искать кошку, но ее нигде не было. А куры давно уже спали в сарайчике на насесте.

— Бабушка, а где кошка? — остановил он Ханифу-холу.

Та не ответила, наверное не расслышав вопроса. Зафар пересек двор, заглянул под навес. Два барашка повернули к нему головы, тряхнув веревками, которыми их привязали. Оказывается, корм кончился, и Зафар пошел к кучке сена, собранного в глубине загона, и принес две охапки. «Хрупайте, барашки, хрупайте, вы такие хорошие».

Зафар гладил то одного, то другого. Барашки были недавно острижены, вон еще следы ножниц видны.

Шакир вышел, поздоровался с братом и подсел на край помоста, вытянув и скрестив ноги. Длинные черные волосы закрывали парню шею. «Словно у девицы какой-нибудь», — подумал Аброр. А вот усыки явно шли брату. Плечи у Шакира широкие, в поясе он тонок и гибок. И рубаха по моде приталена. Подумать только, Шакиру уже двадцать пять, осенью Агзам-ата собирался женить своего младшего. Барашки, с которыми забавлялся под навесом Зафар, к свадьбе, видно, и предназначались, заранее откармливались. Аброр уже давно ждал, когда отец пригласит его на семейный совет по поводу предстоящей женитьбы брата.

— Ох, мулла Аброр, мулла Аброр, — глухо заговорил наконец отец, чуть в насмешку величая сына почтительным «мулла», как обычно обращаются к высокообразованному человеку. — Нет, не суждено нам дожить свои дни в этом дворе.

Аброр давно уже сказал родителям, что частные домики, расположенные на берегу Бозсу, будут сноситься.

— Не зря, оказывается, ты говорил, сынок, не зря... Приходили сегодня, постановление исполкома нам читали.

Сегодняшний разговор в кабинете Сайфуллы Рахмановича и вот тут разговор — предмет-то один, да две точки зрения.

— Но здесь-то, кажется, еще не будет строительства? — спросил Аброр у Шакира, который работал на стройке.

— Вроде бы мост собираются неподалеку возводить, — ответил брат, отводя глаза. — Разве Вазира-апа ничего не говорила?

Агзам-ата слушал сыновей, потом с новой надеждой спросил у Аброра:

— Может, сынок, ошибка какая вышла? Ты уж постараися нам помочь. Зачем зря дворы сносить?

— Этим дворам все равно здесь не быть, — сказал Шакир.

— Но коль мост здесь строить не будут, какая нужда нас сносить? — не сдавался Агзам-ата.

— Да здесь не об одном только мосте речь — строительство целое, — пояснил Шакир.

— А приостановить строительство нельзя?

Шакир уже не смог сдержать раздражения:

— Что значит приостановить, отец? Ведь и Аброр сколько уже раз выступал с призывами: «Превратим берега Бозсу в благоустроенную зону отдыха для населения!» Проекты разрабатывают. А чтобы взяться за их осуществление, надо расчистить ее берега...

— Это и впрямь так? — Агзам-ата пристально посмотрел на старшего сына.

Хоть и скрытый, но укор: «Значит, из-за твоей работы разрушат этот двор, снесут этот дом, где ты сам родился и вырос?!» Аброр хотел было объяснить отцу, что проект, о котором говорит Шакир, разработали специалисты из другого института. Проектных организаций в республике много, и они не докладывают друг другу о том, что собираются делать. Аброр сам впервые от младшего брата услыхал про мост через Бозсу. Но утверди соответствующие инстанции не этот проект, а его собственный, старые строения на берегу Бозсу подлежали бы сносу тоже.

Аброр тяжело вздохнул:

— Выхода и впрямь нет, отец, так или иначе, но эти берега будут перестроены.

Подошла к мужчинам Ханифа, принесла и поставила на хантахту чайник со свежезаваренным чаем. Никто на нее внимания не обратил.

— Такой большой пост занимаешь! — с укоризной бросила Ханифа старшему сыну. — Неужели ничего не можешь для родителей сделать?

— Раз принято постановление... Шакир, ты читал его? Когда там предусматривается переселение?

— В трехмесячный срок. Выплачивают денежную компенсацию, а тем, кто пожелает, предоставляют равноценные квартиры.

— Значит, успеем до переезда сыграть свадьбу? — спросил Аброр.

— Как ты можешь думать о свадьбе! — с болью воскликнул Агзам-ата. — Мы без крова остаемся, без родного дома.

— Поймите, отец, мне этот дом тоже очень дорог. Как подумаю, что его снесут, сердце болью захочится. Но разве нас одних постановление касается? Сколько старых улиц исчезло после землетрясения, сколько людей в новые дома переселили!

— Что ж теперь, из-за этого землетрясения весь город вверх дном надо поставить? — совсем уже разгневалась мать: упервшись руками в край помоста, сверлит Аброра взглядом. — Конец света наступает, что ли? Семь лет прошло, а оно, проклятое, все еще людям покоя не дает!

— Старые дома, старые улицы и без землетрясения снесли бы, мама, — сказал Аброр как можно спокойней. — Еще за десять лет до него по генеральному плану застройки Ташкента берега Бозсу предназначались для зоны отдыха.

Агзам-ата понимал правоту сына. Общую правоту. Но горько было сознавать старику, что его Аброр и его Вазира сами как раз из тех людей, чья работа, оказывается, делает неизбежным разрушение их милого дома, в котором прошла долгая, но ведь не кончающаяся сегодня-завтра жизнь. И потом — не вся правда за Аброром, не вся!

— Благоустраивать район — да, предусмотрено!.. А зачем арыки губить, нашими руками выкопанные? Я тридцать лет поливал и растял в Ташкенте деревья,

а такие, как ты, умники, взяли да и вырубили их одним махом... Столько арыков уничтожили! А что дали вместо них? Асфальт и бетон? Где ваши новые сады, где обещанные райские кущи?

Аброр понимал, мало того — разделял душевную боль, которая терзала старика. До землетрясения Агзам-ата был известным в Ташкенте мирабом. Под его началом работали больше двадцати человек. Они следили за своевременным орошением деревьев и цветников. Агзам-ата умудрялся проводить воду и туда, где ее отродясь не бывало: глядишь, на голом, прожаренном зноным солнцем пустыре деревца начинали шуметь — робко, но внятно. Люди говорили: «Агзам-ата заговор знает... Агзам-ата может заставить воду и в гору течь». Мирабское мастерство отца не раз восхищало и Аброра. «Вот и нынешнее русло Бозсу проложили некогда такие же искусные мастера,— думал он.— Прирожденные мирабы».

Мираб Агзам некогда любил ходить пешком по ташкентским улицам. Особенно летом. Шел бы и шел по тротуарам — в густой тени высоких деревьев, что выстроились в бесконечные ряды, под веселое журчание воды в арыках. За определенными улицами закрепляли определенного рабочего, обязанного следить, чтоб на его участке всегда было достаточно воды. Идет, бывало, Агзам-ата по пешеходной тропе, слушает говор воды... чуть где он смолк, мираб направляется туда. Обнаружит, что пересох арык или русло илом занесло, что деревья без воды начинают вянуть,— немедленно за поливальщиком, гневный, решительный. А если помочь окажется нужной, сам первый и поможет. Глядишь, и ожил снова арык, весело зажурчал, зазвенел тугой поток.

— Видно, прошли времена мирабов! Были поливальщики, теперь силесари!..— Агзам-ата невольно, а скорей даже намеренно исковеркал слово «слесарь».— Нам до силесарей далеко, тянуться да тянуться. Хотя... возьми этот двор... В зелени вроде весь, ухожен неплохо, а? Дай его вам, силесарям, в два счета превратите в пустыню! Железобетона здесь понатыкаете!.. У меня сердце кровью обливается, сынок.

Аброр нервно проглотил слюну: непросто опровергнуть сейчас отца, очень непросто.

— Отец, вы меня не валите в одну кучу с теми торопыгами, кого я и сам терпеть не могу. Я хочу, чтобы берега эти были в десять раз зеленее и краше, чем

нынче. Кстати, сегодня я опять столкнулся из-за этого с нашим директором.

— Что толку от твоих споров и схваток! — буркнул Шакир, глядя в землю. — Переселяться надо... не тянуть с этим делом.

— А где вы квартиру получаете, известно?

— В Юнусабаде выделяют, в новом жилмассиве.

Ханифа почувствовала, что наступает самый ответственный миг на семейном совете, и тоже взобралась на чорпою.

— В новых домах все готовое, — сказал Аброр, посмотрев на мать. — Ни о дровах, ни об угле на зиму думать не надо. Холодная и горячая вода, газ...

— А летом? — перебила Ханифа-хола. — А карабкаться на четвертый-пятый этаж да спускаться оттуда?

— Дадут и на нижнем, если попросишь. — Шакир гнул свое: скорей бы, скорей получить новую квартиру, не тянуть с переездом.

Агзам-ата молчал, сидел, склонив голову да привычно пощипывая бородку.

— Это что же выходит, — продолжала упорствовать Ханифа-хола, — бросай такой ухоженный прохладный двор и давай-ка жарься в вашем доме — душном и раскаленном?.. А тут свадьба на носу. На троих-то нам всего две комнаты дадут. Сколько туда гостей поместится? И двора нет, где бы можно курпачи да паласы расстелить!

— Зато балкон будет! — сказал, усмехнувшись, Аброр.

— Молчи уж про эти свои балконы! Отдохнешь там, как же, подышишь свежим воздухом!.. Пыли нагло-таешься, оглохнешь от уличного шума — вот и все удовольствие... А попробуй ночью засни на цементе. Да и духотища.

— Ну, я не знаю... Коль не в новый дом, так куда вы собираетесь переселяться, отец?

Агзам-ата поднял голову:

— Сынок, богу одному известно, сколько нам со старухой жить осталось. Была у меня мечта в этом дворе свой век дожить, а там уж переселили бы меня прямо на кладбище Минор, тоже на берегу Бозсу, рядом... Да, видать, не суждено мечте исполниться... Мы с матерью вашей все равно что деревья, они ведь только на земле растут. Оторви нас от земли — недолго протянем, завянем... Знаю, трудно получить сейчас новый участок, еще

сложней будет стройку на нем затевать... Но деревья лишь в землю корни пускают. В землю...

— Вот и сходите куда надо, пусть участок земли поближе к нам дадут. Отец сорок лет труда отдал Ташкенту. Еще живы те, кто видал, как сам Ахунбаев орден ему на грудь приколол... Подтвердят, если потребуется! — подхватила Ханифа-хола.

— Да не в ордене дело! — проворчал Агзам-ата. — Зачем орденом козырять?

— В черте города свободной земли на осталось, — развел руками Аброр. — И многоэтажные дома стали теперь плотней, чем раньше, ставить. А участки... их почти прекратили выделять.

— Ну конечно, как до нас черед дошел, у вас все прекратилось! — чуть ли не выкрикнула Ханифа-хола. — А тем, кто деньги предложит, — пожалуйста!

Аброр тоже не сдержался, бросил резко:

— Ну так возьмите и купите!

— Хорошо, купим! — в тон ему ответил отец.

Он слышал, что государство немалые деньги платит тем, чьи личные дома сносят. Представитель исполкома уже подсчитал, сколько у них во дворе деревьев, виноградных побегов, сколько леса ушло в свое время на строительство дома и других материалов, все изменил — от крыши до пола, учел и внутреннюю отделку. Приблизительно прикинув, заверил: «По нынешним меркам самое меньшее семья, а то и восемь тысяч рублей получите». Агзам-ата цифру эту сыновьям не называл, показалась она ему неоправданно большой. Не дадут столько, но...

— Себя заложу, а участок куплю, — заявил он решительно. — Хоть недостроенный. Есть брошенные участки, где хозяева одни фундаменты успели заложить...

У Шакира от волнения сердце молотком застучало, он соскочил с помоста.

— Страшно дорогое дело затеваете, отец! — воскликнул он. — Участок такой, начатый, еще найти надо, официально все оформить, а потом материалы доставать, а строить во что обойдется?.. Зачем вся эта морока? Жили бы спокойно в нормальной квартире, ее-то без хлопот получить можно!..

— Тебе покой нужен, так ты иди получай свою квартиру! — отрезал Агзам-ата. — А участок моя забота. Сам управляйся...

Шакир, конечно не и тех отпрысков, кто может

спокойно полеживать себе в благоустроенной квартире, когда отец будет глину месить да кирпичи таскать. Это Агзам-ата знал. Как и то, что Аброр без помощи тоже не оставит. Да и сам он... пусть ему за семьдесят, но силенки еще есть, слава аллаху. Рабочему человеку стоять надо на своем твердо, не отказываться от задуманного.

Шакир привел последний довод:

— Ладно, будем строить. Но... отсюда мы должны выбраться не позже чем месяца через два, верно? А участок раньше чем за год не обиходит... Где же девять-десять месяцев жить станем?

Аброр промолчал, хотя ясно было, что слово за ним. Ханифа-хола глянула на него исподлобья, заговорила о старшей дочери:

— К Мукамбар подадимся. Не выгонит, наверное, приютит на время.

Мукамбар? С четырьмя детьми, мужем и свекровью, на шестом этаже в девятиэтажном доме? Правда, была еще младшая, Рисолат, она в собственном домике жила. Но Рисолат недавно первенца родила, Ханифа-хола не успела бешик-той спрятать и потому о ней ничего не сказала.

— Но ведь семья у Мукамбар... Семь человек в трех комнатах! Да нас еще трое добавится! — изумленно воскликнул Шакир.

— В тесноте, говорят, да не в обиде, — заметил Агзам-ата.

Аброр, конечно, понимал, что родители не хотят стеснять и без того большую семью зятя. И понимал, что стыдно будет ему, Аброру, если родители переселятся к старшей дочери.

— К чему ходить вокруг до около, мама?! — не выдержал он наконец. — Не бойтесь, на улице вы не останетесь! У нас четырехкомнатная квартира. Любую комнату, какую пожелаете, освободим. Живите на здоровье сколько понадобится!

Именно этих слов ждал от сына и Агзам-ата.

— Да, сынок, ежели у тебя можно пожить, станем ли мы зятя стеснять? — облегченно вздохнул он.

Все здесь знали, сколь нелегкую заботу взваливает на себя Аброр. Отношения между Ханифой-холой и Вазирой сложились непростые. Аброр справил свадьбу здесь, в доме, на берегу Бозсу, здесь же Малика с Зафаром родились. За годы совместной, в одну семью, жизни

между свекровью и невесткой накопилось множество взаимных недовольств, непониманий и обид. Конечно, и доброе было: обоядная поддержка и уступки (больше со стороны Вазиры, правда), а главное — общие радости. Но когда наконец Аброр с Вазирой получили отдельную квартиру, обе женщины вздохнули с облегчением. А теперь снова вместе жить? В просторном дворе после стычки хоть разойтись можно, на глаза друг дружке какое-то время не попадаться, а в обычной городской квартире?..

— Женушка снова в Москву уехала? — спросила Ханифа-хола Аброра. И посмотрела на сына жалостливо, будто хотела добавить: «Вот как тебе, бедному, жить-то приходится! Невестка разъезжает по командировкам, дом и детей на мужа бросила!..»

Опасаясь, как бы мать не пустилась в дальнейшие расспросы-допросы, Аброр ответил подчеркнуто однозначно:

— Да.

— А вернется когда?

— Скоро... дня через три... Тогда так и договоримся, отец! Я завтра же в нужные учреждения наведаюсь, все разузнаю.

— Да, ты, сынок, еще раз все разузнай хорошенечко. Переселять нас решили твердо или как? И насчет участка — выделят иль нет?

— Хорошо, хорошо. Потом заеду к вам, расскажу. А теперь я, пожалуй, домой...

Агзам-ата сложил уже руки в привычный напутственный жест, но тут взгляд его упал на чайник:

— Вай, Шакир... Про чай-то мы совсем забыли!

Видно, прохлада, что веяла от близкой воды, уняла недавнюю жажду Аброра.

— Не хочу я чаю. Ну, отец...

Агзам-ата благословил сыновей, привычно — сверху вниз — провел по лицу сложенными вместе ладонями.

Аброр поднялся, глазами поискал сына:

— Зафар, ты где?

Зафар явился из-под навеса с пестрой кошкой на руках.

— Нашел все-таки... Давай собирайся, поехали домой... Тебе бы только кошек до собак подбирать... Отпусти ее!

— Ну, почему? Возьмем с собой!

— Она к этому двору привыкла, у нас жить не будет.

— Тогда я с ней тут останусь.

Ханифа-хола была явно довольна, что внуку не хочется от них уходить.

— Умница!.. Радость ты бабушкина! Оставайся!

— Если б не учеба... — Аброру не хотелось лишний раз перечить матери. — Четверть заканчивается. Скоро начнутся каникулы, вот тогда Зафара привезу к вам.

Нехотя Зафар побрел за отцом на улицу, к машине.

Уже за рулем Аброр глянул в стекло кабинки на часть двора, видную через проем калитки, на дом, на виноградник, такой родной, что нельзя было удержаться от тяжелого вздоха... Исчезнет скоро родное гнездо... И вся тяжесть предстоящего, вдруг почувствовал Аброр, легла теперь на его плечи.

Не обращая внимания на тряску, Аброр быстро вел «жигуленка» по узкой извилистой улочке, весь во власти завтрашних забот: прикидывал, куда обратиться по делу об участке, с кем полезно в первую очередь встретиться, какую из комнат удобней было бы освободить для родителей — его кабинет или их с Вазирой спальню? А с ними еще и Шакир. Не станет же молодой парень со стариками в одной комнате куковать... Значит, и Шакиру надо отдельную... А как же они вчетвером в двух остающихся разместятся? Малика уже подросла, она отдельно спать должна... И что еще Вазира на все это скажет? Целый год терпеть у себя в квартире трех взрослых людей... да еще с капризами...

Аброр почувствовал себя виноватым перед женой. Истаяло само собой утреннее раздражение, вызванное поведением Вазиры в аэропорту.

Выехав на освещенное место, Аброр поднял к глазам руку с браслетом-часами. Половина одиннадцатого. В Москве еще полвосьмого. Вазира обещала позвонить домой.

Может, успеем приехать к ее зонку?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вазира поселилась в гостинице «Россия» на одиннадцатом этаже, в двухместном номере с окнами на Кремль и Москву-реку. Соседкой по номеру оказалась латышка, высокая худощавая женщина лет пятидесяти. Она приехала в командировку от театрального общества своей республики. Очень энергичная, подвижная

женщина. Быстро познакомилась с Вазирой. Быстро наметила себе программу дня. И, не отдохнув с дороги, к полудню уже ушла куда-то по делам.

А Вазира немного устала. Оставшись одна, скинула платье, прилегла отдохнуть.

И тут же зазвонил голубой телефон на тумбочке у изголовья кровати. Не поднимаясь, Вазира протянула руку и взяла трубку.

— Ну как, Вазирахон, хорошо устроились?

Она узнала чуть измененный телефоном голос Шерзода, непроизвольно поднялась, села на постели, прикрыв одеялом ноги.

— Спасибо, Шерзод, хорошо.

— И там у вас есть все, чем администратор хвасталась?

Когда они приехали в гостиницу и стали оформлять прописку, Вазире сначала собирались дать номер похоже, на тринадцатом этаже. Но вмешался Шерзод:

«Что вы, разве так можно?! Это нас вы поселяйте куда угодно, а такой красивой женщине будьте добры и номер соответствующий выделить!..»

Женщина-администратор рассмеялась, подобрела.

«Ну, хорошо. Вот вам,— вручила она Вазире карточку-пропуск.— Отличный номер с прекрасным видом на Кремль».

Вазира не забыла про заступничество Шерзода:

— Здесь даже лучше, чем было обещано. Не просто Кремль, а даже часы на Спасской башне отсюда видны. Я свои по ним на московское время перевела.

— Ну, поздравляю!

Слышимость была такая, будто Шерзод совсем рядом стоял, даже дыхание его четко различалось.

— А вы на каком этаже?— поинтересовалась Вазира.

— О, не спрашивайте!.. На тринадцатый нас поместили. А мой приятель, наш-то спутник, этой цифры терпеть, оказывается, не может. Окна у нас к тому же на шумную улицу выходят...

— Значит, для меня постарались, а себе во вред?

— Ну, что вы... Знаете поговорку? Если собрался ковер продавать, продай другу, тогда и сам на краешке посидеть сможешь. Надеюсь, вы пригласите к себе в гости?

— Конечно...

Шерзод, видимо, надеялся, что Вазира тотчас и ска-

жет: «Приходите». На какое-то время он замолчал, ожидая. Однако Вазира не торопилась произнести это слово. На ту степень дружеской фамильярности, к которой явно стремился Шерзод, она идти не хотела.

— Сейчас моя соседка... отдохать легла,— неожиданно для себя солгала Вазира, и ей самой стало неловко и стыдно.

— Ну ничего,— приободрился Шерзод.— Тогда мы сходим пообедаем, ладно?

— Недавно же ели, неугомонный вы какой!

— Что за еда в самолете! Я успел изрядно проголодаться.

Вазира решила твердо держаться от опасности подальше.

— Знаете что, Шерзод? Вы спокойненько пообедайте. Без меня. Договорились? А я вся какая-то разбитая после полета.

— Хотите отдохнуть немного?

— Да. Во второй половине дня мне кое с кем встретиться надо, разговоры непростые будут, я чувствую.

— Может, на такси вас подвезти? А, Вазирахон?

«И в студенческие годы был прилипчивым, и теперь остался таким же»,— подумала Вазира. Но Шерзод позабыл: когда кто-то упорно настаивал на своем, чего-то добивался от нее помимо ее желания, Вазира становилась непреклонной.

— Спасибо, Шерзод, но у вас тоже, наверное, дел немало. Давайте не связывать друг друга ожиданиями да обещаниями. Так нам свободней и спокойней будет. У меня здесь есть подруги. Я могу вечером и задержаться.

— Выходит, мы больше не встретимся?— заметно упавшим голосом спросил Шерзод.

— Ну, почему же? Не сегодня, так завтра. Или послезавтра. Вы дайте мне свой номер телефона, я позвоню, как только сумею.

Шерзод назвал номер телефона. Голос его снова звучал мягко, предупредительно:

— Вазира, вообще-то говоря, вы... опасаетесь будто чего-то?..

Вазира решила отшутиться:

— Вообще-то говоря, вы и сами все примерно понимаете...

— Понимаю. Но ведь вы... из тех, кто свободен от предрассудков... Я помню студенческие годы. Вы с по-

другами уже тогда ничего не боялись, обходились без жеманства и ужимок. Или я не прав?

— Видимо, постарела, Шерзод,— почему-то весело заметила Вазира.— Да и свобода женщины не исключает чувства меры, правда?

— Оставьте это, пожалуйста!.. Похоже, ваш муж в слишком жесткие рамки вас заключил.

— Не муж, я сама... все-таки я восточная женщина. Есть границы, которые я не привыкла преступать.

— Эти границы давно устарели, Вазира. Пожалуйста, вам пример: моя жена — артистка, она уже месяц как на гастролях, я ни в чем ее не стесняю — разумный, самостоятельный человек, она вольна в своих поступках... Разумеется, у меня тоже полная свобода.

— У каждого свое, Шерзод. Мне нравится быть такой, какова я есть. В этом моя свобода. И давайте друг другу ничего не навязывать. Хорошего из этого не получалось и не получится...

Вазира намекала на случай, окончательно испортивший еще в студенческие годы их отношения. Однажды в лекционном зале они остались вдвоем — «для того, чтобы объясниться», сказал Шерзод, но вместо объяснений он схватил ее за плечи, прижал к себе и хотел насилию поцеловать в губы. Вазира вырвалась, молниеносно отвесила ему пощечину. Но мало того, что Шерзоду было неприятно получить пощечину, этот случай, собственно, и принес победу его сопернику.

— Ах, Вазира, Вазира.— Грустный вздох словно пронзил телефонную трубку.— Я бы только одного желал, чтобы продолжилась наша студенческая дружба. Мне уже сорок, а в эти годы и приходит, оказывается, понимание, как дорога для нас дружба, возникшая в молодости.

Шерзод давал понять, что признает поставленные ему Вазирой границы в их взаимоотношениях, обещает считаться с ее волей. Ведь скорее всего Шерзоду, этому эгоисту Шерзоду, в самом деле не хватает искренних друзей, и тоска его по бескорыстной дружбе вполне может быть искренней. В душе Вазиры колыхнулось что-то вроде сочувствия и даже сострадания к собеседнику, к мужчине, столь уважительному к ней и пусть даже чуточку увлеченному ею. В конце концов, возможна ведь искренняя дружба между мужчиной и женщиной. Почему надо всегда предполагать между ними — знакомыми, товарищами по делу — что-то нехорошее?

рошее, запретное, преступающее границы?.. Вазире захотелось сказать Шерзоду что-нибудь ободряющее.

— Вы целиком правы, Шерзод, мы, однокурсники, нужны друг другу... Вот и сегодня как мы с вами хорошо летели. А одна бы я, честное слово, намучилась, изнервничала и в пути, и в гостинице...

— А я, Вазира... даже не заметил, как время в самолете прошло. Снова как будто в студенческие годы вернулся. И это вы тому причиной...

Помолчав, Вазира перевела разговор в иное русло:

— Кстати, вы мне назвали сегодня Катинова, строевца, я подумала — такой специалист по нашему вопросу действительно нужен.

— Тогда я разыщу его по телефону. Можно, я вам завтра встречу устрою?

— Завтра я буду... сейчас посмотрю свой календарь... занята, к сожалению, весь день. Может, послезавтра?..

— Хорошо, Вазира. Послезавтра.

На этом разговор завершился. Вазира положила трубку на рычаг и снова вытянулась во весь рост на постели. Она испытывала удовлетворение и оттого, что не позволила Шерзоду навязать ей тот стиль отношений, к которому он поначалу столь настойчиво стремился, и потому, что, усмирив его, не оттолкнула, не сделала врагом себе и тем самым, как ей казалось, семье. Маленький успех, который она, может быть, разовьет... Вазира, довольная, улыбнулась, натянула на себя до подбородка простыню и закрыла глаза.

В голове слегка шумело, будто продолжали приглушенно рокотать моторы самолета. Прислушиваясь к этому ровному гудению, Вазира не заметила, как заснула. Проспала всего минут пятнадцать, ни разу не изменив положения тела, будто спеленутого накрепко. Потом сразу открыла глаза: в окно, перекрывая неясный городской гул, влетел перезвон кремлевских курантов.

Половина третьего. Чувствуя легкость во всем теле, Вазира наскоро умылась, оделась, причесалась. Пять минут прошло — и вот она уже на улице; в руках — черный футляр с чертежами, легкая сумочка на плече... и хорошее, приподнятое настроение!

Ее захватили и понесли могучие и стремительные — московские! — потоки людей и машин. Она вся оказалась во власти непривычных ей ритмов огромного, всегда

спешащего, целеустремленного города. Шла ли она по улице, ехала ли в автобусе, вагоне метро или кого-то разыскивала, перед кем-то отчитывалась, с кем-то советовалась в проектных организациях, связанных с ее учреждением делом, одним только делом,— везде, всюду, всегда нужно было быть внутренне собранной, готовой к немедленным и обоснованным решениям, к быстрым и четким действиям.

В каждый свой приезд в Москву Вазира мучилась тем, что не могла с нужной быстротой освободиться от прежнего ритма. Вот и сегодня она думала к девяти часам вечера вернуться в гостиницу, чтобы позвонить домой... Но в архитектурном управлении ей пришлось задержаться до конца рабочего дня. Привезенные проекты смотрели специалисты, принимавшие участие в создании метрополитена киевского, бакинского, тбилисского. Мнений тут было высказано столько же, сколько людей собралось на обсуждение. Двое из его участников, муж с женой, в течение трех месяцев после землетрясения работали в Ташкенте, не раз бывали у Вазиры и Аброра в гостях. Теперь они пригласили Вазиру «в порядке завершения дискуссии» поужинать с ними на Арбате, в ресторане «Прага». После ужина все пошли пешком через Красную площадь до гостиницы «Россия». Вазира, конечно, не отпустила супругов без ташкентского дастархана; они поднялись в номер на одиннадцатом этаже, вышли по чашке чая — соседка из латвийского театрального общества еще не пришла, — а на прощанье Вазира вручила гостям по дыне в подарок: на память о Ташкенте.

Проводив гостей до лифта, Вазира заспешила в номер, но звонить домой было уже поздно — половина одиннадцатого! В Ташкенте сейчас половина второго ночи. Аброр закончил свой проект, из-за которого не спал ночами, ему надо отоспаться, а он у нее такой, что, разбуди его телефон, потом до утра глаз не сомкнет.

Вазира решила отложить телефонный разговор до утра.

Встала она рано, хотя соседка-латышка уже исчезла. Пока заказала разговор, пока станции соединялись одна с другой, пробило восемь. В Ташкенте, стало быть, одиннадцать часов. Аброр на работе, Малика в школе, а Зафар на улице играет; трубку никто не поднял. Вазира назвала телефонистке номер рабочего телефона

Аброра. Соединили. Но как раз в это время его вызвали в дирекцию. Невезенье, да и только!

Целый день занятая работой, Вазира лишь к вечеру смогла попасть в магазин, чтобы купить заказанную сыном самоходку. До самого закрытия универмагов искала Малике туфли, но так и не нашла. Совсем разбитая торговой толчей, голодная, она зашла в кафе в Столешниковом переулке перекусить. Добралась на конец до гостиницы снова в одиннадцатом часу. По московскому времени. Вазира представила себе, как ждет ее звонка, как нервничает Аброр. Снова позвонила на телефонную станцию и заказала на завтра разговор с Ташкентом в пять утра по московскому времени. «Соседку потревожу, — подумала Вазира, поглядев на аккуратно прибранную кровать деятельности ВТО (она еще не появилась). — Но как иначе поступить?»

В пять часов, когда Вазира спала будто убитая, пронзительно зазвенел телефон. Вазира потерла заспанные глаза, соскочила с постели, приготовилась говорить.

— Вы заказывали Ташкент? — донесся издалека голос телефонистки.

— Да.

— Линия, к сожалению, не работает. Повреждение. Перепесете заказ на другое время?

— Да. — Вазира прикинула, когда сегодня сумеет освободиться. — На три часа дня, пожалуйста.

— Заказ переносится на пятнадцать часов, — подтвердила телефонистка и повесила трубку.

Часов в двенадцать Вазира встретилась с Шерзодом в кабинете строителя Павла Данииловича Катинова: они договорились об этом по телефону с утра.

За левым ухом у Павла Данииловича закреплен датчик слухового аппарата, от которого вниз, к левому боковому карману пиджака, тянется аккуратный белый шнурок. Во время беседы Катинов достает из кармана аппарат и подносит его поближе к говорящему: Павел Даниилович повредил слух при взрыве, во время проходки одного из тоннелей. Держится строитель бодро, энергичен, подтянут. Не старый, чуть за пятьдесят, видный мужчина. Галантно пощупил, обращаясь к Вазире:

— Мы безгранично рады, что столь прелестные женщины становятся музами метростроения!

— Спасибо, Павел Даниилович! Только музы... нуждаются в вашей помощи. У них еще маловато опыта.

Вазира рассказала о линии метрополитена, которую предстоит прокладывать под дном Бозсу, о нерешенных вопросах,— по ним-то ташкентцам желательно получить авторитетные советы.

— Вам обязательно следует самому съездить в Ташкент и все посмотреть. Очень вас просим,— сказала Вазира.— Сейчас я только одно хочу узнать. Когда дело станет безотлагательным и мы пригласим вас для консультаций, сможете ли вы приехать дней на пять — десять?

— Съездить хотелось бы. Ташкент я видел только раз, в пятьдесят пятом году. Неплохо бы снова побывать в вашем славном городе.

— Ну, сегодня Ташкент совсем другой!

— Павел Даниилович,— включился в разговор и Шерзод,— у меня есть предложение. Сегодняшняя наша встреча — неофициальная. Но это залог будущего сотрудничества — это надо отметить! Как, Вазира, не пригласить ли нам Павла Данииловича на скромный товарищеский ужин в наш московский «Узбекистан»?

Вазире не улыбался этот ресторанный вечер с посторонними... ну, в общем-то, действительно с посторонними ей мужчинами, но голос гостеприимства (Шерзод приглашал в «наш «Узбекистан») не позволил ей сказать «нет».

— Хорошо бы,— согласилась она.

— Знаю, кухня в «Узбекистане» отменная,— сказал Павел Даниилович.— Только ресторан-то постоянно переполнен. Мест, боюсь, не найдем.

— А это уж моя забота,— весело рассмеялся Шерзод.— Будут места, будут. Какие захотим.

Павел Даниилович засмеялся, и Вазире захотелось, чтобы он под каким-нибудь предлогом отказался от предложения.

— Шерзод Исламович, видите ли... сегодня вечером я иду в театр.

У Вазиры полегчало на душе, но, чтоб не выдать себя, она воскликнула:

— Как жаль!

А Шерзод огорчился искренне: какой еще повод найдешь заманить Вазиру в ресторан.

— Павел Даниилович,— продолжал он настаивать,— тогда хоть давайте пообедаем вместе. Скоро перерыв.

— В ресторане? Не успеем за час.

— Без пятнадцати час. Ресторан отсюда недалеко.

Вазира вспомнила, что в два тридцать ей надо быть в гостинице: заказан телефонный разговор с Ташкентом,— весь день в голове держала это, а сейчас чуть не упустила из виду.

— Только мне в третьем часу необходимо снова быть здесь,— предупредил Павел Данилович.

— Обязуемся доставить вас сюда ровно в два, не так ли, Вазира?

«Не успеем»,— хотелось сказать Вазире, но... она кивнула:

— Обязуемся!

С улицы Герцена до Неглинной домчались мигом (Шерзод успел поймать такси).

На парадных дверях ресторана висела табличка: «Мест нет». За дверными стеклами виднелась величественная фигура швейцара в черном костюме с золотыми шевронами и лампасами. Тоскливо томилась на тротуаре очередь — человек тридцать, не меньше.

Через три минуты после того, как Шерзод исчез за служебным входом, сбоку от главного,— двери распахнулись. Метрдотель пригласил их войти в малый зал.

В очереди зашумели, но швейцар невозмутимо объяснил:

— Места этим гражданам с утра заказаны.

Господи, сколько же времени прошло с тех пор, как она в последний раз была в настоящем ресторане!

Из кухни доносился, дразня аппетит, аромат плова, приправленного тмином: ей ли не знать, как это вкусно! Мимо низеньких столиков, установленных на коврах яркой расцветки на бекасовых курпачах, мимо зеркал в нишах шли они к своему месту. Павел Данилович не выдержал, воскликнул:

— Красиво оформлено!

В малом зале и народу было мало.

— Мы рады вам!— слегка поклонился метрдотель Вазире и предупредительно отодвинул ее стул, помогая сесть за стол.

Шерзод уже успел «обработать» своего знакомого заведующего залом: «Гости из министерства, знаете ли, знатоки и гурманы, но все-таки постарайтесь их удивить». На столе появился сначала, как и положено за среднеазиатским обедом, душистый зеленый чай в чайнике пунцовового цвета и такие же ярко-красные пиалы

на лягане, расписанном цветами белоснежного хлопка, а потом пошли пышные, выпеченные в тандыре лепешки, ломтики казы, пятизвездочный узбекский коньяк, «Хосилот» и «Гулоб»¹.

Шерзод хотел налить Вазире коньяку, но она отказалась:

— Нет-нет, лучше сухого... «Гулоб», пожалуйста.

Павел Даниилович снял слуховой аппарат, положил его в карман. Вазире пришлось повысить голос, наклонившись к нему:

— Павел Даниилович, обратите внимание... «Гулоб» и в Ташкенте не часто найдешь. Большая редкость.

— Что вы говорите? Тогда и я, пожалуй, с него начну.

Шерзод налил гостю вино в большой фужер. Провозгласил первый тост — за Павла Данииловича, за дружбу и сотрудничество москвичей и ташкентцев. Павел Даниилович отпил глоток, зажмурился от удовольствия:

— Божественно!.. Что-то подобное я только в Париже пробовал.

Шерзод тут же припомнил забавные случаи из их, с Павлом Данииловичем, совместной поездки в Японию. Повторил свой «самолетный» рассказ о выставке. Видно было — Шерзод любил ненароком подчеркнуть, что часто бывает за границей. Павел Даниилович посмотрел на Вазиру, усмехнулся:

— Да, Япония — удивительно своеобразная страна. Но и наши республики способны своей яркой неповторимостью поразить воображение. Узбекистан, например. Это же чудо что за страна! Где еще отыщешь Самарканд, Бухару, Хиву, их удивительную архитектуру, а наряды, блюда, мелодии! Да вот и в этом зале — резьба, узоры, роспись на фарфоре. Какие шелка, ковры — высокое искусство!

В фарфоровых касах подали маставу, исходящую пряным букетом запахов от разнообразных приправ. Слабым казался «Гулоб», но щеки у Вазиры разрумянились, глаза засияли. Шерзод налил ей еще вина.

— Павел Даниилович, мы с Вазирой Бадаловной вместе в институте учились. И, как видите, студенческая дружба продолжается. При вас я хочу открыть Вазире одну тайну. Проходка линии метро под каналом Анхор

¹ «Хосилот» («Урожай»), «Гулоб» («Розовое») — сухие узбекские вина.

меня очень интересует. Есть и у меня заветные, в сердце выношенные творческие замыслы...

— Вот так новость! — Слова Шерзода почему-то развеселили Вазиру.

— Да-да, не одним ландшафтным архитекторам свойственно мечтать... Чтобы претворить мои замыслы в жизнь, мне тоже надо посоветоваться с вами, Павел Даниилович.

— Пожалуйста, Шерзод Исламович, я всегда к вашим услугам.

— Павел Даниилович, — заговорил Шерзод погромче, чтобы гость мог все расслышать, — все достоинства нашего края, о которых вы красноречиво сказали только что, воплощает в себе Вазира. Вы согласны?

Вазира покраснела, смущенно опустила голову, быстро зашептала по-узбекски:

— Не надо, прошу вас!

— Да, да, это мое искреннее, глубокое убеждение, — продолжал Шерзод, поднимая бокал для нового тоста.

И на Павла Данииловича подействовала привлекательность, женственность Вазиры, особая мягкость ее взгляда, изящество жестов, красивый грудной голос.

— Вы и меня очаровали, Вазира Бадаловна, просто очаровали, — признался Павел Даниилович простодушно. А когда Шерзод предложил тост за Вазиру, Катинов поднялся с места и добавил: — За таких прекрасных женщин мужчины пьют стоя!

Шерзод поспешил вскочил с места и одним махом осушил рюмку.

Подали ароматный, благоуханный плов. Вазире вдруг сделалось грустно, она отставила свой бокал. Шерзод умоляюще прошептал:

— Выпейте, прошу вас... Я сказал искренне, от сердца, уверяю вас.

Вазира сделала глоток. Шерзод налил ей еще, дополни, взглянул заговорщиком: слова, ждем от вас слова, Вазирахон.

Она смотрела на сотрапезников застенчиво, глаза увлажнились почему-то, став по-особому блестящими. Шерзод подумал, что женщина этой сейчас можно дать двадцать пять, от силы тридцать лет. Он знал, что Вазире тридцать шесть, но никогда так сильно его не влекло к ней, даже в юности. По лицу Павла Данииловича он заметил, что и метростроевец подпал под власть ее обаяния.

— Чтоб высоко ценить других,— заговорила Вазира,— оценивающий должен обладать особым качеством сам.

— Правильно! — взбодрился Павел Даниилович.

— Я впервые вижу вас сегодня, Павел Даниилович, но чувствую, что у вас добрый глаз, что это особое качество доброжелательности вам присуще. Вы умеете дорожить своеобразием других людей... людей других народов, хочу я сказать.

— Ну, а... как же иначе? Своеобразие каждого обогащает нас всех.

— Эту вашу мысль сразу поддержал бы и мой муж, он тоже архитектор...

— Ах, и муж у вас архитектор! — обрадовался Павел Даниилович.— Знаете, по вашему лицу я вижу, что он незримо присутствует здесь.

Шерзод откинулся на спинку кресла, вприщур, будто издали, стал рассматривать Вазиру, ее лицо, руки, грудь.

— Да, архитектор... ландшафтный.— Вазира покосилась на Шерзода.— Я уверена, Павел Даниилович, когда вы познакомитесь с моим мужем, то вы будете с ним дружить... как с Шерзодом Исламовичем.— Впрочем, не могла сегодня Вазира долго сердиться. И не желала, чтобы кто-то в ее присутствии сидел с каменным лицом!— Раз я одна среди двух замечательных мужчин... я сразу скажу и о редких достоинствах другого спутника, моего студенческого товарища Шерзода... У нас, Павел Даниилович, есть слово «джомард», оно соответствует понятию джентльмен. Шерзод — вот такой джомард.

Разве кто-то сидел здесь с каменным лицом? В глазах Шерзода мгновенно вспыхнула живая радость.

— Я была сегодня просто восхищена тем...— продолжала Вазира,— тем мастерством, с которым так быстро и красиво Шерзод организовал вот это застолье.

А Павел Даниилович поражался тому, как мгновенно меняется лицо Шерзода в зависимости от того, что и как говорит Вазира.

— Да, да, удивительно! — согласно кивал головой Павел Даниилович.

— Итак, мой тест — за Павла Данииловича, за его приезд в Ташкент вместе с супругой и за Шерзода

Исламовича, за осуществление его творческих замыслов при содействии Павла Данииловича.

— И при вашем, непременно при вашем, Вазирахон, спасибо вам! — Шерзод чокнулся и с волнением заглянул ей в глаза.

Тост сказала она сама, а по обычай скажавший тост должен осушить бокал до дна. Вазира выпила и почувствовала, как жаром охватило руки и ноги, как закружилась голова, приятно и страшновато. «Не опьянеть бы! — испугалась она. — Говорят, надо побольше есть». Но тут же и забыла про плов. Выпила одним духом бокал боржоми, который ей был налит все тем же предупредительным Шерзодом.

Обед завершился ровно в два. Когда они проходили через большой зал, Вазира прибавила шагу. В зале сидело много людей из Узбекистана: атласные платья женщин и черно-белые тюбетейки мужчин бросались в глаза. Чувствуя, как жаром пылает от выпитого вина лицо, Вазира с опаской думала: «Знакомых бы, не ровен час, не встретить, а то потом разговоров не оберешься, до Аброра дойдет...» Она знала, что так думать старомодно, но ничего поделать с собой не могла, ей все-таки было отчего-то стыдно.

Шерзод задержался, чтоб расплатиться с официантом. А Павел Даниилович быстро догнал Вазиру, помог спуститься в вестибюль.

— Вы просто очаровали меня, Вазира Ба-да-лов-на. И Шерзод Исламович — замечательный человек. И кавалер.

Подоспел Шерзод. Уже на улице Павел Даниилович сказал:

— Мне бы очень хотелось познакомить вас обоих с женой. Вы свободны сегодня вечером? Может быть, с нами вместе в театр пошли бы?

— Пойдем! Спасибо! — сразу согласился Шерзод.

— А в какой театр? — Вазира колебалась, что-то удерживало ее, напоминало о невыполнном каком-то обещании.

— В «Современник».

— Ох, это знаменитый театр! — Вазира всплеснула руками.

— Я бы мог помочь с билетами, — предложил Павел Даниилович.

Шерзод возликовал:

— Замечательно! Там мы и с супругой Павла Данииловича познакомимся.

— Ну что ж... Попробуем,— нерешительно произнесла Вазира.

Шерзод и на этот раз быстро отыскал такси. Вазира села рядом с водителем, мужчины — сзади.

— Отвезем сначала Павла Данииловича, мы ему обещали,— напомнила Вазира.

Шерзод должен был выйти с Павлом Данииловичем. Но остался. Ему не хотелось расставаться с Вазирой.

— Я вас сам отвезу,— сказал он ей.— А вам, Павел Даниилович, позвоню из «России».

Такси миновало площадь Дзержинского и по улице Разина выехало к гостинице. Шерзод наклонился сзади к Вазире, тихо спросил по-узбекски:

— Ну как, вы довольны, ханум?

«Все это ради вас!» — так услышала его Вазира, не обернувшись, ответила вежливо, стараясь не волноваться:

— Столько беспокойства я вам доставила...

— Для меня это радость — беспокоиться о вас, Вазира.

— Не понимаю.

— Я ведь сейчас расплачиваюсь за свою ошибку.

— О какой ошибке вы говорите? Не понимаю.

— О том, что вас упустил... О том, что на другой женился... Я раскаиваюсь... Вы как будто вернули меня в мои студенческие годы.

Шерзод говорил громко и откровенно, словно решаясь на что-то.

Она обернулась. Посмотрела ему в глаза. Он и впрямь сейчас выглядел моложе лет на десять — пятнадцать. И она улыбнулась...

Когда-то, еще двадцатилетней девушкой, Вазира иногда мечтала: этот Шерзод, который думает, что он ее уже покорил, этот обаятельный самоуверенный эгоист Шерзод, ну-ка пусть пострадает по ней, пусть потерзается от нераразделенной любви. Она никогда не любила Шерзода, но его тяга к ней льстила и все-таки ее волновала.

На мгновение ей почудилось, что и она вернулась в то далекое время, когда была взвалмошной девушкой, а Шерзод двадцатилетним красивым джигитом, влюбленным в нее беззаветно (так он говорил) и даже подговорившим своих родителей, чтоб они высователи Вазиру против ее воли... Против ее воли! И тут же девичьи

сантименты-воспоминания отлетели от нее, а подводные камни, о которые ударил ее поток взрослой жизни, обнажились в неумолимой своей реальности.

— Шерзод, по-моему, вы счастливы... — Вазира отвернулась, стала смотреть прямо перед собой, в ветровое стекло. — У вас такая жена... красивая и знаменитая! Не напрасно ее считают звездой сцены.

— Вот именно — звездой... есть блеск, нет тепла.

Вазира засмеялась. В шутливой угрозе подняла — все так же, не оборачиваясь, — кулак правой руки.

— Перестаньте, Шерзод! Я не люблю мужей, критикующих своих жен в их отсутствии.

— Да я и при ней это говорю. Чем быть с далекой и холодной звездой, лучше найти хотя бы маленькую свечку, которая дала бы свет и тепло хижине бедняка.

— И вы себя, конечно, считаете таким бедняком, да, товарищ поэт?

— Не надо шутить. Разве вы не видите этого сами, Вазира? У меня в жизни вроде бы все есть. Но я имею в виду жизнь духовную. Она у вас куда богаче в сравнении с моей! И вот теперь, вообще говоря, ко мне пришло пронзительное ощущение: каким богатым душевно и чистым душевно я был бы, шагай всю жизнь рядом с вами.

Глаза Вазиры сияли, Шерзод уловил это в маленьком шоферском зеркальце впереди. Его слова пробивали броню, в которую заранее она себя заковала. Вазира смутилась, отнеслась внутренне благосклонно к его признанию в любви!

— Судьбы наши уже сложились, Шерзод. Переделывать их поздно, — вымолвила Вазира все так же, не оборачиваясь.

— Я понимаю, но...

— А шагать рядом... что ж... студенческие друзья, коллеги... мы и шагаем сейчас рядом... Кстати, ваши проекты тоже имеют отношение к Бозсу? — спросила она, меняя тему разговора. — Для меня это и вправду новость. И, честно, приятная.

Шерзод потер пальцами лоб, собираясь с мыслями.

— Не об этом я хотел, Вазира... О проекте я вам потом расскажу... Ну, не хмурьтесь... Если настаиваете... Суть моего предложения в следующем: на месте нынешнего извилистого, искривленного русла Анхора целесообразно проложить русло ровное, как стрела, и одеть берега канала в мрамор и бетон.

Вазира вспомнила план-проект Аброра... У него тоже очень интересные идеи.

Как бы сама себе ответила:

— С Бозсу работы будет очень много. Всем хватит. И споров будет много, пока не найдем общего решения.

«В самом деле, почему предполагается «или — или», а не объединение интересных идей?» — спросила она себя мысленно.

Такси проехало под эстакадой, вдоль «России», остановилось у гостиничных дверей. Войдя в подъезд, Вазира взглянула на электрические настенные часы: стрелки показывали без двадцати три. И разом все вспомнилось: заказ на телефонный разговор, неудачные до сих пор попытки связаться с Ташкентом, с Аброром. Она заспешила к лифту, почти невежливо обгоняя Шерзода...

Перед открывающимся лифтом Шерзод осторожно придержал ее за локоть.

— Могу я проводить вас в ваш номер, полный чудес?

На Вазире было платье с короткими рукавами. Почувствовав на оголенном предплечье горячую ладонь Шерзода, Вазира отодвинулась в глубь кабины, чуть прижалась к стенке. Шерзод не убрал руку.

— Да, Шерзод,— нарочито спокойно сказала Вазира, когда лифт остановился на одиннадцатом этаже,— вы же за билетами в театр собирались ехать... Так до вечера.— И, высвободив локоть, перешагнула через прорезь между полом этажа и полом автоматически открывшейся кабины.

Шерзод решил не торопиться.

— До скорой встречи. Зайду к вам с билетами, хорошо? Вы пока отдохните.— И Шерзод нажал на кнопку «тринадцать».

Энергичной соседки опять не было дома. Вазира уже вставляла ключ в замок, когда из номера послышались продолжительные телефонные звонки. Она торопливо открыла дверь, вбежала в комнату, схватила трубку.

— Вы заказывали Ташкент?— спросила телефонистка.

— Да!..

— Так почему же в назначенное время вас нет в номере?— раздраженно продолжала телефонистка.— Я уже два раза вызывала... Алло, Ташкент!.. Это Москва. Говорите!

— Кто это?— спросила Вазира.— Аброр?

В трубке раздалось тоненькое:

— Мама, это я, Малика!

— А папы дома нет?

— Нет... Почему вы два дня не звонили? Папа так ждал!..

Слышимость была спосная, а голосок дочери прерывался. Похоже, Малика расстроена, говорит сквозь слезы. Вазира стала объяснять, что была занята, что с утра не работала телефонная линия, потом спросила:

— У вас все в порядке? Папа на работе? Где Зафар?

— Зафар... Зафар... — запинаясь, начала Малика. — Еgo пapa uвeз.

— Куда uвeз?

— Это... я в школе была... Соседка наша, тетя Сахибá, сказала... Мама, когда вы приедете?

Малика плакала, уже не скрываясь.

— Да что случилось, Малика? Зафар заболел?

— Нет... Зафар папу не слушался. И я ему сто раз говорила... В нашем дворе стройка. Зафар все время в соседний двор ходил играть.

— С Зафаром что-то стряслось?

— Собака его укусила.

— Собака? Чья собака?

— Бродячая. У нее нет хозяина. Зафар хотел ее по голове погладить. А она злая была, взяла и укусила.

— За руку?

— Нет, за ногу.

Вазира будто наяву увидела голые, беззащитные, в коротких шортиках ноги сынишки, кровоточащую рану — след укуса бродячей собаки; колени ее задрожали от слабости. Она опустилась на край постели, спросила тихо:

— Что... сильно покусала?

— Не знаю. Папа его к доктору повез.

— В больницу?

— Не знаю... И папа не звонит. Уже три часа как уехал. А я жду, жду!..

— Да подожди ты, не плачь. Собака бешеная была?

— Никто не знает. Ее еще не поймали.

— Ну что за напасть такая! — воскликнула в отчаянии Вазира.

— Когда же вы прилетите, мама? Когда?

Конечно, девочка очень напугана всем случившимся. Ее надо бы успокоить, утешить.

Дела в Москве у Вазиры были закончены. Завтра она

собиралась походить днем по магазинам... Никаких театров! Никаких магазинов!..

— Я тотчас в аэропорт! Слышишь, Малика? Я уже собираюсь... Малика, Малика, передай папе, я обязательно прилечу или сегодня вечером, или завтра утром. Пусть меня не встречает. И лечите Зафара!

— Хорошо, мамочка, я все передам,— уже заметно бодрее отозвалась Малика.— И Зафар будет рад. Счастливого вам пути! Поскорее прилетайте!

Положив трубку, Вазира почувствовала: во рту все пересохло. На столе стояла начатая бутылка боржоми. Она наполнила стакан, выпила его одним махом, как во время недавнего обеда в ресторане. Ах этот ресторан, этот несносный, настойчивый Шерзод со своими разговорами в такси! С ее беззащитным сынишкой там такое случилось, а она тут по ресторанам ходит, вино пьет, млеет от признания Шерзода. Стало так больно, ощутимо больно, почти физически, словно и ее, Вазиру, ранили острые собачьи зубы.

Несколько долгих минут женщина сидела неподвижно на кровати, бессильно опустив руки. Потом вскочила, схватила вещи. Побежала в ванную комнату. Умылась, наскоро причесалась, стянула платье с короткими рукавами. Уже спокойная, Вазира переоделась в другое платье.

В дверь негромко постучали.

— Можно?

Шерзод сиял. Он помахивал двумя театральными билетами. Уверенно прошелся по ковру. Огляделся. Встал у раскрытоего окна.

— О, какой вид!.. А вот и билеты в театр!.. Где же соседка?

Вазира продолжала набивать чемодан — платья, туфли, тапочки сверху. Коротко бросила:

— Мне сейчас нужен билет на самолет, а не в театр.

Шерзод увидел открытый чемодан, каменное лицо Вазиры. Мгновенно протрезвел.

— Что случилось?

Еле сдерживая слезы, Вазира пересказала то, что узнала от Малики.

— Не надо так расстраиваться,— тут же стал успокаивать ее Шерзод.— Меня в детстве тоже кусала собака. Все обойдется, Вазирахон. Посмотрим сегодня спектакль, а завтра утром я вас провожу прямо в аэропорт.

— Собака могла быть бешеной, Шерзод. Десятилет-

ний ребенок... Нет, не до театра мне, не до театра! Передайте Павлу Даниловичу мои извинения. Он поймет. А я помчусь сейчас прямо в аэропорт.

— А билет?

— Попытаюсь там купить.

Было ясно, что Вазиру уже ничем не остановишь.

— Пятый час... А ближайший рейс?.. Да, дела неважнецкие... Впрочем, погодите! В постпредстве у меня есть товарищ... Попробую ему позвонить.

— Пожалуйста.— Вазира пододвинула телефонный аппарат.

Стоя, Шерзод стал набирать номер представительства Узбекистана в Москве. У Вазиры спросил:

— Вы депутат?

— Райсовета... Это не имеет значения.

— Как это не имеет? Каждый район Ташкента равен областному городу.

Разыскав по телефону знакомого, Шерзод долго, как показалось Вазире, невыносимо долго обменивался с ним любезностями, расспрашивал о здоровье, о детях, о делах, а потом, будто вскользь, заметил:

— У меня к вам есть просьба. Нашему депутату товарищу Агзамовой необходимо сегодня же вечерним рейсом вылететь в Ташкент. Вы, наверное, слышали о ней... Вазира Бадаловна Агзамова... Не смогли бы вы позвонить в Домодедово? Да-да, в счет вашей брони... В зал депутатов? Ну, отлично! Спасибо!— Шерзод положил трубку, повернулся к Вазире:— Все в порядке. Пройдете прямо в зал депутатов.

Вазира захлопнула чемодан. Остановилась перед трюмо, оглядела себя в зеркало. Машинально взяла какой-то флакон. Шерзод понял, что женщине нужно сейчас остаться одной.

— Ну, ладно,— сказал он с глубоким вздохом.— Вы тут завершайте экипировку, а я пока пошел вниз, такси буду ловить.

Тронутая предупредительностью, Вазира положила руку на его плечо:

— Спасибо вам за все, Шерзод.

Минут через десять спустилась вниз и Вазира. Шерзод ждал ее на улице с машиной.

— Позвоните, Шерзод, когда вернетесь в Ташкент,— сказала Вазира.— Знаете... проект, о котором вы рассказывали сегодня, меня заинтересовал. Мы могли бы включить его в наш план.

Конечно, не этого ждал от Вазиры на прощанье Шерзод, но... включить проект в план ее авторитетного учреждения... Ого, как это трудно! Однако у Вазиры сил хватит. На все хватит у нее сил, энергии, дружеской расположенности. Шерзод с нескрываемым обожанием посмотрел Вазире в глаза, поднес к губам ее красивую руку, поцеловал. И, не выпуская ее руку из своей, наконец попрощался:

— Счастливо долететь, Вазира! До встречи в Ташкенте!

ГЛАВА ПЯТАЯ

У Аброра и в мастерской работы было невпроворот, а тут еще хлопоты со сносом родительского дома. Замотался: то туда, то сюда ездить пришлось, бесконечные разговоры... Вот и получилось: о том, что сынишку укусила собака, услышал от соседа, случайно встреченного у дверей райисполкома.

Аброр сразу бросился назад к машине, помчался домой.

Квартира заперта: Малика еще в школе. Аброр позвонил в квартиру напротив. Перепуганный, бледный Зафар сидел там.

Мальчик хотел бы, но не мог преодолеть страх, губы его дрожали, крупные слезы виднелись на щеках. «Папа... папа...» — только и сумел выговорить Зафар.

Аброр бросился к сыну. Соседка уже смазала йодом укушенное выше коленки место и забинтовала ногу мальчика. Аброр спросил:

— Сильно болит?

Зафар кивнул. И тихо заплакал: не столько, видно, от боли, сколько от испуга, от пережитого потрясения.

...В соседнем дворе трое мальчишек гоняли хорошенюю такую, светло-рыжую собачонку, швыряли в нее камни. «Не бейте ее! — закричал Зафар. — Я ее возьму... буду за ней ухаживать!..» Он побежал к собаке и хотел приласкать ее. А собака зарычала и, будто в отместку за что-то, хватила его за ногу! И убежала.

Аброр пощупал у сына лоб.

— Температуры нет, не бойся, все заживет, — стал он успокаивать Зафара. — Привык играть с кошкой и собакой у дедушки во дворе, вот и к этой побежал, к чужой. Дедушкина собака знает тебя. А разве можно к чужой подходить, да еще гладить? — Аброр похлопал

сынишку по плечу и обернулся к соседке: — Спасибо вам, Сахиба-апа, за помощь.

— Ой, да что вы! Какое там спасибо... У бедняжки Зафарчика только сегодня каникулы начались, и вот на тебе... Хоть бы эта собака, чтоб ей пропасть, бешеной не оказалась!

— А вы сами ее видели, Сахиба-апа?

— Да видела, видела. Чуть больше комнатной... они маленькие такие бывают противные.— Сахиба-апа стала рассказывать, при этом расхаживала, по-утиному переваливаясь, по комнате.— Хотела я позвать ее, ну, кусок какой-нибудь дать, да клички ее, пропади она пропадом, не знаю. «Эй-эй, иди сюда!» — так не идет. И никто не знает, откуда она взялась. Кто-то сказал, что из кишлака прибежала, другой говорит — из соседней махалли. Наверное, старый двор какой-нибудь снесли, хозяин в новый дом переехал, а собаку бросил. Нешто мыслимо это — на этажах дворовых-то собак держать! Вот она по улицам и бродит...— Толстушка Сахиба глубоко и шумно вздохнула.— Доктору показать Зафарчика надо.

Она наконец вспомнила вопрос Аброра.

— Видеть видела, да кто ж ее знает, больная она или здоровая.

Аброр, опасаясь, что собака может быть больной, не дай бог, бешеной, решил немедленно связаться с врачом. Он тут же позвонил в поликлинику, нашел знакомого врача и все ему подробно рассказал.

Врач обеспокоился:

— Плохо, что собака бесхозная, бродячая. Сорок уколов могут назначить мальчику. В нижнюю часть живота. Очень болезненные.

— А нельзя ли вам сперва осмотреть Зафара?

— Нет, для этого существует специальная поликлиника. От вас ехать через улицу Самарканд-Дарбаза, потом свернуть направо, не доехая до Актепе... И везите ребенка побыстрей. Сначала укол против столбняка надо сделать... Собаку тоже не упустить бы. Ее надо поймать и привязать.

— Может, не стоит поднимать шум?

— Нет, нет, это все очень для жизни опасно. Тут нельзя мешкать.

Аброр положил трубку. Обхватил голову руками. Надо собраться с мыслями. Наметить план действий... Где ветеринаров искать? Нет, сначала поймать собаку. Привязать. Куда ее привяжешь?.. А в мастерской сроч-

ная работа остановилась! Аброр снова взялся за телефон, позвонил к себе в институт. Хорошо хоть там все в порядке, люди заняты делом.

— Я, наверное, задержусь, — сказал он Лене. — Сынишку потребовалось к врачу отвезти. Срочно. А жена в командировке. Если из дирекции спросят, расскажите, пожалуйста, все как есть.

На кухне Зафар пил простоквашу, заедая хлебом. Аброр заставил себя пошутить:

— Ну, как дела, мулла Зафар? Хвост пистолетом? А не так, как у той собачонки — поджатый?

Зафар виновато-застенчиво улыбнулся и кивнул головой.

Время обеда подходило к концу, но Аброру не хотелось есть, хотя перекусить стоило бы: до вечера предстоит еще столько беготни и хлопот!.. Он налил и себе стакан простокваши, стоя опустошил его. Запил холодным чаем прямо из носика чайника. Вышел на балкон и отвязал веревку, на которой Вазира иногда развешивала белье. Потом достал из холодильника колбасу, отрезал несколько кусочков, завернул их в старую газету.

— А ну пойдем, Зафар, покажешь мне свою собаку.

Они спустились, сели в машину. Аброр переехал через широкую улицу, поставил «Жигули» в тени четырехэтажного дома. Здесь они вышли, обогнули дом, вошли во двор. Аброр стал расспрашивать ребятишек, и вот — удача! — быстро разыскали собаку.

И вправду светло-рыжая, маленькие ушки, тоненький хвостик. Спокойно лакает воду из лужи.

На помосте, установленном под деревьями, сидел старичок с короткой белой бородой. Аброр поздоровался, спросил:

— Отец, можно я поймаю эту собаку? — Старичок кивнул. — Никто не знает, как ее зовут. Может, вы слышали?

— Рыженькую-то? Слышать-то слышал. Да вот память, будь она неладна!.. Должно быть, Сиртлан... Бездомная, ничья она.

Аброр подошел поближе к собаке.

— Сиртлан, Сиртлан! — Собака с опаской оглянулась на зов. — На, Сиртлан, на! — Аброр кинул на землю почти рядом с собой два кусочка колбасы.

Собака приблизилась. Аброр вытащил из кармана веревку и стал заходить к светло-рыжей сбоку так, чтобы удобней накинуть петлю ей на шею.

— Папа, укусит! — крикнул Зафар, оставшийся у помоста.

Аброр махнул рукой: мол, не шуми. «А вдруг правда цапнет? Бродячие собаки бывают злые, особенно когда пытаются их приманивать, трогать. Но Сиртлан, видно, не бешеная собачонка. Бешеные боятся воды, к пище не прикасаются. А Сиртлан недавно из лужи пил, да и колбасу вон как уплетает, будь здоров! Голодная, просто бездомная...»

— Сиртлан... Сиртлан... Вот сейчас... Сиртланушка... Лежать! Смирно лежать!.. Сиртланушка...

Аброр выбросил вперед, перед собачьей мордой, обе руки с зажатой в них толстой веревкой и дважды обвязал шею и грудь собаки. Сиртлан попытался вырваться, но петля оказалась крепкой.

Старику на помосте понравилась смелость и ловкость Аброра.

— Молодец, сынок! Ты Сиртлана себе хочешь взять? — приветливо спросил он.

— Нет, папаша, — ответил Аброр, закрепляя веревку на собачьей шее. — Сиртлан этот паршивый вон того мальчика, сынишку моего, укусил. Теперь врач обследовать ребенка должен. Сейчас туда поедем... А пока я собаку к дереву привяжу, ладно? Только как бы ребятишки ее не отвязали. Или дразнить будут...

— Нет, нет, никто не тронет, никто не подойдет, я присмотрю, — заверил старик Аброра, с сочувствием поглядев на Зафара.

— Спасибо, отец!

Аброр привязал собаку к ближнему от помоста дереву, бросил ей оставшуюся колбасу.

Посреди двора был небольшой фонтанчик. Аброр и Зафар помыли руки.

— Папа, а вы совсем-совсем не боялись! Совсем совсем!.. — с искренним детским восхищением говорил Зафар.

— Бойся не бойся, а поймать Сиртлана надо было.

— Нет, совсем-совсем не боялись!.. Совсем, — гордый за отца, повторял Зафар. Страх у него уже прошел, лицо просветлело, ожило, порозовело.

Облегчение чувствовал и Аброр. Он даже удивился: как же, оказывается, человек, мужчина, отец привязан к ребенку! Когда с сыном что-то случается, он тревожится и страдает больше, пожалуй, чем сам ребенок.

«Жигули» помчались в другой конец города. Стা-

рогородскую Чорсу они миновали мгновенно. Осталась позади и узкая, вся в подъемах и в спусках улица Самарканд-Дарбаза.

Поликлиника помещалась в неприглядном старом здании. В коридорах развесаны плакаты, изображения бешеных собак и кошек. Аброр смотрел-смотрел на них, дожидаясь приема, и его снова охватил страх за Зафара. А вдруг светло-рыжая все-таки бешеная? И роковые вирусы уже расползаются по организму сынишки, готовят ему гибель...

Молодой доктор снял бинты, осмотрел ранку на ноге Зафара, задумался. Аброр стал рассказывать ему про то, как разозлили собаку мальчишки, и про то, как собака после всего случившегося пила воду, ела колбасу.

— Все равно... Бродячая собака есть бродячая собака,— изрек врач.— Поэтому, согласно существующим правилам, мы должны начать серию уколов.

— Это сорок-то уколов?! Ну нет! Зачем напрасно мучить ребенка? Собака ведь не больная.

— У вас есть справка ветврача?

— В данный момент ее нет, но я тут же отвезу собаку на обследование.

Седая медсестра наложила Зафару на ранку лекарство. И собиралась уже бинтовать ногу, но, видимо, лекарство начало сразу действовать, ногу защипало, задергало, и Зафар тоненько ойкнул. Из глаз его покатились горошины слез.

Медсестра повернулась к врачу:

— По нашим данным, в Ташкенте сейчас бешеных собак не обнаружено.

Молодой врач нахмурился:

— Я уступаю. Сделаем пока только укол против столбняка.

Зафар понял, что упираться бесполезно, и стал молча снимать шорты.

— Ну вот, молодец,— похвалил его Аброр.— Спасибо вам за все, товарищ доктор! А теперь подскажите... как мне этот ветеринарный пункт найти?

— Так вы еще не знаете?.. Ну и ну! Раньше он рядом с Туркменским рынком был. А сейчас его на Куйлюк перевели. По маршруту пятого трамвая поезжайте. Далековато отсюда, километров пятнадцать...

Было уже три часа дня, машин тьма-тьмуцая. Улица Куйбышева совсем ими забита — и легковыми и осо-

бенно большегрузными, которые будто толкались в очереди, то останавливаясь, то снова медленно продвигаясь вперед, выбрасывая черные клубы выхлопного газа, так что трудно было дышать около их громадных колес. И по эдакой дороге пришлось проехать дважды: туда, в спецбольницу, и обратно, к себе в микрорайон, вместе с ветврачом.

Женщина оказалась знающей свое дело специалисткой. Она молниеносно справилась с привязанным к дереву Сиртланом, упрятав его в крепкий рогожный мешок. И Аброр, и старичок сторож только рты разинули, глядя, как ловко накинула женщина мешок на собаку, как быстро захлестнула горловину мешком специальным шнуром. Сиртлан начал баражаться в мешке, громко заскулил, но женщина успокоила пленника, окликая почти ласково по имени, потом повернулась к Аброру и приказала:

— Берите-ка за другой конец мешка! Нет, не здесь, не здесь... Собака все же собака. Может и укусить. Поднимайте, понесли!

Мешок положили в багажник, и Аброру в третий раз пришлось пределать тяжкий путь. Во дворе ветпункта было устроено нечто вроде крытого навеса, под которым расположились решетчатые железные клетки. Собак в клетках не было. Сиртлана водворили в одну из них, заперли дверцу. «Совсем как в зоопарке», — подумал Аброр.

— Сейчас у собаки возьмут кровь на анализ, — сказала ветврач.

— Непохоже, что Сиртлан больной, правда? — с надеждой спросил Аброр.

— Выглядит он нормально. Только если собака заразилась недавно, болезнь даст о себе знать лишь через два-три дня. Поэтому ничего определенного сказать сейчас нельзя. За справкой придете через несколько дней.

Пока Зафар на улице присматривал за машиной, Аброр еще раз подошел к врачу и с тревогой спросил:

— А за это время с мальчиком ничего не может случиться?

— Уколы начали делать?

— Один, против столбняка... На другие я не решился.

— Рискованно поступили... Ну, оставьте свой адрес и номер телефона. Если собака окажется больной, я вам сразу позвоню...

Когда Аброр вывел свои «Жигули» в четвертый раз на дымящуюся, загазованную улицу Куйбышева, было уже пять часов. Спидометр отсчитал за сегодняшний день без малого сто пятьдесят километров.

Вконец издерганный Аброр поспешил к себе в институт — надо было во что бы то ни стало успеть приехать туда к концу рабочего дня, забрать домой чертежи, бумаги — все несделанное сегодня — ночь придется просидеть над ними, ничего не попишешь.

Улицы гудели: начался пик автомобильного движения, колыхалось, густело и разрежалось половодье машин. Каждый метр дороги приходилось брать с боем, как говорится. То движущийся черепашьим шагом длинный трехосный грузовик никак не удавалось объехать, то какой-нибудь трактор с прицепной тележкой преградит дорогу. Вишневые «Жигули» Аброра тыкались-маякались в потоке, будто уже и у машины нервы не выдерживали,— она то стремительным рывком кидалась вперед, то, вздрогнув, останавливалась, то растяянно металась влево-вправо... И, как назло, в такие минуты из всех щелей твоей памяти вылезает все тяжкое, неприятное, нервозное, что накапливается в душе.

Ну и деньки, в самом деле, выпали ему на долю, ну и «вчера-сегодня-завтра»!.. Снос отцовского дома на берегу Бозсу... Отвергнутые, отложенные в долгий ящик директором института сокровенные замыслы... И Шерзод, бегущий рядом с Вазирой, будто вихрем унесший ее куда-то в неизвестность, и почему это она целых два дня не звонит домой?.. И напуганный бедный Зафар, укус этот... кто его знает, что еще покажет анализ?.. Аброр посмотрел на рядом сидящего, странно притихшего Зафара. Мальчик будто бы подросл за один сегодняшний день, сидит изможденный какой-то, усталый. Аброр в тревоге протянул руку и пощупал сынишке лоб — нет ли жара? Вроде нет, вроде нормально.

Тревоги и заботы сжимали грудь, теснились в сердце потоком, подобно дымящим автомашинам на этой до краев забитой улице.

Наконец все затихло, наступила ночь. В ее тишине отчетливо слышалось тиканье настенных часов. Изредка в окно врывался скрежет трамвайных колес.

Аброр уложил сына на кровать Вазиры, рядом с собой.

В десять вечера Зафар крепко заснул. Аброр дремал, пробуждался, резко вздрагивая, широко открытыми глазами всматриваясь в темноту. Тихо прикасался губами ко лбу сына — нет, температуры не было, и это обнадеживало, что все будет в порядке.

А на столе в комнате рядом лежал чертеж-проект аллеи фонтанов. Ей предстояло возникнуть в скором времени в восточной части центральной городской площади.

Он знал, что проект еще схематичен, не найдена та изюминка, благодаря которой аллея заиграет, станет неповторимой, а потому — притягивающей к себе людей. В дневные часы мысль Аброра буквовала, не могла выйти из трясины шаблона. Он сознавал это, и такое сознание было, пожалуй, основной причиной его постоянного в последнее время раздражения.

Ночами, как ему казалось, он оказывался способным выбраться из тупика. Вот и теперь... Взял чистый лист белой бумаги, неожиданно для себя стал уверенно набрасывать силуэт сооружения, фантастически легкого, из водяных струй, но сооружения с живой, пульсирующей конструкцией. Несколько быстрых и четких движений карандаша — и возникали ряды таких пульсирующих конструкций, сложный, своеобразный ансамбль аллея... Пять метров высоты, видимо, будет достаточно. Но струй должно быть очень много, и располагаться они должны густо. Двести, пятьсот, тысяча? Может быть, и две!

Аброр мысленно представил себе ныне действующий фонтан-водопад — там всего около ста тугих струй. Словно длинные шлейфы, непрерывно струятся, разом падают почти с десятиметровой высоты... Нет, аллея... Аллея фонтанов должна создаваться совсем иначе. Высота меньше. Плотность водяных «стен», не ширина, а именно плотность, больше. Две тысячи струй! Косички, ниспадающие с головы, радужно играющие в солнечных лучах... Звонкий говор воды, что изливается на прозрачную гладь бассейна, должен перекрыть дисгармонию урчащей и фыркающей городской магистрали. Это тоже будет приятно людям, они станут сюда приходить отдыхать, именно отдыхать.

На какой-то миг Аброру показалось, что он слышит в ночной тишине умиротворяющий плеск, ощущает на

лице приятную прохладу водяной пыли, видит из-за сплошной завесы зелени взлет сверкающих струй; сквозь марево их улица предстает размытой, зыбкой, нереальной. Погружаешься в волшебство удивительной красоты, в слияние острого наслаждения и светлого спокойствия — вот этот долгожданный миг в работе!

Душа, разрываемая на части, беспорядочно захлестываемая потоком мелочей, вдруг озаряется одной-единственной мыслью, одним-единственным чувством-порывом. И эта мысль, этот порыв усиливает твое внутреннее зрение: начинаешь видеть то, чего раньше никак не удавалось разглядеть. И тогда отbrasываешь во имя главного все, что сковывало, захлестывало и разменивало тебя...

Не забыть, тут опять неровности рельефа — перепад уровней между центральной площадью и предполагаемой аллеей. Перепад использован в прежнем фонтане-водопаде удачно. А здесь что делать? Не повторять же старый прием!

Аброр взял еще лист бумаги, попробовал набросать аллею в разрезе, развернуть ее по горизонтали во всю длину. Так... аллея будет располагаться на два метра выше проспекта, а площадь метра на два выше аллеи. Тогда водяные веера будут каскадом ниспадать и предстанут глазам на трех уровнях.

Сердце Аброра билось учащенно, но голова была ясной, и послушные руки чуть ли не автоматически набрасывали на бумагу новые детали, формы, расчеты. В другое время он мог бы все это искать днями и неделями, искать и вовсе не обязательно найти.

Работа поглотила Аброра. И когда он вдруг услышал сквозь полуоткрытую дверь спальни сдавленные вскрики, то сперва не сразу сообразил, что это и откуда. Потом, как бы издалека, вернулся в свою квартиру, все вспомнил, бегом бросился в спальню.

Зафар дергался, глаза его были закрыты.

— По-о... пошла вон! Пошла отсюда!.. А-а-а!..

Аброр приподнял сына, просунув ему руку под лопатки.

— Зафар! Ты плохой сон увидел? Собаку? Зафар!..

Поднял на руки дрожащего ребенка, прижал к груди... Ну да, Зафару приснилось, что его окружили огромные дворняги и от них нет никакого спасения... Жар? Нет. Аброр приложил губы ко лбу мальчика — температуры как будто нет.

— Дием ты перепугался, сынок, и это все приснилось,— стал успокаивать Зафара Аброр.— Не бойся, это просто сон. Он прошел, и все.

— Папа, я пить хочу.

Аброр налил в пиалу кипяченой воды.

— На-ка, сынок, попей... У тебя нигде не болит?

— Нет. Ой, вы еще не спите, папа?

Аброр понял, что сыну не хочется оставаться в постели одному.

— Больше двух часов... Ай-ай-ай, пересидел... Хорошо, что ты сказал мне. Сейчас ложусь.

В кабинете он собрал в одну стопку рисунки и схемы, прижал их сверху тяжелой металлической линейкой. Затем надел пижаму, погасил свет и лег рядом с Зафаром.

— Папа, а что будет с Сиртланом? — Мальчик, видно, перебил себе сон.

— Пока посидит в клетке. Его проверят...

— А потом в собачий ящик?

Мальчик уже знал, что «собачий ящик» увозил бездомных животных на убой. Чтобы не вызвать у него беспокойства, Аброр ответил, что нет, мол, если Сиртлан окажется здоровым, кто-нибудь его может взять к себе домой.

— Папа, а давай мы его возьмем, а?

Аброр удивился:

— Он же тебя укусил... Еще хочешь?

— Но Сиртлан вообще-то не злой. Вас не укусил. Тетю доктора не укусил. Мы уже знаем его имя... Жалко, если его убьют.

— А где его держать будешь? Сиртлан ведь не комнатный пес, ему нужен двор.

— А двор есть у дедушки.

Аброр вздохнул (разговорчивый Зафарджан опять втолкнул его в мир неотложных забот).

— Скоро тот двор тоже снесут.

— Как это, зачем?

— Ну, это долго рассказывать. Давай-ка лучше спать. Мне утром на работу идти.

Мальчик помолчал. Но нё думать о Сиртлане не мог. Заговорил снова:

— Папа, это же мы отвезли Сиртлана туда, ну, в их собачью больницу. Он был на воле, а теперь в клетке может погибнуть. Я этого не хочу.

Тронутый чувствами сына, Аброр пообещал ему, что,

если Сиртлан окажется здоровым так и быть, они вызовут его, в багажнике повезут за город и отдадут каким-нибудь добрым людям, у кого есть двор и кому нужна хорошая собака. Мальчик этому поверил, успокоился и наконец заснул.

Рано утром, когда Аброр еще крепко спал, настойчиво зазвонили в наружную дверь. Протирая кулаком глаза, Аброр еле сполз с постели, медленно потащился в прихожую, спросил недовольным голосом:

— Кто там?

Из-за двери послышался голос Вазиры:

— Я! Это я! Откройте!

Вазира вбежала, оставив чемодан у дверей.

— Как Зафар?

Взлохмаченный Аброр втащил чемодан в комнату, молча уставился на жену: прилетела птица, будто и не улетала вместе с этим Бахрамовым...

— Вы что молчите?! — прерывисто дыша, запричитала она. — Почему? Зафар в больнице?

Аброр помотал головой, теперь-то окончательно стряхнув дурной сон: Вазира обо всем на свете позабыла, кроме сына. И это понятно, это естественно.

— Да спит он. Малика напугала тебя по телефону?

— Ой, сгинуть бы всем дурным вестям!

От голоса матери девочка проснулась, громко закричала из своей комнаты:

— Мама приехала! Зафар! Вставай! Наша мама приехала!..

Малика не сразу выбежала, она уже стеснялась появляться перед отцом в нижней рубашке. А Зафар босиком, в майке и трусах пулей вылетел из спальни.

— Мама! Мамочка! Ура!!!

Вазира, приподняв сына, обняла его и крепко прижала к себе. Зафар повис на шее у матери, и она на руках отнесла его в спальню. За ними побежала уже одетая Малика.

Аброр стоял у окна и растерянно улыбался.

Малика и Зафар наперебой и со всеми подробностями принялись рассказывать матери о том, что произошло, пока ее не было дома.

Аброр подумал, что сегодня надо пораньше прийти на работу, — значит, он сам сейчас приготовит чай, а Вазира пусть вспласть поговорит с детьми.

По их рассказу выходило, что Аброр самый замечательный, просто выдающийся папа. Особенно усерд-

ствовал Зафар. Его распирало чувство гордости — а как папа ловил и привязывал собаку, а как он защищал его от уколов!.. Аброр только усмехался, слыша эти восторги, доносившиеся до кабинета, где он собирал свои ночные эскизы в портфель.

— Опять ночью работал, да?.. Ой, а что это за проект?.. Фонтан?

Вазира неожиданно возникла у него за спиной.

— Да. На площади Ленина.— Аброр сдержался, не повернулся к жене сразу.

— Как, и эту работу тебе поручили? — обрадовалась Вазира.— Вот здорово!

— К юбилею, оказывается, успеть надо... Снова штурмовщина.

— Но это задание доверили Аброру Агзамову.. Я поздравляю товарища Агзамова!

Вазира приподнялась на цыпочки и порывисто поцеловала мужа, который соизволил наконец к ней повернуться.

Аброр растаял, конечно. Но не хотел этого показать Продолжая собирать бумаги, спросил:

— Ну как, удачно съездила?

— Да. К счастью, удалось с делами управиться пораньше. А услышала про Зафара, тут же бросилась в аэропорт. Чтоб ей пропасть, этой паршивой собаке!

— Мальчишка, что ж ему делать, как не бегать. Детскую площадку в нашем доме Бахрамов под строительство отдал. Не сделай твой Бахрамов такой пакости, может, Зафар и не пошел бы в чужой злосчастный двор. А ты прямо на крыльях летишь вместе с ним в эти свои... командировки.

Вазира отстранилась и снова стала серьезной.

— Мне надо было сдать билет, если наш рейс случайно совпал?

— «Наш рейс».— Аброр запихнул бумаги, защелкнул замок портфеля.— Да пусть хоть тысячу раз совпадает, но ты не должна забывать, кто он...

— А кто он? Классовый враг?

— Во всяком случае, нам не друг.

— Но товарищ по работе, коллега. Да и так ли уж надо тебе, Аброр-ака, наживать недругов? Будь хоть слоном, но пусть у тебя и мышь во врагах не ходит.

Аброру хотелось до начала рабочего дня заехать на

площадь Ленина, еще раз тщательно посмотреть места, где будет сооружена аллея фонтанов.

— Ладно, мы потом поговорим. Припомним разные поговорки... Сейчас я спешу.

Вазира кликнула Малику.

— Дочка, а что у тебя есть на завтрак для папы?

— Молоко, творог...

Вазира улыбаясь спросила у мужа:

— Ты все еще любишь ширчай?

— Ну, если... с щепоткой черного перца... то да.

— Хорошо, щепотка перца будет... в соответствии с настроением.

Аброр тоже не сдержал улыбки.

В большой комнате, где стоял телевизор, Зафар уже увлеченно бросал в атаку привезенную мамой самододку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В конце мая в Ташкенте с утра начинает припекать так, что не только людям, но и машинам спасение одно — в тень деревьев, скорее в тень! Даже могучие «КамАЗы» с прицепами, если не грохочут на солнцепеке в рабочих рейсах, стараются приткнуть свои кабины поближе к высоким чинарам и кленам. Но машин в городе становится все больше, а много-летних, с раскидистой кроной деревьев — все меньше из-за стремительной перестройки кварталов и улиц. Во всяком случае, найти желанное прохладное место, чтобы поставить машину в тень, теперь трудно. И Аброр весьма обрадовался, увидев еще не занятую никем густую тень под столетним дубом на Инженерной улице. Пока он займется своими делами, его верный «жигуленок» будет поистине прохладиться и не превратится, к счастью для своего водителя, в раскаленную консервную банку.

Аброр вышел на площадь Ленина.

Раскрыв планшет с уменьшенной копией плана-проекта, Аброр начал придирчиво сопоставлять начертанное на бумаге с реальной местностью. Отсюда, снизу от моста через канал, трамваи поднимались по улице Абдуллы Тукая с натугой, а потом, повернув на восток, уже резво торопились по Инженерной. Обе эти оживленные улицы доживают последние дни.

Ладно, уйдут старые дома, но вот столетние чинары, клены, дубы? Вон там, в сквере Коммунаров, огромная сосна вымахала, выше многих домов... Виднеется, будто шея жирафа, вознесенная над оградой в зоопарке... Сколько труда положили люди, сколько заботы проявили, усердно поливая эти деревья, чтобы выросли они эдакими красавцами! Природа поработала восемьдесят — сто лет, чтобы — с помощью людей! — создать эти величественные чинары. А ему, Аброру, отпустили полгода на проект, в котором вроде бы учтено все, что надо, кроме... Аброр посмотрел на план, где было скрупулезно указано место каждой аллеи, каждого строения, даже крышки каждого канализационного люка. А деревья? Они-то и не были показаны ни единым знаком. Потому что их не привыкли рассматривать как «объекты», они не числились в инвентарной описи — «легенде» плана. Их можно было безжалостно срубить все или по своей прихоти какие-то из них оставить, — за деревья не отвечало ни одно подотчетное лицо, ни одно ведомство.

Могучие с пышной кроной деревья оказывались беззащитными перед людьми, для которых инвентарные описи, цифровые колонки расходов на используемые материалы и затраченный труд значили очень и очень много. По праву много, а порой и не по праву, когда иные люди, размахивая описями и цифрами, забывали о долге своем перед природой. Она дана всем. «Пользуйся мной, но не забывай о совести!» — так говорит нам она. Аброр верил, что в человеке заложен долг перед природой, что естественно веление совести — беречь и любить живое. Иначе, может и наивно рассуждал Аброр, дети, совсем еще маленькие, ну вроде нашего Зафарчика, по сути своей тоже не были бы совестливыми. Вон Зафар ночью после такого испуга все же беспокоится о судьбе Сиртлана. Как же ему, Аброру, не сохранить в себе данное нам вместе с жизнью святое чувство не переступить черту, за которой человек начинает творить природе зло: губить животных или деревья, разрушать живые берега арыков? Наивно? Может быть, может быть... Но он верит: зло, тобой сотворенное, обязательно ударит другим концом по тебе же; и пусть эта скрытая инстинктивная вера, страх перед жестокостью, впитанной с молоком матери, внешне похож на страх богоизбоязенного человека перед грехом,— нет, в его душе не

религия живет, его чувство всевидящего ока, всеслышащего уха человеческой совести.

Аброр шагами вымерил расстояние между большими чинарами и той высокой сосновой-жирафом, что вознеслась над крышами домов. Как ни рассчитывай, а все деревья сохранить тут невозможно. Несколько деревьев, например, росли на том месте, которое отводилось под главный выход воды из-под земли, на самый центр основного фонтана. Да, но если аллею фонтанов сдвинуть метров на пять к западу, тогда... вот этот самый величественный дуб и высоченную сосну удастся сохранить. Аброр твердо для себя решил: «Надо еще поработать над проектом, внести изменения, чтобы легче было убедить в них соавторов, да и руководство...»

С утра Сайфулла Рахманович ездил в горсовет, потом в архитектурное управление. В кабинете Аброр застал его только после полудня.

— Через полчаса мне надо быть в горкоме,— предупредил директор Аброра.— Успеем? Или перенесем разговор на завтра?

Упускать еще один день не хотелось.

— Постараюсь успеть,— сказал Аброр, разворачивая на директорском столе заново вычерченный проект.

Сайфулла Рахманович поднялся из кресла.

— Не слишком ли много струй у фонтанов стало?! У нас около восьмисот струй было... А тут?

— Более двух тысяч. Количество переходит в качество, верно?

— Верно. Только вам самим же работы прибавится.

— Зато, Сайфулла Рахманович, красота фонтанов, интенсивность приносимой ими пользы — прохлада, радиус действия и тому подобные преимущества — искупят наш труд и затраты. Представьте себе на миг: две тысячи звонких струй — хор природы, естественная гармония звуков! — заглушат все уличные шумы, и человек на аллее фонтанов попадет в царство спокойствия и красоты.

Сайфулла Рахманович улыбнулся.

— Вы так поэтично все это описываете, что мне трудно возразить. Единственное опасение — как бы не затянуть сдачу рабочих чертежей. Рабочих, я подчеркиваю. Чтоб от нас — прямо к строителям.

— За сдачу в срок отвечаю я. У вас есть график. Все будет идти по нему.

— Тогда я должен... похвалить вас. Вы взяли на себя лишнюю нагрузку, чтобы аллея фонтанов стала еще грандиозней и прекрасней. Похвально, Аброр Агзамович!

Аброр, осмелев, перешел к более трудной части предложений:

— Вот здесь растут столетние чинары и дубы. Вы знаете, Сайфулла Рахманович, площадь получается очень обширная. Обойти ее по периметру — значит прошагать километра четыре. Если на площади не будет деревьев, тенистых деревьев, обширность эта будет минусом, а не плюсом. Величественно — может быть, но... неуютно. Человека, особенно в знойные летние дни, на голую площадь не очень-то потянет.

— Увеличим число серебристых елей...

— Они не дают тени, Сайфулла Рахманович...

Электрические часы с зеленовато-голубыми светящимися цифрами стояли на столе так, чтобы бросаться в глаза посетителям кабинета; они напоминали им, что здесь, у директора, следует быть лаконичным. Аброр перешел к сути дела.

— Я предлагаю всю аллею фонтанов чуть сдвинуть к западу.

— Это уж очень серьезные изменения по сравнению с тем, о чем есть договоренность. Такие поправки потребуют согласования с архитектурным управлением и с управлением городского благоустройства. Придется просить дополнительные средства. А тут сроки поджимают!

— Сайфулла Рахманович, конечно, легче ничего не менять. Но я взываю к вашему архитектурному вкусу: если будут сохранены богатырские, вековые деревья, если в летнюю жару мы дадим людям благодатную тень на самой главной площади города, они прежде всего скажут институту, вам, директору, спасибо!

— Э, я как-нибудь обойдусь без «спасибо» по графе «бытовые удобства». А вот за нарушения графы «экономия средств» или «сроки осуществления» меня по головке не погладят. И потом, я хорошо себе представляю, как в тени прекрасных ваших деревьев валяются газеты, окурки, пустые бутылки.

— Неужели в городе перевелись настоящие культурные люди?..

Нет, конечно, не перевелись. Однако Сайфулла Рахманович видит центральную площадь столицы (подумайте, столицы!) не такой, как видит ее товарищ Агзамов. Строгость, торжественность, величавость! Скверики со скамееками, чинары или тополя возле них — это на окраинах города, в парках. А центральная площадь — это нечто несоизмеримое, несравненное, исключительное. Самые редкостные деревья и цветы мира, как бы дорого они ни стоили,— сюда. Кстати, уже есть договоренность с дендрологами города Нальчика. Они прондадут несколько сот серебристых елей. Ташкентский дендропарк дает сотню лириодендронов... Ага, не знаете — это так называемые тюльпанные деревья, из магнолиевых. На площади будут высажены и белые березы, и ленкоранские акации, и крымские сосны, и японские сливы — писарди, и греческая софора. Украшенная ими площадь приобретет всесоюзный, даже, можно сказать, всемирный размах. А тут говорят, понимаешь, о тени, о скамейках!

— Сайфулла Рахманович, я тоже за всесоюзный и за всемирный размах. Пусть будут и серебристые ели, и тюльпанные деревья, и крымская сосна, и белая береза. Но пусть будут наряду с ними и чинары, и шаровидные карагачи, и восточные кипарисы, и джамшидовое дерево. Надо же считаться с климатическими условиями Ташкента. Вот в нашем проекте для серебристых елей и белых берез выбрано место прямо в центре площади, на самом солнцепеке. А им нужен мягкий, увлажненный воздух.

— Мы установим под деревьями увлажнители, создадим особый микроклимат!

Директор торопился: его ждали в горкоме. Он горячился, стремясь быстрей закончить спор. Но горячился и Аброр.

— Да нельзя же все время идти против природы! Ботаника, дендрология — это же точные науки, в том смысле, что... флора на солнцепеке не может расти нормально: она и чахнет, и болеет... Длительная жара, сухие ветры будут угнетать ваши ели и березы; ветви серебристой ели станут грубеть, терять блеск, симметричность и красоту, а кора белой березы в нашем климате неизбежно потемнеет, будет казаться желтой и даже грязной.

Сайфулла Рахманович напрягся, с настороженностью спросил:

— Значит, вы предлагаете... — и оборвал вопрос.

— Предлагаю!.. Во-первых, сажать серебристые ели и березы ближе к зданиям, где больше тени и потому прохладней. Там они скорее приживутся и лучше будут переносить среднеазиатскую жару.

— Ну-ка, покажите на плане... Так, значит, вы предлагаете отодвинуть их на самый край площади?

Сайфулла Рахманович с опаской посмотрел на дверь. Он желал показать, что, хоть двери кабинета плотно прикрыты, их все же могут сейчас услышать... Ну, кто-нибудь в приемной... Нездоровые настроения Агзамова — вот они, проявились, проклонулись... Так пусть уж Агзамов раскроется до конца, а потом... разом дадим ему достойную отповедь.

— Ну-у-у, а во-вторых?

— А во-вторых, мы не должны односторонне увлекаться хвойными деревьями. Вот тут в общем проекте указаны сотни мест для посадок туй. И для сосен. Да и если тоже запланировано высадить многовато. Конечно, хорошо, когда деревья и зимой стоят в зеленом наряде, для местных жителей тuya, сосны, ели будут выглядеть своеобразной редкостью. Но, Сайфулла Рахманович, редкость потому и редкость, что ее не много... Мне часто приходится сопровождать в поездках по улицам Ташкента гостей из Москвы, из Киева, из других городов нашей страны. Они спрашивают: где можно увидеть ваши знаменитые шаровидные карагачи? Где растет серебристая джика? А как пахнет джика до времея цветения!.. Планируется тuya из семейства кипарисовых, окультуренный северо-американский можжевельник... — Теперь и Аброр не без ехидства покосился на двери. — Ну а сам кипарис? Дерево и европейское, и африканское, и американское, и наше — среднеазиатское. Почему у нас почти не виден кипарис? Во времена Улугбека и Навои рос он и в Самарканде, и в Ташкенте. А сейчас кипарис выращивается у нас в дендропарке. — Аброр перевел дух, заговорил спокойней. — И вот наш гость приехал, скажем, из Кисловодска, там он каждый день видит удивительно красивые серебристые ели высотой в десять и даже пятнадцать метров, прекрасные высокие сосны... А у нас эти же деревья еле-еле выхоженные, неказистые, с редкими бесформенными ветвями. Какое останется у него впечатление?..

А вот когда вы с ним приезжаете, скажем, в Ургут и он видит тысячелетние чинары, это его поражает. Или в Хорезме огромный шаровидный карагач-гуджум... Вы верно сказали о всесоюзном размахе, Сайфулла Рахманович. Вот давайте и найдем во всесоюзном размахе место для наших зонтообразных чинар, кипарисов, карагачей, джиды!

— Неужели вы не видели, Аброр Агзамович, как высыхают гуджумы-карагачи, посаженные вокруг театра Навои?

— Видел. Тут не гуджумы виноваты. На них напала болезнь. Надо было их лечить специальным раствором. И потом, шаровидные карагачи очень остро реагируют на загазованность воздуха. А вокруг театра Навои они со всех сторон оказались в окружении больших улиц... Здесь же, на новой центральной площади, мы посадим их поближе к Бозсу, подальше от магистралей, и если будем ухаживать за ними так же, как за серебристыми елями, если будем сберегать их от болезней, то, ручаюсь, они будут хорошо расти.

Сайфулла Рахманович терпеливо выслушал всю эту тираду, выразительно посмотрел еще раз на телефонные аппараты, как бы желая, чтобы и до них дошло каждое его слово, и замедленно веско промолвил:

— Серебристые ели — деревья почета, Аброр Агзамович. Они растут около Кремля. Вы понимаете, почему именно им должно быть отведено самое видное место на нашей центральной площади? Ваше предложение отодвинуть их куда-то на край, в прохладу и тень, я решительно отвергаю. Это предложение неверно по идейной сути!

— При чем тут идеи? Следует учесть особенности серебристых елей. Кстати, и в Москве на Красной площади они растут вблизи кремлевских стен. Надо же считаться с природой!

— Хватит козырять природой! Она для нас не указ, не бог, в конце-то концов! Вопрос о том, где высадить серебристые ели и белые березы, уже согласован, и я больше не намерен его обсуждать. Но чтобы вы учли в своей будущей работе... я должен сказать вам со всей откровенностью: предлагать вместо крымской сосны, например, чинару, или гуджум, или джиду — это, я считаю, отдает местничеством.

У Аброра даже глаза посветлели от гнева и голос задрожал:

— Вы передергиваете, Сайфулла Рахманович! Я сказал не «вместо», а «вместе»!

— Да эта джига растет в любом кишлачном за-коулке. И ее вы хотите притащить сюда! Может быть, нам еще ивняк и тополь сажать в центре центральной площади столицы?

— Несправедливо пренебрегать и талом-ивняком, и тополем. Современному городу нужен кислород. Горожане уже нередко ощущают кислородное голодание. А тополь дает кислорода в семь раз больше, чем хвойные! Есть прекрасные ферганские сорта тополей. Кстати, вы навели меня на хорошую идею: западная часть площади, та, что поближе к Бозсу, просто просится под тополя. Художники наши с любовью воссоздают пирамидальные тополя, ярко своеобразную деталь пейзажа. Скажете, что эти тополя недолговечны? Что же, есть пирамидальные дубы. По форме они очень напоминают пирамидальные тополя и живут долго. Их мы тоже не смеем забывать — наша площадь, вместе с мировым размахом, должна быть национально своеобразной.

— Вы все сказали? — жестким голосом спросил директор. — Теперь скажу я. Как узкий специалист вы, конечно, знаете свое дело. Но этого недостаточно. Нам нужны специалисты идейно под... кова... подкованные.

В течение всей дискуссии Сайфулла Рахманович и Аброр говорили то по-узбекски, то по-русски. Последнее выражение директор произнес по-русски не без запинки.

— Идейным — да, я хочу быть, но подкова в таких спорах ни при чем — все-таки не человека подковывают, а лошадь, — отпарировал Аброр по-узбекски.

— Вот-вот, у вас и тут завихрение. Вы не понимаете, не принимаете общепринятого выражения. У вас какие-то навязчивые идеи, у вас вечно какие-то трудные вопросы на уме.

— Трудные вопросы особенно нуждаются в правильных решениях. А всякая боль — она не бывает не-навязчивой. Наши русские братья говорят: «У кого что болит, тот о том и говорит».

— Нет, навязчивая идея — это все-таки признак идейного нездоровья. А я как директор отвечаю за своих работников. У вас перегиб в сторону национальной ограниченности. И вам надо поскорей избавиться от нее... И это не только мое мнение!

Аброр хотел возразить, но директор предупреждающе поднял руку:

— Минутку! Однажды, когда зашла о вас речь в кругу весьма ответственных товарищей, один уважаемый человек, знающий вас со студенческих лет, сказал, что, к сожалению, у вас случается перекос в сторону национальной ограниченности. Я тогда не вполне соглашался с ним. Но сейчас вижу, что он имел основания говорить так. Я должен предупредить вас, что этим опасным перегибом вы можете навредить и себе, и институту. Поэтому скажу еще раз: избавляйтесь от нацограниценности, и побыстрее. Это откровенное мое мнение.

— Разрешите мне тоже быть откровенным, товарищ директор?

— Пожалуйста!

— Я не знаю, кто тот уважаемый человек, знающий меня со студенческих лет. Может быть, он из людей типа Бахрамова. У этих людей функционируют особые гормоны мнительности, подозрительности. Гормоны эти, как вы знаете, товарищ директор, принесли нам немало бед в свое время. Многие выработали в себе иммунитет против действия таких болезнестворных гормонов... или вирусов, если вас это больше устраивает,— добавил Аброр, увидев, как замахал руками, выражая свое с ним несогласие, директор.— Но, видно, иммунитетом обладают еще не все... Как иначе можно объяснить, что мое предложение считаться с природой различных деревьев, правильно сочетать растения общесоюзных видов распространения с местными видами вдруг квалифицируется как национальная ограниченность? Да, здесь сейчас произошел опасный перекос, вызванный действием вышеупомянутого гормона. Или вируса, уважаемый Сайфулла Рахманович, если вам угодно.

Рахманов резко встал, нервным движением схватил свою папку, выпятил грудь, как на трибуне.

— Я решительно отменяю эти голословные обвинения. У меня нет больше времени для словопрений с вами. Вы со мной не согласны? Можете обратиться в главное управление. Но при всех условиях буду требовать от вашей мастерской точного выполнения проектного задания и точного соблюдения графика сдачи рабочих чертежей...

Аброр не спеша собрал бумаги. Бледный и прямой, направился к двери. Не проронил больше ни слова.

Он вернулся домой с дикой головной болью и тяжестью в левой стороне груди.

Нервное напряжение не спадало, долго в ушах все звенели и звенели директорские попреки и поучения. Все рабочее время после посещения директора Аброр морщился, будто от занозы, которую никак не удается вытащить. Мысленно он продолжал спор с директором и в машине, по дороге домой. В центре нежданно-негаданно грубо нарушил правила обгона, его остановил милиционер, пробил «дырку» в талоне. Аброр сначала просил милиционера простить нарушение, потом вздорно пререкался с ним. Весь издерганный, проехал еще два квартала и опять неожиданно для самого себя решил остановиться около гастронома. Постараться бы забыть все к черту, найти способ расслабиться, разрядиться! И вот сейчас в портфеле позывкают бутылки.

...В прихожей, куда он вошел, тихо открыв дверь, своим ключом, Аброр постоял некоторое время молча, настороженно, ожидал, не выйдет ли кто-нибудь навстречу с плохой вестью о болезни Зафара. Неприятности, как правило, в одиночку не ходят. Но тут из кухни вприпрыжку выбежал Зафар. Завидев отца, метнулся обратно.

— Мама, папа пришел! — прокричал радостно.

На душе Аброра чуточку отлегло, и он различил приятный запах тмина и жареного мяса. Вперед, на кухню! Быстрее!

Зафар знал, что отец любит слоеную самсу и потому не замедлил громогласно возвестить:

— Сегодня у нас самса! А вы, папа, опоздали...
Ох и наелись же мы!

— И папе ничего не оставили! Почти ничего,— пошутила Вазира, открыла духовку и стала вынимать из нее аппетитные румяные пирожки.

— Будто знал, что отменная закуска будет, купил кое-что... — Аброр устало опустился на глянцево-белую кухонную табуретку, раскрыл портфель. На свет божий выглянули бутылка грузинского коньяка «четыре звездочки» и еще одна — с какой-то малознакомой этикеткой. Вазира взяла эту бутылку в руки:

— Батюшки мои, «Старый замок»! Где это наш папочка сумел достать? Вы просто молодец, папа!

Вазира любила показать себя хорошей хозяйкой и в дни, когда она могла остаться дома, потчевала Аброра его любимыми блюдами. Обращение друг к другу на

«вы» не отдаляло, воспринималось, напротив, как выражение особой, нежной уважительности. В узбекском языке «вы» повседневно и естественно. В случаях разлада между говорящими — а такое, как и во всякой семье, бывало и у них — вместо «сиз» звучало «сен» — «ты». Оно не равно русскому — означает высокомерное отношение одного человека к другому, явное неуважение к нему или даже стремление ударить словом.

Аброр собирался с силами, чтобы настроиться на тон Вазиры, будто хотел укрыть свои тяжелые впечатления сегодняшнего дня в какой-то мешок, который следовало потом выбросить вон.

— Почему вы молчите, Аброр-ака? Опять неприятности?

— Да нет, просто... по дороге домой нарушил правила и вот заработал «дырку» в талоне.

— Ну, из-за этого еще расстраиваться!.. Лучше откройте тайну: где у нас в Ташкенте продают это редкое вино?

— Можно сказать, что этот «Старый замок» я взял с помощью военной хитрости. Знакомый продавец припрятал, оказывается, для себя, в уголок среди прочих бутылок затолкал, а я нечаянно разглядел. А хитрость была в том, что пришлось в нагрузку купить коньяк.

Пока Аброр принимал душ, Вазира накрыла стол — поставила тарелку клубники, свежие огурцы, большое блюдо, полное аппетитной самсы.

Аброр разлил вино в бокалы — их только два стояло на столе, только два. Дети в другой комнате увлеченно смотрели какой-то приключенческий фильм — от телевизора их теперь не оторвать... Два бокала, только два, и их тоже двое. Только двое.

— Вазира, давайте забудем про все и станем сегодня снова женихом и невестой!

— Вернемся на пятнадцать лет назад? — Вазира рассмеялась.

— Нет, не вернемся — вознесемся на высоту, на которой мы пребывали пятнадцать лет назад. Мы тогда всем были довольны, по-настоящему счастливы.

— А сейчас? — посерезнела Вазира.

— Ну, не будем уточнять. Мой тост за то, чтобы и сейчас у нас было как раньше.

— Согласна, — сказала Вазира, приподняла бокал до уровня глаз, а потом поднесла его к губам.

Аброр был голоден, и вино подействовало быстро; он почувствовал, как проходит усталость, как появилось доброе настроение, когда хочется кого-нибудь или что-нибудь расхвалить, говорить красноречиво, быть остроумным. Аброр взял с блюда пирожок, надкусил, воскликнул в восторге:

— Вот это да! Эдакую самсу одним только счастливым женихам готовят!

— Но и невесты пускай отведают,— отзвалась Вазира и тоже взяла пирожок.

В прихожей зазвенел телефон. Дети, конечно, от телевизора не отойдут. Аброр встал из-за стола, поспешил к телефону.

— Алло! — Подождал ответа, спросил: — Кто это? — Ответа не последовало, Аброр стал дуть в трубку и уже громче повторять: — Алло! Алло!.. — Никто не отвечал, хотя Аброр отчетливо слышал в трубке чье-то дыхание.— Почему вы молчите? Надо быть посмелей!

Наконец ломающийся юношеский басок спросил:

— Малика дома?

— Дома... А вы-то кто?

— Я хотел у нее спросить, что нам на дом задали.

— А не кажется ли вам, молодой человек, что для таких справок время неподходящее?..

— Извините. Но мне необходимо поговорить с Маликой...

— Малика! — позвал Аброр дочь и, понизив голос, добавил: — Передай своим одноклассникам-кавалерам, чтобы в такое позднее время больше не звонили. И вообще...

Малика покраснела. Не поднимая глаз, прошептала:

— Хорошо, папа!..

Потом взяла трубку, поспешно предупредила звонившего: «Сейчас, сейчас», — и унесла аппарат к себе в комнату, благо это позволял сделать длинный провод.

Дочери-то скоро пятнадцать! Аброр покачал головой и вернулся на кухню. Шутливое, доброе настроение оставило его почему-то.

— Кто это звонил? — спросила Вазира.

— Эстафету любви хотят подхватить наши дети. Только не слишком ли рано?

Аброр рассказал про стеснительного и одновременно настойчивого одноклассника Малики.

— Не мешало бы матери поговорить с дочерью! Пусть не спешит...

Вазира промолчала. Аброр переменил тему:

— Замечательное вино... Признаться, давно не пил такого.

— Да,— однозначно согласилась Вазира. После паузы добавила:— Только наш «Гулоб» ему, пожалуй, не уступит.

— «Гулоб», «Гулоб»... Название есть, а самого-то вина нигде не купишь. Постоянно в магазинах спрашиваю, и все напрасно. А вы его где видели в последний раз?

Сказать где? Переполох поднимется: как? С Шерзодом? В ресторане?! Ответила нарочито спокойно:

— В Москву, оказывается, иногда его привозят.

Аброр на миг приумолк, будто ожидая, что жена добавит еще что-то. Взглянул Вазире в глаза, понял: в Москве она по какому-то поводу отведывала «Гулоб», но сказать об этом сейчас не решается. Или не хочет?

Вазира перехватила настороженный взгляд мужа.

— Я вам потом... расскажу... во всех подробностях... Обычное наше узбекское гостеприимство. С одним знакомым москвичом, метростроевцем, мы обедали в ресторане «Узбекистан». Там нам и подали «Гулоб».

«Мы обедали...» Аброру вспомнился утренний неприятный разговор с Вазирой, когда упоминался Шерзод.

— Ну, обхаживать нужных людей Бахрамов, конечно, мастер!

Соглась: «Бахрамова с нами не было»— на это идти Вазира не могла и не хотела.

— Можете успокоиться, Отелло. Каким бы ловким на такие дела Бахрамов не был, я в его силки не попала. Ну, а знакомый наш москвич на самом деле ташкентцам нужен.

— Если вы употребили слово «силки» в смысле... любовных сетей... изменения... я об этом и мысли не допускаю. Я не Отелло, но одно могу сказать: видеть больше не желаю этого ловкача! И, разумеется, прошу, чтобы вы тоже от него подальше держались.

— Прикажете безропотно исполнять все ваши желания?— Вазира нарочито кротко улыбнулась.

— Нет, зачем же? Вы ведь тоже самостоятельный человек.

— Замечательно и великодушно! Еще вопрос: обязан ли «самостоятельный человек», если этот человек —

женщина, жена, ненавидеть всех тех, кого не любит муж?

— Я не хотел бы сейчас говорить о делах, о заказах, об архитектурных спорах и неприятностях. Но что же делать, если моя любимая жена все шутит, шутит и не видит коварства человека, желающего подрубить под корень лучшие мои замыслы,— придется ей это объяснить.

Когда их профессиональные заботы становились предметом разговора, они чаще всего переходили на русский, на русское «ты».

— Аброр, ты преувеличиваешь опасности,— суховатым тоном возразила Вазира.— Я с Бахрамовым в Москве говорила о тебе. Старые обиды он давно забыл. Относится к тебе вполне корректно, понимает твои творческие намерения.

— Вот как! Он теперь не навешивает на меня ярлыков? Не обвиняет, например, в национальной ограниченности?

Вазира вспомнила эти слова, услышанные от Шерзода еще в самолете. С деланным удивлением спросила:

— Откуда ты это взял?

В свою очередь Аброр не хотел рассказывать жене о сегодняшнем своем столкновении с директором, знал, что рассказ испортит бы ей настроение. Но не смог сдержаться и все ей выложил. Вазира действительно расстроилась. Но иначе, нежели ожидалось.

— У тебя трудный характер, Аброр! Директор доверил тебе такой важный, почетный проект, а ты с нимссоришился. Зачем ты идешь на явный конфликт?

— Да мы с ним очень мирно разговаривали. Но потом он начал бог знает что плести о серебристых елях и березах. Защищал их от меня, хотя я больше болею душой за эти деревья, чем он! Я хочу, чтобы они росли там, где им будет лучше. А ему все равно, лишь бы на самом видном месте, на показуху, отрапортовать, а потом пусть хоть чахнут.

— Может, ты и прав, но надо же уметь в тактичной форме доказать свою правоту. А Рахманов директор, ему очень многое доверено, к его мнению прислушиваются...

— Пусть и ко мне прислушиваются. И Рахманов, и другие!— Аброр даже пристукнул ладонью по столу.— Хорошо, что сегодня Рахманов открыто высказал мне свои взгляды, ну и я в долгу не остался. Открыто!

Я знаю, они с Бахрамовым нередко бросают на меня тень за закрытыми дверями. Подозрительность — оружие их защиты, а защищают они свои служебные кресла от более достойных и талантливых.

— Так ты не давай им повода для подозрений...

— Легко сказать! Что ж ты хочешь, чтоб я постоянно ловчил, хитрил? Нет, лучше уж держаться подальше от этого Бахрамова. И... я, наверное, обращусь в ваше управление. Оно ведь главное, оно одно стоит над Рахмановым. Хоть какую-то часть своих предложений я должен пробить. Иначе уйду от Рахманова.

— Куда?

— Звали же меня преподавателем в институт. Я ведь все-таки кандидат наук.

— Неужели так далеко зашло? Нет, я думаю... спешить не стоит.

Вазира тщетно подыскивала возможность развеять чем-то агрессивность мужа, вызванную — она с болью осознавала это — тяжелым напряжением в работе, нерядицами вовсе не шуточными. И тут внезапно Малика пришла на помочь матери — открыла дверь кухни. В передней называла телефон.

— Папа, вас спрашивают!

Аброр чертыхнулся — ни днем, ни вечером от этих звонков нет спасенья! — вышел в прихожую. Звонил старшему брату Шакир.

— Ну как, у вас все в порядке? Вазира-апа вернулась? Теперь поспокойней, наверное?

— Да какой там покой... Вчера я был в райисполкоме.

— Будут сносить?

— Да.

— А с участком как?

— Придется новый покупать... Начнем искать. Как отец?

— Да все так же. Расстроенный, подавленный...

— Как-нибудь все образуется, Шакир. Успокой стариков. Выберу время — приеду. А пока передавай наш привет.

Житейские трудности и так не дают ему покоя. А вот когда переедут родители к ним, жизнь будет еще более осложнена... Аброр решил пока ничего не говорить Вазире. Он знал, что приезд родителей расстроит ее, начнутся споры со свекровью, взаимные обиды. Пусть

пока хоть с Зафаром все уладится, пусть хоть в этом душа угомонится.

— Шакир тебе привет передавал,— с деланной бодростью сказал Аброр.

Вазира тотчас почувствовала: муж что-то утаивает от нее. Но все-таки этот телефонный звонок отвлек Аброра. Не стоит выпытывать, какие еще неприятности ждут их с Аброром. Кстати, и ей самой было что до поры до времени скрывать: говорить сейчас Аброру о том, что Шерзод тоже собирается работать над проектом, имеющим отношение к обновлению канала, она не считала нужным. Резко отрицательно настроен Аброр против любых проектов выпрямить извилистое русло Бозсу. Стоит ему услышать, что Шерзод Бахрамов собирается вот-вот переделать русло, одеть его в бетон и мрамор... ох, это все может кончиться ссорой. И между Аброром и Шерзодом. И между Аброром и ею, Вазирой,— идея-то Шерзода показалась ей интересной, и легко осуществимой, и вполне стыкующейся с ее собственной работой. Так не хватало еще дома мужу и жене служебными вопросами отношения портить! Придет время — Аброр сам все узнает, а будут с его стороны возражения, тогда и она свое мнение выскажет...

— Собирались тихо да мирно попироровать! Вот тебе и посидели,— вздохнула Вазира, как бы напоминая Аброру о приятном начале их застолья.

— А что!— тряхнул головой Аброр, отгоняя от себя недобрые мысли.— И посидим! Еще как посидим!..

После неприятных разговоров легкое опьянение, которое он ощущал, прошло совершенно.

Забыть все, забыть! Пусть душа на место встанет.

— Вот он, грузинский коньяк!— и Аброр вытащил бутылку на стол.

— А «Старый замок»?— удивилась Вазира.

— От него — как от муравьиного укуса... Ощутимого результата нет. Вино полностью остается для вас, ханум!

Вазира достала из буфета маленькую хрустальную рюмку, протерла ее чистой салфеткой, поставила перед Аброром.

— Смотрите не опьяните, Аброр-ака. Самсы ешьте побольше.

Снова вместе выпили.

Лицо у Аброра порозовело, глаза засветились живым, задорным огнем. Как некогда, когда он был еще лихим молодым парнем.

— Ну что же, выпьем еще, дорогой жених...

— Спасибо и непременно, невеста любимая...

Аброр обвил рукой талию Вазиры, привлек жену к себе. Поцеловал, чуть отстранил и произнес торжественно-шутливо:

— Годы летят, но они не властны над вами. Ханум, вы становитесь все моложе и краше... И желанией,— шепнул он ей на ухо, целуя и в губы, и в висок, и в шею у подбородка.

В это время в кухню вошел, громко хныча, Зафар:

— Папа, Малика не дает хоккей смотреть! Говорю ей: не выключай вторую программу,— выключает. Балет ей понадобился!.. Мама, скажите, пусть хоккей оставит!

Вот так здорово! Дверь-то на кухню осталась раскрытым. И конечно, сынишка видел, как родители целуются. Чтобы скрыть смущение, Вазира напустила на себя строгий вид:

— Одиннадцать уже скоро! Пора совсем выключать. Никакого хоккея, никакого балета! Малика, я что тебе говорила?

Зафар вернулся в комнату, где стоял телевизор, и, округлив глаза, зашептал сестре:

— Целуются, слышишь... они целовались...

— Тебе-то что? Ябеда! — сердито оборвала Малика. — Тихо, вон мама идет.

Лицо Вазиры помолодело, расцвело.

— Я устала с дороги, доченька. И папа вчера не выспался. Поэтому сегодня давайте все пораньше ляжем.

Дочь, конечно, не поверила. Никакая она не усталая. И отец часто по ночам работает, не только вчера.

— Начинается! — недовольно передернула Малика плечиками.

— Что начинается? А?.. Ну что ты какой-то занозой стала!

Малика, не глядя на мать, нахмуренная, выключила телевизор, бросила недовольно:

— Спокойной ночи... — и ушла в свою комнату.

Зафара уложили спать, как обычно, на диване в гостиной.

Выяснилось наконец, что Сиртлан совершенно здоровая собака, что никаких уколов Зафару делать не нужно. Аброр отвез Сиртлана, как и обещал мальчику, за город,

отдал одному знакомому колхознику — сторожить большой двор.

Вазира не забыла о звонке Шакира. Однажды утром она сказала Аброру:

— Оказывается, тут без меня дедушка приходил. Расстроенный, все вздыхал. Малика рассказывает... А потом вы ездили проводать родителей... А недавно Шакир позвонил... Что случилось? Что вы от меня скрываете?

Последние три дня Вазира была особенно мягкой и покладистой. Аброр решил, что сейчас-то и следует поведать жене о сложной проблеме с родительским участком и домом.

Идя рядом с женой (он сказал, что подвезет ее на работу), Аброр видел только профиль притихшей Вазиры: раз она сразу не возразила, значит, старается понять правомерность его решения.

— Я знаю, Вазира, и без того у нас забот много. Но ведь мать и отец... Можно ли бросить их в беде? Да к тому же... это наши проекты в конечном счете бывают по старым домам и кварталам.

Лицо Вазиры поблекло, осунулось будто. Она молчала.

Подошли к бывшему пустырю. Его расчистили в свое время, разровняли, понастроили десятки металлических коробок-гаражей. На каждый автомобиль по коробке. С краю стоял их «шедевр инженерной мысли», весь в ржавых пятнах от снега и дождя, с облезшей краской. Металлический коробочный городок расположился на пустыре временно. В будущем году (им ли, архитекторам, не знать?!) здесь начнут возводить большой гастроном. Аброру снова придется искать автокран и уже в третий раз перевозить гараж-коробку на новое место. От прежних перевозок задняя стенка пострадала, покрылась глубокими вмятинами. Аброр попытался выровнять поверхность молотком, да только еще больше обезобразил железные стенки. И теперь следы молотка на них — словно раны.

Вазира, глядя на них, почему-то вспомнила о совместной жизни со свекровью в старом доме. Споры и ссоры из-за бытовых пустяков, незаслуженные обиды, резкие, несоразмерные с проступками обвинения свербят болючими шрамами, невыпрямляемыми вмятинами на душе.

Когда они с Аброром получили отдельную квартиру

и Вазира по своему вкусу убрала ее, обставила, создала желанный уют, казалось, можно было облегченно вздохнуть, пожить по-человечески. Но получалось, что эта жизнь неустойчива, она-то и есть времененная, вроде этого гаража, которому недолго здесь стоять. Конечно, родителям и снос, и переселение тягостны. Аброр не может и не должен спокойно да привольно жить себе в четырехкомнатной квартире, не помогая родителям, коли все у них так поворачивается. Но почему он не посоветовался с ней? Почему поспешил предложить родителям и брату переселиться в их квартиру? Да еще собирается освободить не одну, а сразу две комнаты. Разве один Аброр хозяин? Ну освободят они две комнаты, так ведь родители не захотят расстаться со своей мебелью, а куда их собственную мебель деть? А на детях как отразится весь этот хаос, связанный даже хотя бы с временным уплотнением?

Аброр успел уже вывести машину из гаража, пока Вазира предавалась своим невеселым мыслям, открыл правую переднюю дверцу:

— Садись, ханум, рядом, вместе думать будем!

Лобовое стекло машины покрылось приметным слоем пыли. Аброр достал из-под сиденья чистую тряпку и стал протирать стекло. Наспех, непривычно суетливыми движениями: чувствовал себя виновным перед Вазирой, ее молчание было тягостным.

Аброр осторожно выехал на проспект, включил радиоприемник. Утренний концерт еще не закончился: задорно пел, восклицал рубоб. Веселая мелодия ударила по нервам, и без того напряженным у обоих.

— Ах, как вы замечательно решили, вы настоящий сын, вы подлинный джомард! — сказала Вазира едко и громко, стараясь перекрыть шум приемника.

— О чём это вы?

— О чём?.. Шакир ведь соглашался квартиру получить. А старшему брату следовало поддержать младшего порешительней! Получили бы все удобную квартиру, и сами не мучились, да и нас бы не...

На светофоре вспыхнул красный глазок. Аброр нажал на тормоз, резко остановил машину, повернулся к жене. Такой мягкой и ласковой была Вазира с утра, а сейчас...

Аброр понял, какая взрывчатка накапливается за ее молчанием, дай только этой взрывчатке соединиться с горящим фитилем!..

— То, что ты говоришь, я не раз повторял отцу с матерью. Но у них свои доводы. Их не переубедишь: они старые люди — у них свои устои. Если мы не приютим их, они уйдут жить к дочерям. Стать приживалами у зятя, когда есть сын,— это несмыываемый позор для меня.

И Вазире было присуще особое почитание родителей. Это святое, не подлежащее обсуждению чувство. И по отношению к родителям мужа, особенно к отцу Аброра. Пойти против этого чувства, преступить нравственный порог она и сама инстинктивно боялась: обидишь старших, и падет эта обида неожиданным бедствием или позором на тебя.

И все же ей захотелось преодолеть «слепой» инстинкт и в себе, и в муже.

— Все эти старые традиции держат тебя в подчинении у матери, Аброр. А она умеет пользоваться твоей уступчивостью!

На светофоре все горел красный глазок, Аброр продолжал пристально смотреть в лицо Вазиры. От ее прежней мягкости и обходительности не осталось и следа! Теперь у Вазиры вид словно у тигрицы, глаза ее светятся недобро, колюче. Задорная радиомузыка разозлила Аброра окончательно. Резким движением он выключил приемник.

— Представляю тебе проявить характер, попробовать переубедить стариков. Посмотрим, что из этого получится!

— Посмотрим! Я не сдамся без боя, как ты!

— Без боя! Откровенно сказала... Воевать со старыми людьми, да еще родителями, не желая помочь им в трудный момент,— это неблагородно.

— Выходит, что благородно потакать их капризам? Не хотят брать жилье в многоквартирном доме, им подавай участок с зеленью! Что за причуды? Сколько людей в многоэтажных домах живут! А они, видите ли, особенные.

— Они привыкли жить на земле! Способна ты это понять? Ведь предоставляется же право выбора. Многие тысячи и сейчас живут так же, на участках. Как у тебя язык поворачивается называть их просьбу причудой, привередливостью?!

Аброр и не заметил, как загорелся зеленый свет. Сзади тотчас послышались нервно-настойчивые сигналы

других машин. Аброр рванул машину с места, помчался как оглашенный.

Вазира заговорила сдержаннее:

— Если бы еще с участком можно было просто управляться! А то ведь и год, и два они сами будут в глине по уши и нас заставят. Ты говоришь: покой им нужен на старости лет. Так пусть возьмут квартиру и спокойно живут. Ты любящий сын и при желании сумел бы отговорить их от мучительного шага...

— Повторяю: мне это не удалось, ханум,— чуть остывая, Аброр снова перешел на узбекское «вы».— Может быть, вам, любящей невестке, удастся наставить на путь истины стариков!

...Ясно, Вазира не пойдет разговаривать с родителями мужа по такому деликатному делу. Как на словах ни боролась она против «слепых» инстинктов и старых традиций, позориться перед людьми не станет... Ну, а ее мать Зумрад Садыковна, некогда работница райкомовского женотдела? Вот она-то смогла бы, пожалуй, побеседовать со стариками смело и решительно и сумела бы переубедить их.

Заодно пора и навестить ее.

Миновав мост через Бозсу, Аброр остановил машину на обочине дороги. Вазира всегда выходила здесь и шла до работы по берегу канала пешком.

Она открыла дверцу и, выходя из машины, сухо сказала, не глядя на Аброра:

— После работы я маму проведаю.

Обычно они ездили к Зумрад Садыковне вместе.

— Одна?

— Да. Домой вернусь, наверное, поздно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Хмурая Вазира подошла к аккуратному четырехэтажному зданию, открыла парадную дверь. Неподалеку от входа, за маленьким столиком с телефоном, сидел вахтер. Узнав Вазиру, он вежливо привстал, улыбнулся.

— С приездом, Вазира Бадаловна!

Все, с кем только ни встречалась сегодня Вазира — и в вестибюле, и на лестнице,— все приветливы с ней; рукопожатия, благожелательные раскланивания, добрые, теплые слова,— да, это ее учреждение, ее служба, ее товарищи.

И эти давно знакомые комнаты с табличками, строго глядящими в коридор: «Группа дорог», «Группа мостов»... Какие могут быть за этими дверями недоброжелатели? Они все коллеги, товарищи, заняты общим делом.

Вазира бегло осмотрела развешанные по коридорным стенам новые проекты.

Вот цветная схема будущего зоопарка, вот три варианта конкурсных проектов дворца бракосочетаний, некоторые называют его «Домом счастья». Авторских подписей нет — конкурс закрытый. Но на одном из эскизов в верхнем углу нарисована стилизованная ласточка. Значит, проект идет под девизом «Ласточка». Под другим эскизом — золотой ключ: автор поверил, видно, что выбранный девиз откроет ему волшебную дверь к победе.

Иногда в часы душевных невзгод Вазира старалась сама поднять себе настроение и гордилась тем, что умела этого добиваться, — волевым усилием она все свое внимание сосредоточивала на работе.

Вазира просветленной вошла в свой отдел. Он занимал две комнаты. Ее рабочий стол — в глубине внутренней комнаты, под развешанными на стене эскизами подземных дворцов-метростанций.

На столе всего лишь за несколько дней ее отсутствия успели скопиться новые документы: объяснительные записки, ходатайства, предложения и просьбы различных учреждений. На каждом документе резолюция начальника ее управления: «Тов. Агзамова! Прошу ознакомиться и дать свое мнение». Или: «На усмотрение тов. Агзамовой». Сухие фразы, но для нее-то они красноречивей иных похвал: Вазира действительно пользуется авторитетом, ей здесь доверяют полностью.

Бот в ее руках бумаги (первая страница отпечатана на внушительном бланке), присланные из проектной организации, которую возглавляет Шерзод Бахрамов. В них подробно излагалось предложение о проведении спецтоннеля через Бозсу. После пространного обоснования самой идеи и ее позитивных последствий Бахрамов просил начальника главного управления поручить разработку этого важного проекта именно его, бахрамовской, группе в составе пяти человек, среди которых значился и Сайфулла Рахманович Рахманов, известный специалист, директор профильного института, лауреат и прочее, и прочее. Начальник главного управ-

ления, как и обычно, поручал Вазире «ознакомиться и высказать свое мнение».

Из стопки бумаг Вазира выбрала именно этот документ, чтобы с утра, как говорится, на свежую голову и с карандашом в руках в нем разобраться.

Шерзод собирался переделать нынешнее русло Бозсу; собственно, даже не столько переделать, сколько заменить — пустить воду новым, выпрямленным, как стрела, руслом. По общегородскому плану здесь должна пройти трасса метрополитена, ее надо было, по мысли Бахрамова, прокладывать открытым способом, что по сравнению с подземной проходкой тоннеля обошлось бы в несколько раз дешевле.

Тут на полях читаемой страницы Вазира поставила зеленым карандашом два восклицательных знака.

Из-за искривленности старого русла слишком велика его протяженность, а короткий прямой канал даст большую экономию воды и земельной площади.

И эти строки Вазира пометила зеленым карандашом — его она пускала в ход, когда ей что-то сильно нравилось, чему хотелось бы открыть зеленую улицу.

Потом Вазира задумалась над тем, что в проекте может вызвать возражения.

Если рядом со стадионом трассу метрополитена прокладывать открытым способом, то довольно значительная площадь вокруг будет изрыта, потеряна для зеленых насаждений. Там, например, где будет двигаться кран — а это полоса шириной более семидесяти метров, — не останется ни одного дерева. Могучие чинары, пышные акации — все они будут обречены на уничтожение. Их место займут горы вынутого грунта, а затем — нагромождения железобетонных конструкций.

Вазира представила, как решительно будет возражать против этого плана Аброр. Не удержала в себе мелкого мстительного довода: «Он же решил, не согласовав со мной, поселить в нашей квартире родителей, почему я должна, потакая ему, отвергать эффективный с экономической точки зрения проект?» Тут же одернула себя: «Дело, конечно, не в наших личных спорах! Эти деревья, сотни деревьев по берегам Бозсу, близ стадиона — отрада для тысяч и тысяч горожан! Сколько раз мы сами отправлялись отдыхать туда в благодатную прохладу!» Это возражение самой себе прозвучало в ней голосом Аброра, будто он сейчас сидел у ее стола и смотрел прямо в глаза. «Опять эмоции, — тут же уко-

рила Вазира себя. — Близорукость, когда думают только о сиюминутных благах... близорукость... Если осуществить проект Шерзода, то... ведь можно в будущем вырастить деревья еще красивей и пышней. И до каких пор мы ради синицы в руках будем отказываться от журавля в небе?»

Номер телефона Шерзода, ей помнилось, был записан в карманном календарике. Вазира набрала нужные цифры.

Видимо, Шерзод поручал кому-то срочную работу, потому что в трубке еще до его «алло, я слушаю» раздался сердито-решительный голос:

— ...Идите, и чтоб через два часа все было готово!

А потом Шерзод поднес трубку к уху и, едва заслышав, что это Вазира, разом изменил тон, обрадованно заворковал:

— О, Вазирахон? Неужели? Здравствуйте! Все ли у вас благополучно? Как дома? Сынишка поправился? Как, вообще говоря, дела?

Отвечать на все это было необязательно: ритуал вежливости. Шерзод и задавал все эти вопросы один за другим, без передышки, не дожидаясь ответов. Самое важное — тон голоса, обрадованный, немного игривый, но и уважительный, конечно. Как умелый певец, Шерзод вел мелодию, постепенно набирая высоту и усиливая звучность голоса, чтобы на самой ликующей высокой ноте задержать особое внимание слушателя.

— Ах, Вазира, Вазира! Признаюсь, вернувшись из Москвы, я ждал вестей от вас, звонка... хотя бы из управления... И вот... вы делаете меня счастливым.

— Я получила ваши документы, ознакомилась с ними, — постаралась Вазира вернуть Шерзода к делам, да и неудобно говорить об ином по служебному телефону.

— Бумаги?.. А... про увязку метро и канала? Ну и как? — словно между прочим спросил Шерзод, однако внутренняя тревога чуточку вопрос окрасила.

— Идея ваша... ну, раз уж вы признали, что я приношу вам счастье... мне понравилась...

— О, спасибо, Вазирахон, спасибо!

— Но есть в проекте такие места, что могут вызвать возражения. Потому-то я и хотела бы с вами их обговорить, прежде чем идти к своему начальству.

— Повторяю еще раз, Вазира, вы делаете меня счастливцем. Такой дружеский поступок — это... это... я не нахожу слов... А вы сегодня собираетесь идти

к начальству, Вазирахон Может и мое присутствие там необходимо?

— Было бы неплохо, я думаю. У Наби Садриевича могут возникнуть вопросы... Погодите! Я сейчас... — Вазира позвонила по внутреннему телефону в приемную начальника управления. Осведомилась у секретарши: — Тоня, Наби Садриевич у себя?.. Никуда не собирается уезжать?.. До которого?.. До двенадцати? Хорошо, спасибо... Шерзод, вы слышите?.. Наби Садриевич будет у себя до двенадцати часов. К одиннадцати сможете приехать? Сейчас?.. Нет, к одиннадцати... Сейчас десять. Хорошо-хорошо, тогда и поговорим обо всем.

За оставшийся до одиннадцати часов срок ей надо успеть написать и отпечатать на машинке свое короткое предварительное заключение. Только Вазира вернулась из машбюро в отдел, как раздался звонок внутреннего телефона и Тоня сказала, что Вазиру Бадаловну приглашает к себе Наби Садриевич. Вазира подписала перепечатанное заключение, прикрепила скрепкой к бумагам Шерзода, положила в специальную — для начальства — папку с позолоченным, весьма значительно звучавшим, хотя и не совсем понятным названием «К докладу».

— Я буду у Наби Садриевича,— сказала Вазира, проходя через первую комнату, мимо стола, за которым работал ее коллега, молодой архитектор.— Когда придет товарищ Бахрамов, Шерзод Исламович, вы его знаете, скажите, чтобы он поднялся в приемную товарища Садриева. Хорошо?

У двери в коридор Вазира на мгновение остановилась перед зеркалом: в отделе работало немало женщин, да и из соседних комнат к ним забегали подружки «глянуть на себя в рабочем порядке». Во многом из-за этого Вазира выбрала для себя вторую комнату, в глубине помещения. Сейчас она придирчиво оглядела себя, поправила ворот белой шелковой кофточки, рукой разглядывала темно-серую юбку, чтоб складка к складке была приложена... Выражением лица осталась довольна: деловое, целеустремленное... Один завиток волос падал на лоб. Зачесывать его Вазира не стала.

У Садриева очень просторный кабинет. На полу — огромный, яркой расцветки туркменский ковер. Кроме рабочего стола с телефонами в глубине комнаты вдоль окон протянулся длинный стол для заседаний.

Наби Садриевич сидел во главе этого стола, когда

Вазира открыла дверь. Вокруг склонились над большими листами чертежей пять человек. Один из них что-то записывал в блокноте, другой вел расчеты на логарифмической линейке, остальные внимательно изучали расстеленные листы сводного проекта. Наби Садриевич повернул голову на звук открываемой двери, кивком пригласил Вазиру подойти к своему рабочему столу, встал навстречу.

— Вы пока уточните проработку этих частей проекта,— сказал он сотрудникам.— Здравствуйте, Вазира Бадаловна!

Вазира уже привыкла к тому, что в этом кабинете всегда людно. Дел, которые требовали неотложного решения главного управления, много, очень много. Наби Садриевич (ему сорок пять, ранняя седина, однако, не старит, а, наоборот, естественно гармонирует с его живостью и энергией), чтобы успеть сделать все необходимое, решал более простые и легкие вопросы как бы между другими, более сложными.

Он поздоровался с Вазирой за руку, подвел ее к своему столу, достал из выдвинутого ящика вычерченные карандашом эскизы. Положил перед собой на столешницу. Это были изображения орнаментов для облицовочных плиток различного цвета, которыми предполагалось украсить стены одной из подземных станций метро.

Наби Садриевич был автором этих орнаментов. Вазира по возвращении из командировки подробно рассказала Наби Садриевичу о замечаниях москвичей, увидела, что его обещание подумать над советами коллег выполнено. Замечания эти, судя по эскизам, он принял. Вазира обрадовалась: вот так, по-деловому следовало бы всем работать, без амбиций двигать дело вперед.

— Вы нашли очень удачное решение, Наби Садриевич! — сказала она искренне.— И плитки стали больше, и рисунок крупнее, и сохранятся орнаментальные и даже каллиграфические традиции наших ташкентских мастеров.

Проницательность Вазиры и та быстрота, с которой она реагировала на его работу, тронули Наби Садриевича.

— А вы сразу распознали ташкентский стиль!

— Но он же заметно отличается от стиля мастеров самарканских и бухарских.

— А ведь та позолоченная ажурная резьба, которую

вы предусмотрели в капителях колонн, тоже в стиле ташкентцев, не правда ли?

— Да. Вы говорили, что интерьер каждой станции надо выдерживать в одном стиле. А мне пришлось как раз колоннами заниматься...

— Где нет последовательности в стиле, там нет и не может быть совершенства!.. Теперь эти эскизы следует просчитать в материале, превратить в рабочие чертежи.

«А это всегда требует времени и старательности», — как будто услышала Вазира продолжение. И сама вызвалаась:

— Пусть наш отдел займется этим.

Вазира собрала эскизы, сложила их стопочкой под бумаги Шерзода.

Наби Садриевич успел заметить в папке Вазиры бланк с собственной резолюцией.

— У вас, я вижу, ко мне и другое дело есть?

— Наби Садриевич, в ближайшем будущем нам придется столкнуться с вопросом, как прокладывать трассу метро через Бозсу, у стадиона. Я познакомилась с предложением по этой теме.

— Ну и как, заслуживает внимания?

— По существу это эскиз готового проекта, точнее — более подготовленного и обоснованного по сравнению с другими предложениями. Я написала предварительное заключение. И на недостатки указала.

Начальник управления посмотрел на работающих за длинным столом инженеров. Тихо переговариваясь, те продолжали заниматься своими расчетами.

Пробежав глазами заключение, Наби Садриевич сел в кресло, жестом предложил сесть и Вазире. Еще раз перечитал заключение Вазиры, задумался. Поглядел снова на инженеров. Чуть слышно побарабанил пальцами по своему столу.

Он лично придерживался мнения, что оба берега Бозсу должны стать своеобразными бульварами для отдыха, прогулок. Тихие набережные, без машин, ничем и нигде не пересекаемые... Сейчас концертный зал «Бахор» и расположенный рядом с ним трехэтажный дом занимают довольно значительную часть левого берега и настолько близко стоят к воде, что не только для бульвара, но и для узенькой аллейки, по которой можно бы прогуляться, места не осталось. Сносить эти добротные здания жалко. Но если русло сдвинуть здесь метров на пятьдесят — шестьдесят ближе

к стадиону, то искривленные его участки выпрямятся, край левого берега отодвинется от построек, и тогда людям привольно станет ходить вдоль канала — от самой Урды до парка Гагарина и дальше.

Вазира вздохнула и облегченно, и сожалеюще.

— Как мне самой все это в голову не пришло?.. Очень убедительно, Наби Садриевич! Разрешите, я перепишу заключение и первым пунктом обозначу в нем вашу идею.

Наби Садриевич передал Вазире бумаги, еще раз бегло просмотрев их.

— Значит, пойдет по вашему отделу?

Было в этом вопросе и некое предостережение. Вазира усмехнулась.

— Ответственность берем на себя!

Наби Садриевичу нравилась в Вазире смелость. Да и сама она, эта миловидная женщина, нравилась, было в ней особое очарование: по-современному раскованна в слове, а держится сдержанно-застенчиво...

— Устоять перед вами, Вазира Бадаловна, очевидно, невозможно. Зайдите в плановый отдел и от моего имени передайте, чтобы они тоже занялись этим вопросом. Пусть и они на вас поработают... Но продолжайте собирать и изучать мнения других компетентных лиц. И передайте, пожалуйста, Бахрамову — пусть к работе подойдет со всей серьезностью и осмотрительностью. А то он иногда скользит по поверхности, с кондакча решает... Я надеюсь на вас, Вазира Бадаловна.

— Наверное, Бахрамов и сам сейчас в приемной. На всякий случай я пригласила его.

Зашумели за длинным столом. Видно, там действительно без обсуждения было не обойтись. Посматривают с нетерпением, когда начальник освободится от настойчивой собеседницы. Наби Садриевич развел руками:

— Мне пора к ним. А вы поговорите с Бахрамовым от моего имени. Будьте требовательной. Спуску ему не давайте! Он должен быть окружен и взят в плен на наших условиях! — Садриев улыбнулся, помахал рукой.

— Спасибо за доверие!

Вазира не успела закрыть дверь в кабинет Садриева, а Ішерзод, мыкавшийся в приемной, подскочил к ней и, здороваясь, уже целовал ей руку. Тут же заметил, что у Вазиры вид строгий — пальцы так и норовят выскользнуть из его руки.

— Ну как дела? Порядок? Ажур?

— Пойдемте в отдел,— суховато ответила Вазира, непроизвольно убирая руку за спину и с облегчением убеждаясь в том, что Тоня куда-то вышла из приемной.

По пути, в коридоре, заметила только, что товарищ Садриев предъявил к проекту «бо-о-ольшие требования».

— Но все-таки отнесся к нему со знаком плюс? — спросил Шерзод, когда они уселись друг против друга за рабочим столом Вазиры.

— Плюс, плюс... только всю ответственность за обоснованность проекта мне пришлось взять на себя. Так что учтите...

— Вот и славно!.. А я, вообще-то говоря, боялся, сильно боялся!

Шерзод широко улыбнулся. Пытался острить. Но потом вдруг примолк и принял сосредоточенно потирать лоб, будто размышляя над тем, как же ему отблагодарить свою собеседницу — уважаемую, редкостно самостоятельную, умеющую, как никто другой, осчастливить человека.

— Вазирахон, недавно вы мне подали прекрасную идею: использовать для будущего сооружения мрамор и каменную крошку. Вы приобрели, вообще-то говоря, большой опыт по интерьерам. А я много лет подряд занимался только проектированием жилья. Гранит, мрамор — все это материалы весьма каверзные. Вот я и подумал: не возьметесь ли за эту часть проекта вы сами?

Куда клонит Шерзод, об этом Вазира пока не догадывалась, но он затевал, судя по всему, серьезный разговор.

— Не скромничайте, Шерзод,— возразила она.— Вы архитектор, как и я. Мы с вами вместе изучали, как использовать крошку, гранит и мрамор...

— Все верно, но теоретические знания — одно, а опыт — совсем другое.

— Ну, если потребуется, я готова быть внештатным консультантом.

— Одними консультациями не обойтись, Вазира... Я прошу вас стать соавтором.

Вазира не сразу ответила. Конечно, быть одним из авторов крупного сооружения в самом центре города — лестно. Верно и то, что вряд ли в группе Шерзода есть достойный специалист по облицовочным мате-

риалам и интерьерным украшениям. Ее творческое честолюбие получало возможность проявиться заметно, крупно. А муж? Она и так пошла, можно сказать, против заветной мечты Аброра, поддержав проект Бахрамова. Впрочем... Она, Вазира, самостоятельный человек. В служебных обязанностях, в творческих вопросах — тем более... И опять она не могла убить, задавить в себе чувства обиды на мужа, раздражало ее и то, что он потакал капризу своих стариков; ее-то он в расчет не принял, с нею не посоветовался! Это тягостное ощущение будто оправданной мести мужу, которое почти рассеялось после того, как предложение Бахрамова она сумела провести через Садриева, теперь вновь будоражило душу.

Усилием воли она все же его превозмогла. Стать соавтором Бахрамова — это и неловко, и страшновато, и означало бы зайти слишком далеко.

- Шерзод, вы меня ставите в трудное положение.
- Перед Аброром? — прямо спросил Бахрамов.
- Да!

— Наоборот! Я продумал эту деталь. Наоборот, вы окончательно помирите меня с ним. Нам нечего делить — вот что мы ему скажем. Канал протянулся на десятки километров. А в нашем проекте задействован лишь один участок... какой-нибудь километр русла. Прибрежных мест всем хватит. Пожалуйста, пусть Аброр благоустраивает остальное... Соглашайтесь, соглашайтесь, дорогая Вазира!

— Но у вас соавторов и так достаточно. Сайфулла Рахманович ваш соавтор. К сожалению, Аброр сейчас и с ним не ладит.

— Вы возведете мост взаимопонимания между нами. Ведь многое плохое, вообще-то говоря, происходит из-за того, что люди не могут, а порой и не хотят понять друг друга, верно? Вы же так хорошо понимаете и Аброра, и меня. У вас есть удивительная широта во взглядах и редкий природный тakt в обращении с людьми.

Конечно, Вазира чувствовала, что Шерзод напропалую льстит ей, но, если разобраться объективно, думала она, разве слова о ее широте и тактичности совсем лишены оснований? Невольно и потихоньку-полегоньку женская неуступчивость в одном сменялась уступчивостью в другом. Шерзод для нее, Вазиры, только товарищ по работе, но он и в самом деле ценит ее — не только как милую, привлекательную женщину, но

как специалиста. И в конце концов хотелось бы развязать этот запутанный, усложненный недоразумениями узел в отношениях между мужем и Шерзодом, а еще теперь и Сайфуллой Рахмановичем.

Шерзод наседал:

— Эта работа не отнимет у вас много времени, Вазира. Некоторые свои соображения вы сможете высказать просто по телефону, как сегодня. Всю черновую работу выполнят мои люди. Мы же с вами будем подавать принципиальные, оригинальные идеи... Не отказывайтесь, Вазира. Подумайте. Через недельку-другую давайте встретимся, и вы скажете мне свое — да будет оно позитивным! — решение.

Вазира тяжело покачала головой.

— Пусть сначала ваш проект получит полное одобрение. А я при случае с Наби Садриевичем посоветуюсь.

— Так я и сам скажу Наби Садриевичу, какие ценные, неординарные творческие решения вы нам предложили.

— Не делайте этого, Шерзод. Пожалуйста, не ставьте меня в неловкое положение.

— Да почему же, Вазира? Разве это не естественно, не прекрасно, когда архитекторы двух проектных организаций рука об руку работают над одним проектом? Большие наши руководители недаром призывают к преодолению ведомственности, к творческому сотрудничеству всех заинтересованных сторон...

— Хорошо, к этому разговору мы еще вернемся, Шерзод. А пока, я прошу вас, пусть все останется между нами.

Тем самым Вазира как бы признавала, что теперь некая тайна связывает их. Это уже немалая победа. И когда Шерзод прощался с Вазирой, ему снова захотелось прижать к губам тонкие изящные пальцы женщины, немолодой, но, странное дело, манящей его сильней иных молодых. Однако он прочел в глазах Вазиры теперь не строгий запрет, а просьбу: «Не делайте этого». Потому рукопожатие деловое, чуть-чуть нежней обычного,— и он распрощался.

Вазира добиралась к матери по проспекту Руставели. Оживленная и шумная магистраль от палящего солнца к вечеру раскалилась, как сковородка на долгом огне. Нечем было дышать; спертый, неподвижный воздух насыщен едкой бензиновой гарью и горячей пылью. Ва-

зира потом изошла, пока сходила на расположенный не- подалеку от магистрали базарчик, чтобы купить матери свежих фруктов, пока дотащилась с тяжелой сумкой в руках до ее дома рядом с Текстильным институтом. Дом этот строился в пятидесятых годах: лифта не было, лестницы крутые, потолки раза в полтора выше нынешних.

Еле дошла до знакомой двери на четвертом этаже, остановилась, отыскивая взглядом кнопку звонка.

Кнопка, оказалось, выпала, а в углублении, где она некогда сидела, торчали искривленные концы проводков. Вазира, оторвав кусочек от бумажного пакета, осторожно до них дотронулась. Прозвенел звонок. Из квартиры доносилась громкая музыка (магнитофон младшего брата Алибека, большого любителя современного грохотанья!), и Вазира поняла, что звонок никто не услышал. «Чем без конца одурманивать себя поп-музыкой, мог бы потратить чуточку своего драгоценного времени, чтоб звонок починить!» — разозлилась она и, смахнув со лба тыльной стороной ладони пот, сильней надавила на проводки. Ударило током, и Вазира испуганно отдернула руку.

Наконец за дверью послышалось шарканье домашних шлепанцев. Открыла сама Зумрад Садыковна. На лестничной клетке было темно, и Зумрад Садыковна, стоя в дверном проеме, долго вглядывалась в гостью..

— Ой, да неужели не узнаете, мама?!

— Вазираджан! — воскликнула удивленно и обращенно мать. — Заходи, доченька, заходи!..

Они обнялись, расцеловались. Прошли на кухню. Вазира сразу заметила, что глаза у матери потухшие, ноги она переставляет осторожно, будто ослепшая.

— Это что, черешня?

— Да нет, клубника. Ой, вы стали хуже видеть, мама?

— Худо у меня с глазами, Вазираджан. Совсем худо стало, — тяжело вздохнула Зумрад Садыковна. — Ты все занята, уже с месяц времени не выберешь мать проведать, — без видимой связи продолжала она. — А братишка твой всю душу мне вымотал, одно расстройство с ним.

Из комнаты, что напротив кухни, по-прежнему неслись то стихающие, то вновь до боли в ушах громкие надрывные звуки. Вазира видела, что мать сдала, что и от слабости, и от этого крика «хиппарей» губы и руки у нее трясутся.

— Хорошо, что ты приехала. А то уж я хотела от соседей позвонить тебе.

— Случилось что-нибудь? — Вазира присела на табурет около матери.

— Случилось, Вазирочка, случилось... Брат твой собирается разводиться.

— С ума сошел! С кем же он там эту музыку слушает?

— А, нашел себе подобных. Будто мне уличного грохота мало! До полуночи покою нет от этих воплей и топота. Жена, поссорившись с ним, ушла.

— Насиба такая хорошая...

— Да разве хорошая женщина сможет с таким мужем жить? — Зумрад Садыковна понизила голос, продолжала шепотом: — Ведь четыре года уже как женат. Насиба ребенка хочет. А братец твой заладил: «Не нужны они мне, дети эти!» Уже дважды бедняжка лишала себя радости...

— Ой, беда какая! — сокрушенно воскликнула Вазира. — Насиба что же, к матери ушла?

— Да... Сильно плакала, когда прощалась со мной. А брат твой еще какую-то собаку пегую к нам привел. С работы вернется, сразу с ней на улицу — прогуливать, что ли, называется. Больщащая, как ишак. Боюсь я ее. Когда на работу уходит, привязывает ее в комнате. А собака скулит. Зайду взглянуть, есть ли у нее хоть вода, а она скачет, прыгает, с привязи рвется. Сердце прямо в пятки уходит: а ну куснет... Да еще четвертый этаж этот! — опять без видимой связи перешла на другое Зумрад Садыковна. — Пока спустишься да поднимешься пешком — душа из тела вон. Раньше мне и жара спать не мешала, и уличный шум ни почем был. А сейчас в духотице сердце заходится... Ты же знаешь, Вазирочка, я им внутреннюю комнату уступила, ту, где потише, а сама осталась в той, что прямо на улицу выходит.

— А я что вам говорила: не делайте этого! Вот все это и называется баловать, нежить, прихотям его потакать!

— Не знаю, Вазирочка, ничего не знаю!.. Ночью трамваи и троллейбусы мчатся по улице, будто по моей голове. До утра глаз не могу сомкнуть... Дней десять уже прошло, как глаза сильно щипать стало. И вижу все хуже. Какое-то бельмо, похоже, прицепилось.

Вазира вспомнила, что у матери лет пятнадцать назад, когда она работала инженером на ситцепечатной

фабрике, тоже разболелись глаза. От химических испарений. Потом она перешла преподавать в институт, где доцентом работал и отец Вазиры, и зрение у Зумрад Садыковны постепенно улучшалось.

— И сейчас щиплет? — спросила Вазира, подмечая, что глаза у матери беспрестанно слезятся.

— Нет, это прошло. Но все время сетка какая-то висит перед глазами. Будто сквозь сито гляжу... Иногда, Вазираджан, такая тоска наваливается, что просто сил нет. Устаю очень быстро.

Вазира встала с табуретки, попросила мать повернуться лицом к окну. В падающем сверху свете разглядела на зрачке ее левого глаза что-то белое. Крохотный белый осколок. «Неужели бельмо! — Сердце у Вазиры чуть не оборвалось. — Показалось, наверное!» — попыталась она себя успокоить.

— Закрой правый глаз.

Зумрад Садыковна прикрыла правый глаз ладонью — тут же вскричала испуганно:

— Ой, не вижу ничего! Что за беда приключилась с моим левым, Вазира? Слепнет он, да?!

Вазира, увидев, как побледнела мать, сказала нарочито спокойно:

— Погодите секунду... Проверим еще раз.

Она включила на кухне электричество.

— Закройте-ка снова правый глаз и гляньте вверх, на лампочку.

Зумрад Садыковна опять поднесла ладонь к правому глазу, подняла голову к потолку.

— Свет различаю, — сказала она. — Но совсем немного. Что же это такое, а, Вазира? Зрение теряю, да?!

Вазира стала говорить быстро-быстро:

— Если свет различаете, пугаться не надо. Небольшое бельмо скорей всего вам мешает. Сделают операцию и удалят его.

— Операция? Легко тебе говорить! Здоровья и так нет. И вторым глазом слабо вижу. Только бельма не хватало!.. Видать, судьба моя такая горькая. Почему отец твой оставил меня одну на этом свете? Забрал бы с собой, от всех тревог избавил бы! Что же это будет, если я на старости лет еще и зрения лишусь, а?! Как же мне жить теперь, слепой и немощной, да еще с сыном... таким непутевым?!

Эти причитания матери разрывали сердце Вазиры.

— Не надо, мама, не преувеличивайте, никакая вы

не слепая и не немощная,— принялась она утешать ахающую мать.— Ну, а с сыном вашим я сейчас сама поговорю!

Вазира стремительно вышла из кухни, рванула на себя дверь, из-за которой по-прежнему неслись, лишь чуть приглушенней прежнего, хриплые звуки и бьющие по нервам ритмы.

В комнате было накурено — не прдохнуть, хотя окна раскрыты настежь. На столе — стаканы, одна уже опустошенная бутылка портвейна, вторая выпита наполовину. Троє парней и две девушки: одна чернобровая, с сигаретой в зубах, в короткой юбке, другая — темно-русая.

Музыка оглушила Вазиру. Залихватская какая-то, разухабистая, веселая, но молодежь развалилась на стульях и в креслах — хмурая, скучная, на лицах пресыщенное всем на свете до смертной тески.

Едва Вазира показалась на пороге, огромный пятнистый дог, лежавший у окна, грудь и лапы на ковре, вскочил, напрягся. Длинноволосый, по моде заросший бородой и усами Алибек прикрикнул:

— Лежать!

Потом неторопливо поднялся из кресла. Пояснил приятелям: «Это моя старшая сестра», — подошел к Вазире и вяло протянул ей руку. Вазира окинула взглядом собравшихся:

— Здравствуйте...

Еле-еле процидила свое «здравствуйте» ей в ответ лишь одна чернобровая — та, что в короткой юбке, с сигаретой. Остальные небрежно кивнули. Встать никто и не пытался. Предпочитают, мол, обходиться без всяких церемоний, без устаревших выражений взаимных любезностей.

Вазира, в свою очередь, бесцеремонно повернулась к компании спиной и сказала брату:

— Ну-ка выйди со мной!

Алибеку сразу стало ясно: мать сестре пожаловалась на него, сейчас начнется воспитательная беседа.

— А ты мне что-то сказать хочешь? Так говори здесь. Видишь, у меня гости.

— Я тоже гостья. У меня к тебе серьезный разговор. Скажу и уйду. Пошли...

Извиняющимся жестом Алибек развел руками, пожал плечами.

— ЧАО, ребятки! Я быстро вернусь.— И вразвалку пошел вслед за сестрой.

Одет он был в зауженные на бедрах и расклешенные внизу брюки, которыми при каждом шаге словно намеренно мел пол. И манера щедить слова, и шаркающая походка, и пижонская разноцветная бахрома-шнуровка на месте отворотов внизу джинсовых брюк — все в брате раздражало Вазиру, но она старалась сдерживаться. Молча прошла с Алибеком в комнату, где жила мать.

— А ну-ка садись,— показала она брату на диван, сама присела на стул напротив.

Дверь, ведущая из комнаты на балкон, была распахнута, и грохот улицы наполнял комнату. Вазира совсем не хотела срываться на крик, тогда она могла окончательно рассориться с Алибеком: ведь брат, конечно, встанет и уйдет, нужного разговора не получится.

Хоть жарко и душно было в комнате, Вазира прикрыла балконную дверь.

Из кухни, осторожно ступая, пришла Зумрад Садыковна. Еще одно усложняющее обстоятельство, но не предлагать же матери идти обратно.

— Мама, садитесь, посидите с нами.

Разговор с Алибеком пришлось повести издалека:

— Как дела? Все еще на заводе работаешь?

— Нет. Уже в институте работаю.

— Когда же успел?

— Дней двадцать назад перешел, а что?

— Но ты был инженером солидной фирмы — авторитетного завода текстильного машиностроения. Почему ушел? Зарабатывал мало?

— Да так, захотелось. Я свободный человек. Где хочу — там и работаю.

— Бездельничал, поди, как и дома, прогуливав... — не выдержала Вазира.— И кто же ты в институте, можно узнать?

Алибек, отрешенно пощипывая куцую бородку, будто не рассышал вопроса. Вазира повторила вопрос. Вместо Алибека ответила Зумрад Садыковна:

— Младшим лаборантом стал твой братишка!

— Вот это да! — ахнула Вазира.— Младшими лаборантами девчонки работают после десятого класса. А у тебя высшее образование. Семьдесят рублей! Разве тебе хватит? У тебя же семья!

Алибек вытянул ноги в бахромчатых джинсах, откинулся на спинку дивана. Потом выпрямился, принял ся сосредоточенно рассматривать руки, чистить неизвестно длинные ногти на обоих мизинцах.

— Что он может тебе сказать, Вазираджан? — подала голос Зумрад Садыковна. — Он последние деньги из моей сберкнижки вытягивает. По десять, по пять рублей, а то и по трешке. И пенсию мою всю до копейки спускает!

— Снова жаловаться начала, да? — вдруг резко вскинулся Алибек. — Жалобы, жалобы, жалобы... Нет, все это, видать, прекратится, лишь когда я уйду из дома совсем!

Алибек знал, что именно этого больше всего боялась мать. Без Алибека она бы дня прожить не смогла. Любила, привыкла, не могла помыслить себя вдали от сына. После окончания института Алибека вместе со сверстниками должны были на год призвать в армию. Так Зумрад Садыковна все пороги в военкомате обила, несколько письменных заявлений подала. «Больная, дескать, одинока, некому больше присмотреть за мной», — и ее ходатайство-просьбу, некогда активной общественницы, «женотделки», человека с заслугами, гуманные люди уважили: сына от призыва освободили. Эгоистичный и хитрый Алибек давно прибрал к рукам старушку мать, давно научился извлекать выгоду из ее материнской любви, привык делать все, что пожелает.

Вот и сейчас Зумрад Садыковна вдруг поспешила отступить перед нахалом:

— Зачем ты так говоришь, Алибекджан? Я тебя разве из дома гоню? Я хочу тебя увидеть настоящим человеком, тебе добра желаю. Тебе уже двадцать пять, сынок. Твои ровесники председателями колхозов работают, начальниками цехов!

— Сколько раз вам говорить, мама, что должности и посты, оклады и прочее меня не интересует! Я сам себе председатель!

Вазира задыхалась в душной комнате. Усилием воли заставила себя говорить хладнокровно:

— Хорошо, брат, что же тебя интересует? Что тебе нравится?

— Мне нравится свобода!

— И не стыдно «свободному человеку» пить портвейн, купленный на пенсию престарелой матери?

— Этот портвейн я на собственные деньги купил!

— А вчеращий? А позавчераший? — Вазира все-таки не совладала с собой. — А все эти тряпки, что красуются на тебе, они на чьи деньги куплены? До каких пор ты в семье баловнем будешь, чужаком каким-то? Пора бы наконец самому отцом стать. А ты вон с женой скандалишь, лишь бы только детей не иметь!

— Вы почему вмешиваетесь в мою личную жизнь, Вазира-апа?

— Мы столько труда и средств вложили, чтоб свадьбу тебе пышную спровести! Тогда ты почему-то не возражал против моего вмешательства.

— Женитьба была ошибкой. Моеей ошибкой, — надменно сказал Алибек. — В наше время не стоит жениться. Самые современные, высокоразвитые люди нашего атомного века справедливо считают семью и брак явлениями пережиточными.

— Высокоразвитые? Эгоисты безграничные — это да! Как бы ты сам появился, такой «свободный человек», если бы твои родители были «высокоразвитыми»?

— Времена изменились... Плодить детей? А думаешь ли ты о том, что земной шар стоит перед угрозой перенаселения? К двухтысячному году людей в мире будет не меньше семи миллиардов! Целые континенты уже сейчас не могут прокормить себя, а людей пока на земле только четыре миллиарда... А про угрозу атомной войны ты подумала? Растить детей для нее — это гуманно?

— Значит, ты потому детей не хочешь, что о благе человечества печешься?

— Не только, сказать тебе откровенно. Я и себя мучить не хочу!

— Вот в том-то все и дело! Ты лишь о себе думаешь. «Человечество», «перенаселение», «атомная угроза» — болтовня, словесная ширма эгоизма! Оставим в покое человечество и твоих будущих детей. Но о матери, что рядом с тобой живет, ты ведь ни капельки не заботишься. Не стыдно тебе ради собственных удовольствий мучить маму?

— А чем это я ее мучаю?

Вазира вскочила со стула. Распахнула дверь на балкон. Комната сразу наполнилась шумом улицы. Пришлось повысить голос.

— Ты способен понять, что все, все это для нее мучительно? И что ты жену прогнал, и что эдаких дружков сюда приводишь, и что работу меняешь! Да и собака тебе

ни к чему. Все ее терзает!.. Сам обитаешь в тихих комнатах с окнами во двор... Это по совести, по-человечески, гуманно, что больная женщина вынуждена жить в не-смолкаемом шуме и духоте?

Алибек тоже вскочил.

— Сестра, ты свои прочувствованные речи при себе оставь. Если для этого меня позвала, то хватит, я пошел!..

Вазира поняла, что брат сейчас действительно уйдет. Она же обещала себе быть сдержаннее.

— Садись-садись! Выслушай меня. Я еще главного не сказала.

От волнения и жары у нее в горле стало першить. Облизнув пересохшие губы, спросила у матери:

— Мама, чайник там у нас не вскипел?

— Вот склероз, и что же это я так... Забыла!

Зумрад Садыковна осторожно направилась на кухню.

Вазира только сейчас заметила, что пуговицы на материнском халате застегнуты неправильно, одна пола оказалась выше другой, воротник перекосился. Боже мой, боже! Когда-то их мать была красивой, гордой, всегда изящно одетой! Самостоятельным человеком! И вот как сдала — сгорбилась, обмякла вся. Дело не только в старости. Всем своим существом почувствовала Вазира духовный упадок матери, и такая жалость появилась к ней, что пришлось все силы напрячь, чтобы преодолеть спазм, перекрывший дыхание, чтобы не разрыдаться беспомощно и безудержно.

Алибек нехотя присел на диван, процидил чуть ли не сквозь зубы:

— Ну, давай говори... меня гости ждут.

— Ты ничего не замечаешь. У мамы ведь... Она же слепнет!

В глазах Вазиры блестели слезы.

— Говорил я ей! — Кажется, и Алибек почувствовал, в каком состоянии сестра. — Сходи, говорю, к окулисту. Так она слушать не хочет. А сама на каждом шагу спотыкается. Все у нее из рук валится.

— А если видел, почему сразу же к доктору ее не повел?

— Да что я ее, как маленьку, за руку поведу?

— Что с тобой вообще происходит, брат? — Вазира наклонилась к нему и едва слышно заговорила: — Представь-ка себе, она совсем ослепнет, что ты тогда делать станешь? Мать на улицу не выбросишь. Никто

тебе этого не позволит, даже если ты захочешь ее в богадельню отдать. Заставят содержать, ухаживать. Вот тогда ты узнаешь, что значит за руку водить!

— А почему только я должен водить? Ты, между прочим, тоже дочь ей!

И такие слова после всего, что она постаралась объяснить брату?! На секунду Вазира будто дара речи лишилась. Значит, Алибек стал таким наглым, бесстыжим? Вместо кожи на нем, значит, броня непрорвиваемая, и все слова — и острые, и душевые, и разумно-логичные — рассыпаются в прах?..

Но и на сей раз она подавила в себе гнев.

— Я старшая у матери и побольше твоего о ее судьбе думаю. Поэтому и пришла сюда. Хочу вместе с тобой, лоботрясом, беду предотвратить!

— Поскорей к доктору ее, и все дела!

— Этим я сама займусь. Завтра же. Но ты-то хоть сколько-нибудь будешь заботиться о матери или нет? Ответь прямо.

— А что я могу?.. — пожал плечами Алибек.

Вазира поняла — проку от такого разговора не будет, если она в требованиях своих к брату не проявит настойчивость и твердость.

— Маме сейчас нужен покой. Когда ты уходишь на работу, собака действует маме на нервы, выводит ее из себя. Кстати, где ты ее взял?

— Товарищ дал.

— Какой товарищ? Он сейчас здесь?

— Да, тот, с гитарой.

— Так вот что, братец Алик, пойди сейчас к своим приятелям и объясни им, что мама заболела. Проводи всех по-хорошему. И собаку хозяину верни...

Алибек поморщился. Но тут из кухни с чайником в руках появилась Зумрад Садыковна. Он увидел, как неуверенно, будто на ощупь ступает мать по полу.

— Хорошо! Сделаю. Но больше ничего от меня не требуй. Все! — Алибек встал с дивана.

— Об остальном поговорим потом.

Встала и Вазира.

— Мама, в кухне, кажется, прохладней, чем здесь. Пойдемте туда чай пить.

Алибек какое-то время еще посидел у себя с приятелями, потом вышел из дома проводить их. Увел на поводке и собаку.

— Мама, комната ваша никуда не годится, — ре-

шительно заявила Вазира.— Сегодня же мы переселим вас в другую, ту, что окнами во двор. Там будет спокойней.

— Ой! — испугалась Зумрад Садыковна.— Гляди, с братом потом греха не оберешься. Нельзя его вещи трогать. Скандалить начнет!

— Не бойтесь,— успокоила Вазира старушку и направилась в комнату, где недавно сидел с товарищами Алибек.

Чтобы выветрился дым, мало было настежь раскрыть окна и двери внутри квартиры; дверь на лестничную площадку Вазира распахнула тоже. Собрала окурки, пустые бутылки, обрывки бумаги и выбросила в мусорное ведро весь этот хлам.

Алибек занимал, собственно, целую квартиру в квартире: из одной его комнаты шел ход в другую, смежную, где стояли кровати. Покойный отец любил, чтобы все комнаты были раздельные, оттого и в этой спальне еще одна дверь вела в небольшой коридор-прихожую. После того как Алибек с женой заняли обе комнаты, дверь из спальни в прихожую наглухо заколотили, а изнутри заставили платяным шкафом. А уже потом Алибек прорубил из спальни ход в ту самую комнату, где пировал с приятелями и приятельницами и где гремела сегодня музыка. Вазира решила, что стоящий здесь диван больше подойдет маме, чем тот, который стоит сейчас у нее: тот — узкий, с жесткой спинкой, а этот — раскладной, пошире и поудобней.

Вазира вымыла комнату и почти всю пыль в ней вытерла к тому времени, когда вернулся Алибек. Втроем они сели за круглый стол в чистой и прибраний комнате.

— Мама, а вы заметили, что Алибек вернул собаку хозяину?

— Ой, спасибо тебе, сынок! — воскликнула искренне обрадованная Зумрад Садыковна.— Проснулась в тебе совесть, а, Алибекджан?

Алибек исподлобья глядел на женщин, но молчал. Похвалила, называется! Да и вообще не нужны ему похвалы, он в них не нуждается.

— Ваше здоровье, мама, нам всего дороже,— продолжала между тем Вазира.— Завтра суббота. С утра мы сходим с вами к глазнику.

— Далеко тебе, хлопотно будет... — пробурчал Али-

бек.— Машина-то у Аброра работает?.. А чего он сегодня с тобой не приехал?

Вазире припомнились все те язвительные слова, которых она достаточно много наговорила сегодня утром Аброру. Да, ведь она ехала к матери за помощью: отец Аброра обычно считался со сватьей!.. А оказалось, мать сама нуждается в дочерней помощи, причем неотложной. Нужно будет здесь участие и Аброра.

Утренняяссора с мужем показалась никчемной.

Стараясь не выдать перед матерью своего состояния — раскаяния перед Аброром за резкость, надежды на поддержку мужа и в то же время не прошедшей до конца обиды на него, все вместе,— Вазира сказала:

— Занят был сегодня Аброр, завтра приедет. А до того мы с Аликом должны еще одно дело сделать для вас, мама.

— Какое?— насторожился Алибек.

— Комната, где мама сейчас живет, очень шумная. Мы с тобой говорили, мучается она там, заснуть не может. А пока лето еще минет, пусть-ка она сюда переберется.

Алибек только и нашел что сказать:

— Но ведь эту комнату мама мне сама уступила!

— Ты будешь в спальне жить. Раскроем там дверь, что в прихожую ведет. А эту дверь можешь совсем заколотить. Как было раньше.

— Но здесь магнитофон с колонками, другие мои вещи!

— Если они в спальне не поместятся, вынеси в ту, где мама сейчас живет.

— А товарищи мои придут, я их что, в ту шумную комнату поведу?

— Да у тебя как было, так и останется две комнаты. Дружки посидят в комнате с балконом. Соревнование устроните, кто кого перекричит — вы улицу или она вас!— Заметив, что Алибек опять раскаляется, Вазира снова, очнувшись, перешла на тон увершения:— Вы молодые, что вам шум?! А старому больному человеку он очень вреден.

— Выходит, все лучшее — старикам, а что похуже — молодежи? Вот это и есть один из противных восточных пережитков! Молодежь только и обязана, что почтительно кланяться старикам, ступать за ними след в след, не обгоняя, доедать за ними обедки.

Да еще толковать о священных традициях, опыте отцов и дедов и прочее.

— Опять «современная теория»! — снова Вазира повысила голос. — Ты один, современный молодой мужчина, будешь занимать две удобные тихие комнаты, а больная мать пусть мучается в этой раскаленной духовке... Вот уж пережиток так пережиток!

— А не желаете, чтоб она мучилась, заберите ее к себе домой, — с хладнокровием, которое могло довести до бешенства, предложил Алибек. — У тебя тоже очень спокойная, тихая квартира — четыре комнаты!.. Она и тебе мать!

— Ну и негодяй!.. Пойдемте, мама, я вас заберу с собой. Пусть живет один как прокаженный! Дайте ему годик хотя бы пожить одному. Пусть поймет... И надо же до такого бесстыдства дойти — старостью человека попрекать! Ну и негодяй!.. Вставайте, мама, поедем к нам!

Зумрад Садыковна медленно поднялась.

— Куда же я на ночь глядя подамся? — нерешительно запротестовала она. — Ведь вас, Вазира, четверо... И привыкла я здесь, в своей квартире, столько лет... — И она заплакала.

— Тогда я переведу вас сейчас же в эту комнату!

— Не спешила бы ты так, доченька. Как-нибудь мы и сами порешим с Алибеком. Вот он пса уже увел, для меня большое облегчение.

Зумрад Садыковна привыкла не только к квартире, но и к грубостям своего сына. «Без меня с ним беда какая-нибудь приключится обязательно, обязательно... — шептала она. — Как это вдруг уйти, бросить сына одного?»

Вазира была в отчаянье.

— Сын ваш так жестоко поступает потому, что вы ему во всем без конца потакаете. Будьте построже с ним, подумайте о себе, все мы один только раз на свете живем!

И теперь уже сама Вазира расплакалась.

Добираясь через ночной город домой, она никак не могла выбросить из головы образ своей вспыльчивой и сварливой свекрови. «Нет, и впрямь, видно, лучше быть как Ханифа-хола, чем такой уступчивой и безвольной, как мама».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Аброр уже несколько раз отрывался от экрана телевизора, оборачивался и поглядывал на настенные часы. Скоро десять, а о Малике ни слуху ни духу. Да и Вазира уехала к матери — как в воду канула. Вернулся Аброр с работы, а Зафар дома сидит один. Малика, спросив разрешение у матери вернуться позже, ушла к подружке на день рождения. И что только можно делать столько времени? А вдруг там и те ребята, что с утра вызывали дочери по телефону?

На душе у него стало тревожно, и он встал. Только вышел в прихожую, послышалось, будто кто-то снаружи вставляет ключ и открывает дверь. И тут вошла Вазира. Вид у нее совсем не тот, что утром, — уставшая, расстроенная, подавленная. Она молча сняла туфли, надела домашние тапочки.

Аброр первым нарушил молчание:

— Ну как там? Ничего?

— Да-а... — Вазира неопределенно махнула рукой. — А Малика вернулась?

— Нет. Уже десять. Напрасно вы ей разрешили вернуться позже обычного.

Вот еще одна забота. Этого только не хватало! С тяжелым вздохом Вазира присела на стул около телефонного столика. Долго рылась в записной книжке и, найдя клочок бумаги, на который Малика записала ей номер телефона подружки, нервно стала его набирать.

— Алло!.. Извините, пожалуйста... Это квартира Дильдоры?.. У вашей дочери сегодня день рождения? Поздравляю!.. Я мама Малики... Дочь моя у вас?.. Поздно уже, и мы беспокоимся. Ну, конечно, конечно... Спасибо вам! А вы не могли бы Малику к телефону позвать?..

Трубку взяла Малика, и тогда Вазира уже больше не смогла сдержаться:

— Я тебе что сказала?.. Что значит «рано, мамочка»? Десять часов для тебя рано! Как это — не отпускают? Пять часов уже прошло. Хватит с тебя. Сейчас же собирайся!.. А это меня не касается! Хватит! Немедленно домой!

Со стуком бросила трубку на рычаг. Аброр стоял, опершись о дверной косяк, и не узнавал жену.

— Ханум, такая резкость может дать обратный результат. У Малики переходный возраст.

— Значит, надо потакать и уступать ей?

— Я тоже за строгость. Но разумную. Крайность способна вызвать другую крайность... Сегодня вечером мне звонила ее классная руководительница, Сабирова.

— У Сабировой тоже есть претензии к нашей дочери?

— Видишь ли, Малика осмелилась выступить на каком-то собрании с критикой своей учительницы. Педагоги требуют от учеников скромности, воспитанности, но это не значит, сказала наша Малика, что учащиеся должны придерживаться отсталых взглядов. Сабирова же мне говорит с тревогой, что за пределами школы образуются какие-то компании, некоторые мальчики и даже девочки их школы курят, пьют вино.

— Ну, она сейчас появится, и мы узнаем, какие это компании! — раздраженно ответила Вазира, уходя к себе в спальню переодеться.

Все тело ныло от усталости. Сменив платье на легкий халат, она решила чуточку прилечь, подождать дочь. Вот-вот раздастся звонок... Но нет, звонка не было. Прикрыв глаза, она почувствовала, как неприятно кружится голова, а в ушах стоит долгий глухой гул. Перед глазами мелькают круги, и в них, будто на размытых фото, вставленных в круговые рамки, мелькали обрывки пережитых за день встреч.

Наконец раздался звонок. Дверь пошел окрывать Аброр. Вазира с трудом поднялась с кровати и, застегивая на ходу халат, вышла в прихожую.

Малика почти вбежала домой, щеки у нее раскраснелись, глаза возбужденно блестели. От быстрой ли ходьбы или от чего-нибудь горячительного?

— А ну, иди сюда, — бросила Вазира и повела ее на кухню.

В гостиной Зафар продолжал смотреть телевизор. Вазира села на табурет, другой поставила напротив. Вскоре появился на кухне отец, прикрыв за собой дверь. Малика почувствовала, что собирается гроза над ее головой; не присев, сбивчиво заговорила:

— Я давно собиралась уйти, а Дильдора не пустила. Шуршу поздно приготовили. Потом шашлык... А плов только готовить начали. Без плова, как положено, не отпускали...

— Зачем же вам, девчонкам, шурпа, и плов, и шашлык — такое обильное угощение да еще в поздний час?

— Мы это говорили маме Дильдоры. А она все твердила и твердила: обычай такой.

— И мальчики, конечно, были?

— Да, одноклассники наши... Я хотела уйти. Но все Дильдора... «Обижусь,— говорит,— всю компанию расстроишь!»

— Ах, у вас компания! — Вазира потянула дочь за руку, рывком усадила ее на табурет. Почувствовав запах не то вина, не то табака, спросила: — И понемножку курили? И выпивали, наверное?

Малика призналась не сразу.

— Нет, не курили и не выпивали.

— Не ври! Я знаю!

— Ну... шампанского чуточку-чуточку, мама. На десять человек одна бутылка... Капелька досталась...

— Капелька! С нее-то все и начинается. Капля камень точит!

— Но я уже не маленькая, комсомолка. Папа! — Малика стала искать защиты у отца. — Разве я не имею права в день рождения подруги...

— Погоди, погоди, Малика, — как можно мягче начал Аброр, — комсомольцы помнят не только права, тем более такие сомнительные, — они помнят и обязанности. Ты на наш обычай ссылаешься: мол, не отпускают без слова. Но есть еще более важный обычай: сдержать слово. Ты обещала маме вернуться к десяти. А сколько сейчас? Ты подругу обидеть не решилась, а нас с мамой заставила ждать и нервничать. А пить вино — разве у наших девочек бывал такой обычай? А курить?

Малика молчала.

— Сколько было мальчиков? Честно отвечай! — Лицо Вазиры мрачнело все больше и больше.

— Четверо.

— А девочек?

— Тоже четверо.

— Значит, парами собираетесь. Вы и к другим ученикам вашей школы всей компанией в гости ходите?

— Но ребята у нас хорошие... Мы вместе в комсомол вступали.

— Наверное, домой нам все время звонят они же, кто-то из этих парней? — спросил Аброр.

Малика покраснела, опустила глаза.

— Выходит, и на переменах вы той же восьмеркой

уединяетесь, чтобы посмеяться над остальными учительницами?

— Что ж теперь, совсем не разговаривать?

— Кто от тебя этого требует? — оборвала Малику мать. — Ты пока лишь восьмой класс заканчиваешь! Если с этих лет начнешь компаний водить, на вечеринках посиживать, вино пить, что с тобою дальше будет?

— Никаких компаний я не вожу! — вдруг взорвалаась Малика. Губы ее задрожали, запрыгали, на лице выказалось настоящее страдание. — Вы ничего не понимаете! Мы все просто дружим. Почему дружить девочкам с мальчиками считается зазорным? Почему?

— Кто это считает зазорным? — спросил Аброр. В глазах у Малики заблестели слезы.

— Учительница наша, Карима-апа... На собрании Дильдору стала осуждать ни за что ни про что.

— А ты стала защищать подругу и критиковать учительницу?

— Стала! Зачем она пережитки старого защищает?

— Какие, например? — продолжал допытываться Аброр.

— Ее дочь с нами учится. И вот девочка чего-то там не сделала, что ей мама велела, или по-своему сделала, так Карима-апа зашла на перемену в наш класс и при всех дала дочери пощечину. Весь класс осталబенел... И нас она запугать хочет. Разве страхом можно заставить уважать старших? Разве такое «уважение» не пережиток прошлого? Я и сказала об этом на собрании в нашем «клубе девочек».

Вазира совсем не ожидала от дочери такого гнева. Замолчала, все смотрела и смотрела на нее, дивилась. Ее Малика, ее девочка стала выступать на собраниях, отстаивать справедливость! Значит, она и впрямь становится взрослой, серьезной. Но тут же вспомнился Вазире брат Алибек, его самоуверенные речи о «пережитках», эгоистические рассуждения о перенаселении земли... Дай сейчас Малике волю, не дойдет ли постепенно и она до подобных «теорий»? Нет, нет, предупредить, пресечь, это своееволие.

— Ты прежде всего о себе, о своем поведении думай! — сказала она. — Если Карима-апа в чем-то ошиблась, то директор школы есть, чтобы ее поправить, на недостатки ее указать. Педсовет существует. А ты всего-навсего ученица восьмого класса, и тебе еще рано о старших судить, тем более учительницу осуждать!

Выступать на собрании, подрывать ее авторитет — это невоспитанно и бес tactно!.. Ну, а за то, что ты сегодня вернулась домой позже дозволенного тебе времени, да еще и вино пила, — я должна тебя наказать. Ни на какие дни рождения к подругам больше не пойдешь! И ребятам, что звонят нам домой, передай: пусть тебя больше не тревожат. Раз пошли среди людей разговоры, значит, есть на то причина. Дыма без огня не бывает! И эта компания, чувствуя, до добра тебя не доведет!

— Вы почему каким-то посторонним верите? Почему не хотите мне поверить? Кариму-апу слушаете, а меня не хотите! — готовая вот-вот расплакаться, воскликнула Малика. Потом, снова обращаясь за поддержкой к отцу, спросила: — Как можно запрещать дружить?

Аброр не успел ничего сказать, как Вазира резко оборвала дочь:

— Тебе мало того, что я сказала?! В твоей компании еще и курят. Заразишься еще этим поветрием!.. Дай тебе волю... Нет, больше никаких вечеринок с мальчишками, ни единой! А попробуешь пойти хоть раз, в наш дом можешь не возвращаться! На порог не пущу — иди тогда куда хочешь!.. А сейчас ступай к себе! Все!

Малика вышла из кухни вся в слезах.

Побледнев, Вазира схватила пиалу и наполнила ее прямо из крана холодной водой. Аброр с нарастающей тревогой глядел, как дрожали у жены руки, когда она подносила пиалу ко рту, как лихорадочно блестели глаза.

— Что с вами, Вазира?.. И зачем так грубо вы обошлись с Маликой? Она же не понимает ваших опасений, она же еще ребенок.

— Не защищайте ее!.. Я сегодня сыта по горло «проблемами молодежи». Моего брата Алибека так избаловали... Мама теперь просто погибает от его распущенности и своеволия. Я сама увидела сегодня, до чего доводит родительская снисходительность. Сердце у меня кровью обливается.

— Что случилось-то? — уже не на шутку встревожился Аброр.

И Вазира стала сбивчиво рассказывать мужу, что у матери на глазу белмо и она почти ничего не видит... что брат разрушил свою семью и катится по наклонной... что она готова была увезти Зумрад Садыковну к себе. В рассказе жены беды наслаждались одна на другую, приобретая размеры непоправимой катастрофы. Вазира

сидела опустив руки, глаза ее уставились в одну точку — полное отчаяние, изнеможение, обессиленность. Она почти прошептала:

— Что же делать, Аброр? Ах, если б мама могла быть построже с ним!.. Так нет, она все еще защищает и заступается за этого нахала и наглеца.

Аброр молча шагал по кухне из угла в угол...

Так решительно отправилась к матери за помощью, а вернулась еще более расстроенная и подавленная. Теперь, наверное, поняла его, Аброра, правоту и не будет мешать ему временно приютить родителей. Но только убедил ее не он, а жестокосердие Алибека. Не хочет быть она похожей на своего брата. И еще Вазира знала, что без помощи Аброра не выручить ей мать из беды. Да и за брата она в ответе не меньше — ведь она старшая сестра. С кем же делиться ей горестями, если не с мужем?

Аброр уже не чувствовал раздражения против Вазиры, все утреннее, неприятное выветрилось, и ему стало жаль ее.

И Вазира почти не помнила утренней их размолвки... В конце концов, не на всю жизнь приедут к ним свекровь и свекор!.. И разве не прав Аброр и в том, что резко обошлась она сейчас с Маликой, слишком строга была с ней, а девочка у них растет хорошей, честной и чистой...

Из глубины смятенного ее сознания выплыло вдруг, будто и не к месту совсем, воспоминание о встрече с Наби Садриевичем и... с Шерзодом. Его предложение стать соавтором проекта, который идет явно вразрез с замыслами Аброра. Она пыталась усилием воли отогнать это воспоминание от себя, чтобы оно не усугубляло и без того сложного, смятенного состояния ее души. Но воспоминание зацепилось за что-то такое, чего она стыдилась...

После довольно долгого молчания Аброр как бы про себя сказал:

— Да, беда и впрямь не ходит одна... Но почему же вы не поговорили с дружками Алибека?

— До них ли мне было?! И говорить с ними очень уж неприятно. Слишком они развязны.

Аброр вспомнил, как сам однажды попробовал поговорить с ними. Даже стакан портвейна выпил, хотя крепленого вина не любил. Большинство дружков — разведенные. От жизни хотят только брат и ничего не хотят ей давать...

«Ну, ладно,— думали вместе и Вазира, и Аброр,— корни тут глубокие, а что сейчас вот делать, как вырвать Алибека из этой компании? Скажи-ка попробуй: «Дружки у тебя плохие»,— так он сразу на стену полезет. Слова тут не помогут».

— Может быть, его в Фергану или Самарканд отправить с женой, ну, найти повод... чтобы как-то оторвать от дружков?— неуверенно спросила Вазира.

— А я вот думаю, сначала с Насибой нужно поговорить,— как бы размышляя вслух, сказал Аброр.— Раз они в ссоре и разводиться собираются... сперва этот узел как-то развязать. Или подтянуть — не знаю, как и сказать...

— Дома у нее телефона нет. Но я Насибу разыщу.

Решили позвонить Насибе завтра на работу. А с утра съездить к классной руководительнице Малики — и этот узел ждет, чтобы к нему прикоснулись чьи-то здравые руки... Да, еще Вазира с утра маму к врачу должна повезти.

Аброр мысленно добавил к перечню дел и заботы своих стариков: они ведь ждут его. Он должен помочь им найти подходящий участок для нового дома... Пошла сумасшедшая какая-то полоса жизни, когда запутанные узлы все множатся. И среди них еще споры его с директором — Рахмановым. Аброр уже набросал черновик письма начальнику главного управления, думал завтра, в субботу, посидеть над ним, подумать, переписать набело. Но, видно, завтра часть дня уйдет по графе «семейные заботы». Остается для дела только ночь.

И Аброр направился в кабинет, включил настольную лампу, найдя в себе силы думать, писать, одним словом — работать.

Вазира решила не ужинать, есть совсем не хотелось. Она приняла душ, выпила холодного кефира. Устала, конечно, очень, выдохлась за день, но спать не хотелось. Стиркой она занималась обычно по субботам. Но на этот раз, зная, что суббота уже вся расписана, она отобрала часть белья и стала стирать. Спать легла уже после полуночи...

Утром в субботу Аброр отвез тещу в поликлинику на консультацию. А оттуда завез Зумрад Садыковну и Вазиру домой. Теперь очередь была за его родителями.

День становился все жарче. Вишневые «Жигули»

все раскаленней — и от знойных лучей солнца, и от расплавленного асфальта. Аброр гнал на большой скорости; нагревались шины, источая запах горелой резины.

С особой силой этот запах ударила Аброру в нос, когда он, почти в полном изнеможении, остановил машину у отцовской калитки, в тени деревьев, которые некогда посадил Агзам-ата. От Бозсу на этот раз не веяло прохладой и свежестью: запах резины победил все другие.

Рассиживаться было некогда. Аброр наспех поел маставы. Этот кисловатый суп хорошо утолял жажду. Посадил в машину отца и младшего брата. Помчались в квартал Шофайзи, расположенный за старым ташкентским районом Кукчи на северо-западной окраине города. Здесь их ждал толстый высокий человек, он знал местность, в которой хотел приглядеть себе участок Агзамата. Машина заметно осела, приняв еще одного пассажира, ее рессоры заскрипели. И все же — давай, давай! — снова помчался вишневый, вроде и устали не ведающий «жигуленок».

Там, где до землетрясения простирались колхозные угодья, появились теперь по-городскому тесно друг к другу прижатые дома. Жители кварталов Кашгарка и Шайхантаур, оказавшихся в эпицентре, все переехали сюда: возвели новые дома, вырастили новые деревья; некоторые по привычке окружили себя высокими глиняными заборами — дувалами. Много оставалось здесь и участков земли, не занятых или не вполне занятых под строительство. Улицы не благоустроены, а то и вообще их не было здесь, улиц. Грузный человек, который сел в машину в квартале Шофайзи, сделал Аброру знак:

— Езжайте по этой улице вон туда... Там живет Аксакал, заберем и его.

Аксакал — тоже грузный, внушительного вида и веса старец — устроился на заднем сиденье. Бедный «жигуленок» так и присел.

Вдоль так называемой улицы шел ров, выкопанный для прокладки газовых труб. Проехать тут было нельзя, и Аброр начал вынужденный разворот. Вдруг послышался скрежет. Аброр вылез из кабины посмотреть, что случилось. Оказалось, выхлопная труба автомобиля, задев какой-то крупный булыжник, покорежилась. Аброр чуть слышно ругнулся и снова сел за руль.

Машина с почти касающимся земли днищем еле-еле
стронулась с места.

— Будь осторожней, сынок, не спеши,— сказал
Агзам-ата.

Как ни старался Аброр ехать осторожнее, ничего из этого не получилось: перегруз велик, да и дорога незнакомая. Дважды «Жигули» садились днищем на исковерканную, всю в ухабах дорогу. Аброр при ударах о землю страдал так, будто не машину бьют, а его самого. Но ничего не говорил, терпел, чтоб не думали люди, что слишком уж он болеет за свою железяку.

Так они миновали несколько вконец разбитых транспортом улиц, полупустырей, наконец добрались до нужного места — одного из начатых и брошенных строек.

На этом участке заложен был основательный фундамент, и даже стенка поднялась на несколько кирпичей в высоту. Выяснилось, что хозяин участка внезапно умер, а вдова не в состоянии продолжать строительство. Вот потому и продает.

Агзам-ата заинтересовался участком, обошел его.

— Неправильно арыки проложены,— сказал он.— Откуда поступает вода? Далеко ли до канала?

— Нет, недалеко.

— Газа нету,— с нарочитой грустью заметил Шакир.

— Водопровод же есть,— вмешался аксакал.— Электричество тоже есть.

— А канализация? — спросил Шакир.

— Это что такое?

Шакир объяснил. Аксакал рассмеялся.

— Да сами яму выкопаете. Это вам не центр.

Аброр стоял в тени, под ширококронной урючиной. Не вмешивался в разговор, отдыхал. Ему нравился здешний воздух. Будто в поле. И тишина.

— Очень далеко от автобуса,— сказал, продолжая гнуть свое, Шакир.— Отец, если есть другие участки, давайте посмотрим.

— Есть более благоустроенные места? — спросил Агзам-ата у провожатых.

— Найдутся... Поехали, посмотрим.

Снова двинулись по ухабам и рывтинам, снова машина билась днищем о землю.

Аброр терпеть не мог эту торговлю участками,

но желание отца — закон для сына. Не пошлешь ведь старика маяться, пешком ходить по участкам.

И второй, и третий участок не пришли по душе. Грузные пассажиры-проводящие утешали: есть еще не застроенные места и вдоль речки Карасу, и в той стороне, что за концом улицы Луначарского,— вот они, адреса.

Приближался вечер.

— Отец, меня ждет Вазира, — сказал Аброр. — Она у своей больной матери.

— А, так оставим наши дела на завтра. Воскресенье завтра, и ты, наверное, свободен. Семь раз отмерь, а один раз отрежь. Верно, сынок?

— Верно. Завтра продолжим.

Аброр подвез отца домой, когда уже смеркалось.

— Брат, подождите минутку, поедем вместе, ладно? — Шакир пошел домой, быстро возвратился в праздничной рубашке, новых туфлях. Аброр подвез его к театру Навои в центре города.

Брат все приглашивал свои непокорные волосы. На лице Аброра загрима улыбка — он все понял.

— На свидание?

— Да... — сконфуженно ответил брат.

— Просто так встречаешься или всерьез?

— Да, нет... вроде у нее всерьез.

— У тебя?

— Тоже.

— Давно знакомы?

— Уже три года.

Аброр все-таки выведал у ставшего немногословным Шакира: девушка работает техником-агрономом в управлении городского благоустройства, даже знает его.

— Погоди, погоди... Отец ее переводчик, да? За границей работал? У них еще «Волга» своя, верно? Как зовут девушку?

— Нигора.

— Э, да я ее видел!.. Симпатичная...

— Вазиру-ана она тоже знает. Вы все, оказывается, учились вместе — вместе с дядей Нигоры.

— А кто этот дядя?

— Он тоже архитектор. Сейчас крупный пост занимает. Фамилия его Бахрамов.

— Шерзод Бахрамов?!

— Да, кажется, Шерзод.

Шакир ждал, что брат порадуется, узнав в дяде

своего однокашника. Но Аброр, как ни старался, скрыть огорчения не мог.

— Вот ведь незадача... Слышал, что Бахрамов хотел пристроить в кооперативном доме около нас своего родственника. Видно, для сестры и зятя лез из кожи... И мы можем породниться с этой семьей? Вот это да!

— А что, они плохие люди? — встревожился Шакир.

Аброр коротко рассказал брату о некоторых стычках, произошедших между ним и Шерзодом, этим самым омрачив Шакира.

— Я этого не знал!

— Вот ведь как в жизни бывает... Ты от него подальше, а он тут как тут. А девушка, Нигора твоя, хвалит дядю или как? Не говорила с тобой о Шерзоде?

— Говорила... Так, между прочим, конечно. С гордостью, мол, большой человек, лауреат и все такое...

— Ты будь откровенен с ней. Родственники, знаешь, это и опора для человека, а порой и груз тяжелый. А бывает, и преграда для начала самостоятельной жизни. Если вы и в самом деле любите друг друга, то вместе сумеете преодолеть всякие преграды. Я тебя не пугаю, но считаю, что лучше тебе все это прояснить заранее.

— Хорошо, что я все это узнал. Пока не поздно...

— Не будь мнительным, Шакир, не ищи недостатков дяди в племяннице. Они могут быть людьми совсем разными.

— Конечно, конечно... Ну все, я пошел.

Аброр за целый день так намаялся, что едва не задохнулся, поднимаясь по крутой лестнице на четвертый этаж, где его ждала Вазира с матерью. Такого раньше с ним не бывало. Сердце глухо и часто стучало. Не хватало воздуха.

Ну вот наконец нужная дверь и звонок без кнопки.

Аброру открыла стройная молодая женщина; в глаза бросились короткая стрижка под мальчика и ярко-красные босоножки. Это была жена Алибека — Насиба. Аброр вежливо поздоровался с ней, обрадованный, что Вазира все-таки привела беглянку домой.

В комнате было шумно: Зафар с упоением занимался машинами, подаренными бабушкой. Вазира с Насибой успели приготовить манты и теперь накрывали на стол в комнате, которую облюбовал для себя Алибек и которую у него хотела отвоевать Вазира. Большое расписное

фарфоровое блюдо — ляган — исходило в центре стола ароматным паром: манты лежали грудой, и над ними стояло аппетитное облако, особенно ясно видимое глазу голодного человека.

Аброр и был таким сверхзорким человеком.

Что до хозяина квартиры, то сам Алибек лежал во внутренней комнате на кровати в верхней одежде и жевал чунгвам (так говорил он), или попросту резиновую жвачку (так называли ее все ташкентские ребятишки). Алибек увидел Аброра еще из спальни в полуоткрытую дверь и не спеша поднялся. Вышел к родственникам с обычным своим независимым видом, держа руки в карманах джинсовых брюк.

— Привет, почча! — и протянул руку.

Аброр нахмурился. Вазира возмутилась:

— Выплюнь эту заразу, когда с людьми-то разговариваешь!

— Много ты понимаешь, — невозмутимо сказал Алибек. — Выкинули бы лучше из своих голов пережитки. Чунгвам укрепляет зубы. Вон в институте один наш преподаватель даже в президиуме сидит и жует, потому что ему так доктор посоветовал.

— Ишь ты, предписания врачей зауважал. Так брось курить и прекрати к портвейну прикладываться.

Алибек посмотрел на Аброра:

— Видишь, почча, каждый день вот так, и по многу раз! Я же не ребенок, чтобы меня постоянно учили!

— Замолчи! — прикрикнула Вазира. Потом повернулась к двери, распахнутой в коридорчик: — Насибахон, мама, к столу, к столу! Зафар, пойди поешь на кухне...

Насиба присела за дальний от Алибека угол стола; муж и жена старались не глядеть друг на друга. Значит, решил Аброр, они до сих пор в ссоре, и Насиба пришла сюда, очевидно, услышав о болезни свекрови. По доброте своей душевной... А Вазира, конечно, нарочно положила ужин в один ляган — все-таки надеялась помирить брата с Насибой.

Догадка оказалась правильной. Об этом просила дочку и Зумрад Садыковна. И Вазира уже успела поговорить с Насибой. Та не хотела развода, она все еще любила мужа. Но жить по-прежнему не могла, ибо не знала, как отвадить Алибека от дружков-собутыльников.

— Ападжан, я хочу быть матерью, — шептала Насиба Вазире, когда они готовили манты на кухне, и слезы

наворачивались на глаза молодой женщины.— Волнуюсь сейчас, но брату вашему ничего об этом не говорю. Если узнает, то снова... вынудит аборт сделать... поэтому я и ушла к матери... Соседи удивляются, всякие небылицы про меня распускают. Будто мне не суждено матерью стать. Будто я неполноценная, как они говорят...

Вазира тем более осознала сегодня, что первый шаг к примирению должен сделать ее брат.

Вот сегодня Алибек, кажется, настроен благодушно, и она решилась действовать.

— Ну как манты? — спросила она.

Братец с завидной быстротой поглощал горячие манты. Обернулся к сестре, ответил, подмигнув:

— О'кей, будь здоров!..

Когда манты были съедены, Вазира снова потянула нить своего разговора:

— Если манты — о'кей, то скажи спасибо своей Насибе. Руки у твоей жены золотые...

Алибек улыбнулся, взглянул на жену:

— Ладно... Мерси-мерси тем, кто готовил манты.

— Ну, мулла Алибек, перейдем теперь к серьезному разговору, — неожиданно для всех начал Аброр. — Вы и в самом деле уже давно не ребенок. Настала пора по-настоящему встать во главе этой семьи.

Алибек снова улыбнулся, прошел в ответ:

— Я не люблю быть начальником, главой, ответственным. Вчера я об этом уже говорил сестре.

— Каждая семья, — Аброр решил не обращать внимания на подобные реплики, — это, как говорится, лодка, плывущая по морю жизни. — С плохим рулевым и ей плохо. Морские течения могут вынести ее на камни или посадить на мель. Штормовые волны могут ее перевернуть. Неуправляемой лодке не добраться ни до какой цели. Она неминуемо потонет... Это истина.

Алибек невозмутимо почесывал бороду длинным-предлинным ногтем мизинца. Он его вырастил специально — особо его холил.

— А вы хотите этого... крушения? — спросил Аброр.

Алибек посмотрел на свой ноготь, подул на него.

— Почча! Сегодня вы здорово помогли моей матери. Спасибо, сенкью... А в мои личные дела вам нет смысла вмешиваться. Управлять своей лодкой — семейной, я имею в виду — предоставьте уж мне самому.

— Ваша лодка сидит на мели. Если ее экипаж не

спасти, он погибнет. Мать, жена... все трое вы разойдитесь в разные стороны. Я еще раз спрашиваю: неужто вы этого хотите?

Алибек бросил быстрый взгляд на мать:

— Мать от меня никуда не уйдет.

— Почему? Ей надо лечь в больницу: так нам сказали сегодня на консультации. Сначала на исследование, а потом на операцию... А после операции надо окрепнуть. На все это потребуется самое малое месяца три...

Зумрад Садыковна прервала Аброра.

— Ты подумай, Алик! Если будешь продолжать жить так, мне этого не пережить, ты можешь остаться один...

Аброр положил ладонь на ее локоть:

— Не горячитесь, мама. Давайте побеседуем спокойно. По душам всегда беседуют спокойно, только спокойно... Ну, Алибек, на минуту представь себя в моей шкуре.— Аброр говорил намеренно медленно.— Сложная у меня сейчас полоса в жизни. И на работе. И дома: то вот с Зафаром... то у Малики непорядки. Сегодня вон с утра мы уже в школе побывали. А потом, сам знаешь, по всему городу мотались — дважды в поликлинике, в глазной больнице, потом я к своему отцу поехал, у него тоже хлопот полон рот... Когда посмотрел на спидометр, то, повершишь, за день набралось около двухсот километров!.. Как, по-твоему, Алибек, ради чего все это я делаю?

— Ну ясно же,— съехидничал, хотя и осторожно, Алибек.— Чтоб добрые люди о почте хорошо говорили и чтоб мы благодарны ему были...

Аброр ответил ему в тон:

— Конечно, ты бы, Алибек, не снизошел до этой сентиментальности. По-твоему, это несовременно. Но это ведь ты — человек без предрассудков и без пережитков. А я простой смертный. Я многое делаю инстинктивно, по привычке. Если б я сегодня не сделал того, что сделал, точил бы себя, не был бы, уж извини за хорошие, но старомодные слова, порядочным человеком... Впрочем, я верю, что в каждом из нас, в каждом, есть тяга к высокому. Только кто-то карабкается туда сознательно, кого-то совесть толкает, даже если он сопротивляется ей...— Аброр незаметно для себя увлекся и вышел за пределы своих педагогических намерений.— Хочется чувствовать себя честным, порядочным специалистом на работе, достойным отцом и мужем,

добрый сыном для родителей. И еще хочется чувствовать себя,— Аброр усмехнулся,— твоим старшим братом. Ты пойми меня правильно...

— Я стараюсь. Продолжайте.

— Ташкент наш в сейсмически опасной зоне. Поэтому в домах предусмотрены соответствующие антисейсмические пояса: это такие гибкие стальные полосы, ленты, помогающие несущим конструкциям выстоять. Их не видно, они остаются под облицовкой. Но во время землетрясения, когда у многих домов штукатурка осыпалась и эти пояса обнажились, видно стало, как крепко они держали стены даже в старых домах. И хорошие семьи держатся, по-моему, чем-то таким, что напоминает эти защитные пояса. В нравственном, конечно, смысле. Прости, может, скажу, высокое, но... я вот убежден: все чистое, доброе, прекрасное, что мы перенимаем у родителей, наследуем у народа, все наши лучшие традиции, благородные инстинкты и привычки как раз и входят в состав этого — я назову его так — алмазного пояса.

Алибек нарочито беззаботно спросил:

— Дорогой почта, вы хотите сказать, что у нас в семье тоже должен быть такой... алмазный пояс?

— В идеале — да! Именно это я хочу сказать.

— Но алмазы... они такие дорогие. Они мне не по карману. Я бедняк...

— Бедность не порок. Но быть бедным душой... нищим духом... это страшно! Алмазы, о которых я тебе говорил, их не купить. Их добывать по крупицам надо, всю жизнь.

— Это не для меня! Понятно вам или нет? — Алибек отбросил свою мнимую невозмутимость, повысил голос.

— Понятно! Но что ты понимаешь, если говоришь, если смеешь говорить, что не сделал ничего плохого ни Насибе, ни родной матери! — Аброр тоже почти закричал.

— Ну, а что же я сделал плохого? Маме, например?

— А что хорошего ты сделал для своей матери?! Отпустил бороду? Отрастил ноготь... я вижу, ты все время заботишься о чистоте своих длинных ногтей...

Вскинулась Вазира:

— Я вчера говорила, убеждала тебя: давай переведем маму в эту комнату, где ей спокойнее жить. Сегодня прихожу, вижу — ты не желаешь уступить тихую ком-

нату. Это разве не доказательство, что ты больше забо-тишься о своих отполированных ногтях, чем о матери!

Алибек вскочил с места:

— Вы все против меня! Хватит! Мне надоело!
Я ухожу! — И выбежал из комнаты.

Аброр развел руками. У Зумрад Садыковны задергалось лицо, пошло вдруг пятнами. Вазира растерянно кусала губы, не зная, что теперь делать.

Медленно привстала Насиба.

— Раз не действуют слова,— глухо проговорила она,— давайте... будем действовать. В этой квартире я тоже прописана. По закону одна из этих трех комнат принадлежит мне. Маму, Зумрад Садыковну, я беру сюда, в эту комнату. Шумная пусть будет в ре-зерве.

— Все правильно! — воскликнула Вазира. — Вот эта комната, где мы сейчас сидим, пусть и останется за Насибой. Сейчас же мы переведем мать сюда! — И тут же встала из-за стола.

— Думаю, решили правильно,— поднялся и Аброр.

Алибек, сидевший в соседний комнате, слышал все. Он вынул из кармана новую пачку жвачки, разорвал целлофановую обертку и начал яростно жевать.

— Как бы хуже не стало! — робко сказала Зумрад Садыковна.

— Раз большинство пришло к такому решению... Хватит уже колебаться, мама! — сказала, словно отрезала, Вазира.

Они быстро отодвинули диван в угол, внесли в комнату кровать Зумрад Садыковны.

Алибек громко расхаживал по спальню. Вазира обра-тилась к нему через приоткрытую дверь:

— Эй, свободный человек! Магнитофон сам заберешь или занести?

Алибек подошел к двери и начал кричать:

— Почему вы тут хозяйничаете?! Идите к себе домой и там наводите порядок!

Аброр ответил настойчиво-громко, будто вколачивал гвозди:

— Мы не хозяйничаем. Мы помогаем Зумрад Сады-ковне и Насибе. Мы защищаем закон. А он защищает справедливость... Севшую на мель лодку надо с нее стащить!

— Тогда я уйду отсюда! Найдутся девушки! Даже с квартирами!

— Циник, дрянь! — крикнула Вазира. — Если тебе не стыдно продаться за квартиру, убирайся!

Алибек ворвался к ним, пробежал по комнате, ногой распахнул дверь, миновал коридорчик, открыл наружную дверь. Потом с силой хлопнул ею и исчез.

— Вазираджан, зачем мне нужен этот скандал? Лучше жить спокойно впроголодь, чем со скандалами сытым...

— Будьте тверже, мама!

— А если твой брат что-нибудь сделает над собой?

— Алибек сделает, да? — зло засмеялась Вазира. — Самовлюбленный эгоист, которому ноготь дороже всего на свете?

Насиба усмехнулась горько-горько:

— Сейчас побежит к собутыльникам. Портвейн вернет ему душевное равновесие... Давайте откроем и вон ту дверь.

Отодвинули шкаф в спальню, открыли дверь (еще отцовскую) в коридор. С двух сторон занесли в Алибекову комнату («Нашу спальню», — горько подумала Насиба) вещи непутевого сына и мужа, снова задвинули шкаф — в обеих комнатах получились теперь отдельные входы. Удивительно быстро. Да и много ли вещей было у Алибека...

Вазира обняла невестку, прижала к себе:

— Насибахон, милая! Маму свою доверяю вам. Защитите ее, умоляю.

Горько было на душе Насибы, горько. Алибек ушел к своим собутыльникам. Это еще полбеды. Но есть ведь и девушки, ни перед чем не останавливающиеся. Угроза Алибека не пустая. Сойдется с какой-нибудь из них. Тогда что будет делать она, брошенная мужем Насиба?

— Вазира-апа, кажется, мы с вашим братом не помиримся, — сказала она. — Вся моя надежда была на вас. И на заводе в свое время пытались добрые люди его уму-разуму научить. Но без пользы. А теперь и вас он не послушался. Видно, к разводу... лодку нашу несет.

Насиба посмотрела на Аброра. Вазира тоже. Зумрад Садыковна тихо, ни на кого не глядя, плакала.

— А если его уговорить работать в другом городе? — как-то безнадежно спросила Вазира.

— По своей воле Алибек ни за что не поедет в другой город, — ответил Аброр. — Да и вообще не захочет

менять свой образ жизни. Снова сюда вернется и будет портить всем жизнь... Один только выход я вижу — надо, чтобы его призывали в армию! Воинская дисциплина — великое начало — научит уму-разуму. Я помню: в армии мы не таких «героев» видели — ой-ей-ей, а после пяти-шести месяцев службы и они начинали задумываться и тосковать по дому. Вот так постепенно начинали понимать кое-что в жизни...

Аброр говорил, а думал о том, что же он скажет в военкомате, где ему покажут прошение об отсрочке от призыва.

— С военными людьми разговаривать нелегко, но попробую. Если я скажу, что невестка будет ухаживать за матерью, они ведь потребуют доказательств. Пойдете в военкомат, Насибахон? Не станете возобновлять свою просьбу, Зумрад Садыковна? В одной лодке надо всем держаться вместе, дружно.

— Насибе не стоит ходить туда, — сказала Вазира. — Алик узнает, трудно им будет потом помириться.

— Тогда принесите мне свой паспорт, Насибахон, и если есть какая-нибудь справка с места работы, прихватите тоже.

Насиба, преодолевая предательскую дрожь в коленях, открыла сумку и протянула Аброру и паспорт, и удостоверение с места работы. Она рисковала, но выхода другого не видела.

А она еще любила непутевого Алибека.

В кабинете Садриева за длинным столом, установленным вдоль стены, собрались специалисты. Во главе стола место было свободно, рядом сидел внушительных габаритов человек в очках — один из руководителей городского управления по благоустройству. Аброр занял место неподалеку от него. Собрались обсудить спорные вопросы, возникшие между Агзамовым и Рахмановым. Правда, сам Сайфулла Рахманович прибыть на дискуссию не смог, прислал вместо себя Яминова, своего заместителя, — толстоватого, лысеющего и, судя по тому, как он сейчас рылся в бумагах, весьма нервного человека лет пятидесяти. Рядом с Яминовым сидела Вазира. Поддержав предложения Шерзода Бахрамова, она сумела на сей раз помочь и Аброру. Это по ее просьбе Наби Садриевич прочел соображения, изложенные Аброром в специальной докладной записке, и решил их сегодня обсудить.

За своим небольшим рабочим столом Садриев закончил телефонный разговор, плавно положил трубку на рычаг, так же спокойно нажал кнопку селектора:

— Антонина Ивановна! В течение получаса прошу никого ко мне не пускать. И по телефону ни с кем не соединять.

Садриев подошел к длинному столу, сел в свое кресло, придвигнутое к торцовой части продолговатого стола.

— Ну что же, начнем... Товарищ Яминов, вы представитель дирекции института, в то же время один из соавторов институтского проекта. Прошу. Коротко, суть дела.

Яминов начал со здания перестройки Ташкента, с высокой оценки, которую получила их работа в Москве, с высказываний представителей различных стран о центре Ташкента. Бумаг перед ним лежало много, читал он медленно.

— Эти размышления оставьте для какого-нибудь торжественного собрания,— прервал его Садриев,— пожалуйста, переходите к существу обсуждаемых вопросов.

— Тут вот.... товарищ Агзамов предлагает внести в наш проект значительные изменения,— запинаясь, заговорил Яминов.— Если мы примем его предложения... то на площади Ленина... то есть предложение увеличить посадки деревьев местных видов. Они, Агзамов говорит, дают больше тени... Такие деревья в каждом кишлаке, в каждой махалле растут. А наша центральная площадь, это уже товарищ Рахманов говорит, должна быть особенной, во всей Средней Азии не будет подобной! Мы должны руководствоваться этой, как вы сказали... сутью. Поэтому я не могу присоединиться к Агзамову.

— Просьба к вам — покороче! — сказал Садриев, предоставляя затем слово Аброру.

— После землетрясения вдоль Аллеи парадов были высажены чинары. Посмотрите сейчас: за какие-нибудь семь лет они вымаяхали под стать двухэтажным домам, дают вокруг себя густую тень. Еще через несколько лет чинары станут величественными деревьями, достойными нашей центральной площади. Почему, спрашивается, мы не должны высаживать их и дальше? Только потому, что они «местный вид» флоры?

— Я не чинары называл «местным видом»! — покраснев, бросил реплику Яминов. — Я имел в виду тополя и тальник.

— Не надо пренебрегать и тополями, и тальником. В России тальник чаще всего — это заросли мелкой вербы, ивняк; у нас они бывают довольно высокими, — продолжал Аброр. — В кишлаках, махаллях, вдоль дорог — у нас эти неприхотливые деревья всюду, они прошли, можно сказать, испытание временем. Пять-шесть лет назад мы перестали сажать тополя из-за их пуха, видите ли. Воздали должное дубам, тue. Конечно, эти благородные деревья нам очень нужны. Но пока они подрастут до того, как начнут давать густую тень, проходит десять — пятнадцать лет. Кроме того, саженцы дуба и чинары очень нежные, чуть больше припечет солнце, они засыхают. А тополь и тал растут очень быстро. Некоторые породы — по пять метров в год. Чем плоха тень тополей и верб, особенно пока ждать приходится, когда вырастут чинары и дубы?.. Поэтому я и предлагаю: в той части площади, которую наш институт сейчас проектирует, кроме красивых елей высадить и чинары, и плачущие ивы, и лучшие сорта тополей. Пусть не пустует и прибрежная часть площади, примыкающая к Бозсу. Ведь людям везде кислород нужен!

Садриев слушал и утвердительно кивал головой. Аброр решил сказать и о скамейках — ясный, кажется, вопрос, да вот директор поднял его на высоту «принципиальных» разногласий. Он, Аброр, недавно был свидетелем необычного явления. Кто не знает в Ташкенте площадь Иски Джува, ту, где установлен памятник Михаилу Ивановичу Калинину? Место высокое, прохладное, ветерок продувает, место тенистое, ну потому и стояло там несколько скамеек. Ничем не примечательных. Но достаточно удобных и, главное, нужных. Пенсионеры, рабочие после смены отдыхали на них, беседовали, читали газеты, просто дышали свежим воздухом... Недавно Аброр проходил по этому скверику. В самое жаркое время дня. И видит — старые люди прислонились к стволам деревьев, сидят прямо на земле. Скамеек нет. Заметно по развороченной почве, что железные скамейки выдирали с большим трудом. Аброр обратился к двум старикам, что сидели под чинарой, подстелив под себя газеты: «Что случилось, куда скамейки девались?» Оказывается, какие-то пьяницы по

ночам облюбовали эти скамейки для своих попоек, шумели, нарушали, словом, общественный порядок. Участковый несколько раз гонял их оттуда, но сие мало помогало. И тогда прибыл автокран, скамейки выдрали «с корнем». Так вот за безнравственность некоторых были наказаны... скамейки... и наши уважаемые старики.

Все рассмеялись.

— Послушайте, что дальше было,— продолжал Аброр.— Хорошие люди, привыкшие отдыхать на этих скамейках, пошли с жалобой в райисполком. «Разве это называется борьбой за порядок?— спросили они.— Вместо забулдыг наказали нас!» Вскоре по распоряжению райисполкома скамейки привезли обратно и даже покрасили заново... Какой вывод следует из этой эпопеи? Комментариев, вероятно, не надо.

Аброр заметил, что его слова многим пришлись по душе. Почувствовал это и Яминов, лихорадочно защуршал бумагами, не зная, как возразить, если уж к рахмановским «идейным мотивам» тут, оказывается, не прислушались.

— У меня к Яминову, представляющему проект в целом, есть такой вопрос,— сказал Садриев.— Если принять предлагаемые Агзамовым изменения, то насколько увеличатся расходы при осуществлении проекта?

— Точного расчета еще нет. Приблизительно...

— Приблизительно нам не нужно.— Садриев обернулся к Аброру:— Вы, Агзамов, инициатор, вы подсчитали?

— Да, расходы по составлению рабочих чертежей уточненного проекта в среднем увеличиваются на пятьсот рублей.

— А по строительству?

— Расходы по осуществлению проекта уменьшаются. Это объясняется тем, что предусматривается сохранить определенное количество старых деревьев, дубов преимущественно, имеющих очень глубокие корни и не нуждающихся в орошении. К ним не надо прокладывать трубы.

Садриев посмотрел на сотрудницу, которая вела протокол,— успевает ли она записывать. Потом медленно произнес:

— Итак, вывод напрашивается следующий: проект Аллеи фонтанов на площади Ленина, представленный институтом, принимаем. С изменениями и уточнениями,

которые предлагает архитектор Агзамов.— Увидел, как помрачнел Яминов. Спокойно, доброжелательно добавил, что в основе своей общий проект не меняется, что касается «зеленого обрамления», то пусть будут и ели, и сосны, и плакучие ивы, и чинары, и дубы. В тенистых местах площади, своеобразных островах для отдыха населения, безусловно, нужно установить удобные скамейки.— Я согласен, что деревья, подобные карагачу и тополю, нельзя считать «кишлачными». Вдоль канала площадь с архитектурно-градостроительной точки зрения еще не освоена. Имеет смысл высадить здесь ряды тополей. У них есть еще своя особенность: когда воздух раскален и неподвижен, ветви деревьев замирают, не шелохнутся. Кроме тополей! Даже когда солнце в зените, листья тополя по-тихоньку колеблются...

— Народ так и называет тополь — «дерево, притягивающее к себе ветерок», — произнес кто-то за столом.

— Вот именно,— подтвердил Наби Садриевич.— На листья тополя не садится пыль, они узкие и гладкие, сами себя очищают. Поэтому в тени тополя человек отдыхает спокойно, с наслаждением... Но, конечно, и тополь надо сажать разумно. Тут Яминов в принципе прав...

Садриев посмотрел на снятые с запястья и положенные на стол наручные часы. Тридцать минут прошло.

— Будем закругляться, товарищи?.. Значит, Агзамов сдает все рабочие чертежи в прежний срок. Расходы, связанные с его предложением, надо покрыть за счет плановой экономии. Отдельные детали общего проекта поручить товарищу Яминову, еще и еще раз уточнить в самом институте в процессе работы. Когда увижу Сайфуллу Рахмановича, скажу ему о том же. Впредь не будем, товарищи, увлекаться дискуссиями — сроки не позволяют. Большие дела надо делать в согласии. Верно говорю, товарищ Агзамов?

Яминов ушел из главного управления в одиночестве.

В райвоенкомате второй отдел — а в его ведении находился призыв в армию молодежи, получившей высшее образование,— возглавлял майор, молодой, высокий, подтянутый человек с несколько усталым выражением лица и внимательным взглядом.

— Товарищ майор, я пришел к вам по делу... необычному.

Представившись, Аброр коротко рассказал о поведении Алибека и о том, как переживает это вся семья.

Майор тут же нашел в картотеке документы Алибека Бадалова.

День был очень жаркий — сорок два градуса в тени. Аброр то и дело вытирал лицо и шею платком. А молодой майор в сапогах да еще в портупее через плечо, казалось, не замечал жары вовсю. Он спокойно перелистал бумаги в папке Алибека. Вытащил ту злополучную с просьбой не призывать его в армию из-за болезни матери.

— Алибек Бадалов, товарищ майор, хочет разводиться с женой. Хотя жена и прописана в этой квартире, но она какое-то время не жила со свекровью, ушла от мужа. Но официально развода до сих пор нет. И скорей всего не будет. Невестка вернулась, со свекровью будет жить... Муж, Алибек, ушел сейчас из дома. Но думаю, что ненадолго... Отсрочка от призыва кончается. Невестка обязуется присматривать за Зумрад Садыковной... Спасая Алибека, сумеем, может быть, и семью спасти.

— Вы правильно сделали, товарищ Агзамов! Разрешите вам сказать это... Вы свой гражданский и человеческий долг правильно поняли! Отсрочка его вот-вот кончится. Так что на днях получит повестку.

...Спустя два дня в райвоенкомате появился Алибек, вызванный повесткой.

Майор бросил внимательный взгляд на длиннющие волосы парня, на его бородку и руки.

— Садитесь, Бадалов. Вот на этот стул... Где работает ваша жена?

— В школе. Учительница.

— Живете втроем, вместе с матерью?

— Да.

— Почему вы представили справку о том, что присмотреть за вашей больной матерью некому?..

— Не я представлял, мать представила.

— Вы заставили мать это сделать, а сами спрятались за ее спиной.— В голосе майора прозвенел плохо скрываемый гнев.

— Я не прятался! — с раздражением воскликнул Алибек.— У меня были особые обстоятельства, которые не хочу здесь излагать.

— Я знаю эти обстоятельства...

— Это мое личное дело!

Глаза майора словно огнем вспыхнули:

— Младший лейтенант запаса Бадалов! Встать!

Алибек проходил военную подготовку и что такая воинская команда — знал.

Бадалов быстро встал со стула. Энергично поднялся из-за стола и майор. Еще более жестким голосом скомандовал:

— Смиришься!.. В соответствии с советскими законами за уклонение от воинской службы вы, Бадалов, должны быть отданы под суд... Статью и срок знаете?

Наполовину заросшее бородой лицо Алибека побледнело.

— Товарищ майор, я не уклоняюсь от воинской службы.

— А эта дезертирская справка?

— Я не дезертир!.. Товарищ майор, я... готов служить...

— Отставить разговоры! В течение двух часов постричься. Бороду сбрить. Обрести облик человека, призывающегося в Советскую Армию! Как поняли?

— В течение двух часов... Обрести облик призывающихся в армию...

— Как надо отвечать командиру?

— Есть, товарищ майор.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Если бы вишневые «Жигули» могли говорить! Они бы в это лето непрерывно жаловались на свою судьбу и даже кричали «караул!».

Ручной тормоз все еще не исправлен, искорежена выхлопная труба, номерок блеск на крыльях капота. Аброр никак не мог выбрать время привести машину в порядок. Он гонял ее без отдыха, да и себя не жалел.

Раза четыре пришлось ездить из одного края Ташкента на другой, с юга на север, с востока на запад, пока наконец не удалось найти сносный участок для отца с матерью. Цена оказалась вполне доступной, сам участок располагался в довольно тихом и уютном месте, к тому же неподалеку от воды, на высоком берегу Бурджара.

Сбросив с себя эти хлопоты, пожалуй самые тяжелые, Аброр поздно вечером вернулся домой, где его новыми заботами встретили дети.

— Папа, Алишер едет в «Первое мая». И я хочу в «Первое мая». А в «Зорьку» не поеду!

В детской комнате Вазира, просматривая заранее составленный список, собирала вещи Зафарчика для пионерлагеря. Малика свои вещи уже собрала.

— Это что за «Первое мая»? Где это? — спросил Аброр сына.

— За Чимганом. Мама знает.

— Они хотят поехать в горы, — объяснила Вазира. — А в нашем управлении путевки только в «Зорьку», под Ташкентом. Туда Малика тоже не хочет ехать.

Малика подтвердила:

— Из этой «Зорьки» убежим! Что за лагерь — город и город...

Издерганный за день Аброр прикрикнул:

— Хватит болтать! В какой лагерь есть путевки, туда и поедете!.. — И пригрозил Малике: — Будете лето сидеть дома.

Дети притихли. Вазира почувствовала, что у мужа нервы на пределе, и поспешила на кухню.

Спасение наше от всех бед — чай. До еды — чай, после еды — чай, без еды, вместо еды... Прихлебывая душистый напиток, несколько успокоившийся после душа, Аброр рассуждал:

— Всем-то надо угодить! Всем что-то должны сделать, на просьбу чью-то откликнуться... Там родители выбирают участок. Здесь дети выбирают лагерь.

Вазира поставила перед мужем глубокую тарелку супа, заправленного кислым молоком.

— Когда есть из чего выбирать, люди выбирают. Хуже, когда нет выбора.

— У нас с тобой нет выбора... Снова обивай пороги, прося путевки! Наверное, и по твоему списку мы еще должны уйму вещей купить в магазинах?

— Да, Аброр-ака, не без этого... Приехали бы вы пораньше, еще один маршрут пришлось бы сделать в «Детский мир». Одежда для походов... Парадная форма... Кеды, тапочки — все надо обновить.

— Как мне все это надоело!

Аброр, не доев суп, встал с места.

Душно, очень душно... Бетонные стены дома целый день впитывали жар, раскаляясь, будто поверхность

печи, а вечером и ночью источали его — в квартире душота-духотища. Чуть ли не все двадцать четыре часа. Аброр открыл все двери и окна, долго проветривал комнаты. Но так и не смог заснуть до двух часов ночи. Двор на берегу Бурджара, помост во дворе под тенистым урюком — вот где прохладно! И в Чимгане сейчас, куда собираются на отдых его дети, свежая, даже бодрящая прохлада: Самые дорогие люди стремятся в хорошие места, на природу — ну как же им не помочь? Кто, если не он, поможет?

Эта мысль незаметно примирila Аброра с предстоящими новыми заботами, и он заснул.

А на другой день, когда пришлось после работы бегать по магазинам, им снова овладело раздражение. На всех и вся. Даже машина раздражала. Ему казалось, не слушалась руля. Рычаг не переключался на нужную скорость. И руки не подчинялись шоферу... Машина вихляла, двигалась неровно, будто новичок сидел за рулем.

Как бы там ни было, а «жигуленок» и на сей раз выручил. Без него Вазира не закупила бы необходимого детям для лагеря всего за три вечера. Правда, будут или не будут путевки в Чимган, не было известно чуть ли не до часа отъезда. Лагерь принадлежал другой организации, и лишь перед самой отправкой автобусов с детьми Вазире наконец продали две горящие путевки — их держали для детей каких-то важных товарищей, но они тоже, может быть, поменяли их на другие места отдыха.

Оформление путевок требовало времени, автобусы уже ушли, и Аброру теперь предстояло отвезти детей вдогонку опять же на безмолвном, многострадальном «жигуленке».

Путь неблизкий... Перевал через Чимган... Серпантин на двухтысячметровой высоте. Уйдет весь остаток рабочего времени на поездку. А в мастерской его ждут неотложные дела, сроки сдачи рабочих чертежей поджимают. Он усадил в машину детей, поехал к себе в институт, отпросился там с условием, что дела, которые надо было сделать сегодня, он заберет домой и снова наверстает за ночь.

Подхватили по дороге маму — Вазира тоже отпросилась у своего начальства. Ну конечно. Наби Садриевич не может ей отказать! Поехали... Перевалы, жару, серпантин, плохое настроение — все преодолели, за два часа доехали до «Первого мая».

Здесь прохлада. Склоны гор блестят. В чистом воздухе будто каждый кустик, каждый камень излучает свет.

Вазира пошла с детьми к начальству лагеря. Аброр вытащил из багажника складной брезентовый стульчик, устроился в тени. Смотрел на снежные вершины гор, которые хранили тишину и вековое спокойствие... Напряжение, однако, не спадало. Во всем теле он еще ощущал скорость движения машины, ее нескончаемое кружение на серпантинах; суета города не отпускала его, хотя внешне казалось, он был спокоен и расслаблен.

Вазира возвратилась и, взглянув на часы, затормозила:

— О, уже больше четырех! Давайте-ка, Аброр-ака, поехали.

— Посидим немного, посмотрим на горы, ханум... В багажнике есть еще один стульчик. Достать?

— Я вдоволь налюбовалась горами по пути сюда. На обратном пути еще насмотримся.

— То мельканье, дорогая моя ханум...

— Ну вот, опять вы недовольны. Раньше люди на конях добирались сюда за два-три дня из Ташкента. А вы...

— А я завидую им. Они двигались с утра до вечера, не спеша, наслаждались красотой природы, на привалах размышляли о жизни, о вечности... А мы теперь мчимся, мчимся, мчимся, и эти горы проходят стороной.

— Ну ладно, ладно, философ, я должна успеть на работу, а вечером сходим к матери.

— Вот и вы, ханум, все куда-то мчитесь, мчитесь.— Аброру не хотелось подыматься и снова садиться за руль.

— Уже без малого пять, мама ждет. А вечером вы ведь еще хотели поработать дома!

И снова в путь, снова помчались по горным дорогам.

Когда они спустились к Бостанлыку, руль вдруг начало тянуть вправо. Аброр остановил машину на обочине, вышел посмотреть, не ослабло ли крепление переднего колеса. Нет, с креплением было все в порядке, но с левого переднего колеса потихоньку стекала тормозная жидкость. Понятно. Из-за того, что тормоз левого колеса не держал, машину при нажиме на педаль заносило вправо.

— Нашей спешки не выдерживает даже железо! —
буркнул Аброр жене, которая тоже вышла из машины.

Аброр осмотрел и остальные колеса. Тормоза их еще держали, только сильно перегрелись. Аброр поднял крышку капота, в пластмассовом цилиндре тормозной жидкости оставалось на донышке... Если не держит один из тормозов, но держат другие, ехать можно.

Аброр залил цилиндр тормозной жидкостью из бутылки, припасенной для подобных случаев, и, махнув рукой, сел за руль. Двинул дальше.

Он надеялся как-нибудь добраться до Ташкента.

Вдруг перед машиной (дорога шла по высокому берегу реки Чирчик) выскоцил теленок и побежал, задрав хвост, поперек дороги, по диагонали. Аброр со всей силой нажал на тормоза. И сразу сообразил: ошибка, он сделал ошибку! Когда выходит из строя тормоз одного колеса, никак нельзя жать так сильно. Машина качнулась, краем правого борта зачиркала по земле, сошла с асфальта и продолжала двигаться к обрывистому речному берегу... Слава аллаху, гравий гасил это движение. Аброр резко отпустил тормоза, уцепился за руль, завертел-завертел им. Теперь стоп!

Машина остановилась у края обрыва.

В лице Аброра ни кровинки. Еле слышным голосом попросил:

— Дайте... воды.

Вазиру бил озноб. Она обернулась, из чехольного кармана, приделанного к спинке переднего сиденья, вытянула бутылку. От той воды, что они утром взяли в путь для детей, осталось совсем чуть-чуть. Вазира зубами (руки не слушались) вытащила пробку.

Аброр глотнул и ладонью вытер губы.

— Еще метр — и мы бы полетели в Чирчик.

— Но почему так... вдруг?

— Это все из-за тормозов.

— Что же будем теперь делать?

— Если хотим жить, надо тут же исправить тормоза. Поищем мастера. Бостанлык тут рядом... райцентр.

Аброр осторожно повел машину. Въехали в районный центр. Пока они нашли мастерскую, расспросив множество людей, солнце склонилось к закату. Мастер по ремонту уже ушел домой. Аброр посадил в машину молодого парня, согласившегося показать дорогу к мастеру, и еще долго, осторожно и медленно, ехал,

пока добрался куда было нужно. Пожилой мастер осмотрел колеса.

— Тормозами заниматься не имею права,— сказал он поначалу.— В Ташкенте это сделают в мастерских, куда вы прикреплены. А тут... Видите, пломба. Ежели кто-то ее сорвет, то потом мастерские вас обслуживать не станут.

— Знаю... Но не могу же я эту колымагу на плечах нести до Ташкента. Там ведь тоже люди. Объясню, что случилось это на дальней дороге. Сделайте, пожалуйста, прошу вас.

Наконец мастер сдался. Что надо — сделал.

Теперь машину не заносило. Но Аброр ехал с чрезвычайной осмотрительностью. «Хватит мчаться! Хватит вечной спешки! — говорил он себе.— Доберемся домой благополучно, так разобьюсь в лепешку, но в эту же субботу зайдем машиной всерьез, отдаим в мастерскую».

Осуществить это благое намерение Аброру, однако, не удалось: переезд родителей пришелся как раз на субботу.

Боже ты мой, сколько же добра накопилось! Всякие ведра, казаны, корыта, железные кровати, столы и столовики, деревянные лестницы, даже старые коромысла, уже не нужные при водопроводе,— ничего не хотела оставлять в покидаемом дворе Ханифа.

— Ну что вы будете на третьем этаже делать с коромыслом, мама? — раздражался Аброр.— Зачем нужна керосиновая лампа?

— Делай свое дело, а я буду — свое... Мало ли что? Все это может понадобиться,— возражала Ханифа-хола, загружая машину.

Родителям Аброра Вазира отвела комнату с балконом; диван, стол и стулья выносить в другие комнаты не стали, так что старики въезжали, в общем-то, на готовое. Им оставалось захватить с собой постельные принадлежности, одежду да посуду. Остальное имущество было нагружено на грузовик и отправлено к родственнице, которая жила в пригороде; туда же отправились два барана, предназначенные для свадьбы Шакира. Агзам-ата попросил Аброра отвезти большие деревянные пары и две железные кровати сразу на новый участок — пусть постоят во дворе у соседей... Конца не было пиялам и чашам, разных размеров чайникам, бес-

численным кастрюлям и кастрюлькам. Ханифа-хола желала забрать их все. Пришлось взять большую часть. Аброр нагружал завернутой в бумагу посудой картонные коробки разных размеров, багажник и салон «Жигулей» быстро наполнялись этими коробками. От раннего утра до полудня в субботу безответная машина сновала между старым отцовским участком и квартирой Аброра. Вслед за посудой поехали подушки, одеяла, ковры и коврики.

Поднимать на третий этаж коробки, узлы, чемоданы Аброру помогали соседские молодые парни. Уже к обеду Аброр устал до дрожи в коленях. Неприятная тяжесть скапливалась в левой стороне груди, будто только сейчас он стал ощущать сердце.

Комнаты и коридоры в квартире до отказа забиты всяkim хламом. Вазира взмолилась:

— Уже негде по-человечески жить, Аброр-ака, хватит, больше ничего не привозите!

Аброр организовал второй грузовик, чтобы отправить тяжелые вещи к сестре на Кукчу. А Ханифа все подтаскивала и подтаскивала к «Жигулям» какие-то мешочки и узелки.

— Оставьте место хоть для самих себя... Отец, да скажите вы маме — не влезете ведь!

Агзам вырвал из рук Ханифы узел с каким-то тряпьем, кинул через борт в кузов грузовика.

И дом, и двор опустели.

Аброр пошел в конец двора, остановился на берегу. Разрушается махалля, сносятся старые строения, развал кругом, а река Бозсу по-прежнему красива, свежа и прохладна. Аброр вдыхал чистый воздух и с тоской думал о том, что жизнь, проведенная им около Бозсу, уже никогда не вернется, даже некуда теперь будет приезжать, чтоб прикоснуться к природе, к этой вечной ташкентской реке, с детства такой родной. Он будет преобразовывать, обновлять Бозсу. И тосковать по тому, что было.

Тяжелый комок подкатил к горлу.

И Ханифа в последний раз вошла в опустелые комнаты своего дома.

— Боже! Кто здесь зажжет теперь свет? — И запла-кала. — Коли души умерших явятся сюда... А мы...

Продолжая беззвучно плакать, Ханифа вышла из дома во двор, приблизилась к очагу, по краям которого были положены заранее обернутые ватой щепочки. Вы-

лила на них из бутылки остатки масла. Чиркнув спичкой, подожгла.

— О аллах, пусть души умерших не гневаются на нас! И пусть там, где мы будем жить, не погаснет огонь!..

Во дворе перед домом Агзам-ата, Аброр, вернувшийся с работы Шакир уселись на корточки в ожидании, когда Ханифа-апа закончит заклинание. Агзам-ата, в свою очередь, пробормотал нечто вроде молитвы в память отцов, дедов, прадедов, некогда здесь живших.

— Аминь! — Все провели ладонями по лицам и встали.

Пора было ехать. Они покинули дом, двор, а щепочки у очага все еще продолжали гореть.

Сам не свой Аброр сел за руль...

Машина была забита до отказа. Всюду — мешочки, свертки, кульки. Ханифа на заднем сиденье еле-еле могла повернуться среди узлов и сумок. Чугунные посудины и алюминиевые кастрюли в багажнике позванивали. Шакиру места не хватило, и он уехал на грузовике.

Солнце только что село, душный зной не спадал. Кругом множество народа: измученные жарой, люди не желали сделать нескольких шагов, чтобы дойти до перехода. Переходили улицу где вздумается.

Впереди Аброра шла крытая грузовая машина. Перед глазами плысили огромные буквы: «Мебель». Тащиться за ней у Аброра не хватило терпения. Он повел «Жигули» влево, включил лампочку правого поворота-обгона. Посмотрел вперед. Издали шел навстречу, и очень быстро, огромный «Икарус». Аброр посчитал, что успеет обогнать мебельный фургон.

Нажал на газ... Пот заливал глаза. Хотел протереть глаза ладонью, но пальцы были мокрыми.

Аброр дважды провел правой ладонью по рубашке сверху вниз. Протер глаза... «Жигули» шли пока рядом с «Мебелью». Аброр ошибся: машина-перевозчик оказалась не обычным фургоном — она была длинная, как рефрижератор. Притормози сейчас Аброр — и «Икарус» свободно и спокойно прошел бы своим путем. Но Аброр решил во что бы то ни стало обогнать «мебельщика».

«Икарус», раскачиваясь, приближался. «Заденет — расплющит!» — подумал Аброр. Шофер «Икаруса» начал яростно сигнализировать. Руки и ноги Аброра будто сами сделали то, что надо: крепко вцепились в баранку, нажали на газ.

Маленькие «Жигули», обгоняя «Мебель», успевали выскочить из опасной зоны сближения двух больших машин. И тут-то вдруг перед «Жигулями» возникла женщина с большой хозяйственной сумкой — она перебегала улицу. Мебельная машина показалась ей неопасной, а «Жигули» она не видела.

О собственной жизни, об отце и матери, которые сидели рядом, в этот миг он не подумал... Чтобы не сшибить женщину, он резко повернул руль вправо. Женщина с клетчатой сумкой мелькнула перед его глазами очень близко. «Жигули» прошли в считанных сантиметрах от нее, но при обгоне «Мебели» из-за резкого поворота вправо «Жигули» не смогли оторваться на нужное расстояние, бампер «мебельщика» стукнул по заднему крылу «Жигулей». И словно что-то взорвалось внутри машины, а тело Аброра будто обожгло.

Уже почти ничего не осознавая, не различая вокруг, он повернул машину к обочине дороги и остановился. «Мебельщик» тоже остановился чуть сзади, у тротуара. Придя в себя, Аброр оглянулся и увидел испуганных отца и мать. Сидят они, подавшись друг к другу, живые-невредимые.

Аброр быстро вылез из кабины. Оказалось, что правое заднее крыло погнуто, много вмятин, несколько трещин. Наделал дел «мебельщик»!

Шофер «Мебели» открыл дверцу, но продолжал сидеть в кабине. Аброр накинулся на него:

— Ты увидел женщину раньше, чем я! Почему же не тормозил?!

Сидевший в кабине шофер, сравнительно молодой парень, взялся за kleenчатый козырек спортивной шапочки и приподнял ее.

— Эй, ака, скажите лучше спасибо. А кричать нечего... Если бы я не тормознул, вся ваша правая сторона полетела бы к черту... Вызывайте милицию! — вдруг вскинулся шофер. — Я еще и виноват... Где я нажал на тормоз, пусть установят по следу!

Как водится, вокруг начал собираться народ. Появился, словно из-под земли вырос, автоинспектор с планшеткой через плечо.

— Кто водитель «Жигулей»? — спросил он грозно.

Аброр предстал перед почерневшим на солнце рослым инспектором. Милиционер приложил руку к фуражке:

— Сержант Тухтасынов. Ваши документы!

Отдать документы просто, а получить обратно?
К тому же с «дыркой», имеющейся в талоне?

Пока Аброр, вздыхая, вынимал из заднего кармана брюк желтый бумажник, доставал шоферскую книжку и тексталоны, Агзам-ата освободился от мешочеков-узелков и тоже вылез из машины.

— Сынок, родной, поверьте,— заговорил он, обращаясь к инспектору.— Аброр спасал эту женщину и потому ударился... Он сумел повернуть, авария спасла женщине жизнь. Я видел своими глазами!

Инспектор посмотрел на «дырку» предупреждения.

— И раньше вы нарушили правила, просечку вот получили, товарищ Агзамов.

Аброр огляделся по сторонам: так-с, нигде нет знака, запрещающего обгон.

— Товарищ сержант, почему вы меня обвиняете?
Скажите, какое правило я нарушил

— Это мы сейчас скажем.— Инспектор положил в карман документы Аброра, открыл планшет, достал оттуда шариковую ручку и большой бланк. Взгляд Аброра упал на бланк. «Протокол аварии»,— прочитал про себя Аброр. Так-с, доехали, доперевозились!

Упавшим голосом Аброр сказал:

— Товарищ сержант, зачем протокол? Надо наказывать — наказывайте здесь, штрафуйте.

— Сынок, родной, пусть бог даст вам столько же лет, сколько их у меня,— говорил Агзам-ата, тронув сержанта за плечо. Потом, осмелев, схватил его правую руку.— Зачем писать? Зачем сыну протокол? Влипнешь в бумагу — скоро не отделаешься.

В желтом чесучовом кителе и брюках, с красиво подстриженной седой бородкой, Агзам-ата показался сержанту человеком весьма и весьма почтенным.

— Ладно, отец! Только сначала отпустите мою руку, пожалуйста. И поймите, отец, в чем тут дело... Машина вашего сына основательно побита. Проедете чуть дальше — вас остановит другой инспектор. «Где произошла авария?» — спросит. Начнет выяснять, не было ли трагического случая...

— Будет спрашивать — ответим,— сказал Аброр.— А с протоколом обивать пороги ГАИ и лишаться прав на три-четыре месяца мне ни к чему.

— Вы ведь не знаете, о чем я хочу написать в протоколе. Вы хотите ремонтировать машину или ездить в таком виде?

— Ремонтировать, конечно! В мастерской, разумеется.

— Ну, а мастерская, коль не будет нашего протокола, в ремонт вашу машину не примет. Вам это известно?

Аброр слышал об этом правиле, слышал. Но... В таком случае надо вписать в протокол ту женщину, которая переходила дорогу. Вот свидетели. Они подпишутся в протоколе.

Аброр показал на шофера «Мебели». Однако шофер в белой шапочке с козырьком вовсе не желал попадать в протокол. Ни при каких обстоятельствах.

— Товарищ сержант, мне можно уехать? — спросил шофер. — У меня ведь заказ — доставка грузов населению...

— Ладно, ладно, доставка... — чуть заметно усмехнулся сержант. — В протоколе вы должны подписатьсь в любом случае.

— Так я ж ни при чем!

— Вы уже дали показание... Что в руках у женщины была большая клетчатая сумка!

Наконец протокол написан. Аброр прочитал его. Кажется, сержант недостаточно подробно изложил проишествие.

— Добавьте еще, товарищ сержант, — попросил Аброр. — Тут вот про женщину есть... Но навстречу еще шел «Икарус», а про него ничего нет... У меня же не оставалось другого выхода...

— Это все вы сами напишете. ГАИ потребует от вас письменное объяснение.

Аброр представил себе, как придется в ГАИ писать объяснение, — хлопот не оберешься. Он надеялся получить обратно свои документы. Поэтому не стал надоедать сержанту возражениями и расписался под протоколом. Потом как свидетели расписались шофер в белой шапочке и Агзам-ата.

Сержант аккуратно сложил лист вдвое, положил в планшет, достал еще один бланк, поменьше, заполнил его и протянул Аброру:

— Это предъявите в мастерской.

— Спасибо, товарищ сержант. Теперь бы мои документы...

— Права останутся у меня, я их сдам вместе с протоколом в ГАИ. Там вы их и получите.

— Как же я буду ездить без прав, товарищ сержант?

— Ладно, ладно... — Черным фломастером сержант написал что-то прямо на талоне с «дыркой». — С этим документом вы можете ездить без шоферской книжки в течение пятидцати дней, начиная с сегодняшнего.

Написанное сержантом не обрадовало: «Шоферская книжка отобрана из-за совершения аварии».

Пора было уезжать. Сержант достал из кармана сигареты, закурил. Аброр жадно посмотрел на сигарету.

— Закурите? — Сержант протянул пачку Аброру. Тот помедлил, потом, будто преодолев какую-то внутреннюю преграду, резко махнул рукой и взял сигарету.

После первой затяжки табачный дым всегда неприятен. И новичку, который только начинает отравлять себя табаком, и бросившему курить. Но после второй и третьей Аброр почувствовал, как что-то начало согревать его, на душе стало полегче, отдалились треволнения и тревоги.

Однако, сядясь в побитую свою бедную машину, Аброр заметил, как дрожат руки, и почувствовал, что дергается веко на левом глазу. Он бросил на асфальт недокуренную сигарету. Всем лицом уткнулся в чашу сомкнутых ладоней, застыл в таком положении.

— Сынок, не расстраивайся. Ведь могло быть хуже! — проговорил Агзам-ата.

На неровностях дороги разбитое заднее крыло жалобно стонало. Ныли и стонали душа и тело самого Аброра, усталые, словно тоже разбитые аварией.

Подъехали к дому, начали разгружать машину. Конечно, собрались вокруг соседи. Со всех сторон посыпались ахи и охи.

Вазира в квартире расставляла, распихивала по углам вещи, привезенные ранее. Свекровь и свекра она встретила не во дворе, а внизу у лестницы. Помогла Ханифе внести на третий этаж большую сумку. Отворила настежь дверь:

— Добро пожаловать!

Ханифа-хола зашла в комнату вслед за Агзамом-ата. Войдя, громко воскликнула:

— Бисмиллахи раЫмонир раЫим!¹

— Наши ноги сюда добрались, пускай беда не доберется! — произнес нужные слова отец.

Вазира подхватила:

¹ Слава создателю!

— Да будет так... Отдохните немного теперь. Вещи потом разместим.

Агзам-ата присел на краешек полумягкого стула в уютной гостиной с телевизором. Он чувствовал себя стесненно.

Аброр был доволен тем, как жена встретила его родителей, и не осмелился сказать ей об аварии.

После того как все умылись, попили чаю, Аброр заявил:

— Пойду отведу машину в мастерскую.

Вазира встревоженно обернулась к мужу:

— В мастерскую? Так поздно?.. Вид у вас как у больного. Что-нибудь случилось?

— Машина немного забарахлила. Давно пора показать мастеру.

Агзам-ата вмешался в разговор:

— Сынок, сегодня ты очень устал, завтра отведешь. Отдохни.

— Завтра воскресенье, отец, мастерская не работает. А послезавтра я не смогу уйти со службы, и так слишком часто отпрашивался.

— Пусть едет, — сказала решительная Ханифа. — Сыну нашему сорок, вторая молодость мужчины. Потом отдохнет...

Обычно машину Аброра в мастерской осматривал и, если надо было, слегка ремонтировал «костоправ» Вали, веселый бойкий парень, между прочим умело похваляющий щедрых людей с открытой, как он говорил, пятерней. Чтобы ускорить предстоящее дело, Аброр готов был проявить себя щедрым человеком «с открытой пятерней». По пути он остановился у гастронома, купил бутылку коньяка, четыре бутылки «ташкентской» минеральной, сырь, колбасы, хлеба.

На большой, с полгектара, заасфальтированной площадке в мастерской стояло множество автомашин. Некоторые из них изуродованы были куда страшней, чем машина Аброра.

Вали, голый до пояса, мылся у водопроводной колонки. Аброр подошел к нему.

— Чего так поздно приехал? — спросил Вали.

— Ты работу кончил? — вопросом на вопрос ответил Аброр. — Тогда давай откупорим... вот это, — приоткрыв портфель, показал Вали содержимое.

— О, вот спасибо! — Вали ловко вытащил из портфельного зева две бутылки «ташкентской», ловко снял

пробку с одной бутылки железной пробкой второй.— Ну и жара была сегодня! Сорок три в тени! — И одним глотком, не отрывая горлышка ото рта, опустошил бутылку. Посмотрел на коньячные звездочки.— Хорошо. Но на работе нельзя... Найдем место потом... Где машина-то?.. Ударил? Сам или тебя?.. Идем, показывай.

Вали вместе с Аброром вышел из ворот мастерской, осмотрел вишневые «Жигули».

— Крыло сам найдешь? За десять дней сделаю. Если согласен, заводи во двор.

— Вали, неужто на это уйдет десять дней?

— Милый человек, я что, без дела сидел, ждал, когда пожалуешь ко мне? У меня заказов навалом. Один вот срочный, сам начальник мастерской передал. Пока я ту колымагу не закончу, за твою не возьмусь. Ну, так как, найдешь крыло?

Они зашли в контору, оформили нужные документы, получили разрешение поставить машину Аброра во дворе.

Старик сторож открыл ворота. Вали выбрал хорошее место, чтоб сторожу легче было последить за машиной. Потом Вали взял из рук Аброра портфель, позвал какого-то своего товарища и вручил портфель ему: иди, мы за тобой.

Из мастерской они пошли к высоким кленам, что росли вдоль арыка. Выбрали тенистое место. Товарищ Вали сходил к ближнему киоску, где торговали газировкой, принес два граненых стакана. «Третьего не дала!» — мрачно сказал товарищ. Разлили коньяк. Товарищ ничего не ел, только пил и вместо закуски курил сигарету за сигаретой. Вали помалу наслаждался коньяком, вдумчиво жевал сыр, потягивал из бутылки минеральную воду, будто рот полоскал, а потом снова делал глоток коньяку. Градус наслаждения поднимался постепенно. Наконец Вали потрепал Аброра по плечу, похвалил:

— Ты замечательный человек! Щедрый, с открытой пятерней. Не думай ты о своей машине! Не переживай. Будет как новенькая.

— Трудно крыло найти,— мрачно сказал Аброр.

— Тебе трудно — я тебе помогу. Договорились? Не переживай! Давай-ка бери!

Аброр тоже выпил коньяку. Почти целый стакан. Потом и ему показалось, что градус наслаждения можно

поднять еще выше, и он выкурил сигарету, попросив ее у товарища Вали.

А потом, сосредоточенный, он шел к трамвайной остановке и думал, что без машины непривычно, что в ближайшую десятидневку суеты прибавится, что вот до сих пор машина служила ему, а теперь он должен послужить машине.

По пути купил пачку сигарет. Закурил. Табачный дым помог расслабиться. Самому себе Аброр казался слабовольным и был противен. Но все время держать себя в узде, пытаться быть хорошим, добрым, ровным, рассуждал он, и тяжело, и тоже противно... Нестерпимо противно...

Вазира ничего не могла с собой поделать: ей, уравновешенной, сдержанной в выражении чувств горожанке казалось, что она осталась без машины именно из-за переезда родителей мужа. Сразу возродились в душе былие упреки к мужу, и Вазира стала почти неосознанно дуться на Аброра. А он свою досаду гасил в табачном дыму: только начинал раздражаться, сразу же доставал из кармана сигареты, спички и дымил. Вазира не переносила табачного запаха, а если Аброр курил дома, злилась:

— У нас уже занавески пропахли табаком! Человек никогда не берет в рот то, что выплюнул! Вы же бросили курить. Обещали, что навсегда. И закурили... Есть у вас воля?

Аброр понимал правоту жены, а потому раздражался еще сильнее:

— Не учите меня! Когда мне надо — я курю, когда не надо будет — брошу.

Чтобы Агзам-ата перебранку не слышал, Вазира уходила на кухню. Если еще Ханифа-хола услышит, как она, Вазира, упрекает мужа, тогда... только держись: мало того, что Аброра защищать будет, но и упреки примет на свой счет. «Невестка и меня вместе с моим сыном хочет в глазах людей выставить плохой», — будет говорить обиженно. Подобные размолвки изрядно надоели Вазире еще там, в старом доме. Поэтому здесь, в своей квартире, она ходила чуть ли не на цыпочках, чтобы избежать стычек со свекровью.

Аброр и Вазира, боясь опоздать на работу, выходили эти дни из дома на час или минут на сорок раньше,

чем обычно. Самые жаркие недели лета, зной уже с утра начинает мучить; солнце, поднимаясь до зенита, доводит температуру воздуха до сорока пяти в тени. Оказывается, в автомобиле и жара, и воздух с парами бензина переносятся легче, чем когда идешь пешком или толкаешься в трамвае.

В жару, когда свыше сорока градусов, нелегко, конечно, вычерчивать проекты, сгибаясь над столом. Но сейчас Аброру работа казалась спасением от бесконечно надоевших мелочей быта. Проект центральной площади, которая становилась поистине исторической для нового Ташкента, собирая его разбросанные душевые силы вокруг одной — большой и прекрасной! — цели, вносил смысл в существование.

Огромный проект Аброр по частям распределил между сотрудниками, но приучал их, да и самого себя, не упускать из виду целого...

Бегать при такой-то работе в мастерскую, где ремонтировались вишневые «Жигули», да еще в ГАИ на уроки автомобилевождения, казалось, и бессмысленно, и тошно. К тому же приходилось отпрашиваться каждый раз у Рахманова или его заместителя Яминова... Однажды Аброр взял такси и поехал в ГАИ в свой обеденный перерыв.

Шоферов, у которых отобрали права, толпились множество, сидели, бедняги, у разных дверей, сумрачно ожидая своей очереди вызова на «проработку».

Капитан в летней белой форме принял Аброра последним. Который уж раз видел Аброр приснопамятный протокол и свое письменное объяснение аварии.

— Вы уважаемый человек, архитектор... Сами должны понимать, не молодой лихач какой-нибудь. Так почему же шли на обгон в узком месте трассы? Верно, там не было знака, запрещающего обгон. Но сами подумайте, зачем так рисковать? Вы ведь могли погубить и себя, и родителей...

Несколько недель назад, подумалось Аброру почему-то совсем о другом, некий майор в военкомате вот так воспитывал Алибека, и Аброр тогда торжествовал, а сейчас он сам примерно в таком же положении: стой перед милицейским капитаном и слушай, не перечь, будь благодарен за поучения.

— Товарищ капитан, я здорово тогда наказал себя и сейчас сделал все нужные выводы. Уж поверьте.

— Вы известный человек,— продолжал нудить ка-

питан.— Поэтому на первый раз мы вас накажем не так строго, как нужно было бы. Придете в субботу на комиссию и заплатите штраф. Потом я вам верну права.

С облегчением вздохнув, Аброр вышел на улицу. Время приближалось к четырем часам. Он нашел такси и, приехав в институт, торопливо поднялся к себе. Тут же его вызвали к Яминову.

Заместитель директора сидел в глубине обширного своего кабинета за столом, чуть нагнувшись, подставляя лицо под ветерок вентилятора.

— Товарищ Агзамов, где это вы пропадаете в рабочее время? — спросил он, не изменив позы.

— Я об этом говорил Сайфулле Рахмановичу.

— А вы не помните, что говорил Сайфулла Рахманович о государственной дисциплине. По какому делу и в какое государственное учреждение вы ходили, представьте об этом дирекции письменное объяснение... Мне кажется, что у наших сотрудников — у некоторых, разумеется, — в рабочее время появляется неотложная нужда заняться личными делами. Вы заведующий отделом, вы должны показывать другим сотрудникам пример. Положительный пример!

Аброр догадывался, что небезызвестный Эрудит доводит до институтского начальства сведения об его отлучках.

— А что, Гайрат Яминович, если время, которое мне придется потратить на письменное объяснение, я посвящу основной работе? — явно иронически спросил Аброр. — А вам я объясню устно: меня вызывали в ГАИ.

— Ваша машина попала в аварию, институту это известно, однако в этом вины института нет, не правда ли? Письменное объяснение соблаговолите принести сегодня же. Мы обсудим этот вопрос в дирекции и доведем свои выводы до сведения партбюро. Вы коммунист, пусть знают о вашей недисциплинированности и в партбюро!

— Зачем из муhi делать слона? Почему бы вам не сказать членам партбюро о том, что институтские задания я, бывает, делаю дома по почам!

— Я этого не знаю! Объяснительную записку прошу...

— Вы мстите мне за критику? Я сам сейчас пойду в партбюро и расскажу обо всем!

Секретарь партбюро Сергей Адамян работал на четвертом этаже. Адамян был один, когда Аброр зашел

к нему. Сидел в задумчивости, читал какую-то рукопись, держа карандаш в руке.

— А-а, Аброр, ты как раз мне и нужен!

Адамяну еще не было и тридцати, но из-за бороды и усов он выглядел гораздо старше. Короткая черная борода красиво охватывала полукружием нижнюю часть полноватого лица; черные усы чуть свисали по краям рта.

— Сергей, ты сперва можешь выслушать меня?

Адамян знал про семейные заботы Аброра.

— Что-нибудь дома?

— Да нет, теперь здесь.

И он пересказал разговор, произшедший между ним и Яминовым.

— Ты ведь знаешь, проект готовлю по графику, утвержденному дирекцией. До сих пор еще ни разу с графика не сбился. Ну что он ко мне пристает?

— Дисциплина важна во всем, Аброр. Как стало жарко, так появилось у нас немало любителей мест попрохладней да потенистей, под разными предлогами исчезают в рабочее время.

— Ты хочешь сказать, что я из таких?

— Нет, не хочу. Я-то знаю, как ты отца перевозил, как боролся за семью брата Вазирыхон. Я даже не назвал бы это лишь личными делами. И об этом скажу в дирекции. Раҳманов не такой мелочный, как Яминов. Но ты не задирайся. Лучше объяснить попробуй.

— Значит, писать объяснительную записку?

— Я же тебе говорю: не задирайся. А что касается объяснений... Дай-ка ты мне объяснение по другому поводу... Ты интересовался ташкентскими каналами и арыками, правда?

— И сейчас интересуюсь.

— Ну так смотри... — Адамян начал перелистывать рукопись. — Представляешь, площадь нашего города разрослась настолько, что длина его арычной сети превышает сейчас тысячу километров.

— Сколько, сколько? — не поверил Аброр.

— Больше тысячи! Вот здесь все подсчитано. Пестростроить арычную сеть такой длины — задача огромная, правда? Не под силу одному тресту. Поэтому недавно создано городское управление водного хозяйства. Министерство водного хозяйства республики выделило в его распоряжение большие материальные ресурсы, технику, рабочую силу.

— Тогда дела пойдут быстрей,— заметил Аброр.

— Темпы-то ускорятся, но каково будет качество работы? В спешке как бы не наломали мы дров, дорогой, и с этой точки зрения вполне правомерно, что Союз архитекторов хочет тоже изучить и обсудить разного рода проекты, в том числе и этот.— Адамян потряс рукописью.— И ты, о ландшафтный наш архитектор единственный, тоже должен принять участие в предстоящем обсуждении. Возьми и хорошенько изучи.

Работы у Аброра было по горло. Но он взял у Адамяна большую картонную папку, раскрыл обложку, пробежал глазами по фамилиям авторов, по цветным надписям, выведенным чертежным четким почерком.

Ну, ясно: среди них — фамилия «Ш. Бахрамов». Узнал Аброр и подпись Шерзода, которая стояла рядом со словом «Утверждаю». Значит, он один из руководителей проекта.

— Сергей, ты сам-то познакомился?

— Может быть, мне пока не надо говорить, чтобы не повлиять на твое мнение, авторитетное и независимое?

— Перестань шутки шутить. Ты же знаешь о моем отношении к водным артериям Ташкента!

— Тут все наоборот по сравнению с твоими идеями... Предлагают Карасу, Койковус и подобные большие арыки одеть в бетон. На их берегах живут сотни семей. Авторы предлагают всех их переселить, по берегам проложить так называемую «инспекторскую дорогу». Представляешь, лучшие, пожалуй, места отдыха покроются асфальтом и бетоном, то есть летом превратятся в печку, которой нам, ташкентцам, очевидно, не хватает.

— Зато, как известно, Бахрамов любит передовые индустриальные методы, быстрые темпы, еще больше любит докладывать о досрочном выполнении... А как мне было больно, Сергей, покидать родной дом на берегу Бозсу! Теперь на этом месте, на месте виноградников, вырастут бетонные берега и асфальтированная «инспекторская дорога»?

— Вот, чтобы этого не допустить, мы и привлекаем тебя, Аброр, к обсуждению проекта бахрамовых. В Союзе архитекторов, видно, тоже не одни его сторонники

будут. Только проанализировать надо аргументированно, спокойно... Не задираться!

Вес портфеля значительно увеличился, когда Аброр засунул в него большую картонную папку. Но на душе у Аброра все-таки полегчало.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ханифа-хола не привыкла жить в квартире как в клетке. Ей нужно свободное пространство двора, ей нужно видеть людей, с соседями поговорить... Топота кавушами по ступенькам лестницы, она по несколько раз в день спускается с третьего этажа, выходит из подъезда, смотрит по сторонам...

По тротуару мимо нее идут люди. Окна домов, выходящие во двор, все открыты, то в одном, то в другом из них показываются люди. Стоять на дорожке без дела да глазеть вокруг — неудобно. Ханифа-хола медленно шагает вперед, куда асфальт приведет... Вот на улице магазин «Универсам».

Не собиралась чего-нибудь покупать, но обошла все его отделы. Вернулась во двор своего дома.

Подъезды, лестницы, квартиры — везде тут как две капли воды похожи друг на друга. Бывает, Ханифа-хола иногда ошибается и заскочит не в свой подъезд. Пока не доберется до третьего этажа, не заметит, что ошиблась. Подойдет к двери, ну уж тогда... Дверь та же, как у Аброра и Вазиры, но что-то не то: или обита другого цвета дерматином, или у порога другой коврик, чтоб ноги вытирать, или, наконец, номер квартиры не разберет.

— Ну что я за разина! — восклицает Ханифа и снова сходит вниз.

Надо всегда смотреть на деревья, посаженные вдоль тротуара. Тогда легко найти свой подъезд — по молодому урюку, что рядом со входом.

Снова поднимается Ханифа-хола на третий этаж. Во внутреннем кармане кофты нашупывает пристегнутый булавкой ключ.

Все четыре комнаты пусты. Аброр и Вазира на работе. Внуки в лагере. Агзам как уйдет рано утром на участок, так до позднего вечера его нету.

Ханифа заходит в кабинет сына Аброра.

На стенах — цветные рисунки. На книжном шкафу вверху стоит написанный масляными красками порт-

рет Вазиры. Красивый портрет. Толстые косы спадают на плечи. Большие глаза смотрят ласково. Лицо нежное, и губы пухлые — признаки молодости. Сразу заметно: с большой любовью к жене Аброр рисовал этот портрет.

А напротив висит портрет Аброра. Там ему тридцать лет, самое цветущее время. В глазах огонь горит. Густые, пышные волосы торчком. И шея в распахнутом воротнике рубашки видна — сильная, крепкая шея. Этот портрет Вазира делала. Объясняла свекрови, помнится, так: «Каждый архитектор должен уметь рисовать, без этого нам нельзя. Мы чертим, проектируем красивые здания. Но самое совершенное в мире — лицо человека. Мы должны уметь нарисовать человека, чтобы красивей была наша работа». — «Тогда моего старика и меня рисуйте».

И Вазира сразу же, помнится, согласилась. Аброр тоже несколько раз брался за портреты отца и матери. Да вот ничего у них не получалось. То ли времени не хватало, то ли интерес пропадал, — словом, до сих пор портретов нет.

А вот друг для друга у них хватило и времени, и интереса. Ханифа-хола не раз думала обо всем этом. «Вот она такая и есть, жизнь матери. Твои мысли о сыне, а мысли сына — о жене».

Подняла Ханифа-хола занавеску оконную — солнце-то уже день повело на вторую половину! Время полуденного намаза вот-вот пройдет... А молитва просветляет и смягчает душу.

Вот и теперь, помолившись, она принялась вспоминать, как Аброр перевозил их сюда, какие неприятности пережил из-за аварии. «Нет, хороший у меня сын, слава аллаху. Лишь бы здоровым был. О аллах, дай ему счастья!»

В прошлый выходной, когда свекровь с невесткой остались одни, решила Ханифа-хола искупаться как следует в ванне. Вазира ей помогла, терла спину мочалкой. Умиленная, свекровь заявила:

— Святая моя, Зумрадхон, хорошо воспитала вас, невестка моя... Я вот с переездом никак не могу выбрать время и проводить святыню-то свою. Когда вы собираетесь к ней в больницу?

— Сегодня вечером.

— Тогда и я с вами пойду, Вазирахон. Давайте самсу приготовим.

Наварили, напекли и самсу, и манты. Пошли в больницу. Вывели Зумрад Садыковну в тенистое местечко на больничном дворе, долго, долго, хорошо разговаривали и с ней, и друг с другом...

Сейчас Ханифа-хола, убирая в своей комнате молитвенный коврик, думала: «Нельзя бога гневить неблагодарностью: невестка моя хорошая, а в последнее время стала еще лучше».

Ободренная этим выводом, начала споро готовить ужин.

Вечером машхурду, которую приготовила Ханифа-хола, Аброр и Вазира ели да похваливали.

— Зафарджан тоже очень любит машхурду! — сказала Ханифа-хола. — Напрасно ты, Аброр, детей в лагерь отправил.

— Почему? Лучше им там отдохнуть, чем томиться от жары в городе.

— Малика уже невеста скоро... По пословице — не одно добро, а и зло живет на земле... Как бы там не испортили ее.

— Недавно мы их проводали. Не беспокойтесь, мама. Им там хорошо.

— А вы подумайте, дети мои, мне-то каково: целый день одна, не знаю, куда себя деть, хоть лопни от скуки!

Вазира с Аброром переглянулись.

— Их беготня и шум тоже вам надоест. Если и на каникулах они с утра до вечера дома...

— Э, невестушка, что я, никогда детей не видела? Слава аллаху, четверых вырастила. И ваших детей поставила на ноги. Разве я из тех бабушек, кто избегает внуков?

— Мы все соскучились по детям, да ничего, они уже скоро будут здесь, — вмешался Аброр. — А пока, мама, делайте то, что вы любили. Шейте, например.

— Я рубашки пошила и батистовый халатик для сынишки Рисолат, колыбельное все уже тоже готово, Аброрджан... Ох, соскучилась я по своей младшенькой... А не могу ехать к Рисолат. Стыдно.

— Это еще почему?

— Разве не знаешь, сынок? Мы же сперва бешик-той должны справить. А потом мне туда дорога откроется.

— Ах, да! — кивнул головой Аброр: в своих заботах и про древний обычай забыл.

Бешик-той — особый праздник, «колыбельный». Бабушки, дедушки, родственники матери покупают

бешик — нарядную качалку-колыбельку, — украшают ее шелками и бусами, готовят плов, самсу, сладости — много всякой еды для званых гостей. Подготавливают подарки отцу и матери новорожденного — бывает, дорогие подарки, — и все это под звуки сурная доставляют в дом виновника торжества. Мужчины помогают сделать бешик-той, но принимают в нем участие косвенное, празднуют бешик-той женщины, то есть матери, бабушки и дети.

— Мама, в другое время сам бы готовил ваш бешик-той. Но сейчас... сами знаете, обстраиваем участок. Хлопот много.

— Хлопотам никогда конца не будет. И участок будете обстраивать еще целый год. А кто бешик-той решил справлять, справляет не позже трех месяцев после рождения младенца. Позже уже не полагается. Люди смеяться будут.

Аброру нечего было возразить.

Вазира молчала... Когда у них родился Зафар, Зумрад Садыковна не стала устраивать бешик-той, посчитала это устаревшим, ненужным обычаем. Привезла подарок ребенку — коляску, распашонки — и ограничилась этим. Ханифа-хола долго обижалась на Вазиру, чувствовала себя униженной, потому как сватья и согласная с ней невестка лишили ее большой радости — бешик-тоя по случаю рождения внука. Ежегодно наспех отмечаемые дни рождения Зафара, конечно, не заменят праздника, который отмечают один-единственный раз в жизни человека. А потому и готовят его так, чтобы на всю жизнь запомнился. Не младенцу, понятно, а матери и ее родне. И главное — бабушке. Скупиться на расходы для бешик-тоя — это значит уронить родню в глазах и всех родственников, и всей махалли. Таково было твердое убеждение Ханифы-холы.

Аброр не решился открыто возразить, сказал только:

— Отец приедет, с ним еще посоветуемся.

Агзам-ата вернулся поздно и очень усталый. Еще бы! Целый день проработать под солнцем, да и путь от Бешкайрагача до Юнусабада немалый, ну и возраст сказываетя, что ни говори. К концу дня еле хватало сил подняться на третий этаж.

Агзам-ата долго не мог отдохнуть; сидя на курпаче после живительного чая, заговорил:

— Очень уж трудна дорога проклятая... Если вскорости закончим стены, времянку построим и осенью

переедем на участок. Шакир сегодня остался на Кукче у Рисолат. Сырцовые кирпичи готовит.

Ханифа поставила перед стариком машхурду:

— Отаси, я так хочу повидать Рисолат... А навестить ее и внучка не могу, путь закрыт.

— Да, из-за бешик-тоя... мне тоже неловко перед ней. Остались в долгу, это верно.

— А как мы молили бога, чтоб ниспослал Рисолат ребенка. Ведь пять лет она его ждала. Радость-то какая! Родился сын... Люди ждут, когда мы бешик-тоя справим.

— Но люди видят, что мы остались без родного дома, приютились у сына, как сироты.

— Почему это мы сироты? У родного-то сына? Мы тут не чужие. Отаси, у вас два сына, два льва. У Аброра собственная машина. И они не помогут нам бешик-тоя справить?

Агзам отодвинул касу с недоконченным супом:

— Ты мне теперь покоя совсем не дашь, да? Ну, позови тогда Аброра.

А за закрытыми дверями кухни спорили меж собой Аброр и Вазира.

— Вашей маме скучно, вот и придумывает разные бешик-тои. А вы опять готовы уступить ей?

— Что с вами, Вазира? Ведь мы же не те люди, которые могут свои древние обычай забывать. Достойным образом отметить рождение нового человека, отдать дань уважения материнскому началу — это благородно... для всех времен.

— Выходит, вы тоже жаждете этого бешик-тоя? Разве у вас есть на это время?

— Ну, кто это жаждет? Если старики согласятся, мы, конечно, обойдемся без бешик-тоя. Или отложим его.

«Не обойдемся ли...», «не отложить ли...» — это все Аброр повторил и отцу.

— Аброрджан, железо куют, пока оно горячо,— мягко говорил Агзам-ата сыну.— А когда остынет, то, сколько ни бей молотом, все зря... Бешик-тоя кует спаянность людскую: в нашем народе всячески почитают родителей, почтят старших. А начинается все с почитания детей, новорожденных. Сначала родители и бабушки-дедушки показывают пример, как высоко надо уважать достоинство пусть крошечного, но человека. А потом, шести лет, сажают мальчика на красиво убранного жеребенка... Ты помнишь, как тебе подарили жеребенка, сынок?

Да, Аброр этого никогда не забудет. Никакие игрушечные кони — железные, глиняные, из пластмассы, расписанные красками, с хитрыми механизмами — не заменят живого жеребенка-однолетка. И подарили ему, Аброру, бабушка и дедушка. Подарили само счастье! Аброр кормил и поил жеребенка, запрягал и седлал, а когда садился верхом, чувствовал себя настоящим героем. Только потом, став постарше, узнал, в какое трудное послевоенное время был куплен жеребенок.

Дедушка с бабушкой и родители, Агзам с Ханифой, залезли тогда в долги, но все равно устроили своему мальчику незабываемый, «личный», праздник. Правда, месяца через три, когда Аброр поостыл к живой игрушке, жеребенка продали и часть долгов погасили. Но щедрость, уважительность старших к нему, малолетке, остались в памяти неизгладимый след.

И сейчас Аброр чувствовал всю степень правоты отца, когда тот толковал о взаимно почтительных отношениях между поколениями. Их и должно ковать с самого раннего возраста.

— В бешик-тое есть еще один важный смысл, Аброрджан, — мягко продолжал Агзам-ата. Когда-то, в годы первых выборов в Верховный Совет, его недаром сделали агитатором, умел он доносить свои мысли до самых разных людей. — Вот мы подарим отрез хорошей материи Рисолат. Это ей поддержка, даже, скажу, поощрение, чтобы она еще детей заводила: не бойся, мол, мамаша, родня тебя без помощи не оставит. И зятю сделаем хорошие подарки. Тоже помошь. И ребенку необходимые вещи надо дарить. Молодые родители, сам знаешь, очень нуждаются в поддержке. Наше государство ведь тоже дает пособие при рождении ребенка. Поощряет, значит.

— Но можно ведь и через год устроить день рождения, отец, и сделать подарки.

— Можно. Только это уже не бешик-той будет. Просто день рождения. Мы должны спровести настоящий бешик-той. Мы с матерью твоей зарок себе давали: если Рисолат родит сына, зарежем одного из двух баранов. А Шакиру потом прикупим. Мы должны свое слово сдержать, Аброрджан.

До поры молчавшая, мать подлила масла в огонь:

— А зачем тянуть? Все колыбельное я давно приготовила. В воскресенье соберем близких родственников и посоветуемся, договоримся, кто за что из нас берется.

Шакир пусть покупает коляску. А мы, старики, понесем бешик с приданым.

— Сурнай, наверное, тоже надо? — спросил Агзам.

— А как же без сурная? Сейчас рождение отмечают иные не то что сурнаем, карнайчи нанимают, у них карнай ревет!

— Праздников много, карнай да сурнаи очень дорого обходятся, а нам хватит, если один сурнайчи поиграет, — сказал Агзам-ата. — Аброр, сынок, давай в это воскресенье соберем родню, а в следующее воскресенье устроим бешик-той, ладно?

Ханифа заговорила уже умиротворенно:

— Верно задумал, отаси. До того успеем и зятю купить рубашку, тюбетейку. Потом костюм поприличнее, туфли, макинтош...

— Макинтош? Плащ сам себе купит, — отрезал Аброр. — Что он, опять в жениха превратился?

— Стыдно же! Люди все несут — и пальто и кофты, с головы до ног одеваются.

И снова Агзам-ата взял сторону Аброра:

— Жена, не расходись. Груз не под силу возьмешь — позвонок сломаешь. Без плащей-макинтошей обойдется. Хватит с зятя нового костюма.

— И туфли тоже ни к чему, — сказал Аброр.

— Уж раз мы по обычаяу одеваем отца новорожденного с головы до пят, как без туфель? — возразил Агзам-ата. — А макинтошей не надо. Найдем хорошие туфли, и все. Аброрджан, как машина, исправили или еще нет?

— Завтра будет на ходу.

— Возьми тогда бумагу и карандаш. Все надо записать. С машиной все достанем быстро.

Аброр медленно встал со стула. Ханифа-хола вслед ему бросила:

— И Вазиру позови, вместе решим.

Вазира много из их разговора слышала (дверь-то не закрывали); о том, что дальше будет, догадывалась. Когда Аброр вошел в кабинет взять карандаш, Вазира, плотно закрыв за собой дверь, тихо сказала:

— Так, уступили?

— Пробовал возражать, ничего не вышло. А буду оспаривать — обиды начнутся.

Из пачки на столе Аброр достал сигарету, взял в руки спичечный коробок. Но не закурил: дал слово Вазире в доме не курить.

— Где ваша воля, Аброр-ака? — Вазира с болью смотрела на мужа. — Вы ведь можете быть твердым, как алмаз, на работе и директору не уступаете, а перед родителями гнетесь, словно ветка тала.

Аброр поморщился. Да, взглянуть со стороны — в одной руке блокнот и карандаш, в другой незажженная сигарета, на лице растерянность, — он и впрямь не мужчина с твердым характером, а... черт знает что... Хочется закурить — не смеет: обещал Вазире. Хочется сесть за стол, заняться серьезным делом, а вместо этого пойдет записывать какую-то ерунду.

— Не хочу я обижать своих стариков, Вазира. Они — гости наши, не говоря уж... — сдержанно ответил Аброр.

— Разве мы не уважаем их как гостей? А тем более как ваших родителей? Но пускай и они нас поймут... Всю суэтут с этим бешик-тоем они почему-то сваливают на наши головы. Нельзя же так, Аброр.

— Вазира, мы с тобой отвыкли от таких традиций и видим только их суэтную сторону. Но в них есть глубокий гуманный смысл! Отец мне так хорошо это растолковал. Рациональность, рациональность... мы так прониклись этим современным понятием, что убиваем в себе живое чувство. Тут есть своего рода сверхзадача... Пойдем к ним, Вазира, ты тоже послушай. И мама звала тебя. Пойдем.

— Я не хочу ссориться с мамой. Вы ее должны убедить. До каких пор их устои будут нами управлять? Вы — член партии, интеллигент, а отыскиваете современный смысл в обычаях старины, а может, и в предрассудках.

Аброр зло чиркнул спичкой о бок коробка, закурил сигарету.

— Вы что, на собрании, ханум?.. Отмечать день рождения младенца — это предрассудок?.. Если пожилые люди, меня родившие, воспитавшие, просят у меня помощи, то я — коммунист, интеллигент — могу отойти в сторонку, и лишь потому, что теперь иначе отмечают день рождения?

— А если они нас замучают своими просьбами? Лето уже на исходе, а у нас еще не было ни одного свободного дня, чтобы выехать за город и подышать по-человечески на природе! И дети в Чимгане нас ждут!

Аброр рассчитывал, закончив ремонт машины, в ближайшую субботу поехать с Вазирой в Чимган — про-

ведать детей в лагере, искупаться в Куксу. Суббота, воскресенье — целых два дня покоя и беззаботности. А раз начинаются хлопоты с бешик-тоем, значит, за выходные дни они устанут больше, чем на работе.

Было, право, отчего расстроиться, но Аброр уже не находил другого выхода, кроме как... уступить родителям.

— Ладно, Вазира, и это как-нибудь переживем. В августе поедем с детьми в Хумсан... Праздник по случаю рождения ребенка есть у всех народов. В той или иной форме. У нас по-своему... А может, после бешик-тоя и вам захочется еще одного ребенка? У меня ведь какая принципиальная позиция? В нормальной семье советских интеллигентов должно быть не менее трех детей. А, ханум? — Аброр пробовал и шуткой, и лаской смягчить Вазиру, привлек ее к себе.— Ну, пойдем к старикам!

— Я не пойду! — Вазира высвободилась из его объятий.— Так будет лучше.

Аброр бросил острый взгляд на ее лицо. Не идет, чтоб не поссориться со свекровью. И вправду, так будет лучше, и не стал больше настаивать.

— Ладно. Только прошу вас — наберитесь терпения. Два, ну три месяца они будут жить у нас. Давайте сделаем все, чтобы у нас был мир и лад.

— Скажите это и своей матери. Пускай не выискивает нам забот. Мы не бездельники. И кроме всяких обычаев нам есть о чем подумать и чем заняться. Если они меня не жалуют, пусть хоть пожалеют сына!

Аброр срывал свою досаду тем, что яростно затягивался сигаретой.

— Я оказываюсь между двух огней, Вазира.— Аброр снова затянулся.— Вы должны меня понимать лучше, чем мама. Не может она посмотреть на себя со стороны. А мы должны быть хотя бы немного педагогами. Поэтому я еще раз прошу вас: будьте пошире душой, и нечего раздражаться по мелочам. Пройдут эти напряженные дни...

И, втянув голову в плечи, Аброр пошел к родителям.

Похоже на то, что он сейчас и у матери будет просить «широки души», сдержанности и прочего... Зеленый еще из него педагог. Женских ссор больше всего на свете боится. И отец такой же: чтобы избежать скандалов, всю жизнь уступал жене.

Аброр вдруг обнаружил, что матери боится больше, чем отца. С давних пор так было, и вот пожалуйста — сорокалетний мужчина такую привычку сохранил. Конечно, со стороны — посмотреть глазами Вазиры, например, — это странно. Ей могло казаться, что Аброр непросту неискренен: лавирует или приспосабливается то к ней, то к матери...

Прошло довольно много времени, прежде чем Аброр со своим блокнотом вернулся наконец к Вазире. В весьма подавленном настроении. Судя по выражению лица, мать и отец нагрузили его всякими бешик-тойными заботами сверх головы... Вазира подготовилась к трудному разговору, но Аброр молчал.

Весь остаток дня молчал. А ночью вдруг сказал:

— Если завтра получу машину, то к вечеру съездим проведать Зумрад Садыковну. Хорошо?

Неожиданная «смена курса» удивила Вазиру:

— Да где же взять время для моей матери?

— Для вас и вашей матери я всегда время найду! — миролюбиво ответил Аброр. И завернулся с головой в одеяло.

...А на следующий день Аброр вывел машину из авторемонтной мастерской, и первый маршрут был в больницу.

Полосатый больничный халат был Зумрад Садыковне немного великоват, на плечах висел мешком. К тому же за последний месяц, пока находилась в клинике, она еще больше похудела и словно вытянулась. Уже первый этап операции оказался для нее тяжелым. Вазира три часа просидела во дворе в ожидании. Хирург вышел усталый, едва переступая. Зумрад Садыковна, признался он, во время операции от боли сознание потеряла, но ее быстро привели в чувство уколами.

С тех пор прошло десять дней. Аброр видел, что отек с лица тещи еще не сошел, большой глаз слезился по-прежнему. И Аброр был вынужден обратиться к лечащему врачу.

— Пусть исчезнет отек. Через недельку выпишем, — сказал хирург.

— А что будет с бельмом?

— Выдержать две операции кряду она не в состоянии. Человек уже старый. Организм ослабевший, пускай дома сил наберется... Помните, профессор-консультант тоже говорил об этом... А осенью привезете ее снова.

Зумрад Садыковне и самой порядком надоела больница, она хотела поскорее вернуться домой, к невестке. И конечно же беспокоилась за Алибека, который недавно написал, что живет где-то в тайге, служит сапером и борется главным образом с гнусом и мошкой.

— Алик у нас слабый. Как бы не заболел там!

— Слабый?! — Вазира улыбнулась. — Что вы, мама? Вы больше думайте о себе. Вам надо набраться сил для новой операции. Ешьте побольше фруктов... Вот, возьмите, Аброр для вас купил.

В конце встречи виноград, персики, горячие лепешки с кунжутом она отнесла матери в палату. Пообещав через три-четыре дня снова ее проводать, Аброр и Вазира попрощались с Зумрад Садыковной.

Настроение у Вазиры заметно улучшилось, и Аброр по дороге предложил ей заехать в универмаг, купить некоторые подарки к бешик-тою.

— Ваши родственники должны собраться у нас на совет в воскресенье?

— Да, да.

Вазира подумала о том, как ей предстоит принимать родственников, угождать или занимать беседой. Но возражать, опять и опять идти в наступление — ни сил, ни желания у нее не было.

В универмаге было полно народу. Аброр и Вазира ходили с этажа на этаж, из отдела в отдел — искали модные полуботинки для отца и велюр для матери новорожденного. Ни того, ни другого не нашли.

На следующий день после работы Аброр побывал на ярмарке и в Чиланзарском торговом центре, еще в пятидесяти магазинах. Наконец подходящие ботинки нашлись в магазине для молодоженов на улице Шота Руставели.

А вот велюра на платье не было нигде. Вазира с горечью и обидой наблюдала, как безрезультатно носится Аброр по городу в поисках этой «роскоши».

— Не ищите, свадеб сейчас много, и всем нужен велюр.

— Что же делать? Не у спекулянтов же покупать.

Вазира открыла дверцу комода, достала оттуда велюровый отрез нежного бледно-розового тона и положила на стол.

— Для себя покупала в Москве.

Аброр благодарно поцеловал жену.

— Я потом от себя куплю вам еще лучше.

В субботу утром Аброр отвез отца на старый базар. Агзам-ата выбрал бешик крепенький и пестренький. Колыбелька радовала глаз переливами всех семи цветов радуги. А сын закупил все необходимое, чтобы достойным угощением встретить родственников.

Вазире ничего не оставалось, как заниматься уборкой в доме.

Ханифа-хола поручила Шакиру оповестить родственников. И все почти пришли. И среди двадцати человек были такие, о которых Аброр никогда не слыхал.

Гости в одной комнате не помещались, и потому женщины расположились в комнате у стариков на курпачах, угощаясь фруктами и орешками. А мужчины сидели в гостиной за столом. Словом, разговоров было допоздна.

Вдобавок к жаре целый день горел на кухне газ. Вазире раскраснелась, голова у нее кругом шла. Из кухни к гостям то и дело надо было подносить чайники с настоящим чаем, маставу, фрукты, сладости. Иные родственницы порывались помочь Вазире, но Ханифа-хола, важно восседавшая в центре, не разрешала:

— Сиди, да буду я твоей жертвой, отдыхай, ты наша гостья, милая.

Ханифа-хола, которая любила укреплять родственные чувства, была очень рада, что сегодня у них собралось столько родни и что такой почет оказан ей самой, старейшей. Все видели, каким уважением пользуется она в доме старшего сына, как достойно ведет она себя в доме.

Плов был съеден, потом арбузы и медовые дыни. Снова пили кок-чай. Наконец стали обсуждать тонкости, связанные с бешик-тоем. По договоренности один из родственников в следующее воскресенье должен был пригнать к их дому грузовик. Другой купит маленькую кроватку, третий — педальный велосипед «Ракета» (это ничего, что ребенок сможет на нем ездить через три-четыре года, — забота важна, дорог подарок); еще кто-то взялся обеспечить младенца большой деревянной лошадкой. Все это вместе с нарядной радужной колыбелькой и коляской будет погружено в машину. У одного из дядюшек был «Москвич». «Жигули» Аброра и этот «Москвич» должны были доставить к месту праздника женщин поважнее и посолиднее, девушки и моло-

духи поедут на украшенном грузовике, постелив кошмы на пол в кузове, а на задний борт — ковер.

Да, укреплять родственные отношения — задача важная и непростая, убеждалась Вазира. Много ведь значит, когда люди собираются вот так вместе и одной семьей берутся за проведение большого дела. Как было бы трудно молодым собрать столько необходимых вещей! А теперь и хлопоты распределены между родственниками, а сообща хлопотать — легче и веселей.

Ханифа-хола выбрала трех пожилых родственников, чтобы Аброр отвез их после застолья по домам.

Устал Аброр за эту неделю, измотался, да, конечно, и выпил немного со всеми. Но тем не менее домой развез всех.

Его долго не было, Вазира беспокоилась.

— Мама, напрасно вы послали сына. Совсем недавно авария была, и он только-только отремонтировал машину.

— Ничего, ничего. В глаз, слишком береженный, скорей соринка попадет. Ничего с ним не случится по воле аллаха.

«Неужто мать может быть такой безжалостной? — думала Вазира. — Ничуть не волнуется. Почему? Оттого, что сидит дома и не представляет, как сложна и трудна работа Аброра? Хвастается, что ее сын «ари-хи-тек-тор», а превращает его в шофера».

Сколько же недовольства накопила у себя на душе Вазира, как трудно сдержаться и не высказать их... Слава богу, Аброр явился невредимый.

— Зачем же вы сели за руль после выпивки, — стала Вазира упрекать мужа. — Дать бы им по три рубля и отправить на такси. Разве так нельзя было сделать? Или опять не по обычай?

— Я и сам сидел за барабанкой как на иголках... Но отказать не мог. Гости же, да еще так редко у нас бывают.

Аброр молча закурил сигарету и вышел на балкон.

Когда перевалило за двенадцать, он направился в спальню. Но заснуть не мог почти до трех часов ночи: не спадала напряженность, чувство тревоги, воспоминание о том, как неуверенно вел он машину. Несколько раз Аброр выходил на балкон, курил, пил воду, даже принял душ.

А под утро, когда охватил его крепкий сон, Ханифа-хола, стуча своими кавушами, невольно разбудила.

Вазира купила свекрови тапочки с мягкой подошвой, однако Ханифа-хола не пожелала расстаться со своими грохоталами. Сама-то она днем, когда дома никого нет, сладко высится, а потом чуть свет просыпается и с шумом и звоном свершает предмолитвенное омовение, ходит по комнате и на кухню, стуча кавушами и хлопая дверьми. Все это раздражало Вазиру, не говоря уж о том, что не давало ей высаться.

— Эй, Аброр, вставай, до ухода на работу съездика на базар, сынок. Лучшее казы продают по прохладе, утревчиком. Для бешик-тоя сделаем нарын.

Значит, не невольно разбудила сына. Опять заботу на него перекладывает.

Агзам-ата тихим голосом ворчит на жену:

— Э, чтоб тот нарын остался на твои поминки! Тише ты, пусть парень отдохнет немного! Вчера заставила его ишачить в три смены... Совесть у тебя есть? Всю ночь человек не спал. А ему еще на работу надо. Он же не домохозяйка!

Обычно тихий Агзам-ата, если рассердится... ох, не приведи аллах, Ханифе ли об этом не знать.

— Не ворчите, ладно, пускай спит, не стану будить! — сказала Ханифа-хола и ушла в свою комнату.

Однако Аброр уже проснулся. Встал с головной болью, он старался не курить до завтрака, но сейчас вышел на балкон, задымил натощак.

Надо было купить на базаре все необходимое для плова на пятьдесят — шестьдесят человек, а также самых разнообразных лепешек (патыр, ширмой); съездить за город, там должны зарезать барана. Взять мясную тушу, доставить сюда, а часть вместе с рисом и морковью отправить в дом Рисолат, равно как и несколько тазов, наполненных самсой, нарыном, баурсаком...

Аброр каждый вечер по нескольку раз ездил на базар, в магазины, туда-сюда... Дни стоят знойные.. Он входит в дом, словно обожженный изнутри, достает из холодильника что-нибудь похолоднее, пьет воду со льдом. Горло охрипло, законылось табачным дымом; Аброр кашляет и жалуется:

— В горле першият, будто бритвой скоблят.

И ложится без сил, выпив перед сном теплого молока.

Назавтра снова беготня, снова потный, снова пьет холодные напитки и беспрестанно курит.

Вазира до глубокой ночи печет слоеные лепешки,

баурсаки, Ханифа-хола, конечно, помогает. Раскатывает тесто. А потом уходит в свою комнату и занимается украшением колыбельки.

Она сшила треугольный матерчатый талисман, положила внутрь душистый имбирь, снаружи прикрепила две бусинки и повесила на бешик, к той стороне, где будет лежать головка младенца. Летнее покрывало Ханифа-хола сделала из легкого атласа, а зимнее — из красного бархата, на подкладку пошел красный ситец.

Ах, как она любит бешик! Нынешние молодые мамы не знают, как им пользоваться... А вот тут горшочек есть и деревянное приспособление к нему. И не надо тебе без конца стирать и сушить бесчисленные мокрые пеленки... Ежели ребенок привыкнет лежать в бешике, он доставляет матери забот в десять раз меньше, чем в коляске. Говорят, бешик неудобен. Наоборот! Чтобы покормить ребенка, не надо его из коляски-то подымать, брать на руки. А бешик так устроен, что мать обопрется руками на верхнюю перекладину и свободно даст ребенку грудь. Она-то, Ханифа-хола, даже засыпала иногда средь ночи в таком положении... А как удивительно красив, разряжен бешик... И разве не умно придумано, что матрасик набит не ватой, а зерном проса? С ватой — значит, через два-три месяца матрасик станет жестким. А просо пересыпчатое — одна сторона намокнет, подними за другую сторону, просо внутри матраса потечет, и опять ребеночек на сухом лежит. Ханифа всех своих детей вырастила в такой колыбельке. И такой же бешик есть и у таджиков, она это знает. А недавно в кино показывали — подобной колыбелькой пользуются матери на Кавказе. А теперь говорят — пережиток! По ее-то мнению, кто в бешике не лежал и не слышал в детстве звуков сурная, тот растет непослушным, беспутным... Да, не забыть бы: Аброр должен найти еще сурнайчи.

— Эй, отаси, а сурнайчи нашел?

— Будь он неладен, твой сурнайчи! Аброр не один раз к нему домой ездил, нету его, говорят, и все. Ушел, говорят, на свадьбу. Поехали прямо на свадьбу. А там выяснилось, что десять дней он будет занят: каждый день в трех-четырех домах играет — уже задатки взял.

— У людей по два сурнайчи, а вы и одного не можете найти.

— Э, жена, что нам тягаться с теми, кто с жиру бесится? Я спросил у сурнайчи: «Сколько берете за игру

на бешик-тое?» Говорит, восемьдесят рублей. А играет от силы два часа. И люди платят!.. Вот какие времена настали, денег у людей много стало, не знают, на что потратить.

А Ханифа-хола с каких еще пор мечтала посадить около пестренького, ярко разукрашенного бешика сурнайчи и через весь город проехать под колыбельную мелодию «Алла, болам» — «Спи, мой малыш».

— Аброр, тебе жалко денег, да? Я тогда возьму взаймы у старшего зятя!

— Чуть что — «старший зять, старший зять»! Не о деньгах только речь. Зачем нам вообще этот сурнайчи-обдирала?

— Не будет сурная, и бешик-той — не бешик-той. Вот и все!

Вазира ждала, что Аброр вот-вот скажет: «Ну и хорошо, не надо так не надо». Но где там... Аброр тяжело завздыхал, снова задымил. И тут Вазира пришла на помощь:

— Мама, хватит уже гонять бедного Аброра! Из-за какого-то сурная теперь... Отец и сын ваш замучились уже — бегают туда-сюда. Пожалейте их. К тому же Аброр простужен, кашляет.

— С чего это они замучились? Машина есть! Мы вот вырастили вашего мужа на своей ладони. Вот это было мукой! Пока я превратила кусок мяса в человека, чего только не пережила!

— И мы растим детей, мама! И нам тоже трудно.

— Значит, хотите отменить бешик-той, невестушка? «Живешь приживальщиком, так знай свое место» — это хотите сказать?!

Ну, сейчас начнется! Аброр встал между женщиными:

— Мама, да погодите, мама! Кто вам говорит, что вы приживальщики? Вы живете в доме сына, а значит — в своем доме.

— Ты лучше послушай, о чем говорит твоя жена! Ей трудно, тебя замучали... Она стала тебе ближе и родней, чем я, да?

Вазира отвернулась и ушла на кухню. Уже там слышала, как Аброр говорил:

— Мама, оставьте вы обиды свои... Нельзя без сурнайчи — ладно, найдем, с отцом сейчас съездим еще в одно место. Ну, все?

Возвратились они уже поздно вечером, часов около одиннадцати.

— Можешь успокоиться,— сказал Агзам жене.— С одним сурнайчи договорились за сто рублей. Пусть пропадут вместе с ним!

Ханифа продолжала молча украшать бешик.

Вазира на кухне жарила баурсаки. Весь в поту, Аброр вошел в ванную, освежил себя душем и прямо в майке ввалился на кухню. Но кашель не давал покоя.

— Уф-ф... Дерет горло.

Вазира не откликнулась. Молчит, брови сдвинув.

— Хоть вы не мучайте меня, ханум.

— А вам меня мучить вдвоем с матерью можно?

— Что мы такого сделали ужасного?

Баурсаки в казане жарились, краснели и шипели. Вазира выбирала дуршлагом готовые и укладывала их в огромную миску.

— Я делаю все, что могу, даже то, что она должна делать, а вместо благодарности слышу от вашей матери одни колкости. Я что в доме, служанка?

Конечно, подумал Аброр, характер у мамы не мед, и Вазира тяжело переживает незаслуженные обиды.

— Но я благодарен вам, Вазира. Очень благодарен... Разве этого мало?

— Вы сначала сумейте сами себя защитить! Если ваша мать начинает наступать, вы заискиваете перед ней... как... как... нашаливший мальчишка. А если я выражая вам недовольство, то вы соглашаетесь со мной, стараясь сбалансировать, равновесие соблюсти. Это разве достойно вас?

— Надоело мне, честно говоря, держать все время это равновесие.

— А мне равновесие не нужно вообще... Мне больно и обидно видеть, во что превращает вас мать...

Во рту Аброра совсем пересохло. Кашляя, он подошел к кухонному столу, взял в руки большой пунцовский фарфоровый чайник, вылил остатки холодного чая в пиалу.

— Я все понимаю, Вазира. Но характер матери нам уже не изменить. Приходится мириться.

— Но мириться — не значит исполнять все ее капризы! А вы... даже когда она несправедлива, все равно ее защищаете!

— Глупое положение! Нравится матери — не нравится жене. Если вам хочу угодить, то мать обижается.—

Аброр изо всех сил старался соблюсти тон мирного супружеского разговора.— Бывают ли счастливцы, поступки которых нравятся и матери, и жене?

— Неужели я такая же взбалмошная, как ваша мать, что вы на одну доску ставите мое поведение и ее?

Слово «взбалмошная» царапнуло ухо Аброру. Он отставил пиалу, рука дрожала. Поднялся, наглухо закрыл дверь кухни.

— Давайте-ка, Вазира, прекратим эту перепалку!

Но Вазире хотелось выплеснуть сейчас все, что накипело и что она так долго избегала, высказать свекрови:

— Моя мать всю жизнь прощала взбалмошность и избалованность Алибеку. И что из этого получилось, вы видели. Как это подвело самого Алибека, вы знаете... Что бы он ни требовал — пожалуйста, сыночек! И чем больше делали ему хорошего, тем хуже он себя вел! Вместо благодарного чувства — себялюбие и эгоизм!.. Чем больше отступаешь, тем крепче садятся тебе на голову. Это закономерно! — Вазира передохнула и, набрав воздух, продолжила: — Разве ваша мать не поступает точно так же? Мы относимся к ней с почтением. Чем она платит? Черной неблагодарностью? Так почему же справедливая требовательность к Алибеку у вас была, а к своей матери нет?

— Вазира! Что вы тут наговорили! Что за путаница! Корыстный эгоизм Алибека и поступки моих родителей? Ведь не для себя они дают этот бешик-той, а для дочери и для внука!

— Ничего подобного! Ваша мать делает это для себя, чтобы похвастать перед людьми, почваниться!

— Неправда! Она выполняет долг перед родившимся внуком. Для нее это — дело чести!

— А моя мама неправляла бешик-тоя в честь Зафара. Выходит, она, да и мы нарушили правила чести?

— Я этого не говорю. У вашей матери другие убеждения... Кстати, они способствовали Алибеку стать тем, кем он стал... У нас есть о чем спорить... И серьезно. Если для Алибека все народные традиции уже устарели, то, конечно, можно и деторождение объявить ненужным, старым предрассудком. Говорил же так ваш Алибек!

«Ваш Алибек...» Значит, и она, Вазира, недалеко ушла от «своего» Алибека. А то, что именно она прояви-

ла характер и спорила с наивными «теориями» своего отца,— об этом ее почтенный, умный муженек предпочел забыть!

— У вашей матери свои «заветные желания». Борода и длинные ногти у Алибека тоже свои «заветные желания». Один — за «свободу», другая — за «обычай». Столько дней мучить нас своим обычаем — чем не эгоизм?

Аброр положил дрожащую ладонь на крышку пунцового чайника.

— Столько лет прожил, а не знал, что моя жена способна клеветать... Я измучился, понимаете вы, измучился от всех ваших дрязг, а вы снова и снова перец подсыпаете, да погорячее, поядовите...

— Это она истохает яд!

— Нет, нет, ты змея ядовитая! — крикнул Аброр, обхватил сверху пузатый чайник, поднял его, чтоб швырнуть им в Вазиру, но в последний миг — то ли неудобно держала чайник рука, то ли волна ярости откатилась — шмякнул чайник об пол, прямо под ноги себе. Чайник разлетелся вдребезги, мокрые чаинки разлетелись комочками по полу. Аброр посинел, стал неузнаваемо страшным.

Вазира, отшвырнув ногой черепки в сторону, почти задыхаясь выкрикнула:

— Хватит! Я оставлю этот дом вам с матерью! — Рванула с себя фартук, оборвав тесемки, закинула его на подоконник и стремглав выскочила из кухни.

В спальне она быстро переоделась. Сложила в сумку нужные вещи... То, что она не будет участвовать в завтрашнем празднике,— это было ясно. Но, чтобы не думали, будто она пожадничала и ничего не подарила, она вытащила из комода нежно-розовый велюр, который показывала недавно мужу, бросила отрез на стол; окинув беглым взглядом комнату, с каменным лицом вышла из квартиры.

Аброр задыхался, ему не хватало воздуха, из кухни он почти бегом побежал на балкон. Агзам-ата спал в своей комнате. Шакира, как всегда, дома не было: уходил рано, приходил поздно — дело обычное, молодое. Ханифа, увлеченная бешиком, не слышала и даже не предполагала, что произошло на кухне.

Ах, какой бешик! Какая красота!.. А завтра в две легковые машины сядут они, Ханифа и другие уважаемые женщины, а молодежь и сурнайчи вместе с колы-

белькой и подарками воссядут в кузов грузовика, застеленного коврами. И вот три машины одна за другой засигналят и под мелодию сурная поедут через весь город.

На бешик-тое мужчинам чего делать? Пусть будут... как это? «На-булю-да-те-ли». Аброр отвезет на праздник мать, сестру, жену и тетю, а сам уедет на работу. Потом вечером приедет за ними.

Сурнайчи не заходит в дом новорожденного. Женщины войдут в дом Рисолат и станут там устраиваться, а сурнайчи пусть играет во дворе и на улице... Вот женщина-дастарханщица с разукрашенной колыбелькой на голове и с песней «Алла, болам» на устах направляется в комнату, где лежит младенец. А со двора доносятся звуки сурная... Вот с машины выгружаются подарки, игрушки, угощения... Ее, почтенную Ханифу, которая привезла столько дорогих вещей и яств, встречают с безграничным уважением, готовы поднять до небес. Ах, как хорошо!..

Аброр, пытаясь унять дрожь, все стоял и стоял на балконе, курил сигареты — одну за другой. А Вазира по ночному городу уходила все дальше — к матери, к невестке Насибе.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мраморная лестница ведет в подземную станцию метро... Вазира берет логарифмическую линейку, еще раз пытается точно высчитать площадь белой полосы — по проекту должна пройти посередине лестницы и окаймляться с обеих сторон черным гранитом. Вазира чувствовала себя разбитой, внимание рассеивалось, по всему телу разлилась непонятная вялость. Расчет снова отличался от предыдущих. Или в чертежах ошибка?

Вазира долго смотрела на чертеж. Зазвонил телефон. Аброр?

Сердце вздрогнуло. От боли. От воспоминания о яростно, вдребезги расколотом чайнике и о лице мужа, искашенном, чужом.

Она бросила на телефон болезненный взгляд. Не хотелось снимать трубку... Разъяренный Аброр, бешеные его глаза, его крик: «Ты змея ядовитая!» Аброр вдруг стал тогда очень похож на мать, когда она гневалась или с кем-нибудь скорилась. «Что мать, что сын —

одинаковы!» — подумалось Вазире, и чувство протеста и почти презрения к обоим захлестнуло ее.

А вместе с тем ей казалось, что и скверное настроение, и боль, давящая на сердце, могли бы притупиться и отпустить, если б муж поспешил с раскаянием, искренне извинился, попросил прощения. Нет, она бы не смогла сразу простить его: она права, а правота не должна быть снисходительна. И все же, сама того не признавая, она ждала звонка Аброра.

— Я слушаю...

— Вазира Бадаловна, это Адамян,— заговорил в трубке знакомый бас,— интересуюсь, когда вы сдадите свои чертежи, от них ведь и наша работа зависит...

— Сметчики нам осложняют дело. Говорят, слишком много черного гранита — габбро. В смету, мол, не укладываются...

— Может быть, они правы? Габбро дорогой материал. Если мы под ноги прохожим расстелем шелковый ковер, это обойдется дешевле, пожалуй, а?

— Но этот гранит будет служить сотням тысяч людей, Сергей Вартанович. И кроме того, габбро Севасая и голубовато-белый мрамор Нураты очень гармонируют друг с другом.

— Тогда, может быть, сделать гранитные полосы поуже?

— Некрасиво.

— Но, Вазира Бадаловна, раз мы с вами не можем уложиться в смету... значит, надо... уложиться в смету. Хотя бы за счет экономии в других материалах.

— Я сейчас как раз подыскиваю другие возможности, Сергей Вартанович. К сожалению, Наби Садриевич в отпуске...

— Если через два дня не найдете, наша работа станет.

— Послезавтра я вам позвоню, хорошо?

Вазира подперла ладонями подбородок, пальцами прикрыла глаза. Долго просидела так... Для светильников намечено использовать анодированный алюминий и медь. Сэкономить на светильниках? Что еще сделать?.. Палочка-выручалочка не отыскивалась, и она вновь вообразила картину ссоры с Аброром и даже бешик-той, который должен был состояться вчера и на котором она, разумеется, не была.

Ее отсутствие на бешик-тое, наверное, ошеломило всех. «Почему нет Вазиры? Почему она ушла? Куда?» —

эти вопросы родственников, конечно, изрядно помучили и Аброра, и его родителей. Выкручивались, наверное. Не стала же Ханифа-хола кричать, что невестка была против бешик-тоя.

Раньше бывало так: уйдет Вазира в обиде на мужа, на свекровь, уйдет прогуляться, успокоиться, мать навестить — и через несколько часов Аброр начинал ее искать, беспокоиться. Теперь... вот уже второй день ее нет дома, а он даже не звонит, не интересуется, что с женой, где жена? Неужто мать остается всесильной и для совсем взрослого самостоятельного мужчины?

Что теперь делать?

Живо вообразила себе Вазира лица детей. Сердце прямо заныло от тоски по ним. Она взяла телефонную трубку, набрала номер пионерлагеря, хотя и знала, что Малика и Зафар возвращаются только через два дня. Решила еще раз проверить, не изменилось ли что-нибудь в сроках... Нет, никаких изменений. Послезавтра в три часа дня детей привезут на ту самую площадь, с которой уехали в горный лагерь.

А как она встретит детей, куда поведет? Аброр, наверное, и не знает, когда возвращаются дети. Если Вазира приведет Малику и Зафара домой, свекровь не утерпит, чтоб не позлорадствовать: «Уходить уходила, а все равно сама пришла!» Отвести к матери — значит, расстроить и мать, и Насибу. Она ведь скрыла от них, что поссорилась с Аброром. Насиба часто завидовала их слаженной семейной жизни, повторяя: «Ах, если бы наша была такой же, как ваша!» Ночью, заявившись к Насибе, Вазира не могла сказать правды — заставила себя солгать:

— Аброр с последним рейсом улетел в Самарканд, проводила его, а на обратном пути решила переночевать у вас.

— Как хорошо вы сделали, апа! Наш дом близко к аэропорту...

Конечно, Вазира не спала всю ночь: нервы разгулялись, да и шум с улицы донимал.

На другой день было воскресенье, и утром они с Насибой отправились в глазную больницу.

Отек на лице Зумрад Садыковны спал, шов от операции затянулся так, что почти совсем незаметным стал. Зумрад Садыковне разрешили выписаться, и бумаги для этого были готовы уже в субботу.

— А почему вчера не пришли, Вазира? — спросила мать. — Где Аброрджан?

— Уехал в командировку... Вчера не могла выйти из дома... Вы с Насибой собирайте пока вещи, а я сейчас пойду за такси.

Операция и пребывание в больнице так ослабили Зумрад Садыковну, что, доехав до дома, она еле-еле поднялась на свой четвертый этаж: часто останавливалась на ступеньках, ее покачивало из стороны в сторону.

— Вазираджан, свекровь тебя не обидела? — вдруг спросила из соседней комнаты мать.

— Соскучилась я по детям, мама.

— Да, понимаю... И Аброра нет... Пока дети приедут, поживи у нас, ладно?

Когда Вазира уходила на работу, Насиба сказала ей то же самое:

— Вечером обязательно возвращайтесь к нам. Сделаем самсу, научите меня, ладно, ападжан?

...Вазира подняла голову, посмотрела на циферблат настенных часов... Уже четвертый час. Развернутый на столе чертеж все еще ждал какой-то новой мысли. Красивая мраморно-гранитная лестница по-прежнему не укладывалась в смету допустимых расходов.

Сосредоточиться, надо сосредоточиться!

Городской телефон зазвонил снова. Вазира насторожилась. После третьей звонка трели подняла трубку.

— Алло?.. — сказала она, чувствуя, как сердце проваливается куда-то.

— Вазира Бадаловна, ассалом алейкум! Вы живы-здоровы? Как дома? Хорманг, хорманг!

Конечно, человек, который спытал вопросы, не давая возможности ответить на них, — это Шерзод Бахрамов. Его только и недоставало ей сейчас! Но как ни странно, ощущала вдруг вместе с досадой и некое облегчение душевное, прилив сил, что ли.

— Есть дело, о котором мне надо срочно посоветоваться с вами, Вазира Бадаловна. Вообще-то говоря, если я сейчас приеду, не прогоните? Вы не очень заняты?

— Занята, конечно... Но приходите.

Не прошло и пятнадцати минут, а белые «Жигули»-люкс, ярко сверкая на солнце никелированными поясками, уже остановились у дверей главного управления.

Шерзод сразу нашел, куда поставить машину, быстро поднялся в комнату Вазиры.

Лицо Шерзода лучилось и сверкало, как его «Жигули». Загорелое, словно он возвратился с курорта. В левой руке Шерзод держал папку, правой осторожно взял тонкие пальцы Вазиры, воровато оглядел комнату, усмехнулся, наклонился, поцеловал. Сначала пальцы, потом ладошку, потом... Вазира освободила руку. Ею же и на стул показала:

— Садитесь, садитесь, Шерзод-ака. У вас все хорошо?

— У нас всегда все хорошо. Спасибо за внимание к нам, Вазира Бадаловна. Вы еще не были в отпуске? Те, кто знает цену жизни, сейчас в отпусках, кайфуют на курортах. Ноу траблз, ноу проблемз¹. И нам было... Так вот,— резко перешел Шерзод к другой теме, видя, что Вазира нахмурилась,— ирригационные работы все больше усложняются. Воды мало. Арыки в Ташкенте... сами знаете... какие. Каждый день меня вызывают... в высокие учреждения...— Шерзод открыл папку, начал показывать Вазире чертежи.— Видите? Наш проект обсуждался — кстати, с участием Аброра — в Союзе архитекторов. Вот, взгляните в конец протокольной записи. Во время обсуждения Аброр и его единомышленники отвергли наши предложения на чисто...

Вазира пробежала глазами по протоколу, нашла рядом с подписью «Агзамов» вывод-предложение: «Проект необходимо коренным образом переделать».

— Конечно, наш проект не лишен недостатков, но мы их исправим по ходу дела. Было обсуждение в министерстве. Заместитель министра предложил некоторые изменения. Мы их приняли. Теперь проект надо утвердить в вашем управлении. Наби Садриевич... кажется, в отъезде? Его заместитель меня совсем не знает.

— А вы не можете подождать, пока приедет Наби Садриевич?

— В том-то и дело, что не могу. Нас вызывают каждый день и спрашивают: «Где проект?» Пока вы не утвердите, строители не могут приступить к работе. Все сроки горят! Все у меня сгорает, Вазирахон, и сроки, и... ну... не буду, не буду...

¹ Ни забот, ни проблем (англ.).

Вазира собрала свои чертежи, убрала их в ящик стола.

— Ладно, я попытаюсь помочь вам, пойдемте вместе.

Заместитель начальника главного управления заявил им сразу же, что он в курсе дела.

— Мне уже звонили по данному поводу из министерства,— сказал он.— Преобразовать Койковус и Карасу — неотложная задача. Однако из-за спешки не следует наносить ущерб нашему замечательному городу. Во время обсуждения в Союзе архитекторов было высказано много замечаний принципиального характера.

— Мы учли все эти замечания. Пожалуйста, посмотрите.

Заместитель всмотрелся в проект и увидел в нем волнообразно-плоское бетонное сооружение на берегу Койковуса.

— Где ж это вы учли? Говорилось, что скаты городских каналов не могут быть плоско срезанными, как в степи. А вы опять проектируете простую бетонизацию деформированного берега.

— Тургун Ибрагимович, на иное решение... не дали согласия товарищи из Управления водного хозяйства. Укрепление естественных отвесных берегов обойдется очень дорого. Затрудняется использование техники. Затягиваются сроки строительства.

— Вы оставили «инспекторскую дорогу»,— тут же бросил упрек заместитель.— А разве для этого не потребуется еще одна статья расходов? Мы живем в городе, в большом городе, и должны экономить площадь, не давать Ташкенту разрастаться бесконечно. А по вашему проекту выходит, что придется дополнительно переселить... сколько семей... вы подсчитали?

Этот довод высказывал ей, Вазире, и Аброр, критикуя идею «инспекторской дороги».

В воображении Вазиры снова возникло страшное лицо Аброра, когда он хотел бросить в нее чайник. Лицо точь-в-точь как у его гневливой матери: злое и непримиримое.

— Тургун Ибрагимович, без техники, без возможности свободного маневра для нас такие большие дела невозможно сделать в намеченные сроки,— вступилась Вазира, прижимая руки к груди.— Честно скажу, иного выхода, чем тот, что предлагает товарищ Бахрамов, я не вижу.

Заместитель задумался. Если он задержит проект, снова будут звонки из министерства.

— Тургун Ибрагимович, то, что вы говорили здесь, мы, безусловно, учтем. В процессе строительства учтем! — стал горячо заверять Шерзод. — Разрешите нам начать. Сроки ведь...

Заместитель взял ручку.

— Я могу разрешить, но с одним условием, что вы в процессе изготовления рабочих чертежей устраниете отмеченные серьезные недостатки... то есть плоское бетонирование.

— Устраним, даем слово, Тургун Ибрагимович! Не будет плоского, Тургун Ибрагимович!

Вазире было неприятно слышать от Шерзода это бесчисленно льстивое «Тургун Ибрагимович».

Свое условие заместитель мелкими буквами вписал там, где надлежало быть подписи, утверждающей проект. Ему хватило места и пространства и для мелко, но разборчиво выведенной подписи: «Ибрагимов».

— Если не будет выполнено это условие, будете отвечать вы, товарищ Бахрамов.

— Обещаю, Тургун Ибрагимович, обещаю! Спасибо вам большое!

Наконец Шерзод и Вазира вышли из кабинета в коридор. Лицо Шерзода излучало победное сияние.

— Вы чудо, Вазирахон! Без вас... Вы такая смелая. И тонко понимаете людей... По сравнению со своим мужем, вообще-то говоря, вы человек, который... во сто раз великолупнеее!

Иногда и Вазира считала так же. Это когда ее рациональность помалкивала. Услышать такую похвалу со стороны — что тут скрывать — ей было приятно. Вазира опустила глаза:

— Спасибо за комплимент, Шерзод. Но... я не люблю жен, которые принижают своих мужей.

Шерзод посмотрел на нее с ясно обозначенным восхищением:

— Вы настоящий человек, Вазирахон!

Прощаясь, Шерзод снова приник губами к руке Вазиры. И на этот раз она не препятствовала.

Настроение Вазиры улучшилось, и рабочее настроение тоже вернулось к ней. Вдруг в глаза бросился приклеенный к какой-то стеклянной двери в коридоре листок яркоцветной бумаги. И в памяти всплыла станция «Новослободская» в московском метро, украшенная

цветным стеклом. Красивые, оригинальные узоры! Цветное стекло дешевле мрамора во много раз. Может быть, это выход?

Она быстро перелистала справочник с описанием свойств и цен различных стройматериалов. Сделала самый первый, предварительный расчет. Решительно подняла телефонную трубку и набрала номер Адамяна.

— Сергей Вартанович, вы слышите?.. Да, это я. Есть идея... У нас на стенах станции предусмотрена облицовка сплошь из дорогого газгансского мрамора. А что, если на некоторых участках, например по боковым стенам лестничного спуска, мы воспользуемся не мрамором, а цветным стеклом? Если изузорить и осветить изнутри, будет очень красиво...

— Дельное предложение! Национальный орнамент...

— Да, это придаст дополнительный эффект и мраморной полосе лестницы. Если сэкономленные таким путем средства пойдут на габбро, то все... ляжет в смету.

— Вы уже рассчитали? Ну, коли так, вы гениальная женщина! Значит, дело теперь за эскизом панно из стекла. Эскиз должен быть в цвете, верно? Иначе не будет смотреться.

— Хорошо, я начну сегодня же.

О, Вазира любила чертить орнаменты еще в детстве, в школе... Где-то должна быть книга с образцами национальных орнаментов. Вазира поискала ее в ящиках стола, поискала в шкафу. Потом вспомнила, что книгу на прошлой неделе унесла домой.

Вот ведь досада! Ссора с мужем, оказывается, еще и так вот может помешать работе.

А Аброр все не звонит. Похоже, что он полностью принял сторону своей матери. Ну что ж...

Вазира решительно подняла телефонную трубку.

— Шерзод Исламович, вы уже доехали до своего начальственного кресла? — Вазира пыталась быть ироничной, но голос выдавал ее волнение, пока еще Шерзоду непонятное.— Я звоню вам... из-за одной книги... мне она срочно нужна.

Вазира назвала книгу, хорошо знакомую всем архитекторам республики.

— Для вас, конечно, найдем, Вазира Бадаловна! — радостно откликнулся Шерзод.— А когда именно она вам нужна?

— Чем быстрей, тем лучше.

— Ну, если так, то я сейчас же велю ее найти. Есть тут у меня ребята — чего хочешь достанут, хоть из-под земли выкопают. Я сам завезу ее к вам.

— Может быть...

— Я сам, я сам. Договорились? Ждите моего звонка.

Она почти целый час ждала телефонного звонка. Теперь от Шерзода. Что за спешка? И день рабочий уже кончается. В конце концов, заказала бы книгу завтра в научной библиотеке. «Что с вами, ханум?» — как спросил ее тогда, перед ссорой, Аброр.

— Вазирахон, простите, я заставил вас долго ждать.— Шерзод позвонил-таки, хоть и перед окончанием рабочего дня.— Доставили мне ее из дому. Сейчас выезжая.

— Я подожду вас внизу.

Вазира не думала возвращаться снизу обратно в свой отдел. Немного прогуляется и пойдет домой... Белые босоножки, белая кофта, коричневая юбка, изящная белая сумка, в которую она и намеревалась положить книгу орнаментов,— все было в тон, все шло ей. Выходя из первой комнаты отдела, Вазира посмотрела в зеркало и осталась довольна собой. Чуть-чуть нос припудрить, и все.

Шерзод уже приехал, ждал ее у дверей, в тени здания. Как только показалась Вазира, он быстро вылез из машины, быстро двинулся навстречу с книгой в цветной обложке. Двумя руками протянул ее Вазире. Вазира посмотрела ему в глаза, улыбнулась, сердечно поблагодарила за услугу.

— Буду работать дома, в вечерней прохладе,— сказала Вазира.

— Прямо домой? — спросил Шерзод.

— Нет, не прямо... Я должна зайти к матери.

— Я отвезу вас.

— Нет, спасибо, и так вы из-за меня потеряли столько времени! Я прогуляюсь...

— Ну, Вазирахон, наградите меня хоть чем-нибудь! Доставьте мне удовольствие похитить вас.

Шерзод знал, что у Аброра есть машина и что муж всегда заезжал за Вазирой, когда кончался рабочий день. Он ждал, что именно об этом скажет ему сейчас Вазира. Однако Вазира ничего такого не говорила, выглядела расстроенной. Может быть, она в ссоре с мужем?

Шерзод открыл переднюю дверцу машины, еще раз пригласил ее сесть.

— Прошу вас, Вазирахон, покатайтесь и на моей машине!

— Обычно... обычно,— сказала Вазира, борясь с собой и не без напряжения улыбаясь,— впереди сидит или жена, или телохранитель.

— Вот как? Я бы многое мог сказать, вообще говоря, о моем... ангеле-хранителе, но боюсь вызвать ваш гнев. Садитесь, пожалуйста, Вазирахон,— и Шерзод решительно открыл заднюю дверцу «Жигулей».

Машина блестела не только снаружи, но и изнутри. Чехлы на сиденьях были новенькие и стерильно чистые. Шерзод и сам сегодня был как новенький — блестел и учился.

Вазира села в машину, он закрыл дверцу мягко, почти беззвучно.

Когда проезжали через центр, Вазира нарушила молчание:

— Как поживает ваша жена?

— Э, не спрашивайте, Вазирахон... Дома бывает редко. Сейчас опять на гастролях. В Алма-Ате. Дочка у матери. Сижу дома один как сыр... А вы... вы не видели нашу квартиру?

— Нет.

— Отсюда недалеко... Давайте устроим экскурсию. Обязуюсь быть хорошим гидом.

Шерзод шутил, но Вазира чувствовала, что шутки эти могут завести слишком далеко, если она хоть как-то, хоть намеком на них отзовется. Ей вдруг стало на миг жалко Аброра и очень жалко себя. «Переступить черту», — вспомнилось ей московское выражение Шерзода. Тогда они тоже ехали в машине...

— Спасибо за приглашение, Шерзод-ака. К сожалению, я спешу к матери.

И вновь она, словно нарочно, не заговаривала об Аброре. «Может быть, от мужа-то она и ушла к матери?» — недоумевающе подумал Шерзод. Тогда, значит, и Вазира, как он сам, Шерзод, на сегодня в одиночестве.

— Вазирахон, дома я как раз и делаю проект тоннеля под Бозсу. Я говорил Наби Садриевичу о том, чтобы вы стали нашим соавтором.

Вазира даже удивилась такому повороту разговора.

То про семейную свою жизнь, то вдруг опять о делах. Поинтересовалась:

— И что же Наби Садриевич?

— Он-то не против. Необходимо ваше собственное согласие. Так по рукам, Вазира?

Притормозив на красный свет у светофора, Шерзод обернулся, многозначительно посмотрел на Вазиру.

После двух бессонных ночей она выглядела старше своих лет. Под глазами — какие-то синие круги, лицо немного осунулось. В глазах нет обычного для нее задора.

Шерзод, честно сказать, вздохнул с облегчением, когда Вазира сказала, что спешит к матери. Согласись она заехать к нему, пришлось бы спешно ее выпроводить, галантно поцеловав ручку. Сегодня вечером он ждал другого ангела-хранителя, двадцати трех лет, кровь с молоком. Шерзод даже как-то некстати рассмеялся от удовольствия, предвкушая встречу с прелестной молодой женщиной...

— Чего вы молчите, Вазира? Или все еще боитесь Аброра?

Вазира вздрогнула. Аброр так и не позвонил ей. Все еще, видно, перемывает ей косточки вместе со своей матушкой.

— А чего мне его бояться?

— Все-таки... идти против воли мужа...

— У каждого из нас своя воля, Шерзод. Я опасаюсь другого — что не смогу тянуть воз соавторства наравне с вами.

— Никаких возов вам тянуть не придется, Вазира. Да и я не допущу этого! Вы будете давать советы... Наш советник по эстетическим вопросам, звучит? Я уже говорил: вам будет достаточно держать с нами связь по телефону, так сказать. Все остальное сделаем мы сами. Ну так как, Вазира?

Вспыхнул зеленый свет. Сзади начали сигнализировать нетерпеливые шоферы. Шерзод выдержал паузу, продолжая смотреть на Вазиру настойчиво и уже требовательно.

Но в самом деле, почему это она, дипломированный специалист, должна чувствовать себя связанный отношениями, которые, вообще-то говоря, к делу не относятся? В данном случае — семейными отношениями. Почему ее держит в страхе какое-то табу, инстинктивное табу, какая-то боязнь преступить черту даже

в вопросе профессиональном, чисто деловом, архитектурском. Какая противная это вещь — остатки психологии рабыни, рабыни семьи, мужа. Будто родилась она с такой наследственностью! И все же, оказывается, до сих пор не может жить полнокровно свободной жизнью! Разве из нынешнего сложного душевного тупика ее может вывести что-то, кроме решительной встряски, решительного самостоятельного поступка?

Машины начали объезжать их белые «Жигули», некоторые шоферы бросали на них вопрошающие взгляды.

Шерзод этого словно не видел. Но и Вазира не видела сейчас никого, кроме Шерзода, ничего, кроме его правой руки, протянутой к ней (левая — на барабанке руля).

— Ну, Вазира, по рукам?

Вазира слегка ударила по ладони Шерзода:

— Пусть будет так... По рукам!

Шераод успел схватить коцочки ее пальцев, вытянулся всем телом, перегнулся через сиденье. Поцеловал, каждый палец поцеловал, все, что успел схватить, — указательный, средний, мизинчик. Его радость будто передалась машине, она бодро взревела, резко проскочила перекресток перед снова вспыхнувшим зеленым, весело помчалась по проспекту.

Вазира откинулась на спинку заднего сиденья. Произошло что-то большое, способное что-то изменить в ее дальнейшей семейной жизни. Впрочем, история с бешик-тоем,ссора, разбитый чайник — все это как-то разом отодвинулось, начало удаляться от нее, уменьшаться в размерах и прежней своей давящей тяжестью.

А табу и «запретная черта» если и отзывались в ней теперь, то лишь каким-то неясным и темным предчувствием.

Аброр лежал в гостиной на диване весь в жару. Пахло валерьянкой и еще каким-то лекарством. Высокая температура не спадала.

Проводив врача до самой машины «скорой помощи», Шакир вернулся к брату. Посмотрел на его потрескавшиеся губы. Удивился, как быстро, всего за два дня болезни, изменился, сдал Аброр. Голос его совсем пропал.

Шакир нагнулся над больным:

— Ничего, Аброр-ака, у вас просто сильная простуда. Пройдет быстро.

Аброр покачал головой, еле слышным шепотом, с остановками, проговорил:

— Зря... накричал на Вазиру, вот и лишился... голоса. Наказание мне, брат!

Аброр попытался улыбнуться, но губы оказались неспособными изобразить улыбку, слишком запеклись. Еще что-то хотел сказать растроганному брату Аброр, но приступ кашля не дал ему говорить.

Шакир хотел закрыть до того настежь распахнутые окна, но Аброр рукой дал знак: не делай этого. Преодолев приступ кашля, еле слышно прохрипел:

— Воздуха... воздуха не хватает.

Гнойная ангина вместе с пневмонией долго держали высокую температуру. Давило на сердце. Поднимешь голову — сразу же начинается тошнота.

Капли каплями — их Шакир наливал больному регулярно, — а надо было начинать назначенные врачом уколы.

Шакир вспомнил про знакомую медсестру, которая жила через два подъезда в их доме. Когда Зафар болел корью, она делала ребенку уколы. Агзам-ата пошел за медсестрой.

...Ханифа принесла пиалу теплого молока с медом, собралась на ночь ставить горчичники Аброру — привычные заботы матери, для нее он как бы опять стал прежним мальчиком.

Когда вдвоем с Шакиром помогала Аброру добраться из гостиной в спальню, на кровать, мать не на шутку испугалась за сына: Аброр еле двигал ногами, согнулся весь, как старик, его шатало, кружилась голова. Ханифа долго и нежно стирала марлей холодный пот с лица и шеи Аброра. Что за болезнь, которая может за два дня согнуть и превратить в старика такого крепкого мужчина? Вирусные гриппы — их Ханифа очень боялась почему-то — Аброр переносил на ногах, без температуры, не признавал раньше никаких ангин. И вот тебе на!

Шакир снова воткнул под мышку Аброра градусник. Когда вынул и глянул, непроизвольно вздрогнул. Тридцать девять и восемь. Это после жаропонижающих!

— Сколько? — спросил Аброр.

— Немножко меньше стало: тридцать восемь и шесть, — солгал Шакир.

Мать вскипятила воду и поставила Аброру горчичники на спину и на грудь. В коридоре Агзам одними

глазами спросил: как, мол, там? Отец сильно страдал из-за болезни сына.

— Ничего, поправится,— успокоила мужа Ханифа.

— А может, Вазиру-то позвать? Она ведь не знает о болезни.

— И пусть не знает!.. Зато о бешик-тое она прекрасно знала. Ушла, подвела всех нас! Все спрашивали про нее. Не знала, что отвечать. Опозорила меня, а теперь вот Аброр от этого позора свалился больной!

— Сама ты больше других его мучила последние дни. Все вы, женщины, хороши!

Ночью, когда Шакир пошел спать, Агзам-ата и Ханифа-хола остались дежурить около постели Аброра.

Временами Аброр так задыхался в кашле, что Агзам-ата совсем пугался. Подбегал к сыну, осторожно прикасался к вискам, приподымал голову с подушки. Всю ночь Аброр горел словно в огне. Все время просил пить, то отсыпал, то звал отца. Агзам-ата сидел если не рядом, то в соседней комнате у двери и появлялся у постели больного при малейшем шорохе. И ждал, не скажет ли Аброр о Вазире,— наверняка она присмотрела бы за ним лучше, чем он со своей взбалмошной старухой. Но Аброр ни разу не вспомнил о жене. А утром, когда после уколов и теплого молока у него чуть-чуть прорезался голос, Аброр сказал отцу о детях: Малика и Зафар сегодня должны были вернуться из лагеря.

В полдень на широкую площадь к большому девятиэтажному дому прибыла вереница автобусов. Их тут же окружили люди. Среди родителей была и Вазира. В полуоткрытом окне автобуса она увидела загорелого веселого Зафара, кинулась к нему, застучала по стеклу.

Автобус разгрузился. Уже найдены и разобраны все рюкзаки и чемоданчики детей. Вазира собралась уводить своих чадушек к матери, придумывая, как она объяснит детям, что не домой они направляются. И вдруг Зафар закричал:

— Мама, смотри, смотри, вот и дедушка пришел!

И побежал к дедушке. Обрадованный Агзам-ата опустился перед внуком на корточки и широко раскрыл руки. Потом к деду подошла и Малика. Агзам-ата выпрямился, обнял ее за плечи, поцеловал в лоб.

Рослый и худощавый, в своих неизменных легких брезентовых сапогах и чесучковом кителе, Агзам-ата

смотрел чуть поверх Вазиры. Они поздоровались друг с другом спокойно, только Вазира, испытывая какую-то странную робость, не выдержала взгляда свекра, опустила глаза, будто признавала свою вину в чем-то. Зафар искал взглядом среди машин знакомые «Жигули» вишневого цвета, но Агзам-ата повел их всех с рюкзаками к салатового цвета «Волге»-такси.

— А где папа? — спросила у Вазиры Малика.

Вазира наступила, ничего не сказала. Малике ответил Агзам-ата:

— Папа заболел, детка. «Скорую помощь» вызывали.

— А что у него, дедушка?

Агзам-ата рассказывал о болезни сына, о том, как они с Ханифой всю ночь не спали, и краем глаза следил за Вазирой. Агзам-ата заметил, что у Вазиры снова изменилось выражение лица: теперь оно стало и озабоченным, и растерянным.

Когда все уселись в машину, Вазира в смущении призналась свекру:

— Отец, я хотела бы повезти детей к маме.

— Ладно, дочка. Если так нужно, поедем к Зумрадхон.

Дети знали, как далеко живет «мамина бабушка». Им хотелось скорее домой.

— Ну, мама,— Зафар сделал кислое лицо,— давай лучше домой!

— К папе! Ведь он же болен,— поддержала его Малика.

Агзам-ата в душе был, конечно, на их стороне, но хотел уважить невестку.

— Детки, оттуда поедем домой, оттуда... Такси немножко подождет.

Но усатый водитель возразил:

— Мне некогда будет там ждать. Ищите другое такси.

И это вроде бы все решило.

Вазира представила себе больного Аброра, совестно стало ей и перед свекром, который, несмотря ни на что, готов понять и извинить ее.

— Ладно, тогда поедем к маме потом,— и она назвала таксисту свой адрес.

Тяжелей всего было Вазире увидеться со свекровью. Но соскучившаяся по внукам Ханифа-хола так обрадовалась их приезду, так обнимала, целова-

ла, тормошила их, что на Вазиру вроде бы и внимания не обратила. Для порядка упрекнула, будто лишь некоторое время спустя заметив, что с детьми вместе явилась их мама:

— Ой, невестушка, где это вы пропадали? И зачем бешик-той мне испортили?

Агзам-ата сказал твердо и ясно:

— Бешик-той у тебя прошел как надо, жена, никто ничего не испортил. Как Аброр?

— Весь огнем горит! Врач приходил, хотел в больницу увезти. Аброр упросил дать отсрочку на денек.

Вазире после этого известия еще тяжелей стало переступить порог спальни, но и тут дети облегчили положение, первыми побежали к отцу. Такие шумные, пропитанные жарким солнцем, брызгающие здоровьем! Их тут же отогнали от постели больного. Они бегали по квартире как свежий, чистый ветерок, разгоняя спертый, душный воздух взаимных обид, к которым столь серьезно относятся взрослые.

...Этой ночью Аброр немного поспал, и к утру температура у него начала спадать. А через дней десять уже отправился на работу и вечером привез домой картонную коробку, где вместе с красивым фарфоровым чайником лежал целый набор — шесть пиалушек, ляган и каса. Все одинакового пунцового цвета. Вручаая коробку Вазире, он шутливо заявил, что это расплата за тот разбитый чайник. И Вазира приняла подарок.

Как будто все у них должно было пойти, как раньше, на лад. Но Вазира чувствовала, что это лишь перемирие, а не мир, что внутри у каждого из них что-то сдвинулось и не укладывалось в прежнее русло.

Обычная супружеская жизнь, нежность, сладкие ночи, сладкие больше для тела, но открыть перед Аброром душу настежь, как прежде, Вазира теперь опасалась. Соавторство с Шерзодом было ее тайной. Знала она, что брат Аброра Шакир по-прежнему встречается с племянницей Шерзода, знала и поддерживала их дружбу, надеялась, что они поженятся, что Аброр станет родственником Бахрамова и мужу тогда будет легче примириться с Шерзодом. И с ее соавторством тоже. Но и этот замысел стал ее тайной, к тому же со свадьбой нельзя было торопить — молодым негде было бы жить. Дом на участке, купленном свекром, все еще строился.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Четвертый день подряд Агзам-ата не приходил домой — ночевал прямо на участке, под открытым небом. А шел уже сентябрь, ночи стали прохладными. Обеспокоенный Аброр после работы поехал на новый отцовский участок.

За лето многое там изменилось. В тени урюкового дерева уютно устроилась супа. Вокруг этого благословенного места Агзам-ата высадил райхон. Дальше в строгом порядке изо всех сил тянулись вверх саженцы айвы, инжира, кусты граната. С трех сторон участка шли в рост пирамидальные тополя. С высокого берега Бурджара видно далеко вокруг — дома большого города словно в гости двигаются сюда.

Бурджар — это одно из разветвлений Бозсу. И арычок, что тихо журчит в середине участка, — тоже маленькая веточка от ствола Бозсу.

Может быть, арычок-то и примирил отца с утратой старого дома. Так думал Аброр, чувствуя, что отец полюбил участок, что он решил во что бы то ни стало сделать так, чтоб на новом дворике было не хуже, а то и лучше, чем на прежнем.

Аброр привез отцу любимый его нарын. По пути сюда завернул на базар, купил винограду и теплых свежих лепешек. Суп Агзам-ата варил вечером сам...

Агзам-ата сразу стал выспрашивать Аброра о здоровье. Он знал, что у сына три кардиограммы подряд выходили плохими, что врачи строго запретили сыну курить.

— Как сердце? Что доктор в последний раз сказал?

— Да о болях в сердце я уже начал забывать, отец. Дел много. Проект — помните, я рассказывал? — скоро надо сдавать. Юбилей республики ведь совсем близко.

— Больше не куришь?

Аброр рассмеялся, помотал головой.

— А курить хочется? — допытывался отец.

— Еще как! Сегодня ночью приснилось: жадно затягиваюсь сигаретой. Неужто, думаю, снова начал курить? Испугался и проснулся.

— Хороший сон ты видел, сынок. Если так сильно хочешь курить, значит, выздоровел. По себе знаю: ба-

ловался насваем, а заболел — в рот ёго не хотелось брать. Выздоровел — опять потянуло.

Помолчали. Оглядели двор.

Агзам-ата уже все кирпичи заготовил. Но нужно — и очень много — досок, оконных рам, щитовых дверей, косяков дверных. Да мало ли еще чего! А откуда взять столько денег? Он, Агзам-ата, думал-думал и решил подработать — устроиться ночным сторожем.

— Тут близко стройка. Там и ночевать буду.

Аброр встревожился: если отец не будет знать отдыха ни днем, ни ночью, замучает себя. Пенсию получает, на житье хватает, а остальное — на стройматериалы... Есть же у него сыновья!

— Твой груз не легок, сынок. А я... коли к пенсии каждый месяц буду получать еще восемьдесят рублей, дело, глядишь, и пойдет, вот тебе и дверь, вот тебе и окно... Я же не кетменем иду махать. Сиди-посиживай да поглядывай. Буду ночевать не здесь, а там. Всего и разницы.

Конечно, бодрился отец для виду, перед сыном. Щеки у старика ввалились, борода совсем побелела. Ханифа-хола всего на три года моложе мужа, а выглядела крепкой, сильной женщиной, черные волосы почти скрывали седину.

— Отец, вы беретесь еще за одну работу, а кто же тогда за вами присматривать будет, еду хотя бы готовить? Мать у нас в квартире от безделья томится, сама так говорит. Может, привезти ее сюда, как вы думаете?

Белобородый Агзам-ата медленно обвел взглядом своюстройку:

— Ей здесь пока жить негде. Несподручно женщине возиться в глине. Оставь мать у себя.

Да, отец Аброра никогда не позволял жене слишком тяжелое носить, таскать воду, колоть дрова. Как в юности был жомард, так и остался им в старости: неторопливый, со строгой осанкой аксакал всегда был ко всем внимателен и добр.

Аброр ощутил прилив горячей привязанности к отцу.

— В воскресенье придешь? — спросил вдруг Агзам-ата.

— А что, есть работа?

— Хочу созвать друзей Шакира — строителей — на хашир... Бааран один остался. Зарежем его. Вот тогда пусть твоя мать и Вазира приедут приготовят угощенье

для тех, кто нам поможет. Привези и детей. Для них хашар как праздник будет.

— Хорошо, отец. А сколько парней вместе с Шакиром придут?

— Шакир сказал, что человек пятнадцать.

— О! Можно тогда горы своротить! И встретить их надо как следует, конечно. Я куплю на базаре все, что нужно. Вазира дома сварит годжу...

— Да, в жаркий день годжа будет кстати.

...Вазира еще в субботу вечером привезла моркови для плова, потом в большой, литров на тридцать, эмалированной кастрюле сварила годжу. А в воскресенье всей семьей встали чуть свет. Машину заполнили до отказа, по пути завернули на базар, а потом в магазин.

Когда приехали на участок, увидели друзей Шакира: пятнадцать молодых парней одевались в рабочую одежду — в спецовки. Не парни — богатыри!

Агзам-ата собрал их в круг, за веревку вытянул в центр круга откормленного барана, огляделся, подождал тишины, сказал:

— Джигиты, дорогие мои, вы знаете, у нас принято в честь добрых гостей резать лучшего барана. Вот его,— Агзам-ата дернул веревку, баран чуть ворохнулся, прижатый к ноге хозяина,— мы хотим зарезать в вашу честь. Вы пришли к нам на хашар, чтоб вместе поработать — взвести стены нового дома. Так дайте мне фатиху!

По обычаю, люди, пришедшие на хашар, должны были дать ее хозяину фатиху — разрешение на то, чтобы в их честь животное лишили жизни. Парень постарше, знающий, видно, толк в таких делах, раскрыл ладони, сблизил их, поднял к лицу.

— Омин, яхшиллика буюрсин!¹ — произнес он нужные слова, и все остальные тоже ладонями провели по лицам.

И Вазира, и Малика, а Зафар особенно смотрели на все как на диковину. Потом, когда Агзам-ата, завязав ноги барану, свалил его наземь, обнажил острый нож, Аброр по знаку Вазиры отвел Зафара в сторону — поди, испугается современный городской ребенок при виде крови, хлещущей из перерезанного горла барана.

Работа началась — и дружно. Один месил глину, другие подтаскивали кирпичи, каменщики занялись

¹ Аминь, да будет к добру!

кладкой, умело командуя помощниками, среди которых оказался и Шакир.

Аброр наполнял ведро раствором и подавал тем, кто воздвигал стены дома.

Зафар не мог, конечно, усидеть на месте и тоже начал подтаскивать кирпичи, те, что полегче.

Архитектору Аброру доверена была еще одна работа — проверять правильность кладки. Для этого его снабдили сложнейшим из инструментов — бечевкой, к которой был привязан камешек. Архитектору не пришлось поправлять строителей: привыкшие делать кое-что и посложней этой работы, они безошибочно определяли места для окон и дверей, вели кладку ровно, будто по линейке.

По звуку посуды и по запаху поджариваемого мяса можно было догадаться, что на другом конце двора Вазира и Ханифа тоже не дремали: под брезентовым навесом они готовили из только что зарезанного барана кавурдак, мудрили над пловом. Агзам-ата кипятил воду для живительного чая да любовался силой и мастерством молодежи.

— Молодцы, сыны мои, молодцы! Пусть еще крепче станут ваши руки! Спасибо отцам вашим! — то и дело растроганно повторял он.

Перед самым обедом парни немного сбавили темп.

Полная холодной годжи огромная коричневая кастрюля, которую привез в багажнике Аброр, манила к себе. Вазира умело набила большую сумку блюдами, чашками, плошками.

Вазира быстро, как заправская бригадная повариха, наполнила касы годжой, первую протянула Аброру, а Аброр передал отцу, сидевшему, скрестив ноги, на помосте. Расположились там и остальные. Свесив с помоста ноги, принимали касы вежливо, неторопливо. Охлажденная кислым молоком годжа возбуждала аппетит, некоторые джигиты попросили добавки — ведь годжа теперь такая редкость!

Зафару не хватило касы и ложки. Вот было здорово, когда он отпивал суп прямо из дядиной чаши! Кислое молоко разукрасило ему нос и подбородок — добрый смех, вызванный Зафаром, прибавил всем доброго настроения.

— Давайте, друзья, договоримся: если мы сегодня не закончим стены, будем считать, что провели день нараспо! — Здоровенный, черный как негр парень соско-

чил с супá.— Объявляем соревнование между четырьмя стенами... четырьмя командами. Ну, все готовы?

— Готовы! — сказал Шакир.— Аброр-ака, вы проектировщик, за вами контроль. Идет?

— Идет! — Аброр засмеялся и потряс бечевкой с грузилом-камешком.— Участки работы для каждой бригады будут разделены поровну.

— Тем, кто выиграет соревнование,— плов и чай, а тем, кто проиграет,— щи из кислой капусты и лимонад в неограниченном количестве.

То и дело вспыхивал смех. А когда работаешь с праздником в душе, сама работа идет быстро.

К вечеру все четыре стены поднялись в рост человека. Кавурдак, чай и спасительные шутки подкрепляли силы строителей, и в конце «смены» дом уже приобрел вид дома, только без крыши.

— Рахмат, спасибо, сыны мои, молодцы вы, хватит, кончай работу! Нас ждет плов,— сказал Агзам-ата.

Парни умылись, поливая друг другу на руки, сняли рабочие спецовки, переоделись и чинно расселись за дастархан.

Стены были почти закончены, осталось уложить два-три ряда кирпичей, а затем возводить стропила. Агзам-ата намеревался нанять мастера, сведущего в том, как покрыть крышу и установить окна-двери.

— Ну и ну, столько сделать за один день! Вот что значит хашар! — удивлялась Малика.

Да и Вазира тоже удивлялась, видя, как весело и споро шла работа и как празднично и весело расходились друзья Шакира после работы, уставшие, конечно, но приятно возбужденные и всем сделанным, и уважением, к ним проявленным. «Вот что значит хашар!» — повторяла про себя Вазира, думая и о том, что, видно, в бешик-тое тоже есть доброе начало, приятно возбуждающее, поднимающее настроение, чего она тогда не поняла. Умеют же люди делать добрые дела бескорыстно, умеют, когда захотят!

— Говорят, что и Большой Ферганский канал строили до войны вот так же, хашаром, да? — спросила Вазира мужа, заранее зная, что Аброру приятно будет ответить.

Аброр, конечно, догадался, с какой целью спрашивает его Вазира.

— О ханум, все ли вы знаете о хашаре? Знаете ли, например, что писатель Петр Павленко и великий кино-

режиссер Эйзенштейн хотели сделать фильм о всенародном ферганском хашаре?

— Стройка была такой экзотичной для Эйзенштейна...

— Не экзотичной, а человечной, Вазира! Когда души стольких людей разъедает эгоизм, равнодушие, корыстолюбие, нежелание хоть чуточку утруждать себя, разве мы не должны ценить нашу традицию хашара? Ведь это же здорово, что люди могут запросто сбраться, чтобы подарить друг другу свое внимание, свое время, свои сбережения, свое душевное тепло, свою... мускульную силу, наконец! И вот великий Эйзенштейн почувствовал это и захотел снять об этом фильм. Я благодарен ему уже за одно желание. Он уже тогда оказался прозорливей нас. Да-да, иные хорошие народные традиции мы и сегодня бездумно называем предрассудками...

— А это камень, конечно, в мой огород... — Вазиру раздражал менторский тон мужа.

— Конечно, ханум! Чтобы вы поняли: наш бешиктой был тоже вроде бескорыстного семейного хашара.

— Но он не был таким, — жестко сказала, словно отрезала, жена и отошла от Аброра туда, где стояла посуда.

Проект был сдан вовремя. И строители не подвели.

27 октября, в день пятидесятилетия Советского Узбекистана, среди тысяч и тысяч демонстрантов, заполнивших площадь Ленина, были празднично разодетые Аброр, Вазира, Зафар, Малика.

Вазира показала детям на Аллею фонтанов:

— Запомните, всю эту красоту придумал ваш отец.

— Ну, не я один... — возразил Аброр.

Но мысль о том, что среди этих многих был он, и то, что Вазира сочла нужным сказать о его работе детям, наполнили сердце светлым чувством...

После того как отшутили юбилейные торжества, Аброр выбрал минуту, когда Садриев был один, пришел к нему с большой папкой.

Заветные эскизы строений вокруг голубого Бозсу, эскизы, которые раньше висели на стене мастерской Аброра, из-за срочного задания, связанного с Аллеей фонтанов, перекочевали в папку. Красивое здание в стиле восточного зодчества. Плоская крыша его покрыта не железом и не шифером, а аркой из зеленой травки,

в которой горят алые тюльпаны. Это напоминало некоторые старые ташкентские дома с маками на плоской кровле. Садриев и за рубежом видел строения такого типа. Кстати, современные железобетонные конструкции позволяют делать подобные крыши водонепроницаемыми.

— Крышу хорошо продумали, — сказал Садриев Аброру. — Ну, а вот этот эскиз... кипарисы в нашем городе, наверное, не будут расти.

— Наби Садриевич, они уже растут. Да, пока только в ботаническом саду. Там им созданы микроусловия. Кипарисы боятся зимних холодов. Но на берегу Бозсу и зимой будет тепло — вода проходит через агрегаты ТашГРЭС; охлаждая их, сама нагревается. Я думаю, это обстоятельство следует использовать в помощь природе. Растут же у нас крымские сосны, а кипарисы растут в Крыму. Вы наверняка их видели.

— Видел. Но надо будет об этом еще подумать.

Следующий эскиз: огромное красочное колесо, напоминающее «колесо обозрения» в парках. Только вместо сидений для людей большие красивые чаши... Ну, понятно, колесо кружится, чаши поочередно опускаются в канал, наполняются водой, а потом поднимают ее и питают таким образом отводной арык, берега которого сплошь в зеленой траве и цветах. А какая сила движет колесо? Само течение Бозсу. Принцип традиционного чархипалака, заменившего когда-то водяные насосы.

— Так, используете и развиваете, значит, традиции, — усмехнулся Садриев. — А тут у вас что, водяная мельница? И рисорушка есть? Значит, целый комплекс.

— Целый ансамбль. — Аброр улыбнулся. — Вы помните, что на берегах Бозсу и Карасу раньше было немало водяных мельниц, крупорушек и рисорушек?

— Да, помню, но сейчас-то они зачем нужны? Теперь элеваторы, рисозаводы...

— Но на одном из совещаний вы сами говорили, Наби Садриевич, что мы должны в приемлемой форме сохранить этнографический бытовой комплекс, который давал бы полное представление о прошлом Ташкента.

— Против этого ничего не скажешь. В Прибалтике, например, большой опыт по этой части накоплен... И все-таки не жалко ли воды для декоративных мельниц?..

Аброр разъяснил:

— В эскизе сохранена лишь внешняя форма мельниц. Вода, забираемая из Бозсу, подводится по задерненному арыку к мельничному стоку. Оттуда она падает на лопасти колеса и вращает его, уходя по отводам обратно, так что вода никуда не забирается. Вместо настоящих тяжелых жерновов будут легкие, пластиковые. А над ними установим обычную карусель. На пять-шесть мест. Движение воды по стоку регулируется с электропульта управления аттракционом. Нажимается кнопка, и вода с шумом обрушивается вниз, «мельничные жернова» начинают вращаться вместе с каруселью. А создается впечатление, что карусель вращает вода из Бозсу... Рисорушка тоже внешне выглядит как прежние рисорушки, но внутри все будет приводиться в движение током, вплоть до транспортерных лент, по которым будут двигаться порции плова для посетителей этих кафе.

— Да, фантазия у вас работает, Аброр Агзамович! — с улыбкой сказал Садриев. — В будущем мы думаем создать этнографический комплекс недалеко от телецентра. Вот тогда ваши эскизы могут здорово пригодиться. А пока у нас много других, более неотложных дел.

— Телецентр довольно далеко от Бозсу. А мои эскизы посвящены этой водной артерии. Вся история Ташкента связана с Бозсу. Мы гордимся, что городу нашему две тысячи лет, а такой исторический памятник, как Бозсу, еще не благоустроен.

— Почему? Вот Ганчепе скоро станет одним из красивейших мест отдыха на берегах Бозсу. О благоустройстве зоны Бозсу думаем не только мы с вами. И самые большие руководители нашей республики дают нам хорошие советы. Прекрасный парк имени Гагарина... у него много соавторов, так сказать.

— А восточная сторона стадиона «Пахтакор», Наби Садриевич?

— Берег, где «моржи» купаются?

— Да. Чуть выше их купальни есть совсем заброшенные места. Я бы хотел... вот этот мой ансамбль в эскизах... нельзя ли его привязать к ним?

— Нет, эти места уже использованы в другом и более неотложном проекте.

— Каком это?

— Вы, должно быть, запамятали, Аброр Агзамо-

вич... Агзамова Вазира — это же ваша супруга? Бахрамовым и его соавторами, среди которых и Агзамова, подготовлен проект переустройства...

— С Шерзодом Бахрамовым? — перебил Аброр. — Наби Садриевич, это, очевидно, другая Агзамова.

— Нет, Вазира Бадаловна... Она работает по интерьерам метро... Вы не в курсе дела? Странно... Их проект мы недавно рассматривали здесь, в этом кабинете. Супруга... не сказала вам о результатах обсуждения?

Садриеву пришлось коротко рассказать о проекте нового русла длиной около километра.

— Я давно выступал против такой идеи, — выпалил Аброр.

— Ну, если Вазира Бадаловна знала о вашем отношении, то, возможно, потому и не сказала вам, что мы в главке их проект приняли.

Садриев собрал эскизы Аброра, положил их обратно в папку, протянул ее Аброру. Тот резко вскочил со стула, взял папку в руки.

Ошеломленный, вышел он из кабинета. «Бахрамовская группа... Бахрамовская группа... Неужели Вазира дошла до того, что предала мужа, вошла в бахрамовскую группу?..»

Вазира, закончив работу и выйдя к условленному месту, с изумлением обнаружила там вишневого цвета «Жигули»: чаще всего Вазира приходила сюда раньше мужа, и ей приходилось ждать.

Довольная столь ранним приездом Аброра, она бойко открыла переднюю дверцу машины и весело воскликнула:

— Ура! Видно, сегодня солнце взошло с вашей стороны.

Аброр холодно бросил:

— А вы, наверное, привыкли думать, что солнце восходит только со стороны Шерзода Бахрамова?

Вазира даже не успела понять иронического смысла услышанного, но обиду и раздражение в голосе мужа сразу уловила.

— Что-что?

— Говорят, вы стали соавтором Бахрамова. И будто благодаря вашим усилиям проект бахрамовской группы утвержден главкомом... Когда-то влюбленный в вас и не

достигший цели Бахрамов... как он сейчас, наверное, торжествует!

Произнеся все это зло и яростно, Аброр тем не менее ждал, надеялся, что вот-вот Вазира скажет ему, что все это ложь, наговоры на нее, что если кто и болтает о чем-то, то с низкими целями! Ах, если бы она это сказала, если бы сказала... он бы тотчас обнял и поцеловал Вазиру, забыл свою злость, обругал бы себя громогласно.

Вазира не отвела в сторону своего взгляда.

— Вы чем, собственно, недовольны? И в чем подозреваете меня? Да, я стала соавтором Бахрамова... стало быть, по-вашему, я сразу превратилась и в его любовницу? Вы уже об измене подумали?

Нет, он, Аброр, не мог подозревать в эдаком жену, с которой прожил, худо-бедно, шестнадцать лет.

— Да неужели вам непонятно после стольких-то лет нашей совместной жизни: для меня измена душевная еще хуже, чем... чем... — Аброр задохнулся от гнева. — Чем если бы вы провели ночь с Бахрамовым!.. Почему вы скрыли от меня свое соавторство?!

— Надо было проявить терпение, и я бы сама все рассказала... Эту работу поручили Бахрамову в прошлом году, и поручение шло через мой отдел. Садриев распорядился: курируйте проект, помогайте. Я сделала три-четыре эскиза...

— Все это лисьи хитрости!.. Нет, я имею в виду не вас, а Шерзода — этого лжеельва¹. Он просто хочет хотя бы вот так одержать надо мной победу. При вашей помощи!

— Что за мнительность! Что за самолюбие! Будто все люди только и думают о том, как бы одержать над вами победу! Этот проект вообще не имеет к вам прямого отношения!

— Почему это не имеет? Другие не знают, но жене-то пристало знать, что ее муж не спит по ночам, разрабатывает проекты по благоустройству берегов Бозсу!

— Думать о благоустройстве Бозсу — не ваша монополия. Об этом думают и другие... Вот и мы сделали свой проект. Мы тоже хотим, чтобы берега канала стали красивыми! Места для работы там хватит всем!

Аброр на большой скорости повел машину не домой, а к мосту через Бозсу, потом повернул направо. Подъ-

¹ Шерзод — букв.: рожденный львом.

ехав к западной стороне стадиона «Пахтакор», резко затормозил.

— Ну что ж... вот этот участок... вашего с Бахрамовым проекта. Давайте посмотрим, где тут будут ваши красивые берега.

Они вышли на берег. По воде плыли осенние листья. Их становилось все больше: с веток высоких чинар печально-шорохливо осыпалось сухие листья, падали на воду и землю.

Вазира резкими взмахами руки обозначила направление будущего выпрямленного в этом месте русла.

— А по берегам будут сооружены гранитные парапеты, с этой стороны пройдет вдоль канала широкий тротуар, он будет вымощен красивыми плитами.

— Значит, вы хотите провести русло именно здесь? — будто не слушая ее, переспросил Аброр. — И долой эти ветвистые чинары и дубы со стволами в три обхвата, да? — Неподалеку росла большая орешница. Аброр показал и на нее: — Вот тут будете укладывать бетонные плиты? Неужели гибель столетних деревьев для вас ничего не значит?

— А зачем паниковать? Через несколько лет здесь вырастут деревья покрасивей этих.

— Не через несколько лет, а через десятилетия!

Нет, к деревьям Вазира была всегда равнодушна. Влюбленная в геометрические орнаменты, она не чувствовала, видимо, красоты естественной. Когда они ездили в Акташ или Чимган, попадали в лесные чащобы, Вазира, выйдя из машины, несколько минут прохаживалась по лесу, и вскоре ей становилось скучно. Возвращалась в машину послушать радио или сидилась в прохладной тени какого-нибудь красавца чинара, чтобы, не обращая на него никакого внимания, покрутить все тот же транзистор. «Радио можно слушать и дома, в городе, а такую тишину нигде не сыскать, прислушайтесь к ней, ханум», — говорил Аброр, но Вазира отмахивалась. Природа ее словно утомляла, в городе же она могла крутиться без устали много-много часов. Вазира с детства привыкла к асфальту.

Бот и здесь, на берегу канала, красота осенних деревьев ее не трогала. И грустное шуршанье сухих листьев под ногами тоже не трогало. И неровности берегов канала, их то плавные, то почти замысловатые повороты, которые для Аброра значили так много, вызывали в его воображении картины естественно

прекрасного соединения земли и воды, для Вазиры представляли собою лишь... неровности рельефа, свалки пожухлых листьев и мусора, неприятную тень светлой городской жизни.

— Да вспомните вы Неву в Ленинграде! — крикнула в сердцах Вазира.— Все ее берега одеты в гранит. И как это красиво! Повсюду чистота, опрятность!

— Неужели вы не видите разницу между климатическими условиями Ленинграда и Ташкента? Ленинград весь стоит на воде. Его окружают море, реки, озера. Там самой природе необходим гранит, словно охраняющий жизнь от сырости, топей, зыбкости почв. Здесь у нас, наоборот, воздух сухой, лето жаркое, люди стремятся поближе к воде, к прохладе.

— Вот и будут лестницы. Кто захочет, тот спустится по ним к воде.

— При чем тут лестницы? Бозсу — исторический памятник. Переделывать его русло никто не имеет права!

— Мы хотим лишь исправить ошибки, которые допустила история!

— Исправлять историю не дело бахрамовской группы,— с презрением вымолвил Аброр.— Не начать ли с исправления самих себя, а, ханум? Своих собственных недостатков!

— О каких именно моих недостатках ты говоришь, Аброр? — спросила по-русски Вазира.

— Хотя бы о тех, что привели вас к единомышленнику Бахрамову! — Аброр продолжал говорить по-узбекски.

— Не поняла.

— И вы, так же как он, молитесь на железо и бетон. И совсем глухи к трепету живой природы. Внешний порядок, рациональные конструкции!.. Да ведь в течение веков и природа, и люди приспосабливали воды Бозсу к местности, а землю вокруг — к движению воды, и так возникла естественная река со всеми ее поворотами и излучинами. Это ведь тоже порядок, гармония, рациональность. Только не прямолинейная, как палка. Вы лишены чувства природы, а это ли не душевная глухота?..

Аброр говорил, не сдерживаясь ни в словах, ни в жестах. Редкие в этот час и в этом месте прохожие уже оглядывались на странную пару.

— Вот я и стала душевно глухой,— грустно про-

изнесла Вазира.— А когда-то здесь, на берегу Анхора, мне объяснились в любви, и восторгались моей красотой, и превозносили до небес мою душевность. Забыто? Пусть напомнит Бозсу...

— Откуда я мог тогда знать... что моя жена нанесет мне удар в спину!

Вазира первой заметила, как к ним присматриваются и прислушиваются.

— Любопытно им, видно, глядеть, да еще бесплатно, на семейную драму...

Аброр только сейчас заметил интерес посторонних людей к их ссоре. Молча повернулся, двинулся к машине. Муж и жена опять пошли рядом, избегая касаться друг друга.

Вазира в глубине души осознавала, что причинила боль мужу. Впрочем, она ведь и хотела причинить ему боль, но в меру. Аброр излишне обостренно воспринимает случившееся. Излишне горячо. И надо бы немного остудить его.

— Я же не стараюсь навязывать тебе свои идеи,— на ходу говорила Вазира.— Но ведь и мне нужна свобода мысли, творческих поисков. По-твоему выходит, что я останусь хорошей, только если буду работать так, как нравится тебе. Но тогда давай признаем: ты архитектор, а я нет! Ты этого хочешь?

Они сели в машину, Вазира — на заднее сиденье.

— Все это не так. И то, о чем мы говорим, не имеет отношения к вашей профессиональной самостоятельности... Да разве бахрамовский проект — ваша работа? Вы сели на телегу этого Бахрамова и запели, как и вся его группа, его песню!

Аброр нажал на газ. «Жигули» взревели и помчались нервно, рывками.

— Прошу вас, давайте кончим этот разговор,— снова перейдя на узбекский, попыталась утихомирить Вазира мужа.— Я не пою чужих песен. Чтобы вы были спокойны... я клянусь своими детьми, что предана и верна своей семье! Всё!

Да, Вазира считала себя правой. Аброр это видел. Словами и впрямь не переубедить ни ей его, ни тем более ему ее.

Аброр свернул на улицу Усмана Юсупова.

Вазира заметила, что дорога домой опять осталась в стороне.

— Куда мы собирались ехать?

— В светлое будущее вашего проекта,— съязвил Аброр.

Им оказалось высохшее русло Койковуса и забетонированный берег. Аброр остановил «жигуленок» у самых бетонных плит.

— Видите? — Аброр обернулся через сиденье к Вазире.— И эта... пустыня... возникла по проекту Бахрамова. Во время обсуждения говорилось, что на берегах необходимо высадить деревья, что берега не должны быть плоскими. А что на деле? Посмотрите, опять срезы, выложенные бетоном... А ваша «инспекторская дорога». Срезали неровности, сдернули траву, выкорчевали деревья, затрамбовали и забетонировали, видно, для того, чтобы и впредь на этих берегах не было ничего живого. Экономичность, рациональность, индустриальные методы! Сколько громких слов! Ради собственных интересов не пренебрегаете никакими средствами.

— Бетонирование берегов Койковуса тоже личные интересы Бахрамова?

— Да, да! Представьте себе, что да! Бетонирование по шаблону гораздо легче, чем творческая, оригинальная реконструкция берега древнего канала. Бахрамов всегда работает по принципу — лишь бы отчитаться и побыстрее отчитаться. А что потом — его не интересует. Он сегодня получает премии!

— Вы готовы повесить на человека, которого не взлюбили, все смертные грехи!

— А за что его можно возлюбить? Неужто вы забыли его безобразный поступок, когда он работал в райисполкоме?

— Какой это?

— Вы уже забыли... А припомните-ка скверик, который надо было превратить в цветник. Нам сказали, что завтра придет городское начальство и будет принимать работу. Все мы вышли на субботник. На площади — помните? — лежали разбитые бетонные плиты до двух тонн каждая. Решили найти подъемные краны и вывезти их. Однако техника нашлась не так быстро, как мы рассчитывали... Помните? Что же вы молчите? Помните, как нагрянули самосвалы с землей для цветника? И как Бахрамов, не долго думая, дал команду выгружать землю прямо на плиты. И разровнять потом площадку. А потом заставил посадить на эту площадку цветущие канны. Ну, вспомнили? Пришли

руководители, все осмотрели. Каны цветут, Бахрамов сияет. С рабочими не поговорили — ушли. Цветы сразу же погибли. Но это потом, а сегодня оперативный Бахрамов получил похвалу, а затем и повышение по службе. Настоящим благоустроителям работы, конечно, добавилось, нока убрали высохшие цветы, вытащили бетонные плиты, заново разрыхлили землю, снова завезли чернозем и цветы... Ну, теперь-то вспомнили? То был маленький скверик, маленькая площадка, а тут предполагается обезобразить берега Бозсу.

— Наш проект совершенно другой! Когда его воплотят в жизнь, сами это увидите!

— Поздно будет. Очень боюсь, что будет поздно.

— В самом деле уже поздно. Заводите машину, пожалуйста. Дома нас ждут не дождутся дети. — И уже в машине, на большой проезжей улице, Вазира добавила: — Для меня дискуссия закончилась, разговор о работе пускай и остается на работе. Терпеть не могу мужей и жен, которые без конца спорят о работе и дома, и на улице. Дома хватает домашних забот!

— И все же...

— И все же я не могу отказаться даже ради вас от своих идей, от проекта, который уже, кстати, утвержден управлением!

И Аброр, и Вазира всю дорогу молчали. Поставили машину в гараж, пошли к дому. Все молча.

Кооперативный дом напротив родного подъезда снова напомнил Аброру о Шерзоде Бахрамове.

Еще прошлой осенью были возведены стены и крыша дома. Правда, темные провалы, предназначенные для окон и балконных дверей, зияли еще целый месяц. Деревянный забор вокруг строящегося здания — помеха и пешеходам, и автомобилистам — искривился и долго мозолил глаза. Наконец сравнительно недавно окна и двери были вставлены на свои места, закончились внутренние отделочные работы, сняли и надоевший деревянный забор. Двор очистили от строительного мусора, посадили цветы и деревья, так что теперь двор приобрел несколько более приличный вид. Дети начали играть во дворе, не опасаясь грузовиков и падающих кирпичей. Во все квартиры нового дома вселились жильцы, и стало в общем дворе многолюдно до тесноты. Два дома оказались слишком близко друг к другу, и это становилось причиной многих неудобств, хотя бы по-

тому, что шум из окон одного дома наслаивался на шум из другого.

Аброр каждый раз раздражался при виде дома-соседа, назойливо близкого и к тому же архитектурно не вписывающегося в комплекс. Но что поделаешь — приходится к нему привыкать, как привыкают, например, к родимым пятнам.

Сегодняшний спор с Вазирой разбередил старую рану. Бездарный, халтурно сооруженный «шедевр» нашел «посадку» в их дворе благодаря Бахрамову. И это еще больше раздражало и настраивало Аброра против Шерзода и против Вазиры.

Он не касался теперь ее соавторства. Но ее согласие войти в бахрамовскую группу громоздилось меж ними невидимой стеной даже тогда, когда они были наедине.

И мужа, и жену мучила бессонница.

— Запомните, Вазира, — сказал как-то ночью Аброр, — мы можем крепко столкнуться с вами на рабочей тропинке нашей жизни! Я ведь не отступлю...

— Не стоит меня пугать. Лучше не вмешивайтесь в это дело, советую.

— Ну что ж, посмотрим...

На другой же после их спора на берегу канала день он разыскал знакомых инженеров, проектирующих метрополитен. Они работали в тесном одноэтажном здании напротив «Детского мира». В конце длинного коридора в малюсеньком кабинетике нашел голубоглазого Фарида Галиева. Аброр знал, что именно Галиев занимался проходкой тоннеля по дну канала и что именно Галиеву управление передало все чертежи и документацию бахрамовского проекта.

— Вы согласились принять проект нового русла Бозсу?

— Принять-то приняли, но, говоря откровенно, сейчас нам не до него. Вопрос практической его реализации будет рассматриваться в будущем году.

— Вот как... Значит, сроки снова отодвинулись?

— Да, не хватает бетона. А там ведь предлагают забетонировать новое русло длиной с километр. Зачем тратить столько, когда у нас и другие работы уже стоят из-за недостатка бетона.

— Выходит, ты против бахрамовского проекта?

— Да я-то что... У него много противников. Я вон разговаривал с ирригаторами. Новое русло ни к чему,

говорят. Шутка ли, двинуть с места Бозсу? Целую реку, в общем-то.

— Фарид, дружище, я тоже придерживаюсь такого мнения! — И Аброр рассказал Фариду все, что накопилось на душе.— Давай встретимся после работы. Ты пригласи своих ирригаторов. А, Фарид? Посоветуемся!.. Мы все-таки ташкентцы! Нельзя же позволять наш город портить!

— Вообще мнение моих друзей очень близко к твоему.

— Ну вот видишь... Где встретимся? У меня, а?

— Нет, лучше к нам приезжай домой. Запиши адрес...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Агзам-ата, Ханифа и Шакир переехали наконец на новый участок.

Рановато, конечно. С крыши дома свисали сultаны камышового покрытия, стены оштукутирили наснек, только в одной комнате были настланы полы. Воду приходилось таскать со двора ведрами. Газ не подведен.

Ханифа разжигала дрова, дула на робкое пламя, и в глазах ее вскипали слезы.

Когда Аброр приехал навестить родителей, он увидел, что все трое новоселов сидят в одной комнате, согреваются у танчи. Ханифа-хола принялась тут же упрекать старшего сына:

— Сами в раю живете, а мы тут... умрем от холода, так вам, видно, все равно будет!

— Сами же мне уши прожужжали: поедем на свой участок да поедем! Вот вам и свой участок! Не нравится, вон машина стоит, садитесь, отвезу опять на квартиру.

— Да поди-ка ты со своей квартирой! У нас тут свои заботы есть, глянь, сколько саженцев тянется!

Ханифа-хола любила груши. Осенью Агзам-ата посадил четыре деревца, а между ними (когда-то еще груши дадут плоды!) разместил персиковые саженцы.

— Персики начнут давать плоды раньше, а постепенно войдут в силу и груши,— объяснял он жене.

— Да будь они неладны, персики твои да груши! Доживу ли до них? Сначала вы газ проведите! Жить не могу из-за дыма этого! — сказала Ханифа, закашлявшись.

— Потерпи, жена, потерпи, насчет газа Аброр хлопчет!

Агзам-ата не оставил во дворе ни клочка пустой земли. Посадил клубнику, высеял даже ячменно-люцерновой смеси немного. «Летом люцерна хорошо пахнет».

Любил Агзам-ата заниматься крестьянским трудом, не говоря уж о труде мираба, а вот прокладывать железные трубы, провести в дом газ, настилать полы, застеклять окна, оборудовать разные двери — это для него было сущим наказанием. Не потому, что очень уж тяжело всем этим заниматься, а потому, что такие работы пожирали массу денег. И материалы влетали, как говорится, в копеечку. И газовщики с плотниками не скромничали, запрашивали втридорога. Шакир отдавал отцу почти всю свою зарплату. Помогал каждый месяц деньгами и Аброр. Но денег все равно не хватало.

Агзам-ата всю зиму проработал сторожем на соседней стройке. Весной строительство значительно расширилось, и ему потребовался еще один сторож. Агзам-ата ухитрился вторым сторожем оформить свою Ханифу, а подменять ее сплошь да рядом приходилось самому. Чуть ли не каждые сутки с шести часов вечера до восьми утра он был занят теперь там, а потом придет и, не зная отдыха, вкалывает на участке.

К тому же Ханифа каждый день еще и пилила его насчет газа. А что тут сделаешь, коли на их улицу газ еще не дали, труб ждут не дождутся. Аброр побывал в разных учреждениях, ему пообещали, он поверил, ждал до самой зимы, но ничего не вышло. Тогда он на свои деньги взял и купил баллоны с привозным газом. Тот день, когда Ханифа-хола начала готовить пищу на газе, был просто праздником. Мать на редкость щедрой оказалась в благодарностях:

— Спасибо тебе, Аброрджан, милый ты мой сынок, спасибо! Дай бог, чтобы и ты увидел добро от своих детей, а я так прямо ожила!

В субботу Аброр снова навестил родных. Заехал на стройку за отцом. Тот вышел к машине, заложил руки назад, согнулся, еле-еле на ногах держится.

Аброр остановил машину рядом с отцом, изнутри открыл заднюю дверцу.

— Ух! Совсем из сил выбился... Не знаю, что со мной случилось. Давеча вышел из сторожевой будки, голова странно как-то закружилась. И задыхаться на-

чал. Испугался, что упаду. Присел на штабель досок, слава аллаху, отошло.

С тревогой и жалостью смотрел Аброр на отца. Щеки просто провалились, лицо пожелтело.

— Зачем вам все это надо, отец? Хватит сторожить. Посидите спокойно дома.

— Я и сижу в сторожевой будке... спокойно. Изредка обхожу площадку строительную. Работа не тяжелая. Оплачивается хорошо.

— Недосыпаете вы — вот в чем дело.

— Что же делать, Аброрджан? Неналаженная жизнь — это как пещера, там живет ненасытный дракон, все проглатывает... Ты помогаешь нам. Шакир хорошо зарабатывает. А денег все равно не хватает. Еще Шакира надо женить. Можно ли привести в неустроенный дом невестку?

Свадьба Шакира должна была, по родительским расчетам, состояться еще в прошлом году. Но переезд и строительство нового дома заставили отодвинуть сроки еще на год.

Весной, когда созрел урюк, Ханифа-хола приготовила лагман. Агзам-ата сидел вместе с сыновьями, ел да похваливал.

— Э-эх! — воскликнул он внезапно, схватился за щеку, потом вытащил изо рта двумя пальцами маленькую косточку. — Вот те на! Оставалось у меня всего-навсего три зуба, так один из них выпал. Разве от лапши зуб может сломаться?

Лагман был съеден. Приступили к чаю. Агзам-ата заговорил грустно и тихо:

— Сыны мои, кажется, подходит срок... За семьдесят уже... Сожалеть мне не о чем, все, что можно, уже сделал. Почти все. Вот участок до конца не обиходил. Да это уж вы как-нибудь сделаете без меня. Но давайте-ка побыстрей сыграем свадьбу Шакира. Коль умру, то ведь свадьба-то опять отложится.

— Не говорите так, отец. Вы еще будете нянчить детей Шакира.

— Нет, Аброрджан, нет. Неважно себя чувствовать, неважно. Пока глаза мои не закрылись, хочу увидеть, как Шакир обзаведется семьей... Ты разузнай у него насчет невесты, — сказал он Аброру совсем тихо, почти шепотом на ухо. Шакир деликатно отвернулся. — На будущей неделе и посватаем, а?

Шакир стеснялся рассказывать родителям о Нигоре.

Иное дело — старший брат. Аброр с прошлого года, с того самого часа, когда он отвез младшего брата на свидание, успел немало узнать о невесте Шакира, оказавшейся — увы, но ничего не поделаешь! — племянницей Шерзода Бахрамова. Впрочем, Нигора самостоятельная и разумная девушка. Бахрамов не сможет помешать ее свадьбе, даже если бы захотел: родители девушки знают Шакира и одобряют выбор своей дочери.

— Кажется, тут проблем нет, Шакир? — спросил Аброр, когда младший брат провожал его до калитки к машине.

— Оно-то так, но вот свадебные обряды... обычай всякие... их, оказывается, так много, и все они такие канительные... Как подумаю, сколько чего надо учесть, голова кругом идет.

— Да, тут старое с новым переплелось накрепко, наслонилось друг на друга, так что и не оторвешь. Со старыми обрядами и расходов, и хлопот становится вдвое больше. А пользы никакой. Вы с Нигорой должны избежать ненужной показухи.

— Но как избежать? Все ведь зависит от родителей, — заметил Шакир.

— Ну, не все... Пусть-ка Нигора поговорит со своими родителями. Я с отцом поеду сватать. Если они дадут согласие, то никаких промежуточных обрядов делать не станем. Фатыха-той, помолвка, к примеру, зачем? Резать барана, везти мешок риса, печь до двухсот лепешек — кому все это нужно задолго до свадьбы? А вот такой обычай, как «аксолор» — «белый знак», мне лично нравится. Это когда сторона невесты посыпает жениху кусок белого шелка и сладости. Сладости раздаются соседям жениха, а белый шелк означает пожелание светлого пути будущей семье. В этом есть какая-то поэтичность.

— Ну, не уверен. Не возьму в толк, зачем каждый раз привлекать к нашему личному делу соседей, чуть ли не всю махаллю?

— Тут есть своя логика, Шакир. Строится новая семья. Вот вы и должны видеть и помнить: множество рук клало кирпичи в это новое здание. А то ведь как бывает? Четыре человека соберутся, поставят на стол две бутылки, и все. Семью, создаваемую столъ легко, боюсь, разрушить тоже нетрудно. В иных городах половина всех молодых семей оказывается непрочной. А в наших махаллях разводов, сам знаешь, мало бывает,

из десяти семей, может, одна рушится. Так ведь?.. А трудностей,— Аброр решил закончить разговор шуткой,— трудностей на собственной свадьбе не пугайся. Испытаешь их вдоволь, тем верней будешь: не захочешь вторично жениться.

А Нигора, оказывается, жила в кооперативном доме, так неуклюже поставленном в их дворе. С тех пор как Аброр об этом узнал, сам этот «шедевр архитектурной мысли» стал пробуждать в нем иногда и теплые чувства.

Однажды вечером Аброр вошел в этот дом вместе с отцом и старшим зятем, мужем старшей своей сестры; празднично одетые, степенные, хотя и немного смущенные ролью сватов, они медленно поднялись на третий этаж.

И одним из первых, кто вежливо вышел им навстречу, кто учтиво ожидал их на лестничной площадке, был Шерзод Бахрамов. Дядя Нигоры. Младший дядя, но, видимо, пользуется уважением в доме.

Все вошли в гостиную. На одной из стен висел большой красивый шелковый ковер. Сервант, до отказа заполненный японским фарфором и чешским хрусталем, сверкал вовсю. На мягких стульях бросались в глаза красные бархатные накидки. Белоснежность скатерти подчеркивали умело расставленные по столу виноград, урюк и груши; здесь же зажаренные целиком куры, нарын с тонко нарезанными кружками конской колбасы.

Чинно расселись за столом. Принесли шурпу. После двух-трех ложек супа заговорили о молодых.

— Звезда вашей дочери сошлась со звездой нашего братишки,— начал витиевато Аброр.— Иначе мы не смогли бы встретиться за этим прекрасным дастарханом. Как говорится, если суждено, то в скором будущем станем и родственниками.

Отец девушки — среднего роста, полный, представительный мужчина лет сорока пяти — приложил ладонь к сердцу, склонил курчавую голову:

— В добный час!

Съели плов. Посуду унесли на кухню. После этого заговорил старший дядя девушки:

— Если махаллю не угостим пловом, будет нехорошо, согласны? Наши переехали сюда недавно. Чтоб познакомиться с соседями, сделаем плов человек на

двести. Утром перед свадьбой, согласны? Для этого купим сообща мешок риса, барана, соответственно и муку, продукты.

Аброр обдумывал, как бы деликатно отказаться от этой идеи, но Агзам-ата опередил:

— Согласны, согласны. Еще какие у вас пожелания? Говорите, не стесняйтесь.

Опять старший дядя взял слово; бесконечные его «согласны?» звучали совсем не вопросительно.

— Мать с большими надеждами растила свою дочь. Есть обычай, вносить молочные деньги... Немного... Четыреста рублей, согласны?

Установилась неловкая тишина.

Аброр исподлобья посмотрел на Шерзода, будто приглашал его раскрыться, определить свое — современное! — отношение к услышанной нелепости. Шерзод повернулся к старшему брату, с видимой ironией спросил его:

— Как это понять, ака? Вы просите у сватов калым?

— Да нет! Какой там калым — четыреста рублей?

В кишлаках, бывает, мно-о-го тысяч берут, вот это калым! Мы говорим только о молочных деньгах... матери за ее молоко, согласны?

Агзам-ата посмотрел на Аброра: говори, мол, ты.

— Это что, какой-то новый обычай или забытый из старых? — спросил Аброр.

— Раньше такого обычая не было, — сказал Агзам-ата тихо.

— Свадьба требует больших расходов. Матерям тоже нужны деньги, согласны?

— Если для свадебных расходов, — намеренно, с видом облегчения вздохнул Аброр, — четыреста рублей мы дадим. От души. Как подарок. Пятьсот дадим. Только просьба наша такая: не называть это молочными деньгами. Потому что материнское молоко нельзя продавать за деньги. Мы так думаем. Вы с этим согласны?

Глаза отца Нигоры затуманились — ему было стыдно.

— Вы правильно сказали, не надо эти деньги так называть... Теперь мы готовы услышать пожелания и наших гостей... Вот, например, фатыха-той...

— Для нас выполнять этот обычай кажется необязательным. Правильно, отец? — Аброр обратился к Агзаму-ата.

Агзам-ата утвердительно кивнул головой. Отец

девушки тоже тотчас согласился: нет так нет, зачем лишние хлопоты.

Старший дядя посмотрел на Шерзода, который до поры до времени сидел молча, теребил салфетку.

— Не очень ли все упрощаете, а? Как бы не возникло сплетен да насмешек.

Шерзод не сразу ответил. Посмотрел на отца Нигоры, тот напряженно посмотрел на него, Аброр понял, что все будет так, как скажет сейчас Шерзод.

Шерзод обратился к сватам с видом человека, который дает взаймы большие деньги:

— Если вы так хотите, мы идем на эту уступку. Однако не забывайте, что наша племянница достойна самых больших свадебных торжеств.

— Правильно! Нигора — первая у отца и матери. Потому... у них немало заветных желаний,— подхватил старший дядя.— На свадьбе должны быть пара карнаев, пара сурнаев, барабан-нагара. И двух знаменитых певцов с музыкантами надо пригласить. Договориться заранее, согласны?

Аброр спросил у Шерзода, вспомнив, что когда-то Шерзод выступал против таких свадебных концертов с микрофонами:

— Как вы на это смотрите, Шерзод Исламович? Мы, конечно, можем пригласить. Но микрофоны... лишний шум...

Шерзод уклонился от прямого ответа:

— Вопрос о карнаях и сурнаях будем решать позже, времени у нас еще много: после того как молодые подадут заявление в загс, пройдет полтора месяца. Сейчас о другом, вообще говоря, надо подумать... Свадьбу назначим...

Он вынул из кармана маленькую книжку-календарь. Полистал ее. Выбрал субботний день, что попадал на середину августа. Отец Нигоры и старший дядя сразу согласились с Шерзодом. Сторона жениха тоже ничего не имела против этой даты.

Наконец по знаку Шерзода вынесли из внутренних покоев три шелковых бекасамовых чапана. Старший дядя поднялся со стула. Первый чапан он надел на свата Агзама, два других — на остальных сватов.

— С богом, поздравляю вас!

— Вот и стали родственниками, ата! — Шерзод среди всех гостей выделил отца Аброра.

В свою очередь Агзам-ата понял, что в этом доме Шерзод играет главную роль, вежливо поклонился ему:

— Спасибо, сынок, дай бог вам счастья! Пусть молодые до конца жизни будут вместе, пусть у них будет много детей и внуков, пусть живут в счастье и любят друг друга! Аминь!

Все провели ладонями по лицу и встали с мест.

Когда вышли уже на улицу и начали прощаться, перед расставанием Шерзод многозначительно заметил, обращаясь к Аброру:

— Это ведь только начало. Хорошо то, что хорошо кончается.

— Самое главное, молодые любят друг друга.

— Да, но их счастье зависит и от нас с вами.

Аброр только сейчас съел плов, приготовленный в семье Нигоры, только что надел чапан, подаренный ему старшим дядей Нигоры.

Он должен был ответить не иначе как вежливо:

— Будем делать все, что от нас зависит.

А возвращаясь домой, думал: «Шерзод намекает на то, что может испортить дело со свадьбой... Как было бы хорошо, если бы те проекты полежали без движения еще месяца два-три. Мы бы успели сыграть свадьбу до того, как начнется схватка с Бахрамовым! Пусть бы молодые успели расписаться! А схватки ему все равно не избежать...»

Вазира, услышав от Аброра, что свадьба назначена на август, встревожилась:

— Ай, как неудачно выбрали время! Надо было назначить или на июль, или на сентябрь. Первая половина августа — время, когда Малика будет сдавать приемные экзамены в институт. Конкурс страшный!

Аброр, поглощенный разными заботами, почти совсем об этом забыл.

Малика закончила десятый класс, получив похвальную грамоту. Уже перегнавшая ростом мать, она отревог, что надвигались на нее, стала по-взрослому серьезной. Лицо вытянулось, шея удлинилась. А глаза расширились, смотрели на мир тоскливо и тревожно.

Аброр жалел дочь, глядя, как она днем и ночью, без устали и отдыха, с отчаянием каким-то готовилась к экзаменам.

Аброр с Вазирой, не откладывая визита, постарались побывать у проректора и у декана. Таких, как они, «просителей» оказалось много, и обещать им никто ничего не стал. Оставалось одно: создать для дочери все условия для занятий, следить, чтобы она вовремя ложилась и вовремя вставала — тогда голова будет всегда свежей.

Вазира отдала дочери самую тихую комнату в квартире, следила за ее питанием, ложилась спать после того, как засыпала Малика. Первый экзамен — письменная работа по математике. Результаты ждали четыре дня. Вазира не спала две ночи. Узнали наконец, что Малика по письменной математике получила тройку. Если она все остальные экзамены не сдаст на пять, то в институт не попадет.

Вазира так расстроилась, что у нее начались постоянные головные боли, в глазах стали мелькать черные мушки. Поднялось кровяное давление, и пришлось принимать таблетки, прописанные врачом. Вскоре давление сбили, но головные боли не исчезли. Снова записаться к врачу Вазира не удосужилась, никак не могла выкроить времени: приближалась свадьба Шакира, собралась на совет родня — решать, кто какую долю расходов, подарков возьмет на себя.

В сундуке Ханифы лежали несколько отрезов на платья из шелка и атласа. По обычаям, все наряды невесте должна была подарить сторона жениха, а все наряды жениху — сторона девушки. Штук восемь самых лучших отрезов из сундука будущей свекрови будущая невестка должна отнести к портному, сама выбрать фасоны, какие ей захочется, а стоимость шитья обязана оплатить опять-таки жених. Предназначенные для Нигоры пальто, плащ, кофты и другие вещи решили купить сестры Шакира и их мужья. Достать дефицитные белые туфли на высоком каблуке и сапожки на платформе выпало на долю Аброра: у него же машина, ему поискать легче будет.

В разгар всех этих хлопот пришел в движение проект нового русла Бозсу, подготовленный бахрамовской группой, строительство метро подошло близко к Бозсу, вопрос о прокладке трассы через канал стал неотложным.

— Вазирахон, вы слышали неприятную новость? —

Шерзод позвонил Вазире на работу. Голос его звучал встревоженно.

— О чём это?

— Ну, как же... Ваш супруг вместе с несколькими метростроевцами готовит, оказывается, свой проект, противоположный нашему. Подводит, так сказать, мину.

Таким образом открылось Вазире, что значили долгие разговоры Аброра с метростроевцем Фаридом Галиевым, его уходы из дома вечерами на долгие часы. Аброр не говорил Вазире, какими делами занят. Мало того, однажды, когда Вазира обиделась на него, что, мол, у вас за военные тайны от ревнивой жены, Аброр вполне серьезно ответил ей злым встречным: «Когда вы стали соавтором Бахрамова, вы разве не скрыли этого от мужа?»

Вазира чувствовала, что Аброр намеренно не выходит в разговорах с нею за пределы домашних забот, что в отместку ей он готовит что-то к их домашней жизни не относящееся. Подозревать мужа в том, что он, как говорят иные дамы, «завел себе женщину», у неё не было оснований. Значит? Значит, Шерзод попал в самую точку.

Спокойным голосом Вариза ответила Шерзоду:

— Пусть они даже и подготовят что-то... проект все равно придет в главное управление. А Наби Садриевич одобрил наш. Почему вы беспокоитесь?

— Строители метро наш проект не одобряют. А у них очень большие права. Не считаясь с решением главка, они могут пойти прямиком в весьма высокие инстанции, где к мнению строителей метро прислушиваются.

— Если вам мало мнения Наби Садриевича...

— По-моему, настала пора пригласить из Москвы...

— Павла Даниловича?! — Вазира тут же эту идею подхватила, подумав, что Бахрамов в самом деле человек ловкий. «И умный администратор», — добавила она мысленно.

— Конечно. Я только что звонил ему. Если главное управление пригласит, то он приедет.

— Фамилия его Катинов, да?.. Хорошо, что вы напомнили мне о нем, Шерзод. Я сейчас же зайду к Наби Садриевичу.

Вазира положила трубку, взяла бумагу и ручку. Коль приглашать за счет управления специалиста

из Москвы, надо письменно обосновать необходимость вызова, с готовым текстом приказа идти к Садриеву. С красиво оформленной заявкой все в той же красивой папке, на которой вытеснено: «К докладу».

Садриев внимательно прочитал текст приглашения. Прикусив нижнюю губу, посидел минуту молча, не глядя на красивую Вазиру — на сей раз лишил себя этого обычного удовольствия.

— М-да, ваш проект не нравится строителям метро, — сказал Садриев.

— Видимо, потому, что есть другой проект, который сбивает их с толку, Наби Садриевич.

— Кто же смеет переступить вам дорогу? Кто сии храбрецы?

— Точно не могу сказать. Один из них, кажется, инженер-метростроевец. Другой — из ирригаторов... — Вазира не решилась сказать начальнику об Аброре — язык не повернулся. Вместо этого заверила: — Наби Садриевич, если из Москвы прибудет Катинов, очень и очень авторитетный специалист, вопрос будет решен... с пользой для нашего общего дела.

— Вы уверены? Приглашенный специалист будет на вашей стороне?

— Мы разговаривали с Катиновым еще в Москве...

— Да, перед вами трудновато устоять, Вазира Бадаловна... — усмехнулся Наби Садриевич. Помолчал. Решил: — Ну что ж, будем защищать честь своего мундира.

В тот же день в Москву на имя Катинова ушла телеграмма-приглашение.

Только возвращаясь домой, вспомнила Вазира, что сегодня ее дочь ушла сдавать второй экзамен.

Вазира открыла дверной замок, вошла в квартиру. Первым, кого она увидела, был Аброр, который чистил в коридоре брюки.

— Малика вернулась?

Из кухни появилась Малика. Устало улыбающаяся. Аброр обернулся к Вазире:

— Можете ее поздравить.

— Четыре? — спросила мать, боясь произнести «пять».

— Нет, пять, — ответила Малика.

Вазира обняла дочь, начала целовать ее. И почтенно расплакалась.

Оказалось, что и Шакир у них; он вышел из гости-

ной, раскрыл кожаную папку, которую держал в руке, достал пригласительный билет с рисунком розы и свадебными золотыми кольцами.

— Ишь ты, уже раздаете пригласительные билеты? И папка шикарная, прямо «к докладу». И билеты очень красивые, Шакирджан.

Вазира не смотрела на Аброра. Не могла повернуть к нему свое заплаканное лицо.

— Если не начать сегодня, Вазира-апа, потом не успеем всех пригласить. Через пять дней уже в загс.

— Давай, Шакир, пошли... — это сказал Аброр. Ему непонятно было, отчего вдруг пролились слезы Вазиры, но спрашивать ее не хотелось.

Машина вишневого цвета стояла у дома. Братья спустились вниз. Пока садились в машину, что-то говорили друг другу. Вазира грустно наблюдала за ними с балкона.

В самом деле, отчего это она пустила слезу? Аброр, ее Аброр, муж ее, спокойно и буднично разговаривает дома об экзаменах Малики, о заботах, связанных со свадьбой брата, а исподтишка готовит тараан, нужный ему, чтобы разбить, разгромить проект, ее проект, и все это держит в тайне от жены. И Вазира в свою очередь не хотела даже намекнуть мужу о том, какие они в главке приняли сегодня меры, чтобы перечеркнуть его замыслы, его проект. Тайная схватка между ними приобретала все более непримиримый характер, занимала все больше места в душе, наполняла Вазиру равнодушием ко всему иному. Она бы и хотела радоваться пятерке дочери, но радость эта не трогала души, не доходила сегодня до сердца. Нет, нет, нельзя и дальше жить так: дома они одни, а на работе другие. Взрывное напряжение копилось в ней. Казалось, нервы, как струны, беспрерывно натягиваются. Однако ослабить их напряжение было уже не в воле Вазиры. Соавторство с Шерзодом, поддержка Садриева, на которого она имела определенное влияние, телеграмма в Москву — относило Вазиру все дальнее и дальнее от мужа, и течение событий, казалось, неостановимо, как неостановимо течение реки.

Она знала, что и Аброр уже не может отступить, — проект, подготовленный им вместе с ирригатором и инженером-метростроевцем, поддержали строители метрополитена, однако Садриев еще идет против них, защищая проект Вазиры (или ее, Вазиры?).

День, когда Вазира услышала о предстоящем обсуждении проекта «на самом верху», был днем наибольшей тревоги за себя и наибольшего отдаления ее от мужа.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Они вошли в зал заседаний, не глядя друг на друга. Словно чужие люди. Каждый — в группе своих соавторов.

В этом здании, полном света в коридорах и на мраморных лестницах, с сияющими паркетными полами и строгими ковровыми дорожками, в здании, где внимательные улыбающиеся милиционеры проверяли документы входящих, Аброр испытал прилив сил и желание постоять за свою идею; Вазиру же не отпускало гнетущее чувство душевной тревоги.

В красивом светлом зале, наполовину занятом рядами кресел, столом и кафедрой-трибуной, предстояло пройти обсуждению.

Проект бахрамовской группы был выполнен в цвете, проект группы Агзамова походил на произведение черно-белой графики. Павел Данилович — он прилетел из Москвы вчера, но уже успел на машине Шерзода объехать чуть ли не весь Ташкент, побывать на берегах Бозсу, предварительно ознакомиться с конкурирующими проектами — сейчас прямо-таки прилепился к этой черно-белой графике: видимо, намереваясь поддержать Вазиру и Шерзода, продолжал искать слабые места в проекте Аброра.

Первое слово было предоставлено начальнику Метростроя. Вазира сразу насторожилась: все знали, что метростроевец сторонник проекта Аброра, и вот он начинает обсуждение. Довольно сильное впечатление произвели экономические цифровые выкладки оратора: осуществление проекта агзамовской группы должно обойтись в два раза дешевле, чем проект группы бахрамовской.

С вниманием слушали и Садриева.

— Товарищи, что такое Бозсу? — начал он. — Это канал-река. Когда течет такая большая вода, под ней прокладывать метротоннель представляется делом необыкновенной трудности...

Садриев тоже не поспешился на расчеты, и его циф-

ры звучали тоже убедительно. В конце речи сказал, что управление пригласило из Москвы для консультации крупного специалиста Павла Данииловича Катинова, того самого товарища Катинова, который сталкивался с проблемами прокладки метрополитена под дном Москвы-реки и Яузы.

— Сталкивался и успешно разрешал эти проблемы! — с пафосом заключил Наби Садриевич.

Председатель обратился к Павлу Данииловичу, сидевшему в первом ряду:

— Пожалуйста, товарищ Катинов, слово вам!

Павел Даниилович быстро встал с места, но к трибуне не пошел.

— Уктаим Рахимович, разрешите один вопрос?

— Пожалуйста.

— Можно ли остановить Бозсу на месяц-два? Как посмотрит на такую возможность руководство республики?

Остановить? Вазира затаила дыхание, ожидая ответа.

— Если ато сделать зимой, при небольшой воде, то можно,— спокойно сказал Рахимов.— Многие наши большие каналы зимой почти бездействуют.

— Есть две гидроэлектростанции, работающие на воде Бозсу. Если они остановятся, город не останется без электричества? — Голос Павла Данииловича напрягся. Катинов нервно поправил слуховой аппарат в ожидании ответа.

— Если две маленькие ГЭС остановятся... объем энергии, вырабатываемый ими, пожалуй, столь незначителен, что их временный простой не должен отразиться сколько-нибудь серьезно на энергобалансе Ташкента. Но, конечно, тут слово за специалистами. Так, слушаем вас, товарищ Катинов.

Павел Даниилович стоял растерянный.

— Похоже, я еще не готов выступить. Разрешите попозже. Мне, конечно, неловко, но... Хотел бы послушать мнения других.

Вазира вздрогнула. Ее-то главная надежда была на Катинова. Неужели Катинов начинает отступать?

— Хорошо! — Уктаим Рахимович оглядел собравшихся.— Кто же следующий?

Еще четыре человека выступили, сравнивая оба проекта, и трое из них взяли сторону Аброра и Галиева.

Павел Даниилович, выйдя наконец к трибуне, начал неожиданно:

— Шерзод Исламович, Вазира Бадаловна, дорогие мои друзья.— Он посмотрел на Агзамову и Бахрамова виновато, словно извиняясь.— Я приехал, чтобы защищать вашу точку зрения. В Москве она была для меня весьма убедительной. Но это был взгляд издалека. Ради нашей дружбы я должен, я обязан сказать правду, как она мне открылась теперь... Берега Бозсу удивительно красивы. Будет хорошо, если вы сохраните эту естественную красоту!.. Когда в Москве строили первые линии метро, мы не располагали возможностями обезвоживания речного русла. Ради метро нельзя остановить и осушить Москву-реку на месяц или на два. По этой причине мы прокладывали тоннели на большой глубине, с большими предосторожностями, и это обходилось очень дорого. А в Ташкенте иная ситуация... Если есть возможность остановить Бозсу на зимнее время, сохранить естественные берега, то зачем прокладывать бетонное новое русло, в спешке выпрямлять, портить реку?.. У второго проекта тоже есть недостатки. Но в целом проект Агзамова лучше, рациональнее, на мой взгляд, товарищи.

Павел Даниилович говорил что-то еще, но Вазира уже не слушала его. Шум в голове, темные круги и полосы перед глазами. Она сидела будто оглушенная, собирая силы, чтобы понять, что происходит с ней.

Оцепенение немного отпустило ее в момент, когда Рахимов обратился к Шерзоду:

— Ну, товарищ Бахрамов, послушаем вас...

Шерзод вскочил с места. Быстрый, ловкий, находчивый... Вазира пришла в себя: уж этот ее соавтор, Шерзод Бахрамов, найдет что сказать, сумеет защитить их совместный труд.

— Уктаим Рахимович, прежде всего разрешите мне выразить вам огромную искреннюю, от сердца идущую благодарность за то, что вы нашли возможность уделить и вообще уделяете так много времени и внимания нашей архитектуре, нашей работе. Наш красавец Ташкент...— тут Шерзод вдруг сбился с тона, вспомнив, что коллеги обходились без «красавца Ташкента», а ему как-никак задан прямой вопрос.— Сегодняшнее обсуждение для всех нас большая школа... а для меня и горький урок. Лично я готовил проект по поручению главного управления, по плану главного управления,

не говоря уже о том, что проект был утвержден в главке... Но сегодняшнее обсуждение показало мне... вскрыло новые и, на мой взгляд, верные и перспективные возможности решения проблемы. Позвольте заверить вас, Укташ Рахимович, что из сегодняшней критики я... все мы сделаем нужные выводы.

И снова зал закружился перед глазами Вазиры. Это говорит Шерзод? Оправдывает себя, сваливает вину на управление? Но что значит — управление? Это она поддержала проект, а ее поддержал Наби Садриевич. Значит, Шерзод обвиняет ее?

Аброр сидел во втором ряду с краю. Он бросил реплику:

— Но ведь не управлению, а вам, Бахрамов, принадлежит идея бетонизации и выпрямления русла Бозсу. Я правильно говорю, Наби Садриевич?

— Правильно! — ответил Наби Садриевич, покраснев.— Мы еще не забыли, как Бахрамов вился вокруг управления нарядным мотыльком... добился-таки включения своего проекта в план, добился...

— Не с вашей ли все-таки помощью, товарищ Садриев? — спросил Рахимов.

Все притихли.

— Есть грех, Укташ Рахимович. Не проверил лично, поверил и Бахрамову... и... не только Бахрамову.

Подводил итоги обсуждения Рахимов:

— Надо видеть, во имя чего мы строим, во имя чего работают все наши управлении, все архитекторы, инженеры, все мы и каждый из нас. Забота о человеке — главное! Метро — для этого. Берега Бозсу — тоже для этого. Для отдыха, для радости. Объем строительства поистине огромен, есть множество проблем, и все они взаимосвязаны, поэтому необходим комплексный подход. Вы, товарищ Садриев, вместе с авторами первого проекта, подошли к проблеме односторонне, чисто технологически. Товарищи критиковали вас правильно...

Вазира не помнила, как вышла из зала. Словно в тяжелом дурманном сне видела она людей, торопливо покидавших зал после окончания обсуждения. Голова раскалывалась, что-то тяжелое давило на веки. В коридоре она почти столкнулась с Наби Садриевичем. Вазира хотела, очень хотела бы взять всю вину на себя, но вымолвить она смогла только невнятчицу:

— Наби... Садриевич... из-за меня... выслушали такое...

— Да, это вы меня подрубили под корень! — гневно, несдержанно зашептал ей Садриев.— Вы пробивали проект этого... Бахрамова! Вы скрыли от меня, что ваш муж готовил контрпроект!

«Неправда! — вскрикнула Вазира мысленно.— Неправда! Их проект уже был утвержден, когда Аброр... Ах, как кружится голова!»

— Вы старались для Бахрамова! И этот... специалист из Москвы... Не ожидал... Доверился вам и вот... опозорился!

...Она едва различала дорогу, по которой шла пошатываясь. Лестница, еще лестница... Людей вокруг нее нет. Избегают... В руках и ногах сил нет. Да что это с нею?

Напряжением воли Вазира выпрямилась, кивнула милиционеру у входа и, еле открыв дверь, шагнула на улицу.

Это что? «Жигули», Аброр?

— Садись, Вазира!

Это его голос. Его рука открывает дверцу.

Вазира отшатнулась. Он вышел, силой усадил ее в машину и повез домой. Скорее домой.

Вазира чувствовала себя все хуже. Идти по лестнице у нее не было сил. Упала грудью на перила. Аброр осторожно повел ее вверх.

Вазира начала задыхаться. Он поднял ее на руки, понес.

Хорошо, дети (заигрались, что ли?) оставили дверь незакрытой. Аброр ногой растворил ее, добрался до дивана.

Вазира громко вскрикнула. Слева в груди сдавило так больно, что трудно стало дышать. Она рывком дернула ворот кофточки.

— Воды!.. Воды! Умираю!..

Аброр побежал на кухню. Из соседней комнаты, оставив книжки и тетрадки, на крик матери выскочила Малика. Растрепанная, дочь стояла у дивана, не зная, что делать.

— Держи, Малика!

Чуть приподняв голову Вазире, они пробовали напоить ее. Прохладная вода принесла облегчение, маленькое и слабое. Звенящая боль в голове не проходила — словно из какого-то скрытого логова выползает чудовище и кусает, кусает. Было так больно, что Вазира заплакала.

— Ой! Умираю!.. Воды!

Аброр снова побежал на кухню. Он взял из настенной аптечки валерьянку, дрожащими руками накапал в пиалу с водой капель тридцать.

Малика крепко держала мать за руку, гладила ей грудь.

— Мама! Ма-ама! Ма-а-мочка!

Валерьянка не помогла.

Аброр выскочил в коридор к телефону. Набрал «ноль три» — занято, снова и снова набирал. И ругал себя:

— Будь прокляты все эти раздоры и споры!.. Алло!.. Алло!.. «Скорая»? — Прикрыл трубку ладонью. — Боюсь, не инфаркт ли это. Состояние очень тяжелое!

Аброр назвал фамилию, адрес.

С улицы, ведя за руль любимый свой «Орленок», вошел потный, разгоряченный Зафар. Услышав стоны матери из соседней комнаты, Зафар бросил велосипед, подбежал к ней. Вслед за сыном вошел и Аброр.

— Сейчас врач приедет, Вазира. Не полегчало?

От боли в груди Вазира корчилась и стонала. Ни Аброр, ни дети ничем ей, конечно, не могли помочь.

— Мамочка! Успокойся! Мамочка! — все повторяла Малика, едва сдерживая слезы, и гладила матери грудь, руки.

Аброр видел, как наполнились слезами глаза сына.

— Зафар, иди-ка со мной. Что это такое? Велосипед валяется, сейчас врачи придут, а он дорогу загородил...

...Врач вышла в коридор после того, как больная перестала стонать. Аброр и Зафар, каждый по-своему, тревожно смотрели на женщину в белом халате — она должна была вымыть руки.

— Перепугались, да? Ну и правильно перепугались. Такой приступ мог плохо кончиться.

Аброр подал ей чистое полотенце.

— Нелегко женщине и работать, и все по дому делать. На работе были какие-нибудь неприятности?

— Да... Я, знаете ли, испугался... Не инфаркт?..

— Нет. У вашей жены гипертонический криз. И острый сердечный невроз. Опасный приступ. Хорошо, что вы сразу вызвали нас. Могла случиться беда.

— Спасибо вам! А ей лучше, доктор?

Аброр стоял около двери с тревожным и виноватым видом. Женщина помедлила с ответом, начала издалека:

— Эти стрессы... их так много... Целыми днями мы на «скорой» ездим по городу. Тут невроз, там инсульт, там инфаркт. Так в горах бывает... Тихо-тихо, а вдруг крикнешь — и отзыается отовсюду, нарашивается, голос твой приобретает страшную силу... будто звуки помножили свою силу на силу тишины.

— Да, я тоже такое замечал.

— У стрессов... вот такая сила. Мы всего насмотрелись... Иногда думаешь: боже мой, ведь эти стрессы, как бои на фронте, уносят массу жизней! Инфаркты, инсульты, словно снайперы с оптическим прицелом, ждут удобного момента.

Аброр встревожился еще больше. Такие слова не суют в устах врача ничего хорошего.

— Доктор, а ей сейчас лучше? Скажите откровенно.

— Скажу... Мы сделали больной все нужные инъекции. Она должна уснуть. Хорошо, если будет спать до вечера. Не будите! На ночь дайте ей теплый сладкий чай, кислое молоко... можно куриный бульон. Потом пусть примет таблетки, которые я выписала. Я поставлю ее на контроль. А если она не сможет заснуть и ей станет хуже, сразу звоните нам. Сразу! Тогда придет реанимационная машина, увезет вашу жену в больницу.

Аброр побледнел.

«Победитель! — со злобой подумал он о себе.— Нет, пусть все победы пойдут к чертям, если расплачиваться за них надо такой ценой!»

Врач и сестра ушли. В гостиной, где лежала Вазира, было тихо. Аброр боялся почему-то зайти туда, сидел с Зафаром на кухне. Минут через двадцать к ним присоединилась Малика.

— Мама заснула! — прошептала она.

Бледная была сейчас Малика, похожа на заботливую мать, укладывающую спать тяжело больного ребенка.

Вазира к вечеру проснулась. Слабым голосом позвала Малику. В комнату, где она лежала, вслед за Маликой вошли Аброр с Зафаром. Втроем поставили у изголовья дивана журнальный столик, расстелили скатерку и поставили на столик разрешенные медициной сладкий чай, кислое молоко и бульон.

Вазира оставалась вялой, будто оглушенной. Руки и ноги — непослушными. Немота и безразличие.

Несколько раз глотнула поданный Аброром слад-

кий чай. Когда разлилось по телу тепло, возродилась и память: припомнилось обсуждение и особенно последние слова Наби Садриевича. Какое же все-таки она ничтожество! Самонадеянная, глупая женщина. Достойная презрения мужа. А он? Заботой отвечает на все.

— Ничтожество!.. Я ничтожество... Не стою ваших забот.

Аброр смахнул указательным пальцем крупные слезы жены с ее бледного, осунувшегося лица.

— Вы стали для меня дороже, чем прежде, Вазира. Между нами стояла невидимая стена. Сегодня она рухнула.

Вазира представила себе галантного Шерзода, хамелеона, ловкача Шерзода. Она громко зарыдала:

— Какая я дура! Самонадеянная дура! Мне стыдно! Боже мой, как мне стыдно...

Ресницы Зафара (ничего он не понимал, слава богу!) увлажнились, губы задрожали. Малика взяла брата за руку, они вышли из комнаты.

— Ладно, Вазира, поплачьте, быть может, полегчает, — сказал Аброр, сел рядом и обнял ее.

Вазира продолжала рыдать, сотрясаясь всем телом.

Аброр не выдержал, прикрикнул:

— Хватит! Возьмите себя в руки, Вазира! Дети боятся. Малика завтра должна экзамен сдавать. Подумайте и о себе. Приступ может повториться.

Последние слова подействовали. Постепенно Вазира успокоилась.

— Матери сообщите. Пусть Малике поможет. У девочки ведь экзамены.

То, что Вазира вспомнила о матери и Малике, несколько успокоило Аброра. Он подозвал Малику, попросил ее подежурить еще немного, а сам (с Зафаром) сел в машину и в уже густых вечерних сумерках отправился к теще.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

...Новая кнопка звонка — белая, квадратная — сразу привлекла внимание Аброра. Он нажал на нее; зазвено приятно — «бим-бом, бим-бом, бим-бом». «Ишь ты, Алибек, как вернулся из армии, решил все вокруг обновить!» — подумал Аброр с удовольствием.

Дверь открыла Зумрад Садыковна.

— Вай, Аброрджан!.. Заходите, заходите! Ой, какая радость, и Зафар к нам пожаловал!

Зумрад Садыковна поочередно обняла гостей, поцеловала каждого в лоб. Появился на своих двоих малыш, подошел вразвалочку к бабушке, вцепился в подол ее юбки.

— Ай да молодец, Тимурбек, начал ходить! — Аброр поднял малыша на руки.

Из комнаты слева в прихожую вышел Алибек. Глаза, брови, лоб годовалого сынишки были точь-в-точь отцовские.

Алибек поздоровался с Аброром, осторожно взял из его рук Тимурчика. Поставил на ноги, слегка шлепнул по мягкому месту:

— Иди-ка походи. Мы его не приучаем к рукам. А то избалуется.

— Правильно! Сам отец вырос баловнем, а сына не хочет баловать! — рассмеялся Аброр.

— В следующем поколении природа должна отдохнуть... и от гениальности, и от пороков поколения предыдущего.— Алибек произнес это с видимой серьезностью, почесывая густую бороду.

После демобилизации он бросил свое «непыльное» лаборантство, вернулся на завод сменным инженером. Сейчас дела у него шли неплохо. От предармейского прошлого осталась разве что эта борода, тщательно ухоженная, полукоильцом окаймляющая лицо (усы теперь Алибек сбивал).

Из кухни навстречу гостям вышла, вытирая руки о фартук, и Насиба. После родов она, как водится, пополнела и ростом, казалось, стала поменьше. Густой бас диктора телевидения доносился и в прихожую. В гостиной Аброру сразу бросился в глаза широкий экран цветного телевизора.

— О, цветной приобрели! И давно?

— На прошлой неделе,— ответил Алибек не без гордости.

— «Радуга»? Наверное, дорого?

— Около семисот. Купили в кредит.

— Отважные люди!

Аброр знал, что весной, когда Насибе покупалось трехсотрублевое модное пальто, Алибеку новые туфли и кримпленовый костюм, больше половины денег было взято в долг в кассе взаимопомощи. И вот, гляди,

купили дорогой телевизор, еще не рассчитавшись с прежними долгами. Вещи теперь многих приманивают к себе, причем дорогие вещи, и на что только иные не идут, чтобы заиметь их.

Зумрад Садыковна разгадала, о чем сейчас думал Аброр.

— Современная молодежь очень уж охоча до удобства да одежды, дорогой Аброр... Век, говорят, такой: что дешево — то не мило.

— Ну и что? Надо хорошо жить! — Алибек с ходу ринулся в контратаку.— На заводе я немало получаю за свой труд. Только за труд!.. — подчеркнул он нужное слово.— И Насиба берет в школе определенное количество часов. Будем стараться побольше зарабатывать. С долгами рассчитаемся. Это ясно. Потом будем собирать деньги на машину. Через несколько лет и я куплю «Жигули».

— А книги? — спросил Аброр.

— Я вот предлагаю собирать библиотеку, да Алибек не соглашается,— ввернула Насиба.

— Сначала машину, книги начнем собирать потом. Сделаем красивые полки... Застекленные книжные шкафы купим.

Да, Алибека все еще манит внешний блеск жизни. Конечно, человек меняется медленно.

Аброр повернулся к Зумрад Садыковне, осведомился о зрении.

— Правый глаз почти совсем перестал видеть.

— Бельмо? А оперированный как?

— Он-то меня и спасает, Аброрджан. Хорошо, что прошлой осенью вы повезли меня на операцию! Что бы я сейчас делала? Подумаю обо всем этом и прямо не знаю, как благодарить вас и Вазиру. И долгой жизни желаю профессору Камилову! Операцию провел очень удачно. Вон видите — очки надеваю и одним глазом газету читаю. И сама шью, коли что необходимо.

Из другой комнаты было слышно, несмотря на включенный телевизор, как Зафар с Тимурчиком занимались автогонками: игрушечные машины ревели как настоящие.

— Почему сестра не пришла, почча? — спросил Алибек.

— Заболела Вазира... Лежит в постели.

— Поднялось давление? — с тревогой спросила Зумрад Садыковна.

— Да. Врач уколы назначил, строгий постельный режим. А тут еще экзамены у Малики. Трудные... Скорее физика.

Зумрад Садыковна когда-то преподавала физику в институте.

— Я поеду к вам, помогу Малике!

И пошла переодеваться.

Насиба внесла блюдо с ток-дулмой, тарелки. Целый день Аброр ничего не брал в рот, теперь с удовольствием поел, попил чаю.

— Хорошо, что у вас сейчас благополучие и мир.— Аброр был искренне доволен.— Я душой здесь отдыхаю. А у нас... И болезнь Вазиры, и забот полон рот! Свадьба Шакира на носу. Поступление Малики в институт. Год назад мы могли поддержать других, а теперь сами ждем поддержки.

— А чем помочь? Вы только скажите,— вскинулась Насиба.

Алибек нахмурил брови:

— Свадьба-то, наверное, по-старому? Нет, почта, у меня нет никакого желания быть там на побегушках, подносить да убирать посуду...

— Вот так раз! При чем тут посуда, мулла Алибек?.. На свадьбе почет нужен жениху... Приходите, просим, послезавтра в парадной одежде, поедете сопровождать новобрачных в загс. Идет?

— Послезавтра суббота? Можно. Насиба отпросится в школе. Вместе и поедем.

Аброр посадил Зумрад Садыковну в машину и увез ее к себе.

На следующий день рано утром, еще семи часов не было, Аброра, проспавшего полночи на балконной раскладушке, разбудил резкий звонок. Зумрад Садыковна спала в гостиной, ближе к двери, она ее и открыла.

Аброру послышался голос брата. Наспех оделся, сполоснул водой лицо и руки; вытираясь на ходу, вышел в гостиную, где его ждал Шакир.

— Что так рано?

— Что вы там натворили? — Шакир даже «здравствуй» не сказал.— Вся родня Нигоры отвернулась от нас. Вернули подарки. И свадьбу хотят отменить.

— Ну-у-у!.. Это уже работа Шерзода Бахрамова.

Я тебя предупреждал, брат... А ты, видно, Нигоре не все объяснил...

— Исчезла Нигора, понимаете! — в отчаянии воскликнул Шакир. — Я ее ждал вчера вечером около фонтана целых два часа. Как договорились. А она не пришла. Дома у них телефона нет... А завтра в засаду...

— И пригласительные все розданы. Вот шуму-то будет на весь город, если Бахрамову удастся отменить свадьбу.

— Я еще боюсь и за отца, Аброр-ака! Он так переживает. Всю ночь не спал. Охает, вздыхает без конца. Такой позор на старости лет он может не выдержать.

— Ну ладно, надо действовать! Надо найти Нигору и обо всем договориться, и только с ней. Она же не отвернулась от тебя?

— А кто ее знает!.. Вчера и на работе не была. Может, она заболела? Или ее заперли? Их дом-то рядом. Может быть, Вазира-апа сходит к ним домой?

— Вазира больна. У нее строгий постельный режим. Малика вроде тоже знакома с Нигорой. Ты напиши записку, она отнесет.

...Уже в восемь утра Малика пошла в соседний дом, но тут же вернулась. Ее не пустили к Нигоре. Мать девушки встретила Малику надменно-неприязненно, записку Шакира отказалась передать дочери. Сказала только: «Пусть ваши найдут себе другую невестку».

— Ах, так! — мстительно сжал кулаки Аброр. — По обычаям я не должен приходить к ним в дом до свадьбы. Но раз свадьбу хотят сорвать, я плону на обычай и пойду сейчас к ним сам!

Он быстро побрился, надел новые светлые брюки, самую красивую свою рубашку. Подходя к кооперативному дому, увидел в его тени белые «Жигули» с блестящими металлическими полосками по бокам. Машина Шерзода. Значит, он уже здесь, у племянницы. Аброр приостановился было, чуть не повернул домой — очень уж не хотелось видеть Бахрамова после обсуждения. Но если уйти — значит, оставить Нигору в его распоряжении... Бахрамов может наговорить ей такое... что...

Нет! Надо идти сейчас и лицом к лицу...

Аброр успокаивал себя, намеренно не спеша поднялся на третий этаж. На звонок вышел отец девушки — полусонный вроде, еще не бритый.

Аброр решительно вошел в прихожую. Протянул руку:

— Через порог неудобно! Здравствуйте, Мухтар-ака!

Мухтар смущенно подал руку Аброру, а сам оглянулся назад, где в глубине коридора появились жена и Шерзод; они напряженно и неприязненно смотрели на Аброра.

— Я приходил сюда сватом и потому позволил себе явиться снова, чтобы разобраться в возникших осложнениях.

Аброр говорил громко, уверенно, не запинаясь. Он ожидал, что откроется еще какая-нибудь дверь в коридор и покажется сама Нигора. Все свои слова он целил в нее. Но двери были плотно закрыты.

— Когда вы приходили сватами, — начала мать девушки, с нарочитым презрением кривя губы, — мы и встречали вас с почетом, чапаны надевали. Думали тогда, что вы достойные люди!..

— А мы оказались недостойными? Чем же? — опять-таки громко спросил Аброр.

— Мы от вас, от свата и будущего родственника, себе добра ждали. А вы натворили... столько зла причинили моему брату! Я вот только сегодня узнала, как вы хотели лишить его премии, чтобы самому стать лауреатом! А вчера при больших начальниках вы нападали на моего брата, чтобы лишить его высокого поста. Вы просто завидуете Шерзоду! Если вы такой завистник, человек с черным нутром, то поищите себе других родственников!

— Уважаемая... соседка! Не спешите навешивать на меня ярлыки! Кто завистник с черным нутром — мы выясним. Ваш любимый брат Шерзод Бахрамов — мой однокашник, я знаю его со студенческих лет. Как правило, завидуют талантливым людям. А черная зависть свойственна бездарностям. Верно? Если я бездарный, а Шерзод — яркий талант, то давайте сейчас вот при вас и проверим; дайте нам два листка чистой бумаги, два карандаша, мы сядем рядом... Что хотите, чтоб мы сделали: рисунок двора, чертеж, ваш портрет? Посоревнуемся при вас: у кого выйдет лучше! Ну давайте?

Шерзод подал голос:

— Что за детские забавы? Время таких смешных конкурсов для нас с тобой прошло, дорогой Аброр.

— Ты уходишь в кусты, дорогой Шерзод. Наши

с тобой конкурсы не кончились. Вчерашний ты проиграл, потому что у тебя не творческое, а стереотипное мышление. Зачем ты вообще пошел в архитектуру? Ты способен мыслить только стандартными кубиками да бетонными плитами. А вот когда надо нарисовать или воспроизвести что-то индивидуальное, неповторимое — тебя не хватает. Я видел десятки твоих рисунков, чертежей. Они все однотипные, ты это знаешь сам. И потому замахиваешься на все живое, губишь его.

Аброр все это выпалил залпом. Но и расчетливо громко и остро: за стеклянной дверью, что вела в одну из боковых комнат, он заметил легкое движение. Ни-гора там. Ну так пусть она слышит все.

— Какая наглость! — взвизгнула сестра Шерзода, а сам он ядовито-иронично спросил:

— Ты, Агзамов, стало быть, яркий талант, а я бездарь, так?

— Не о себе говорю. А ты, Шерзод, весьма нужный человек, нужный винт, как некогда считалось... Произносили раньше речи о маленьком человеке, необходимом человеке-винтике. Ты, конечно, большой человек,— стало быть, большой винт. Чем винты хороши? Да тем, что подходят под стандарты, их можно легко заменять, удобно вынуть из одного паза и вставить другой с той же нарезкой. Не потому ли ты и кочуешь с места на место? С одного солидного поста на другой? Но ты еще и честолюбив, Шерзод, ты используешь административный пост, чтобы выдвинуться и по творческой линии; творческие лавры, по праву принадлежащие талантам,— вот что не дает тебе покоя. Тогда ты отодвинул молодого талантливого архитектора Хаттама Юлдашева, хотел занять в списке его место. Так или нет? Скажи своим родным правду. После того как я выступил в защиту Юлдашева, он получил премию или нет? Молчишь? А он получил-таки премию! Талант был достойно вознагражден... Вот и рассудите, уважаемые соседи и будущие родственники,— повернулся Аброр к смущенному вконец Мухтару,— кто из нас завистник с черным нутром?

Сестра Шерзода, хоть и растеряла значительную часть прежнего пыла, все-таки вновь вступила в бой:

— Завистник тот, кто вчера пытался сбросить моего брата с высоты. Не для того ли, чтобы самому взгромоздиться в это кресло?

— Да пусть он сидит в нем еще сто лет. А вчера...

своим выступлением я спасал добрею имя своей жены, на которую Шерзод пытался свалить вину за свой никчемный проект.

Аброр коротко рассказал о том, что вчера случилось с Вазирой на обсуждении и после обсуждения, не скрыв и того, что она сейчас лежит больная: будущие родственники должны и это знать.

Тут вдруг приоткрылась дверь с шелковой занавеской, на ручке двери показалась изящная девичья рука. Нигора не стала выходить в коридор, постеснялась показаться Аброру в домашнем халатике и с заплаканным лицом. Но молчать она больше не могла:

— Извините нас, Аброр-ака!.. Столько неприятностей и мучений мы вам всем причинили... Передайте, пожалуйста, Шакиру... Завтра я пойду в загс, чего бы это ни стоило, пойду!..

— Пойдешь, если мы тебе разрешим,— жестко осадила мать.

— Мамочка, вы тоже все слышали... Зачем вы вернули свадебные подарки?

— А почему они... почему такой ширпотреб покупают? Мы для жениха из заграничной парчи чапаншили. Костюм японский купили... А они какого-то местного производства кофты-мофты послали... Не будет наша дочь одеваться в тряпье!

— Ничего не надо, мама! Зачем вы все в торговлю превращаете?! Мне стыдно! Стыдно! — Нигора громко заплакала за дверью, но продолжала говорить сквозь рыдания: — Если вы... не прекратите... уйду из этого дома! Убегу! Выброшусь с балкона... Мне стыдно!

Шерзод сделал знак сестре, и та исчезла в комнате за стеклянной дверью. Аброр вопросительно посмотрел на Мухтара.

— Аброр Агзамович... вправду... вышло нехорошо.— Мухтар развел руками.— Дело не в подарках, конечно, но... надо было все недоразумения выяснить... Хорошо, что вы зашли... Пройдемте в гостиную... а то в коридоре все стоим... Шерзод Исламович, пригласите и вы нашего гостя в комнату.

— В другой раз, Мухтар-ака, спасибо. Сейчас я спешу на работу.

— Ну...— Шерзод замялся, прислушался к тому, как затихал плач Нигоры.— Раз молодые крепко держатся друг за друга... мы... вообще-то говоря... хотим того или нет, но оказываемся в одной упряжке.

— Вы верно сказали, Шерзод Исламович! — Мухтар сразу ухватился за эти слова.— Свадьбу сыграть надо.

— Но достойно! — Шерзод бросил на Аброра неприязненный взгляд.— Ты же любишь разглагольствовать о верности традициям, Аброр. Щедрость и широта — вот наши традиции.

— Душевную щедрость и нравственную чистоту — вот что я прежде всего ценю в традициях! В этом и будем проверять наши взаимоотношения, верно, Мухтар-ака?

Мухтар согласно кивнул головой.

Приостановленная было «свадебная машина» снова заработала. В субботу молодые должны были отправиться в загс. Вазира хоть и встала с постели, но ехать с молодыми не могла — врачи не разрешили выходить на улицу. Шакир сидел (томясь от сорокаградусной жары!) в своем черном парадном костюме. В час дня трое его друзей прикатили на новеньком «рафике». К ним присоединился Алибек с Насибой. Аброр ехал во главе на своих вишневых «Жигулях».

Договорились, что в загс поедут по пять человек со стороны жениха и столько же со стороны невесты. Но у подъезда, откуда должна была выйти Нигора, собралось гораздо больше молодых людей. Они окружили наряженную в белое невесту.

Шествием невесты руководил, конечно, Шерзод. Он небрежно кивнул в ответ на приветствие Аброра, строго заметил Шакиру:

— Транспортом жених обязан обеспечивать всех гостей. Истина известная. Это ведь свадьба, а не просто собрание...

Отец Нигоры до блеска надраил свою и без того новенькую белую «Волгу». По распоряжению Шерзода эту машину обтянули лентой, впереди, над бампером, взгромоздили модный символ — пластмассовую куклу.

Мухтар-ака отдал Шерзоду ключ от своей «Волги» — она предназначалась жениху с невестой. Шерзод, прежде чем сесть за руль, произнес перед кружком шоферов маленькую инструктивную речь:

— Будете следовать за мной. Как только тронемся с места, сразу же пускайте в ход клаксон. До тех пор, пока не выедем на трассу, понятно? Пусть все во

дворе и в домах знают, что происходит большое событие!

Шоферы засмеялись:

— Понятно!

— Погудим!

В машину к Аброру сели Алибек с Насибой. «Жигули» следовали за «Волгой» через две машины. Аброр не сигналил, конечно. Ворчал:

— Чего расшумелись? Стыдно...

— Это, видно, какой-то новый обычай, — предположила Насиба. — Раньше так сигналили, когда умирал какой-нибудь таксист и товарищи провожали его на кладбище.

— Для Бахрамова и в этой церемонии главное показуха, — заметил Аброр.

А сколько пришлось вытерпеть Аброру, пока Шакир с Нигорой регистрировались в загсе! Фотограф по указке Шерзода то и дело останавливал жениха и невесту, множество раз щелкал аппаратом, едва ли руку не протягивал за деньгами после каждого кадра. Стороне жениха, то бишь Аброру, знай только расплачивайся. Затем новобрачные и гости зашли в уютный зал кафе при Доме бракосочетаний. Людей там было немного, большинство столов стояли свободные. По просьбе Аброра официантка соединила четыре стола вместе. Жениха и невесту посадили на почетное место. Насиба взяла из рук Нигоры роскошный букет алых роз и поставила его в вазу посередине стола. В глубине зала сверкал стеклом и никелем буфет, откуда принесли несколько бутылок шампанского, минеральной воды. На столе появились бутерброды, пирожные, фрукты.

Уверенный в том, что всем еще предстоит большой пир в ресторане, Шерзод сказал Аброру:

— Хватит, хватит, здесь мы посидим всего несколько минут.

— Как хотите! — Аброр протянул официантке деньги, отправил ее к шашлычнику на улицу, где вкусно дымил мангал.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Аброр вернулся домой в веселом настроении.

Вазира разговаривала по телефону:

— Павел Данилович, одну минуточку... Вот он приехал... Я ему передаю трубку.— Закрыв микро-

фон ладонью, шепнула Аброру: — Наш московский гость... Я его приглашала... Обещала познакомить с вами...

И он, Аброр, хотел бы поближе узнать человека, который столь неожиданно поддержал его на обсуждении, да еще и против себя, против своих первоначальных намерений не побоялся пойти.

— Павел Даниилович, как хорошо, что вы нашлись! Я раза три звонил вам в гостиницу! — закричал в трубку Аброр.

С того конца провода послышался сильный гудящий голос:

— Да я мало бываю в гостинице. Друзья-метростроевцы то на консультацию, то на прогулку зовут... скучать в номере некогда.

— А сегодня вы свободны? Мы с Вазирой очень хотели бы видеть вас у себя.

— Я бы с удовольствием... Но, знаю, Вазира Бадаловна прихворнула.— Катинов заговорщики понизил голос.— Мы, мужчины, толстокожи, да-да... я как узнал подробности, почувствовал себя неловко. Недогадливый пень, ей-богу. Приехал защищать, а выходит — страшно подвел женщину да еще не сразу это и понял.

— Совсем наоборот, Павел Даниилович, вы сделали доброе дело не только для меня, но и для Вазиры. Если вы приедете к нам, она сама вам это же скажет.

— Ну, пусть сперва Вазира Бадаловна окрепнет хоть малость. Впрочем... я собираюсь уезжать послезавтра, мог бы завтра с утра нанести вам, так сказать, кратковременный визит.

Аброр прикинул: свадебные хлопоты не один день занимают, завтра — самая кульминация. А что, если...

— Павел Даниилович, завтра мы женим моего младшего брата. Вот и приглашаем вас не просто домой, а на свадьбу. Согласны?

— А я не буду вас отвлекать от забот? Не помешаю?

— Я думаю, ваше участие, наоборот... поднимет тонус.

— Ну, вы настоящий обольститель, Аброр Агзамович: мне очень хочется увидеть узбекскую свадьбу, о которой я столько наслышан.

Аброр обещал заехать за Павлом Данииловичем в восемь.

Кооперативный дом оставил от прежнего большого двора лишь лоскутки свободной площади, но аксакалы изловчились и выкроили площадку, чтобы можно было проводить по обычаям свадьбы и другие многолюдные торжества. Старый тандыр для выпечки лепешек был перенесен в какой-то закуток общего двора. Знаменный пекарь, он же водитель «поливалки», сегодня ночью приготовил тесто, рано утром развел огонь в тандыре, и — вот вам более двухсот лепешек, вдыхайте их аромат, радуйтесь, люди добрые!

С вечера появились на площадке табуретки, длинные столы — путешественники со свадьбы на свадьбу, скамейки. Установили все это хозяйство из расчета на двести человек... И закипела работа на общем дворе! Парни всей махалли резали морковь для плова, в чугунном котле жарили мясо, тоже для плова. На столах уже утром расстелили льняные скатерти, появились фрукты, горячие лепешки. Прямо на земле стоял, пуская пар, сорокалитровый самовар, купленный на общие деньги. Сорок фарфоровых чайников и сотни пиал готовы были дать людям спасительный напиток.

Еще до восхода солнца человек сорок аксакалов пришли первыми отведать плов. По одну сторону — отец невесты и старший дядя, по другую — Агзам-ата и его старший сын Аброр, почтительно приложив к груди руки, встречали гостей-аксакалов.

Потом Аброр помчался в гостиницу за Павлом Данииловичем.

Во дворе играла музыка, выделялся высокий протяжный звук сурная, нервно отбивала ритм нагара — грушевидный барабан... Все это было ново и интересно для Павла Данииловича. Сперва поливали ему воду на руки из красивого медного кувшина, дали чистое полотенце, и он тщательно вытер их. Потом посадили его на одно из почетных мест, перед большими атласными и бархатными коврами — сюзане, на которых красовались удивительные узоры, вышитые разноцветным шелком.

Аброр протянул Павлу Данииловичу пиалу:

— В жару хорошо пить зеленый чай, Павел Даниилович. И фрукты берите... У нас сегодня традиционный плов. Подчас мы жалуемся — зачем с утра есть жирный плов? Но этот обычай придуман не интеллигентами, сидящими за письменными столами. Чтобы целый день махать тяжелым кетменем, нужно было

много физических сил. И лучше было поднабрать их с утра.

— Да и нам врачи советуют самые калорийные блюда есть с утра.

— Тогда вот, пожалуйста, Павел Данилович... Тут сверху плова кружочки вроде колбасы. Это казы.

— Из конины, знаю, знаю... Я пробовал казы в Москве в ресторане «Узбекистан».

Аброр начал есть плов с блюда, которое было поставлено между ним и Павлом Даниловичем.

— Из одного блюда — лягана, по-нашему, — плов едят обычно двое. Но, может быть, вам удобней с отдельной тарелки?

— Нет-нет, как положено, так и будем есть. И хорошо, что без выпивки, Аброр Агзамович. А то с утра в такую жару...

— Да, только плов, фрукты и чай.

Павел Данилович обратил внимание, что те кто приходил на утренний плов, не засиживались более двадцати минут: исполнили долг, отдали дань уважения, а потом вставали, благодарили и уходили по своим делам.

На небе уже с утра ослепительно сияло солнце, день обещал жару до тридцати пяти градусов в тени! Но воздух был сухой — дышалось легко. Павел Данилович чувствовал себя уверенно и весело. И во дворе, и потом в квартире Аброра, где гости и мужа уже ожидала Вазира.

Стол был накрыт. Павел Данилович обратил внимание на то, как скромно одета Вазира и как трогательно смущенно она держится, не думая о том, что и это смущение ей очень идет, она кажется совсем юной.

Аброр открыл шампанское, разлил его по бокалам.

— Павел Данилович, вы сейчас находитесь, как говорится, в восточной семье. Семейная жизнь здесь, на Востоке, для посторонних глаз подобна невидимой стороне луны. Но так случилось, что вы своим приездом и своим выступлением там, на... дискуссии, невольно оказали воздействие на невидимую сторону...

Аброр увидел, как опускает глаза Вазира, как зарделось ее лицо. Вазира, перехватив нить разговора, продолжала:

— Давайте подыметем бокал за нашего гостя. Сами того не ведая, Павел Данилович, вы помирили меня

с мужем... Его победу сейчас я чувствую, как свою. Так вот, мой гост... Чтобы этого больше никогда не было и чтоб каждый из нас поступал всегда так же принципиально, благородно, как Павел Даниилович. За нашего гостя!

Павел Даниилович поднял бокал с приятно охлажденным шампанским. Что греха таить: он любил добрые напитки, придающие человеку веселое, приподнятое настроение. Он любил красоту жизни, природы, дружеского застолья. А тут на столе переливались то мягкими, то пылающими красками персики, золотистый инжир, алые ломти арбуза, кисти матово-черного винограда, и рядом сидели — Павел Даниилович чувствовал это — по-настоящему искренние люди.

— У вас какое-то сказочное изобилие, Вазира Бадаловна! Скажу вам откровенно: готовился услышать от вас упреки... ну, пусть скрытые, пусть намеком. А вы такое мне сказали, что уж и не знаю... Праздник в душе, и все тут!.. Сказка? Нет, я вижу, добро и красота вполне и в жизни совместимы.

Прерывая Катинова, загремел звонок в коридоре. Слышно было: Малика вышла открывать дверь, ее приглашение войти перебил глуховатый голос Агзама. В гостионе появился Зафар и по-узбекски сказал Аброру тихо, что дедушка просит на минутку выйти к нему.

Аброр извинился перед гостем, пошел к отцу. Агзам-ата сидел на кухне, сгорбленный, никак не мог отдохнуть после того, как поднялся к ним на третий этаж.

Ах эти свадебные хлопоты! Уже несколько дней Агзам-ата почти не спит. Вчера у себя на участке они задали утренний плов для двухсот человек. Вчера же Агзам-ата ездил на загородный базар — за барабанами для свадебного пира. Сегодня тоже с пяти утра на ногах: у дома невесты встречал и провожал тех, кто приходил на утренний плов. Часам к одиннадцати думали завершить все это дело, и Агзам-ата рассчитывал, что с его плеч упадет груз забот, появится возможность вздохнуть с облегчением. Да тут на своих белых «Жигулях» прибыл Шерзод Бахрамов. Хмуро посмотрел на отца Нигоры, что встретил шурина тоже без особого восторга. Но распорядитель свадьбы есть лицо важное.

— В багажнике у меня усилитель с микрофонами, выгрузите их.

Выгрузили из машины аппаратуру, упакованную в картонные коробки. Шерзод между тем взялся за Агзама:

— Ата, почему вы... позорите нас?

— Э-э... как так... что мы сделали плохого?

— После загса все уважаемые люди устраивают обед-банкет в ресторане. А ваш сын Аброр поскупился!

— Не говорите так! В нашем роду нет скупых. Вот сегодня... большого барана, мешок риса... и другие продукты... всего на пятьсот рублей привезли сюда. А помните, вы просили денег для подарков матери, и мы дали эти четыреста рублей!

— А наряды невесты? Ваши кофты и пальто никаку не годятся! Мы идем вам во всем навстречу, а вы... Вон ваша жена пожелала, чтоб на головном уборе жениха красовались совиные перья,— так наши измучились, пока их отыскали, все улочки Старого города обегали, но нашли наконец, купили — по пятнадцать рублей за пару перьев!

— Будь она неладна, моя старая... вполне могли обойтись без этой совы...

— Нет, не могли. И мы пошли навстречу... А вы обещали, что пригласите знаменитых певцов. Что же оказывается? Мы узнали, ваш сын пригласил ребят из самодеятельного кружка! Это просто издевательство! Чем хуже других девушек моя племянница?

— Тот знаменитый певец, который обещал к нам прийти, заболел. Что нам оставалось делать?

— Он разве единственный, других знаменитых певцов нет, что ли? Тот, кто не скупится, находит... Или вам помочь деньгами, ата?

Агзам побледнел.

— Э-э... Бахрамов, сколько хотите возьмите денег с нас, а оскорблять не надо! Пригласите того певца, которого вы... ждете!

— Если у вас еще есть деньги, отдайте их вашему сыну! Пусть найдет певца сам.

Агзам-ата уже истратил все свои, вчера занял у младшего зятя триста рублей. Подумав о том, что возьмет в долг еще и у старшего зятя, бросил:

— Хорошо! Мы найдем!

— Вечером, когда приедете за невестой,— продолжил Агзам.

жал приказывать Шерзод,— с вами должны прибыть карнайчи и сурнайчи — в барабаны чтоб били — тоже двое. Иначе не примем жениха! Запомните, ата!

Агзам-ата наконец рассердился. Встал с места, давая понять, что больше говорить не желает.

— Э, сын Ислама, внук Бахрама! Говоришь, словно торгуешь на скотном базаре! Ради своей невестки мы сделаем все, что надо. Агзамовы не из тех, что дрожат над рублями и тряпками!

Агзам-ата рассказывал обо всем этом Аброру с нетерпением и волнением.

— Да плюньте вы на этого Бахрамова! — всхлипнул Аброр.— Все будет как надо! Все идет хорошо! Пойдемте выпейте с нами чаю.

— Нет, дай мне здесь, на кухне, пиалу холодной воды, да побегу я к старшему зятю.

— Лучше выпейте чаю. Посидите с нами, отдохните. Гость очень хороший человек. Он же слышал вас и видел. Его не надо стесняться.

Аброр взял отца под локоть, привел в гостиную.

— Вот, Павел Данилович, вы говорили о празднике... о сказке. А мой отец возвращает нас в реальный мир.

И пока Агзам-ата пил зеленый чай, Аброр пересказал гостю, что происходит.

— У нас свадьба... много хлопот, добрый гость,— подтвердил Агзам-ата. Он хорошо все понимал, но говорил по-русски не без труда.— Надо — дом свой заложи, но что просит семья невесты — сделай... Иначе не джигит!.. И карнай-сурнай нужно, артист знаменитый нужно, найдем!

— Но это предрассудок, отец! — возразил Аброр.— Зачем развращать артистов легкими большими деньгами? Тысячи рублей за вечер выбросить! Кто это может? Спекулянты, вообще те, кто с жиру бесится! Пригласим музыкантов. А певцов знаменитых не надо, отец!..

— Нет, Аброр, я слово дал! Если ты не разыщешь, я сам пойду искать!..

— Хорошо, отец, я постараюсь. Вы успокойтесь, отдохните, посидите вот с нашим гостем.

Агзам-ата выпил еще чаю и тяжело поднялся.

— Мне надо сейчас к сурнайчи, сынок. Не один, оказывается,— пара сурнаев сегодня вечером должна играть.

Еще раз Агзам-ата пригласил Павла Данииловича на вечерний той. И ушел неверным шагом, усталый, измученный.

Павел Даниилович сказал Аброру:

— Сказка сказкой, а видно, везде есть корыстолюбцы. Любую прекрасную традицию можно извратить...

— Бахрамов, кажется, не случайно выбрал моего отца своей мишенью. Я теперь боюсь за старика. Ведь Бахрамов только внешне кажется мелким и неопасным. А по сути он тихо подкрадывающийся охотник. Он сумел найти беззащитное звено в нашей семейной цепи и играет на предрасудках.

— Ну теперь, Аброр Агзамович, поедете искать знаменитых артистов-певцов? — спросил Павел Даниилович.

— Не поеду! Не нужен нам этот тысячерублевый предрассудок! Успокоил отца, и ладно. Нехорошо — понимаю. Но уступить Бахрамову — еще хуже! И так уж сколько других излишеств в этой свадьбе вынужден брать я на себя из-за бахрамовского распорядительства!

Узнав, что невеста Шакира приходится племянницей Бахрамову, Павел Даниилович вдруг встрепенулся:

— О, тогда я должен рассказать вам один эпизод... Прилетаю я из Москвы, и тотчас Шерзод Исламович повез меня к себе домой. Прямо из аэропорта. Говорят, тетушка из кишлака привезет свежий кумыс. Когда мы приехали к ним, дверь в квартиру оказалась закрытой. Ключа нет. Оказывается, десятилетняя дочь Бахрамова его потеряла. Старая женщина с цветным мешком сидит на ступеньках лестницы. И девочка сидит. И тетя и девочка друг друга корят. Бахрамов достает из кармана ключ, хочет открыть замок. А ключ не лезет в отверстие. Оказывается, девочка, потеряв ключ, попыталась открыть замок гвоздем. А гвоздь сломался, и часть его осталась в замке... Отец с дочкой разговаривают по-русски, я все понимаю. А старая тетя из кишлака говорит только по-узбекски, жестикулирует, что-то бурно объясняет Шерзоду Исламовичу. Девочка обвиняет ее: это она, мол, заставляла открывать замок гвоздем. А та отнекивается. Потом Бахрамов мне объяснил. Произошло, мол, между ними недоразумение.

Девочка не знает по-узбекски, а тетя не знает по-русски. Они и не поняли друг друга... Ну, в общем-то, Шерзод Исламович нашел выход: залез через соседний балкон к себе в кухню, при этом рисковал упасть с третьего этажа на бетонку внизу. Запертую стеклянную дверь кухни кое-как тоже преодолел, замок открыл изнутри. Вот с такими приключениями мы попали к нему домой. Но я не о них рассказываю. О другом. Ну, сели, попили кумыс — он оказался на редкость вкусным, от него шел удивительный запах трав. А девочка и тетя все дуются и дуются друг на друга. Я знал, что жена Бахрамова тоже узбечка, ну так спрашиваю у него, почему же это дочка, живя в Ташкенте, не знает языка родителей? Тут Шерзод Исламович отвечает: «Мы дома разговариваем только по-русски. Так привыкли». Говорит это Бахрамов и смотрит на меня так, будто я должен прийти в восторг от его слов. Не знаю, за кого он меня принимал. Русскому человеку приятно видеть, что люди другой национальности наряду с родным языком владеют и русским: говорят, читают, тянутся к нашей культуре. Вот у вас в семье слышу и узбекскую речь, и русскую. Вы легко, естественно переходите с одной на другую. Я даже удивляюсь этой легкости.

— Да мы и сами не замечаем, как это происходит, — сказал Аброр. — Верней, не задумываемся... Оба языка для нас... ну как две руки.

— Язык своего народа — это вроде ключа от собственного дома, — улыбаясь, продолжал Павел Даниилович. — Потеряешь его — и придется лезть через балкон, как Бахрамов... И смешно было, и в то же время я чувствовал себя тогда с ним неловко. Уж очень листец большой. Я это сразу понял. И не без корысти, конечно. Я был нужен Шерзоду Исламовичу как сторонник его проекта, так вроде бы считалось. Ну, а после обсуждения он меня уже не узнает.

— Да, Павел Даниилович, мы еще не представляли себе, до какой степени корыстолюбие и эгоизм способны осквернить святые наши понятия. Использовать их то как ширму, то как щит, то как палку, чтобы ударить неугодных людей, а порой и обвинить в чем-либо, например, в национальной ограниченности.

— Я про вас, Аброр Агзамович, многое успел услы-

шать хорошего. Мне крепко запомнился утренний наш разговор в машине,— задумчиво сказал Павел Даниилович.— Ну, об антисейсмических поясах ташкентских домов... когда вы сравнили их с прочным, как алмаз, нравственным «держателем» каждой настоящей семьи.

Вазира заметила:

— Да, это его любимое сравнение.

— Вот и мне оно понравилось, Вазира Бадаловна. Семья... если взять ее пошире... все народы нашей страны живут в единой семье, не так ли?.. Вчера вот гуляю я по Ташкенту, по улице Ленина, ну, фактически по бульвару — целому парку в центре города. Там я увидел чорбог. «Четыре сада» буквально, да? Вы знаете, конечно, узбекский чорбог в классическом стиле немного по-другому делался, но здесь взята основная идея. Четыре разновидности сада как четыре стороны света — восток, запад, юг, север. На востоке — японский сад. Я сразу узнал его характерные приметы по каменным завалам, вроде беспорядочным, и струящейся воде. На западе — французский. Он тоже вполне узнаваемо сделан. В северной стороне — русский пейзаж с белой березой. А рядом — узбекский сад с пирамидальными тополями и навесом из виноградных лоз. Чорбог — интересная задумка! Так вот, весь Ташкент — это сад, скрепленный алмазно прочным поясом братства и дружбы... Я хочу выпить, друзья, за Ташкент!

Аброр налил в бокалы игристое шампанское.

— Надо выпить, Павел Даниилович, обязательно надо. Только можно мне, ташкентцу, добавить? Новый Ташкент строила вся страна, каждый народ внес в его сокровищницу свой алмаз, превратив нашу столицу в великий алмазный пояс.

Павел Даниилович поднял бокал:

— Так за алмазный пояс Ташкента!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В четыре часа ночи Аброр пробудился от сна: резко и тревожно звонил телефон. Спотыкаясь обо что-то в темноте, он добрался до аппарата на столе, ощупью нашел и снял трубку.

— Аброр-ака... быстрей приезжайте к нам...

— Шакир? Это ты?.. Что случилось? Почему ты так...

— Отец... Был совсем здоров... Вчера даже ходил сторожить... А ночью... внезапно...

Аброр не хотел верить в смерть отца, хотя мысль о смерти молнией пронеслась в еще отуманенном сном мозгу.

— Доктора вызвали? Или мне привезти доктора?
Шакир плакал, уже не скрывая слез от брата:

— Я сейчас... Сейчас!

Проснулась и вскочила с постели Вазира. Включив свет, подошла к мужу и увидела, как мелко дрожит Аброр. Налила ему холодного чая из чайника, смутно догадываясь о случившемся.

— Выпейте... успокойтесь... хоть немного...

Аброр побоялся спросить у брата, жив ли еще отец, но сердце подсказало ему, что произошло самое худшее.

И пока они спешно с Вазирой собирались, пока в темноте шагали к железному гаражу, оставив дома сладко спавших Зафара и Малику, перед внутренним взором Аброра не переставая вспыхивали и гасли кадры: усталый отец на строительстве участка; изможденный отец с винтовкой в сторожевой будке среди большой стройки; бегает-снует отец на свадьбе Шакира... Уже неделя, как отшумела свадьба. Аброр, встревоженный состоянием здоровья отца, хотел показать его докторам, но вновь нахлынули заботы с Маликой. Хотя она последние экзамены сдала прекрасно, опасались первой тройки. Да и Вазира еще толком не оправилась от болезни. И вот только вчера наконец выяснилось: по решению приемной комиссии Малика стала студенткой...

— Все надо было бросать к черту,— говорил сейчас Аброр в горечи и яности,— а отца везти к докторам!

— Но и сам он мог бы сходить к докторам, просто он их не признает, не любит к ним обращаться.

Вазира говорила о свекре как о живом человеке, и это звучало как-то обнадеживающее. Успокаивает его? А может, и правда еще не поздно?

Однако, вылезая из машины у ворот дома на Бешкайрагаче, они услышали безнадежные рыдания Ханифы.

На свадьбе младшего сына Агзам-ата чувствовал себя очень скверно. Думал, придет в себя, отсидев одну смену в сторожевой будке. Пошел на работу, как обычно, на вторую стройку. «Хватит, отец, хватит, дом-то уже стоит!» — сказал ему вчера Шакир. Отец же ответил: «А долги? Вот рассчитаемся с ними, тут же брошу работу». Вчера ночью, когда обходил стройплощадку, внезапно потемнело в глазах. Присел на груду кирпичей, перевел дух. Но тяжелая боль в груди не исчезла. До дома-то от ворот было метров двести всего, но ему не хватало воздуха, и дважды по пути он останавливался, пережидал, когда пройдет острый приступ боли.

Дома не помогли ему ни заботы Ханифы, ни чай. Агзам-ата потерял сознание, и когда Шакир прибежал с врачом, что жил на соседней улице, отец был уже мертв.

— Он сгорел словно свеча.— Врач сокрушенno покачал головой. И добавил, помолчав: — Хорошо жил и умер по-мужски... Не надо горевать и убиваться...

Аброр увидел безжизненное тело дорогого человека, еще вчера ходившего по земле, делавшего столько добра людям, и навзрыд заплакал:

— Отец!.. Я не успел!.. Отец!

Но и от этих рыданий взрослого сына Агзам-ата не открыл глаза и ничего уже не сказал любимому старшему своему. Отца, мудрого от природы человека, всегда готового помочь каждому, не стало. Ощущение безвозвратной потери, беспощадности, с которой обошлась судьба, постепенно охватывало Аброра.

Перед неотвратимостью смерти все житейские заботы казались мелкими и ненужными. Но они были и есть, а теперь еще больше их стало...

К обеду весь двор заполнили люди. По обычанию обмыв, завернули в белый саван, открытым оставили одно лицо. Положили тело на широкие носилки, покрытые материей, а поверх набросили новый бекасамовый чапан. Агзам-ата всего раза два и надевал его. Плач и рыдания женщин взметнулись ввысь, когда носилки выносили со двора. За ними шло много людей — больше трехсот человек. Аброр, Шакир, другие самые близкие родственники покойного в тонких летних чапанах, подпоясанных матерчатыми кушаками,

шли на десять — пятнадцать шагов впереди. Встречные автомашины и даже трамваи останавливались перед похоронной процессией, неподвижностью и молчанием своим отдавая дань уважения покойному.

Так всю трехкилометровую дорогу от Бешкайрагча до кладбища Кукчи носилки переходили с плеч на плечи, с рук на руки и ни разу не были опущены на землю.

Но вот старики закончили свои обряды. Тело покойного опустили в могилу. Старший зять собрал в кушак немногого земли, раздал тем, кто нес носилки. Потом снова собрал эту землю и высыпал ее на могилу. Чтоб тепло ладоней тех, кто пришел отдать последние почести, перешло земле.

После того как тело было укрыто в нише и вход в нее закрыт кирпичами, могилу, глубиной в рост человека, засыпали землей. По обычаям первыми это должны были делать сыновья. Аброр взял в руку кетмень, обрушил вглубь на краю лежащий ком земли; и от этой жестокости, когда родной сын собственными руками должен зарывать отца, у Аброра, быть может впервые, вдруг онемели ноги и закружилась голова... Аброр передал кетмень кому-то, а сам с трудом отошел в сторону.

А во дворе, где совсем недавно играли свадьбу, теперь справляли поминки. И опять был расстелен дастархан, и опять светлый большой самовар пускал пар, в маленьких чайниках заваривался чай для всех тех, кто приходил сюда, чтобы сказать слова соболезнования семье покойного, опять люди ели лепешки, а на столах красовались фрукты и сладости.

Все было, только не было больше мираба Агзама. Как примириться с мыслью, что уходят лучшие?.. Эти чертовы стрессы, полосы житейских переутомлений, невзгод... Не полосы. Штурмовой силы волны. Сам Аброр выздоровел, поднялся — Вазира заболела. Вазиру удалось спасти, а вот отца... Аброр чувствовал, что трудно отцу, не выдержать ему, но упустил время... Почему не сумел опередить, подготовиться отразить эту волну?

Безответные вопросы вызывали неутихающую боль в душе. Лишь на время Аброр возвращался к действи-

тельности, вспоминал проблемы, которые не исчезали продолжали существовать.

Директор Сайфулла Рахманович, позабыв все прежние их с Аброром стычки, явился рано утром в день похорон, шел вместе со всеми пешком до кладбища. Были здесь и Сергей, и Фарид, и Хатам Юлдашев, и сослуживцы. И каждый говорил:

— Надо привыкать, Аброрджан, родители уходят...

— Будьте мужественны, Аброр Агзамович...

— Мы разделяем ваше горе!

Среди родственников, которые встречали и провожали пришедших, выюном крутился и Шерзод Бахрамов. Он тоже был опоясан, правда не поверх халата, а по тенниске опущенным шелковым белбогом — траурным кушаком. Лицо он старался делать скорбное, но иногда бросал украдкой на убитого горем Аброра едва ли не злорадный взгляд. А, обращаясь к людям, Шерзод, как подобает, демонстрировал всепрощающую свою мягкость.

Вечером после похорон приехали в дом покойного представители главного управления во главе с Садриевым. Шерзод первым поспешил к ним на улицу, остановился перед машиной.

Садриев хмуро с ним поздоровался, начал искать глазами Аброра. Шерзод тут же сообщил:

— Аброр Агзамович во дворе. Я сейчас его позову. Вы заходите во двор, Наби Садриевич, пожалуйста!

Аброр увидел Садриева, когда тот входил в ворота. Пошел навстречу гостю. Садриев быстрым шагом приблизился к Аброру, пожав руку, выразил свои соболезнования. Между тем Шерзод подозвал из группы женщин, находившихся на террасе-айване, Вазиру. Знаком показал ей на Садриева.

Вазира была в легком черном платке и черном пальто. Траурный наряд особенно подчеркивал бледность ее лица. Садриев чувствовал себя сейчас виноватым перед этой усталой, поникшей и даже сейчас красивой женщиной. Она всегда привлекала его, вызывала внутреннее восхищение своим умом, независимостью.

— Вазира Бадаловна, примите мои соболезнования. Очень тяжело, но так уж мир устроен,— сказал

Садриев.— В этот час мы все решили быть рядом с вами...

— Благодарим.

Шерзод сообщил Вазире:

— Наби Садриевич двух молодых парней в помощь вам прислал и на два дня дал «рафик». Чтоб машина дежурила здесь.

Вазира еще раз выразила свою признательность Садриеву. Внимательно посмотрела в глаза Шерзоду. Учивый родственник... Другой бы мучился угрызением совести — ведь это он, Шерзод, совсем недавно безжалостно гонял свекра за музыкантами да певцами... А сейчас делает вид, что сочувствует. «Бетонный человек,— так его Аброр однажды назвал.— Защитился от мук душевных и рефлексий плитой эгоизма и живет себе припеваючи». Поймала себя на мысли, что думает точно так же, как муж.

Она беспокоилась уже за мужа, хотела поговорить с ним наедине, ободрить.

Вазира почему-то вспомнила и другое выражение Аброра — «озоновая защита». Она, эта защита, простирается над всей землей, над всем живым на ней. Но и в душах людских она необходима: от того, какими будут души человеческие, зависит благополучие планеты.

Вазира поисками глазами Аброра. Как плохо он выглядит, как мучительно переживает потерю отца! Тихо, чтобы муж не слышал, попросила начальника:

— Наби Садриевич, поговорите с Аброром, пожалуйста... отвлеките его, прошу вас...

Наби Садриевич с пониманием кивнул. Вазира тихонько вернулась назад, на айван, к женщинам.

До машины Садриева провожали безучастный Аброр с одной стороны и Шерзод — с другой.

Садриев взял Аброра за локоть:

— Аброр Агзамович, добрая весть в трудный момент поднимает дух человека. Я бы хотел сообщить вам и Вазире Бадаловне одну новость...

— Позвать жену?

— Лучше вы ей сами потом передадите... Ну, у всех в памяти, конечно, дискуссия. Справедливо нас тогда ударили... И сейчас мне больно оттого, что я слишком сурово упрекнул Вазиру Бадаловну.

— Но вы тогда, примерно, тоже были правы,— заметил Шерзод.

Садриев отвернулся от него. Говорил дальше так, будто Шерзода здесь и не было:

— Вы интересовались судьбой Ганчтепе — возвышенности на берегу Бозсу, помните?

Аброр будто из другого мира возвращался к давним спорам:

— Да, помню, мы говорили как-то об этом холме с нашим директором.

— Так вот, там вскоре будут устанавливать памятник жертвам землетрясения — «Мужество». И наше предложение, чтобы на Ганчтепе построить музей Дружбы народов, одобрено в инстанциях. С правой стороны комплекса решено проложить небольшое новое русло.

Это известие явно обрадовало Шерзода. Агзамов же отнесся к новости весьма сдержанно, но несколько улучшилось его настроение, когда Садриев добавил, что историческое русло Бозсу будет здесь сохранено, живописные излучины его останутся, какими были издревле, а по новому бетонированному руслу потечет лишь часть воды канала, давая возможность лучше регулировать общий водосток, образовав островок с красивыми пешеходными мостками-связками.

— Ландшафтно-архитектурную часть работы над всем этим комплексом мы просим принять на себя вас, Аброр Агзамович. Ну, и раз в этом комплексе будет частично использована идея нового русла Бозсу, то в составе авторской группы будет и Вазира Бадаловна... и товарищ Бахрамов.— Садриев наконец взглянул и на Шерзода.— Мир... Тесен мир, Аброр Агзамович.— Садриев попытался улыбнуться.— Вот вы даже стали родственниками с Шерзодом Исламовичем. И все мы работаем в одном творческом союзе. Чинары, посаженные рядом, бывает, отклоняют ветви друг друга, а всю жизнь все-таки растут рядом.

Аброр безучастно кивал головой. Думал о чем-то своем, далеком. Шерзоду опять пришлось отвечать на задушевные слова Садриева, словно от всей, породненной теперь, семьи:

— Вы совершенно правы, Наби Садриевич! Мы должны работать дружно, в одной упряжке! И тогда нет проблем, которых...

— Нет, и проблемы, и заботы есть... товарищ Бахрамов. Раз в одной упряжке, так и арбу тащить надо всем честно.

Замечание Садриева заставило примолкнуть Шерзода.

Аброр же смотрел сейчас на все текущее, сегодняшнее из какой-то далекой-далекой дали, откуда впервые отчетливо дошло до него понимание того, как коротка жизнь человеческая и как преходяще и малоизвестно многое, из-за чего люди волнуются, спорят...

Аброр сказал глухо и размежено:

— Наби Садриевич, спасибо вам за участие. Добрую вашу весть я передам Вазире.

— Держитесь крепче, Аброр Агзамович! Вы же мужественный человек! Впереди у вас много хорошего... Недалек день, когда мы будем претворять в жизнь и проект вашего культурно-этнографического комплекса. Помните, конечно, одно из любимых ваших детищ?

Как-то очень отдаленно подумал Аброр и об этом своем проекте. Вблизи, прямо перед глазами, все время стояли кадры-воспоминания: отец, отец, отец... Где ты теперь, отец?

В этот вечер Аброру несколько раз приходила на память одна картина... Мальчиком еще он вместе с отцом следил за пролетающими журавлями. Это было за городом, весной, в дождливый день. Небо затянули облака, и журавли летели очень низко. Аброр тогда впервые увидел, какие у них длинные шеи, какие это большие птицы.

Журавли быстрей обычного взмахивали длинными крыльями. Раз-два, раз-два, раз-два! Клин то разрывался почти надвое, когда птицы отдалялись одна от другой, то снова сжимался, становился единым целым. Порой один или два журавля вообще отставали, а потом снова догоняли сородичей.

«Почему они летят так беспокойно, папа?»

«Сам удивляюсь. Наверное, крылья намокли. Видно, долго летят под дождем».

«А почему они не спускаются отдохнуть?»

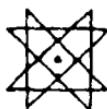
«Тут кругом дома. Вот, смотри, повернули к Бозсу. Может, там спустятся».

Да, журавли тогда летели беспокойно, тяжело; вершина и концы треугольника-клина перемещались то вправо, то влево. Но курлыканье больших птиц, как

обычно, звучало ясно и чисто. Они привыкли к таким трудностям за время длительных своих перелетов. И сколько бы страданий им ни выпадало, спокойными, мирными голосами переговаривались они меж собой и продолжали полет.

Последние годы жизни отца напоминали Аброру тот, из детства, полет журавлей. У него, у сына, характер отцовский, это Аброр знал, об этом ему многие говорили. Ну что ж, значит, надо теперь суметь жить и за себя, и за отца.

1975—1982





Примечания

Стр. 10. *Хондамир* (Хондемир) Гияс-ад-дин ибн Хумам-ад-дин аль-Хусейни (1475—1535) — персидский историк. Сначала придворный историк Тимуридов, после 1507 — шаха Исмаила I Сефевида, с 1528 — Великих Моголов.

Стр. 15. ...*бежал через Куву* — древняя крепость между Ферганой и Андижаном. Остались руины от крепости. Ныне кишлак в Ферганской области Узбекской ССР.

Стр. 20. ...*в крепости Ахсы*. — Крепость в 80 км от Андижана. От крепости остались руины, но рядом возродился поселок.

...*кашгарский властитель*. — Речь идет о кашгара (уйгурах), проживавших в Западном Китае.

Узген — город в Ошской области.

Стр. 21. *Отец Тахира в страхе ухватился... за ворот рубахи*. — Жест, выражавший сильный испуг.

Герат — город на северо-западе Афганистана. Основание Герата приписывается Александру Македонскому. Наивысшего расцвета Герат достиг в XV в. при Тимуридах, стал крупнейшим торговым, ремесленным, культурным центром.

Стр. 32. ...*как Рустам*. — Герой эпической поэмы «Шахнаме» Фирдоуси. Символ мужества и храбрости.

Стр. 35 ...*долголетие шейха Саади*! — Персидский писатель и мыслитель Саади (1203—1292).

Стр. 36. *Из Исфары*. — Город в Ленинабадской области Таджикской ССР.

Стр. 48. ...*сдали врагу Ходжент!* — Прежнее название г. Ленинабада — одного из древнейших городов нашей страны.

Стр. 83. «*Былое*» — так первоначально называлась книга, которую Бабур писал на протяжении всей жизни, знаменитая впоследствии «*Бабурнаме*».

...*в Канибадаме* — ныне город в Ленинабадской области.

Стр. 84. ...*подобно мирзе Улугбеку...* — Улугбек Мухаммед Тарагай (1394—1449) — узбекский астроном, математик, правитель Самарканда.

Стр. 85. ...поэмы *Навои*.— Низамиддин Мир Алишер (1441—1501) — классик узбекской литературы, мыслитель, государственный деятель. Автор поэм «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Семь планет», «Искандерова стена» — эти поэмы объединены в «Пятерицу смятенных».

...строил *Фархад*.— Герой поэмы Алишера Навои «Фархад и Ширин».

Стр. 87. В Герате Мир Алишер построил знаменитую троицу: *Ихлосия*, *Халосия*, *Унсия*.— Ихлосия — «Дом преданности», Халосия — «Дом исцеления», Унсия — «Дом дружбы».

Стр. 111. *Гори Ошикон* — «Пещера влюбленных», около самаркандских ворот Феруз.

Стр. 113. *Караван из Джизака*... — город в Сырдарьинской области Узбекской ССР, расположен на Большом Узбекском тракте.

Стр. 115. *Махмуд Кашгари* — среднеазиатский ученый-филолог XI в. В 1072—1074 гг. составил «Словарь тюркских наречий».

Абдурахман Джами (1414—1492) — персидский и таджикинский философ и писатель. Учитель Навои.

Стр. 120. *Ура-Тюбе* — город в Ленинабадской области.

Карши — центр Каракадаргинской области Узбекской ССР.

Стр. 121. *Шахрисябз* — город в Каракадаргинской области.

Стр. 136. *Хорасан*.— В III — XVIII вв. историческая область на Среднем Востоке, включавшая северо-восточную часть современного Ирана, Мервский оазис, оазисы юга современного Туркменистана, северные и северо-западные части современного Афганистана.

Стр. 137. ...ко стены в одиннадцать слоев.— Каждый слой кладки примерно 70 см.

Стр. 152. *Ургут* — город в Самаркандской области Узбекской ССР.

Стр. 156. *Ходжа Аброр* — известный реакционер, спровоцировавший убийство Улугбека, предводитель влиятельного религиозного ордена накшбендиеев.

Стр. 162. *Султаны мангитов, кунгратов, кушчи...* — Все эти племена входили в состав тюркоязычных народов Мавераннахра. Племена «тайлан», «кунграт», «кипчак», «дурмен» и др. вошли позднее в состав как узбекского, так и казахского, каракалпакского и частично киргизского народов.

Стр. 163. *Узбек-хан* — хан Золотой орды в 1312—1342 гг.

Стр. 164. *Рум* — тюркское название Византии, завоеванной турками-османами.

Лутфи (1366/1367—1465/1466) — классик узбекской литературы.

...второй *Искандер*.— На Востоке Искандером называли Александра Македонского. Он был популярен своей идеей соединения народов Запада и Востока.

Стр. 172. *Пяндженкент* — город в Ленинабадской области.

Стр. 176. ...«джокая» по-кипчакски... — В тюркских языках есть «джокающие» и «йокающие» говоры.

Стр. 188. *Гузар* — райцентр в Кашкадарьинской области.

Стр. 197. *Дабусия* — «Железная крепость». Место, где сейчас находятся развалины крепости, известно под названием Зиявуддин.

Стр. 216. ...подобно *Искандеру Зулькарнаю* — имеется в виду Александр Македонский.

Стр. 224. ...как *Джамшид*. — — Мифический царь древнего Ирана и его основатель, повелитель людей и духов, обладатель сказочной чаши («Джами-Джем»), глядя в которую можно было видеть все, что происходит в мире; Джамшид якобы научил людей многим ремеслам; при нем люди не знали ни болезней, ни смерти.

Стр. 230. ...*Бабур закрыл голые... ноги...* — Во время молитвы или ритуального чтения Корана тело мусульманина должно быть закрыто одеждой.

Стр. 233. ...на горе *Осмон Яйлау*. — Осмон — небо, яйлау — настбище. — Небесное настбище.

Стр. 246. *Мерв* — один из древних городов Средней Азии. Ныне город Мары в Туркменской ССР.

Кандагар — город на юге Афганистана, у подножия Западного Гиндукуша.

Стр. 249. ...*переваливайте скорей через Гиссар*. — Гиссарский хребет в Средней Азии в западной части Памиро-Алайской системы.

Стр. 250. ...к берегам *Мургаба...* — река в Туркмении и в Афганистане.

Стр. 253. ...*медресе Гавхаршод-бегим...* — Гавхаршод-бегим — мать Улугбека. Она построила в Герате медресе, похожее на медресе Биби-ханум в Самарканде.

Стр. 255. ...*закончил «Хамсу»...* — Хамса — «пятерица», цикл из пяти поэм, — распространенная форма в восточной поэтической классике, форма объединенных сюжетом самостоятельных произведений.

Стр. 254. *Бехзад* Камалиддин (1455—1535/36) — крупнейший мастер гератской школы миниатюры, которая оказала сильное влияние на миниатюру Ирана, Индии, Средней Азии.

Стр. 259. *Шахрух* (1377—1447) — младший сын Тимура, унаследовавший обширную часть империи с центром в Герате. Отец Улугбека.

Стр. 272. *Газни* — город на юго-востоке Афганистана.

Стр. 273. *Астрabad* — до 1930 г. название города Горган в Иране.

Стр. 287. ...*во имя великого дела двенадцати имамов...* — Двенадцать имамов, потомки Али, зятя пророка Мухаммеда, почитаются шиитами и отрицаются суннитами. Последний, двенадцатый, имам, считают шииты, не умер, а тайно скрывается до своего часа,

когда окончится его состояние «скрытого имама», он явится в мир в роли *Махди* — мессии, осуществляющего справедливость и воздающего людям заслуженное ими.

Стр. 305. ...люди дар-уль-ислама страдали и мучили бы друг друга до сих пор... — У пророка Мухаммеда было четверо сподвижников. Самый молодой из них, Али, был его двоюродным братом и мужем единственной дочери Мухаммеда, Фатимы. Считается также, что Али первым после жены Мухаммеда уверовал в божественность его проповедей. После смерти пророка, когда возник вопрос о том, кто из четырех его сподвижников должен встать во главе новообразованного исламского государства и продолжать распространение ислама, одержали верх сторонники Абу-Бекра — самого старшего из сподвижников, к тому же отца второй жены Мухаммеда; Абу-Бекр стал первым халифом (правда, всего в течение двух лет). Сторонники Али убивают следующих двух халифов — Омара и Османа. Наконец халифом становится Али. Но раскол в халифате углубляется. Перевес получает Муавия, двоюродный брат Османа, продолжатель халифской династии Омейядов. Через пять лет Али терпит поражение. Сторонники Али, шииты (шие по-арабски сторонник), провозглашают главою мусульманского мира его сыновей Хасана и Хусейна, рожденных Фатимой. Но имам Хасан умирает от болезни, а имам Хусейн погибает от рук суннитов в Кербеле. Имамы, относящиеся к роду Али, уничтожаются один за другим.

Стр. 307. ...бадахшанские рубины... — очень почитались на Востоке.

Стр. 308. ...мелодию «Сарви нав» — вид классической восточной музыки.

Стр. 322. ...отвратительные существа Гог и Магог... — В иудейской, христианской и мусульманской мифологии два диких народа, нашествие которых должно предшествовать «страшному суду».

...на целый данг. — Данг — одна часть золота. Вес таньги (монеты) был 4,6 грамма. Шейбани увеличил его до 5,2 грамма.

Стр. 328. Хатти Бабури — алфавит Бабура.

Стр. 340. ...ни Сухраб, ни Алпамыш... — Сухраб — герой поэмы «Шахнаме», Алпамыш — герой одноименного эпоса.

Стр. 342. ...с плеча моего Хумо... — Хумо — птица счастья. Хумаюн — обладающий счастьем.

Стр. 345. ...сигнакийский дар... — От г. Сигнак на берегу Аму-дарьи.

Стр. 346. ...в стиле «савт» — вид классической восточной музыки.

Стр. 349. ...еще одна книга... «Мухтассар» — очерк теории стихосложения — аруза.

Стр. 355. ...о державе Лоди... — Лоди — династия правителей Делийского султаната из афганского рода Гильзаев; основатель Бахлул (1451—1489) сменил тюркских правителей, связанных с Тимуридами.

Стр. 360. *Баги Вафо* — «Сад верности».

Адинапур — город на юге Афганистана.

Стр. 362. ...но и дочери ваши прославили свои имена! — Гульбадан-бегим стала последовательницей прозаика-мемуариста Бабура. Она написала книгу о жизни и деятельности своего старшего брата, назвав ее «Хумаюннаме». Это единственное в своем роде произведение мемуарного жанра, написанное женщиной-мусульманкой той эпохи.

Стр. 368. ...хорезмиец *Бируни*.— Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни (973–1048/1050) — среднеазиатский ученый-энциклопедист. Родился в Хорезме.

Хосров Дехлеви — великий поэт Хиндустана. Его отец Амир Махмуд был предводителем племени лочин (сокол). Это племя жило между Самаркандом и Шахрисябзом. Уходя от нашествия Чингисхана, добралось до Северной Индии, где и родился поэт.

Стр. 386. В каждом месяце празднества.— Это удивительно для мусульман, поскольку у них только два праздника в году — ураза-байрам (праздник после поста), курбан-байрам (праздник жертвоприношений).

Стр. 387. А ее пять даров угодны богу *Шиве*.— «Пять даров коровы» согласно шиваистской ветви индуизма — это молоко, масло, простокваша, навоз, моча.

Стр. 388. *Хайбарские ворота*.— Имеется в виду Хайбарский проход в хребтах Сафедкох (Спингар) к югу от ущелья реки Кабул, близ границы между Афганистаном и Пакистаном. Перевал находится на высоте 1030 м.

Стр. 395. *Кохинур* — «скала света». Один из самых знаменитых алмазов. Ученые установили, что история его «странствий» начинается с 1304 г. Сейчас этот алмаз находится в Лондоне.

Стр. 432. «*Хашт Бихишт*» — восемь райских садов. По мусульманским верованиям, в раю вкушают восемь видов плодов и ягод: виноград, гранат и т. д.

Стр. 440. Среди воинов моих из-за недавних происшествий...— Имеются в виду первые военные успехи Рано Санграма, его победы над отдельными военачальниками и вассалами Бабура.

Стр. 455. *Бабур* теперь был готов к встрече.— То, что говорил Бабур своим эмирам и бекам, передавая престол Хумаюну, изложено в книге Гульбадан-бегим «Хумаюннаме». В частности, она приводит слова отца о том, что он давно задумал сделать сына шахом, сам же хотел жить в «приюте уединения» в саду Зеравшан.

Стр. 458. *Бабур* отыскал глазами Семь Братьев, неподвижную Золотую Ось и... веселую гурьбу созвездия Хулькар.— Семь Братьев — Большая Медведица, Золотая Ось — Полярная звезда, Хулькар — Плеяды.

Стр. 459. *Тадж-Махал* — выдающийся памятник индийской

архитектуры периода Великих Моголов, сооруженный около 1630—1652 гг. на берегу реки Джамны близ Агры. Стены выложены белым полированным мрамором, с инкрустацией из самоцветов.

Стр. 466. *Юнусабад* — название северной части Ташкента.

Стр. 467. *Бешагач* — один из старинных районов Ташкента.

Стр. 505. *Урда* — один из старинных районов Ташкента.

Стр. 509. *Пана, а почему вы так поздно...* — В узбекских семьях дети с родителями, родители между собой почтительно обращаются друг к другу на «вы».

Стр. 513. *Усман Юнусов* (1901—1966) — советский государственный и партийный деятель.

Стр. 520. *Ахунбабаев Юлдаш* (1885—1943) — Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

Стр. 588. *Встать никто и не пытался.* — Это свидетельство невоспитанности. Гости встречают почтительно, обязательно все встают с места.

Стр. 620. *Бурджар* — букв.: «Волчий яр» — приток Бозсу, который проходит по западной части Ташкента.

Стр. 626. *Кукча* — квартал в северо-западной части Ташкента.

Стр. 643. *Ораси* — отец моих детей. Так обращается жена к мужу. Произносить имя мужа или жены у узбеков было не принято.





Пояснительный словарь

Або — верхняя одежда типа камзола с короткими рукавами.

Ага — почтительное обращение к мужчине старше возрастом.

Адыр — холм, горный склон.

АЗан — призыв мусульман к молитве.

АЗанчи — муэдзин; священнослужитель, призывающий мусульман к молитве.

Азраил — ангел смерти; по мусульманским представлениям человек умирает, когда Азраил по воле аллаха прилетает за его душой.

Айван — веранда, терраса, навес.

Акча — деньги.

Алхамидуллило! — Слава создателю!

Амирзода — наследник правителя.

Арбакеш — возница.

Аргамак — стариинное восточное название породистых верховых лошадей.

Арк — крепость, цитадель, укрепленная часть города, где находится дворец правителя.

Аруз — метрическая система стихосложения, основанная на определенном чередовании долгих и кратких слогов, широко применяемая в восточной классической поэзии.

Арча — древовидный можжевельник.

Асад — летний месяц с 22 июля по 21 августа.

Аския — острота, состязание острословов.

Аскиябоз, аскиячи — острослов.

Атка — наставник.

Ашора — летний месяц с 22 мая по 21 июня.

Ая — мать; почтительное обращение к женщине старше возрастом.

Бабур (арабск.) — лев.

Бакаувул (бакаул, и с т.) — повар; лицо, ведающее дворцовой кухней.

Баланд — высокий.

Банорас — кустарная шелковая ткань.

Барлас — одно из четырех узбекских племен, игравшее большую политическую роль при Тимуре и тимуридах.

Баурсак — шарики из теста, жареные в масле.

Бахор — весна.

Бахши (и с т.) — лицо, ведающее приходом и расходом сумм, отпускаемых правителем на строительство.

Бегим — моя госпожа.

Бейт — восточная стихотворная форма; двустишие содержит законченную мысль.

Бекасам — сорт кустарной шелковой ткани, из которой, в основном, шьют верхние халаты.

Белбог — кушак, пояс; мужчины перепоясываются платком, сложенным вдвое.

Бешик-той — букв.: праздник колыбели; праздник по случаю того, что младенца впервые кладут в колыбель.

Ботирма — погруженный, затопленный.

Брахман — жрец, духовное лицо у индуистов.

Бустан-сарай — дворец-сад.

Вахш — дикий, необузданный, свирепый, неистовый; река в Таджикистане.

Вилайет — единица административного деления; провинция, область.

Газель — стихотворная форма в восточной поэзии.

Годжа — кукурузная похлебка.

Гулоб — розовая вода; настой на розах.

Гунчачи — временная жена.

Гурунч — рис.

Даруга — градоначальник.

Дар-уль-исlam — земли, где живут мусульмане.

Дар-уль-харб — земли немусульманских народов, «остальной мир».

Джайнамаз — молитвенный коврик.

Джаннат — рай.

Джейхун — так арабы называли Амударью за коварный нрав.

Джида — серебристый лох; дерево со съедобными мучнистыми плодами.

Джизъя — установленный Кораном налог за веротерпимость в пользу ислама, своего рода «выкуп» иноверцами своей жизни и права отправлять свои религиозные обряды.

Джихад — священная война, война за веру.

Джура — дружок, браток.

Диван — 1) сборник стихотворений одного поэта; 2) государственный совет; государственная канцелярия; управление в средневековых государствах мусульманского Востока.

Дирхем — денежная единица многих восточных стран.

Дойра — бубен.

Досторпех — лицо, отвечающее за шахский гардероб.

Дувал — стена, глинобитный забор.

Жанггох — поле сражения.

Зиндан — темница, тюрьма, подземелье.

Идод — стодневный срок, в течение которого по шариату воспрещалось вступление в новый брак вдове или разведенной жене.
Имамиты (имомия — арабск.) — представители основного течения в шиизме.

Инджил — Евангелие.

Иргай — красное дерево очень твердой породы.

Исканджа — пресс, тиски; безвыходное положение.

Ислими гулхан — «костер защиты», орнамент костра, изображение огня, спасающего человека от бед, которые, по поверьям, ходят за ним.

Ифтар — вечернее разговение в дни мусульманского поста.

Ихлос — преданность, привязанность.

Ихтияраддин — божья воля.

Ичкари (и с т.) — женская половина дома, куда посторонние мужчины не имели доступа.

Ишан — высший мусульманский духовный сан.

Кабо — верхняя одежда типа камзола.

Кавурдақ — жаркое.

Кавуши — кожаные калоши кустарного производства.

Кавчин — тюркоязычное племя.

Кадхуда — староста кишлака.

Кази (казий) — судья, судивший по законам шариата.

Казы — конская колбаса.

Кайирма — извилистый.

Кайла — кусочки зайчатины, завернутые в тонкий слой теста.

Калям — тростниковое перо, карандаш.

Каракуз — черноглазая.

Карасу — черная вода.

Кáри — индийская мера длины, около 60 см.

Карнай — духовой музыкальный инструмент в виде длинной медной трубы.

Каса — чаша, большая пиала.

Касыда — классическая форма восточной поэзии одического характера.

Кашкул — большая раковина для сбора подаяний, висящая на поясе у дервиша.

Кеклик — горная куропатка.

Кетмень — род мотыги с широким лезвием.

Кизылбashi — букв.: «красные головы»; гвардия иранских шахов, чаще всего из воинов-туркменов и других тюркских народов; расширительно кизылбашами называли и всех воинов шаха. Прозваны были первоначально за ярко-красный знак на тюрбане, символизировавший для шиитов кровь их имамов.

Кипчаки — средневековый тюркоязычный народ, известный в Европе как команы, на Руси — половцы.

Козлодрание (улок) — конно-спортивная игра, когда участники вырывают друг у друга тушу козла.

Кок-сарай — голубой дворец.

Кок-чай — зеленый чай.

Кукча — синенъкий.

Кураш — вид национальной борьбы.

Курпа — стеганое ватное одеяло.

Курпача — узкое ватное одеяло; подстилка.

Курчибashi — начальник отряда телохранителей правителя.

Куршибек — начальник личной охраны правителя.

Кучкинчи — кочевник.

Кшатри — военное сословие в Индии.

Лагман — длинная лапша без бульона с мелко рубленным поджаренным мясом и специями.

Лисониттайр — птичьи язычки.

Ляган — большое блюдо с плоским дном; поднос.

Мавераннахр — (арабск., букв.: то, что за рекой) средневековое название областей по правому берегу Амударьи.

Мавляна (и с. т.) — букв.: господин наш; титул мусульманских богословов и ученых.

Маиз — ядро, смысл, соль.

Майноб — многолетнее ароматное вино наподобие коньяка.

Манты — крупные пельмени, сваренные на пару.

Маснави — восточная стихотворная форма с парной рифмовой послушишой.

Мастава — рисовый суп с мясом, заправленный разными специями и кислым молоком.

Махалля — квартал.

Маш — растение семейства бобовых.

Машхурда — суп из маша и риса.

Медресе — мусульманское духовное учебное заведение.

Мезон — осенний месяц с 22 сентября по 21 октября.

Минбар — возвышение в мечети, откуда имам произносит проповедь.

Мираб — лицо, ведающее распределением воды в оросительной системе.

Мискал — мера веса, равная 4,68 грамма.

Михраб — ниша в мечети, указывающая направление к Мекке.

Муалимм — учитель, преподаватель, почтительное обращение к образованному человеку.

Муалими — стихотворение, таящее в себе загадку.

Мубайюн — изложение законов.

Мударрис — наставник, преподаватель медресе.

Мумиё — горный воск, употребляемый в медицине.

Мунши — писец, письмоводитель.

Мусодара — конфискация, реквизиция, отторжение имущества.

Мухандис — мастер по строительству.

Мухтасар — «краткое» руководство, то, что сейчас называют научным очерком.

Мушоира — состязание поэтов; поэтический турнир, сочинение стихов экспромтом.

Мюрид — последователь, ученик ишана.

Мюришид — духовный руководитель, наставник, духовник.

Наво — мелодия.

Навруз — Новый год, который совпадает с днем весеннего равноденствия — 22 марта.

Намаз — обязательные молитвы мусульман, совершаемые пять раз в день.

Нарын — густой суп из мелко крошенного мяса с отварным мелко нарезанным тестом.

Насвай — особо приготовленный табак, который кладут под язык.

Насталик — широко распространенный вид каллиграфии.

Нукер — дружинник на службе феодальной знати, правителя.

Огача — младшая жена.

Осойиш — покой.

Офтобачи — подаватель рукомойника при дворе правителя.

Палван — богатырь, великан, силач.

Патыр — тонкая сдобная лепешка с мелкими лунками.

Пашкал — сезон дождей в Индии.

Пир — духовный наставник мусульман; глава религиозной общины; глава религиозной секты.

Почча — зять; муж старшей сестры; деверь; употребляется при почтительном обращении к мужчине, старше возрастом.

Рамазан — девятый месяц лунного календаря. Согласно догме ислама в этом месяце был «ниспослан» Коран. В этот месяц мусульмане должны соблюдать пост — *уразу*.

Рафизиты — секта в исламе; сектанты, перешедшие из *суннитов* в *шииты*.

Рубаб — щипковый струнный инструмент.

Рубай — восточная форма стихосложения.

Рум — название Византии, завоеванной турками-османами.

Румол — платок, шаль.

Саэр — второй месяц солнечного года, соответствует времени с 22 апреля по 21 мая.

Сай — горная река.

Сакарлот — верхняя одежда, сшитая из специально выделанной верблюжьей шерсти желтого цвета. Носили сакарлоты высокопоставленные духовные лица..

Самса — треугольный или круглый пирожок, обычно с мясом, выпекают его в особой печи.

Сандал — сооружение для согревания зимой. В земляном полу есть выемка, куда кладут горячие древесные угли, сверху ставят квадратный столик — *хантахту*, — накрывают большим ватным одеялом. Потом садятся вокруг столика и прячут ноги под одеяло.

Саратан — самое жаркое время — с 22 июня по 21 июля.

Саркор — смотритель над строительными работами.

Сафар — путешествие.

Сахарлик — предрассветная трапеза во время мусульманского поста.

Сахиб — господин.

Саякӣ — сорт винограда.

Сель — грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий вследствие резкого паводка, вызываемого бурным снеготаянием или сильными ливнями.

Соҳибқирон — 1) рожденный при счастливом сочетании планет, под счастливой звездой; 2) счастливый, счастливчик — один из титулов владетельных государей в странах Востока.

Союргал — термин, особенно распространенный в XV веке в Иране и Средней Азии; означал высокое служебное положение феодала, которое освобождало его от налога за владения.

Сунниты — в исламе два основных течения — сунниты и шииты.

Супа — глиняное возвышение, устраиваемое в саду или во дворе,ядом с арыком, где летом отдыхают.

Сурнай — народный духовой музыкальный инструмент, напоминающий флейту.

Сурнайчи — музыкант, играющий на сурнае.

Суюнчи — подарок за радостную весть.

Сюзане — род гобелена из гладкой материи с вышивкой.

Табиб — лекарь, врачеватель.

Таго́ (того) — дядя, брат матери.

Таксыр — господин.

Тал — ива.

Талақ — развод. Когда это слово произносится три раза, восстановить брачный союз возможно лишь после того, как разведенная жена выйдет замуж, хотя бы и фиктивно, за другого, и новый муж даст ей развод.

Танбул — струнный музыкальный инструмент.

Тандыр — глинняная печь, в которой пекут лепешки.

Танчá — см. *сandal*.

Тарикат — путь духовного совершенствования. Согласно учению мистиков-суфииев, состоящий в глубоком «внутреннем» соблюдении законов религии, в отличие от шариата, требующего внешнего исполнения религиозных обрядов и правил.

Тарих — история; хронограмма, стихотворение, заключающее в себе ту или иную дату.

Таш — мера длины, равная примерно 8 верстам.

Тельпек — лохматая меховая шапка.

Тепé — возвышенность.

Той — свадьба, празднество, пир.

Ток-дулма — фарш, завернутый в виноградные листья.

Токý — шелковая остроконечная женская шапка.

Тугай — кустарниковые заросли по берегам рек.

Уразá — мусульманский пост в месяц рамазан.

Устá — мастер.

Устод — учитель, наставник.

Усьмá — трава, соком которой женщины красят брови.

Фатихá — 1) первая сура Корана; 2) краткая молитва, приуроченная к какому-либо случаю; 3) благословение.

Фетвá — решение по какому-либо юридическому вопросу, вынесенное духовным лицом на основании догматов религии и шариата.

Фикх — геология, богословие, наука о законах шариата.

Фирман — указ, приказ, повеление.

Хадж — паломничество в Мекку и Медину — к мусульманским святыням.

Хаджí — человек, совершивший паломничество — хадж.

- Хадис** — предание, основанное на случае из жизни или изречении Мухаммеда или его сподвижников.
- Хазрат** — преосвященство, величество, высочество.
- Хайит** — религиозный праздник.
- Хакан** — правитель.
- Хамал** — название первого месяца солнечного года у мусульман, соответствует периоду с 22 марта по 21 апреля.
- Ханака** — странноприимный дом.
- Хамса** — «пятерица», цикл из пяти поэм, — распространенный в восточной поэзии, форма объединения сюжетом самостоятельных произведений.
- Хандаляк** — сорт ранней дыни.
- Хато** — ошибка, заблуждение.
- Хатой** — ошибающийся, заблуждающийся.
- Хауз** — пруд.
- Хафиз** — певец.
- Хашар** — добровольная общественная помощь при каких-либо работах.
- Хиджра** — начало мусульманского летосчисления, 16 июля 622 г. Пророк Мухаммед, спасаясь от преследований врагов, бежал из Мекки в Медину.
- Хикаят** — рассказ, притча.
- Ходжá** — потомок одного из четырех мусульманских халифов; прибавляется к мужским именам, придавая оттенок уважения.
- Холá** — тетка, сестра матери; обращение к женщине старше возраста.
- Хорманг!** — букв.: не уставайте! Соответствует русскому «бог в помощь!».
- Хосилот** — урожай.
- Хужрá** — каморка, келья.
- Хурджун** — переметная сумка из ковровой ткани.
- Хуррам** — веселый, ликующий, радостный.
- Хутбá** — проповедь имама в мечети по пятницам и праздникам.
- Чакrá** — оружие, наподобие булавы с шестью острыми лезвиями.
- Чанг** — струнный музыкальный инструмент типа цимбал.
- Чархипалак** — круговые качели; чертова колесо.
- Чарьяры** — четыре первых мусульманских халифа.
- Чарыки** — обувь из грубой сырой кожи кустарного производства.
- Чекмэнъ** — верхняя одежда типа халата из грубого сукна верблюжьей шерсти.
- Чилсугутун** — сорок колонн.

Човган — конно-спортивная игра в мяч.

Чорпой — большая деревянная кровать.

Чошнагир — дегустатор блюд.

Шариат — свод неписанных мусульманских законов, основанных на Коране.

Шахид — мученик за веру.

Шахсупá — возвышенность, на которой стоит трон правителя.

Шаш — древнее название Ташкента.

Шейх — духовный наставник.

Шейх-уль-ислам — глава духовенства в государствах Средней Азии.

Шербет — сладкий напиток.

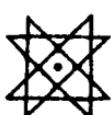
Ширмой — сдобная лепешка.

Ширчай — кипяченое молоко с чаем, солью, сливочным маслом и черным перцем.

Шурпá — бульон, суп, преимущественно картофельный.

Ялангач — нагой.

Яхтак — летняя мужская рубашка без воротника с открытым вырезом на груди.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Теракопян. Два крыла творчества</i>	3
<i>БАБУР. Роман. Перевод Ю. Суровцева</i>	15
<i>АЛМАЗНЫЙ ПОЯС. Ташкентский городской роман. Перевод Ю. Суровцева</i>	465
<i>Примечания</i>	736
<i>Пояснительный словарь</i>	742

Кадыров П. К.

**К13 Бабур; Алмазный пояс; Романы/Пер. с узб.
Ю. Суровцева; Вступ. статья Л. Теракопяна.—
М.: Худож. лит., 1988.— 751 с.**

ISBN 5-280-00256-9

В книгу известного узбекского писателя Пиримкула Кадырова вошли исторический роман «Бабур» — об узбекском и индийском правителе, полководце, историке Бабуре (1483—1530); «Алмазный пояс» — роман об архитекторах, восстанавливающих Ташкент после землетрясения 1966 года.

**K 4702570200—176
 028(01)—88 105—88**

ББК 84У37

**Пиримкул Кадырович
Кадыров**

**БАБУР.
АЛМАЗНЫЙ
ПОЯС**

**Редакторы
Р. Фаткуллина, Е. Устинова**

**Художественный редактор
А. Максимов**

**Технический редактор
В. Нefedova**

**Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова**

ИБ № 5121

Сдано в набор 15.09.87. Подписано к печати 28.04.88. Формат 84×
Х 108¹/з2. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая».
Печать высокая. Усл. печ. л. 39,48+1 вкл.=39,53. Усл. кр.-отт. 40.
Уч.-изд. л. 41,39+1 вкл.=41,42. Тираж 50 000 экз. Заказ 716.
Изд. № IV-2748. Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художествен-
ная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманская, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.